зала 18
шкафъ 268.
полка 5.
№ 1. 19.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ М. Е. САЛТЫКОВА, т. IX.

ГОСПОДА ТАШКЕНТЦЫ

[1869 — 1872 гг.]

ПОШЕХОНСКІЕ РАЗСКАЗЫ

[1883 — 1884 гг.]

КРУГЛЫЙ ГОДЪ

[1879 г.]

зала 18
шкафъ 268.
полка 5.
№ 1. 19

ТРЕТЬЕ ИЗДАНІЕ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія М. М. Стасюлевича, Вас. Остр., 5 лин., 28.

1895.

Гос.
Публ
Б-
Ленинград

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ

СОЧИНЕНІЙ

М. Е. САЛТЫКОВА

[Н. ЩЕДРИНА]

ТОМЪ ДЕВЯТЫЙ.

ТРЕТЬЕ ИЗДАНІЕ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ

—

1895.

М. Е. Салтыковъ

[Н. Щедринъ]

ГОСПОДА ТАШКЕНТЦЫ

[1869 — 1872 гг.]

ПОШЕХОНСКІЕ РАЗСКАЗЫ

[1883 — 1884 гг.]

КРУГЛЫЙ ГОДЪ

[1879 г.]

ТРЕТЬЕ ИЗДАНІЕ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія М. М. Стасюлевича, В. О., 5 л., 28.

1895.

2320

СОДЕРЖАНІЕ.

Господа Ташкентцы.

	стр.
Отъ автора	1
Введеніе	2
I.—Что такое „ташкентцы“?	19
II.—Ташкентцы-цивилизаторы	39
III.—Они же	60
IV.—Ташкентцы приготовительнаго класса:	
Первая параллель	86
Вторая „	123
Третья „	170
Четвертая „	228

Пошехонскіе разсказы.

I.—Но Сенькѣ и шапка	295
II.—Audiatur et altera pars	320
III.—Въ трактирѣ „Грачи“	347
IV.—Пошехонскіе реформаторы	381
V.—Пошехонское „дѣло“	408
VI.—Фантастическое отрезвленіе	437

Круглый годъ.

Первое января	461
„ февраля	470
„ марта	481
„ апрѣля	497
„ мая	511

	стр.
Первое іюня	503
„ іюля	545
„ августа	562
„ сентября	577
„ октября	594
„ ноября	605
„ декабря	614—635

I.

ГОСПОДА ТАШКЕНТЦЫ

КАРТИНЫ НРАВОВЪ.

[1869—1872 гг.]

ОТЪ АВТОРА.

Изслѣдованіе о „Ташкентцахъ" распадается на двѣ части: „Ташкентцы приготовительнаго класса" и „Ташкентцы въ дѣйствіи". Настоящимъ томомъ оканчивается первая часть, составляющая сама по себѣ отдѣльное цѣлое. Я отнюдь не имѣю претензіи утверждать, что въ представляемыхъ здѣсь вниманію читателя параллеляхъ исчерпывается все, что могло бы подойти подъ эту рубрику, но ежели бы я пошелъ еще далѣе въ воспроизведеніи различныхъ типовъ „ташкентства", то работѣ моей, пожалуй, не было бы конца. Притомъ же въ намѣреніяхъ моихъ было написать ежели не романъ въ собственномъ значеніи этого слова, то болѣе или менѣе законченную картину нравовъ, въ которой читатель могъ бы видѣть какъ источники „ташкентства", такъ и выраженіе этого явленія въ дѣйствительности. Поэтому первую часть я посвящаю біографическимъ подробностямъ героевъ ташкентства, а во второй—на сцену явится самое „ташкентское дѣло", въ созданіи котораго примутъ участіе дѣйствующія лица первой части. Въ виду этого я нашелъ, что привлеченіе слишкомъ большого количества элементовъ, хотя и однородныхъ по своимъ цѣлямъ, но крайне разнообразныхъ въ своихъ проявленіяхъ, могло бы загромоздить мой трудъ множествомъ лицъ, связь между которыми, быть можетъ, представилась бы читателю не вполнѣ ясною. Тѣмъ не менѣе я сознаю, что отсутствіе нѣкоторыхъ типовъ (какъ напримѣръ ташкентца-педагога, ташкентца-благотворителя и т. п.) составляетъ пропускъ очень замѣтный. Но я постараюсь познакомить читателя съ этими типами во второй части, выводя ихъ постепенно, въ роли эпизодическихъ лицъ.

ВВЕДЕНІЕ.

Въ разсказахъ Глинки (композитора) занесенъ слѣдующій фактъ. Однажды покойный литераторъ Кукольникъ, безъ приготовленій, „необыкновенно ясно и дѣльно“ изложилъ передъ Глинкой исторію Литвы. и когда послѣдній, не подозрѣвая за авторомъ „Торквато Тассо“ столь разнообразныхъ познаній, выразилъ свое удивленіе по этому поводу, то Кукольникъ отвѣчалъ: „прикажутъ—завтра же буду акушеромъ“.

Отвѣтъ этотъ драгоцѣненъ, ибо даетъ мѣру талантливости русскаго человѣка. Но онъ еще болѣе драгоцѣненъ въ томъ смыслѣ, что раскрываетъ нѣкоторую тайну, свидѣтельствующую. что упомянутая выше талантливость находится въ тѣснѣйшей зависимости отъ „приказанія“. Ежели мы не изобрѣли пороха, то это значитъ, что намъ не было это приказано; ежели мы не опередили Европу на поприщѣ общественнаго и политическаго устройства, то это означаетъ, что и по сему предмету никакихъ распоряженій не послѣдовало. Мы не виноваты. Прикажутъ — и Россія завтра же покроется школами и университетами; прикажутъ—и просвѣщеніе, вмѣсто школъ, сосредоточится въ полицейскихъ управленіяхъ. Куда угодно, когда угодно и все что угодно. Литераторы ждутъ манія, чтобъ сдѣлаться акушерами; повивальныя бабки стоятъ во всеоружіи, чтобъ по первому знаку положить начало родовспомогательной литературѣ. Все на чеку, все готово устремиться куда глаза глядятъ.

Повидимому, такая всеобщая готовность должна бы произвести въ обществѣ суматоху и толкотню. Однакожъ ничего подобнаго не усматривается. Вездѣ порядки, вездѣ твердое сознаніе, что толкаться

не велѣно. Но прикажите—и мы изумимъ міръ дерзостными поступками.

Увѣренность въ нашей талантливости такъ велика, что для насъ не полагается даже никакой профессіональной подготовки. Всякая профессія доступна намъ, ибо ко всякой профессіи мы отъ рожденія вкусъ получили. Свобода отъ наукъ не только не мѣшаетъ, но служитъ рекомендаціей, потому что сообщаетъ человѣку букетъ „свѣжести". „Свѣжесть", въ свою очередь, даетъ талантливости характеръ неудержимой и ни передъ чѣмъ не останавливающейся охотливости. Человѣкъ постоянно готовый и постоянно вожделѣющій—это своего рода нерушимая стѣна. Это развязный малый, передъ которымъ всякая спеціальность немедленно сдается на капитуляцію. Назовите рядомъ съ „свѣжимъ" человѣкомъ какого-нибудь „умника",—и всякій сразу пойметъ, сколько горечи и презрѣнія слышится въ этомъ послѣднемъ названіи. „Умникъ"!—вѣдь это засоренная голова! это человѣкъ, изнемогающій подъ бременемъ собственнаго безсилія! это опасный мечтатель, способный только разрушать, а не созидать!

А мы именно хотимъ только созидать, и потому блюдемъ нашу „свѣжесть" паче зѣницы ока. Мы твердо помнимъ, что отъ насъ ожидается какое-то „новое слово", а для того, чтобы оно сказалось, мы не полагаемъ никакихъ другихъ условій, кромѣ чистоты сердца и не вполнѣ поврежденнаго ума. Это условіе потому хорошо, что оно общедоступно, а сверхъ того, благодаря ему, всѣ профессіи дѣлаются безразличными. Человѣкъ, видѣвшій въ шкафу сводъ законовъ, считаетъ себя юристомъ; человѣкъ, изучившій форму кредитныхъ билетовъ, называетъ себя финансистомъ; человѣкъ, усмотрѣвшій нагую женщину, изъявляетъ желаніе быть акушеромъ. Все это люди, не обремененные знаніями, которые въ „свѣжести" почерпнутъ рѣшимость для исполненія какихъ угодно приказаній, а въ практикѣ отыщутъ и средства для ихъ осуществленія.

Практика — это тоже своего рода божество, которое выведетъ ихъ изъ умственнаго оцѣпенѣнія и дастъ смыслъ ихъ невнятному бормотанію. Тамъ, въ этой насыщенной азбучными испареніями атмосферѣ, среди недомолвокъ, справокъ, противорѣчій и колебаній, они, кроха по крохѣ, соберутъ себѣ сокровище гораздо болѣе прочное, нежели то, которое могла бы дать наука. Тамъ, на бокахъ Петровъ и Ивановъ, юристъ уяснитъ себѣ понятіе о мѣрѣ наказаній: тамъ

финансистъ во-очію убѣдится, что кредитные билеты сами хорошо знаютъ карманы, въ которыхъ имъ быть надлежитъ. И не утратятъ они при этомъ ни единой капли „свѣжести“, ибо при концѣ профессіональнаго поприща пребудутъ столь же свободны отъ наукъ, какъ и при началѣ онаго.

И надо сказать правду, еще очень недалеко то время, когда вѣра въ силу прирожденной талантливости дѣйствительно дѣлала чудеса. Приходилъ человѣкъ совершенно свѣжій и начиналъ орудовать. Писалъ законы, устанавливалъ порядки и даже доводилъ „ввѣренную“ часть до идеальнаго совершенства. Не только подчиненные, но люди совсѣмъ посторонніе—и тѣ говорили: „да, этотъ человѣкъ не то что X. или Z. Этотъ человѣкъ—*понятенъ!*“ Гдѣ тайна этого волшебства? Очевидно, ее слѣдуетъ искать или въ неизреченной наглости „свѣжихъ людей“, или же въ томъ, что самыя „ввѣренныя“ части столь уже просты, что разступаются даже передъ людьми, совсѣмъ не поврежденными науками.

Первое предположеніе, очевидно, не выдерживаетъ никакой критики. Наглость, выступающая впередъ только по приказанію — вещь, конечно, очень любопытная, но не настолько естественная, чтобы служить объясненіемъ для жизненныхъ явленій. Гораздо правильнѣе остановиться на простотѣ „ввѣренныхъ частей“, тѣмъ больше, что здѣсь приходитъ къ намъ на помощь и практика съ своими истинно-поразительными подтвержденіями.

Одинъ знатный иностранецъ, посѣщавшій Россію во времена Петра Великаго (предоставляю любителямъ отечественной старины догадаться, кто этотъ путешественникъ), разсказываетъ слѣдующее: „Несмотря на совершенныя симъ государемъ преобразованія, процессъ, посредствомъ коего управляется здѣшній народъ, столь простъ, что не требуетъ со стороны администратора ни высокаго ума, ни познаній. Я, по крайней мѣрѣ, лично зналъ одного намѣстника, который былъ до такой степени простодушенъ, что однажды, по недоразумѣнію, откусилъ свой собственный палецъ, но и за всѣмъ тѣмъ оказывался вполнѣ удовлетворительнымъ для выполненія тѣхъ задачъ, которыя ему предстояли. Каждый день передъ нимъ клали извѣстную порцію бумагъ, и ежели эта порція случайно уменьшалась, то онъ примѣтно начиналъ безпокоиться, упрекалъ подчиненныхъ въ нерадѣніи и требовалъ усугубленія рвенія. Съ теченіемъ времени онъ до того во-

шелъ въ свою роль, что сдѣлался даже прихотливымъ. Замѣтилъ, что ему подаютъ только коротенькія бумаги, и сталъ требовать длинныхъ; потомъ и симъ не удовлетворился, но велѣлъ сочинить статистику, которую, по изготовленіи, подписалъ и отправилъ. Такимъ образомъ, съ помощью одного очень простого пріема, называемаго по здѣшнему *подтягиваніемъ*, этотъ плохой и даже глупый человѣкъ прожилъ нѣсколько лѣтъ и умеръ въ званіи намѣстника естественною смертію".

Повѣрить этому разсказу очень возможно. Всякій изъ насъ зналъ на своемъ вѣку и неутомимыхъ статистиковъ, и пребодрыхъ финансистовъ, которые ничего не имѣли за душою, кромѣ чистаго сердца и не вполнѣ поврежденнаго ума — и за всѣмъ тѣмъ дѣйствовали. Какимъ образомъ могли дѣйствовать эти чистосердечные люди? Какимъ образомъ могло случиться, что только естественная смерть освобождала ихъ отъ тягостей лежавшаго на нихъ бремени? Что̀ означаетъ этотъ фактъ?

По моему мнѣнію, онъ можетъ означать одно: простоту задачъ. Очень долгое время область профессій представляла у насъ сферу совершенно отвлеченную, основу которой составляли не люди, а тѣни. X. взывалъ объ удовлетвореніи, но въ глазахъ людей профессіи онъ не существовалъ, какъ живое лицо, а существовало лишь „дѣло объ X., ищущемъ удовлетворенія". Z. томился въ тюрьмѣ, но и онъ, какъ живое лицо, былъ неизвѣстенъ, а извѣстно было только „дѣло объ Z., томящемся въ тюрьмѣ". Рѣчь шла не объ дѣйствительной участи людей, а о рѣшеніи уравненій съ однимъ или нѣсколькими неизвѣстными. Но когда живые люди постепенно доводятся до состоянія тѣней, то они и сами начинаютъ сознавать себя тѣнями и въ этомъ качествѣ дѣлаются вполнѣ равнодушны къ тому, какія рѣшаются объ нихъ уравненія и какія пишутся статистики. Вотъ тутъ-то и настигаютъ ихъ „свѣжіе" люди. Сначала они совѣстятся и довольствуются только простыми уравненіями; потомъ дѣлаются дерзкими и начинаютъ требовать статистикъ. Какіе плоды принесетъ ихъ подтягивательная дѣятельность — они не знаютъ, да и знать, по правдѣ, не нужно, потому что навѣрное она никакихъ плодовъ не принесетъ. „Все равно, братцы, помирать!" говорятъ люди, и дѣйствительно начинаютъ помирать, какъ будто и нѣ-вѣсть какое мудрое дѣло дѣлаютъ.

И что̀ всего удивительнѣе — эта „свѣжесть“ допускалась не только въ области дѣятельности спекулятивной, но и въ области ремеслъ, гдѣ, повидимому, прежде всего требуется если не искусство, то навыкъ. И тутъ люди, по приказанію, дѣлались и портными, и сапожниками, и музыкантами. Почему дѣлались?—а потому, очевидно, что требовались только *простые* сапоги, *простое* платье, *простая* музыка, то-есть такія именно вещи, для выполненія которыхъ совершенно достаточно двухъ элементовъ: приказанія и готовности. Кухарка зналъ, что̀ говорилъ, когда вызывался хоть сейчасъ быть акушеромъ. Онъ понималъ, что тутъ предстоитъ акушерство самое упрощенное, или, лучше сказать, не столько акушерство, сколько выраженіе готовности.

Такимъ образомъ оказывается, что какъ ни велика наша талантливость, все-таки она можетъ считаться дѣйствительною лишь до тѣхъ поръ, пока существуетъ безпредметность профессій, или, говоря другими словами, покуда можно всѣ сапоги шить на одну ногу. Какъ скоро дамы начнутъ требовать сапоговъ, шитыхъ по мѣркѣ, никакія приказанія не помогутъ нашей готовности. Еще Петръ Великій изволилъ приказать намъ быть европейцами, а мы только въ недавнее время попытались примѣрить на себя заправское европейское платье, да и тутъ все раздумываемъ: не рано ли? да впору ли будетъ?—Какъ хотите, а горше этой формулы самоуничиженія даже выдумать трудно.

Отъ чего же мы отбояриваемся? что̀ защищаемъ? Очевидно, мы защищаемъ то вымороченное пространство, которое, послѣ приказанія Петра Великаго: быть всѣмъ россіянамъ европейцами—такъ и осталось непаполненнымъ. Нѣтъ у насъ ничего, кромѣ пресловутой талантливости, то-есть пустого мѣста, на которомъ могутъ произрастать и пшеница, и чертополохъ. Но именно это-то пустое мѣсто и дорого намъ. Раскольники, современные Петру—и тѣ лучше были, ибо говорили: „мы хотимъ пахнуть по своему“. Мы же ничего не говоримъ, а просто-на-просто съ пустомъ въ пусто лѣземъ. И выходитъ, что мы тоже пахнемъ, только пахнемъ нежилымъ мѣстомъ.

И вотъ, недалеко отъ насъ глухая стѣна. Сапожникъ начинаетъ смутно понимать, что сколько есть на свѣтѣ ногъ, столько же должно быть и сапоговъ; администраторъ, судья, финансистъ догадываются, что сзади ихъ профессій есть нѣчто, что̀ движется и заявляетъ о своей конкретности, что̀ требуетъ, чтобъ къ нему, а не его примѣ-

ривали. Въ хаосѣ безразличія, въ которомъ еще такъ недавно витали нѣкоторый самъ себѣ довлѣющій духъ, начинаютъ выясняться отдѣльные образы, которые съ изумленіемъ смотрятъ на стѣну, воздвигнутую вѣковою русскою готовностью. И вспоминается имъ многострадальная исторія этой готовности. Вспоминается, какъ они, бія себя въ перси, на цѣлый міръ возглашали: „мы люди сѣрые, привычные! насъ хоть на куски рѣжь, хоть огнемъ пали, мы на все готовы! Вспоминается, какъ они суетились, разоряли, громили, жгли—и все это безъ ненависти, безъ злобы, даже безъ мысли, единственно ради похотливаго желанія доказать, сколь талантливъ можетъ быть человѣкъ, когда знаетъ, что его за эту талантливость не подвергнутъ тѣлесному наказанію. „Многое мы совершили, многое претерпѣли,— говорятъ они,—а въ результатѣ все-таки стѣна—и ничего болѣе!“

Эта стѣна, однакожъ, не съ неба свалилась и не изъ земли выросла. Мы имѣли свою интеллигенцію, но она заявляла лишь о готовности слѣдовать приказаніямъ. Мы имѣли такъ-называемую меньшую братію, но и она тоже заявляла о готовности слѣдовать приказаніямъ. Никто не предвидѣлъ, что наступитъ моментъ, когда каждому придется жить за собственный счетъ. И когда этотъ моментъ наступилъ, никто не вѣритъ глазамъ своимъ; всякій ощупываетъ себя, словно съ перепоя, и, не находя ничего въ запасѣ, кромѣ талантливости, кричитъ: „измѣна, бунтъ!“

Есть три способа избавиться отъ глухой стѣны. Первый заключается въ томъ, чтобы признать прихотливыми всѣ требованія жизни, которыя почему-нибудь намъ не по нутру. Эта задача очень трудная (едва-ли можно отыскать человѣка, который далъ бы увѣрить себя, что ощущаемыя имъ потребности прихотливы): но еслибъ даже мы рѣшились поддерживать ее, то и тутъ необходимо прежде всего понимать, въ чемъ заключаются приводящія въ затрудненіе потребности, откуда онѣ пришли и почему могутъ быть сочтены прихотливыми. Однимъ словомъ, необходимы умъ и знаніе. Другой способъ (тоже не весьма надежный) заключается въ томъ, чтобъ увѣрить общество, что положеніе у глухой стѣны есть самое выгодное для него положеніе. Этотъ тезисъ еще труднѣе, но и его защитить не невозможно, если есть знаніе объекта бесѣды и подготовленность къ принятію возраженій. Опять-таки знаніе и умъ. Наконецъ, третій способъ представляется въ откровенномъ признаніи законности вновь

народившихся потребностей и въ пріисканіи для нихъ правильнаго исхода. Этотъ способъ самый надежный, но тутъ уже просто-на-просто требуется ума палата.

Какой бы изъ этихъ трехъ путей ни былъ избранъ, во всякомъ случаѣ талантливость играетъ здѣсь роль далеко не первостепенную. Ни предложить что-нибудь прочное, ни даже помочь обмануть—ничего она собственною силою не можетъ. Вездѣ на первомъ планѣ требуются знаніе, примѣръ, навыкъ. Они одни могутъ дать содержаніе талантливости и въ нѣкоторыхъ случаяхъ даже обуздать ея стремительность. Человѣкъ, который на одной талантливости созидаетъ зданіе своего будущаго благополучія—это человѣкъ, у котораго есть пламенное сердце, но въ этомъ сердцѣ нѣтъ ничего, кромѣ догадки готовности. Съ этой догадкой ему предстоитъ одно изъ двухъ: или удивить міръ продерзостью, или наполнить вселенную зловоніемъ. Повидимому, это очень большой рискъ. Но мы убѣдимся, что тутъ даже риска никакого нѣтъ, если примемъ въ соображеніе, что сневѣжничать во всякомъ случаѣ легче, нежели совершить подвигъ. А талантливость именно тѣмъ и отличается, что всегда имѣетъ въ виду дѣла самыя блестящія, то-есть самыя легкія. Бѣжку съѣсть, вавилонскую башню проектировать—вотъ задачи, которыя ей льстятъ, на которыя она обращаетъ всю свою похотливость. И посмотрите, съ какою легкостью выступаютъ эти люди впередъ! Какъ они заранѣе трубятъ о побѣдѣ, какъ клянутся голыми руками потушить пылающій костеръ!

И чѣмъ больше предвкушеніе торжества, тѣмъ больше малодушія, ненависти и подозрительности при первомъ неуспѣхѣ. Эта послѣдняя черта очень опасна, потому что почва бунтовъ и измѣны, на которую вступаетъ потерпѣвшая неудачу талантливость, есть единственная доступная ея уровню. Ни измѣна, ни бунты, по нашему извѣчному обычаю, не требуютъ опредѣленій. Оба эти слова для каждаго ясны сами по себѣ, то-есть ясны именно въ томъ смыслѣ, какой тотъ или другой талантливый субъектъ желаетъ имъ сообщить. Съ произнесеніемъ краткаго и въ то же время совершенно неопредѣленнаго звука пріобрѣтается и исходный пунктъ, и матеріалъ для наполненія всей послѣдующей карьеры. Затѣмъ уже слѣдуютъ обузданія...

А что же, кромѣ обузданій, произвела на свѣтъ наша талантли-

вость за все время ея вѣкового и при томъ вполнѣ безпрепятственнаго существованія?

Представьте себѣ такой случай: директоръ департамента призываетъ къ себѣ столоначальника и говоритъ ему: „Любезный другъ! я желалъ бы, чтобъ вы открыли Америку“.

Я не берусь утверждать, чтобъ столоначальникъ осмѣлился возразить, но онъ все-таки пойметъ, что открытіе Америки совсѣмъ не его ума дѣло. Поэтому, всего вѣроятнѣе, онъ поступитъ такъ: разошлетъ во всѣ мѣста запросы и затѣмъ постарается кончить дѣло изморомъ.

Но пускай тотъ же директоръ тому же столоначальнику скажетъ: „Любезный другъ! я желалъ бы, чтобъ вы всѣхъ этихъ Колумбовъ привели къ одному знаменателю!“

Вы не успѣете оглянуться, какъ Колумбы подлинно будутъ обузданы, а Америка такъ и останется неоткрытою.

Митрофаны не измѣнились. Какъ и во время Фонъ-Визина, они не хотятъ знать ариѳметики, потому что приходъ и расходъ сосчитаетъ за нихъ приказчикъ; они презираютъ географію, потому что кучеръ довезетъ ихъ, куда будетъ приказано; они небрегутъ исторіей, потому что старая нянька всякія исторіи на сонъ грядущій разскажетъ. Одно право они упорно отстаиваютъ—это право обуздывать, право простирать руками впередъ.

Митрофанъ на все способенъ, потому что на все готовъ.

Онъ спеціалистъ по части гражданскаго судопроизводства, потому что занималъ деньги и не отдавалъ оныхъ.

Онъ спеціалистъ по части уголовнаго судопроизводства, потому что давалъ затрещины и получалъ оныя.

Онъ спеціалистъ по части администраціи, потому что знаетъ такія ругательства, которыя могутъ въ одно мгновеніе опалить человѣка.

Онъ спеціалистъ по части финансовъ, потому что всѣ трактиры были свидѣтелями его финансовыхъ операцій.

Онъ медикъ, потому что страдалъ секретными болѣзнями.

Онъ акушеръ, потому что видалъ нагихъ женщинъ.

Всѣ профессіи онъ изучилъ на своихъ собственныхъ бокахъ съ такой основательностью, что даже получилъ названіе „выжиги“.

„Выжига“ —это совсѣмъ не ругательный, а скорѣе дѣловой терминъ, означающій мужа совѣта. „Ужъ коли этакая выжига не поможетъ“,—говорятъ вамъ, указывая на X. или Z.,—„то дѣло твое пропащее“. Вы обращаетесь къ „выжигѣ“, и, къ изумленію вашему, онъ дѣйствительно помогаетъ вамъ. Это до того удивительно, что вамъ непремѣнно приходитъ на мысль, что и этотъ „выжига“, и средства, которыя онъ употребляетъ, и ваше дѣло, и вы сами—все это, взятое вмѣстѣ, не стоитъ ломанаго гроша. Все это какой-то безобразный миражъ, способный поселить въ душѣ не то отчаяніе, не то презрѣніе ко всему: къ жизни, къ себѣ самому...

„Дайте „выжигѣ“ рубль серебра—онъ заложитъ душу чорту; дайте пять рублей—онъ самъ сдѣлается чортомъ. Ему и это сдѣлать легко, потому что онъ одинъ въ цѣломъ мірѣ знаетъ, гдѣ найти чорта и что̀ у него просить.

Это ходячій кошмаръ, который прокрадывается во всѣ закоулки жизни и умѣетъ до такой степени прочно внѣдриться всюду, что, несмотря на свою безазбучность, успѣваетъ сдѣлаться необходимымъ человѣкомъ и подлиннымъ мужемъ совѣта.

И все благодаря лишь тому, что простота задачъ продолжаетъ привлекать всѣ сердца.

Намъ все еще чудится, что надо нѣчто разорить, чему-то положить предѣлъ, что-то стереть съ лица земли. Не полезное что-нибудь сдѣлать, а именно только разорить. Ежели признаться по совѣсти, то это собственно мы и разумѣемъ, говоря о процессѣ созданія. Наши такъ-называемые консерваторы суть расточители по преимуществу. Вселенная кажется имъ наполненною скоро-восиламеняющимися элементами, состоящими изъ козней, крамолъ и измѣны. Со всѣмъ этимъ надо, конечно, покончить. Но къ кому же обратиться? Кто возьметъ на себя трудное обязательство сражаться противъ козней некознедѣйствующихъ и крамолъ некрамольствующихъ? Кто, кромѣ Митрофана, этого вѣчно-талантливаго и вѣчно-готоваго человѣка, для котораго не существуетъ даже объекта движеній и исполнительности, а существуетъ только самое движеніе и самая исполнительность? Налетѣлъ, нагрянулъ, ушибъ—а что̀ ушибъ?—онъ даже не интересуется и узнавать объ этомъ...

Времена усложняются. Съ каждымъ годомъ борьба съ жизнью дѣлается труднѣе для эмпириковъ и невѣждъ. Но Митрофаны не унываютъ. Они продолжаютъ думать, что карьера ихъ только-что началась, и вселенная есть не что иное, какъ вымороченное пространство, которое имъ еще долго придется наполнять своими подвигами. Какимъ образомъ могли зародиться всѣ эти смѣлыя надежды? гдѣ ихъ отправной пунктъ? Увы! услѣдить за этимъ не только трудно, но даже совсѣмъ невозможно.

Митрофанъ—плохой теоретикъ; онъ не любитъ ни анализировать, ни обобщать, и упорнѣе всего отворачивается отъ самого себя. Еслибъ вчерашній день былъ въ свѣжей памяти, онъ, быть можетъ, стоялъ бы укоромъ или, по малой мѣрѣ, поученіемъ. Но такъ какъ вчерашняго дня нѣтъ, такъ какъ послѣдовавшая за нимъ ночь принесла за собой хмельное забвеніе все гопронлаго, то нѣтъ мѣста ни для поученій, ни для уроковъ. Представьте себѣ пропойца, который встаетъ съ постели съ разбитымъ лицомъ, съ угнетенною винными парами головой, весь подавленный чувствомъ тупого самоотсутствія, которое не даетъ ему возможности не только что-нибудь ощущать, но просто даже разобрать, гдѣ онъ и кто онъ. Еслибъ этотъ человѣкъ могъ понимать, еслибъ онъ могъ ясно представить себѣ всѣ подробности безобразій прошедшаго дня, быть можетъ тутъ произошла бы потрясающая драма. Но такъ какъ онъ ничего не помнитъ, ничего себѣ не представляетъ, то чувствуетъ только одно: гнетущую потребность опохмелиться. Удовлетворивши этой потребности, онъ снова возвращается къ вчерашнему дню, но не для того, чтобъ анализировать, а для того, чтобъ воспроизвести его съ буквальною точностью. Въ этой безнадежной картинѣ заключается единственно-возможное объясненіе всего Митрофанова существованія.

Для Митрофана не существуетъ ни опыта, ни преданія, ни возможности дѣлать какія-либо умозаключенія, потому что всякая настоящая минута его жизни безъ остатка вытѣсняется слѣдующею минутою. Его наглость не есть наглость, легкомысліе не есть легкомысліе. Это сейчасъ родившійся и притомъ совершенно порожній человѣкъ, объ котораго, какъ о каменную скалу, разбивается принципъ вмѣняемости. Его дѣйствія можно было бы сравнить съ проявленіемъ стихійной силы, но даже и это сравненіе оказывается неумѣстнымъ, потому что задача стихіи—безсознательное разрушеніе

рядомъ съ безсознательнымъ творчествомъ, а задача Митрофана— одно безсознательное разрушеніе. Вотъ почему до сихъ поръ не существуетъ ни одной сколько-нибудь ясной теоріи митрофанства, которая могла бы оправдать его существованіе и указать на перспективы, ожидающія это явленіе въ будущемъ.

Въ XVIII вѣкѣ Митрофанъ впервые выступилъ на дорогу дѣятельности во всемъ блескѣ своей талантливости. Въ эту достопамятную эпоху со всѣхъ сторонъ сыпались на него стрѣлы просвѣщенія, и онъ съ какою-то ребяческою отвагой подставлялъ имъ свое рыхлое тѣло. Но въ дѣйствительности онъ облюбовалъ только одну изъ нихъ, а именно ту, которая называется табелью о рангахъ, и въ ней замкнулъ весь смыслъ своего существованія. Все, что̀ стояло рядомъ съ этой табелью, всѣ математики, химіи, механики, фортификаціи и проч., о насажденіи которыхъ, съ жезломъ въ рукахъ, хлопоталъ Петръ Великій—все это только внѣшнимъ образомъ окатило Митрофана, оставивъ въ его тѣлѣ лишь легкій ознобъ. Но табель о рангахъ внѣдрилась, вошла въ плоть и кровь. Съ этою табелью въ рукахъ, хмельной отъ приливовъ талантливости, онъ рыскалъ по домамъ и горамъ, внося въ самые глухіе закоулки смѣлую проповѣдь о чиноначаліи и заражая самыя убогія хижины своею просвѣтительною дѣятельностью. Передъ немеркнущимъ блескомъ табели о рангахъ тускло, почти презрѣнно свѣтились прочіе вопросы жизни, то-есть все то, что̀ составляетъ дѣйствительную силу страны. Жизнь остановилась, охваченная со всѣхъ сторонъ безнадежнѣйшимъ эмпиризмомъ: источники во-очію изсякли подъ игомъ расточительности и хищничества; стихіи безконтрольно господствовали надъ трудомъ и жизнью человѣка, а Митрофанъ ничего не замѣчалъ, ни передъ чѣмъ не останавливался и упорно отстаивалъ убѣжденіе, что табель о рангахъ дастъ все: и славу, и богатство, и рѣшительный голосъ въ дѣлѣ устройства судебъ человѣчества.

Только полуторавѣковой искусъ могъ поколебать это убѣжденіе и возбудить сомнѣніе насчетъ живописныхъ свойствъ табели о рангахъ. Но такъ какъ это была единственная форма западно-европейской жизни, которая не только привилась, но даже значительно усовершенствовалась, и такъ какъ съ нею отождествилась идея о просвѣщеніи, то весьма естественно, что сомнѣніе въ ея доброкачественности распространилось огуломъ и на всѣ прочіе результаты, вырабо-

танные цивилизаціей Запада. Мнѣнія, что Западъ разлагается, что та или другая раса обветшала и сдѣлалась неспособною для пользованія свободой, что западная наука поражена безплодіемъ, что общественныя и политическія формы Запада представляютъ безконечную цѣпь лжей, въ которой одна ложь исчезаетъ, чтобъ дать мѣсто другой—вотъ мнѣнія, наиболѣе любезныя Митрофану. И все потому только, что онъ смѣшалъ цивилизацію съ табелью о рангахъ. Благодаря гг. Бартеневу и Семевскому, онъ знаетъ не мало анекдотовъ изъ исторіи просвѣтительной дѣятельности XVIII вѣка и, заручившись ими, считаетъ себя уже совершенно свободнымъ отъ церемонныхъ отношеній къ цивилизаціи вообще. Заговорите съ Митрофаномъ о какихъ угодно открытіяхъ или порядкахъ, которыхъ польза ясна и несомнѣнна даже для неразвитого человѣка—онъ оскалитъ зубы и вмѣсто опроверженія ушибетъ васъ такимъ анекдотомъ изъ „Русскаго Архива", что вамъ сдѣлается неловко. Напрасно вы будете доказывать, что просвѣтительная дѣятельность, на которую онъ ссылается, не есть просвѣтительная дѣятельность, а пародія на нее; что онъ же, Митрофанъ, долженъ быть обвиненъ въ томъ, что изъ всѣхъ плодовъ западной цивилизаціи успѣлъ вкусить только отъ самаго гнилого и притомъ давно брошеннаго подъ столъ—онъ отвѣтитъ на ваши доказательства другимъ анекдотомъ, еще болѣе пахучимъ, и будетъ дѣйствовать такимъ образомъ до тѣхъ поръ, пока вы не убѣдитесь въ совершенномъ безсиліи какихъ бы то ни было доказательствъ передъ силою анекдота и уподобленія.

Но ежели нѣтъ ясныхъ фактовъ (нельзя же принимать за фактъ одну голую готовность), на основаніи которыхъ можно было бы создать теорію митрофанства, то есть упованія и прозрѣнія. Извѣстно, что ничто такъ не окрыляетъ фантазію, какъ отсутствіе фактовъ. Нѣтъ фактовъ—значитъ, есть пустое пространство, не ограниченное никакими межевыми признаками, которое можно населить какими угодно привидѣніями. Поэтому, какъ только Митрофанъ вступаетъ на почву упованій, онъ дѣлается смѣлъ до дерзости, необуздавъ до самозабвенія. Онъ говоритъ—и съ восхищеніемъ слушаетъ самого себя: и чѣмъ больше говоритъ, тѣмъ больше чувствуетъ потребность говорить,—говорить безъ конца. И всегда для своихъ разговоровъ выберетъ тезисъ самый неожиданный, самый блестящій: либо пятую стихію, либо новое слово. „Будетъ носить чужое заношенное бѣлье,

—скажетъ онъ:—пора произнести и свое собственное *новое* слово". И, конечно, надежду на произнесеніе этого новаго слова возложитъ на самого себя.

Что носить чужое заношенное бѣлье не лестно—это истина для всѣхъ непререкаемая. Но Митрофанъ упускаетъ изъ вида, что онъ носилъ это заношенное бѣлье добровольно, не замѣчая, что оно давно уже брошено за негодностью, и радуясь только тому, что оно досталось ему съ барскаго плеча. Цивилизованные народы всегда имѣютъ полный комплектъ бѣлья, и потому мѣняютъ его такъ часто, что обладателю рубища это можетъ показаться даже прихотью. Стало быть, въ томъ нѣтъ ничего удивительнаго, что рядомъ съ чистымъ бѣльемъ имѣется порядочная куча и заношеннаго; скорѣе же удивительно то душевное настроеніе, которое заставляетъ останавливаться именно на заношенномъ бѣльѣ предпочтительно передъ чистымъ. Кто жъ виноватъ въ существованіи такого настроенія?

Тайна этой переимчивости заднимъ числомъ опять-таки объясняется слишкомъ большою талантливостью Митрофана. Ему некогда слѣдить за быстро смѣняющимися явленіями жизни, потому что онъ, уловивши одну какую-нибудь крупицу, уже не можетъ отвязаться отъ нея, не натѣшившись всласть, не выжавши изъ нея сока, не доведя факта до абсурда. Изъ фрака онъ сдѣлаетъ мундиръ и напишетъ цѣлый трактатъ о ношеніи его; изъ бритья бороды онъ создастъ себѣ кумиръ и будетъ носиться съ этимъ кумиромъ до изнеможенія. Воспріимчивость угнетаетъ его и нерѣдко даже дѣлаетъ опаснымъ утопистомъ и безпардоннѣйшимъ регламентаторомъ. Покуда онъ носится съ своимъ „живымъ вопросомъ" и старается вцѣдрить его въ себя на вѣки-вѣчные, живой вопросъ давно уже оказывается сданнымъ въ архивъ и замѣненнымъ другими, болѣе подходящими вопросами. Что въ результатѣ такой упорной воспріимчивости можетъ быть только глухая стѣна,—это очевидно; но Митрофанъ слишкомъ самолюбивъ, чтобы обвинить себя въ такомъ неудачномъ результатѣ. „Сколько лѣтъ мы носимъ фраки, сколько крови изъ-за одной бороды пролито, а все толку нѣтъ!" говоритъ онъ, и принимаетъ твердое намѣреніе навсегда отвернуться отъ затѣй разлагающагося Запада, который, на его взглядъ, до того уже тощи, что и натѣшиться-то ими вдоволь нельзя.

Никто, конечно, не споритъ, что политическія и общественныя

формы, выработанныя Западной Европой, далеко не совершенны. Но здѣсь важна не та или другая степень несовершенства, а то, что Европа не примирилась съ этимъ несовершенствомъ, не покончила съ процессомъ созданія и не сложила рукъ, въ чаяніи, что счастіе само свалится когда-нибудь съ неба. Митрофанъ же смотритъ на это дѣло совершенно иначе. Заявляя о неудовлетворительности упомянутыхъ формъ, и въ особенности напирая на то, что у насъ онѣ (являясь въ видѣ заношеннаго чужого бѣлья) всегда претерпѣвали полнѣйшее фіаско. онъ въ то же время завиняетъ и самый процессъ творчества, называетъ его безплоднымъ метаніемъ изъ угла въ уголъ, анархіей, бунтомъ. По обыкновенію больше всего достается тутъ Франціи, которая. какъ извѣстно, выдумала двѣ вещи: ширину взглядовъ и канканъ. Изъ того числа—канканъ принятъ Митрофаномъ съ благодарностью. а отъ ширины взглядовъ онъ отплевывается и до-днесь со всею страстностью своей воспріимчивой натуры.

Увы! Митрофанъ не знаетъ, какъ трудно положеніе человѣка. который обязывается жить своимъ умомъ. Нѣтъ у послѣдняго ничего готоваго, кромѣ того, что онъ приготовилъ своими собственными руками и до чего додумался силою собственной мыслительной способности. У него, конечно, имѣется въ запасѣ большое подспорье—наука, которую онъ самъ же выдумалъ и вывелъ въ люди; но наука еще не настолько полна, чтобъ отвѣчать на всѣ запросы жизни. Желанія человѣка опережаютъ науку, и вотъ онъ дѣлаетъ все новыя попытки, впадаетъ въ заблужденія, поправляетъ себя и опять заблуждается. Все это обходится очень дорого, но человѣкъ, живущій своимъ умомъ. не можетъ устранить опытовъ, достающихся даже дорогою цѣной. Онъ знаетъ, во-первыхъ, что въ ширинѣ его запросовъ заключается залогъ непрерывающагося развитія жизни, да сверхъ того не можетъ отказаться отъ попытокъ уже и потому, что одна удовлетворенная потребность рождаетъ въ немъ другую, которая тоже требуетъ удовлетворенія. Поэтому, быть можетъ, онъ коношится нѣсколько болѣе. нежели тотъ солидный человѣкъ, который знаетъ. что кучеръ навѣрное привезетъ его туда, куда приказано: и не столь мудръ, какъ тотъ мудрецъ, который стоитъ, уставясь глазами въ стѣну. и твердо уповаетъ. что стѣна сама собой разступится передъ нимъ. Часто намъ случается слышать, какъ говорятъ: „вотъ дрянные людишки! что ни человѣкъ—то мнѣніе: что ни вопросъ—то споръ!“ Но это только

издали кажется, что эти людишки дрянные; въ сущности, это люди, живущіе своимъ умомъ и понимающіе всю трудность подобнаго положенія. Простимъ ихъ, ибо они все-таки болѣе самихъ себя безпокоятъ, нежели насъ.

Митрофанъ съ особеннымъ удовольствіемъ останавливается на политическихъ и общественныхъ формахъ, потому что видитъ ихъ внѣшнюю измѣнчивость, и отъ этого признака приходитъ къ заключенію о негодности самаго процесса созданія этихъ формъ. По его мнѣнію, капризъ и чудачество обуреваютъ вселенную: люди не по необходимости мѣняютъ старыя формы общежитія на новыя, а потому только, что такъ вздумалось. То внутреннее содержаніе, отъ котораго зависитъ то или другое устройство обществъ, тѣ открытія и изобрѣтенія человѣческаго ума, которыя такъ рѣзко опредѣляютъ характеръ того или другого періода исторіи человѣчества, совершенно закрыты для него. Однакоже это пропускъ очень важный.

Историческая наука недаромъ отдѣлила послѣднія четыре столѣтія и существеннымъ признакомъ этого отграниченія признала великія изобрѣтенія и открытія XV вѣка. Здѣсь проявленія усилій человѣческой мысли дали жизни человѣчества совсѣмъ иное содержаніе и разъ навсегда доказали, что общественныя и политическія формы имѣютъ только кажущуюся самостоятельность, что онѣ дѣлаются шире и растяжимѣе по мѣрѣ того, какъ пополняется и осложняется матеріалъ, составляющій ихъ содержаніе.

Митрофанъ ничего этого не знаетъ и не хочетъ знать. Онъ живетъ въ вѣкъ открытій и изобрѣтеній, и думаетъ, что между ними и тою или другою формою жизни нѣтъ ничего общаго. Въ его глазахъ передвигаются центры человѣческой индустріи; въ его глазахъ матеріальныя и умственныя богатства перемѣщаются изъ однѣхъ рукъ въ другія, а онъ продолжаетъ думать, что все это не болѣе, какъ случайность, и сѣшитъ заткнуть ту или другую дыру и сдѣлать нѣкоторыя ничтожныя поправки въ обветшавшемъ зданіи табели о рангахъ. „Да,—только въ табели о рангахъ, ибо какъ ни глумится надъ ней Митрофанъ подъ веселую руку, а она все-таки и до-днесь составляетъ единственный обрывокъ цивилизаціи, дѣйствительно дорогой его сердцу.

И вотъ такимъ-то образомъ проводится время въ ожиданіи „новаго слова“ и открытія пятой стихіи. Самонадѣянность и хвастов-

ство ростутъ, а житье наступаетъ трудное, трудное даже для Митрофановъ. Нелѣпостно перенимаютъ они всякую новую штуку; но такъ какъ эта штука является независимо отъ общихъ формъ жизни, то весьма естественно, что она ихъ же бьетъ въ лобъ. Міръ открытій и изобрѣтеній, въ глазахъ Митрофановъ, есть міръ подробностей, существующій an sich und für sich и не имѣющій внутренней связи съ общимъ строемъ жизни. Понятно, какое должно выйти столпотвореніе, сколько заплатъ, пятенъ и брызговъ грязи должно быть на той ризѣ, которую сооружаетъ себѣ Митрофанъ и къ которой онъ каждый день прибавляетъ по новой заплатѣ, по новому грязному пятну.

Но кромѣ путаницы Митрофану угрожаетъ еще другая бѣда: отчаяніе. Онъ можетъ очутиться въ положеніи раскольника, съ часу на часъ ожидающаго антихриста. Если антихристъ въ виду, если черезъ минуту все должно кончиться, то понятно, что не нужно ни жать, ни сѣять, ни собирать въ житницы, а нужно заботиться только о саванѣ и гробѣ. Подобно сему, если каждое новое открытіе или усовершенствованіе приводитъ лишь къ тому, что бьетъ въ лобъ, и ежели при этомъ нѣтъ даже поползновенія опредѣлить причину такого странаго дѣйствія открытій и усовершенствованій, то остается одно изъ двухъ: или закутаться въ саванъ, или обратиться въ дикое состояніе.

И за всѣмъ тѣмъ насъ ждетъ еще „новое слово“... но, Боже мой! сколько же есть прекрасныхъ и вполнѣ испытанныхъ старыхъ словъ, которыхъ мы даже не пытались произнести, какъ уже хвастливо выступаемъ впередъ съ чѣмъ-то новымъ, которое мы, однакожъ, не можемъ даже опредѣлить! Есть ли разсчетъ предпочесть неизвѣстное извѣстному? и честно ли, наконецъ, угрожать вселенной „новымъ словомъ“, когда намъ самимъ небезъизвѣстно, что матеріалъ для этого „новаго слова“ состоитъ исключительно изъ „краткихъ начатковъ“ да изъ первыхъ четырехъ правилъ ариѳметики?

Гдѣ жъ элементы будущаго? вотъ вопросъ.

Въ теченіе послѣднихъ пятнадцати лѣтъ у насъ выступило впередъ многое, о чемъ никому и не снилось до того времени. На недостатокъ приказаній мы пожаловаться не можемъ, ибо ими наполнены всѣ страницы нашей новѣйшей исторіи,—какимъ же образомъ отвѣчала на нихъ наша талантливость?

Всюду, куда мы ни обратимся, встрѣчаемъ одинъ отвѣтъ: погодите! еще время не ушло!

У насъ есть сословіе адвокатовъ... погодите! еще время не ушло!

У насъ есть гласный и устный судъ... погодите! еще время не ушло!

У насъ есть земскіе дѣятели... погодите! еще время не ушло!

У насъ есть опыты крестьянскаго самоуправленія... погодите! еще время не ушло!

Погодите! не торопитесь! куда спѣшить!—въ одинъ голосъ воютъ всѣ Митрофаны, и вопіютъ такъ громко, что постороннiй человѣкъ останавливается въ какомъ-то странномъ недоумѣніи. Съ одной стороны, судя по непрерывности предостерегающихъ криковъ, ему кажется, что въ сей пространной вели происходитъ либеральное столпотвореніе; съ другой стороны, онъ видитъ, ясно видитъ, что вся поспѣшность здѣсь заключается въ томъ, чтобы не спѣшить.

А этимъ временемъ, помаленьку да потихоньку, адвокаты превращаются въ „аблакатовъ“, а земскіе дѣятели—въ устроителей пикниковъ, закусокъ и обѣдовъ.

Подготовки нѣтъ, а ремесленность уже проникаетъ всюду. Ремесленность самаго низшаго сорта, ремесленность, ничего иного не вожделѣющая, кромѣ гроша. Надулъ, сосводничалъ, получилъ грошъ, изъ онаго копѣйку пропилъ, другую спряталъ—въ этомъ весь интересъ настоящаго. Когда грошей накопится достаточно, можно будетъ задрать ноги на столъ и начать пить безъ просыпу: въ этомъ весь идеалъ будущаго.

И съ такимъ-то запасомъ, съ такими-то идеалами Митрофанъ собирается въ дальній путь и надѣется сказать свое новое слово! Въ ожиданіи же минуты, когда „слово“ назрѣетъ, онъ не на шутку мечтаетъ быть просвѣтителемъ.

Просвѣтительная миссія— это идеалъ Митрофана, это провиденціальное его назначеніе. Со штофомъ въ рукѣ, съ непреоборимымъ аппетитомъ въ желудкѣ, онъ мечется изъ угла въ уголъ, обѣщая все привести къ одному знаменателю (къ какому—онъ самъ того не знаетъ) и забывая, что прежде всего ему необходимо себя самого привести къ знаменателю просвѣщенія...

Молчаніе —вотъ единственный ясный результатъ, который покуда выработала наша такъ-называемая талантливость. Затѣмъ, въ

ожиданіи того таинственнаго „новаго слова“, которому предстоитъ обновить міръ, все-таки остается во всей своей неприкосновенности очень серьезный вопросъ:

Гдѣ жъ элементы будущаго?

I.—Что такое „ташкентцы“?

„Ташкентцы“—имя собирательное.

Тѣ, которые думаютъ, что это только люди, желающіе воспользоваться прогонными деньгами въ Ташкентъ, ошибаются самымъ грубымъ образомъ.

„Ташкентецъ“—это просвѣтитель. Просвѣтитель вообще, просвѣтитель на всякомъ мѣстѣ и во что бы то ни стало: и притомъ просвѣтитель, свободный отъ наукъ, не смущающійся этимъ, ибо наука, по мнѣнію его, создана не для распространенія, а для стѣсненія просвѣщенія. Человѣкъ науки прежде всего требуетъ азбуки, потомъ складовъ, четырехъ правилъ ариѳметики, таблички умноженія и т. д. „Ташкентецъ“ во всемъ этомъ видитъ неумѣстную придирку и прямо говоритъ, что останавливаться на подобныхъ мелочахъ—значитъ спотыкаться и напрасно тратить золотое время. Онъ создалъ особенный родъ просвѣтительной дѣятельности—просвѣщенія безазбучнаго, которое не обогащаетъ просвѣщаемаго знаніями, не даетъ ему болѣе удобныхъ общежительныхъ формъ, а только снабжаетъ извѣстнымъ запахомъ. Тотъ, кто пьетъ хересъ très vieux, считаетъ себя просвѣтителемъ относительно того, кто пьетъ хересъ просто vieux; тотъ, кто пьетъ хересъ vieux, считается просвѣтителемъ всѣхъ, пьющихъ настойку и водку. Разумѣется, это только примѣръ, но я привожу его для того, чтобы дать читателю понятіе о градаціи. Градацію эту онъ можетъ перенести во всякую другую сферу (напримѣръ, въ сравнительную сферу сюртуковъ и поддёвокъ, ресторановъ и харчевенъ, кокотокъ, имѣющихъ ложу въ бель-этажѣ, и кокотокъ, безнадежно пристающихъ къ прохожему въ Большой Мѣщанской, и т. п.), лишь бы она кончалась человѣкомъ, „который ѣстъ лебеду“. Это тотъ самый человѣкъ, на которомъ окончательно обрушивается ташкентство всевозможныхъ родовъ и видовъ.

Но и здѣсь не слѣдуетъ понимать буквально, что „человѣкъ, питающійся лебедою“, долженъ непремѣнно наполнять свой желудокъ этимъ суррогатомъ. „Лебеда“, какъ и „голодъ“, суть выраженія фигуральныя, дающія мѣсто для великаго множества представленій. Есть лебеда натуральная, которая слыветъ въ мірѣ подъ названіемъ подспорья, и отъ которой, во всякомъ случаѣ, хоть животъ у человѣка пучитъ; и есть лебеда абстрактная, которая даже подспорьемъ ничему не служитъ. Человѣкъ, который питается этою послѣднею лебедою, есть именно тотъ человѣкъ, котораго голоду нѣтъ предѣловъ. Онъ со всѣхъ сторонъ открытъ для дѣйствія безазбучнаго. Онъ не можетъ дать отпора, потому что у него самого нѣтъ единственнаго орудія, съ помощью котораго можно отражать безазбучное просвѣтительство—нѣтъ азбуки. Какимъ образомъ ея не оказывается на-лицо—отъ рожденія ли онъ не имѣлъ ея, или утратилъ вслѣдствіе разныхъ историческихъ обстоятельствъ—дѣло не въ томъ; во всякомъ случаѣ онъ стоитъ со всѣхъ сторонъ открытый, и любому охочему человѣку нѣтъ никакой трудности приложить къ нему какія угодно просвѣтительныя задачи.

Однажды я собственными ушами слышалъ слѣдующій разговоръ:

— Дайте срокъ!—говорилъ нѣкто:—вотъ тамъ-то (имя рекъ) должны произойти на дняхъ серьезныя замѣшательства—безъ насъ дѣло не обойдется!

— Шагу безъ насъ не сдѣлаютъ!—ораторствовалъ другой:—только зѣвать въ этомъ дѣлѣ не слѣдуетъ, не то какъ разъ перебьютъ дорогу!

Я полюбопытствовалъ взглянуть: мимо меня проходили не люди, а нѣчто въ родѣ горилль, способныхъ раздробить зубами дуло ружья. У каждаго изъ нихъ навѣрное воспріемницей была управа благочинія,—не та, которая имѣетъ мѣстопребываніе на Садовой улицѣ, а та, которая издревле подстерегаетъ рожденіе охочаго русскаго человѣка и тотчасъ же принимаетъ его въ свои нѣдра, чтобъ не выпустить оттуда никогда.

Въ другой разъ я слышалъ другой разговоръ:

— Слышали? нигилисты-то!.. вѣдь это, батюшка, кладь!

— Кладь-то кладь; только зѣвать въ этомъ дѣлѣ не нужно, а слѣдуетъ разъ-разъ-разъ... вашему превосходительству имѣю честь явиться!

Я взглянулъ: передо мною были тѣ же гориллы.

Въ третій разъ:

— Взялъ и ухватилъ! Потому, сударь, что въ этомъ дѣлѣ главное—ухватить! Даже ума не требуется! Кому слѣдуетъ вручилъ, съ кого слѣдуетъ получилъ! Ухватилъ—и баста!

— Ухватить-то ухватилъ; только зѣвать тоже не слѣдуетъ, потому что нашего брата поньче ой-ой какъ расплодилось!

Опять гориллы...

Чего хотѣли эти человѣкообразные? чему они радовались?

Съ чѣмъ, съ какими орудіями они приступали къ дѣйствію? Вотъ эти-то вопросы и слѣдуетъ предлагать себѣ всякій разъ, когда присутствуешь при подобнаго рода разсужденіяхъ и разговорахъ. Если этихъ вопросовъ не будетъ, вся соль разсужденій утратится, а вмѣстѣ съ тѣмъ утратится и смыслъ общаго теченія жизни. Очень часто мы проходимъ, слышимъ, смотримъ и нимало не вдумываемся въ то, мимо чего проходимъ, что̀ слышимъ, на что̀ смотримъ. Въ бо̀льшей части случаевъ, конкретность поражаетъ наши чувства скорѣе машинально, нежели сознательно, и вслѣдствіе этого, явленія по малой мѣрѣ сомнительныя кажутся обыкновенными, чуть не доблестными. Обнажимъ ихъ отъ покрововъ обыденности, дадимъ мѣсто сомнѣніямъ, поставимъ въ упоръ вопросъ: кто вы такіе? откуда? — и мы можемъ заранѣе сказать себѣ, что наше сердце замретъ отъ ужаса при видѣ праха, который поднимется отъ одного сознательнаго прикосновенія къ нимъ...

Вопрошать всегда слѣдуетъ, хотя бы проходящее передъ нашими глазами явленіе представлялось обыденнымъ или даже совсѣмъ постороннимъ. Говорятъ, что излишніе вопросы прибавляютъ излишнюю горечь въ жизни, что отсутствіе вопросовъ предохраняетъ отъ состоянія безсмѣннаго страха, въ которомъ очутился бы человѣкъ, еслибъ онъ всегда видѣлъ вещи въ ихъ дѣйствительномъ, безпокровномъ видѣ. Это правда; но правда и то, что вѣдь вслѣдъ за страхомъ само собою приходитъ и охота освободиться отъ него; а это уже выигрышъ несомнѣнный. Поэтому слѣдуетъ разъ навсегда сказать себѣ, что въ мірѣ общественныхъ отношеній нѣтъ ничего обыденнаго, а тѣмъ менѣе постороннягo. Все насъ касается, касается не косвенно, а прямо, и только тогда мы успѣемъ покорить свои страхи, когда уловимъ интимный тонъ жизни, или, иначе, когда мы вполнѣ усвоимъ

себѣ обычай вопрошать всѣ безъ изъятія явленія, которыя она производитъ.

Чего хотѣли упомянутые выше люди? — этотъ вопросъ разрѣшается однимъ словомъ:

Жрать!!

Жрать что бы то ни было, цѣною чего бы то ни было!

Жгучая мысль объ ѣдѣ не даетъ покоя безазбучнымъ; она день и ночь грызетъ ихъ существованіе. Какъ добыть ѣду?—въ этомъ весь вопросъ. Къ счастію, есть штука, называемая безазбучнымъ просвѣщеніемъ, которая ничего не требуетъ, кромѣ цѣпкихъ рукъ и хорошо развитыхъ инстинктовъ плотоядности; вотъ въ эту-то штуку они и вгрызаются всею силою своихъ здоровыхъ зубовъ...

Отрицать чье бы то ни было право на ѣду невозможно. Но нужно сознаться, что иногда это право разростается до такихъ размѣровъ, за которыми уже слѣдуетъ опасность. Дѣло въ томъ, что безазбучный ташкентецъ требуетъ ѣды не только некупленной, но и безпрерывно возобновляющейся; онъ никогда не довольствуется однимъ кускомъ, но, проглатывая этотъ кусокъ, уже усматриваетъ другой. Чѣмъ больше онъ ѣстъ, тѣмъ больше онъ голоденъ, и это объясняется тѣмъ естественнѣе, что онъ даже утратилъ привычку утолять свой голодъ порядочнымъ образомъ. Онъ не ѣстъ, а закусываетъ, хватая урывками, на-лету: вотъ почему безпрерывное его закусыванье не бросается въ глаза. Ѣда падаетъ словно въ пропасть. Закусывая и перехватывая, ташкентецъ непримѣтно истребляетъ цѣлыя массы всякаго рода тушъ, и, къ удивленію, это нимало не утучняетъ его. Въ томъ-то и заключается ужасъ, который возбуждаетъ этотъ человѣкъ, что онъ никогда не скажетъ: „я сытъ!“

Если намъ не кажутся странными нѣкоторыя радости, если мы не останавливаемся въ оцѣпенѣніи передъ нѣкоторыми надеждами, то это потому только, что мы не даемъ себѣ труда анализировать ихъ внутреннее содержаніе. А между тѣмъ въ этихъ случаяхъ чье-то счастье всегда основано на чьемъ-то несчастіи, чья-то надежда всегда равносильна чьему-то отчаянью. Сомнѣніе здѣсь тѣмъ болѣе непростительно, что достаточно самаго поверхностнаго обзора подобныхъ личностей, чтобы почувствовать себя неспокойно. Они идутъ медленно, глядятъ угрюмо и строго, шевелятъ челюстями, скрипятъ зубами, какъ будто говорятъ: дай срокъ! перекушу я тебѣ когда-нибудь горло!

Другіе виляютъ, поражаютъ своею юркостью и самымъ наивнымъ образомъ изыскиваютъ способы снять съ васъ сюртукъ, а въ случаѣ надобности и лишить васъ мимоходомъ жизни. Смотрите внимательнѣе—и навѣрное вы сдѣлаете такія открытія, которыя непремѣнно принесутъ пользу. Отъ васъ не ускользнутъ ни судорожныя подергиванья рукъ, ни блудящіе огоньки, которыми, по временамъ, искрятся мутные глаза, ни мгновенные перекаты голоса; однимъ словомъ, ничего изъ того, что вы до сей минуты считали мелочью. Этого достаточно будетъ, чтобъ обогатить вашъ умъ познаніями и раскрыть сущность явленія, дотолѣ загадочнаго. Вы пріучитесь наблюдать за собою, вы не дадите подкупать себя простодушною обыденностью. Въ вашу душу проникнетъ страхъ, но повторяю: это здоровый страхъ, потому что приводитъ за собой рѣшимость во что бы ни стало освободиться отъ него.

Нѣтъ ничего опаснѣе обыденности, именно потому, что она приемелькивается нашему взору. Мотается передъ нами дряпной человѣчишко, и мы не спрашиваемъ даже себя: кого-то онъ оборвалъ? Кого-то заживо освѣжевалъ? Кого-то проглотилъ? Мы ждемъ, чтобъ намъ объявили объ этомъ съ церемоніей, то-есть, чтобъ тутъ былъ и приговоръ суда, и эшафотъ, и заплечный мастеръ. Только тогда, на мѣстѣ казни, всматриваясь въ эту несытую фигуру, мы говоримъ себѣ: „каковъ! а я еще вчера видѣлъ, какъ онъ шныряль по улицамъ!“ Но даже и это не всегда вразумляетъ насъ, ибо, сказавши себѣ такое назиданіе, мы тутъ же опять вступаемъ на торную дорогу, опять завязываемъ себѣ глаза, и не разстаемся съ нашей повязкой до тѣхъ поръ, покуда новая церемонія съ эшафотомъ и заплечнымъ мастеромъ насильно не сорветъ ея.

Понять извѣстное явленіе значитъ уже обобщить его, значитъ осуществить его для себя не въ одной какой-нибудь частности, а въ цѣломъ рядѣ таковыхъ, хотя бы онѣ, на поверхностный взглядъ, имѣли между собой мало общаго. Понять же явленіе вредное, порочное—значитъ на половину предостеречь себя отъ него. Вотъ почему я прошу читателя убѣдиться, что названіе „ташкентцы“ отнюдь не слѣдуетъ принимать въ буквальномъ смыслѣ. О! еслибъ всѣ ташкентцы нашли себѣ убѣжище въ Ташкентѣ! Вы могли бы сказать тогда: „Ташкентъ есть страна, населенная выходцами изъ Россіи, за ненадобностью, ташкентцами“. Но теперь—развѣ мы можемъ указать

навѣрное, гдѣ начинаются границы нашего Ташкента и гдѣ онѣ кончаются? не живутъ ли господа ташкентцы посреди насъ? не рыскаютъ ли стадами по весямъ и градамъ нашимъ?

И вѣдь никто-то, никто не признаетъ ихъ за ташкентцевъ, а всѣ видятъ лишь добродушныхъ малыхъ, которымъ до смерти хочется ѣсть...

Ташкентъ, какъ терминъ географическій, есть страна, лежащая на юго-востокъ отъ Оренбургской губерніи. Это классическая страна барановъ, которые замѣчательны тѣмъ, что къ стрижкѣ ласковы и послѣ оголѣнія вновь обрастаютъ съ изумительной быстротой. Кто будетъ ихъ стричь—къ этому вопросу они, повидимому, равнодушны, ибо знаютъ, что стрижка есть нѣчто неизбѣжное въ ихъ жизни. Какъ только они завидятъ, что вдали грядетъ человѣкъ стригущій и брѣющій, то подгибаютъ подъ себя ноги и ждутъ...

Какъ терминъ отвлеченный, Ташкентъ есть страна, лежащая всюду, гдѣ бьютъ по зубамъ и гдѣ имѣетъ право гражданственности преданіе о Макарѣ, телятъ не гоняющемъ. Если вы находитесь въ городѣ, о которомъ въ статистическихъ таблицахъ сказано: жителей столько-то, приходскихъ церквей столько-то, училищъ нѣтъ, библіотекъ нѣтъ, богоугодныхъ заведеній пѣтъ, острогъ одинъ и т. п.—вы можете сказать безъ ошибки, что находитесь въ самомъ сердцѣ Ташкента. Навѣрное вы найдете тутъ и просвѣтителей, и просвѣщаемыхъ, услышите крики: „ай! ай!“—свидѣтельствующіе о томъ, что корни ученія горьки, а плоды его сладки, и усмотрите того классическаго, въ потѣ лица снискивающаго свою лебеду человѣка, около котораго, вѣчно его облюбовывая, похаживаетъ вѣчно несытый, но вѣчно жрущій ташкентецъ. Но училищъ и библіотекъ все-таки не найдете.

Нашъ Ташкентъ, о которомъ мы ведемъ здѣсь рѣчь, находится тамъ, гдѣ дерутся и бьютъ.

Вчера я былъ въ театрѣ, въ самомъ аристократическомъ изъ всѣхъ—въ итальянской оперѣ—и вдругъ увидѣлъ ташкентца, и что всего удивительнѣе—ташкентца-француза (оказалось, что это былъ генералъ Флёри). Скулы его были развиты необычайно, носъ орлиный, зубы стиснуты, глаза—искали. Что-то безнадежное сказывалось въ этой сухой и мускулистой фигурѣ, какъ будто тамъ, внутри, все давно застыло и умерло. Разумѣется, кромѣ чувства

плотоядности. Я инстинктивно обратился къ моему сосѣду и съ волненіемъ, какъ будто хотѣлъ его предостеречь, сказалъ:

— Посмотрите, какой ташкентецъ!

Сосѣдъ съ удивленіемъ взглянулъ сначала на меня, потомъ въ ту сторону, въ которую я указывалъ; затѣмъ началъ всматриваться-всматриваться, и наконецъ пожалъ мнѣ руку, какъ будто въ самомъ дѣлѣ я избавилъ его отъ бѣды.

Изъ этого я заключилъ, что кромѣ тѣхъ границъ, которыхъ невозможно опредѣлить, Ташкентъ существуетъ еще и за границею (каламбуръ плохой, но пускай онъ останется, благо понятенъ).

Переходя отъ одного умозаключенія къ другому, я пришелъ къ догадкѣ, что даже такія формы, которыя, повидимому, свидѣтельствуютъ о присутствіи цивилизаціи, не всегда могутъ служить ручательствомъ, что Ташкентъ изгибъ. Ташкентъ удобно мирится съ желѣзными дорогами, съ устностью, гласностью, однимъ словомъ, со всѣми выгодами, которыми, по всей справедливости, гордится такъ-называемая цивилизація. Прибавьте только къ этимъ выгодамъ самое маленькое слово: фюить! — и вы получите такой Ташкентъ, лучше котораго желать не надо.

Истинный Ташкентъ устраиваетъ свою храмину въ правахъ и въ сердцѣ человѣка. Всякій, кто видитъ въ семейномъ очагѣ своего ближняго не огражденное мѣсто, а арену для веселонравныхъ похожденій, есть ташкентецъ; всякій, кто въ физіономіи своего ближняго видитъ не образъ Божій, а токъ, на которомъ можетъ во всякое время молотить кулаками, есть ташкентецъ; всякій, кто, не стѣсняясь, швыряетъ своимъ ближнимъ, какъ неодушевленною вещью, кто видитъ въ немъ лишь матеріалъ, на которомъ можно удовлетворять всевозможнымъ проказливымъ движеніямъ, есть ташкентецъ. Человѣкъ, разсуждающій, что вселенная есть не что иное, какъ вымороченное пространство, существующее для того, чтобъ на немъ можно было плевать во всѣ стороны, есть ташкентецъ...

Нравы создаютъ Ташкентъ на всякомъ мѣстѣ; бываютъ въ жизни обществъ минуты, когда Ташкентъ насильно стучится въ каждую дверь и становится на неизбѣжную очередь для всякаго существованія. Это въ особенности чувствуется въ эпохи, которыя условлено называть переходными. Можетъ быть, именно чувствуется потому, что въ подобныя минуты рядомъ съ Ташкентомъ уже зарождается

нѣчто похожее на гражданственность, нѣчто напоминающее человѣку на возможность располагать своими движеніями... потихоньку, милостивые государи! потихоньку! Можетъ быть, это „нѣчто зарождающееся“, „нѣчто намекающее“ и дѣлаетъ особенно нестерпимою боль при видѣ все-таки прямо стоящаго Ташкента? Дѣйствительно, все это очень возможно; но что же кому за дѣло до этого! Развѣ объясненія утѣшаютъ кого-нибудь? развѣ они умаляютъ хоть на каплю переполняющую сердце горечь? Я знаю одно: что никогда, даже въ самыя глухія, печальныя историческія эпохи нельзя себѣ представить такого количества людей отчаявшихся, людей махнувшихъ рукою, сколько ихъ видится въ эпохи переходныя. И рядомъ съ этими отчаявшимися—сколько людей, все позабывшихъ, все въ себѣ умертвившихъ... все, кромѣ безконечнаго аппетита!

Я, конечно, былъ бы очень радъ, еслибъ могъ, начиная этотъ рядъ характеристикъ, сказать: читатель! смотри—вонъ пздыхающій Ташкентъ! но, увы! я не имѣю въ запасѣ даже этого утѣшенія! Конечно, я знаю, что есть какой-то Ташкентъ, который умираетъ, но въ то же время знаю, что есть и Ташкентъ, который нарождается вновь. Эта преемственность Ташкентовъ по истинѣ пугаетъ меня. Вездѣ шаткость, вездѣ сюрпризъ. Я вижу людей, работающихъ въ пользу идей несомнѣнно скверныхъ и опасныхъ и сопровождающихъ свою работу возгласомъ: „пади! задавлю!“ и вижу людей, работающихъ въ пользу идей справедливыхъ и полезныхъ, но тоже сопровождающихъ свою работу возгласомъ: „пади! задавлю!“ Я не вижу рамокъ, тѣхъ драгоцѣнныхъ рамокъ, въ которыхъ хорошее могло бы упразднять дурное безъ заушеній, безъ возгласовъ, обѣщающихъ задавить. Мнѣ скажутъ на это: всему причиной Ташкентъ древній, Ташкентъ установившійся и окрѣпшій. Пожалуй я и на это согласенъ. Что Ташкентъ порождаетъ Ташкентъ—въ этомъ нѣтъ ничего невѣроятнаго, но вѣдь это только доказываетъ, что и пессимисты, усматривающіе въ будущемъ достаточно длинный рядъ Ташкентовъ, тоже не совсѣмъ неправы въ своей безнадежности. Утѣшительнаго въ этомъ объясненіи немного.

Этотъ порочный кругъ не можетъ не огорчать. Когда видишь такое общественное положеніе, въ которомъ одинъ Ташкентъ упраздняется только по милости возникновенія другого Ташкента, то сердце невольно сжимается и дѣлается вѣщуномъ чего-то недобраго. Гово-

рятъ: новый Ташкентъ необходимъ только для того, чтобы стереть слѣды стараго; какъ скоро онъ выполнитъ эту задачу, то перестанетъ быть Ташкентомъ. На это я могу отвѣтить только: да, это разсужденіе очень ободрительное; но и за всѣмъ тѣмъ я ни на іоту не успѣю моего легковѣрія и не надѣну узды на мои сомнѣнія. Всюду, куда я ни обращаю мои взоры, я вижу: съ одной стороны—упорствующую безазбучность; съ другой—увеличивающійся аппетитъ и возрастающую затѣйливость требованій для удовлетворенія его. Ничто такъ не прихотливо, какъ Ташкентъ, твердо рѣшившійся не выходить изъ безазбучности и въ то же время уже порастлившійся тонкою примѣсью цивилизаціи. Пирогъ, начиненный устностью и гласностью—помилуйте! да это такое объяденье, что вѣкъ его ѣшь—и вѣкъ сытъ не будешь! Тутъ-то и лестно размахнуться, когда размахъ сопровождается какими-то пикантными видимостями, какъ будто препятствующими, а въ сущности едва-ли не способствующими. Вѣдь и изъ опыта извѣстно, что нарѣзное ружье стрѣляетъ дальше, нежели ружье, у котораго дуло имѣетъ внутренность гладкую...

Милостивые государи! если вы не вѣрите въ существованіе господъ ташкентцевъ, я попросилъ бы васъ выйти на минуту на улицу. Тамъ вы навѣрное и на каждомъ шагу насладитесь такого рода разговорами:

— Я бы его, каналью, въ баранiй рогъ согнулъ,—говоритъ одинъ,—да и жаловаться бы не велѣлъ!

— Этого человѣка четвертовать мало!—восклицаетъ другой.

— На необитаемый островъ-съ! пускай тамъ морошку собираетъ-съ!—вопіетъ третій.

Не думайте, чтобъ это были приговоры какого-то жестокаго, но все-таки установленнаго и всѣми признаннаго судилища: нѣтъ, это приговоры простыхъ охочихъ русскихъ людей. Они ходятъ себѣ гуляючи по улицѣ и мимоходомъ ввертываютъ въ свою безазбучную рѣчь словцо о четвертованіи. Иногда они даже не понимаютъ и содержанія своихъ приговоровъ и измышляютъ всевозможныя казни единственно по простосердечію... Да, читатель, по простосердечію! и ежели ты сомнѣвался, что даже въ слово „четвертованіе“ можетъ вкрасться простосердечіе, то взгляни на эти самодовольныя фигуры, устремляющіяся въ клубъ обѣдать—и убѣдись!

Меня нерѣдко занимаетъ вопросъ: можетъ ли палачъ обѣдать? можетъ ли онъ быть отцомъ семейства? какую картину долженъ представлять его семейный бытъ? ласкаетъ ли онъ жену свою? гладитъ ли по головѣ ребенка? Помнитъ ли онъ? то-есть, помнитъ ли, что онъ—заплечный мастеръ?

Признаюсь, я долгое время не могъ даже представить себѣ, чтобъ палачъ имѣлъ надобность насыщаться; мнѣ казалось, что онъ долженъ быть всегда сытъ. Но съ тѣхъ поръ какъ я увидѣлъ ташкентцевъ, которые, посуливъ кому-то четвертованіе и голодную смерть на необитаемомъ островѣ, тутъ же сряду устремились обѣдать—мои сомнѣнія сразу покончились. Да, сказалъ я себѣ—это вѣрно; палачъ можетъ обѣдать, можетъ имѣть семейство, ласкать жену, гладить по головѣ ребенка! Что нужды, что онъ сегодня же утромъ гладилъ кого-то по спинѣ?—былъ часъ и было дѣло; насталъ другой часъ—настало другое дѣло; въ такомъ-то часу онъ заплечный мастеръ, въ такомъ-то—отецъ семейства, въ такомъ-то—полезный гражданинъ... Всѣ часы распредѣлены, и у всякаго часа есть особенная клѣтка. Все имѣетъ свою очередь, все идетъ своимъ порядкомъ, и слѣдовательно все обстоитъ благополучно...

Но оставимъ заплечнаго мастера и займемся нашими ташкентцами, изъ разряда простодушныхъ.

„Согнуть въ баранiй рогъ“—ясно, что эти люди не понимаютъ, какъ это больно, если они не теряютъ даже аппетита, выразивши своему ближнему такое странное пожеланіе. Ясно также, что они и о „необитаемомъ островѣ“ имѣютъ понятіе только по слышанной ими въ дѣтствѣ исторіи о Робинзонѣ Крузо. Можетъ быть, имъ думается, что вотъ, дескать, Робинзонъ и въ пустынѣ нашелъ средства приготовить себѣ обѣдъ и прикрыть свою наготу... Невѣжды! они не знаютъ даже того, что эта исторія вымышленная? Но въ томъ-то и дѣло, что есть случаи, когда невѣжество не только не вредитъ, но помогаетъ. Во-первыхъ, оно освобождаетъ человѣка отъ множества представленій, передъ которыми онъ отступилъ бы въ ужасѣ, если бы имѣлъ отчетливое понятіе о ихъ внутренней сущности: во-вторыхъ, оно дозволяетъ содержать аппетитъ въ постоянно-достаточной степени возбужденности. Защищенный бронею невѣжества, чего можетъ устыдиться гуляющій русскій человѣкъ?—того ли, что въ произнесенныхъ имъ сейчасъ угрозахъ нельзя усмотрѣть ничего другого, кромѣ безсмысли-

наго бреха? но почемъ же вы знаете, что онъ и самъ не смотритъ на всѣ свои дѣйствія, на всѣ свои слова, какъ на сплошной брехъ? Онъ ходитъ—брешетъ, ѣстъ—брешетъ. И знаетъ это, и нимало ему не стыдно.

Что тутъ есть брехъ — это несомнѣнно. Но дѣло въ томъ, что васъ настигаетъ не одиночный какой-нибудь брехъ, а цѣлая совокупность бреховъ. И вдругъ вамъ объявляютъ, что эта-то совокупность именно и составляетъ общественное мнѣніе. Сначала вы не вѣрите и усиливаете ваши наблюденія; но мало-по-малу сомнѣнія слабѣютъ. Проходитъ немного времени, и вы уже восклицаете: какъ это странно, однакожъ!.. всѣ брешутъ!

Всѣ не всѣ, но это не мѣшаетъ предполагать, что еслибъ при употребленіи нѣкоторыхъ выраженій мы давали мѣсто элементу сознательности, то дѣло отъ этого едва-ли бы проиграло.

Возьмемъ для примѣра хоть одно такое выраженіе: согнуть въ бараній рогъ. Что нужно сдѣлать, чтобы выполнить эту угрозу? нужно перегнуть человѣка почти вчетверо, и притомъ такъ, чтобъ головой онъ упирался въ животъ, и чтобъ потомъ ноги черезъ голову перекинулись бы на спину. Тогда только образуется довольно правильное кольцо, обвившееся само около себя и представляющее подобіе бараньяго рога. Возможно ли подобное предпріятіе?—по совѣсти, это сказать нельзя. Я увѣренъ, что человѣкъ умретъ немедленно, какъ только начнутъ пригибать его голову съ тѣми усиліями, какія необходимы для подобной операціи. Когда онъ умретъ, конечно уже можно будетъ и пригибать, и наматывать какъ угодно, но удовольствія въ этомъ занятіи не будетъ. Какая польза оперировать надъ трупомъ, который не можетъ даже выразить, что онъ цѣнитъ дѣлаемыя по поводу его усилія? По моему, если ужъ оперировать, такъ оперировать надъ живымъ человѣкомъ, который можетъ и чувствовать, и слегка нагрубить, и въ то же время не лишенъ способности пропзвести правильную оцѣнку...

Но—скажутъ мнѣ—какъ же вы не понимаете, что выраженіе „въ бараній рогъ согнуть“ есть выраженіе фигуральное? Знаю я это, милостивые государи! знаю, что это даже просто брехъ. Но не могу не огорчаться, что въ нашу и безъ того не очень богатую рѣчь постепенно вкрадывается такое ужасное множество бреховъ самыхъ по-

шлыхъ. самыхъ вредныхъ. По моему мнѣнію, не мѣшало бы подумать и о томъ, чтобы освободиться отъ нихъ.

Итакъ, Ташкентъ можетъ существовать во всякое время и на всякомъ мѣстѣ. Не знаю, убѣдился ли въ этомъ читатель мой, но я убѣжденъ настолько, что считаю себя даже вполнѣ компетентнымъ, чтобы написать довольно подробную картину нравовъ, господствующихъ въ этой отвлеченной странѣ. Такимъ образомъ, я нахожу возможнымъ изобразить:

ташкентца, цивилизующаго in partibus;

ташкентца, цивилизующаго внутренности;

ташкентца, разрабатывающаго собственность казенную (въ просторѣчіи—казнокрадъ);

ташкентца, разрабатывающаго собственность частную (въ просторѣчіи—воръ);

ташкентца промышленнаго;

ташкентца, разрабатывающаго смуту внѣшнюю;

ташкентца, разрабатывающаго смуту внутреннюю; — и такъ далѣе, почти до безконечности.

Очень часто эти люди весьма различны по виду; но у всѣхъ имѣется одинъ соединительный крикъ:

Жрать!!

Я не предполагаю писать романъ, хотя похожденія любого изъ ташкентцевъ могутъ представлять много запутаннаго, сложнаго и даже поразительнаго. Мнѣ кажется, что романъ утратилъ свою прежнюю почву съ тѣхъ поръ, какъ семейственность и все, что̀ принадлежитъ къ ней, начинаетъ измѣнять свой характеръ. Романъ (по крайней мѣрѣ, въ томъ видѣ, какимъ онъ являлся до сихъ поръ) есть по преимуществу произведеніе семейственности. Драма его зачинается въ семействѣ, не выходитъ оттуда и тамъ же заканчивается. Въ положительномъ смыслѣ (романъ англійскій), или въ отрицательномъ (романъ французскій), но семейство всегда играетъ въ романѣ первую роль.

Этотъ теплый, уютный, хорошо обозначившійся элементъ, который давалъ содержаніе роману, улетучивается на глазахъ у всѣхъ. Драма начинаетъ требовать другихъ мотивовъ; она зарождается гдѣ-

то въ пространствѣ и тамъ кончается. Покуда это пространство не освѣщено, все въ немъ будетъ казаться и холодно, и темно, и безпріютно. Перспективъ не видно; драма кажется отданною въ жертву случайности. Того пришибло, тотъ умеръ съ голоду — развѣ такое разрѣшеніе можетъ быть названо разрѣшеніемъ? Конечно, можетъ: и мы не признаемъ его таковымъ единственно потому, что оно предлагается намъ обрубленное, обнаженное отъ тѣхъ предшествующихъ звеньевъ, въ которыхъ собственно и заключалась никѣмъ незамѣченная драма. Но эта драма существовала несомнѣнно и заключала въ себѣ образцы борьбы гораздо болѣе замѣчательной, нежели та, которую представлялъ намъ прежній романъ. Борьба за неудовлетворенное самолюбіе, борьба за оскорбленное и униженное человѣчество, наконецъ борьба за существованіе — все это такіе мотивы, которые имѣютъ полное право на разрѣшеніе посредствомъ смерти. Вѣдь умиралъ же человѣкъ изъ-за того, что его милая поцѣловала своего милаго, и никто не находилъ дикимъ, что эта смерть называлась разрѣшеніемъ драмы. Почему?—а потому именно, что этому разрѣшенію предшествовалъ самый процессъ цѣлованія, то-есть драма. Тѣмъ съ большимъ основаніемъ позволительно думать, что и другія, отнюдь не менѣе сложныя опредѣленія человѣка тоже могутъ дать содержаніе для драмы весьма обстоятельной. Если ими до сихъ поръ пользуются недостаточно и неувѣренно, то это потому только, что арена, на которой происходитъ борьба ихъ, слишкомъ скудно освѣщена. Но она есть, существуетъ и даже очень настоятельно стучится въ двери литературы. Въ этомъ случаѣ я могу сослаться на величайшаго изъ русскихъ художниковъ, Гоголя, который давно провидѣлъ, что роману предстоитъ выйти изъ рамокъ семейственности.

Романъ современнаго человѣка разрѣшается на улицѣ, въ публичномъ мѣстѣ—вездѣ, только не дома; и притомъ разрѣшается самымъ разнообразнымъ, почти непредвидѣннымъ образомъ. Вы видите: драма начиналась среди уютной обстановки семейства, а кончилась Богъ знаетъ гдѣ; началась поцѣлуями двухъ любящихъ сердецъ, а кончилась полученіемъ прекраснаго мѣста, Сибирью и т. п. Эти рѣзкіе перерывы и переходы кажутся намъ неожиданными, но между тѣмъ въ нихъ несомнѣнно есть своя строгая послѣдовательность, только усложнившаяся множествомъ разнаго рода мотивовъ, которые и до сихъ поръ еще ускользаютъ отъ нашего вниманія или неправильно

признаются нами не-драматическими. Прослѣдить эту неожиданность такъ, чтобъ она перестала быть неожиданностью — вотъ, по моему мнѣнію, задача, которая предстоитъ геніальному писателю, имѣющему создать новый романъ.

Само собою разумѣется, что я не пытаюсь даже подойти къ подобной задачѣ; я сознаю, что она мнѣ не по силамъ. Но такъ какъ я все-таки понимаю ее довольно ясно, то беру на себя роль собирателя матеріаловъ для нея. Есть типы, которые объяснить небезполезно, въ особенности въ тѣхъ вліяніяхъ, которыя они имѣютъ на современность. Если справедливо, что во всякомъ положеніи вещей главнымъ зодчимъ является исторія, то не менѣе справедливо и то, что вездѣ можно встрѣтить отдѣльныхъ индивидуумовъ, которые служатъ воплощеніемъ „положенія“ и представляютъ собой какъ бы отвѣтъ на потребность минуты. Понять и разъяснить эти типы — значитъ понять и разъяснить типическія черты самого положенія, которое ими не только не заслоняется, но, напротивъ того, съ ихъ помощью дѣлается болѣе нагляднымъ и рельефнымъ. И мнѣ кажется, что такого рода разъяснительная работа хотя и не представляетъ условій совершенной цѣльности, но можетъ внести въ общую сокровищницу общественной физіологіи матеріалъ довольно цѣнный.

Но тутъ является еще одно условіе — это отношеніе писателя къ типамъ, имъ изображаемымъ. Всякая данная историческая минута, несмотря на то, что ее можно охарактеризовать однимъ выраженіемъ (такъ напримѣръ, объ извѣстныхъ эпохахъ говорятъ, что это эпохи, когда „злое начало въ человѣкѣ пришло къ спокойному и полному сознанію самого себя“ (Нибуръ, „Чт. о др. ист.“), представляетъ, однакожъ, довольно много мотивовъ, очень разнообразныхъ, изъ которыхъ одни вызываютъ типы, возбуждающіе негодованіе, другіе — типы, возбуждающіе сочувствіе. Казалось бы, что нѣтъ повода ни для негодованія, ни для сочувствія, если ужъ разъ признано, что во всякомъ положеніи главнымъ зодчимъ является исторія. Между тѣмъ мы не можемъ воздержаться, чтобы однихъ не обвинить, а другихъ не ставить на пьедесталъ, и чувствуемъ, что, поступая такимъ образомъ, мы поступаемъ совершенно законно и разумно. Мнѣ кажется, явленіе это объясняется тѣмъ, что въ этомъ случаѣ и сочувствіе, и негодованіе устремляются не столько на самые типы, сколько на то или иное воздѣйствіе ихъ на общество. Кромѣ дѣйствующихъ силъ

добра и зла. въ обществѣ есть еще извѣстная страдательная среда, которая преимущественно служитъ ареной для всякаго воздѣйствія. Упускать эту среду изъ вида невозможно, еслибъ даже писатель не имѣлъ другихъ претензій, кромѣ собиранія матеріаловъ. Очень часто объ ней ни слова не упоминается, и оттого она кажется какъ бы вычеркнутою; но эта вычеркнутость мнимая, въ сущности же представленіе объ этой страдательной средѣ никогда не покидаетъ мысли писателя. Это та самая среда, въ которой прячется „человѣкъ, питающійся лебедою". Живетъ ли онъ, или только прячется? Мнѣ кажется, что хотя онъ по преимуществу прячется, но все-таки и живетъ немного.

Спрашивается: можетъ ли писатель оставаться совершенно безучастнымъ къ тому или иному способу воздѣйствія на эту страдательную среду?

Какъ бы то ни было, но покуда арена, на которую видимо выходитъ новый романъ, остается неосвѣщенною, скромность и сознаніе пользы заставляютъ вступать на нее не въ качествѣ художника, а въ качествѣ собирателя матеріаловъ. Это развязываетъ писателю руки, это ставитъ его въ прямыя отношенія къ читателю. Собиратель матеріаловъ можетъ дозволить себѣ внѣшнія противорѣчія — и читатель не замѣтитъ ихъ; онъ можетъ навязать своимъ героямъ сколько угодно должностей, званій, ремеслъ; онъ можетъ сегодня уморить своего героя, а завтра опять возродить его. Смерть въ этомъ случаѣ — смерть примѣрная; въ сущности, герой живъ до тѣхъ поръ, покуда живо положеніе вещей, его вызвавшее.

Но я чувствую, что уже достаточно распространился о томъ, какую цѣль имѣютъ въ виду предлагаемые этюды.

Нѣтъ ничего легче, какъ составить краткое извѣстіе о родопроисхожденіи любого „ташкентца".

Въ большинствѣ случаевъ, это дворянскій сынъ, не потому, чтобы въ дворянствѣ фаталистически скоплялись элементы всевозможнаго ташкентства, а потому, что сословіе это до сихъ поръ было единымъ дѣйствующимъ и, слѣдовательно, невольно представляло собой разсадникъ всего, что такъ или иначе имѣло возможность проявлять

себя. Кромѣ пороковъ, тутъ были, конечно, и добродѣтели. Затѣмъ „ташкентецъ“ непремѣнно получилъ такъ-называемое классическое образованіе, т.-е. такое, которое имѣло свойствомъ испаряться немедленно по оставленіи паціентомъ школьной скамьи. Еще Грановскій подмѣтилъ это странное свойство россійскаго классицизма. „Студенты—пишетъ онъ въ одномъ изъ своихъ писемъ („Біографич. очеркъ“ А. Станкевича) — занимаются хорошо, пока не кончили курса“, или, другими словами, до тѣхъ поръ, покуда можетъ потребоваться сдача экзамена. Послѣ сего, какъ и слѣдуетъ ожидать, наступаетъ полнѣйшая „свобода отъ наукъ“.

И въ самомъ дѣлѣ, представьте себѣ молодого человѣка, который выходитъ изъ школы, предварительно сдавши свои экзамены. Приготовленіе къ нимъ стоило ему нѣсколькихъ недѣль самаго усидчиваго и назойливаго труда и не мало безсонныхъ ночей. Въ теченіе курса онъ занимался всѣмъ, чѣмъ хотите, только не пріобрѣтеніемъ знанія. Инстинктъ подсказывалъ ему, что даровая жизнь не требуетъ знанія и что знаніе, въ свою очередь, не можетъ даже имѣть никакихъ примѣненій къ даровой жизни. При такомъ положеніи вещей можетъ существовать только одинъ стимулъ для пріобрѣтенія знанія (въ особенности знанія съ точки зрѣнія классицизма, знанія, не имѣющаго немедленнаго и непосредственнаго приложенія)—это любознательность. Но развѣ можно обвинять кого бы то ни было за то, что онъ мало любознателенъ? развѣ любознательность обязательна? Нашъ юноша очень хорошо понимаетъ это и убѣждается въ необходимости знанія только въ ту минуту, когда приходится сдавать экзамены. Нѣсколько недѣль сряду онъ находится въ возбужденномъ, почти восторженномъ состояніи. Въ теченіе этого времени онъ окачиваетъ себя множествомъ разнообразнѣйшихъ знаній, но понимаетъ только одно: что знанія служатъ отвѣтомъ на печатные билеты, которые онъ долженъ будетъ брать на-удачу со стола экзаменатора. Увы! этихъ билетиковъ такъ много, что на нѣкоторые изъ нихъ онъ даже не успѣлъ приготовить отвѣтовъ...

Но судьба видимо покровительствуетъ ему: онъ вынимаетъ именно тотъ билетикъ, который всего тверже вызубрилъ. Ура! онъ оставляетъ школу и получаетъ дипломъ!

Онъ во всеоружіи является на ту самую арену исторіи, на которой, по выраженію Грановскаго, онъ долженъ быть и матеріаломъ,

и зодчимъ („зачѣмъ же матеріаломъ?—недоумѣваетъ онъ про себя: —не лучше ли прямо зодчимъ?“).

Нимало не медля, отправляется онъ въ трактиръ, и этимъ открываетъ свое вступленіе на арену исторіи. Черезъ полчаса онъ уже смѣшиваетъ Ликурга съ Солономъ, а Мильтіада дружески называетъ Марафономъ. Проходитъ еще полчаса—и вотъ даже этотъ маскарадный разговоръ начинаетъ тяготить его. Изъ устъ его вылетаютъ какія-то имена, но не Агриппины Старшей и даже не Мессалины, а какой-то совсѣмъ не-классической Машки...

Знаніе, которымъ онъ окатилъ себя, уже соскользнуло. Онъ помнитъ только одно: что онъ получилъ дипломъ и имѣетъ право, отпраздновавши какъ слѣдуетъ освобожденіе отъ наукъ, быть „зодчимъ“.

Гдѣ и въ какомъ смыслѣ зодчимъ?

Онъ устремляется подъ кровлю родительскаго дома, чтобъ отдохнуть послѣ неумѣреннаго окачиванья. Разумѣется, къ нему простираются всѣ объятія; его осматриваютъ, облюбовываютъ, говорятъ: „ну, вотъ, молодецъ!“ Но никто не спрашиваетъ, чѣмъ онъ заручился и съ какимъ запасомъ пріѣхалъ. Среди восторговъ, увеселеній и ласкъ незамѣтно проходитъ нѣсколько мѣсяцевъ; наконецъ семейный праздникъ пріѣдается, наступаетъ забота объ устройствѣ праздника болѣе солиднаго и на иной манеръ.

— Надо, мой другъ, подумать о будущемъ,—говорятъ дворянскому сыну родители:—вѣдь ты не объѣдокъ какой-нибудь, чтобы голубей гонять!

— Да, надо подумать о будущемъ!—повторяетъ дворянскій сынъ и, пользуясь этимъ случаемъ, вновь припоминаетъ, что имѣетъ право быть зодчимъ...

Или голубей гонять, или быть зодчимъ—средины нѣтъ. Сомнѣнія, къ которой изъ этихъ двухъ должностей примкнетъ выборъ, нельзя допустить; колебанію можетъ подлежать только одинъ вопросъ: гдѣ и въ какомъ смыслѣ быть зодчимъ?

Нѣкоторое время юноша колеблется между гражданской палатой и земскимъ судомъ. Въ гражданской палатѣ существуютъ крѣпостныя дѣла („прекраснѣйшія, мой другъ, эти мѣста!“ говорятъ растроганные родители), но тамъ „зодчество“ ограничивается только устройствомъ и пріумноженіемъ собственнаго благосостоянія. Въ земскомъ судѣ менѣе шансовъ для зодчества имущественнаго, зато большой

просторъ для зодчества историческаго. Историческое зодчество прельщаетъ юношу своимъ размахомъ, своею красивостью.

— Съ чѣмъ же я, однако, явлюсь на арену зодчества? что предстоитъ мнѣ созидать? что я знаю?—спрашиваетъ онъ себя, и съ непривычки ему дѣлается какъ будто совѣстно.

— Я знаю, что я ничего не знаю!—мелькаетъ въ его умѣ единственный афоризмъ, который онъ изучилъ вполнѣ твердо,

— Э! не боги горшки обжигали!—мелькаетъ, однакожъ, и другой афоризмъ, тоже достаточно твердо заученный.

Какъ всегда водится, истина позднѣйшая вытѣсняетъ истину предшествовавшую. Позднѣйшій афоризмъ даетъ молодому человѣку возможность позабыть объ афоризмѣ прежде явившемся.

Рѣшено; онъ начинаетъ обжигать горшки, и вскорѣ убѣждается, что нимало не ошибся, сочтя себя способнымъ и достойнымъ. Не только онъ самъ, но все, что его окружаетъ: товарищество, въ которое онъ вступаетъ, и даже масса, которую онъ предпринимаетъ обжигать—все въ одинъ голосъ удостовѣряетъ его, что онъ по истинѣ способенъ и достоинъ. Никто не спрашиваетъ его, что онъ знаетъ, что онъ умѣетъ дѣлать: такъ натуральнымъ кажется всѣмъ и каждому, что для обжиганія горшковъ совсѣмъ не требуются божественныя качества. Каково зодчество, таковы и зодчіе—это безспорно. Каково зодчество?—странный вопросъ!—ухватилъ, смялъ, поволокъ...

И дѣйствительно, за что бы онъ ни взялся, все въ его рукахъ спорится, все выходитъ оттуда въ лучшемъ видѣ. Онъ удивляется только одному: отчего въ школѣ его учили какъ будто чему-то другому?

— А чему, бишь, учили меня въ школѣ?—инстинктивно спрашиваетъ онъ самого себя:—ахъ, да! res nullius caedet primo occupandi!—вѣрно! Затѣмъ онъ успокоивается и окончательно рѣшаетъ въ умѣ, что нѣтъ въ мірѣ ничего столь безполезнаго, какъ нескромные вопросы.

Ворота Ташкента отворены настежъ. Молодой человѣкъ влетаетъ въ нихъ съ гиканьемъ, съ свистомъ, съ малиновымъ звономъ, надвинувши шапку набекрень... Онъ чувствуетъ, что надоѣдливая опека школы навсегда канула въ область прошлаго. Стыдиться нечего, да и некогда. Съ этой минуты онъ полноправный гражданинъ своей новой родины.

Съ этой же минуты онъ окончательно дѣлается продуктомъ ири-

нявшей его среды. Являются особенные обряды, своеобразные обычаи и еще болѣе своеобразныя понятія, которыя закрываютъ плотною завѣсой остальные обрывки воспоминаній скуднаго школьнаго прошлаго. Безазбучность становится единственною творческою силой, которая должна водворить въ мірѣ порядокъ и всеобщее безмолвіе.

Я долженъ, впрочемъ, сознаться, что ташкентство плѣняетъ меня не столько богатствомъ внутренняго своего содержанія, сколько тѣмъ, что за нимъ неизбѣжно скрывается „человѣкъ, питающійся лебедою".

Этотъ человѣкъ—явленіе очень любопытное въ томъ отношеніи, что онъ не только не знаетъ, но, повидимому, и не желаетъ сытости.

Стоитъ онъ, скучившись въ какомъ-то безобразномъ муравейникѣ, и до того съёжился и присмирѣлъ тамъ, что никто даже не интересуется знать, что это за масса такая, которая какъ будто колышется и живетъ, но изъ которой въ то же время не выходитъ ни единаго живого звука. Членораздѣльна ли она? способна ли выдѣлить изъ себя какія-нибудь особи? или же до того сплотилась и склеилась, что даже мысль не въ силахъ разложить ее?

Мракъ, окружающій эти вопросы, до такой степени густъ, что многіе воспользовались имъ, чтобъ утверждать, что всякій муравейникъ есть соединеніе безличныхъ Ивановъ, которые всѣ одинаково снабжены толоконными животами и всѣ одинаково ни на что не скалятъ зубы, ничего не просятъ, кромѣ лебеды. Это просто безшумное стадо, пасущееся среди всевозможныхъ недоразумѣній и недомыслій, питающееся наскуднѣйшими злаками, встающее съ восходомъ солнца, засыпающее съ закатомъ его, не покорившее себѣ природу, но само покорившееся ей.

„Покуда существовало крѣпостное право,—прибавляютъ защитники этого мнѣнія,—стадо, по крайней мѣрѣ, было сыто и прилежно къ воздѣлыванью: теперь оно и голодно, и вмѣсто воздѣлыванья поетъ по кабакамъ безобразныя пѣсни". Такимъ образомъ оказывается, что трудъ, какъ результатъ принужденія, и кабакъ, какъ результатъ естественнаго влеченія,—вотъ два полюса, между которыми осужденъ метаться человѣкъ, питающійся лебедою.

Другихъ опредѣленій не существуетъ; по крайней мѣрѣ Ташкентъ цивилизованный, Ташкентъ интеллигентный не съумѣлъ отыскать ихъ.

Какъ ни авторитетны подобныя показанія, однакожъ, когда подумаешь, что они даются ташкентцами, то-есть тоже жертвами всевозможныхъ недоразумѣній и недомыслій, то въ душу невольно закрадывается сомнѣніе.

Если муравейникъ, имѣя передъ собой два пути—путь трудолюбія и путь праздности, предпочелъ послѣдній первому, то, стало быть, это все-таки не просто инстинктивно-копошащійся муравейникъ, но муравейникъ, имѣющій способность выбирать. Предположимъ, что въ данную минуту онъ сдѣлалъ свой выборъ въ явный ущербъ самому себѣ, но если уже однажды признается за нимъ способность выбирать, то необходимо признать и другую способность — способность руководиться при этомъ какими-нибудь соображеніями. Очень можетъ быть, что праздность показалась ему выгоднѣе, или, по крайней мѣрѣ, пріятнѣе, нежели трудолюбіе. Я наперед соглашаюсь, что это самое грубое и даже горькое заблужденіе; но есть же какая-нибудь причина, вслѣдствіе которой и грубыя заблужденія въ иныя минуты принимаютъ видъ истины. Одну изъ такихъ причинъ, между прочимъ, представляетъ то разнорѣчіе, которое возникаетъ въ умѣ, когда начинаешь примѣнять слово „выгода“ къ слову „трудъ“. Трудъ выгоденъ—это афоризмъ очень основательный, но нельзя же принимать всякій афоризмъ буквально. Афоризмы самые крѣпкіе подвергаются разложенію: люди самые простые становятся иногда любознательными. Какая это выгода, о которой идетъ рѣчь? общая или частная? Если это общая выгода, то не слишкомъ ли понятіе объ ней отвлеченно для такого простого и неразвитого ума, какимъ представляется умъ муравейника? Если же это выгода частная, то чья именно?

Не могу не повторить здѣсь того, что̀ уже сказано было однажды въ началѣ этого этюда: никогда не лишнее дѣлать себѣ вопросы; это привычка спасительная, ибо она отрезвляетъ человѣка и всѣмъ явленіямъ сообщаетъ ихъ истинные, дѣйствительные размѣры.

Но, оставивъ въ сторонѣ несостоятельное мнѣніе о безличности „человѣка, питающагося лебедою“, я все-таки долженъ сказать, что мракъ, окружающій его, густъ очень достаточно. Дойти до этого секретно-мыслящаго, секретно-вздыхающаго и секретно-вожделѣющаго субъекта, увидѣть его лицомъ къ лицу—до такой степени трудно, что задача такого рода кажется почти неразрѣшимою. Мо-

жетъ быть, это происходитъ оттого, что пріемы, употреблявшіеся доселѣ съ этою цѣлью, были или слишкомъ грубы, или слишкомъ наивны. Эти пріемы состояли съ одной стороны въ ташкентскомъ воздѣйствіи, съ другой — въ томъ, что мы сами (и притомъ очень нескусно) притворялись людьми, питающимися лебедою. И то и другое никуда не годится. Ташкентство ошеломляетъ, но не изслѣдуетъ: притворство выглядываетъ наружу изъ-подъ самой искусной гримировки и при частомъ повтореніи обращается въ привычку, которая всѣ дѣйствія человѣка держитъ въ какомъ-то искусственномъ плѣну. Нужно найти какой-нибудь средній путь, на которомъ наблюдатель могъ бы обозрѣвать человѣка, питающагося лебедою, оставаясь самимъ собой, то-есть не ташкентствуя, но и не лебезя.

Говоря по совѣсти, этого средняго пути я еще не знаю, но, кажется, что съ 19 февраля 1861 года онъ уже начинаетъ понемногу освѣщаться. Массы выясняются; показываются очертанія отдѣльныхъ особей; наблюдательныя средства получаютъ возможность дѣйствовать успѣшнѣе не потому, чтобы они сами по себѣ дошли до совершенства, а потому, что уничтожилось нѣсколько лишнихъ преградъ, стоявшихъ между предметомъ и предметнымъ стекломъ. Очень возможно, что упадутъ и другія, послѣднія преграды.

Что тогда откроется?—вотъ въ чемъ весь вопросъ.

II.—Ташкентцы-цивилизаторы.

Цивилизующее значеніе Россіи въ исторіи развитія человѣчества всѣми учебниками статистики поставлено на такомъ незыблемомъ основаніи, что самое щекотливое самолюбіе должно успокоиться и сказать себѣ, что далѣе этого идти невозможно. Я узналъ объ этомъ назначеніи очень рано. Тому назадъ давно—я воспитывался въ то время въ одномъ изъ военно-учебныхъ заведеній, и какъ сейчасъ помню, что это было на слѣдующее утро послѣ какого-то великолѣпно удавшагося торжественнаго дня—мы слушали первую лекцію статистики. Профессоръ вошелъ на каѳедру и слѣдующимъ образомъ началъ свою бесѣду о цивилизующемъ значеніи Россіи. „А замѣтили

ли вы, господа,—сказалъ онъ.—что у насъ въ высокоторжественные дни всегда играетъ ясное солнце на ясномъ и безоблачномъ небѣ? что ежели, по временамъ, погода съ утра и не обѣщаетъ быть хорошею, то къ вечеру она постепенно исправляется, и правило о предоставленіи обывателямъ зажечь иллюминацію никогда не встрѣчаетъ препонъ въ своемъ исполненіи?“ Затѣмъ онъ вздохнулъ, сосредоточился на минуту въ самомъ себѣ и продолжалъ: „Стоя на рубежѣ отдаленнаго Запада и не менѣе отдаленнаго Востока, Россія призвана Провидѣніемъ“ и т. д., и т. д.

Слова эти тогда же поразили мое впечатлительное воображеніе. Для меня сдѣлалось яснымъ, что задача Россіи двойственна: во-первыхъ, установить на прочномъ основаніи принципъ безпрепятственности иллюминацій (политика внутренняя) и, во-вторыхъ, откуда-то нѣчто брать и куда-то нѣчто передавать (политика внѣшняя)! Если вѣрить московскимъ публицистамъ, то первая задача уже давнымъ-давно рѣшена. Несмотря на то, что торжества имѣютъ характеръ праздниковъ переходящихъ, наше солнце настолько дисциплинировано, что заранѣе справляется съ календаремъ, когда ему слѣдуетъ играть. Тогда и играетъ. Но вторая задача, уже во времена моей юности, причиняла мнѣ не мало безпокойствъ. Я слышалъ и понималъ, что тутъ есть какіе-то „плоды“, которые слѣдуетъ гдѣ-то принимать и куда-то передавать: но что̀ это за „плоды“, въ какихъ лѣсахъ они растутъ и какимъ порядкомъ ихъ передавать, то-есть справа ли налѣво, или слѣва направо—этого никакъ не могъ взять себѣ въ толкъ. „Налѣво кругомъ!“ — раздавалось въ моихъ ушахъ: но и этотъ воинственный кличъ какъ-то не утѣшалъ, а еще пуще раздражалъ меня.

— Иванъ Петровичъ!—спрашивалъ я почтеннаго нашего профессора:—зачѣмъ же намъ передавать чужіе плоды, если у насъ есть свои собственные?

— Коли у тебя есть, такъ никто тебѣ не препятствуетъ!—отвѣчалъ Иванъ Петровичъ съ тѣмъ равнодушіемъ, которое въ то время одно только и одушевляло нашихъ педагоговъ, и которое, казалось, такъ и говорило: „что̀ ты пристаешь ко мнѣ за разъясненіями? Я свое дѣло сдѣлалъ: отзвонилъ—и съ колокольни долой!“

— Но откуда брать? Куда передавать? — продолжалъ я настаивать.

— Придетъ пора да время—все узнаешь. Скажутъ: „спасибо“ —значитъ, потрафилъ; надерутъ вихоръ—значитъ, проптрафился. надо начинать сызнова.—Итакъ, милостивые государи! находясь на рубежѣ отдаленнаго Запада и не менѣе отдаленнаго Востока, Россія самимъ Провидѣніемъ призвана...

Я страдалъ невыносимо. Систематизируя все слышанное мною, я приходилъ къ слѣдующимъ выводамъ:

1) что у насъ своихъ плодовъ нѣтъ;

2) что мы должны только передавать, даже не заглядываясь на то, что̀ передаемъ: руками взялъ, руками и отдалъ—вотъ и все:

и 3) что мы рискуемъ при этомъ быть выдранными за вихоръ.

Результаты неясные, не удовлетворявшіе даже тогдашнихъ моихъ дѣтскихъ требованій.

Но съ теченіемъ времени самыя трудныя загадки разгадываются. Не буду подробно разсказывать здѣсь печальную исторію моихъ колебаній; но сознаюсь, что она была обильна всякаго рода разочарованіями. Была, напримѣръ, одна минута, когда, руководствуясь законами аналогіи и видя, что солнце каждый день встаетъ на востокѣ, я заключилъ изъ этого, что восточные плоды суть тѣ самые, которые наиболѣе пригодны для запада, и что стоитъ только насадить ихъ, чтобы положить конецъ всѣмъ гніеніямъ, броженіямъ и недоразумѣніямъ. Я ободрился. Нарѣзавши цѣлую рощу цивилизующихъ орудій и воскликнувъ: а ну-те, господа картофельники! посмотримъ, какъ-то вы тамъ гніете!—я устремился впередъ, и что̀ жъ оказалось?—что мои цивилизующія орудія всѣ сразу заглохли! что пересаженныя съ почвы дѣвственной, но сравнительно тощей, они не только никого не плѣнили, но даже сами не выдержали изобилія туковъ, представляемаго западнымъ гніеніемъ!

Всякій пойметъ, какъ былъ непріятенъ для меня этотъ опытъ: но такъ какъ я все-таки твердо зналъ, что „стою на рубежѣ“, то цивилизаціонное мое назначеніе нимало не затемнилось первою неудачею. Если попытка моя на западѣ не принесла желаемыхъ результатовъ,—разсуждалъ я самъ съ собою,—то это значитъ только, что я не потрафилъ, и что нужно потрафлять гдѣ-нибудь въ другомъ мѣстѣ. Меня начала интересовать мысль: не съѣздить ли, для начала, поцивилизовать слегка, напримѣръ, въ Рязанскую или Тамбовскую губерніи? И не задумываясь долго, я набралъ съ десятокъ здоровыхъ,

хотя и довольно голодныхъ ребятъ, хватилъ для храбрости очищенной и, крикнувъ: „ребята! съ нами Богъ!“ ринулся...

Могу сказать смѣло: я дѣйствовалъ по всѣмъ правиламъ искусства, то-есть цивилизовалъ все, что попадалось мнѣ по пути. Но и тутъ неудача не переставала меня преслѣдовать. Оказалось, что въ этихъ благодатныхъ краяхъ все уже до такой степени процивилизовано, что мнѣ оставалось только преклониться ницъ передъ такими памятниками, какъ акведуки (пожарные бассейны), пирамиды (каланчи), термы (народныя бани), величественныя зданія волостныхъ и сельскихъ расправъ, вымощенныя известковымъ камнемъ улицы и проч., и проч. Однажды, видя, какъ на базарной площади безпомощно утопали возы съ крестьянскою жалкою кладью, я невольно воскликнулъ:—да чего же имъ, мерзавцамъ, еще нужно?—и долженъ былъ отступить. Очевидно, тутъ сталкивались двѣ цивилизаціи совершенно равноправныя: одна, которую хотѣлъ насадить я съ своими „ребятами“, и другая, которую постепенно насаждалъ цѣлый рядъ „ребятъ“, начиная отъ знаменитаго своими проказами Ударъ-Ерыгина и кончая Колькой Шалопаевымъ.

Признаюсь, эта вторая неудача еще больше озадачила меня, хотя я и скрывалъ мое огорченіе. Но товарищи мои крѣпко пріуныли. И не мудрено: весь запасъ очищенной былъ выпитъ безъ остатка, а за минуту передъ тѣмъ мы съѣли послѣдній кусокъ колбасы. Въ долгъ никто не вѣрилъ... Куда дѣвать никому ненужную силу? Гдѣ найти секретъ, который давалъ бы возможность просвѣщать безъ просвѣщенія, палить безъ пороху, сѣчь безъ розогъ? Какое употребленіе сдѣлать изъ рукъ, которыя такъ и цѣпляются, такъ и хватаютъ? А главное: какъ добыть очищенной, не имѣя гроша за душой, спустивши все до послѣдней нитки, не зная никакого ремесла, никакихъ даже словъ, кромѣ: „ради стараться!“ и—„съ нами Богъ!“? Всякій согласится, что положеніе болѣе безвыходное, болѣе трагическое—трудно себѣ представить!

По временамъ мною овладѣвали движенія совершенно безсознательныя. Я вскакивалъ съ мѣста и бѣжалъ впередъ, самъ не зная куда. Будь у меня въ рукахъ штофъ водки, я былъ бы способенъ въ одну минуту процивилизовать насквозь цѣлую палестину! Я бросался и на западъ, и внутрь, все въ надеждѣ что-нибудь зацѣпить, что-нибудь ущемить... Тщетно! Я чувствовалъ, что во мнѣ сидитъ что-то

такое, чему нѣтъ имени... или нѣтъ! это ужасное имя есть, и называется оно — разоренье! Не откуда ничѣмъ раздобыться, некуда ничего нести... Все вздоръ, все обольщенье и прахъ! Ничего у меня не осталось, кромѣ ужаснаго аппетита!

Ярррать!!

И вдругъ я услышалъ слово, которое сразу заставило забиться мое сердце. Я остановился и притаилъ дыханіе.

— Таш-кентъ! Таш-кентъ!—слаще всякой музыки раздавалось въ ушахъ моихъ.

Ярррать!!

Сенька Броненосный! Ты, который выдумалъ это слово, ты не понималъ и самъ, какіе новые пути оно открываетъ твоимъ добрымъ товарищамъ! Ты произнесъ его безсознательно, въ порывѣ отчаянія, но услуга, которую оказала твоя безсознательность, останется навсегда незабвенною. Покуда я размышлялъ и соображалъ, товарищи шумѣли и спорили; слово „Ташкентъ“ было у всѣхъ на языкѣ.

— Ташкентъ!—ораторствовалъ другъ мой, Аркаша Пустолюбовъ:—но поймите же, messieurs, вѣдь это только географическій терминъ, вѣдь это просто пустое мѣсто, въ которомъ не только удобствъ, но даже ѣды никакой, кромѣ баранины, нѣтъ!

— Ярррать!—какъ-то особенно звонко раздавалось въ ушахъ.

— Однако, mon cher,—возражалъ Сеня Броненосный:—баранина... c'est très succulant! on en fait du schischlik... qui n'est pas du tout à mépriser! Я нахожу, что это вещь очень почтенная, а въ нашемъ положеніи даже далеко не лишняя.

— Ярррать!

— Позвольте! ну, положимъ—баранина! но общество женщинъ? гдѣ, я васъ спрашиваю, найдемъ мы общество женщинъ?

Но я уже не слушалъ: уста мои шептали: стоя на рубежѣ...

Господи! ужели же, наконецъ, тѣ цѣли, о которыхъ говорилъ учебникъ статистики, будутъ достигнуты!

Я прогорѣлъ, какъ говорится, до тла. На плечахъ у меня была довольно ветхая ополченка (воспоминаніе севастопольской брани, которой я, впрочемъ, не видалъ, такъ какъ извѣстіе о мирѣ застало насъ въ одинъ переходъ отъ Тулы: впослѣдствіи эта самая ополченка была свидѣтельницей моихъ усилій по водворенію начала восточной

цивилизаціи въ сѣверо-западныхъ губерніяхъ). на ногахъ—соотвѣтствующія брюки. Затѣмъ, кромѣ голода и жажды—ничего!

Въ такомъ положеніи я на послѣднія деньги взялъ себѣ мѣсто въ вагонѣ третьяго класса, чтобы искать счастья въ Петербургѣ.

Я еще прежде замѣчалъ, что по какой-то странной случайности составъ путешественниковъ, наполняющихъ вагоны, почти всегда бываетъ однородный. Такъ напримѣръ. бываютъ вагоны совершенно глупые, что въ особенности часто случалось вскорѣ послѣ заведенія спальныхъ вагоновъ. Однажды, помѣстившись въ спальномъ вагонѣ второго класса, я былъ лично свидѣтелемъ, какъ одинъ путешественникъ, не успѣвши еще осмотрѣться, сказалъ:

— Ну, теперича намъ здѣсь преотлично! ежели мы теперича даже совсѣмъ раздѣнемся, такъ тутъ никто ничего намъ сказать не можетъ!

И дѣйствительно, онъ скинулъ съ себя все. даже сапоги. и въ одномъ бѣльѣ началъ ходить взадъ и впередъ по отдѣленіямъ. Эта глупость до того заразила весь вагонъ, что черезъ минуту уже всѣ путешественники были въ одномъ бѣльѣ и радостно приговаривали:

— Ну, теперь намъ здѣсь преотлично! теперь ежели мы и совсѣмъ раздѣнемся, такъ никто ничего сказать намъ не смѣетъ!

И такимъ образомъ ѣхали всѣ вплоть до Петербурга, то раздѣваясь, то одѣваясь и выказывая радость неслыханную.

Точно также было и въ настоящемъ случаѣ: вагонъ, въ которомъ я помѣстился, можно было назвать по преимуществу ташкентскимъ. Казалось, люди, собравшіеся тутъ, были не отъ міра сего, но принадлежали къ числу выходцевъ какой-то отдаленной эпохи. Большинство состояло изъ отставныхъ служакъ, уже порядочно обколоченныхъ жизнью, хотя тамъ и сямъ виднѣлось и нѣсколько молодыхъ людей, жертвъ преждевременной страсти къ табаку и водкѣ. Никакимъ другимъ цивилизующимъ орудіемъ они не обладали, кромѣ сухихъ, мускулистыхъ и чрезвычайно цѣпкихъ рукъ, которыми они по временамъ какъ будто загребали. На многихъ были одѣты такія же ополченки, какъ и на мнѣ; отъ многихъ отдавало запахомъ овчины и водки. Но всѣ говорили безъ устали: въ душѣ у всякаго жила надежда. Надо было видѣть, съ какою поспѣшностью проглатывали они на станціяхъ стаканы очищенной, съ какими судорожными движеніями отдирали зубами куски зачерствѣлой колбасы! Казалось.

земля горѣла подъ ихъ ногами, и они опасались только одного: какъ бы не упустить времени!

— Да-съ,— говоритъ кто-то въ одномъ углу:—это, я вамъ доложу, сторонка! сверху налитъ, кругомъ песокъ... воды—ни капли! Ну, да вѣдь мы люди привышные!

— Такъ-то такъ, только насчетъ ѣды... ну, и тово-вопо какъ оно— и этого тоже нѣту.

— Помилуйте! да какой вамъ ѣды лучше! баранина есть, водка есть... выпилъ рюмку, выпилъ другую, съѣлъ кусокъ...

— То-то, что водка-то тамъ кусается; а хлѣбнаго такъ, сказываютъ, и въ заводѣ нѣтъ!

— Такъ что-жъ! еще лучше—изъ рису ее тамъ дѣлаютъ! Отъ этой, отъ рисовой-то, и голова никогда не болитъ.

Въ другомъ углу:

— Въ этихъ-то обстоятельствахъ, доложу вамъ, я уже не въ первый разъ нахожусь...

— Ссс!..

— Да-съ, вотъ тоже въ шестьдесятъ-третьемъ году, спжу, знаете, слышу: шумятъ! Ну, думаю, люди нужны! Надѣваю вотъ эту самую дубленку, и прямо къ покойному генералу! Вышелъ... хрипитъ!—„Ну?“ говоритъ.—Такъ и такъ, говорю,—готовъ!—„Хорошо, говоритъ. мнѣ люди нужны“... Только и словъ у насъ съ нимъ было. Налѣво круг-омъ... Качай! И какую я, сударь, тамъ полечку подцѣпилъ—масло!

— Д-да... а теперь, пожалуй, объ полечкахъ-то надо будетъ забыть! Это такой край, что тутъ не то чтобы что, а какъ бы только перехватить что-нибудь!

— Что вы! да развѣ вы не слышали, какая у нихъ тамъ баранина?..

— Въ третьемъ углу:

— Мнѣ бы, знаете, годикъ-другой,—а потомъ урвалъ свое, и на боковую!

— Что вы! что вы! да вы не разстанетесь! тамъ, я вамъ доложу, такая баранина...

Въ четвертомъ углу:

— Такъ вы изволите говорить, что тринадцать дѣлъ за собой имѣете?

— Тринадцать разъ, шельма, подъ судъ отдавалъ! двѣнадцать разъ изъ уголовной чистъ выходилъ — ну, на тринадцатомъ скапутился!

— Однако, теперь Богъ милостивъ!

— Теперь, батюшка, наше дѣло вѣрное! — завтра къ вечеру пріѣдемъ, послѣ-завтра чѣмъ свѣтъ въ канцелярію... Отрапортовалъ... сейчасъ тебѣ въ зубы подорожную, прогоны и прочее... А ужъ тамъ-то, на мѣстѣ-то, какое житье! баранина, я вамъ скажу...

Въ пятомъ углу:

— Не посчастливилось мнѣ, mon cher!—говоритъ одинъ молодой человѣкъ другому (у обоихъ надъ губой едва пробивается пушокъ):—изъ школы выгнали... ну, и рѣшился!

— А я такъ долговъ надѣлалъ; вотъ отецъ и говоритъ: „стунай, говоритъ, мерзавецъ въ Ташкентъ!“

— Однако, вашъ родитель нельзя сказать, чтобы былъ очень учтивъ!

— Какое учтивъ! Такими словами ругается, что хотъ любому вахмистру... Ну, да впрочемъ это все пустяки! а меня вотъ что ну-гаетъ: какъ-то тамъ будетъ насчетъ лакомства?!

— Говорятъ, будто ташкентскія принцессы очень недурны...

— Гм... вѣдь мы въ полку-то разбаловались. Вотъ тоже и объ ѣдѣ не совсѣмъ одобрительные слухи ходятъ!

— Однако я слышалъ, что баранину можно достать отличную...

Въ шестомъ углу:

— Такъ вы и съ супругой туда отправляться изволите?

— Конечно! нельзя же!—она у меня баба походная!

Молодые люди прислушиваются, улыбаются и подмигиваютъ другъ другу. Одинъ изъ нихъ шопотомъ говоритъ: — Ну, вотъ! значитъ, и насчетъ лакомства сомнѣваться нечего!

— Только тяжеленько имъ будетъ, супругѣ то вашей! — продолжаетъ одинъ изъ прежнихъ голосовъ:—вѣдь тамъ ни съѣсть, ни испить слатенько...

— И! что вы!—да тамъ, говорятъ, такая баранина...

Въ седьмомъ углу:

— Откровенно вамъ доложу: я ужъ маленько отъ медицини-то поотсталъ, потому что и выпущенъ-то я изъ академіи почесть-что при царѣ Горохѣ. Однако травки нѣкоторыя еще знаю.

— Конечно! конечно! съ нихъ и этого будетъ!

— Народъ простой, непорченный-съ. Опять, сказываютъ, что у нихъ даже простая баранина отъ многихъ недуговъ исцѣляетъ!

Въ восьмомъ углу:

— Проповѣдовать—можно! Только, вотъ, сказываютъ, что они по постамъ баранину лопаютъ—ну, это истребимо съ трудомъ!

Однимъ словомъ, всѣ заканчиваютъ свои рѣчи бараниной, всѣ надѣются на баранину, какъ на каменную гору. Такъ что мой другъ Сеня Броненосный слушалъ, слушалъ, но, наконецъ, не вытерпѣлъ и сказалъ:

— Если эта баранина хоть въ сотую долю такъ вкусна, какъ объ ней говорятъ, то я увѣренъ, что черезъ полгода въ странѣ не останется ни одного барана!

Увы! такова судьба цивилизующаго начала! Оно истребляетъ туземныхъ барановъ и взамѣнъ того научаетъ обывателей удовлетворяться духовною пищею! Кто въ выигрышѣ? кто въ проигрышѣ?— тѣ ли, которые удѣляютъ пришельцу частицу стадъ своихъ, или тѣ, которые, въ возвратъ за это, приносятъ съ собой драгоцѣннѣйшій изъ всѣхъ плодовъ земныхъ—просвѣщеніе?

Но здѣсь я долженъ сдѣлать довольно горькое для моего самолюбія признаніе. Я чувствую, что въ жизни моей готовится что-то рѣшительное, а это невольно заставляетъ меня чаще и чаще обращаться къ самому себѣ. Бываютъ минуты, когда откровенная оцѣнка пройденнаго пути становится настоятельнѣйшею потребностью всего человѣческаго существа. Повидимому, одна изъ такихъ минутъ наступаетъ теперь для меня...

Сознаюсь безъ оговорокъ: я не имѣю права быть очень высокаго о себѣ мнѣнія. Лучшее изъ качествъ, которыми я обладаю, есть нѣчто въ родѣ Сократовскаго: „я знаю, что ничего не знаю“. Несмотря на свою незамысловатость, это свойство значительно помогло мнѣ въ жизни, такъ какъ оно дѣлало изъ меня во всякое время и во всякомъ мѣстѣ лихого исполнителя. Я никогда не изобрѣту пороха (даже если мнѣ формально *прикажутъ* изобрѣсти—я и тогда какъ-нибудь отпрусь); но если его изобрѣтутъ другіе — я очень радъ. Палить я тоже готовъ во всякое время, и ежели не встрѣчу слишкомъ серьезныхъ препятствій, то могу выказать храбрость несомнѣнную. Не помню, въ какой именно изъ Шекспировскихъ комедій герой шесть

задаетъ себѣ вопросъ: что̀ такое невинность?—и весьма резонно отвѣчаетъ: невинность есть пустая бутылка, которую можно наполнить какимъ угодно содержаніемъ. Хотя съ точки зрѣнія моралистовъ это сравненіе для меня не совсѣмъ выгодно, но я долженъ сказать правду (разумѣется, по секрету), что оно подходитъ ко мнѣ довольно близко. Пустая бутылка! — лестнаго, конечно, немного для меня въ этомъ сравненіи!—но для чего жъ бы, однакожъ, я сталъ отрекаться отъ этого званія? Развѣ міръ не наполненъ сплошь такими же точно пустыми бутылками, какъ и я? и развѣ сущность дѣла можетъ измѣниться отъ того, что нѣкоторыя изъ этихъ бутылокъ высокомѣрно называютъ себя „сосудами“?

И тѣмъ меньше имѣю основанія конфузиться этого названія, что сдѣлался пустою посудой далеко не произвольно. Тутъ, задолго до меня, ужъ были цѣлыя поколѣнія пустыхъ посудинъ, которыя, дребезжа и звеня, такъ много о себѣ надребезжали и назвенѣли, что, казалось, и впрямь нѣтъ званія болѣе почетнаго, болѣе счастливаго и спокойнаго, какъ званіе пустой бутылки. Званіе это не только написано, но и по штатамъ значится подлежащимъ немедленному замѣщенію, какъ только открывается свободная вакансія. Тутъ нѣтъ мѣста ни для размышленій, ни для колебаній. Вы являетесь въ жизнь, объявляете имя и фамилію. „Записать его въ званіе пустой бутылки“ —и вы записаны...

Съ моей стороны уже и то значительный шагъ впередъ, что я начинаю смутно сознавать, что ничто не способно такъ скоро дать трещину, какъ посудина, которую слишкомъ часто то наполняютъ, то опоражниваютъ. Я чувствую, что уже недалекъ моментъ разложенія, тотъ моментъ, когда навсегда долженъ быть поколебленъ авторитетъ балалаекъ, пустыхъ бутылокъ, упраздненныхъ головъ и т. п. Но если я сознаю, что такой результатъ неизбѣженъ, это нимало не обязываетъ меня стараться о приближеніи минуты, которая должна превратить бутылки въ черепки. Совсѣмъ напротивъ. Я думаю даже, что еслибъ я дѣйствовалъ въ смыслѣ приближенія этой минуты, то такая дѣятельность была бы противна и здравому смыслу, и чувству самосохраненія. Что̀ говоритъ мнѣ здравый смыслъ?—онъ говоритъ: какъ ты ни бейся, но кромѣ пустой бутылки ничего изъ тебя не выйдетъ. Что̀ говоритъ чувство самосохраненія?—оно говоритъ: неужели же погибать изъ-за того только, что явился въ свѣтъ пустою посу-

дпой? и явился непроизвольно, нимало не участвуя въ этомъ актѣ ни сознаніемъ, ни волею?.. Что остается мнѣ дѣлать послѣ такихъ отвѣтовъ? Измѣниться—я не могу; погибнуть—не имѣю ни малѣйшей охоты. Остается, стало быть, откровенно стать въ ряду пустыхъ бутылокъ, и этимъ дѣйствіемъ окончательно закрѣпить законность моего присутствія на аренѣ всероссійской цивплизующей дѣятельности.

Какъ бы то ни было, но я живу: а если живу, то, стало быть, имѣю и право отстаивать свое существованіе. Но отстаивать его я не могу иначе, какъ продолжая быть той самой пустой бутылкою, какою сдѣлали меня обстоятельства. Иначе я буду исключенъ изъ жизни. Покуда порожняя посуда имѣетъ возможность дребезжать и звенѣть, моя обязанность—тоже дребезжать и звенѣть и время отъ времени наполняться тою жидкостью, которая наиболѣе подходитъ ко вкусамъ минуты. Какая это жидкость—до этого мнѣ нѣтъ дѣла, ибо я не просто бутылка, а бутылка, относящаяся съ полнымъ равнодушіемъ къ тому, что ее наполнитъ. Зная, что я ничего не знаю, я обязываюсь чѣмъ-нибудь замѣнить эту пустоту, и замѣняю ее готовностью. Поэтому я перепмчивъ, вертлявъ, дерзокъ на услугу и ни передъ какой профессіей не задумываюсь. Никто не засталъ меня ни въ какихъ подвигахъ, которые могли бы свидѣтельствовать, что я такое, и это въ совершенствѣ обезпечиваетъ мою свободу. Я публицистъ, метафизикъ, реалистъ, моралистъ, финансистъ, экономистъ, администраторъ. По нуждѣ, я могу быть даже другомъ народа. Вчера существовало крѣпостное право—я былъ крѣпостникомъ; сегодня крѣпостное право отмѣнено—я удивляюсь, какъ можно было дожить до настоящей вожделѣнной минуты, и не задохнуться. Всякая минута застаетъ меня врасплохъ, и всякая же минута находитъ меня готовымъ. Сколь разнообразны вольныя художества въ Россійской Имперіи, столь же разнообразны и роды моей готовной дѣятельности. Надъ всѣми ими парить одно: моя всегдашняя непоколебимая готовность слѣдовать указанію всякаго одареннаго способностью указывать перста, хотя бы этотъ перстъ былъ и запачканъ. Не ужасайтесь этой способности, не клеймите его именемъ разврата; это дѣйствительно развратъ, но развратъ добросовѣстный (бываетъ же добросовѣстное воровство!), развратъ лишь *до нѣкоторой степени*, точно такъ, какъ и все прочее, что во мнѣ ни есть,—все добросовѣстно и все развратно лишь *до нѣкоторой степени*.

Иногда мнѣ случается накуралесить серьезно: обрушить какой-нибудь монументъ, передавить при этомъ цѣлую уйму людей. Изъ этого одни заключаютъ, что я имѣю злое сердце и дѣлаю вредъ преднамѣренно; другіе—что я человѣкъ рѣшительный, дѣйствующій во имя какихъ-то сознанныхъ мною идей. Я вслушиваюсь въ эти толки и смѣюсь себѣ втихомолку; ибо я очень хорошо понимаю, что въ дѣйствительности я только всеслонравный мужчина, которому хочется удивить вселенную своею стремительностью. Я могу сколько угодно бить, давить, неистовствовать, ходить колесомъ—и никто не имѣетъ права вмѣнить мнѣ это ни въ злодѣяніе, ни даже въ озорство. Помилуйте! я самъ къ своимъ дѣяніямъ отношусь совершенно объективно, то-есть исключительно съ точки зрѣнія чистоты отдѣлки. Я лечу, стремлюсь, хватаю, ловлю, мало того: я радуюсь, трепещу. страдаю, скрежещу зубами... о, еслибъ знали, что все это не болѣе. какъ угаръ! еслибъ могли видѣть, какъ разрывается послѣ этого угара голова, какъ болѣзненно бьется и сжимается сердце!..

Многіе спрашиваютъ меня: чего жъ я достигъ? Но развѣ на этотъ вопросъ я, съ своей стороны, не могу отвѣтить другимъ вопросомъ: а чего же, милостивые государи, можетъ достигнуть человѣкъ, прогорѣвшій до тла? человѣкъ, который не имѣетъ ни воспоминаній. ни надеждъ, у котораго нѣтъ ничего внутри, кромѣ разоренія?—Конечно, ничего другого, кромѣ того, чтобы какъ-нибудь не пропасть. чтобъ не быть въ конецъ искалѣченнымъ и хоть изрѣдка да возобновлять въ себѣ вкусъ тѣхъ благъ. которыя *теперь* выбрасываются ему въ видѣ обглоданной кости, но которыя *никогда* составляли фондъ его существованія? Если я достигаю всего этого—я считаю себя вполнѣ удовлетвореннымъ. Воспоминаніе о потерянныхъ благахъ жизни переносится совсѣмъ не такъ легко, какъ это можетъ казаться съ перваго взгляда. Оно до послѣдней минуты волнуетъ и раздражаетъ плѣшное воображеніе; оно преслѣдуетъ, жжетъ, оно медленно. всечасно, отравляетъ. Въ настоящемъ—воздержаніе и тоска: впереди—вино, игра, женщины... а въ промежуткѣ—лишь небольшой океанъ грязи, который необходимо переплыть... Ужели же найдется глупецъ. который, благословясь, не бросится вплавь?

Грязи! какой грязи? въ этомъ весь вопросъ!

Еслибъ эта грязь начкала наглядно, осязательно, еслибъ она измѣнила наружность человѣка, уничтожала ея элегантность, дѣйство-

вала тлетворнымъ образомъ на зрѣніе и обоняніе сосѣдей—тогда такъ! Тогда, конечно, и самый отчаянный человѣкъ задумался бы прежде, чѣмъ окунуться въ нее. Но вѣдь это грязь отвлеченная, метафизическая,—грязь, о которой ces dames даже понятія никакого не имѣютъ!

Переплывите этотъ грязный океанъ, окунитесь въ него съ головою, ныряйте, шалите сколько угодно—и вы все-таки выйдете на берегъ, словно изъ душистой ванны! Ни одного брызга! ни одного пятнышка! Мало того, ваши одежды получаютъ даже какой-то особенный, не лишенный пикантности блескъ!

Мнѣ во сто кратъ болѣе досадна моя ветхая ополченская поддевка, нежели та незримая одежда пороковъ, которую такъ охотно навязываютъ всѣмъ и каждому особаго рода цеховые, именующіе себя моралистами. Неприличіе и безконечную ядовитость моей поддевки я понимаю сразу. Ея появленіе вноситъ конфузъ въ порядочныя семейства, заставляетъ умолкнуть самые оживленные разговоры, расширяетъ изумленіемъ глаза; однимъ словомъ, уничтожаетъ веселость, гармонію, движеніе и жизнь. Какъ бы я ни былъ самостоятеленъ, я не могу не сказать внутренно: „да, твое мѣсто не здѣсь: не среди этихъ цвѣтущихъ силою и увѣренностью людей, а тамъ, въ вагонѣ третьяго класса, въ кругу людей надломленныхъ, потухшихъ и полинявшихъ, людей съ завистливыми взорами, людей, торопливо проглатывающихъ очищенную и раздирающихъ зубами окаменѣлую колбасу!“ Въ эти горкія минуты я явственно слышу, какъ внутренности мои колышутся подъ наплывомъ ненависти—ненависти къ кому? Къ тѣмъ ли, которые меня презираютъ? Нѣтъ, не къ нимъ, ибо они представляютъ идеалъ, къ которому стремятся всѣ мои помыслы, и которому я могу завидовать, но ненавидѣть не могу. Къ кому же?—а именно къ тѣмъ, кого я самъ презираю, къ тѣмъ моимъ собесѣдникамъ по вагону третьяго класса, которые вчера простодушно сообщали мнѣ о своихъ видахъ на ташкентскую баранину!

Эти ужасные люди своимъ участіемъ, своимъ нашибратствомъ каждую минуту уничтожаютъ меня. Они напоминаютъ мнѣ, что я не что иное, какъ un homme perdu de dettes, что я такой же проходимецъ, пропойца, прощалыга, какъ они всѣ, что я одинъ изъ тѣхъ любопытныхъ субъектовъ, которые растратили молодость, силу, таланты и состояніе—на что?—на лестное знакомство съ половыми

московскихъ трактировъ! Какъ же мнѣ не ненавидѣть ихъ! Какъ не броситься мнѣ въ какой угодно омутъ, лишь бы освободиться изъ плѣна ихъ ужаснаго панибратства!

И я достигну этого! Въ Ташкентѣ ли, или въ другомъ мѣстѣ, но я дойму этихъ людей, пятнающихъ меня своимъ прикосновеніемъ!

Да, если ужъ заводить рѣчь о какихъ-то метафизическихъ пятнахъ, незримо ложащихся на какую-то не менѣе метафизическую совѣсть, то прежде надлежитъ изобрѣсти средство, которое выгоняло бы эти пятна наружу и заставляло бы ихъ горѣть на лбу и щекахъ человѣка неизгладимымъ свидѣтельствомъ того праха, которымъ преисполнено въ немъ все, за исключеніемъ сюртука и штановъ, всегда находящихся въ безукоризненной исправности! А такъ какъ этого средства, по счастью, не изобрѣтено, то стало быть...

Но довольно морализировать.

Я зналъ, что главнымъ двигателемъ по части ташкентской цивилизаціи состоитъ нѣкто Пьеръ Накатниковъ, мой старый товарищъ по школѣ. Онъ занимался организаціей арміи цивилизаторовъ; онъ кликалъ кличъ и вербовалъ охочихъ людей; онъ отправлялъ ихъ цѣлыми транспортами къ мѣсту назначенія, распоряжался перевозочными средствами и т. д., и т. д.

Каждаго человѣка судьба снабжаетъ какою-нибудь спеціальностью. Однихъ она дѣлаетъ спеціалистами по части юридическихъ вопросовъ, другихъ—спеціалистами по части вопросовъ педагогическихъ, третьихъ (большинство)—спеціалистами по части „очищенной“ и т. п. Спеціальность Накатникова заключалась въ распространеніи цивилизаціи. Никто не имѣлъ права съ большимъ основаніемъ сказать: „стоя на рубежѣ“, какъ Накатниковъ. Въ немъ это была страсть до того живая и безпокойная, что онъ ни минуты не могъ посидѣть на мѣстѣ, чтобъ не озаботиться насчетъ того или другого темнаго уголка, какимъ-нибудь чудомъ ускользнувшаго отъ его цивилизующаго вліянія! Онъ неоднократно уже дѣлывалъ весьма замѣчательные въ этомъ смыслѣ походы, и потому былъ чрезвычайно опытенъ. Мало того, что онъ могъ заранѣе опредѣлить всѣ матеріальныя подробности похода (заготовленіе цивилизующихъ орудій, количество ихъ и т. д.), но инстинктивно угадывалъ, что кому требуется. Разумѣется, всего

нужнѣе оказывались разные принципы. Такъ напримѣръ, направляя стопы свои на западъ, онъ напередъ говорилъ, что первый принципъ, съ которымъ надлежитъ ближе познакомить обывателей — это le principe du stanovoy russe. Устремляясь внутрь, онъ знакомилъ невѣждъ съ принципомъ строгости и скорости во взысканіи податей. Теперь, когда дѣло шло объ отдаленномъ востокѣ, онъ, разумѣется, прежде всего задалъ себѣ вопросъ: чего имъ нужно?—и тотчасъ же, съ свойственною ему проницательностью, рѣшилъ, что прежде всего необходимо познакомить ташкентцевъ съ principe du télègue russe. Я это зналъ и, разумѣется, приготовилъ нѣсколько нелишнихъ соображеній въ этомъ смыслѣ.

Признаюсь, я не безъ волненія переступилъ порогъ канцеляріи, въ которой должна была рѣшиться моя участь. Накатниковъ былъ нѣкогда моимъ другомъ—это правда, но въ то же время я зналъ, что ему не безъизвѣстна была моя цивилизующая дѣятельность въ одной изъ западныхъ губерній... Это меня смущало, потому что я велъ себя тогда... ахъ, какъ я себя тогда велъ! Къ счастію, я могъ утѣшить себя тою мыслью, что современный контингентъ нашихъ цивилизующихъ силъ все тотъ же, который дѣйствовалъ и на западѣ, и внутри, и что, слѣдовательно, какъ ни бейся, а обойти насъ ни подъ какимъ видомъ нельзя.

Когда я вошелъ въ пріемную, всѣ мои вчерашніе спутники по вагону были уже на-лицо. Многіе изъ нихъ почистились; всѣ были положительно трезвы. Такія физіономіи встрѣчаешь только въ пріемные дни въ канцеляріяхъ да въ церквахъ передъ причастіемъ. Кромѣ нихъ, набралось еще много другого народа, столь же рѣшительнаго и столь же скудно, но чистенько одѣтаго. Пьеръ опрашивалъ каждаго по одиночкѣ и главное вниманіе обращалъ на спеціальности, могущія служить подспорьемъ въ дѣлѣ цивилизаціи. Въ бо́льшей части случаевъ онъ встрѣчалъ просителей какъ старыхъ знакомыхъ, ужъ извѣстныхъ ему по цивилизующей дѣятельности на западѣ и внутри. По движенію его лица я убѣдился, что и мой приходъ не остался имъ незамѣченнымъ.

Странно играетъ судьба людьми. Я зналъ Пьера въ школѣ, и зналъ, что тамъ онъ игралъ довольно незавидную роль. Какъ сейчасъ вижу его: сидитъ передъ складнымъ зеркальцемъ и вѣчно причесываетъ волосы. На губахъ улыбка, и около верхней губы, въ углу,

шевелится кончикъ языка: изнутри слышится какое-то неопредѣленное мурлыканье. Чешется-чешется, потомъ нагнется, заглянетъ въ зеркальце, помурлычитъ, что-то поправитъ — и опять начнетъ мѣрно водить щеткой по головѣ. Никто не зналъ, о чемъ онъ думалъ, и даже думалъ ли о чемъ-нибудь. Въ тѣ минуты, когда онъ бывалъ свободенъ отъ туалета, мы хотя и видали его движущимся, но всегда по-неволѣ и всегда съ опредѣленною цѣлью: что-нибудь взять, исполнить какое-нибудь правило, предписываемое уставомъ заведенія. И всегда при этомъ кончикъ языка прилизывалъ зачинающійся надъ верхнею губою усъ. Казалось, въ немъ происходила какая-то работа, только нельзя сказать, чтобъ очень умная. Въ улыбкѣ его (а онъ улыбался постоянно) видѣлось что-то сардоническое, вопросительное, какъ будто онъ самъ себя спрашивалъ: „чему же я, однако, улыбаюсь?“ Говорилъ онъ рѣдко, да и то односложными словами, и ежели бы не обязательная сдача уроковъ, которая все-таки требовала нѣкоторой связности рѣчи, едва ли кто-нибудь изъ насъ имѣлъ бы возможность утверждать, въ состояніи ли онъ сказать кряду два слова. Онъ никогда не дрался, никогда ни къ кому не приставалъ; его можно было дразнить и даже щипать — онъ только пожимался и изрѣдка произносилъ единственное, завѣтное слово: „шутъ!“ Когда же случалось, что его раздражали свыше всякой мѣры, то онъ молча вскакивалъ изъ-за туалета, молча схватывалъ первый попавшійся подъ руку предметъ: книгу, чернильницу, линейку, и молча же швырялъ ею въ обидчика. Такимъ образомъ, молча, улыбаясь и какъ-то машинально слѣдуя за всѣми товарищескими движеніями, прожилъ онъ съ нами шесть лѣтъ. Никто не могъ назвать его своимъ другомъ, но всѣ видѣли въ немъ добраго товарища. Въ курсѣ онъ вышелъ послѣднимъ.

И вдругъ мы узнаемъ, что нашъ Петя трется около какого-то генерала, и что тотъ употребляетъ его въ качествѣ цивилизатора!..

Но счастье ужасно измѣняетъ человѣка. Въ ту минуту, какъ я пишу эти строки, Накатниковъ уже состоитъ въ чинѣ штатскаго генерала, имѣетъ на груди очень почтенное украшеніе... и говоритъ! Я не могу утверждать, что онъ говоритъ разумно, но онъ говоритъ, и этого уже для меня достаточно. Слова слѣдуютъ другъ за другомъ въ порядкѣ; по временамъ можно даже различить мысленное присутствіе знаковъ препинанія. Чего больше нужно? Прежняя бродячая

улыбка еще мелькаетъ на губахъ, но теперь она уже имѣетъ характеръ благосклонности; кончикъ языка, по прежнему, безпокойно облизываетъ искусно заправленные концы усовъ, но теперь это движеніе уже не кажется просто инстинктивнымъ, а выражаетъ какую-то озабоченность. Голова его причесана еще тщательнѣе; безукоризненные бакенбарды обрамливаютъ блистающее свѣжестью лицо; но ничто не напоминаетъ ни о долгихъ часахъ туалета, ни о томительныхъ совѣщаніяхъ по поводу какого-нибудь непокорнаго волоска. Напротивъ того, кажется, что Пьеръ исключительно поглощенъ заботами своей миссіи, а прическа тутъ такъ-себѣ... пришла сама собою.

Какъ произошла эта метаморфоза—я съ точностью объяснить не могу, но несомнѣнно, что тутъ большую роль играло то случайное положеніе, которое Пьеръ умѣлъ занять. Положенія обязываютъ. Съ расширеніемъ горизонтовъ, явленія самыя общеизвѣстныя и безспорныя утрачиваютъ свою рѣзкость и даже измѣняютъ свои первоначальныя названія. Глупость начинаетъ называться благодушіемъ, коварство—дипломатіей, мошенничество—искусствомъ жить на свѣтѣ. Въ чинѣ коллежскаго регистратора, Пьеръ былъ глупъ; теперь, въ чинѣ штатскаго генерала, онъ сдѣлался благодушенъ. Глупость непріятна, и ежели не представляетъ положительнаго порока, то во всякомъ случаѣ никого не украшаетъ; напротивъ того, благодушіе есть качество очень положительное и по преимуществу украшающее...

Пьеръ обошелъ всѣхъ по очереди: всѣмъ сказалъ слово ободренія и надежды, и когда приблизился къ моему сосѣду, то я совершенно явственно услышалъ какъ бы случайно оброненное имъ слово: „шутъ!“

Я понялъ, что это слово было пущено по моему адресу и, признаюсь откровенно, весь вспыхнулъ отъ удовольствія. Это слово разомъ перенесло меня къ милой односложности нашего школьнаго прошлаго. Мало того, оно заключало въ себѣ отпущеніе всѣхъ моихъ недавнихъ проказъ. Я просвѣтлѣлъ и переминался съ ноги на ногу, въ ожиданіи аудіенціи. Я видѣлъ въ немъ уже не товарища и не глупца, незаслуженно занявшаго завидное положеніе, а какое-то высшее существо, которому я обязанъ былъ принести въ жертву все. „До послѣдней капли крови!“ „не щадя живота!“ „не токмо за страхъ, но и за совѣсть!“—вотъ единственныя формулы, которыя безсознательно вырабатывали мои мозги, подъ вліяніемъ внезапнаго

прилива преданности. Наконецъ просители были удовлетворены, и мы остались вдвоемъ.

— Шутъ!—повторилъ онъ, но такъ мило, такъ безконечно-благосклонно, что я могъ только произнести:

— Ради стараться, ваше превосходительство!

— Шутъ!

Онъ съ „небесною“ улыбкой оглядѣлъ меня съ головы до ногъ и, остановившись на моемъ ополченскомъ казакинѣ, продолжалъ:

— Ба! и старый другъ на плечахъ!

Я былъ побѣжденъ и уничтоженъ. Со слезами на глазахъ я разсказалъ печальную повѣсть моихъ грѣхопаденій; признался ему во всемъ, даже...

— Ваше превосходительство! Я здѣсь передъ вами... какъ передъ отцомъ! казните, но не отнимайте отъ меня вашего расположенія!—заключилъ я прерывающимся отъ волненія голосомъ.

Такая довѣренность видимо польстила ему; онъ былъ тронутъ, и съ чувствомъ пожалъ мою руку. Прошедшее было забыто; будущее открывалось, полное надеждъ и загадочныхъ предпріятій. Онъ объяснилъ мнѣ всю важность предстоящихъ задачъ, и, постепенно развивая свои мысли, de fil en aiguille, пришелъ, наконецъ, къ тому, что онъ называлъ „la question du télègue russe“. Этотъ вопросъ, по его мнѣнію, долженъ былъ явиться отправнымъ пунктомъ нашей будущей цивилизующей дѣятельности.

— Первоначальный способъ передвиженія,—говорилъ онъ,—несомнѣнно представляется намъ въ собственныхъ ногахъ человѣка. Неоспоримо, что прародители наши двигались именно этимъ способомъ, удовлетворяя своимъ немногочисленнымъ нуждамъ. Тѣмъ же способомъ двигаемся и мы, когда находимся внутри жилищъ нашихъ...

— Въ недавнее время заведены „посыльные“, которые тоже...—осмѣлился вставить я отъ себя.

— Ну, да, мы, наши прародители и „посыльные“—все это пользуется первоначальными способами передвиженія. Но не прерывай меня, mon cher, потому что мнѣ нужно высказать мою мысль вполнѣ. Итакъ, я сказалъ, что первоначальный способъ передвиженія заключается въ пѣшеходѣ. Но по мѣрѣ того, какъ человѣкъ порабощаетъ природу и укрощаетъ звѣрей, способы передви-

женія усложняются; на смѣну пѣшковой ходьбы является ѣзда верхомъ на четвероногихъ. Выступаетъ понятіе о собственности, которая, на основаніи правила: omnia mea mecùm portò, навьючивается, вмѣстѣ съ всадникомъ, на одно и то же животное. Это уже шагъ впередъ, но согласись со мной, что шагъ очень ограниченный (я сдѣлалъ знакъ головой и нѣсколько подкатилъ глаза, какъ будто хотѣлъ сказать: oh, comme je vous comprends, mon général!)... Собственность ничтожна, перевозочныя средства тоже—вотъ ключъ для объясненія существованія народовъ пастушескихъ, кочевыхъ. Они бродятъ, кочуютъ, не могутъ усидѣть на мѣстѣ... enfin, tout s'explique! Наконецъ появляется телѣга—этотъ неудобный и тряскій экипажъ! — но посмотри, какую онъ революцію произведетъ! Своею неудобностью онъ заставитъ обывателя остеречься излишнихъ передвиженій и тѣмъ самымъ привяжетъ его къ землѣ. Эта привязанность, съ своей стороны, породитъ понятіе о навозѣ. Видя постепенное накопленіе этого удобрительнаго матеріала, простодушный пастухъ спроситъ себя: что̀ такое навозъ? и въ первый разъ задумается, въ первый разъ осѣнится мыслью, что навозъ, какъ и все въ природѣ, существуетъ не безъ цѣли. Онъ начинаетъ дорожить навозомъ, онъ видитъ въ немъ ses pénates et ses lares — и вотъ устраиваетъ около него свое жилище и незамѣтно для самого себя вступаетъ въ періодъ осѣдлости (oh! comme je vous comprends! comme je vous comprends, mon général!) Понимаешь? Человѣкъ заводитъ телѣгу, и этого простого факта, который чуть ли не каждый день проходитъ передъ нашими глазами незамѣченнымъ, совершенно достаточно, чтобъ онъ пріобрѣлъ элементарныя понятія о навозѣ и навсегда оставилъ кочевыя привычки! Но этого мало: имѣя телѣгу, онъ полагаетъ основаніе прочной цивилизаціи (oh. comme je vous comprends!). Понимаешь ли ты. какую радикальную реформу мы можемъ сразу произвести въ бытъ этихъ несчастныхъ бродягъ. ничѣмъ не рискуя, ничего даже съ собою не принося... кромѣ телѣги! кромѣ простой русской телѣги! Aussi, je leur en donnerai... du télègue! Га!

Онъ кончилъ, а я стоялъ и все слушалъ. Я удивлялся только тому, какъ это мнѣ самому сто разъ не пришли въ голову мысли столь простыя и естественныя. Каждый день я вижу сотни телѣгъ. а никогда-таки не приходило на мысль. что тутъ-то именно и си-

дитъ вся суть цивилизующаго русскаго дѣла. Повидимому, и Пьеръ убѣдился, что я понялъ его намѣренія, потому что прервалъ свои объясненія и ласково сказалъ мнѣ:

— Ну, на первый разъ довольно! Я сегодня же доложу о тебѣ нашему генералу, и мы зашпемъ тебя въ гвардію. Да, mon cher, и у насъ, ташкентцевъ, есть свои чернорабочіе и свои гвардейцы. Que veux-tu! Первые — это такъ-называемые les pionniers de la civilisation: они идутъ впередъ, прорубаютъ просѣки, пускаютъ кровь и такъ далѣе. Всѣ эти люди, которыхъ ты сейчасъ у меня видѣлъ,—все это кровопускатели. Если они погибаютъ, то въ общемъ ходѣ дѣла это почти остается незамѣченнымъ. Этихъ кровопускателей каждую минуту нарождается такое множество, что они такъ и лѣзутъ изъ всѣхъ щелей на смѣну другъ другу. Совсѣмъ другое дѣло—наша цивилизаціонная гвардія. Люди гвардіи не прорубаютъ сами просѣкъ, а только указываютъ и дрижируютъ работами. Имъ не позволяется погибать, потому что имъ ведется подробный счетъ. Сверхъ того, они получаютъ двойныя прогонныя и порціонныя деньги!

Должно быть, впечатлѣніе, произведенное на меня послѣдними словами, было особенно сильно, потому что Накатниковъ благосклонно улыбнулся и сказалъ:

— Понимаю! соловья баснями не кормятъ! C'est juste! Желаніе скорѣе разрѣшить вопросъ "о полученіи" съ твоей стороны совершенно естественно, особливо если принять во вниманіе, что „старый другъ", котораго ты такъ добросовѣстно хранишь на плечахъ, долженъ какъ можно скорѣе уступить мѣсто новому другу, болѣе приличной наружности. Завтра это дѣло будетъ покончено, а покамѣстъ...

Онъ далъ мнѣ некрупную ассигнацію и отпустилъ отъ себя, потому что новыя толпы просителей ожидали его. Я не шелъ домой, а летѣлъ, точно у меня выросли сзади крылья. По дорогѣ я забѣжалъ въ Палкинъ трактиръ и разомъ съѣлъ двѣ порціи бифштекса.

Цѣлый день я получалъ деньги.

Когда я пришелъ въ главное казначейство и явился къ тамошнему генералу (на всякомъ мѣстѣ есть свой генералъ), то даже этотъ повидимому нечувствительный человѣкъ изумился разнообразію на-

раграфовъ и статей, которые я сразу предъявилъ! А что всего важнѣе, денегъ потребовалась куча неслыханная, ибо я, въ качествѣ ташкентскаго гвардейца, кромѣ собственныхъ подъемныхъ, порціонныхъ и проч., получалъ еще и другія суммы, потребныя преимущественно на заведеніе цивилизующихъ средствъ...

§ 15. Цивилизующія средства.

Ст. 20. Заготовленіе телѣгъ.

§ 26. Береговое довольствіе.

Ст. 14. Призрѣніе шлющихся и охочихъ людей. И т. д., и т. д.

Я считалъ деньги съ утра и до пяти часовъ. Сеня Броненосный, который получалъ при этомъ свои тощіе *ординарные* порціоны и прогоны, только облизывался.

Я помню, что въ этотъ день я все помнилъ.

Я помню, что на другой день отправился на желѣзную дорогу и взялъ мѣсто въ спальномъ вагонѣ второго класса.

Я помню, что былъ одѣтъ въ *хорошее* платье, что ѣлъ *хорошее* кушанье, что старая ополченка была спрятана въ чемоданъ. Черезъ плечо у меня висѣла дорожная сумка, въ которой хранились казенныя деньги.

Все это я помню...

Но какимъ образомъ я очутился въ Ростовѣ-на-Дону?!! И не въ хорошемъ платьѣ, а въ моей старой ополченской поддёвкѣ?!! Гдѣ моя сумка?!!

Ужели я пріѣхалъ сюда единственно для того, чтобъ познакомиться съ градскимъ головою Байковымъ, котораго я, впрочемъ, не видалъ?!!

Не можетъ быть!

Я помню: я ѣхалъ...

Я ѣхалъ, я ѣхалъ, я ѣхалъ...

Я ѣхалъ.

Вѣроятно, по дорогѣ я засмотрѣлся на какую-нибудь посторонюю губернію и...

Господи!

Тутъ есть какое-то волшебство. Злой волшебникъ превратилъ въ Ташкентъ Рязанскую губернію. Рязанскую или Тульскую?!

Я помню: я пилъ...

Въ Таганрогѣ меня арестовали.

— Откуда? куда?—спрашивали меня.

— Я помню: я ѣхалъ...

— Гдѣ казенная сумка?

— Я помню: я пилъ...

Что случилось? гдѣ я нахожусь?

Кругомъ меня ходятъ какія-то тѣни и говорятъ: „стоя на рубежѣ“... Потомъ приходятъ другія тѣни и говорятъ: „le principe du télègue russe“...

§ 15. Ст. 20. Заготовленіе телѣгъ!!

Но вѣдь надобны же средства. mon cher! Телѣга... конечно, это не Богъ знаетъ драгоцѣнность какая, но вѣдь надо построить ее! Гдѣ же средства... коли я ихъ всѣ пропилъ.. mon cher!?

III.—Они же.

Ахъ! какъ я тогда себя велъ!

Ташкентъ еще завоеванъ не былъ: на западѣ дѣло было покончено: мы были свободны, но страсть къ завоеваніямъ не умирала.

Ничего другого не оставалось, какъ обратиться внутрь...

Я помню, это было лѣтомъ. Петербургъ погибалъ, стихіи смѣшались. Наводненіе слѣдовало за наводненіемъ; Адмиралтейство уже утыло: съ часу на часъ ожидали, что поплыветъ Петропавловская крѣпость. Публицисты гремѣли: общественное мнѣніе требовало быстрой и дѣйствительной немезиды. Образовались, какъ водится, подъ предводительствомъ отставныхъ генераловъ, нѣсколько частныхъ компаній „для искорененія зла“; акціи разбирались нарасхватъ, тѣмъ болѣе, что цѣна имъ была назначена копѣйка серебромъ. Какъ въ 1612 году, общество пыталось спасти себя само, безъ разрѣшенія

начальства. Объявленъ былъ походъ противъ неблагонадежныхъ элементовъ; крестоносцевъ потребовалось множество. Къ одной изъ такихъ компаній, подъ названіемъ: „Робкое усп'ліе благонам'ѣренности", приступилъ и я.

Какъ только кто-нибудь кликнетъ кличъ—я тутъ. Не усп'ѣетъ еще генералъ (не знаю почему, но мнѣ всегда представляется, что кличетъ кличъ всегда генералъ) ротъ разинуть, какъ уже я выростаю изъ-подъ земли и трепещу предъ его превосходительствомъ. Гдѣ бы я ни былъ, въ какомъ бы углу ни скитался — я чувствую. Сначала меня мутитъ, потомъ начинаютъ вытягиваться ноги,—вытягиваются, вытягиваются, б'ѣгутъ, б'ѣгутъ, и едва усп'ѣетъ вылет'ѣть звукъ: „Ребята! съ нами Богъ!"—я тутъ.

— Куда прикажете, ваше-ство?

— А! ты опять здѣсь!

— Точно такъ, ваше-ство!

— Благодарю, мнѣ люди нужны!

Такъ именно было и тогда. Не помню, въ какой губерніи я скитался, но помню, въ карман'ѣ не было ни гроша. И еще помню: м'ѣра безаконій исполнилась... Взять тройку, подтянуться кушакомъ, подкр'ѣпиться тремя—четырьмя рюмками очищенной, с'ѣсть въ тел'ѣгу, перекреститься—все это было д'ѣломъ одной минуты. Зат'ѣмъ скакать, скакать и скакать... И д'ѣйствительно, я прискакалъ въ тотъ моментъ, когда генералъ произнесъ возмутительную р'ѣчь. Эта р'ѣчь произвела на меня такое глубокое впечатл'ѣніе, что я и теперь помню ее отъ слова до слова. „Господа! сказалъ онъ: не посрамимся, но ляжемъ костьми. Такъ, мм. гг., говорилъ блаженной памяти его высочество великій князь Святославъ Игоревичъ, нам'ѣреваясь вступить въ сокрушительный бой съ Іоанномъ Цимисхіемъ"... Генералъ остановился, покрасн'ѣлъ и прибавилъ: „Господа! я не ораторъ, но, какъ челов'ѣкъ русскій, могу сказать: ребята, наша взяла!.."

Въ это самое время я вошелъ. Къ удивленію, пріемная зала была уже полна соискателей всѣхъ возрастовъ, состояній и націй. Очевидно, мутило не меня одного. Фонды компаній въ одну минуту возвысились съ коп'ѣйки до ломанаго гроша. Сочувствующіе, желающіе поживиться, т'ѣснились, толкали другъ друга, бросали кругомъ завистливые взгляды, такъ что генералъ, чтобы предотвратить несчастіе, долженъ былъ сказать: „Господа! не торопитесь! всѣмъ будетъ

мѣсто! мнѣ люди нужны!“ И затѣмъ, обращаясь къ одному изъ приближенныхъ, продолжалъ: „Какой, однако, прекрасный наплывъ чувствъ!“

Насъ тутъ же всѣхъ поголовно переписали и велѣли немедленно явиться въ правленіе для окончательнаго распредѣленія по отрядамъ (par écouades). Я помню, въ числѣ соискателей меня въ особенности поразилъ одинъ инородецъ: при трехъ-аршинномъ ростѣ и соразмѣрной тучности онъ выражалъ такую угрюмую рѣшительность, что самые невинные люди немедленно во всемъ сознавались при одномъ его приближеніи.

Генералъ нашъ долго любовался имъ, но, замѣтивъ, что это предпочтеніе во многихъ начинаетъ возбуждать чувство патріотической ревности, тотчасъ же поспѣшилъ разувѣрить насъ. „Господа!—сказалъ онъ:—не думайте, прошу васъ, чтобы у насъ требовались исключительно люди сверхъестественнаго роста! Нѣтъ!—въ нашемъ предпріятіи найдется мѣсто для людей всякаго роста, всякой комплекціи. Одно *непремѣнное* условіе—это русская душа!“ Слово „непремѣнное“ генералъ произнесъ съ особымъ удареніемъ.

— А нѣмцу можно?—раздался въ толпѣ чей-то голосъ. Небесная улыбка озарила лицо генерала.

— Нѣмцу — можно! нѣмцу всегда можно! потому что у нѣмца всегда русская душа!—сказалъ онъ съ энтузіазмомъ и, обращаясь вновь къ своему приближенному, прибавилъ:—о, еслибы всѣ русскіе обладали такими русскими душами, какія обыкновенно бываютъ у нѣмцевъ!

Генералъ на минуту задумался и пожевалъ губами.

— Наполеонъ III сказалъ правду,—произнесъ онъ какъ бы въ раздумьи:—„что̀ такое истинный французъ?“ спросилъ онъ себя въ одну изъ трудныхъ минутъ, и отвѣчалъ: „истинный французъ есть тотъ, который исполняетъ приказанія генерала Пьетри!“ И съ тѣхъ поръ, какъ онъ сказалъ себѣ это, все у него пошло хорошо!

— Такъ точно, ваше пр-ство!—прогремѣли мы хоромъ.

Инородецъ шевелилъ глазами и простиралъ руки. Наконецъ перепись кончилась. Оказалось 666 соискателей; изъ нихъ 400 (все-таки большинство!) русскихъ, 200 нѣмцевъ съ русскими душами, тридцать-три инородца безъ души, но съ развитыми мускулами, и 33 поляка. Послѣднихъ генералъ тотчасъ же вычеркнулъ изъ списка.

Но едва онъ успѣлъ отдать соотвѣтствующее приказаніе, какъ „безмозглые“ обнаружили строптивость, свойственную этой легко воспламеняющейся націи.

— Мы тоже русскіе! — съ наглостью говорили они. — У насъ тоже русскія души!

— Но вы католики, господа! — усовѣщивалъ генералъ: — а этого я ни въ какомъ случаѣ потерпѣть не могу!

— Какіе мы католики—мы и въ церкви никогда не бываемъ!

— А! если такъ — это другое дѣло! но, предваряю, худо будетъ тому, кто солгалъ...

И затѣмъ, приказавъ возстановить поляковъ въ правахъ и обращаясь къ намъ, прибавилъ:

— Ну, теперь съ Богомъ, господа!

Съ этими словами предсѣдатель компаніи „Робкое усиліе благонамѣренности“ удалился въ кабинетъ, оставивъ всѣхъ очарованными...

Счастливые, обласканные, мы гурьбой выходили отъ него и весело разговаривали.

— Ангелъ!—говорили одни.

— Какое знаніе человѣческаго сердца!—разсуждали другіе.

Я лично былъ въ такомъ энтузіазмѣ, что, подходя къ Палкину трактиру и встрѣтивши „стриженую“, которая шла по Невскому, притоптывая каблучками и держа подъ мышкой книгу, не воздержался, чтобы не сказать:

— Тише! Мперрзавка!

Почему я это сказалъ, я до сихъ поръ объяснить себѣ не могу. Но оказалось, что я попалъ мѣтко, потому что негодная побѣлѣла какъ полотно и поскорѣе сѣла на извозчика, чтобъ избѣжать народной немезиды. Есть какой-то инстинктъ, который въ важныхъ случаяхъ подсказываетъ человѣку его дѣйствія, и я никогда не раскаивался, повинуясь этому инстинкту. Такъ напримѣръ, когда я цивилизовалъ на западѣ, то не иначе входилъ въ домъ пана, какъ восклицая:—А ну-те вы, такіе-сякіе, „кши, ши, ши“, разсказывайте! думаете ли вы, что „надзѣя“ еще съ вами?

Я очень хорошо понималъ, что остроумнаго тутъ нѣтъ ничего.

„Надзѣя“—надежда, „смѣтанка“—сливки, „до зобаченья“—до свиданія—конечно, все это слова очень обыкновенныя, но—странное дѣло!—мы, просвѣтители, не могли выносить ихъ. Намъ казалось—ну, какъ не бить людей, которые произносятъ такія слова? Но въ то же время я былъ убѣжденъ, что паны найдутъ мою шутку необыкновенно веселою. И дѣйствительно, они просто надрывали животы отъ смѣха, когда я произносилъ свое привѣтствіе. (Каюсь, этому смѣху многіе даже были обязаны своимъ спасеніемъ.)

— О! какой панъ милій! — восклицали они хоромъ. . Милій! замѣтьте, „милій“, а не „милый“! Ахъ, прахъ васъ побери!

Точно такъ было и теперь.

Повидимому я не сказалъ ничего, а вышло, что сказалъ очень многое. Къ несчастью, я былъ голоденъ, и къ тому не имѣлъ свободнаго времени слѣдить за негодяйкой. Однако я все-таки былъ доволенъ, что успѣлъ изубытчить ее на четвертакъ, который она должна была заплатить извозчику.

У Палкина была почти такая же давка, какъ и въ генеральской пріемной, такъ какъ всѣ мы на первый случай получили по нѣсколько монетъ и спѣшили вознаградить себя за дни недобровольнаго воздержанія, которое каждый изъ насъ передъ тѣмъ вытерпѣлъ. Но замѣчательно, что никто не спрашивалъ себѣ горячаго, а всѣ насыщались какъ-то непослѣдовательно, урывками. бо́льшею частью солеными и копчеными закусками, заѣдая ими водку. Трехъ-аршинный пирогецъ былъ тоже здѣсь, но водки не пилъ, а выпилъ жбанъ кислыхъ щей и съѣлъ четверть жеребенка. Проглотивъ послѣдній кусокъ. онъ отяжелѣлъ и долгое время не могъ даже моргнуть глазами. Многіе пользовались этимъ и безнаказанно показывали ему свиное ухо.

На всѣхъ пунктахъ шли оживленные разговоры.

— Нужно думать, что намъ придется дѣйствовать по ночамъ, —догадывались одни.

— Еще бы! Днемъ-то „его“ съ собаками не сыщешь, а ночью — днемъ, днемъ! Коман ву порте ву? Wie viel haben sie gewesen? Сейчасъ его, ракалію, за волостное правленіе — не угодно ли прогуляться? Да не топыриться, сударь мой! Н-и-е-то-ны-рить-ся!

— А если же онъ уфъ спальни?—спросилъ тотъ самый нѣмецъ, который сомнѣвался, какая у него душа.

— А если же онъ уфъ спальни?—поддразнилъ его одинъ изъ собесѣдниковъ: — такъ что же, что уфъ спальни! Тебѣ же, нѣмцу, лучше—прямо туда и при! Можетъ, на стрижечку интересненькую набредешь!

Нѣмчикъ покраснѣлъ.

— Что? Побагровѣлъ? Ахъ, нѣмецъ, нѣмецъ! чувствуетъ мое сердце, что добра отъ тебя не будетъ. Ты пойми: тутъ каждая минута милліонъ триста тысячъ червонцевъ стоитъ, а ты ломаешься: „уфъ спальни“!

— О, нѣтъ! я ничего! мнѣ очень пріятно!

— То-то „ничего“! Ты иди прямо, потому дохнуть тутъ некогда!

— Это дѣло нужно умненько вести, — разсуждали въ другомъ мѣстѣ:—потому тутъ какъ разъ наскочишь!

— Не можетъ этого быть!

— Что вы говорите: „не можетъ быть“! Я самъ, сударь, на собственной своей персонѣ испыталъ! Видите это пятно? Вотъ это!.. Ну? Вы думаете, что это родимое! нѣтъ, государь мой, это...

— Я полагаю, надо сначала вызвать дворника, — ораторствовали въ третьемъ мѣстѣ: — а когда онъ обробѣетъ, то потребовать, чтобъ указалъ путь... Когда же такимъ образомъ настоящая берлога будетъ приведена въ извѣстность, то изловить „его“ не будетъ составлять никакой трудности... Нужно только, знаете, съ шумомъ, съ трескомъ, чтобъ впечатлѣніе было полное...

— Но если, заслышавъ шумъ, „онъ“ уйдетъ?

— Куда уйдетъ, подъ столъ что-ли спрячется? или въ щель заползетъ? Такъ за волосы оттуда вытащимъ, государь мой, за волосы!..

— Но если „онъ“ вдругъ лишитъ себя жизни?

— Те-те-те, это волосатый-то! онъ-то лишитъ себя жизни? Да вы, сударь, стало быть не знаете ихъ! Это благородный человѣкъ... ну, тотъ, конечно... для благороднаго человѣка жизнь что? тьфу!.. А то кого нашли! волосатаго!

Словомъ сказать, всѣ шумѣли, всѣ волновались. Одинъ инородецъ былъ исключительно преданъ варенію принятой имъ пищи. Вскорѣ, впрочемъ, и онъ получилъ способность моргать глазами и поворачивать головой. Тогда онъ повернулся всѣмъ корпусомъ къ

Невскому и, увидѣвъ на улицѣ жалкую собачонку, которая на трехъ ногахъ жалась около тротуара, отперъ окно, вынулъ изъ кармана небольшой камень и пустилъ имъ въ собаку. Послѣдовалъ визгъ, и на губахъ его показалась улыбка! Только тогда мы поняли, какую роль долженъ былъ играть этотъ человѣкъ въ предстоящемъ походѣ. Всѣ на мгновеніе притихли.

Я вслушивался въ эти разговоры, и желчь все сильнѣе и сильнѣе во мнѣ кипѣла. Я не знаю, испытывалъ ли читатель это странное чувство самораздраженія, когда въ человѣкѣ первоначально зарождается ничтожнѣйшая точка, и вдругъ эта точка начинаетъ разростаться, разростаться, и, наконецъ, охватываетъ всѣ помыслы, преслѣдуетъ, не даетъ ни минуты покоя. Однажды вспыхнувъ, страсть подстрекаетъ себя сама и не удовлетворяется до тѣхъ поръ, пока не исчерпаетъ всего своего содержанія.

Что до меня, то я ощущалъ это чувство неоднократно. Обстановка, совѣщанія, ожиданіе предстоящихъ подвиговъ—все это дѣйствуетъ опьяняющимъ образомъ. Такъ было и теперь. Чѣмъ болѣе я слушалъ, тѣмъ болѣе напрягались мои душевныя силы, тѣмъ болѣе я ненавидѣлъ. Ночь, робѣющій дворникъ, бряцанія о тротуары и черныя лѣстницы, genre ménage въ бумагахъ и письмахъ — таково начало! Потомъ: краткое мерцаніе утренней зари, медленный благовѣстъ къ заутренямъ, дрожь на проникнутомъ ночною свѣжестью воздухѣ, рюмка водки въ ближайшей харчевнѣ, шумъ, смѣхъ, изумленіе раннихъ прохожихъ... стой! слу-шай! Въ комъ не произведетъ опьяненія подобная перспектива?

Въ такомъ-то возбужденномъ состояніи я вышелъ изъ Палкина трактира и уже хотѣлъ направить шаги въ свою квартиру, какъ вдругъ увидѣлъ идущаго на встрѣчу товарища по школѣ. Натурально, бросились другъ къ другу; излія́нія, воспоминанія, вопросы... Радость была взаимная, потому что въ школѣ мы были очень дружны, а послѣ того потеряли другъ друга изъ вида, и, слѣдовательно, ни онъ обо мнѣ, ни я объ немъ не имѣли рѣшительно никакихъ свѣдѣній... И вдругъ, послѣ нѣсколькихъ минутъ задушевной бесѣды, онъ говоритъ мнѣ:

— Ахъ, какое время, мой другъ! Какое ужасное время!

Я инстинктивно взглянулъ на него: онъ уловилъ этотъ взглядъ, и вдругъ... все понялъ!

— То-есть, ты понимаешь меня, — засѣшилъ онъ, какъ-то странно смѣясь мнѣ въ лицо:—не въ томъ смыслѣ ужасное... пожалуйста, ты не подумай... однако, прощай! Мнѣ надо по одному дѣлу!

И онъ удалился, постепенно ускоряя свои шаги. Я нѣсколько минутъ, какъ статуя, стоялъ на одномъ мѣстѣ и безмолвно кусалъ усы. Если бы въ эту минуту возлѣ меня разверзлась пропасть, я навѣрное бросился бы въ нее!..

Меррзавецъ!

Pardon! Вѣдь было, однако, время... когда я былъ .либераломъ!

Не удивляйся, читатель, и не гляди на меня съ недовѣріемъ: да, было время, когда я не только былъ либераломъ, но былъ близокъ къ нѣкоторымъ знаменитымъ и уважаемымъ личностямъ (увы! теперь уже умершимъ!). Мы составляли тогда тѣсную, дружескую семью: у всѣхъ насъ былъ одинъ девизъ: „добро, красота, истина“.

Мы не только горячо говорили, но горячо чувствовали. Борьба романтизма съ классицизмомъ, движеніе, возбужденное Бѣлинскимъ, Луи-Бланъ, Жоржъ-Зандъ — все это увлекало насъ и увлекало совершенно искренно. Насъ трогали идеи 48-го года; конечно, не сущность ихъ, а женерозность, гуманность... „Alea jacta est! la grandeur d'âme est à l'ordre du jour!“—восклицали мы вслухъ съ Ламартиномъ.

Какимъ образомъ все это примирилось съ уставомъ благоустройства и благочинія?

Это сдѣлалось очень странно, но, я помню, тутъ произошелъ какой-то сумбуръ.

Была одна минута, одна единственная минута, когда вдругъ все перемѣнилось, когда выползли изъ норъ какіе-то волосатые люди и начали доказывать, что „добро“, „красота“, „истина“ — все это только слова, которыя непремѣнно нужно наполнить содержаніемъ, чтобы они получили значеніе.

— Что разумѣете вы, напримѣръ, подъ „добромъ“?—спрашивали насъ эти люди, и спрашивали такъ дерзко, такъ самоувѣренно, какъ будто и въ самомъ дѣлѣ возможность „распорядиться“ исчезла навсегда изъ всѣхъ кодексовъ.

Однако мы были настолько любезны (замѣтьте: мы могли и не быть такими!), что отвѣчали.

Я помню, я въ первый разъ тогда покраснѣлъ. До тѣхъ поръ все это было мнѣ такъ ясно, такъ безспорно — и вдругъ... призываютъ къ допросу!

— Добро!—говорили мы:—но развѣ каждому изъ насъ не присуще это чувство? Развѣ каждый изъ насъ не трепещетъ при одномъ его имени? Развѣ не страшенъ самый вопросъ: что̀ такое добро?

Сказавъ это, мы сѣли, ибо были увѣрены, что отвѣтили.

— Ну-съ?—услышали мы вмѣсто возраженія.

— Наконецъ, — продолжали мы: — если въ трудныя минуты жизни мы жаждемъ утѣшенія, то гдѣ же мы ищемъ его, какъ не въ высокихъ идеяхъ добра, красоты и истины? Ужели и это не объясняетъ достаточно, какое значеніе, какую цѣну имѣетъ добро?

Мы кончили и опять сѣли, ожидая, что „они“ поймутъ. Но въ отвѣтъ на наши слова послышался холодный, какъ бы беззвучный смѣхъ. Я понялъ, что этотъ смѣхъ называется „отрицаніемъ“, и впервые тогда произнесъ:—Меррзавцы!

Послѣ этого пошло дальше и дальше; послѣ „отрицанія“ пришло „неуваженіе авторитетовъ“, потомъ „безвѣріе“, потомъ „посягательство на чужую собственность“, затѣмъ еще и еще... Теперь я чувствую, что я пришелъ, что я у пристани...

Иногда меня интересуетъ вопросъ: что̀ было бы, еслибъ былъ живъ Грановскій? Остался ли бы я его другомъ? Я понимаю, что самъ по себѣ этотъ вопросъ праздный; но сознаюсь, въ первое время моего вступленія на арену благочинія, онъ волновалъ меня довольно сильно. Бывали минуты, когда я предлагалъ этотъ вопросъ на разрѣшеніе компетентнымъ людямъ. Многіе изъ нихъ уклонялись, многіе не отвѣчали ни да, ни нѣтъ; но одинъ просто-на-просто сразилъ меня.

— Вы! — почти крикнулъ онъ на меня: — вы... другъ Грановскаго? Вы!.. Да онъ бы на порогъ квартиры своей васъ не пустилъ!..

Меррзавецъ!

Я уже сказалъ, что мы дѣйствовали отрядами, par escouades.

Несмотря на позднее время, „онъ“ сидѣлъ и читалъ книгу; по-

друга его беззаконій спала. Когда мы позвонили, „онъ“ самъ отворилъ намъ дверь. „Онъ“ не казался испуганнымъ, ни даже изумленнымъ, но какъ будто старался понять... Наконецъ „онъ“ понялъ.

Первымъ моимъ движеніемъ было овладѣть книгой.

Содержаніе ея было физіологическое.

— Вотъ эти-то книги и доводятъ васъ, милостивый государь, до всего!—сказалъ я, и ужъ не помню, какъ это случилось, но бросилъ книгу на полъ и началъ топтать ее ногами.

„Онъ“ съ любопытствомъ и даже какъ бы съ жалостью слѣдилъ за моими непроизвольными движеніями, однако не протестовалъ.

Изъ другой комнаты выглянуло испуганное лицо женщины.

— Это кто?—спросилъ я, указывая на нее.

— Это... моя жена.

— Около ракитоваго куста вѣнчаны?

— Къ сожалѣнію, я не настолько знакомъ съ отечественными былинами, чтобы отвѣчать на вашъ вопросъ.

Это была уже дерзость.

— Я заставлю васъ понимать себя!—вспылилъ я.

— Извините, но я не могу понимать больше того, сколько понимаю. Потрудитесь выражаться яснѣе.

— Гражданскимъ бракомъ? проклятымъ гражданскимъ бракомъ?—говорилъ я, выходя изъ себя.

— Теперь понимаю... Да, гражданскимъ бракомъ!

— Такъ вотъ для нея... Сударыня... какъ васъ?.. Извольте получить... билетъ!

„Она“ на-скоро одѣлась и вышла къ намъ.

Повидимому, она еще не понимала.

— Что же! возьми!—сказалъ „онъ“.

Но она все еще не рѣшалась брать и взорами спрашивала у него, у меня, у всѣхъ—разъясненія этой загадки... Вдругъ черты ея лица начали искажаться, искажаться... „Она“ поняла... И что-жъ? Оказалось, что это была дочь почтеннаго дѣйствительнаго статскаго совѣтника, увлеченная хитростью въ сонмище неблагонамѣренныхъ...

Маршъ!

Было еще позднѣе, и „онъ“ уже спалъ. Сдѣлавши нѣсколько сильныхъ ударовъ звонкомъ, мы долго ждали на площадкѣ, прислу-

ниваясь, какъ за дверью возились и ходили взадъ и впередъ. Вознѣ этой, казалось, не будетъ конца.

— Да куда же, однако, дѣвались мои носки?—долетаетъ до насъ „его“ голосъ.

Наконецъ носки были отысканы и дверь отперта. „Онъ“ узналъ насъ сразу, и не только не показалъ никакого изумленія, но даже принялъ гостей съ нѣкоторою развязностью.

Впослѣдствіи открылось, что „онъ“ уже „травленый“.

— Ба! Гости!—сказалъ „онъ“ довольно весело:—да ужъ нѣтъ ли тутъ старыхъ знакомыхъ? нѣтъ? Ну, и съ новыми познакомимся! Marie! вставай: гости пришли!

Оказалось, что „онъ“ былъ веселый малый и даже отчасти жуиръ. На столѣ, въ кабинетѣ, стояли неубранные остатки довольно обильной закуски: ветчина, сыръ, балыкъ, куски холоднаго пирога... Нѣсколько початыхъ бутылокъ вина и наполовину выпитый графинъ съ водкой довершали картину.

— Господа! не угодно ли?—сказалъ „онъ“, указывая на закуски:—отъ меня, съ часъ тому назадъ, ушли пріятели, такъ вотъ кстати и закуска осталась. А я покамѣстъ одѣнусь: вѣдь мнѣ придется сопровождать васъ? или, лучше, вамъ придется сопровождать меня—такъ?

— Точно такъ-съ!—отвѣчалъ я, увлеченный его добродушіемъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ не могъ не подумать:—Если бы всѣ „они“ были таковы! Гостепріименъ, ласковъ, словоохотливъ!

Это былъ единственный случай, когда меня угостили закуской. Я уже начиналъ думать, что „они“ не ѣдятъ и не пьютъ, и вдругъ... встрѣчаюсь съ картиной стариннаго дворянскаго хлѣбосольства! И гдѣ же встрѣчаюсь!

Что привело этого человѣка въ бездну вольномыслія? Непостижимо!!

Мы послѣдовали приглашенію радушнаго хозяина, и, признаюсь, даже не замѣтили, какъ прошло время въ любезной бесѣдѣ.

Говорили обо всемъ, о соціализмѣ, о коммунизмѣ, но безъ раздраженія, безъ задора и даже съ видимымъ удовольствіемъ. Одинъ только разъ я принужденъ былъ выразиться довольно строго и именно по поводу той самой Marie, которую онъ уже вызывалъ въ началѣ

нашего прихода и которая теперь съ самой изысканной любезностью потчивала насъ пирогомъ и закуской.

— Эта особа... какъ вамъ приходится?—спросилъ я его.

— А! это... моя жена! Вамъ, можетъ быть, нужно въ спальную войти? Сдѣлайте одолженіе—не стѣсняйтесь? Я самъ вамъ все покажу.

— Нѣтъ-съ, покуда мы еще не имѣемъ въ этомъ нужды... Но жена... т.-е. какъ жена?—прибавилъ я, шутливо подмигнувъ однимъ глазомъ:—вокругъ ракитоваго куста?

— Если вы подъ ракитовымъ кустомъ разумѣете...

Но онъ не успѣлъ докончить.

— Довольно, государь мой!—сказалъ я строго, чтобы дать ему почувствовать, что вѣжливое обращеніе еще не даетъ права на дерзость.

Затѣмъ, когда мы закусили и выпили, онъ самъ намъ показалъ все. Въ цѣлой квартирѣ не было ни одной книги, ни одного клочка бумаги, такъ что я даже изумился.

— Васъ изумляетъ отсутствіе книгъ и бумагъ?—поспѣшилъ онъ объяснить, замѣтивъ на моемъ лицѣ недовольное движеніе:—но пейміте же, наконецъ, что, начиная съ 48-го года, я періодически подвергаюсь точно такимъ посѣщеніямъ, какъ въ настоящую минуту. Кажется, этого достаточно, чтобы получить нѣкоторую опытность.

Признаюсь, во всякомъ другомъ случаѣ подобная предусмотрительность огорчила бы меня, но на этотъ разъ она даже обрадовала: такъ мнѣ пріятно было за нашего добраго, радушнаго... и, вѣроятно, не по своей винѣ увлеченнаго хозяина!

Подъ вліяніемъ этого чувства я совершенно раскисъ.

— Вы не сердитесь, пожалуйста, Павелъ Ивановичъ, (такъ „его“ звали),—сказалъ я:—но я считаю своимъ долгомъ вамъ выразить, что давно не проводилъ такъ пріятно время, какъ въ вашемъ миломъ, образованномъ семействѣ.

— За что же тутъ сердиться?

— Да-съ! Но за всѣмъ тѣмъ... моя обязанность... мой, если можно такъ выразиться, священный долгъ...

— Повелѣваетъ вамъ пригласить меня съ собою? Что-жъ, вѣдь я съ перваго же раза сказалъ вамъ, что на всякомъ мѣстѣ и во всякое время готовъ?

— Да-съ; но могу васъ увѣрить, что съ своей стороны... все, что зависитъ...

— Ну, отъ такихъ курицыныхъ дѣтей, какъ вы, тутъ, пожалуй, ровно ничего зависѣть не можетъ. Однако, довольно разговаривать: идемъ!

Тутъ только я замѣтилъ, что ему все-таки не совсѣмъ пріятно было наше посѣщеніе.

Маршъ!

Петербургъ погибалъ! Петропавловская крѣпость уже упылa... Послѣдній оплотъ! Это было зрѣлище ужасное: куда ни оглянись — вездѣ дыра... Публицисты гремѣли, благонамѣренные... радовались!

Всѣ чувствовали, что надо вырвать „зло“ съ корнемъ, всѣ издавали дикіе вопли... Въ чемъ заключалось зло? Какое оно отношеніе имѣло къ данной минутѣ? Объ этомъ никто себя не спрашивалъ, не разсуждалъ, не говорилъ. Чувствовалось одно: что минута благопріятна, что это одна изъ тѣхъ минутъ, къ которымъ можно пріурочить какую угодно обиду, и никто въ суматохѣ ничего не разберетъ и не отличитъ. Если *теперь* упустить минуту, то кто можетъ поручиться, поймаешь ли ее когда-нибудь за хвостъ?

Нѣтъ зрѣлища болѣе поразительнаго, какъ зрѣлище радости благонамѣренныхъ! это какой-то гулъ: у-у! а-а! го-го! Повидимому, тутъ нѣтъ даже необходимой, для вразумительности, членораздѣльности, а за всѣмъ тѣмъ нельзя не чувствовать, что это единственные „передовые“ звуки, возможные въ извѣстныя минуты!

Еще вчера благонамѣренный жался къ сторонкѣ, ходилъ съ понурою головой, съ блѣдными щеками и потухшими взорами; еще вчера онъ клялся и божился, что отнынѣ подло быть негодяемъ — и вдругъ какая метаморфоза! Сегодня онъ цвѣтетъ; походка у него увѣренная, авторитетная; глаза блещутъ молніями; уста извергаютъ побѣдный вопль. Вы не можете объяснить, какъ совершилась побѣда, но чувствуете, что она совершилась, и что вчерашній день утонулъ навсегда. Vae victis! Горе тому, кто попадется въ эту минуту на глаза „благонамѣренному“! Онъ въ одно мгновеніе будетъ съ ногъ до головы обрызганъ ядовитою слюной ябеды и клеветы!

Сильныя общественныя пертурбаціи необходимы для „благона-

мѣреннаго“: онѣ даютъ ему возможность окрѣпнуть. Пожаръ поселяетъ въ его сердцѣ радостный трепетъ; наводненіе, голодъ—приводятъ въ восхищеніе!

Въ обыкновенное время, когда теченіе дѣлъ не представляетъ угрозъ, когда окрестъ царствуетъ тишина, когда въ обществѣ расцвѣтаетъ надежда на лучшее будущее—„благонамѣренный“ увядаетъ, ибо сознаетъ себя ненужнымъ.

Самолюбіе его страдаетъ безмѣрно; онъ мечется и ищетъ исхода для своей дѣятельности и вездѣ приходитъ не во-время, вездѣ видитъ себя лишнимъ... Тишина тлетворнымъ образомъ дѣйствуетъ на его фонды, почти-что исключаетъ его изъ жизни. Притомъ это явленіе до такой степени для него ново и необычно, что невольно возбуждаетъ въ немъ подозрительность, населяетъ его воображеніе всевозможными страхами. „Тихо—стало быть, я пропалъ“,—говоритъ себѣ благонамѣренный, и нѣтъ мѣры его злополучію. Чтобы пищевареніе совершалось въ немъ безпрепятственно, нужно, чтобы цѣлыя массы изнемогали подъ игомъ нравственныхъ и физическихъ истязаній, или, по крайней мѣрѣ, чтобы кто-нибудь да стоналъ.

Если этого нѣтъ, онъ чувствуетъ себя неловко и, чтобы смягчить свое горе, начинаетъ предсказывать, накликать.

И вотъ, какъ бы въ отвѣтъ на его предсказанія, на горизонтѣ появляется облако, въ воздухѣ чувствуется удушливость, вдалекѣ слышатся раскаты грома...

Посмотрите, какъ постепенно онъ воскресаетъ, какъ загорается румянецъ на его блѣдныхъ щекахъ, какою страшною пастью разверзаются нѣмотствовавшія дотолѣ уста!

„Я говорилъ, я предсказывалъ, я зналъ впередъ, что это будетъ такъ!“—хохочетъ онъ на всѣ стороны. И льется этотъ зловѣщій перекатистый хохотъ изъ края въ край, вызывая къ жизни давно успувшія ненависти, давая плоть и форму тому, что смутно шипѣло и безсмысленно бормотало, не сознавая самого себя, не умѣя найти для себя яснаго выраженія...

Наступаетъ минута какого-то адскаго откровенія. „Либералы!“—раздается побѣдный кличъ, и все, что чувствуетъ себя бодрымъ,—все складывается въ одну яму и немедленно отдается на поруганіе.

Въ такомъ положеніи дѣлъ очень естественно, что какъ бы че-

ловѣкъ ни старался попасть въ тонъ минуты, онъ всегда чувствуетъ себя опереженнымъ.

Такъ было и съ нами, членами общества „Робкаго усплія благонамѣренности“. Какъ мы ни бодрились, какъ ни старались сослужить службу общественную—возрастающій спросъ на благонамѣренность съ каждымъ часомъ больше и больше затоплялъ насъ. Мы уже не удовлетворяли потребности минуты; мы оказывались слабыми и неумѣлыми; насъ открыто называли колпаками!! Въ концѣ концовъ, мы сдѣлались страдательнымъ орудіемъ, которое направляло свои удары почти механически.

Надо было видѣть, какіе люди встали тогда изъ могилъ! Надо было слышать, что̀ тогда припоминалось, отомщалось и вымещалось!

Если вы имѣли съ вашимъ сосѣдомъ процессъ; если вы дали взаймы денегъ и имѣли неосторожность напомнить объ этомъ; если вы имѣли несчастіе доказать дураку, что онъ дуракъ, подлецу—что онъ подлецъ, взяточнику—что онъ взяточникъ; если вы отняли у плута случай слутовать; если вы вырвали изъ когтей хищника добычу—это просто-на-просто означало, что вы сами вырыли себѣ подъ ногами бездну. Вы припоминали объ этихъ вашихъ преступленіяхъ—и съ ужасомъ ожидали. Не было закоулка, куда бы не проникла „благонамѣренность“...

Провинція колыхалась и извергала изъ себя цѣлые легіоны чудовищъ ябеды и клеветы—

От Перми до Тавриды,
От хладныхъ финскихъ скалъ
До пламенной Колхиды...

Отовсюду устремлялись стада „благонамѣренныхъ“, чтобы выместить накипѣвшія въ сердцахъ обиды...

Они рыскали по стогнамъ, становились на распутьяхъ и вопили. Обвинялся всякій: отъ коллежскаго регистратора до тайнаго совѣтника включительно. Вся табель о рангахъ была заподозрѣна. Сводились счеты; все прошлое ликвидировалось сразу... Дѣлалось яснымъ, что какъ бы ни тщился человѣкъ быть „благонамѣреннымъ“, не было убѣжища, въ которомъ бы не настигала его „благонамѣренность“ еще болѣе благонамѣренная.

Самые „благонамѣренные“, наконецъ, спутались и испугались—не за общество, а за самихъ себя и за дѣтей своихъ.

Человѣкъ старался угадать не то, въ чемъ онъ когда-нибудь преступилъ противъ ходячей политической морали, а то, существовали ли какіе-нибудь пункты этой морали, въ которыхъ нельзя было бы совершенно свободно обвинить кого угодно и какъ угодно, и на которомъ изъ этихъ пунктовъ обрушится обвиненіе именно на него? Тотъ, кого въ этомъ обвинительномъ омутѣ постигало забвеніе, могъ считать себя счастливымъ. Тотъ, кого не обвиняли прямо, и кому только издали грозили пальцемъ, долженъ былъ снѣшить исчезнуть, чтобы не раздражать своимъ видомъ торжествующей „благонамѣренности“. Исчезнуть, провалиться сквозь землю, быть забытымъ—вотъ лучшій удѣлъ, котораго могъ желать человѣкъ...

Читатель! ты, который, пробѣгая настоящее признаніе, быть можетъ, обвиняешь меня въ развратѣ, размысли надъ правдивой картиной, которую сейчасъ нарисовало перо мое; провѣрь ее съ твоими воспоминаніями и скажи по совѣсти: гдѣ находятся дѣйствительныя, крайнія границы нравственной распущенности—во мнѣ... или, можетъ быть, въ другомъ какомъ-нибудь мѣстѣ?

На этотъ разъ было почти утро... Цѣлую ночь мы не смыкали глазъ, и уже начали дѣйствовать нерѣшительно и вяло. Это былъ тотъ моментъ, когда на улицахъ начинаетъ показываться какое-то колеблющееся, словно приготовительное движеніе: дворники метутъ мостовую, открываются двери булочныхъ, съѣзжаются возы съ овощами и зеленью; но настоящая толпа, настоящее движеніе еще не показываются. Въ такія минуты всего сильнѣе чувствуется цѣна теплой кровати. Самый безпріютный человѣкъ ищетъ себѣ уголка, къ которому можно прислонить уставшую голову. Бодрственное состояніе дѣлается почти непереносимымъ и можетъ быть поддержано лишь искусственнымъ образомъ.

Мы спѣшили.

„Онъ“ былъ уже, однако, одѣтъ. Онъ отворилъ намъ дверь, держа въ рукахъ книгу, и, не отрывая отъ нея глазъ, пошелъ передъ нами, какъ будто наше появленіе не составляло для него ничего непредвидѣннаго и, пожалуй, даже не относилось къ нему.

Равнодушіе уже перестало удивлять насъ. Однако это было уже не равнодушіе, но что-то такое, чему нельзя подыскать имени. Мы

всегда примѣчали, что какъ бы ни старался человѣкъ взглянуть въ глаза бѣдѣ, какъ бы ни примирялся онъ съ неизбѣжностью и неисправимостью положенія, въ которое ставила его сила обстоятельствъ, но такое философское настроеніе никогда не оказывается вполнѣ цѣльнымъ. Всегда въ него примѣшивалась хоть тѣнь горечи, иронін или, по крайней мѣрѣ, изумленія. Человѣкъ не протестуетъ, не жалуется, но восклицаніе: „какіе жалкіе люди!“—такъ и свѣтится во всѣхъ движеніяхъ, такъ и бьетъ всюду: и въ интонаціи голоса, и въ выраженіи глазъ... всюду.

Читатель! какъ ни обидна подобная оцѣнка, но даже и она можетъ примирить. Чувствуется, что эту фразу говоритъ человѣкъ не совсѣмъ еще закоснѣлый, что вы не ничто въ его глазахъ, что у него могутъ быть такія же уязвимыя мѣста, какъ и у васъ, и у всякаго; однимъ словомъ, что это слабый смертный, которому можно сдѣлать больно, который имѣетъ хоть-какія-нибудь точки соприкосновенія съ вами. Какъ хотите, а это сознаніе успокоиваетъ. Напротивъ того, тутъ, въ этомъ разсѣянномъ и сосредоточенномъ молодомъ человѣкѣ, не виднѣлось ничего подобнаго. Какъ будто все давно имъ понято, рѣшено и забыто.

Мы вошли въ кабинетъ.

„Онъ“ молча сѣлъ около окна и углубился въ чтеніе. Натурально, это меня взорвало.

— Извольте стоять!—крикнулъ я на него.

Онъ всталъ и продолжалъ читать.

— Извольте оставить книгу!

Онъ положилъ книгу на столъ.

— Мерзавецъ!—произнесъ я сквозь зубы, но такъ, что онъ навѣрное слышалъ мое восклицаніе: тѣмъ не менѣе, ни малѣйшаго движенія не показалось на лицѣ его.

— Съ вами живетъ какая-нибудь женщина?

— Смотрите!—сказалъ онъ, какъ будто отгоняя отъ себя что-то назойливое, прервавшее нить его мыслей.

Разсуждая хладнокровно, я долженъ сознаться, что при тогдашнемъ моемъ утомленіи только такое адское равнодушіе и могло обновить мои заснувшія силы. Я съ яростью выбрасывалъ книги, швырялъ бумаги. Но онъ по прежнему продолжалъ стоять у окна и безъ ма-

лѣйшаго признака изумленія смотрѣлъ на картину разрушенія, которая быстро созидалась передъ его глазами.

— Кто вы такой?—наконецъ бросился я къ нему.

Онъ назвалъ себя. Онъ даже не сказалъ, что я самъ долженъ знать, у кого я нахожусь. Повидимому, ему не приходило въ голову, что можно иронизировать, удивляться, негодовать.

Это было до такой степени ново, что въ головѣ у меня блеснула мысль: не подступиться ли къ нему посредствомъ великодушія?

— Общественное мнѣніе указываетъ на васъ, какъ на причину зла,—сказалъ я.—Опровергните это! Постарайтесь снять съ себя столь ужасное обвиненіе! Я изъ участія къ вамъ говорю это: мнѣ жаль васъ! Наконецъ, я прошу васъ: спасите себя и дайте мнѣ возможность участвовать въ этомъ спасеніи!

— Идемте!—произнесъ онъ съ такимъ видомъ, какъ будто ему безконечно надоѣло мое кроткое изліяніе чувствъ...

Маршъ!

Дальше! дальше!

„Онъ“, очевидно, былъ философъ, и принялъ на себя трудъ убѣждать насъ.

— Мнѣ кажется, господа,—говорилъ онъ,—что вы бьете совсѣмъ не туда, куда слѣдуетъ, и что, видя въ занятіяхъ умственными интересами что-то враждебное обществу, вы кидаете послѣднему упрекъ, котораго оно даже не заслуживаетъ!... Ужели оно и въ самомъ дѣлѣ такъ разслаблено, что не можетъ выдержать напора мысли, и первая вещь, отъ которой прежде всего необходимо остеречь его—это преданность интересамъ мысли? Почему вы думаете, что для общества всего необходимѣе невѣжество? Почему, когда въ обществѣ возникаетъ какое-нибудь замѣшательство, первые люди, которые дѣлаются жертвами подозрительности, суть именно люди мысли, люди изслѣдованія? Согласитесь, что такое странное явленіе нельзя даже объяснить иначе, какъ глубокимъ презрѣніемъ, которое вы питаете не только къ обществу, но и къ самимъ себѣ?

Я слушалъ его съ удовольствіемъ, да и нельзя было иначе, потому что au fond il y a du vrai dans tout ceci!.. Иногда мы дѣйствительно пересаливаемъ и какъ будто черезъ-чуръ охотно доказы-

ваемъ міру, что знаменитое хрестоматическое двустишіе: „Науки юношей питаютъ“ и пр., улетучивается изъ насъ немедленно, какъ только мы покидаемъ школьныя скамьи.

Я невольно вздохнулъ при этомъ соображеніи.

„Онъ“ продолжалъ:

— Допустимъ однакоже, что наука вредитъ; но вѣдь, во всякомъ случаѣ, это такой вредъ, который доступенъ только немногимъ, большинству же не можетъ при этомъ угрожать ни малѣйшею опасностью. Вы говорите: общество лишь тогда можетъ быть счастливо, когда оно невѣжественно. Прекрасно! Но съ чего же вы берете, что эта невѣжественность такъ легко доступна для посягательства науки? И ежели общество дѣйствительно такъ невѣжественно, что считаетъ состояніе невѣжества лучшимъ залогомъ своего спокойствія, то какъ же допустить въ немъ ту легкомысленную жажду къ знанію, которая будто бы до того сильна, что требуетъ какихъ-то экстраординарныхъ мѣръ для предупрежденія увлеченія ею?

Удовольствіе мое возрастало. Онъ продолжалъ:

— Одно что-нибудь: или общество желаетъ знанія, и слѣдовательно можетъ безопасно выдержать его; или оно не терпитъ знанія —и въ такомъ случаѣ, конечно, само постоитъ за свою святыню, само отобьется отъ нападеній и защититъ свое право на свободу отъ наукъ. Бояться за общество, столь крѣпко убѣжденное, предпринимать искусственныя и не всегда ловкія мѣры для огражденія его— не значитъ ли это безъ надобности волновать его и даже указывать такіе просвѣты, которыхъ оно никогда не увидало бы, не будь вашей безсознательной услуги?

Удовольствіе возрастало съ каждой минутой. Я думалъ: „ахъ, если бы такъ всѣ разсуждали! если бы всѣ понимали, что вмѣсто того, чтобы преслѣдовать науку, лучше всего поступать такъ, какъ бы ея совсѣмъ не было... Наука! Что такое наука? Parlez-moi de ça! Qu'est-ce que c'est que cette „наука“, et où avez-vous été pécher cet animal-là?

Вотъ, по моему мнѣнію, единственный разговоръ, который можетъ допустить по этому поводу истинно прозорливая внутренняя политика!

Но „онъ“ продолжалъ:

— Но вѣдь придется же наконецъ понять—хоть въ этомъ и

тяжело сознаться,—что совсѣмъ безъ наукъ тоже обойтись нельзя: что народы, которые питаютъ къ наукамъ презрѣніе...

„Онъ“ остановился, точно обрѣзалъ: очевидно, онъ понялъ, что я слушалъ его съ удовольствіемъ.

— Идемте!—сказалъ онъ, надѣвая на голову картузъ.

Маршъ!

Замѣчательно, что женщины никогда не бываютъ такъ тверды въ бѣдствіяхъ, какъ мужчины: онѣ непремѣнно или въ слезы ударятся, или легкомысленничаютъ. Обыкновенно онѣ очень хвастливы и даже нагло отстаиваютъ убѣжденія, имъ искусственно привитыя: напротивъ того, становятся очень робки, когда дѣло коснется ихъ убѣжденій настоящихъ, жизненныхъ. Сейчасъ норовятъ шмыгнуть въ сторону. Такъ напримѣръ, онѣ выходятъ изъ себя, разговаривая о собственности, о семействѣ, какъ основѣ государственнаго и гражданскаго союза,—однимъ словомъ, обо всемъ, что ни прямо, ни косвенно не касается ихъ, а заговорите-ка объ „амурахъ“...

— Вы, душенька, либералка? — спрашивалъ я на дняхъ одну „милушку“, зачитывавшуюся Боклемъ до чертиковъ.

— А вы, душенька, негодяй?—отвѣчала она, вѣроятно думая очень уколоть меня этимъ названіемъ.

Вотъ одинъ изъ тысячи примѣровъ женскаго легкомыслія! Я обращаюсь съ словомъ: „либералка“, а она отвѣчаетъ мнѣ: „негодяй!“ и не понимаетъ, что въ этомъ наивномъ сопоставленіи заключается все мое торжество; что она собственными своими милыми устами подтверждаетъ, что „либералъ“ и „негодяй“—понятія однозначащія...

Я охотно указалъ ей на этотъ естественный выводъ, и хотя она пыталась объяснить свою фразу, но въ этихъ объясненіяхъ еще болѣе запутывалась...

— Нѣтъ, я этого не говорила! — горячилась она: — „либерализмъ“—это само по себѣ, а „негодяй“—самъ по себѣ: негодяй—это вы!

И она такъ уморительно сердилась, что я готовъ былъ расцѣловать ее...

— Ну, а насчетъ браковъ какъ?—спросилъ я.

Она вышла изъ себя... Вообще я замѣтилъ, что „онѣ“ не любятъ этого вопроса, и перестаютъ быть любезными, когда имъ предлагаютъ его.

— Ну-съ, хорошо-съ! Скажите, по крайней мѣрѣ, что̀ называется коммунизмомъ?

— Коммунизмъ, — заговорила она бойко: — это такая форма общежитія, при которой ни одинъ изъ членовъ общества не имѣетъ отдѣльной собственности, въ которую всѣ члены приносятъ одинаковую долю труда, необходимаго для производства цѣнностей, и всѣ же получаютъ одинаковую долю въ пользованіи произведенными цѣнностями.

— Всѣ: и лѣнивые, и прилежные?

— Лѣнивыхъ не должно быть. Лѣнивые—это изобрѣтеніе вашего историческаго общества.

— Прекрасно-съ! Ну, а насчетъ браковъ — такъ-таки ничего не скажете?

— Я сказала уже, что вы негодяй!

Ужели это не легкомысліе? Готовы всѣмъ рисковать, страдать, перенести всякую невзгоду изъ-за какихъ-то завѣтныхъ принциповъ, а какъ только начнешь сводить этотъ любезный принципъ съ маленькаго пьедестальчика, на который онъ взобрался, какъ только назовешь этотъ принципъ по имени — сейчасъ или сердятся, или плачутъ!

Маршъ!

Въ другой разъ дѣло было еще горячѣе.

Я сидѣлъ съ одной „душкой“ (и какъ идутъ къ нимъ эти распущенные волосы, эти короткія платьица, какой онѣ имѣютъ шикарный видъ!) и, побрякивая саблей, доказывалъ ей, что занятіе анатоміей отнюдь не должно входить въ кругъ воспитанія благородныхъ дѣвицъ.

— Почему такъ?—спросила она меня довольно нахально.

— А потому, душенька,—отвѣчалъ я:—что анатомія можетъ волновать нѣжныя, легко воспламеняющіяся чувства...

— Лучше скажите, что она можетъ волновать чувства у тѣхъ, кто не помышляетъ ни о чемъ, кромѣ гадостей...

— Ужъ будто и „гадостей“? А небось, какъ дойдетъ до „амуровъ“...

Я каюсь: я увлекся! Раздражаемый содержаніемъ разговора, миловидностью паціентки, коротенькой юбочкой, которая позволяла видѣть прекраснѣйшую въ мірѣ ножку, я, можетъ быть, ужъ слишкомъ близко подсѣлъ къ ней...

Я хотѣлъ уже взять ее за талію... Хлопъ!.. Ужели и это не легкомысліе? Проповѣдуютъ свободу любви, а какъ только предлагаютъ имъ запечатлѣть эту свободу... Хлопъ!

Маршъ!

— Ахъ, какъ я себя велъ!

„Онѣ“ сидѣли и клеили картонки. Не знаю, почему мнѣ это показалось возмутительнымъ. Но этого мало! мнѣ показалось, что слѣдуетъ ихъ обыскать...

Ахъ, какъ я себя велъ!

Читатель можетъ спросить меня: кто допустилъ насъ такимъ образомъ нахальничать? чего смотрѣло начальство?

На это я могу отвѣчать одно: медвѣдь проснулся... Покуда медвѣдь лежитъ въ берлогѣ и сосетъ лапу, начальству легко. Съ помощью куска мяса, его можно даже выманить изъ берлоги и заставить танцовать; но Боже упаси, если онъ начнетъ рычать! Нѣтъ той силы, которая могла бы усмирить его!

Слава о моихъ подвигахъ росла... Одинъ, безъ всякаго уполномочія, кромѣ частной иниціативы... Это было изумительно! Это даже было не просто изумительно, но почти волшебно! Но таково могущество охранительной идеи! Она простого, слабаго смертнаго, съ желѣзомъ въ сердцѣ, съ кремнемъ въ душѣ, вооружаетъ когтями льва! Невольнымъ образомъ голова моя закружилась. Я видѣлъ себя предметомъ восторженнѣйшихъ овацій. Въ похвалу мнѣ произносились спичи; во всѣхъ трактирахъ Имперіи лилось шампанское, съ пожеланіемъ новыхъ и новыхъ подвиговъ; со всѣхъ концовъ сыпались поздравительныя телеграммы... Я пламенѣлъ, я жаждалъ, я устремлялся, я былъ готовъ! Я нѣсколько дней сряду кутилъ; ночи проводилъ безъ сна и почти не ѣлъ ничего. Глаза воспалились, ненависть разгоралась все больше и больше, такъ что можно почти сказать, что она

одна поддерживала мои силы... Но цементъ былъ крѣпокъ! Я дошелъ почти до ясновидѣнія, и угадывалъ „негодяевъ“ тамъ, гдѣ другіе усматривали только дѣйствительныхъ статскихъ совѣтниковъ. Но, съ другой стороны, эта же возбужденность чувства мѣшала мнѣ ясно понимать, что въ числѣ множества прихотливыхъ формъ, которыми облекается либерализмъ, есть нѣкоторыя, прикасаться къ которымъ не всегда безопасно... Особенныя трудности въ этомъ смыслѣ представляютъ формы, называемыя дѣйствительными статскими совѣтниками.

Овацiи продолжались, шампанское лилось, шарманки въ трактирахъ играли. Но были уже сферы, въ которыя проникала измѣна. Поговаривали кой-гдѣ que je suis trop entier, что у меня начинаютъ обрисовываться слишкомъ яркія убѣжденія, что это тоже нехорошо, потому что, становясь на почву убѣжденій (даже самыхъ, что называется, пасквильныхъ), человѣкъ самый враждебный либерализму постепенно совращается, совращается и наконецъ, ничего не подозрѣвая, оказывается на самомъ днѣ онаго...

Какія-то странныя предчувствія тяготили меня. Я смутно подозрѣвалъ, что эти слухи недаромъ, что откуда-то грозитъ опасность, долженствующая положить конецъ моей дѣятельности. Я старался исправиться, старался стать выше убѣжденій; но безсонница и искусственныя средства для подкрѣпленія слабѣющаго организма разрушали всѣ усилія, дѣлаемыя въ этомъ смыслѣ. Едва я приступалъ къ „работѣ“, какъ мною овладѣвалъ всецѣло демонъ ненависти. Глаза наливаются кровью, въ ушахъ шумитъ, руки безпокойно подергиваются, лицо искажается судорогою.

Вотъ инородецъ, такъ тѣмъ нахвалиться не могутъ. Ему что!— онъ пришелъ, ни слова не сказалъ, пошевелилъ глазами, забралъ въ охапку и ушелъ... Днемъ спитъ, ночью работаетъ, и никогда ни капли! А я?!

Сегодня призывали меня къ генералу.—не къ тому отставному, который вручилъ мнѣ жезлъ просвѣщенія, а къ другому, настоящему, котораго я, по несчастію, совсѣмъ упустилъ изъ вида. Генералъ былъ сердитъ.

— Правда ли, — сказалъ онъ мнѣ, — что вы дошли до такой

степени гнусности, что позволили себѣ потерять всякое уваженіе даже къ женской стыдливости?

Очевидно, что клевета начинала уже поднимать голову.

Я хотѣлъ оправдываться; говорилъ, что это только такъ... немного... Я запикался, переминался съ одной ноги на другую и былъ дѣйствительно жалокъ.

— Прошу отвѣчать на вопросъ!—прервалъ генералъ.

— Точно такъ, ваше пр-ство!—выпалилъ я словно изъ пушки.

— Мерзавецъ!

Странное дѣло! Сколько разъ имѣлъ я случай испытывать на себѣ дѣйствіе этого слова, сколько разъ самъ примѣнялъ его къ другимъ,—и все не могу привыкнуть къ нему! Всегда оно кажется мнѣ чѣмъ-то неожиданнымъ, совсѣмъ новымъ.

Однако растолковать это все-таки довольно трудно. „Мерзавецъ!“ — ну, прекрасно! Но отчего же одинъ генералъ говоритъ: „молодецъ!“—а другой, при тѣхъ же точно обстоятельствахъ, кричитъ: „мерзавецъ!“?

Но какимъ образомъ я „его“ высѣкъ?!

Дѣло было такъ.

Мы закусывали въ „Старомъ Пекинѣ“. Выпито было изрядно, потому что стеченіе патріотовъ было неслыханное. Я разсказывалъ о подвигахъ послѣдней ночи; другіе—также. Соревнованіе было общее. Не знаю, какимъ образомъ разговоръ принялъ такой странный оборотъ, но помню, что я сталъ хвастаться. Я говорилъ, что и не такъ еще поступлю, и что въ будущую же ночь непремѣнно „его“ высѣку.

Каналья-нѣмецъ (тотъ самый, который не могъ сразу опредѣлить, какая у него душа) еще больше раззудилъ меня, выразивши сомнѣніе насчетъ исполнимости моего намѣренія. Слово за слово, состоялось пари...

— Сто противъ одного!—бѣсновался я:—я ставлю сто рюмокъ, ты—одну! Принимаешь, скорлупная голова? (У нѣмцевъ—я это замѣтилъ—головы всегда нѣсколько прозрачны на свѣтъ.)

— О, я съ удовольствіемъ! — зудилъ проклятый нѣмецъ:—но вы можете сичасъ же начайть платить, потому что это никакъ не-

возможно... ви дольшенъ „его“ взять... вести... смотрѣть... но висѣчь!—это невозможно! О, нѣтъ... это другой, а не ви!

И словно бѣсъ-соблазнитель, онъ ежеминутно сновалъ мимо меня, моталъ своей бараньей головой и повторялъ:

— Висѣчь—нѣтъ! не ви!

Наступила ночь. По обыкновенію, я отправился въ походъ. Для крѣпости выпилъ. Какъ теперь помню, мы подошли къ громадному дому, вызвали дворника и назвали фамилію. Онъ со двора указалъ намъ квартиру въ самомъ верху.

Сначала, когда мы были еще неопытны, мы всегда брали съ собой дворника до самой двери квартиры. Но впослѣдствіи стали неглижировать этою предосторожностью.

Мы что-то долго поднимались по лѣстницѣ, которая вдобавокъ была темна, черна и скользка. Наконецъ, порядочно утомившись, пришли къ цѣли.

Едва успѣли мы одинъ разъ дернуть за ручку звонка, какъ „онъ“ уже прибѣжалъ къ двери и поспѣшно отворилъ ее...

Повидимому, это былъ человѣкъ не первой молодости. Лицо его было блѣдно и разстроено. Свѣча дрожала въ рукѣ. Распахнувшіяся полы стараго, истрепаннаго халата обнаруживали пару трясущихся ногъ. Никогда я не видалъ человѣка въ такой степени виноватаго...

— Всыпьте-ка ему десятка два дѣтскихъ!—сказалъ я съ перваго абцуга, обращаясь къ своимъ товарищамъ.

Нѣмецъ былъ тутъ же и только взмахнулъ на меня глазами.

„Онъ“ былъ до того виноватъ, что даже не возражалъ. „Онъ“ кротко легъ и кротко же всталъ, не испустивши ни стона, ни жалобы.

— Ваша фамилія, ваши занятія?—сурово спросилъ я.

— Начальникъ отдѣленія NN департамента, статскій совѣтникъ Перемоловъ! — отвѣчалъ онъ, упираясь глазами внизъ. (Очевидно, ему было стыдно.)

Представьте мое изумленіе! это былъ... не „онъ“!!

Я пытался какъ-нибудь выпутаться, и запутался еще больше. Мнѣ слѣдовало просто-на-просто уйти, показавъ видъ, что общественная немезида удовлетворена. Вмѣсто того я уперся, перерылъ всю его скаредную квартиру, думая найти хоть что-нибудь, хоть букву какую-нибудь, которая могла бы мнѣ послужить оправданіемъ. Разу-

мѣется, я ничего не нашелъ, кромѣ доказательствъ его душевной невинности... Тогда я сталъ придираться...

— Но какъ же осмѣлились вы, милостивый государь, вводить меня въ заблужденіе?—накинулся я на него.

Но онъ уже понялъ и, убѣдившись въ своей невинности, началъ обнаруживать твердость души.

— Нѣтъ, это вамъ такъ не пройдетъ!—говорилъ онъ, постепенно приходя въ раздраженіе и какъ бы ободряя себя своимъ собственнымъ крикомъ.—Нѣтъ! это что же? Этакъ всякій съ улицы пришелъ, распорядился и ушелъ!.. Нѣтъ! это не такъ!.. Въ этихъ дѣлахъ надо глядѣть да и глядѣть...

— Но поймите, что тутъ вашей вины гораздо больше, нежели моей...

— Ничего я не хочу понимать! Я слишкомъ хорошо понимаю! Это чортъ знаетъ что! Пришелъ, распорядился и ушелъ! Н-и-и-ѣ-ѣтъ!

Онъ вдругъ остервенился, началъ скакать на меня, подставлять къ моему лицу кулаки... Такъ что даже наконецъ я оскорбился.

— Понимаете ли вы, милостивый государь, что вы меня оскорбляете?—сказалъ я съ достоинствомъ.

— Я его оскорбляю! Милости просимъ! я! Онъ со мной—какъ съ младенцемъ... и я его оскорбляю! Я... его!.. Ахъ!

Словомъ сказать, загородилъ такую чепуху, что хоть святыхъ вонъ выноси! Одно мгновеніе въ моей головѣ мелькнуло: не попросить ли прощенія? Но странное дѣло! я вдругъ какъ-то понялъ, что это послѣдній мой подвигъ, и покорился...

Онъ не простилъ.

На другой день меня опять призвали къ настоящему генералу.

— Правда ли, что вы статскаго совѣтника Перемолова подвергли наказанію на тѣлѣ?—спросилъ онъ у меня.

— Точно такъ, ваше пр-ство!

Онъ взглянулъ на меня съ любопытствомъ.

— Мерзавецъ!—произнесъ онъ тихо...

Опять это слово!!!

IV.—Ташкентцы приготовительнаго класса.

ПАРАЛЛЕЛЬ ПЕРВАЯ.

Ольга Сергѣевна Персіанова не безъ основанія считаетъ себя еще очень интересной вдовой. Несмотря на тридцать-три, тридцать-четыре года, она такъ еще моложава и такъ хорошо сохранилась, что иногда, а особенно вечеромъ, при свѣчахъ, ею можно даже залюбоваться. Это типъ женщины, которая какъ бы создана исключительно для того, чтобъ любить, нравиться, pour être bien mise и ни въ чемъ себѣ не отказывать.

Подобнаго сорта женщины встрѣчаются въ такъ-называемомъ „свѣтѣ“ довольно часто. Ихъ съ малыхъ лѣтъ сажаютъ въ спеціально-устроенные садки и тамъ выкармливаютъ именно такимъ образомъ, чтобы онѣ были bien mises, умѣли plaire и пріучались ни въ чемъ себѣ не отказывать. По окончаніи выкормки цѣлые выводки достаточно-обученныхъ молодочекъ выпархиваютъ на вольный свѣтъ и немедленно начинаютъ примѣнять къ дѣлу результаты полученнаго воспитанія. Разумѣется, тутъ все зависитъ отъ того, красива ли выпорхнувшая на волю молодка, или некрасива. Красивое личико гарантируетъ будущность блестящую и безпечальную; некрасивое—указываетъ въ перспективѣ рядъ слезныхъ дней. Красивая молодка заранѣе можетъ быть увѣрена, что жизнь ея потечетъ какъ въ повѣсти, то-есть что она въ свое время зацѣпится за шпору румянаго кавалериста, который, послѣ нѣкоторыхъ неизбѣжныхъ во всѣхъ повѣстяхъ перипетій, кончитъ тѣмъ, что приведетъ ее за собой въ храмъ славы и утѣхъ. Тамъ она будетъ показываться bien mise, будетъ ѣздить на рысакахъ, causer съ кавалерами и никогда ни въ чемъ себѣ не отказывать. А дальше — что̀ Богъ дастъ. Можетъ быть, отыщется другой кавалеристъ, можетъ быть дипломатъ, а можетъ быть... и самъ Александръ Дюма-фисъ. Напротивъ того, некрасивая молодка такъ и останется съ своими jolies manières и съ желаніемъ ни въ чемъ себѣ не отказывать. Она будетъ bien mise исключительно для самой себя, и ни одинъ кавалеристъ не поведетъ ее ни въ храмъ славы, ни въ храмъ утѣхъ. А если и поведетъ, обольщенный блестящимъ приданымъ, или связями, то такъ тамъ и оставитъ въ храмѣ

одну. Безъ занятій, безъ цѣли къ жизни, безъ возможности causer, она постепенно накопитъ въ себѣ такой запасъ желчи, что жизнь сдѣлается для нея пыткою. Изъ дѣйствующаго лица въ повѣсти утѣхъ, какимъ она воображала себя во времена счастливой выкормки въ патентованномъ садкѣ, она сдѣлается простою, жалкою конфидентkою, будетъ выслушивать исповѣдь тайныхъ амурныхъ словъ и трепетныхъ рукопожатій, расточаемыхъ кавалеристами и дипломатами счастливымъ молодкамъ-красоткамъ, и неизмѣнно при этомъ думать все одинъ и тотъ же припѣвъ: „ахъ, кабы все это мнѣ!“ И такъ какъ ни одной капли изъ всего этого ей не перепадетъ, то она станетъ сочинять цѣлые фантастическіе романы, будетъ видѣть волшебные сны и пробуждаться тѣмъ больше несчастною, оставленною, одинокою, чѣмъ больше преисполненъ былъ свѣта, суеты и лихорадочнаго оживленія только-что пережитый сонъ.

Ольга Сергѣевна принадлежала къ числу молодокъ красивыхъ, а потому счастіе преслѣдовало ее съ первыхъ шаговъ ея вступленія въ свѣтъ. Выйдши изъ патентованнаго садка шестнадцати лѣтъ, въ семнадцать она уже зацѣпилась за шпору краснощекаго ротмистра Петра Николаича Персіанова и затѣмъ навсегда поселилась въ храмѣ утѣхъ полновластною хозяйкою. Цѣлый годъ безпримѣрнаго блаженства встрѣтилъ молодую женщину на самомъ порогѣ семейной жизни. Это былъ непрерывный рядъ баловъ, parties de plaisir, выѣздовъ, пріемовъ, въ которыхъ принимали участіе представители всѣхъ возможныхъ родовъ оружія и дипломаты всѣхъ вѣдомствъ. „C'était un rêve“, какъ она сама выражалась объ этомъ времени. По возвращеніи съ бала, начиналось собственно такъ-называемое семейное счастіе и продолжалось вплоть до утра, когда молодые супруги принимались за туалетъ, предшествующій визитамъ или пріему. Отъ Ольги Сергѣевны всѣ были въ восхищеніи: старики называли ее куколкой: молодые кавалеристы, говоря объ ней, вращали зрачками. Она кружилась, танцовала, кокетничала, но ни разу не оступилась, а осталась вѣрною своему Петькѣ до конца (voilà ce que c'est que d'avoir reçu une éducation morale et religieuse! — говорили объ ней старушки). Наконецъ, восемнадцати лѣтъ, она сдѣлалась матерью, одною изъ тѣхъ матерей, о которыхъ благовоспитанные сынки говорятъ: „у меня maman такая миленькая, точно куколка!“ Это происшествіе, въ свою очередь, положило начало цѣлому ряду новыхъ подвиговъ,

которые опять-таки дали Ольгѣ Сергѣевнѣ возможность être bien mise, causer, plaire и ни въ чемъ себѣ не отказывать. Въ теченіе шести недѣль послѣ родовъ она неутомимо снаряжала своего маленькаго Nicolas, и наконецъ достигла-таки того, что онъ въ свою очередь сдѣлался точно куколка.

— Онъ у меня совсѣмъ, совсѣмъ куколка!—говорила она, показывая Nicolas кавалеристамъ, товарищамъ ея мужа: — Куколка! засмѣйся!

Кавалеристы хвалили „куколку“ и въ то же время искоса посматривали на другую куколку, на молодую мать.

По прошествіи шести недѣль начались визиты. Ma tante, mon oncle, mon cousin, la princesse Simborska, la comtesse Romanzoff, la baronne de Fok, всѣхъ надо было обрадовать, всѣмъ сообщить, какой у насъ родился „куколка“.

— Ma tante, еслибъ вы знали, какой онъ у меня куколка! C'est un petit charme! И какъ все понимаетъ! Представьте себѣ, на дняхъ я одѣваюсь, а онъ лежитъ у меня на колѣняхъ, и вдругъ (слѣдуетъ нѣсколько словъ на ухо)... mais imaginez-vous cela!

— Ты сама еще куколка!—улыбаясь, отвѣчаетъ ma tante:— но чувство матери, мой другъ,—священное чувство! Ты никогда не должна забывать этого!

— Ахъ, какъ я это понимаю, ma tante! Съ той минуты, какъ у меня родился мой куколка, я точно преобразилась вся! C'est toute une révélation. Этого противнаго Петьку я даже не пускаю къ себѣ... et vous savez si je l'aime! Все думаю о томъ, какъ бы мнѣ нарядить моего милаго куколку! И еслибъ вы знали, сколько платьицъ ему сшила... tout un trousseau!

— Все это очень хорошо, мой другъ, но не забудь, что для мальчика главное не въ платьицахъ, а въ религіозномъ чувствѣ и въ твердыхъ нравственныхъ правилахъ.

— О! я не забуду! я никогда этого не забуду, ma tante! И даже вотъ теперь, когда Петька вздумалъ въ прошлый постъ ѣсть скоромное, я ему очень твердо объявила: mon cher! теперь не прежнее время! теперь у насъ есть сынъ, которому мы должны подавать примѣръ! si vous faites gras à table, vous fairez maigre ailleurs... И при этомъ такъ ему погрозила. что онъ со страху (vous savez.

ma tante, comme c'est une grande privation pour lui) съѣлъ цѣлую тарелку супу *безъ всего!!*

— Ну, Христосъ съ тобой, куколка! Поѣзжай, подѣлись своей радостью съ дядей Павломъ Борисычемъ!

У дяди Павла Борисыча повторилась та же сцена, что̀ у ma tante, съ тою разницей, что вмѣсто нравоученій о религіозномъ чувствѣ и твердыхъ правилахъ нравственности дядя сказалъ слѣдующее наставленіе:

— Ты дѣлаешь очень мило, мой другъ, что заботишься о своемъ куколкѣ. Que ton marmot soit bien lavé, bien vêtu, qu'il soit présentable, enfin,—все это прекрасно, похвально и необходимо. Но помни, душа моя, что и для него настанетъ время, когда онъ будетъ думать не объ атласныхъ одѣяльцахъ и кружевныхъ чепчикахъ, а о другомъ атласѣ, о другихъ кружевахъ. Vous savez, ma chère, de quoi il s'agit. Надобно, чтобъ онъ встрѣтилъ эту минуту съ честью. Il faut que ce soit un galant homme. Чтобъ онъ не обращался съ женщиной какъ извозчикъ или какъ нынѣшніе національгарды, которые, отправляясь въ общество порядочныхъ женщинъ, предварительно ищутъ себѣ вдохновенья въ манежахъ, кафе-шантанахъ и циркахъ! Чтобъ женщина была для него святыня! Чтобъ онъ любилъ покорять, но при этомъ умѣлъ всегда сохранять видъ побѣжденнаго!

На что Ольга Сергѣевна отвѣчала:

— Mon oncle! ужели вы во мнѣ сомнѣваетесь! Mais le culte de la beauté... c'est tout ce qu'il y a de plus sacré! Я теперь совершенно переродилась! Я даже Петьку къ себѣ не пускаю — et vous savez, comme c'est une grande privation pour lui!—только потому, что онъ рѣзокъ немного!

— Ну, Христосъ съ тобой, куколка! Я съ своей стороны высказался, а теперь ужъ отъ тебя будетъ зависѣть сдѣлать изъ твоего „куколки“ un homme bien élevé. Поѣзжай и подѣлись твоею радостью съ братомъ Никитой Кирилычемъ.

И такъ далѣе, то-есть того же содержанія и съ тѣми же оттѣнками сцены у братца Никиты Кирилыча, у comtesse Romanzoff и проч., и проч.

Такимъ образомъ прошли два года, въ продолженіе которыхъ судьба то покровительствовала „куколкѣ“, то измѣняла ему. Maman

относилась къ нему какъ-то капризно: то запоемъ показывала его всякому пріѣзжающему гостю, то запоемъ оставляла въ дѣтской на рукахъ нянекъ и бонны. Мало-по-малу послѣдняя система превозмогла, такъ что только въ званые обѣды и вечера куколку на минуту вызывали въ гостиную, вмѣстѣ съ хорошенькой швейцаркой-бонной, и раскладывали передъ гостями, всего въ батистѣ и кружевахъ, на атласной подушкѣ. Гости подходили, щекотали у „куколки“ подъ брюшкомъ, произносили: „брякнешь!“ или: „диковинное произведеніе природы!“ и при этомъ такъ жадно посматривали на maman, что ей становилось жутко.

На двадцать-первомъ году („куколкѣ“ тогда не было еще трехъ лѣтъ) Ольгу Сергѣевну постигло горе; у нея скончался мужъ. Въ первыя минуты она была какъ безумная. Просиживала по нѣсколько минутъ лицомъ къ стѣнѣ, потомъ подходила къ роялю и разсѣянно брала нѣсколько аккордовъ, потомъ подбѣгала къ гробу и утомленно-капризнымъ голосомъ вскрикивала:

— Петька! глупый! ты какъ смѣешь умирать! Ты лжешь! ты притворяешься! Дурной! противный! Ты никогда... слышишь, никогда!—не смѣешь бросить твою Ольку!

И слезы, какъ перлы, сыпались (именно сыпались, а не лились) изъ ея темно-синихъ глазъ, и—о диво! —не производили въ нихъ ни красноты, ни опухлости.

Но черезъ шесть недѣль опять наступила пора визитовъ, и плакать стало некогда. Надо было ѣхать къ ma tante, къ mon oncle, къ comtesse Romanzoff и со всѣми подѣлиться своимъ горемъ. Вся въ черномъ, немного блѣдная, съ опущенными глазами, Ольга Сергѣевна была такъ интересна, такъ скромно и плавно скользила по паркету гостиныхъ, что всѣ въ почтительномъ безмолвіи разступались передъ нею и въ одинъ голосъ рѣшили: „c'est une sainte!“

— Ma tante!—говорила между тѣмъ Ольга Сергѣевна:—я потеряла свое сокровище! Но я счастлива тѣмъ, что у меня осталось другое сокровище—мой „куколка“!

— Другъ мой, — отвѣчала ma tante: — я знаю, потеря твоя велика. Но даже и въ самомъ страшномъ горѣ у насъ есть всегда вѣрное пристанище—это религія!

— Ахъ, какъ я это понимаю, ma tante! какъ я это понимаю! Съ тѣхъ поръ, какъ я лишилась моего сокровища, я вся преобразилась!

La religion! mais savez-vous, ma tante, qu'il y a des moments. où j'ai envie d'avoir des ailes! И еслибъ у меня не было моего другого сокровища, моего „куколки“...

— Ну, Христосъ съ тобой, сама ты куколка!.. Поѣзжай и подѣлись твоимъ горемъ съ дядей Павломъ Борисычемъ. Ты знаешь. какъ старикъ тебя жалуетъ.

У дяди Павла Борисыча тѣ же жалобы и то же сочувствіе.

— Я потеряла моего благодѣтеля, мое сокровище, mon oncle! —говорила Ольга Сергѣевна:—вы знали, какъ онъ былъ добръ ко мнѣ! какъ онъ любилъ меня! какъ исполнялъ всѣ мои прихоти! А я... я была глупенькая тогда! я была недостойна его благодѣяній! Я... я не понимала тогда, какъ дорого ему все это стоило!

— Мой другъ, я очень понимаю всю важность твоей потери,— отвѣчалъ „mon oncle“: — mais ce n'est pas une raison pour maigrir, mon enfant. Вспомни, что ты женщина, и что у тебя есть обязанности передъ свѣтомъ. Смотри же у меня, не худѣй, а не то я разсержусь и не буду любить мою куколку!

— Ахъ, mon oncle! вы одинъ добрый, одинъ великодушный. Vous pénétrez si bien dans le coeur d'une femme! Нѣтъ, я не буду худѣть, я буду много-много кушать, чтобы вы всегда-всегда могли любить вашу маленькую, несчастную куколку!

— То-то! ты не очень слушайся тетку Надежду Борисовну! Она тамъ постнымъ масломъ да изреченіями аббата Гэте́ кормитъ, а я этого не люблю! Ну, теперь Христосъ съ тобой! Поѣзжай и подѣлись твоимъ горемъ съ братомъ Никитой Кирилычемъ!

И т. д., и т. д.

Затѣмъ все вшло въ обычную колею. Въ теченіе четырехъ лѣтъ Ольга Сергѣевна являла собой примѣръ скромности и материнской нѣжности. „Куколка“, временно пренебреженный, вновь выступилъ на первый планъ и сдѣлался предметомъ всевозможныхъ восхищеній. Его одѣвали утромъ, одѣвали въ полдень, одѣвали къ обѣду, одѣвали къ вечеру. Утромъ къ нему пріѣзжалъ спеціальный дѣтскій докторъ, осматривалъ, ощупывалъ, присутствовалъ при его купаньѣ. и всякій разъ неизмѣнно повторялъ одну и ту же фразу:

— О! этотъ молодой человѣкъ будетъ имѣть успѣхъ!

На что̀ Ольга Сергѣевна столь же неизмѣнно отвѣчала:

— Ah mais savez-vous, docteur, qu'il devient déjà polisson!

Передъ обѣдомъ „куколку“ прогуливали на рысакахъ по Невскому и по набережной; вечеромъ его приводили въ гостиную, всегда полную гостей, и заставляли расшаркиваться и говорить des amabilités. У „куколки“ были двѣ боны: англичанка и нѣмка, и одна institutrice—француженка. Сверхъ того, по распоряженію ma tante, его посѣщалъ отецъ Антоній, le père Antoine, молодой и благообразный священникъ, который отличался отъ своихъ собратій тѣмъ, что говорилъ по-французски безъ латинскаго акцента, ходилъ въ муаръ-антиковой рясѣ и съ такою непринужденностью сѣялъ сѣмена религіи и нравственности, какъ будто ему это ровно ничего не стоило... Идетъ и сѣетъ, и, повидимому, даже не замѣчаетъ, что сѣмена такъ и сыплются изъ всѣхъ поръ его существа. При такой обстановкѣ относительно „куколки“ разомъ достигались всѣ цѣли хорошаго воспитанія: и тѣлесная крѣпость, и привычка къ обществу, и прекрасныя матеры, и такъ-называемые краткіе начатки вѣры и нравственности.

Не одинъ изъ лихихъ кавалеристовъ, посѣщавшихъ по вечерамъ салонъ Ольги Сергѣевны, заглядывался на нее и покушался нарушить миръ ея души. Это казалось тѣмъ менѣе труднымъ, что два года счастливаго супружества должны были порядкомъ-таки избаловать хорошенькую молодку, и слѣдовательно, при такой избалованности, ей не легко было разомъ покончить съ утѣхами прошлаго. Сама ma tante выражала по секрету свои опасенія на этотъ счетъ, а mon oncle даже прямо выражался: „pourvu que ça soit une bonne petite intrigue bien comme il faut—le reste ne me regarde pas!“ Но, къ общему удивленію, Ольга Сергѣевна закалилась какъ адамантъ. По временамъ она, конечно, вспыхивала, щеки ея слегка алѣли, глаза туманились, грудь поднималась и не умѣла сдержать затаеннаго вздоха; но какъ-то всегда, въ эти тяжкія минуты, подоспѣвалъ къ ней на выручку „куколка“. Онъ бурей влеталъ въ гостиную и такъ уморительно расшаркивался, что Ольга Сергѣевна мгновенно отрезвлялась. Отецъ Антоній, которому были извѣстны всѣ перипетіи этой борьбы слабой женщины съ цѣлымъ корпусомъ кавалерійскихъ офицеровъ, сравнивалъ ее съ египетскими пустынножителями, и для пріобрѣтенія большей крѣпости въ брани совѣтовалъ соблюдать посты. Но даже и съ этой стороны интересная вдова не могла считать себя совсѣмъ безопасною, потому что самъ

отецъ Антоній выслушивалъ ее „смущенный и очи опустя, какъ передъ матерью виновное дитя“, и Ольга Сергѣевна такъ и ожидала, что онъ нѣтъ-нѣтъ да и начнетъ вращать зрачками, какъ любой кавалерійскій корнетъ. Ma tante была такъ поражена этой неслыханной твердостью, что называла свою племянницу не иначе, какъ „ma sainte“. Одинъ mon oncle все еще надѣялся, что когда-нибудь cela viendra, и продолжалъ предостерегать Ольгу Сергѣевну насчетъ національгардовъ.

И вдругъ, черезъ четыре года, Ольга Сергѣевна является къ ma tante и объявляетъ, что ей скучно.

— Но что же съ тобой, мой другъ?—спросила ma tante, пораженная этой неожиданностью.

— Je ne sais, je sens quelque chose là,—отвѣтила Ольга Сергѣевна, указывая на грудь:—однимъ словомъ, доктора въ одинъ голосъ приказываютъ мнѣ ѣхать за границу!

— Но какъ же быть съ „куколкой“?

— Я все обдумала, ma tante; я знаю, что я дурная... что, можетъ быть, я даже преступная мать!—воскликнула Ольга Сергѣевна, и вдругъ встала передъ ma tante на колѣни:—ma tante! вы не оставите его! вы замѣните ему мать!

Жребій „куколки“ былъ брошенъ. Ma tante согласилась замѣнить ему мать и взяла на себя насажденіе въ его сердцѣ правилъ нравственности и религіи. Mon oncle поручился за другую сторону воспитанія, то-есть за хорошія манеры и искусство побѣждать, сохраняя видъ побѣжденнаго. Въ результатѣ этихъ соединенныхъ усилій долженъ былъ выйти un jeune homme accompli, рыцарь вѣжливости и преданности, молодой человѣкъ, преисполненный всевозможныхъ bons principes, preux chevalier, готовый во всякое время объявить крестовый походъ противъ manans et mécréans. Ольга Сергѣевна уѣхала вполнѣ успокоенная.

Годы шли, а интересная вдова, какъ канула за границу, такъ и исчезла тамъ. Слухъ былъ, что она на короткое время блеснула на водахъ, въ сопровожденіи какого-то національгарда (отъ судьбы, видно, не убѣжишь!), но потомъ скоро уѣхала въ Парижъ и тамъ поселилась на житье. Потомъ прошелъ и еще слухъ: въ Парижѣ Ольга Сергѣевна произвела фуроръ и имѣла нѣсколько шикарныхъ приключеній, которыя сдѣлали имя ея очень громкимъ. La belle

princesse Persianoff сдѣлась предметомъ газетныхъ фельетоновъ и устныхъ скандалёзныхъ хроникъ. Называли двухъ-трехъ литераторовъ, одного министра (de l'Empire), одного сенатора и даже одного акробата (неизбѣжное слѣдствіе чтенія романа „L'homme qui rit"). Доходы съ пензенскихъ, тамбовскихъ и воронежскихъ имѣній проматывались съ быстротою неимовѣрною. Система залоговъ и перезалоговъ, продажа лѣсныхъ и другихъ угодій, находившая при покойномъ Петькѣ лишь робкое себѣ примѣненіе, сдѣлалась основаніемъ всѣхъ финансовыхъ операцій Ольги Сергѣевны. „Mais vendez donc cette maudite Tarakanikha, qui ne vaut rien et qui ne nous est qu'à charge!" безпрерывно писала она къ одному изъ своихъ cousins. наблюдавшему „изъ прекраснаго далека" за имѣніемъ ея и ея покойнаго мужа. И одна за другой полетѣли Тараканихи. Опалихи, Бычихи, Конягихи, все, что̀ служило обремененіемъ, что̀ вдругъ оказалось лишнимъ. Наконецъ репутація Ольги Сергѣевны достигла тѣхъ предѣловъ, далѣе которыхъ идти было ужъ некуда. Въ газетахъ разсказывали подробности одной дуэли, въ которой интересная вдова играла очень видную, хотя не совсѣмъ лестную для нея роль. Повѣствовалось о какомъ-то butor изъ молдаванъ, о какихъ-то mauvais traitements, жертвою которыхъ была la belle princesse russe de P****, и наконецъ о какомъ-то preux chevalier, который явился защитникомъ мальтретированной красавицы. Тогда петербургскіе родные встревожились.

— Et dire que c'était une sainte!—восклицала ma tante.

— Я предсказывалъ, что знакомство съ національгардами не доведетъ до добра!—зловѣще каркалъ mon oncle.

На семейномъ совѣтѣ рѣшено было просить... Разрѣшеніе не замедлило, и въ силу его Ольга Сергѣевна вынуждена была оставить очаровательный Парижъ и поселиться въ деревнѣ. для поправленія разстроенныхъ семейныхъ дѣлъ. Въ это время ей минуло тридцать-четыре года.

А „куколка" тѣмъ временемъ процвѣталъ въ одномъ „высшемъ учебномъ заведеніи", куда былъ помѣщенъ стараніями ma tante. Это былъ юноша въ полномъ смыслѣ слова многообѣщающій: красивый, свѣжій, краснощекій, вполнѣ увѣренный въ своей дипломатической будущности и въ то же время съ завистью посматривающій на бряцающихъ палашами юнкеровъ. По части священной исторіи

онъ зналъ, что „царь Давидъ на лирѣ, играетъ во псалтырѣ“, и что у законоучителя ихъ „лимонная борода“. По части всеобщей исторіи онъ былъ твердо убѣжденъ, что Римъ палъ жертвою своевольной черни. По части этнографіи и статистики ему небезъизвѣстно было, что человѣчество раздѣляется на двѣ отдѣльныхъ породы: chevaliers и manans, изъ коихъ первые храбры, великодушны, преданны и вѣрны данному слову; вторые же малодушны, трусливы, лукавы и никогда даннаго слова не выполняютъ. Онъ зналъ также, что народы, которые не роптали, были счастливы; а народы, которые роптали, были несчастливы, ибо подвергались усмиренію посредствомъ экзекуцій. Сверхъ того, онъ курилъ табакъ, охотно пилъ шампанское и еще охотнѣе посѣщалъ театръ Берга по воскреснымъ и табельнымъ днямъ. О maman своей онъ имѣлъ самое смутное понятіе, то-есть зналъ, que c'est une sainte, и что она живетъ за границей для поправленія разстроеннаго здоровья. Ольга Сергѣевна раза два въ годъ писала къ нему коротенькія, но чрезвычайно милыя письма, въ которыхъ умоляла его воспитывать въ себѣ сѣмена религіи и нравственности, запасъ которыхъ всегда хранился въ готовности у ma tante. Онъ съ своей стороны писалъ къ maman чаще, и довольно пространно описывалъ свои занятія у профессоровъ, такъ что въ одномъ письмѣ даже подробно изобразилъ первый крестовый походъ. „Представьте себѣ, милая maman, ихъ гнали отовсюду, на нихъ плевали, ихъ травили собаками, однакожъ они, предводимые пламеннымъ Петромъ Пикарскимъ, все шли, все шли“. Но такъ какъ во время этого описанія (онъ самъ впослѣдствіи признавался въ этомъ maman) его тайно преслѣдовалъ образъ нѣкоторой Альфонсинки и ея куплетъ:

A Provins
On recolte des roses
Et du jasmin.
Et beaucoup d'autres choses...

то весьма естественно, что реляція о крестовомъ походѣ заканчивалась слѣдующими словами: „въ особенности же съ героической стороны выказалъ себя при этомъ небольшой французскій городокъ Provins (allez-y, bonne maman, c'est si près de Paris!), который въ настоящее время, какъ видно изъ географіи, отличается изобиліемъ жасминовъ и розъ самыхъ лучшихъ сортовъ“.

Таковъ былъ этотъ юноша, когда ему минуло шестнадцать лѣтъ

и когда съ Ольгой Сергѣевной случилась катастрофа. Пріѣхавши въ Петербургъ, интересная вдова, разумѣется, расплакалась и прикинулась до того наивною, что когда „куколка“ въ первое воскресенье явился въ отпускъ, то она, увидѣвъ его, притворилась испуганною и съ крикомъ:—Ахъ! это не „куколка“! это какой-то большой!—выбѣжала изъ комнаты. „Куколка“, съ своей стороны, услышавъ такое привѣтствіе, пріосанился и покрутилъ зачатокъ уса.

Тѣмъ не менѣе, болѣе близкое знакомство между матерью и сыномъ все-таки было неизбѣжно. Какъ ни дичилась на первыхъ порахъ Ольга Сергѣевна своего бывшаго „куколки“, но мало-по-малу робость прошла и началось сближеніе. Оказалось, что Nicolas—прелестный малый, почти мужчина, qu'il est au courant de bien des choses, и даже совсѣмъ, совсѣмъ не сынъ, а просто братъ. Онъ такъ мило бралъ свою конфетку-maman за талію, такъ нѣжно цѣловалъ ее въ щечку, рукулировалъ ей на ухо de si jolies choses, что не было даже резона дичиться его. Поэтому минута обязательнаго отъѣзда въ деревню показалась для Ольги Сергѣевны особенно тяжкою, и только надежда на предстоящія каникулы нѣсколько смягчала ея горе.

— Надѣюсь, что ты будешь откровенъ со мною?—говорила она, трепля „куколку“ по щекѣ.

— Maman!

— Нѣтъ, ты совсѣмъ, совсѣмъ будешь откровенъ со мной! ты разскажешь мнѣ всѣ твои prouesses, tu me fairas un récit détaillé sur ces dames, qui ont fait battre ton jeune cœur... Ну, однимъ словомъ, ты забудешь, что я твоя maman, и будешь думать... ну, что бы такое ты могъ думать?.. ну, положимъ, что я твоя сестра!..

— И, чортъ возьми, прехорошенькая!—прокартавилъ Nicolas (въ экстренныхъ случаяхъ онъ всегда для шика картавилъ), обнимая и цѣлуя свою maman.

И maman уѣхала, и стала считать дни, часы и минуты.

Село Перкали, съ каменнымъ господскимъ домомъ, съ огромнымъ, прекрасно содержимымъ господскимъ садомъ, съ многоводною рѣкою, прудами, тѣнистыми аллеями—вотъ мѣсто успокоенія Ольги Сергѣевны отъ парижскихъ треволненій. Комната Nicolas убрана съ тою разсчитанною простотою, которая на первомъ планѣ ставитъ ком-

фортъ и допускаетъ изящество лишь какъ необходимое подспорье къ нему. Ковры на полу и на стѣнахъ; простая, но чрезвычайно покойная постель; мебель, обитая сафьяномъ; массивный письменный столъ, уставленный столь же массивными принадлежностями письма и куренья; небольшая библіотека, составленная изъ избраннѣйшихъ романовъ Габоріо, Монтепена, Фейдо, Понсонъ-дю-Терайля и проч., и наконецъ по стѣнамъ цѣлая коллекція ружей, ятагановъ и кинжаловъ—вотъ обстановка, среди которой предстояло Nicolas провести цѣлое лѣто.

Первая минута свиданія была очень торжественна.

— Voici la demeure de vos ancêtres, mon fils!—сказала Ольга Сергѣевна:—можетъ быть, въ эту самую минуту они благословляютъ тебя là haut!

Nicolas, какъ благовоспитанный юноша, поникъ на минуту головой, потомъ поднялъ глаза къ небу и какъ-то порывисто поцѣловалъ руку матери. При этомъ ему очень кстати вспомнились стихи изъ хрестоматіи:

И изъ его суровыхъ глазъ
Слеза невольная скатилась...

И онъ вдругъ вообразилъ себѣ, что онъ сѣдой, что у него суровые глаза и изъ нихъ катится слеза.

— А вотъ и твоя комната, Nicolas,—продолжала maman:—я сама уставляла здѣсь все до послѣдней вещицы; надѣюсь, что ты будешь доволенъ мною, мой другъ!

Глаза Nicolas прежде всего впились въ стѣну, увѣшенную оружіемъ. Онъ рванулся впередъ, и сталъ одинъ за другимъ вынимать изъ ноженъ кинжалы и ятаганы.

— Mais regardez, regardez, comme c'est beau! oh, maman! merci! vous êtes la plus généreuse des mères!—восклицалъ онъ въ ребяческомъ восторгѣ, показывая свои сокровища:—этотъ ятаганъ... чортъ возьми!

— Этотъ ятаганъ—святыня, мой другъ: его отнялъ твой дѣдушка Николай Ларіоновичъ—c'était le bienfaiteur de toute la famille!—à je ne sais plus quel Turc, и съ тѣхъ поръ онъ переходитъ въ нашемъ семействѣ изъ рода въ родъ! Здѣсь все, что ты ни видишь, полно воспоминаній... de nobles souvenirs, mon fils!

Nicolas вновь поникъ головой, подавленный благородствомъ своего прошлаго.

— Вотъ этотъ кинжалъ,—продолжала Ольга Сергѣевна,—его вывезла изъ Турціи твоя grande tante, которую вся Москва звала la belle odalisque. Она была плѣнная турчанка, но твой grand oncle Constantin такъ увлекся ея глазами (elle avait de grands-grands yeux noirs!), что не только обратилъ ее въ нашу святую православную вѣру, notre sainte religion orthodoxe, но впослѣдствіи даже женился на ней. И представь себѣ, mon ami, всѣ, кто ни зналъ ее потомъ въ Москвѣ... никто не могъ найти въ ней даже тѣни турецкаго! Она принимала у себя всю Москву, давала балы, говорила по-французски... mais tout-a-fait comme une femme bien élevée! По временамъ даже журила самого свѣтлѣйшаго!

Nicolas поникъ опять.

— А вотъ это ружье—ты видишь, оно украшено серебряными насѣчками—его подарилъ твоему другому grand oncle, Ипполиту, самъ свѣтлѣйшій князь Таврическій—tu sais? l'homme du destin! Покойный Pierre разсказывалъ, что „баловень фортуны“ очень любилъ твоего grand oncle, и даже готовилъ ему блестящую карьеру. mais il parait que le cher homme était toujours d'une très petite santé—и это мѣсто досталось Мамонову!

— Fichtre! c'est le grand oncle surnommé le Bourru bienfaisant? Такъ вотъ онъ былъ каковъ!

— Онъ самый! Depuis lors il n'a pas pu se consoler. Онъ поселился въ деревнѣ, здѣсь по близости, и все жертвуетъ, все строитъ монастыри. C'est un saint. и тебѣ непремѣнно нужно у него погостить. Что онъ вытерпѣлъ—ты не можешь себѣ представить, мой другъ! Десять лѣтъ онъ былъ подъ опекой по доносу своего дворецкаго (un homme, dont il a fait la fortune!) за то, что будто бы засѣкъ его жену... lui! un saint! И это послѣ того, какъ онъ былъ наканунѣ такой блестящей карьеры! Но и затѣмъ онъ никогда не позволялъ себѣ роптать... напротивъ, и до сихъ поръ благословляетъ то имя... mais tu me comprends, mon ami?

Nicolas въ четвертый разъ поникъ головой.

— Но разсказывать исторію всего, что ты здѣсь видишь, слишкомъ долго, и потому мы возвратимся къ ней въ другой разъ. Во всякомъ случаѣ, ты видишь, что твои предки и твой отецъ—oui, et

ton père aussi, quoiqu'il soit mort bien jeune! — всегда и прежде всего помнили, что они всѣмъ сердцемъ своимъ принадлежатъ нашему милому, доброму, прекрасному отечеству!

— Oh, maman! la patrie!

— Oui, mon ami, la patrie—vous devez la porter dans votre coeur! А прежде всего—дворянскій долгъ, а потомъ нашу прекрасную православную религію (si tu veux, je te donnerai une lettre pour l'excellent abbé Guété). Безъ этихъ трехъ вещей — что̀ мы такое? Мы путники, или, лучше сказать, пловцы...

— „Безъ кормила, безъ весла“,—вставилъ свое слово Nicolas, припомнивъ нѣчто подобное изъ хрестоматіи.

— Ну, да, c'est juste, ты прекрасно выразилъ мою мысль. Я сама была молода, душа моя, сама заблуждалась, ѣздила даже съ визитомъ къ Прудону, но, къ счастью, все это прошло, какъ больной сонъ... et me voilà!

— O, maman! le devoir! la patrie! et notre sainte religion!

Ольга Сергѣевна, въ свою очередь, поникла головой и даже умилилась.

— Ты не повѣришь, мой другъ, какъ я счастлива! — сказала она:—я вижу въ тебѣ это благородство чувства, это je ne sais quoi! Mais sens donc, comme mon coeur bondit et trépigne! Нѣтъ, ты не поймешь меня! ты не знаешь чувствъ матери! Mais c'est quelque chose d'ineffable, mon enfant, mon noble enfant adoré!

Этимъ торжество пріема кончилось. За обѣдомъ и мать, и сынъ уже болтали, смѣялись и весело чокались бокалами, при чемъ Ольга Сергѣевна не безъ лукавства говорила Nicolas:

— А помнишь, душа моя, ты писалъ мнѣ объ одномъ городкѣ Provins, который изобилуетъ жасминами и розами; признайся, откуда ты взялъ это свѣдѣніе?

— Maman! я получилъ его въ театрѣ Берга! Parbleu! on enseigne très bien la géographie dans ce pays-là!

Первое время мать и сынъ не могли насмотрѣться другъ на друга. Ольга Сергѣевна какъ институтка бѣгала по тѣнистымъ аллеямъ, прыгала на pas de géant; Nicolas ловилъ ее и, поймавши, крѣпко-крѣпко цѣловалъ.

— Maman! разскажи, какъ вы познакомились съ papa?

— Папа былъ немного грубъ... но тогда это какъ-то нравилось—слегка заалѣвшись, отвѣчаетъ Ольга Сергѣевна.

— Еще бы! Sacré nom! vous autres femmes: c'est votre idéal d'être maltraitées! Ну-съ! какъ же ты съ нимъ познакомилась?

— Мы встрѣтились въ первый разъ на балѣ, и онъ танцовалъ со мной сначала кадриль, потомъ мазурку... Тогда лифы носили очень короткіе — c'était presqu'aussi ouvert qu'à présent — и онъ все смотрѣлъ... это было очень смѣшно!

— Еще бы не смотрѣть! est-ce qu'il y a quelque chose de plus beau qu'un joli sein de femme! Ну-съ, дальше-съ.

— Потомъ онъ сдѣлалъ предложеніе, а черезъ мѣсяцъ насъ обвѣнчали. Mais comme j'avais peur, si tu savais!

— Еще бы! Кувыркомъ!

— Колька! негодный! развѣ ты знаешь?

— Гм...

— Вѣдь тебѣ еще только шестнадцать лѣтъ!

— Семнадцатый-съ... Я, maman, революціи не дѣлаю, заговоровъ не составляю, въ тайныя общества не вступаю... laissez-moi au moins les femmes, sapristi! Затѣмъ, продолжайте.

— Et puis!.. c'était comme une épopée! c'était tout un chant d'amour.

— Да-съ, тутъ запоешь, какъ выражается мой другъ, Петя Накатниковъ!

— Et puis... il est mort! Я была какъ безумная. Я звала его, я не хотѣла вѣрить...

— Еще бы! сразу на сухояденіе!

— Ахъ, Nicolas, ты шутишь съ самымъ священнымъ чувствомъ! Говорю тебѣ, что я была совершенно какъ въ хаосѣ, и если бы у меня не остался мой „куколка“...

— „Куколка“—это я-съ. Стало быть, вы мнѣ одолжены, такъ сказать, жизнью. Parbleu! хоть одно доброе дѣло на своемъ вѣку сдѣлалъ! Но затѣмъ прошли цѣлыя двѣнадцать лѣтъ, maman... уже ли же вы?.. Но это невѣроятно! si jeune, si fraîche, si pimpante, si jolie! Я сужу, наконецъ, по себѣ... Jamais on ne fera de moi un moine!

Ольга Сергѣевна алѣетъ еще больше и какъ-то стыдливо поникаетъ головой, но въ это же время исподлобья взглядываетъ на Nico-

las, какъ будто говоритъ: „какой же ты, однако, простой: непремѣнно хочешь mettre les points sur les i!“

— Trèves de fausse honte!—картавитъ между тѣмъ Коля:—у насъ условлено разсказать другъ другу всѣ наши prouesses! Слѣдовательно, извольте сейчасъ же исповѣдоваться передо мной, какъ передъ духовникомъ!

Ольга Сергѣевна на мгновеніе замираетъ, но потомъ вдругъ бросается къ сыну и прячетъ у него на груди свое лицо.

— Nicolas! Я очень, очень виновата передъ тобой, мой другъ! —шепчетъ она.

— Еще бы! такая хорошенькая! Mais sais-tu, petite mère, que même à présent tu es jolie à croquer... parole!

— Ah! tu viens de m'absoudre! mon généreux fils!

— Не только абсудирую, но и хвалю! Итакъ...

— Ахъ, „онъ“ такъ любилъ меня, а я была такъ молода... Ты знаешь, Pierre былъ очень грубъ, и хотя въ то время это мнѣ нравилось... mais „lui“! C'était tout un poème! Il avait de ces délicatesses! de ces attentions!

— Та-та-та! Вы, кажется, изволили пропустить цѣлую главу! а этотъ кавалеристъ, который сопровождалъ васъ за границу? Тотъ, который такъ пугалъ mon grand oncle Paul своими усами и своими jurons??

— C'était un butor!

— Passons. Но кто же былъ этотъ „онъ“, celui qui avait des délicatesses?

— Онъ писалъ сначала въ „Journal pour rire“, потомъ въ „Charivari“, потомъ въ „Figaro“... Ахъ, еслибъ ты зналъ, какъ онъ смѣшно писалъ! И все такъ мило! И мило, и смѣшно! И какъ онъ умѣлъ оскорблять! Et avec cela brave, maniant à merveille l'épée, le sabre et le pistolet! Всѣ журналисты его боялись, потому что онъ могъ всѣхъ ихъ убить!

— Et joli garçon?

— Beau... mais d'une beauté!... Повторяю тебѣ, это была цѣлая поэма! Et avec ça, adorant le trône, la patrie et la sainte église catholique!

Ольга Сергѣевна вздыхаетъ и какъ-то сосредоточенно мнетъ въ своей рукѣ вѣтку цвѣтущей сирени. Мысли ея витаютъ тамъ, на да-

лекомъ западѣ, au coin du boulevard des Capucines, № 1, тамъ, гдѣ она однажды позабыла свой bonnet de nuit, гдѣ Anatole, который тогда писалъ въ „Figaro“, на ея глазахъ сочинялъ свои милѣйшія blagues (oh, comme il savait blaguer, celui-là) и откуда ее навсегда вырвалъ семейный деспотизмъ! Въ эту минуту она забываетъ и о сынѣ, и о его prouesses, да и хорошо дѣлаетъ, потому что вспомни она объ немъ, кто знаетъ — не возненавидѣла ли бы она его, какъ первую, хотя и невольную причину своего заточенія?

— Ну, а насчетъ Прудона какъ?—пробуждаетъ ее голосъ Nicolas.

— N'en parlons pas!

Ольга Сергѣевна говоритъ это уже съ оттѣнкомъ гнѣва и начинаетъ быстро ходить взадъ и впередъ по кругу, обрамленному густыми липами.

— Вообще, будетъ обо всемъ этомъ!—продолжаетъ она съ волненіемъ:—все это прошло, умерло и забыто! Que la volonté de Dieu soit faite! А теперь, мой другъ, ты долженъ мнѣ разсказать о себѣ!

Ольга Сергѣевна садится. Nicolas съ невозмутимой важностью поворачивается на скамейкѣ, обнявши обѣими руками приподнятую колѣнку.

— Et bien, maman, — говоритъ онъ: — nous aimons, nous follichonons, nous buvons sec!

Maman какъ-то сладко смѣется; въ ея головѣ мелькаетъ далекое воспоминаніе, въ которомъ когда-то слышались такія же слова.

— Raconte-moi, comment cela t'est venu? — спрашиваетъ она.

— Mais... c'est simple comme bonjour!— картавитъ Nicolas: —
—однажды мы были въ циркѣ... передъ циркомъ мы много пили... et après la représentation... ma foi! le sacrifice était consommé!

Ольга Сергѣевна, ожидавшая пикантныхъ подробностей и перипетій, смотритъ на него съ насмѣшливымъ удивленіемъ. Какъ будто она думаетъ про себя: „странно! точь-въ-точь такое же животное, какъ покойный Петька!“

— И ты?..—спрашиваетъ она.

Но Nicolas подмѣчаетъ насмѣшливый тонъ этого вопроса и спѣшитъ поправиться.

— Maman!—говоритъ онъ восторженно:— C'etait, comme vous l'avez si bien dit, tout un poème!

Эта фраза словно пробуждаетъ Ольгу Сергѣевну; она снова вскакиваетъ со скамейки и снова начинаетъ ходить взадъ и впередъ по кругу. Прошедшее воскресаетъ передъ нею съ какою-то подавляющею непреоборимою силою: воспоминанія такъ и плывутъ, такъ и плывутъ. Она не ходитъ, а почти бѣгаетъ; губы ея улыбаются и потихоньку напѣваютъ какую-то пѣсенку.

— C'était tout un poème!—мелькаетъ у нея въ головѣ.

Проходитъ нѣсколько дней: разсказы о прошедшихъ prouesses исчерпываются, но ихъ замѣняетъ сюжетъ столько же, если не больше, животрепещущій. Дѣло въ томъ, что Ольга Сергѣевна еще за границей слышала, что въ Петербургѣ народились какіе-то нигилисты; родъ особаго сословія, котораго не коснулись краткіе начатки нравственности и религіи, и которое, вслѣдствіе того, ничѣмъ не занимается, ни науками, ни художествами, а только дѣлаетъ революціи. Когда же она, сверхъ того, узнала, что въ члены этого сословія преимущественно попадаютъ молодые люди, то материнскимъ опасеніямъ ея не стало предѣловъ. Она тотчасъ же собралась писать къ „куколкѣ“, чтобы предостеречь и вразумить его, и, конечно, выполнила бы свое намѣреніе, еслибъ въ эту самую минуту къ ней не пришелъ Anatole, съ какою-то только-что измышленною имъ bonne petite blague. Эта blague была такъ мила, такъ остроумна и весела, что Ольга Сергѣевна цѣлый день хохотала до слезъ и къ вечеру не только утратила ясное представленіе о нигилистахъ, но даже почему-то вообразила, что это просто вновь открытая угнетенная національность (les polonais, les italiens... les nihilistes), которая въ этомъ качествѣ имѣетъ право на собственную свою конституцію и на собственные свои законы. Хотя же впослѣдствіи событія не одинъ разъ напоминали ей объ ужасныхъ дѣлахъ этихъ „ужасныхъ людей“, и она опять собиралась писать по этому поводу къ „куколкѣ“, но Anatole съ своей стороны тоже не дремалъ, и былъ такъ неистощимъ на blagues, что всѣ усплія думать о чемъ-нибудь другомъ, кромѣ этихъ прелестныхъ blagues, остались тщетными. Такъ продолжалось все время до самаго переселенія въ Перкали. Тутъ она окончательно припомнила все слышанное о нигилистахъ и рѣшилась немедленно испытать политическія убѣжденія „куколки“.

Завтракъ кончился; Nicolas только-что разсказалъ свою послѣднюю prouesse и, покачиваясь на стулѣ, мурлыкаетъ: „Mon père est à Paris“... Ольга Сергѣевна ходитъ взадъ и впередъ по столовой и нѣкоторое время не знаетъ, какъ приступить къ дѣлу.

— Надѣюсь, мой другъ, что ты не нигилистъ!—наконецъ отрѣзываетъ она: — нигилисты — это тѣ самые, которые гражданскій бракъ выдумали!

— Maman! вы очень хорошо знаете, что я консерваторъ!— обижается Nicolas.

— Je sais bien que vous êtes un noble enfant! но знай, Nicolas, что еслибъ когда-нибудь тебѣ зашла въ голову мысль о революціи... vous ne serez plus mon fils... vous m'entendez?..

— Maman! вы страшная! вы лучшая изъ матерей, но вы не понимаете меня.

— Ah! les hommes sont bien méchants! они такъ искусно разставляютъ свои сѣти, что я не могу... нѣтъ, нѣтъ, не могу не дрожать за тебя. И потому, еслибъ когда-нибудь, по какому-нибудь случаю, тебя постигло искушеніе...

— Parbleu! je voudrais bien voir!

— Не шути этимъ, Nicolas! Люди вообще коварны, а нигилисты —это даже не люди... это... это злые духи,—et tu sais d'après la bible ce que peut un esprit malfaisant. А потому, если они будутъ тебя искушать, вспомни обо мнѣ... вспомни, мой другъ!.. и помолись! La prière—c'est tout. Она дастъ тебѣ крылья и мигомъ прогонитъ весь этотъ cauchemar de moujik. Дай мнѣ слово, что ты исполнишь это?

— Maman! вы странная!

— Нѣтъ, дай мнѣ слово! успокой меня!

— Даю вамъ милліонъ триста тысячъ словъ, что каждый изъ этихъ злыхъ духовъ, при первомъ свиданіи, получитъ отъ меня такую taloche, что забудетъ въ другой разъ являться съ предложеніями! О! я эти революціи изъ нихъ выбью! Я ихъ подтяну!

Nicolas надувается и вскакиваетъ; глаза его искрятся; лицо принимаетъ торжественное выраженіе. Онъ такимъ орломъ прохаживается по залѣ, какъ будто на него возложили священную обязанность разыскать корни и нити, и онъ, во исполненіе, напалъ на свѣжій и совершенно несомнѣнный слѣдъ.

— Maman!—произнесъ онъ важно:—желаете ли вы, чтобъ я открылъ передъ вами мою profession de foi?

— Mon fils!

— Alors écoutez bien ceci. Я консерваторъ: я человѣкъ порядка. Et en outre je suis légitimiste! L'ordre, la patrie et notre religion orthodoxe—voici mon programme à moi. Что касается до нигилистовъ, то я думаю объ нихъ такъ: это люди самые пустые и даже—passez-moi le mot—негодяи. Ils n'ont pas de fond, ces gens-là! ils tournent dans un cercle vicieux! Надѣюсь, что теперь вы меня понимаете?

— Какой ты однакожъ...

„Умный“—хотѣла сказать Ольга Сергѣевна, но вдругъ остановилась. Она совсѣмъ некстати вспомнила, что даже ея покойный Пьеръ („le pauvre ami—онъ никогда ничего не зналъ, кромѣ тѣлесныхъ упражненій!“)—и тотъ однажды вдругъ заговорилъ, когда зашла рѣчь о нигилистахъ. „И, право, говорилъ не очень глупо!“—разсказывала она потомъ объ этомъ диковинномъ случаѣ его товарищамъ-кавалеристамъ.

А Nicolas между тѣмъ надувается все больше и больше.

— Благодаря моему воспитанію,—ораторствуетъ онъ:—благодаря вамъ, ma noble et sainte mère, la ligne de conduite que j'ai à suivre est toute tracée. Cette ligne—la voici: желай въ предѣлахъ возможнаго, безпрекословно исполняй приказанія начальства, будь готовъ, et ne te mêle pas de politique. Одинъ изъ нашихъ губернеровъ сказалъ святую истину: nul part, a-t-il dit, on n'est aussi tranquille qu'en Russie! pourvu qu'on ne fasse rien, personne ne vous inquiète!! А въ переводѣ это значитъ: не возносись, не пари въ облакахъ—и никто тебя не тронетъ. Но если ты желаешь парить—что-жъ, милости просимъ. Только ужъ не прогнѣвайся, mon cher, если съ облаковъ ты упадешь гдѣ-нибудь... où cela ne sent pas la rose!

— Merci! merci, mon fils!—страстно произноситъ Ольга Сергѣевна.

Но Nicolas не слушаетъ и, постепенно разгорячаясь, нѣсколько разъ сряду повторяетъ:

— Oui, dans cet endroit-là cela ne sentira pas rose... je le garantie!

Мало-по-малу, раздражаясь собственною фантазіей, онъ вступаетъ въ тотъ фазисъ, когда человѣкомъ вдругъ овладѣваетъ какая-то нестерпимая потребность лгать. Онъ останавливается противъ maman, нѣсколько времени смотритъ на нее въ упоръ, какъ будто приготовляетъ къ чему-то необычайному.

— Вы знаете ли, maman, что это за ужасный народъ!—восклицаетъ онъ:—они требуютъ милліонъ четыреста тысячъ головъ! Je vous demande, si c'est pratique!

Съ минуту и мать, и сынъ, оба молчатъ, подавленные.

— Они говорятъ, что наука—вздоръ... la science! что искусство—напрасная потеря времени... les arts! что всякій сапожникъ во сто разъ полезнѣе Пушкина... Pouschkinn!

Новая минута молчанія.

— Они отвергаютъ бракъ, ils vivent comme des chiens avec leure chiennes! Они не признаютъ таинствъ, религіи, церкви... notre sainte église orthodoxe! Et vous me demandez, si je suis nihiliste!!

Ольга Сергѣевна не можетъ больше владѣть собой и бросается къ Nicolas.

— Nicolas! Я вижу! я все теперь вижу! Tu es un noble et saint enfant! но скажи, ты зналъ? ты зналъ кого-нибудь изъ этихъ страшныхъ людей?—съ какимъ-то ужасомъ спрашиваетъ она.

— Maman! Я видѣлъ одного изъ нихъ на Невскомъ: il était mal peigné, pas du tout lavé... и отъ него пахло!

— L'horreur!

Политическая программа Nicolas не только успокоиваетъ Ольгу Сергѣевну, но даже внушаетъ ей уваженіе къ сыну.

— До сихъ поръ я только любила тебя,—говоритъ она:—теперь я тебя уважаю!

На что Nicolas со всѣмъ энтузіазмомъ пламенной души отвѣчаетъ:

— Oh! ma noble et sainte mère! mais sentez donc! sentez, comme mon coeur bondit et trépigne!

Вообще „куколка“ доволенъ собой выше всякой мѣры. Во-первыхъ, благодаря maman, онъ узнаетъ, что онъ консерваторъ (до

сихъ поръ всѣ его политическія убѣжденія заключались въ томъ, чтобы не пропустить ни одного праздничнаго дня, не посѣтивши театра Берга), и что ему предстоитъ въ будущемъ какая-то роль; во-вторыхъ, слова Ольги Сергѣевны объ уваженіи окончательно возносятъ его на недосягаемую высоту. Онъ цѣлые дни ходитъ въ забытьи, цѣлые дни строитъ планы за планами и наконецъ дѣлается до того подозрительнымъ, что впадаетъ почти въ ясновидѣніе.

— Aujourd'hui j'ai rêvé! — говоритъ онъ однажды. — Мнѣ снилось, что я сдѣлался невидимкой и присутствую при ихъ совѣщаніяхъ! Можете себѣ представить, maman, какія я при этомъ сдѣлалъ открытія!

Въ другой разъ онъ обращалъ вниманіе maman на вредное направленіе умовъ, замѣченное имъ между поселянами.

— Какъ хотите, maman, — ораторствуетъ онъ: — а чувство уваженія къ священному принципу собственности такъ мало въ нихъ развито, что я почти прихожу въ отчаяніе. Вчера изъ парка выгнали крестьянскую корову; сегодня на господскомъ овсѣ застали цѣлое стадо гусей. Я думаю, что система штрафовъ была бы въ этомъ случаѣ очень-очень дѣйствительна!

Наконецъ, въ третій разъ онъ объявляетъ, что видѣлъ на селѣ настоящаго нигилиста.

— Но кого же, мой другъ?—изумленно спрашиваетъ Ольга Сергѣевна.

— Tu sais... ce séminariste... сынъ нашего священника. Представь себѣ, встрѣчается давеча со мной и пренагло-нагло подаетъ мнѣ руку... canaille!

Открытіе это нѣсколько смущаетъ Ольгу Сергѣевну. Она съ своей стороны ужъ замѣтила Аргентова (фамилія заподозрѣннаго семинариста), и ей даже показалось, что онъ не только не нигилистъ, но даже „благонамѣренный“. Именно, „благонамѣренный“, не „консерваторъ“ — „консерваторами“ могутъ быть только les gens comme il faut, а „благонамѣренный“, то-есть смирный, послушный, преданный. Аргентовъ былъ высокій и плотный молодой человѣкъ; голова у него была большая и кудрявая; черты лица нѣсколько крупны, но не безъ привлекательности; вся фигура дышала силой и непочатостью. Все это Ольга Сергѣевна замѣтила. „Il est du peuple, c'est vrai,—думала она про себя,—mais quelquefois ces gens-là

out du bon“. И она до такой степени проникласъ убѣжденіемъ, что Аргентовъ „благонамѣренный“, что однажды, выходя изъ церкви, даже просила отца Карла когда-нибудь привести его.

— Послѣ,—прибавила она:—теперь дайте мнѣ насмотрѣться на моего „куколку“! Онъ у меня такой серьезный, непремѣнно хочетъ оставаться со мной одинъ! Вѣдь вы еще не скоро уѣзжаете отсюда, мсьё Аргентовъ?

— Все зависитъ отъ мѣстовъ-съ,—отвѣчалъ молодой человѣкъ:—какъ скоро откроется вакансія, тогда ужъ будетъ не до знакомствъ-съ. надо будетъ думать о пріисканіи невѣсты-съ!

— Ну, будетъ время, еще познакомимся!—сказала Ольга Сергѣевна, садясь въ экипажъ, между тѣмъ какъ Аргентовъ удалялся во-свояси, напѣвая звучнымъ басомъ: „тѣлеснаго озлобленія терпѣти не могу“.

Съ тѣхъ поръ мысль объ Аргентовѣ посѣщала ее довольно настойчиво. Въ головѣ ея даже завязались по этому случаю цѣлые романы съ длинными зимними вечерами, съ таинственнымъ мерцаньемъ луннаго луча и съ этою страстною, курчавою головой, si pleine de sève et de vigueur! Она полулежитъ на диванѣ, глаза ея зажмурены, а его голосъ гремитъ и дрожитъ, и въ ушахъ ея безсвязно раздаются какія-то страстныя, пламенныя слова. Ей сладко мечтать подъ эти страстные звуки; она не знаетъ даже содержанія ихъ, а только тихо-тихо поддается имъ, побѣжденная ихъ страстностью... И какъ онъ мило брюзжитъ, когда она, въ самомъ разгарѣ его діатрибъ, вдругъ, выйдя изъ забытья, „совсѣмъ-совсѣмъ некстати“ обращается къ нему съ вопросомъ:

— А вы читали Оссіана, Аргентовъ?

— Не объ Оссіанѣ идетъ теперь рѣчь!—кричитъ онъ на нее, вскакивая какъ ужаленный:—а о народныхъ страданіяхъ-съ! Поймете ли вы это когда-нибудь, барыня?

„Странное дѣло!“ думается ей: „сколько разъ я предлагала этотъ вопросъ... тамъ... à Paris... и всѣ „они“ отвѣчали мнѣ такимъ же образомъ! Всѣ, всѣ сердились“.

И вдругъ „куколка“ разрушаетъ весь этотъ rêve, объявляя, что Аргентовъ—нигилистъ! Un homme qui n'a pas de religion!! человѣкъ, который выдумалъ гражданскій бракъ!!

— Но не ошибаешься ли ты, мой другъ?—говоритъ она какъ-то робко.—Мнѣ кажется... онъ благонамѣренный!

— Нѣтъ, нѣтъ, у меня это ужъ инстинктъ, и онъ меня никогда-никогда не обманывалъ! Всѣ эти fils de pope нарочно говорятъ глупыя слова, чтобъ скрыть, что они дѣлаютъ революціи! А что у нихъ на умѣ однѣ революціи—c'est un fait avéré! И не меня они обманутъ своимъ смиреніемъ!

Однимъ словомъ, восторженность Nicolas ростетъ до того, что онъ начинаетъ вскакивать по ночамъ, кричать, кого-то требовать къ отвѣту, что̀ причиняетъ Ольгѣ Сергѣевнѣ не мало тревоги.

— Maman! — восклицаетъ онъ однажды: — je sens que je mourrai, mais au moins je mourrai à mon poste! Touchez ma tête—elle est toute en feu!

— Но ты бы чѣмъ-нибудь разсѣялъ себя, — испуганно говоритъ она: — посмотрѣлъ бы на наше хозяйство, позвалъ бы управляющаго!

— Oh, maman! все это кажется мнѣ теперь такъ ничтожнымъ... si petit, si mesquin!

— Но подумай, мой другъ, у тебя будутъ дѣти; это твой долгъ, c'est ton devoir de leur transmettre intacts tes droits, tes biens, ton beau nom.

— Encore un devoir! quel fardeau! et quelle triste chose, que la vie, maman!

Но Ольга Сергѣевна уже не слушаетъ и посылаетъ къ Nicolas управляющаго. Nicolas, съ свойственною ему стремительностью, излагаетъ передъ управляющимъ цѣлый рядъ проектовъ, отъ которыхъ тотъ только таращитъ глаза. Такъ напримѣръ, онъ предлагаетъ устроить на селѣ кафе-ресторанъ, въ которомъ крестьяне могли бы имѣть чисто приготовленный, дешевый и при томъ сытный обѣдъ („и Бога бы за меня молили!“ мелькаетъ при этомъ у него въ головѣ).

— Понимаешь? понимаешь?—толкуетъ онъ: —я не того требую, чтобъ были у нихъ голландскія скатерти, а чтобъ было все чисто, мило, просто!—понимаешь?

Потомъ, не давши этой идеѣ дальнѣйшаго развитія, онъ переходитъ къ пчеловодству, и доказываетъ, что при современномъ состояніи науки („la science!“) можно заставить пчелъ дѣлать какой угодно медъ—липовый, розовый, резедовый и т. д.

— Понимаешь? понимаешь? я люблю липовый медъ, ты — резедовый... и мы оба... понимаешь?

Наконецъ бросаетъ и эту матерію, грозитъ управляющему пальцемъ и съ восклицаніемъ: „я васъ подтяну!“ —убѣгаетъ къ maman.

— Maman! да тутъ у васъ какіе-то Каракозовы завелись! — разражается онъ.

Съ этихъ поръ кличка „Каракозовъ“ остается за управляющимъ навсегда.

Наконецъ Ольга Сергѣевна вспоминаетъ, что въ сосѣдствѣ съ ними живетъ молодой человѣкъ, Павелъ Денисычъ Мангушевъ, и предлагаетъ Nicolas познакомиться съ нимъ.

— Опять какой-нибудь Каракозовъ! — остритъ Nicolas.

— Нѣтъ, мой другъ, это молодой человѣкъ — совсѣмъ-совсѣмъ одинѣхъ мыслей съ тобою. Онъ консерваторъ; il est connu comme tel, хотя всего только два года тому назадъ вышелъ изъ своего заведенія. Вы понравитесь другъ другу.

— Гм... можно!

Павелъ Денисычъ Мангушевъ живетъ всего въ десяти верстахъ отъ Персіановыхъ, въ прекраснѣйшей усадьбѣ, ни въ чемъ не уступающей Перкалямъ. Въ ней все тѣнисто, прохладно, изобильно и привольно. Обширный каменный домъ; густой, старинный садъ, спускающійся террасой къ рѣкѣ; оранжереи, каменныя службы, большой конный заводъ и кругомъ — поля, поля и поля. Самъ Мангушевъ — совершенно нековерканный молодой человѣкъ, какого только возможно представить себѣ въ наше нековерканное всякими bons и mauvais principes время. Воспитаніе онъ получилъ то же самое, что и Nicolas, то-есть тѣ же „краткіе начатки“ нравственности и религіи и то же безсознательно сложившееся убѣжденіе, что человѣческая раса раздѣляется на chevaliers и manans. Хотя между ними шесть лѣтъ разницы, но мысли у Мангушева такія же дѣтскія, какъ у Nicolas, и также подернуты легкимъ слоемъ разврата. Ни тотъ, ни другой не подозрѣваютъ, что оба они — шалопаи; ни тотъ, ни другой не видятъ ничего внѣ того круга, котораго содержаніе исчерпывается чищеніемъ ногтей, анализомъ покроя галстуховъ, пиджаковъ и брюкъ, оцѣнкою кокотокъ, рысаковъ и т. д. Единственная

разница между ними заключалась въ томъ, что Nicolas готовилъ себя къ дипломатической карьерѣ, а Мангушевъ, par principe, всему на свѣтѣ предпочиталъ la vie de château. Въ послѣднее время у насъ это уже не рѣдкость. Прежде помѣщики поселялись въ деревняхъ, потому что тамъ дешевле и привольнѣе жить, потому что ни Катька, ни Машка, ни Палашка не смѣютъ ни въ чемъ отказать, потому что въ полѣ есть заяцъ, въ лѣсу — медвѣдь и т. д. Теперь поселяются въ деревняхъ par principe, для того, чтобъ сѣять какія-то сѣмена и поддерживать какія-то якобы права... Такимъ образомъ, если для Nicolas предстояло проводить въ жизни шалопайство дипломатическое, то Мангушевъ уже два года сряду проводилъ шалопайство de la vie de château...

— Vous autres, gens de l'épée et de robe,—обыкновенно выражался Мангушевъ: — вы должны администрировать, заботиться о казнѣ, защищать государство отъ внѣшнихъ враговъ... que sais-je! Nous autres, châtelains, nous devons rester à notre poste! Мы должны наблюдать, чтобъ здѣсь, на мѣстахъ, взошли эти сѣмена... Однимъ словомъ, чтобъ эти краеугольные камни... vous concevez?

Выраженіе „краеугольные камни“ онъ какъ-то особенно подчеркивалъ и всегда останавливался на немъ. Онъ покручивалъ свои усики, пристально поглядывалъ на своего собесѣдника и умолкалъ, вполнѣ увѣренный, что все, что надлежало сказать уже высказано. Въ сущности же, „краеугольные камни“, о которыхъ здѣсь упоминалось, состояли въ томъ, что Мангушевъ по утрамъ чистилъ себѣ ногти и примѣривалъ галстухи, потомъ — ѣздилъ по сосѣдямъ или принималъ таковыхъ у себя и наконецъ, на ночь, зѣвая, выслушивалъ рапорты своихъ: chef de l'administration и chef de harras.

— Я, messieurs, не знаю, что такое скука!—выражался онъ, разсказывая объ употребленіи своего дня:—моя жизнь—это жизнь труда, заботъ и распоряженій. Nous autres, simples travailleurs de la civilisation, nous devons à nos descendants de leur transmettre intacts nos fortunes, nos droits et nos noms (Ольга Сергѣевна отъ него заразилась этой фразой, когда рекомендовала „куколкѣ“ заняться хозяйствомъ). Поэтому наше мѣсто — на нашемъ посту. Вы, господа военные и господа дипломаты,—вы защищайте отечество и ведите переговоры. A nous—le rôle modeste des civilisateurs. Мы сѣемъ и способствуемъ прозябанію посѣяннаго. И съ

утра ужъ принимаю рапорты, дѣлаю распоряженія, осматриваю постройки, mes bâtisses. хожу на работы... И такимъ образомъ проходитъ цѣлый трудовой день! У меня даже свой судъ... Я здѣсь верховный судья! Всѣ эти люди, которымъ нечего ѣсть—всѣ они приходятъ *ко мнѣ* и *у меня* просятъ работы. Я могу дать, могу и отказать,—стало быть, я правъ, говоря, что судъ принадлежитъ *мнѣ*. У меня нѣтъ ни одного безнравственнаго человѣка въ услуженіи... parce que la morale, mon cher,—c'est mon cheval de bataille. Я каждому приходящему ко мнѣ наниматься говорю: хорошо, но ты долженъ быть почтителенъ! И они почтительны. Всѣ эти краеугольные камни... вы меня понимаете?

Дошедши до „краеугольныхъ камней", Мангушевъ опять умолкалъ, считая свою миссію совершенно исполненною.

Nicolas и Мангушевъ сразу поняли другъ друга, хотя послѣдній принялъ перваго съ оттѣнкомъ нѣкотораго покровительства.

— Soyez le bienvenu! – сказалъ онъ ему:—le descendant des Persianoffs всегда будетъ желаннымъ гостемъ въ домѣ Мангушевыхъ. Мы, сельскіе дворяне, конечно, не можемъ доставить вамъ тѣхъ высокихъ наслажденій, къ которымъ привыкли люди столицъ; но и у насъ найдется для Персіанова и чарка добраго стараго вина, и хорошій кусокъ дымящагося ростбифа. Entrez, je vous prie.

Мангушевъ высказалъ это такъ серьезно, что Nicolas сразу почувствовалъ безпредѣльное благоговѣніе къ нему. Онъ былъ такъ щегольски и въ то же время такъ просто одѣтъ, что Nicolas въ своемъ мундирчикѣ почувствовалъ себя какъ-то неловко (онъ въ первый разъ упрекнулъ себя, зачѣмъ надѣлъ мундиръ и не послушался maman, которая совѣтовала надѣть легкій палевый костюмъ). Въ его воображеніи вставалъ совсѣмъ не тотъ золотушный, вертлявый и нековерканный Мангушевъ, который дѣйствительно ломался передъ его глазами. а подлинный представитель той vie de château, о которой онъ вычиталъ когда-то dans ces bons petits romans, воспитывавшихъ его юность. Цѣлая картина быстро пронеслась въ его воображеніи. Молодой лордъ, разсѣвающій сѣмена консерватизма, религіи и нравственности; семейный очагъ; длинные зимніе вечера въ старомъ, величественномъ замкѣ; подъемные мосты; поля, занесенныя снѣгомъ; охота на кабановъ и сернъ; трикракъ съ сельскимъ curé; бесѣда за ужиномъ съ обильными возліяніями; общія молитвы съ пре-

данными съдыми слугами, и затѣмъ крѣпкій, здоровый и безмятежный сонъ до утра... Однимъ словомъ, онъ совершенно позабылъ, что находится въ Глуповской губерніи, гдѣ нѣтъ ни шато, ни кюре, играющихъ въ трикракъ, ни кабановъ, ни консерватизма, ни религіи, ни нравственности, а есть только высь и ширь да безконечно праздные и безпредѣльно болтающіе Мангушевы.

— Et la santé de madame?—освѣдомился между тѣмъ Мангушевъ.

— Merci. Maman se porte très bien.

— Oh! votre mère est une noble et sainte femme!

Молодые люди вошли въ кабинетъ и усѣлись на какой-то чрезвычайно мягкой и удобной мебели.

— Et maintenant causons. Charles! vite un déjeuner, et une bouteille de notre meilleur!—обратился Мангушевъ къ расторопному малому, почтительно ожидавшему приказаній: — Мьё де Персіановъ! вы какое вино предпочитаете?

Nicolas вспыхнулъ, потому что до сихъ поръ онъ самъ еще не давалъ себѣ отчета относительно вина. Онъ неизмѣнно душилъ шампанское, полагая, что дорогая его цѣна вполнѣ достаточна, чтобъ оправдать это предпочтеніе.

— Mais... le champagne! — смущенно пролепеталъ онъ, все больше и больше краснѣя.

— Pardon! мы будемъ пить шампанское en son temps et lieu —надѣюсь, что вы у меня обѣдаете?—а теперь... Charles! vous nous apporterez de ce petit Bordeaux... „Retour des Indes“... C'est tout ce qu'il faut pour le monent... n'est-ce pas, mon cher monsieur de Persianoff?

Nicolas промычалъ въ знакъ согласія.

— У меня въ услуженіи все французы,—продолжалъ Мангушевъ, когда Шарль удалился:—и вамъ рекомендую то же сдѣлать. Il n'y a rien comme un francais, pour servir. Наши русскіе болѣе къ полевымъ работамъ склонность чувствуютъ. Il sont sales. Но зато въ полѣ за сохой... c'est un charme!

Затѣмъ уже начинается собственно causerie.

— Ну-съ, что новаго въ Петербургѣ?

— Mais... nous follichonons, nous aimons, nous buvons sec!

— Oh! cette bonne, brave jeunesse! Мы, сельскіе дворяне. любуемся вами изъ нашего далека и шлемъ вамъ отсюда наши скромныя пожеланія. Вамъ трудно въ настоящую минуту, messieurs. и мы понимаемъ это очень хорошо: но повѣрьте, что и наша задача тоже не легка!

Мангушевъ останавливается, какъ будто собирается съ мыслями.

— У насъ нѣтъ поддержки!—наконецъ говоритъ онъ и опять умолкаетъ.

Nicolas дѣлаетъ видъ, что умѣетъ, такъ сказать, читать между строкъ.

— On est trop bon lá-bas! — продолжаетъ Мангушевъ: — нѣтъ спора, намѣренія прекрасны, но нѣтъ этой ныткости, этого натиска, чтобы разомъ покончить съ гидрою! А мы... что же мы можемъ сдѣлать съ нашими маленькими, разрозненными усиліями? Мы можемъ только помогать по мѣрѣ нашихъ слабыхъ силъ и сожалѣть!

— N'est-ce pas? mais n'est-ce pas?—радуется Nicolas:—je le dis mille fois par jour qu'on est trop bon pour cette canaille-là!

— Et vous avez raison. Я день и ночь борюсь съ этимъ зломъ... je ne fais que cela... И что жъ! Я долженъ сознаться, что до сихъ поръ всѣ мои усилія были совершенно напрасны. Они проникаютъ всюду: и въ наши школы, и въ наши молодыя земскія учрежденія!

— Я увѣренъ, что еще на дняхъ видѣлъ здѣсь одного нигилиста!—восклицаетъ Nicolas:—и еслибъ не maman...

— Ah! nos dames! ce sont des anges de bonté et de douceur! Но надо сознаться, что онѣ намъ много портятъ въ нашей святой миссіи!

— Но я былъ неумолимъ.—лжетъ Nicolas:—я прямо сказалъ maman, что не желаю, чтобъ въ нашемъ селѣ процвѣтали Каракозовы! И его ужъ нѣтъ!

— И хорошо сдѣлали. Votre mère est une sainte. но потому-то именно она и не можетъ судить этихъ людей, какъ они того заслуживаютъ! Но, дастъ Богъ, классическое образованіе превозможетъ, и тогда... Надѣюсь, monsieur de Persianoff. что вы за классическое образованіе?

Nicolas надувается, какъ бы нѣчто соображая.

— Классицизмъ—этимъ все сказано. — продолжаетъ между

гѣмъ Мангушевъ:—это utile dulce, l'utile et le doux нашего добраго стараго Горація. Скажу вамъ откровенно, m-r de Persianoff. я никогда—никогда не скучаю. Какъ только я замѣчаю, что мнѣ грустно. я сейчасъ же беру моего старика Гомера и забываю все... Съ этой точки зрѣнія иногда у меня даже нѣтъ силъ ненавидѣть этихъ нигилистовъ: я просто сожалѣю объ нихъ. У нихъ нѣтъ этого наслажденія, которымъ пользуемся, напримѣръ, мы съ вами: ils ne comprennent pas la poésie du coeur!

Nicolas глядитъ на Мангушева во всѣ глаза и все больше проникается благоговѣніемъ къ нему. А вмѣстѣ съ благоговѣніемъ онъ проникается потребностью лгать, лгать во что бы ни стало, лгать, не оставляя за собой ни прикрытія, ни возможности для отступленія.

— Я самъ... я очень люблю Гомера, но, признаюсь, впрочемъ, предпочитаю ему Виргилія. „Les Boucoliques“—tout est là! Этимъ все сказано!—картавитъ онъ, самодовольно поворачиваясь въ креслѣ и покручивая зачатокъ уса.

— Vraiment? вы любитель? Очень радъ! очень радъ! потому что въ такомъ случаѣ мы навѣрное сойдемся!

— Я еще въ младшемъ курсѣ прочиталъ всего Корнелія Непота... Fichtre, quel style!

— Oh, quant au style—c'est Eutrope qu'il faut lire! Эта деликатность, эта тонкость, эта законченность... и, наконецъ, эта возвышенность... Надо прочесть самому, чтобъ убѣдиться, что это такое!

Бесѣдуя такимъ образомъ, новые друзья доврались наконецъ до того, что вытаращили глаза и стали въ тупикъ. „Et Esope donc!“—началъ-было Nicolas, но остановился, потому что рѣшительно позабылъ, кто такой былъ Эзопъ и къ какой онъ принадлежалъ націи.

— Ну-съ, теперь мы позавтракаемъ! А послѣ завтрака я вамъ покажу мой harras. Заранѣе предупреждаю, что ежели вы любитель, то увидите нѣчто весьма замѣчательное.

За завтракомъ Мангушевъ пытался-было продолжать „серьезный“ разговоръ, и сталъ развивать свои идеи насчетъ „правъ“ вообще и въ особенности насчетъ тѣхъ изъ нихъ, которыя онъ называлъ „священными“; но когда дошла очередь до знаменитаго „Retour des Indes“, серьезность измѣнила характеръ и сосредоточилась исключительно на достоинствѣ вина. Мангушевъ велъ себя въ

этомъ случаѣ какъ совершеннѣйшій знатокъ, съ отличіемъ прошедшій весь курсъ наукъ у Дюсо, Вореля и Донона. Онъ слѣдилъ глазами за движеніями Шарля, разливавшаго вино въ стаканы, вертѣлъ свой стаканъ въ обѣихъ рукахъ, какъ бы слегка согрѣвая его, пилъ благородный напитокъ небольшими глотками и т. п. Nicolas, съ своей стороны, старался ни въ чемъ не отставать отъ своего друга: нюхалъ, смаковалъ губами, поднималъ стаканъ къ свѣту и проч.

— Mais savez-vous, que c'est parfait! on sent le goût du raisin à un tel point, que c'est inconcevable!—наконецъ произнесъ онъ восторженно.

— N'est-ce pas?—не менѣе восторженно отозвался Мангушевъ: —ah! attendez! à dîner je vais vous régaler d'un certain vin, dont vous me direz des nouvelles!

Затѣмъ разговоръ полился ужъ рѣкой.

— Я только разъ въ жизни пилъ подобное вино,—повѣствовалъ Мангушевъ:—c'était à Bordeaux, chez un nommé comte de Rubempré—un comte de l'Empire, s'il vous plait—га! это было винцо! И хоть я не очень-то долюбливаю этихъ comtes de l'Empire, но это вино! Ah! ce vin!

Мангушевъ развелъ руками, какъ бы давая понять, что дальше объяснять безполезно. Nicolas сидѣлъ противъ него и завидовалъ.

— Я долженъ вамъ сказать, что судьба вообще баловала меня на этотъ счетъ. Въ другой разъ, это было въ Италіи... въ Сорренто, въ Сполетто—je ne sais plus lequel!.. Приходимъ мы въ какую-то остерію. Ну, просто, въ грязную остерію, въ родѣ нашей харчевни... vous pouvez vous imaginer ce que c'est! Жарко, устали, хочется пить. Разумѣется, сейчасъ: una fiasca dal vino!—„Sì, signor!“ и т. д. И что жъ бы вы думали! Мнѣ, именно мнѣ, подаютъ бутылку d'un certain lacryma christi... ah! mais c'était quelque chose! Представьте себѣ, что это была *одна* бутылка, хранившаяся у хозяина въ погребѣ нѣсколько десятковъ лѣтъ! Et puis, c'était fini. Ни прежде, ни послѣ я подобнаго вина не пивалъ!

Nicolas завидуетъ еще больше, но въ то же время чувствуетъ, что и ему слѣдуетъ вставить свое слово въ разговоръ.

— On dit que ce sont les oranges qui sont excellents en Italie?—картавитъ онъ съ важностью.

— Oh! quant aux oranges, il faut aller les manger à Messine.

Это все равно что груши, которыя можно ѣсть только на сѣверѣ Франціи. Вездѣ—это груши, тамъ—это божество!

— Et Naples! frutti del mare!—восклицаетъ Nicolas.

— Я ѣлъ ихъ съ утра до вечера, и никогда не могъ довольно насытиться. C'est tout dire. Mais vous n'avez pas l'idée de ce qu'on trouve à l'étranger en fait de vins et de comestibles! On y devient glouton sans y penser—parole d'honneur! Перигоръ, Бордо, Марсель,—все это усѣяно! Тюрбо, тонъ, paté de foie gras—c'est à n'y pas croire! Et puis, les huitres, и эта безподобная, ни съ чѣмъ несравнимая bouille-abesse!

— Et les femmes donc!

— A qui le dites-vous! Ah, il y avait une certaine donna Inez'a... Впослѣдствіи она была въ Петербургѣ у одного адвоката... les gueux! ils nous arrachent nos meilleurs morceaux! Но я... я встрѣтился съ нею въ Севильѣ. Представьте себѣ теплую южную ночь... надъ нами темное синее небо... кругомъ все благоухаетъ... и тамъ вдали, comme dit Pouschkinne:

Бѣжитъ, шумитъ
Гвадалквивиръ...

Мы идемъ, вливаемъ въ себя этотъ волшебный воздухъ и чувствуемъ—mais à la lettre чувствуемъ!—какъ вся кровь приливаетъ къ сердцу! И вдругъ... ОНА! въ легкой мантильѣ... на головѣ черный кружевной капюшонъ, и изъ-подъ него... два черныхъ, какъ уголь, глаза!.. Oh! mais si vous allez un jour à Séville, vous m'en direz des nouvelles!

У Nicolas захватываетъ дыханіе. Потребность лгать садитъ ему грудь, катится по всѣмъ его жиламъ и наконецъ захлестываетъ все его существо.

— Je vous dirai, qu'une fois il m'est arrivé à Pétersbourg... —начинаетъ онъ, но Мангушевъ, съ своей стороны, такъ ужъ разолгался, что не хочетъ дать ему кончить.

— О! наши сѣверныя женщины! c'est pauvre, c'est mesquin, cela n'a pas de sève! Надобно видѣть ихъ *тамъ!* Тамъ—это зной, это адъ, это что-то такое, что̀ мы, люди сѣвера, даже понять не можемъ, не испытавши лично тамъ, на мѣстѣ! Но за то, разъ на мѣстѣ, мы одни только и можемъ оцѣнить южную женщину! Знаете ли вы, что только южная женщина умѣетъ цѣловать какъ слѣдуетъ!

Nicolas окончательно багровѣетъ.

— Вы не вѣрите?—а между тѣмъ нѣтъ ничего святѣе этой истины. Она не цѣлуетъ—она пьетъ... elle boit! вотъ поцѣлуй южной женщины! Я помню это было однажды въ Венеціи, la bella Venezia... Мы плыли въ гондолѣ... вдоль береговъ дворцы... въ окнахъ огни... вдали звучатъ баркаролы... надъ нами ночь... mais de ces nuits, qu'on ne trouve qu'en Italie! И вдругъ она меня поцѣловала... oh! mais ce baiser! c'était quelque chose d'ineffable! c'était tout un poème! Увы! это былъ послѣдній ея поцѣлуй!

Мангушевъ потупился. Nicolas впился въ него глазами.

— Elle est morte le lendemain. Она, женщина юга, не могла выдержать всей полноты этого блаженства. Она выпила залпомъ всю чашу—и умерла! Вы можете себѣ представить мое положеніе! J'ai été comme fou... Parole d'honneur!

Nicolas хочетъ сказать un compliment de condoléance, но, благодаря „Retour des Indes“, слова какъ-то путаются у него на языкѣ.

— Certainement... si la personne est jolie... c'est bien désagréable!—бормочетъ онъ.

— Parbleu! si la personne est jolie! allez-y, et vous m'en direz des nouvelles!—восклицаетъ Мангушевъ, и такъ какъ завтракъ конченъ и лгать больше нечего, то предлагаетъ своему новому другу отправиться вмѣстѣ на конный заводъ.

— Vous verrez mon royaume!—говоритъ онъ:—тамъ я отдыхаю и чувствую себя джентльменомъ!

Начинается выводка; у Мангушева въ рукахъ бичъ, которымъ онъ изрѣдка пощелкиваетъ въ воздухѣ. Жеребцы и кобылы выводятся одни за другими, одни другихъ красивѣе и породистѣе. Но Мангушевъ уже не довольствуется тѣмъ, что его „производители“ дѣйствительно безподобны, и начинаетъ лгать. Всѣ они взяли ему по нѣскольку призовъ, опередили „Чародѣя“, „Бычка“ и т. д.

— Вотъ,—говоритъ онъ:—этотъ самый „Зяблякъ“ (c'est le doyen du harras) двадцать два приза взялъ—parole!

— Quel producteur!—восторженно восклицаетъ Nicolas.

За „Зябликомъ“ слѣдуетъ кобыла „Эмансипація“, за „Эмансипаціей“—жеребецъ „Консерваторъ“ и проч. У Nicolas некрятся глаза и захватываетъ духъ, тѣмъ болѣе, что Мангушевъ каждую выводку непремѣнно сопровождаетъ исторіей, которая неизмѣнно на-

чинается словами: „представьте себѣ, съ этою лошадью какой случай у меня былъ“. „Куколка“ выражаетъ свой восторгъ ужъ не восклицаніями, а взвизгиваніемъ и захлебываньемъ. Мало того, онъ чувствуетъ себя жалкимъ и ничтожнымъ, сравнивая этихъ благородныхъ животныхъ съ скромными „Васьками“ и „Горностаями“, украшающими конюшню села Перкалей.

„Et dire que cet homme a tout cela!“—думаетъ онъ, поглядывая съ завистью на торжествующаго Мангушева.

За обѣдомъ „куколка“ словно въ чаду. Онъ слабо пьетъ и почти совсѣмъ не притрогивается къ кушаньямъ.

— Этотъ „Зябликъ“ не выходитъ у меня изъ головы. А „Консерваторъ“! А эта „Ласточка“... quelles hanches!—взвизгиваетъ онъ поминутно.

Мангушевъ видитъ восторженность пламеннаго молодого человѣка и удостовѣряется, что въ немъ будетъ прокъ. На этомъ основаніи онъ предлагаетъ Nicolas выпить на „ты“ и беретъ съ него слово видѣться какъ можно чаще. Новые восторги, новыя восклицанія, новое лганье, сопровождаемое заклинаніями.

— Слушай! когда ты поѣдешь въ Парижъ,—говоритъ Мангушевъ:—ты меня предупреди. Я тебѣ дамъ письмо къ нѣкоторой Florence—et vous m'en direz des nouvelles, mon cher monsieur!

Отъ Florence разговоръ переходитъ къ Emilie, отъ Emilie—къ Ernestine, и такъ какъ въ продолженіе его слѣдуетъ бутылка за бутылкой, то лганье кончается только за полночь.

А въ Перкаляхъ еще не спятъ. Ольга Сергѣевна стоитъ на террасѣ, вглядывается въ темноту ночи и ждетъ своего „куколку“ („Oh, les sentiments d'une mère!“—говоритъ она себѣ мысленно).

— Maman! quel homme! quel homme!—восклицаетъ Nicolas, выскакивая изъ коляски и бросаясь въ объятія матери.

Каникулы кончились; Nicolas возвращается въ „заведеніе“. Онъ скучаетъ, потому что чадъ только-что пережитыхъ воспоминаній еще туманитъ его голову. Да и всѣ вообще воспитанники глядятъ какъ-то вяло. Они рука-объ-руку лѣниво бродятъ по залам заведенія, передаютъ другъ другу вынесенныя впечатлѣнія, и не то иронически, не то съ нетерпѣніемъ относятся къ ожидающей ихъ завтра наукѣ.

— Ты что-нибудь знаешь изъ „свинства“ (подъ этимъ именемъ между воспитанниками слыветъ одна изъ „наукъ“)?

— Ты прочиталъ „Черты“?

— Messieurs! на завтра „Чучело“ задалъ сочиненіе на тему: сравнить романтизмъ „Бѣдной Лизы“ Карамзина съ романтизмомъ „Марьиной Рощи“ Жуковскаго—каковъ Чучело!

Въ такомъ родѣ идетъ перекрестный разговоръ, относящійся до наукъ. Въ залахъ и классахъ непріятно, голо и даже какъ будто холодно; лампы горятъ по обыкновенію свѣтло, но кажется, что въ этомъ свѣтѣ чего-то недостаетъ, что онъ какой-то казенный; хочется спать, и между тѣмъ рано. Раздается звонокъ, призывающій къ ужину; но воспитанники не глядятъ ни на крутоны съ чечевицей, ни на „суконные“ пироги. Менѣе благовоспитанные (плебеи) съ негодованіемъ отодвигаютъ отъ себя „cette mangeaille de pourceau“ и грозятся сдѣлать „исторію“; болѣе благовоспитанные (аристократы) ограничиваются тѣмъ, что не прикасаются къ кушанью и презрительно пожимаютъ плечами, слушая нетерпѣливые возгласы плебеевъ. Увы! въ „заведеніи“ уже есть „свои“ аристократы и „свои“ плебеи, и эта демаркаціонная черта не исчезнетъ въ стѣнахъ его, но отзовется и дальше, когда и тѣ, и другіе выступятъ на широкую арену жизни. И тѣ, и другіе выйдутъ на нее съ убѣжденіемъ, что человѣческая раса раздѣляется на chevaliers и manans; но одни выйдутъ съ правомъ поддерживать это убѣжденіе путемъ практики, другіе—лишь съ правомъ облизываться на него и поддерживать его только въ теоріи. Первые будутъ стараться не замѣчать послѣднихъ, будутъ называть ихъ „amis cochons“: вторые будутъ ненавидѣть первыхъ, будутъ сгарать завистью къ нимъ, и за всѣмъ тѣмъ полѣзутъ въ грязь, чтобъ попасться имъ на глаза и заслужить ихъ улыбку!

— Pierre! съ какимъ я познакомился консерваторомъ!—сообщаетъ „куколка“ другу своему, Петѣ Накатникову:—quel homme!

— Шутъ!

Этотъ Петя отличается тѣмъ, что настоящаго разговора вести не можетъ и выражаетъ свои мысли по возможности короткими словами. Только въ минуты сильнаго душевнаго потрясенія онъ позволяетъ себѣ проговориться какою-нибудь пословицей въ родѣ: „на томъ стоимъ-съ!“ или: „бей сороку и ворону!“ Тѣмъ не менѣе, между товарищами онъ слыветъ типомъ истиннаго chevalier.

— Самъ ты шутъ! Слушай! Мы видѣлись съ нимъ чуть не каждый день, и наконецъ такъ сошлись въ убѣжденіяхъ, что поклялись другъ другу составить общество „избавителей“.

— J'en suis!

— Ты понимаешь, что это никакъ не будетъ „тайное“ общество... напротивъ того, совсѣмъ-совсѣмъ явное! Il s'agit des nihilistes, vois-tu!

— Topez-là, monseigneur!

— Какимъ онъ угощалъ меня виномъ... „Retour des Indes“... га! это было винцо!

— Jus divin! du raisin!—мурлыкаетъ Петя.—На минералкахъ я познакомился съ Joyeux!

— Ты глупъ, Петя. Надобно было съ Альфонсинкой познакомиться, а ты все къ мужчинамъ лѣзешь!

— A bas! ça viendra!

— А еще я у него пилъ другое вино... Представь себѣ, эту бутылку подарилъ его дѣдушкѣ Потемкинъ... Tu sais, l'homme du destin!

Петя, вмѣсто отвѣта, облизываетъ свои усики.

— Она лежала сто лѣтъ въ какомъ-то углу, въ подвалѣ... и я первый, первый открылъ это чудо! Однажды мы сидимъ вдвоемъ и пьемъ... oh! nous avons joliment trinqué ce soir-là! И вдругъ я ему говорю: Мангушевъ, я увѣренъ, что у тебя въ подвалѣ хранится какое-нибудь чудо! Натурально, онъ тотчасъ же далъ мнѣ pleins-pouvoirs (oh! c'est un vrai chevalier, celui-là), и не прошло минуты, какъ ужъ она была въ моихъ рукахъ!

— Выпили?

— Еще бы! Потомъ онъ разсказывалъ мнѣ свое путешествіе за границей. Oh! maintenant, je suis au courant de tout! Я знаю, гдѣ найти лучшее вино, лучшій обѣдъ, устрицы, однимъ словомъ, все! Ensuite, il m'a donné des détails sur une certaine signora italienne... oh! quels détails!

— Sapristi!

— Представь себѣ, онѣ, эти южныя женщины, не цѣлуютъ, а пьютъ!

— A bas!

— А въ довершеніе всего онъ далъ мнѣ письмо къ здѣшней Бертѣ... en attendant le moment, où je pourrai aller en Italie. Но ты понимаешь, какъ это съ его стороны мило!

— Былъ?

— Еще бы! Сейчасъ съ машины заѣхалъ къ Огюсту, pour me faire décrotter, и оттуда прямо къ ней. Mais quelle adorable créature! Все слѣдующее воскресенье я съ нею. C'est convenu.

Въ этомъ родѣ разговоръ ведется за полночь. На другое утро Nicolas встаетъ съ головною болью и употребляетъ тщетныя усилія, чтобъ сравнить романтизмъ „Бѣдной Лизы“ съ романтизмомъ „Марьиной Рощи“. Онъ подбѣгаетъ къ Петѣ и спрашиваетъ его:

— Ты сравнилъ?

Петя молча показываетъ листъ бумаги, на которомъ размашистымъ почеркомъ изображено:

„Романтизмъ „Бѣдной Лизы“ настолько же выше романтизма „Марьиной Рощи“, насколько сѣдая и мудрая старость выше рѣзвой и неопытной юности. Но должно сказать, что оба автора находились долгое время при дворѣ и пользовались милостями монарховъ“. *П. Накатниковъ.*

— Шутъ!

Такъ проходитъ недѣля „наукъ“. Въ воскресенье Nicolas бѣжитъ къ Бертѣ и тамъ отдыхаетъ отъ всей абракадабры, которую принято называть ученьемъ.

— Vous n'avez pas l'idée, ma chère, comme ils nous bourrent de sciences, ces bourreaux!

— Les barbares!

Дни проходятъ за днями; воспитаніе идетъ своимъ чередомъ между будничными „науками“ и праздничною Бертой. Но вотъ истекаютъ и послѣдніе два года, и зданіе окончательно увѣнчивается. За два мѣсяца до выпуска Nicolos находится какъ въ чаду. Онъ освѣдомляется о лучшемъ портномъ, лучшемъ bottier, лучшемъ confectionneur de linge и допускаетъ по этимъ предметамъ une analyse détaillée et raisonnée. Наконецъ, останавливается на Жоржé, Леретрѣ и Léon. По воскресеньямъ онъ разрывается между ними, тогда какъ maman, пріѣхавшая нарочно по этому случаю изъ Перкалей, покупаетъ экипажи, мебель, устраиваетъ квартиру—un vrai nid d'oiseau!

— Mais regarde donc, comme ça sera joli! — говоритъ она

ему, водя по комнатамъ ихъ будущаго жилища:—tu seras là comme dans un petit nid.

— Maman! vous êtes la meilleure des mères. Jamais! non, jamais je ne saurai...

Nicolas закусываетъ губу и умолкаетъ, потому что наплывъ чувствъ мѣшаетъ ему говорить. Какъ бы послѣ нѣкотораго колебанья, онъ бросается къ maman и крѣпко-крѣпко обнимаетъ ее. Ma tante, свидѣтельница этой сцены, приходитъ въ умиленіе.

— Nicolas, tu es un noble enfant!—говоритъ она со слезами на глазахъ.

— Ma tante, c'est à vous que je dois ce que je suis!—восклицаетъ Nicolas, и отъ maman съ тою же стремительностью бросается къ ma taute и также обнимаетъ ее.

Наступаютъ экзамены, на которыхъ „куколка“ отвѣчаетъ довольно разсѣянно. Но начальство знаетъ причину этой разсѣянности и снисходитъ къ ней. Сверхъ того, оно знаетъ, что всѣ эти благородные молодые люди, la fleur de notre jeunesse, завтра же начнутъ свое служеніе обществу и никогда не измѣнятъ ни долгу, ни имени, которыя они носятъ. Слѣдовательно, если они и не вполнѣ твердо знаютъ, въ которомъ году произошло паденіе Западной Римской Имперіи, то это еще не большая бѣда.

Наконецъ бьетъ и минута освобожденія. Nicolas выходитъ изъ стѣнъ заведенія, восторженно простираетъ впередъ правую руку и, какъ бы обращаясь къ невидимому врагу, торжественно произноситъ:

— А теперь, messieurs... поборемся!

ПАРАЛЛЕЛЬ ВТОРАЯ.

Просимъ читателя послѣдовать за нами въ одно изъ закрытыхъ заведеній конца тридцатыхъ годовъ, въ которыхъ воспитывались дѣти дворянъ преимущественно небогатаго состоянія. Тамъ воспитывается „палачъ“, герой настоящаго разсказа.

„Палачъ“ ужъ шестой годъ выживаетъ въ „заведеніи“: четыре года провелъ онъ въ первомъ классѣ и теперь доживаетъ второй

годъ во второмъ. Настоящая его фамилія Хмыловъ, но товарищи называютъ его „палачомъ“, и эта кличка, повидимому, утвердилась за нимъ навсегда.

Хмыловъ принадлежитъ къ числу тѣхъ легендарныхъ юношей, о которыхъ въ школахъ складываются разсказы самаго чудеснаго свойства. Такъ напримѣръ, разсказывали, будто бы онъ, узнавъ однажды, что начальство рѣшилось исключить его за лѣность изъ заведенія, подавалъ въ губернское правленіе просьбу объ опредѣленіи его въ палачи, „куда угодно, по усмотрѣнію вышняго начальства“. Еще говорили, будто на душѣ его лежитъ сто одно убійство, и что мать его—та самая Танька, ростокинская разбойница, которая впослѣдствіи сдѣлалась героиней романа того же имени. Одинъ ученикъ даже увѣрялъ, что видѣлъ у „палача“ разрывъ-траву и какую-то „мертвую воду“, съ помощью которой онъ будто бы могъ весь классъ сначала повергнуть въ сонъ, а потомъ всѣхъ до чиста обобрать. И какъ ни фантастичны были эти разсказы, но „палачъ отчасти оправдывалъ ихъ своимъ хищнымъ видомъ и какою-то таинственною отчужденностью, съ которою онъ держался въ кругу товарищей и которая, быть можетъ, зависѣла не столько отъ него самого, сколько отъ случайно сложившихся, при поступленіи его въ заведеніе, обстоятельствъ.

„Палачу“ было невступно осьмнадцать лѣтъ; роста онъ былъ не громаднаго, но внушительнаго, сухощавъ, но сложенъ крѣпко и мускулистъ; брилъ бороду и обладалъ необычайною физическою силою. Среди прочей мелюзги товарищей онъ казался Голіафомъ. Въ минуты добраго расположенія духа онъ сажалъ на каждую руку по ученику, а третьяго ученика помѣщалъ у себя верхомъ на плечахъ, и съ такою ношей дѣлалъ два-три конца бѣгомъ по огромной рекреаціонной залѣ. Но подобныя добрыя минуты были рѣдкими проблесками въ его школьной жизни; вообще же „палачъ“ былъ угрюмъ и наводилъ своей силой паническій страхъ на товарищей. Особенность наружнаго вида породила взаимную отчужденность: отчужденность, въ свою очередь, привела къ озлобленію съ одной стороны и къ безпрерывнымъ приставаньямъ—съ другой. „Палачъ“ *любилъ бить*, и притомъ билъ почти всегда безъ причины, то-есть подстерегалъ перваго попавшагося мальчугана и съ наслажденіемъ тузилъ его, допуская при этомъ пытку и калѣченье.

Но въ то же время онъ былъ трусъ и въ особенности боялся на-

чальства, о которомъ, повидимому, съ дѣтства составилъ себѣ понятіе, какъ о чемъ-то неотразимомъ. Товарищи знали это и, ненавидя „палача“, устраивали, отъ времени до времени, на него облавы и травли. съ такимъ разсчетомъ, чтобы въ рѣшительную минуту можно было прибѣгнуть къ защитѣ начальства. Въ корридорѣ, въ рекреаціонной залѣ, въ саду, всегда невдалекѣ отъ дремлющаго надзирателя, мелюзга собиралась толпой, и съ крикомъ: „палачъ! палачъ!“ приближалась къ нему. Заслышавъ этотъ крикъ, „палачъ“ вздрагивалъ и бѣжалъ впередъ, сложивъ руки крестомъ на груди, вытянувъ шею и стараясь увлечь толпу подальше. Но на встрѣчу ему бѣжала другая толпа такой же мелюзги и съ тѣмъ же крикомъ: „палачъ! палачъ!“ Тогда онъ останавливался, съ проворствомъ кошки оборачивался назадъ и выхватывалъ изъ толпы перваго попавшагося подъ руку мальчугана. Начиналась расправа; весь дрожа и тяжело поводя ноздрями, „палачъ“ вывертывалъ своему паціенту руку и, шипя, произносилъ:

— Забью!

И Богъ знаетъ, чѣмъ могли бы оканчиваться эти пароксизмы бѣшенства, еслибъ обезумѣвшаго отъ ужаса мальчугана не выручалъ надзиратель.

— A genoux, Khmiloff! à genoux, tête remplie d'immondices! — гремѣлъ голосъ надзирателя, и „палачъ“ съ какою-то горькой усмѣшкой отрывался отъ своей жертвы и угрюмо, но безпрекословно становился на колѣни.

Невѣжественность „палача“ была изумительная; лѣность — выше всего, что можно представить себѣ въ этомъ родѣ. И ко всему этому — какое-то неизреченное презрѣніе къ чему бы то ни было, что упоминало объ ученьи, о книгѣ. Вообразить себѣ этого атлета-юношу, съ его запасомъ рѣшимости и свирѣпости, встрѣчающагося гдѣ-нибудь въ глухомъ переулкѣ одинъ-на-одинъ съ „наукою“, значило заранѣе опредѣлить участь послѣдней. Навѣрное онъ обратитъ въ пепелъ бумажныя фабрики, взорветъ на воздухъ университеты и гимназіи и подвергнетъ человѣческую мысль разстрѣлянію. Онъ самъ удивлялся, какимъ образомъ онъ могъ научиться грамотѣ. „Сама пришла“, говорилъ онъ, тщетно пытаясь разрѣшить этотъ вопросъ сколько-нибудь удовлетворительнымъ образомъ. И дѣйствительно, правильнѣе этого рѣшенія нельзя было придумать. Никто не видалъ, чтобы онъ что-нибудь училъ или читалъ, и вся дѣятельность его, въ смыслѣ

образованія ума и сердца, ограничивалась перепискою переводовъ и сочиненій на заданную тему, съ черняковъ, которые обыкновенно писались для него другими. Узнавши, что учитель словесности задалъ, напримѣръ, переложеніе въ прозу басни „Дубъ и Трость“, онъ, незадолго до класса, подходилъ къ кому-нибудь изъ товарищей, клалъ передъ нимъ чистый листъ бумаги, на которомъ, въ видѣ заголовка, собственной его рукой было написано: — „Дубъ и Трость“, переложеніе въ прозѣ, которое „такой-то“ обязанъ составить для Максима Хмылова, — и спокойно при этомъ произносилъ:

— Черезъ полчаса!

И черезъ полчаса его дѣйствительно уже видѣли сидящимъ на задней скамейкѣ и переписывающимъ готовое переложеніе. Вся фигура его какъ-то неестественно при этомъ натуживалась и скашивалась въ одну сторону, языкъ высовывался изъ угла рта и крупныя капли пота выступали на лбу.

Родись этотъ юноша нѣсколько позже, то-есть въ то время, когда вредъ, отъ наукъ происходящій, былъ приведенъ россійскими романистами и публицистами въ достаточную ясность, ему не было бы цѣны. Но, къ несчастію для него, онъ началъ учебное поприще въ то наивное время, когда „наука“ (быть можетъ, но новости ея) казалась еще чѣмъ-то цѣннымъ, когда никто не понималъ ясно, что̀ значитъ это слово, но всякій былъ убѣжденъ, что „науки юношей питаютъ“, и что человѣку, не знающему ариѳметики, грозитъ въ жизни какая-то бѣда. Поэтому не менѣе товарищей не любили „палача“ и учителя и надзиратели. У каждаго изъ нихъ Хмыловъ имѣлъ свое прозвище. Французъ-учитель называлъ его „animal“ и „tête remplie de foin“; учитель-нѣмецъ обращался къ нему не иначе, какъ „o, du, ungeschickter unnützer Khmiloff“; латинскій учитель именовалъ его „canis rabiosus“ и „pecus campi“. Съ какимъ-то злорадствомъ заставляли они его позировать на потѣху цѣлому классу. Входитъ, напримѣръ, на каѳедру monsieur Menuet, маленькій, поджарый французикъ, скорѣе похожій на извозчика, нежели на учителя, и первымъ долгомъ считаетъ немедленно заполучить Хмылова.

— Eh bien, animal de Khmiloff, lisons! § 44. Imparfait de l'indicatif!

Хмыловъ читаетъ:

„Iорке жете́ нетитъ, ме метръ ете́ контантъ де моа“.

— Être content de toi, crétin! de toi, qui es le bourreau de tes maîtres! Animal, va!

— Господинъ Менуетъ! не извольте ругаться!

— Ah! tu raisonne encore! Voyons, archi-imbécile, continuons: § 49. Imparfait et passé défini!

Хмыловъ читаетъ:

„Пьеръ леграндъ дежене а сенкъ еръ дю матенъ, илъ дине а мидп е не суне па“... Е илъ бувé, — вставляетъ онъ неожиданно.

— Où as-tu lu cela? réponds, triple animal! où as-tu lu, que Pierre-le-Grand, ce monarque des monarques, buvait?

— Се листоаръ, господинъ Менуетъ.

— „Се листоаръ“?—передразниваетъ monsieur Menuet:— et si par extraordinaire l'on te donnait la verge aujourd'hui, au lieu de samedi, ça serait une autre histoire, triste idiot, va! Eh bien. voyons! cite-moi les exemples du § 52! „Que prenez-vous le matin?“

„Палачъ“ оживляется; онъ почти не смотритъ въ книгу и довольно правильно рапортуетъ:

— „Же пранъ юнъ тассъ де те у де кафе авекъ дю ненъ бланъ: ле суаръ же манжъ юнъ транпъ де во у де бефъ у де мутонъ!“

— Comme il y va! il sent bien qu'il s'agit de manger, l'animal! Mais achève, donc, achève; imbécile infect et vénimeux! Dis: „je vous remercie, madame, j'ai tant mangé que je n'ai plus faim!“

— Же фенъ.

— Ah, tu as faim, vieux tonneau fêlé, impossible à emplir! tu as faim, hyppopothâme plain d'âge! Va donc te mettre à genoux. exécrable ganâche! Nous verrons, si de cette manière-là tu parviendras à te rassasier!

„Палачъ“, не торопясь. встаетъ съ мѣста. проходитъ мимо скамей, при общемъ смѣхѣ товарищей, и становится на колѣни, ворча сквозь зубы:

— Вы всегда меня, господинъ Менуетъ, притѣсняете!

Даже законоучитель-батюшка, и тотъ считаетъ своимъ долгомъ слегка поковырять въ Хмыловѣ, или, какъ онъ выражался, „измѣрить глубины сего океана праздполюбія“. А потому, обладая особливымъ даромъ прозорливства. онъ всегда огорашивалъ „палача“ слѣдующимъ вопросомъ:

— А ну-те, кто изъ васъ здѣсь дубиной прозывается? Вставай, дубъ младый, сказывай, что̀ есть адъ?

Хмыловъ вставалъ и безъ запинки отчеканивалъ:

— Карцеръ есть слово греческое, и означаетъ мѣсто темное, преисполненное клопами, у дверей коего дремлетъ сторожъ Мазилка!

— Такъ, младый дубъ, такъ. Спасибо, хоть самъ себѣ резолюцію прочиталъ...

Иди жъ, душа, во адъ и буди вѣчно плѣнна...

спрѣчь, изволь идти въ карцеръ...

И „палачъ", нимало не прекословя, складывалъ тетрадки, дабы благополучно послѣдовать въ карцеръ.

Только однажды, когда учитель-нѣмецъ по обыкновенію обратился къ нему:

— Also doch, unnützer palatsch Khmiloff...

„Палачъ" вдругъ пустилъ ему въ упоръ:

— Колбаса!

Но и тутъ сейчасъ же струсилъ и безусловно сдался въ плѣнъ надзирателю, заточившему его на недѣлю въ карцеръ.

Даже дядьки — и тѣ терпѣть не могли „палача", такъ что когда онъ, послѣ обѣда или ужина, приходилъ въ буфетную, чтобы поживиться остатками отъ общей трапезы, то они всегда гнали его отъ себя, говоря: „Видно, мало награбилъ у учениковъ? къ дядькамъ грабить пришелъ!"

Родомъ „палачъ" былъ изъ Орловской губерніи, и не безъ гордости говаривалъ: „Мы, орловцы — проломленныя головы", или: „Орелъ да Кромы — первые воры!" Отецъ его считался въ числѣ лицъ, „почтённыхъ довѣріемъ господъ дворянъ", то-есть служилъ исправникомъ, и, вслѣдствіе непреоборимой горячности своего нрава, почти никогда не выходилъ изъ-подъ суда. Но даже и для этого закаленнаго въ суровой школѣ уголовной палаты человѣка Максимка представлялъ что-то феноменальное. Поэтому, когда онъ привезъ „палача" въ заведеніе, то слѣдующимъ образомъ отрекомендовалъ его инспектору классовъ:

— Откровенно вамъ доложу, Василій Ипатычъ, это такой негодяй... такой негодяй... ну, знаете, такой негодяй, какихъ днемъ съ огнемъ поискать! Бился я съ нимъ, хотѣлъ отдать въ нудретное за-

веденіе, да по дворянству стыдно! Дворянинъ-съ. А потому, ежели желаете оказать ему благодѣяніе—дерите! Спорить и прекословить не буду. Мало одной шкуры, спустите двѣ. А въ удостовѣреніе представляю при семъ въ презентъ сто рублей.

— Я учиться не стану! воля ваша!—угрюмо проговорилъ „палачъ“, стоявшій тутъ же въ сторонкѣ и вслушивавшійся въ рекомендацію отца.

— Слышали-съ? Изволили слышать, какое это золото! Дерите-съ, сдѣлайте милость, дерите-съ!—убѣждалъ отецъ инспектора, и затѣмъ, обращаясь къ сыну, присовокупилъ:—А тебѣ, балбесъ, повторяю: если ты сто лѣтъ въ первомъ классѣ просидишь—я и тогда не возьму тебя изъ заведенія! Сто лѣтъ буду за тебя деньги платить, а домой—ни-ни! Такъ тутъ и околѣвай!

Хмыловъ былъ принятъ, и, быть можетъ, благодаря сторублевой рекомендаціи и ежегоднымъ присылкамъ живностью и домашними припасами, не былъ изгоняемъ изъ заведенія (въ то время еще не существовало правила, въ силу котораго больше двухъ лѣтъ въ одномъ и томъ же классѣ оставаться нельзя). Но съ тѣхъ поръ какъ „палачъ“ поступилъ въ заведеніе, никто изъ родныхъ никогда не посѣтилъ его, такъ что онъ казался совсѣмъ забытымъ. Денегъ ему тоже никогда не присылали, а такъ какъ казенная пища была совершенно недостаточна для питанія его мощнаго организма, то онъ всегда былъ голоденъ.

Чтобы наполнить желудокъ, онъ прибѣгалъ или къ обложенію товарищей произвольными данями, или къ грабежу. Система даней заключалась въ томъ, что онъ заказывалъ тремъ-четыремъ ученикамъ (обыкновенно выбирая самыхъ робкихъ): кому полбулки, кому бутербродъ съ мясомъ.

— Слыхалъ я,—говорилъ онъ:—что бутерброды дѣлаются такимъ образомъ: взявъ два куска хлѣба, положить ихъ одинъ на другой, а по срединѣ помѣстить кусокъ жареной говядины...

Или:

— Другіе за булку даютъ два листа бумаги, а я беру только полбулки и не даю ничего...

И былъ увѣренъ, что у него будетъ столько полбулокъ и бутербродовъ, сколько онъ пожелаетъ.

Система грабежа заключалась въ томъ, что въ пріемные дни,

когда воспитанниковъ посѣщали родные, „палачъ“ становился у дверей пріемной комнаты и съ волненіемъ прислушивался и приглядывался въ замочную скважину. По формѣ передаваемыхъ пакетовъ онъ угадывалъ о ихъ содержаніи, и затѣмъ, какъ хищный звѣрь въ клѣткѣ, начиналъ безпокойно метаться по коридору, ведущему изъ пріемной въ классъ. Ученики знали этотъ обычай и безъ пререканій вынимали—кто пирогъ, кто яблоко, кто горсть орѣховъ—и отдавали „палачу“. Въ эти минуты онъ былъ почти ласковъ. Онъ собиралъ дани въ громадный бумажный тюрикъ и по окончаніи грабежа отправлялся въ классъ на заднюю скамейку, гдѣ онъ имѣлъ постоянное пребываніе, и которая поэтому называлась „палачовскою“. Тамъ онъ раскладывалъ награбленное добро, разсортировывалъ его и затѣмъ начиналъ истреблять.

— Господа! „Палачъ“ жретъ!—раздавалось по классу.

Это былъ самый ненавистный для него крикъ, потому что вслѣдъ за тѣмъ мальчишки, какъ бѣсенята, вскарабкивались на скамейки, подбѣгали къ „палачовской“, бросали въ „палача“ пескомъ и кипгами, и вообще старались всячески портить „палачовъ кормъ“. „Палачъ“ огрызался и рычалъ, но не рѣшался оставить мѣсто, потому что по опыту зналъ, что если онъ хоть на минуту погонится за кѣмъ-нибудь изъ своихъ мучителей, то кормъ его будетъ мгновенно расхищенъ. Поэтому онъ старался какъ можно скорѣе уничтожить награбленное, и когда процессъ истребленія приходилъ къ концу—отяжелѣвалъ. Въ такихъ случаяхъ онъ бокомъ садился на лавкѣ и исподловѣлыми глазами смотрѣлъ въ упоръ на разсѣявшуюся мелюзгу, улыбаясь, барабаня пальцами по конторкѣ и какъ бы говоря: а ну-те, не угодно ли будетъ пристать ко мнѣ теперь!

По субботамъ „палача“ сѣкли. Въ заведеніи, гдѣ онъ воспитывался, существовало насчетъ этого очень своеобразное обыкновеніе. Каждую субботу, послѣ всенощной, учениковъ строили въ два ряда по бокамъ рекреаціонной залы, и затѣмъ, по воцареніи гробовой тишины, инспекторъ классовъ громкимъ и яснымъ голосомъ вызывалъ на середину тѣхъ, которые получили въ теченіе недѣли извѣстное число нулей.

— Господинъ Хмыловъ!—обыкновенно начиналъ инспекторъ.

Хмыловъ выходилъ и исподлобья высматривалъ, какой урядникъ будетъ сѣчь, Кочуринъ или Кунцовъ, такъ какъ Кочуринъ сѣкъ

больно, а Кущовъ—нестерпимо. Сообразно съ этимъ онъ возвышалъ или понижалъ температуру своего духа и затѣмъ, молча перекрестясь, ложился на скамейку.

— Шестьдесятъ!—командовалъ инспекторъ.

— Василій Ипатычъ, не приказывайте держать!—уже лежа, обращался къ нему Хмыловъ.

— Дядьки! оставить господина Хмылова лежать свободно!

— Ж-ж-ж-и-и!—раздавалось въ воздухѣ.

Хмыловъ лежалъ вольно и не пускалъ ни единаго стона. Иногда онъ закусывалъ губу и съ ожесточеніемъ царапалъ себѣ грудь, чтобы нейтрализировать одну боль посредствомъ другой. Когда отсчитывали послѣдній, шестидесятый ударъ, онъ проворно соскакивалъ со скамейки и, какъ ни въ чемъ не бывало, принимался натаскивать на себя нижнее платье.

Между учениками ходила легенда, будто „Танька, ростокинская разбойница“, еще въ дѣтствѣ выкупала „палача“ въ какомъ-то болотѣ, въ мертвой водѣ, и съ тѣхъ поръ палачево тѣло сдѣлалось твердо какъ чугунъ.

Но въ одну изъ субботъ совершилось нѣчто совсѣмъ непредвидѣнное. Инспекторъ классовъ, сдѣлавъ обычный парадъ, вдругъ, сверхъ всякаго чаянія, объявилъ:

— Въ теченіе цѣлой недѣли господинъ Хмыловъ получилъ только одинъ нуль, и потому сѣченъ сегодня не будетъ. Во вниманіе къ столь очевидному знаку милосердія Божія, всѣмъ лѣнтямъ, съ разрѣшенія господина директора, объявляется на сей разъ прощеніе! Господа! будьте признательны господину Хмылову.

„Палачъ“ вдругъ сдѣлался героемъ дня. Его окружили и поздравляли со всѣхъ сторонъ, но онъ казался скорѣе сконфуженнымъ, нежели обрадованнымъ. Удивленно озирался онъ по сторонамъ и очевидно недоумѣвалъ, серьезно ли его поздравляютъ, или нѣтъ. И сомнѣнія его были далеко не безосновательны, потому что поздравленія съ каждой минутой дѣлались шумнѣе и шумнѣе, и наконецъ превратились въ явное приставанье.

— Палачъ! палачъ!—раздавалось со всѣхъ сторонъ.

И черезъ минуту Хмыловъ, съ налитыми кровью глазами, уже бѣжалъ безъ памяти по коридору, преслѣдуемый криками безпощадной мелюзги.

У „палача“ былъ только одинъ другъ — „Агашка“.

Судя по кличкѣ, можно было предположить въ этомъ юношѣ что-нибудь женственное, но въ дѣйствительности было совершенно противное. „Агашка“ былъ рослый дѣтина, столь же сильный, какъ „палачъ“, и въ то же время безусловно безобразный. Круглое, плоское и скуластое лицо его, снабженное маленькими глазками, широкимъ ртомъ и мясистымъ носомъ съ раздувающимися ноздрями и почти безъ переносицы, было до такой степени оригинально, что сразу вызывало потребность окрестить обладателя этихъ сокровищъ какимъ-нибудь прозвищемъ. И вотъ, когда онъ въ первый разъ вошелъ новичкомъ въ классъ, одинъ изъ учениковъ, взглянувъ на него, крикнулъ: „Господа! Агашка пришла!“ И, должно быть, прозвище попало мѣтко, потому что съ тѣхъ поръ новичокъ такъ и пошелъ гулять съ нимъ по заведенію.

Настоящая фамилія „Агашки“ была Голопятовъ, а родомъ онъ былъ изъ мелкопомѣстныхъ дворянъ той же Орловской губерніи, откуда происходилъ и „палачъ“. Это было первымъ поводомъ для сближенія между ними.

Однажды, по окончаніи классовъ, встрѣтившись съ Голопятовымъ въ коридорѣ, „палачъ“ первый подошелъ къ нему.

— Вы откуда?—спросилъ онъ его.

— Орловской губерніи Мценскаго уѣзда.

— Значитъ, Амченина къ намъ на дворъ... такъ?

— Пожалуй.

— Ну, а я Кромской. Орелъ да Кромы—первые воры. Будемъ знакомы.

Вторымъ поводомъ къ дружбѣ была физическая сила, которою несомнѣнно обладалъ „Агашка“. До поступленія его, „палачъ“ чувствовалъ себя одинокимъ: теперь онъ получилъ возможность тягаться, бороться и вообще производить всяческіе эксперименты силы. Какъ только звонокъ возвѣщалъ рекреацію, оба спѣшили въ залъ и вступали въ единоборство. „Агашка“ былъ простъ, и потому бился чисто, такъ сказать, первобытно; „палачъ“ былъ лукавъ, и потому увертывался, извивался, пользовался слабыми сторонами противника и прибѣгалъ къ подножкамъ. Поэтому первый былъ почти всегда побѣждаемъ, но второй все-таки понималъ, что неровенъ случай, и „Агашка“ можетъ искалѣчить его. Уставши бороться, они ходили

взадъ и впередъ по коррндору, разговаривая о силѣ, приводя примѣры силы и предаваясь самому фантастическому лганью по поводу силы.

— У меня дядя телѣгу за колесо на всемъ скаку останавливаетъ!—хвастался „Агашка“.

— А у меня былъ прадѣдушка, такъ тотъ однажды у черкасскаго быка рогъ изо лба вывернулъ!—отзывался „палачъ“.—Да онъ и фальшивую монету дѣлалъ,—прибавлялъ онъ совсѣмъ неожиданно.

Когда и этотъ разговоръ истощался, они молча сравнивали свои кулаки: и тотъ и другой выставитъ кулакъ, и мѣряются.

— Только у меня, братъ, костистѣе,—молвитъ „палачъ“:—мой кулакъ настоящій... сухой!

— Ну, братъ, и моимъ можно душу изъ оглоблей вышибить!—возразитъ „Агашка“.

И опять начнутъ молча ходить, покуда опять придетъ охота мѣрять кулаки.

Иногда разговоръ разнообразился.

— Ты какъ полагаешь, Хмыловъ?—спроситъ Агашка:—кто шибче деретъ, Кочуринъ или Купцовъ?

— Кочуринъ шибче, Купцовъ больнѣй. У Кочурина рука вольная, и сердце играетъ; у Купцова рука словно какъ не своя, да и деретъ онъ словно какъ не самъ. Кочуринъ до тридцати ударовъ рубцы только кладетъ, а Купцовъ съ перваго удара кожу просѣкаетъ. Купцова я боюсь.

— Да, это такъ; Купцовъ—это я тебѣ скажу...

— Нѣтъ, прошлаго года, какъ-то разъ оба урядника больны или въ отлучкѣ были, такъ меня, вмѣсто ихъ, ламповщикъ дралъ... вотъ, я тебѣ скажу, дралъ!

— Больно?

— Шкуру спустилъ! Довольно тебѣ сказать, что даже я обезумѣлъ! Какъ только это шестьдесятъ сосчитали. такъ я, самъ уже не помню какъ, при всѣхъ и при инспекторѣ, сейчасъ ему въ зубы!

Молчаніе.

— Гм... Нѣтъ, вотъ на площади. должно быть, дерутъ!—задумчиво молвитъ „Агашка“.

Опять молчаніе.

— Слыхалъ я, что средство есть,—опять молвитъ „Агашка“.

— Это масломъ натираться? Пробовалъ я.

— Лучше?

— Оно, конечно... какъ не лучше! Скользитъ! Да только инспекторъ-шельма сейчасъ же разсмотрѣлъ—такъ и сыгралъ я въ ничью. Нѣтъ, да это что! хорошо бы вотъ въ юнкера поступить!

— Да, дранья-то бы не было!

— Въ юнкерахъ-то! Что ты! опомнись! да тамъ такъ дерутъ... такъ дерутъ! А ужъ какъ бы начальство осталось довольно? То-есть, скажи только: жги! рви! ну, то-есть, такъ бы...

По временамъ друзья подходили къ уряднику Кочурину, который черезъ день дежурилъ въ корридорѣ.

— А что, Кочуринъ, твоя, что-ли, очередь драть въ слѣдующую субботу?—интересовался „палачъ“.

— Моя.

— То-то; ты, братъ, не очень!

— Расшибу—ничего!

— Нѣтъ, братъ, я тебѣ говорю, ты не очень! потому, братъ, я и самъ... я, братъ, и въ зубы...

По воскресеньямъ друзья чувствовали какую-то особливую, бѣшеную скуку. Оба были забыты родственниками, оба никуда не выходили изъ стѣнъ заведенія. Наборовшись досыта, пересказавши другъ другу всевозможные анекдоты о силѣ, они начинали придумывать, какъ бы уразнообразить день.

— Косушку надо,—рѣшалъ „палачъ“.

— Можно бы и политофъ, только деньги какъ? Слимонить нынче трудно: начали, подлецы, запирать.

— Вотъ я намедни грамматику Цумита нашелъ,—развѣ ее въ мытье снести?

— Ладно. Валяй, Хмыловъ, къ Кольчугину! А коли еще Евтропія на придачу захватишь—два двугривенныхъ...это какъ калачъ!

„Палачъ“ перелѣзаетъ черезъ ограду сада и въ одной курткѣ, безъ шапки, бѣжитъ вонъ изъ заведенія. Черезъ часъ друзья уже пріютились гдѣ-нибудь въ темномъ углу, распиваютъ сивуху и заѣдаютъ ее колбасой.

— Ты больше ѣшь, Голопятовъ,—уговариваетъ „палачъ“:—потому ежели теперича пить да не ѣсть—бѣда!

— Да, это такъ, при винѣ безъ ѣды нельзя! — отвѣчаетъ „Агашка“.—У меня тоже дядя былъ, такъ тотъ ничего не ѣлъ, только развѣ маленькій кусочекъ хлѣба съ солью, а все пилъ, все пилъ, такъ повѣришь ли, подъ конецъ онъ словно ртутью налитой сдѣлался! Руки дрожатъ, голова мотается... страсть!

Черезъ два часа оба спятъ какъ убитые, растянувшись на лавкѣ.

Однажды въ годъ, передъ каникулами, за „палачомъ“ пріѣзжалъ разсыльный изъ земскаго суда, въ кибиткѣ, запряженной парою тощихъ обывательскихъ лошадей. Ученики чутьемъ угадывали этотъ пріѣздъ, и черезъ минуту разсыльнаго уже со всѣхъ сторонъ обступала мелюзга.

— За палачомъ пріѣхалъ?

— Танька, ростокинская разбойница, жива?

— Въ какомъ лѣсу вы нынче на промыселъ выходите?

Разсыльный таращилъ глаза, не понимая сыплющихся на него вопросовъ.

— За кѣмъ ты пріѣхалъ?—переспрашивалъ его кто-нибудь вновь.

— За барченкомъ, за Максимомъ Петровичемъ.

— Ну, онъ самый—палачъ и есть. А отецъ у него тоже палачъ? И мать—палачиха?

Такого рода сцены повергали Хмылова въ неописанное волненіе. Онъ за нѣсколько недѣль начиналъ готовиться къ нимъ и старался устроить какъ-нибудь такъ, чтобы выскользнуть изъ заведенія незамѣченнымъ. Но это никогда ему не удавалось, благодаря неповоротливости разсыльнаго и прозорливости учениковъ. Сконфуженный, выходилъ онъ въ швейцарскую и, бросая направо и налѣво тревожные взоры, спѣшилъ какъ можно скорѣе юркнуть на улицу.

— Палачъ!—кричали ему вслѣдъ.

Кибитка, покачиваясь и подскакивая по мостовой, трускомъ удаляется отъ стѣнъ заведенія и, наконецъ, совсѣмъ выѣзжаетъ изъ Москвы. Очутившись за городомъ, Хмыловъ поспѣшно снимаетъ съ себя куртку, съ наслажденіемъ вдыхаетъ зараженный воздухъ заставы и жадно вглядывается въ безконечно вьющуюся впереди ленту большой дороги.

— Ишь ты, дорога-то!—говоритъ онъ.

— Да...большая!—отзывается съ облучка разсыльный:—а по-

зволь, Максимъ Петровичъ, узнать, за что они тебя палачомъ обзываютъ?

— Такъ... подлецы... не знаютъ сами... Жрать хочу... денегъ нѣтъ... грабить долженъ!—безсвязно бормочетъ „палачъ“. и въ голосѣ его слышится несвойственное ему дрожаніе.

„Палачъ“ отворачивается и глядитъ въ сторону. Въ эту минуту его ненавистное прозвище жжетъ его.

— Какой я палачъ, Сергѣичъ!—наконецъ произноситъ онъ:—я волкъ—вотъ что!

— Ужъ будто и волкъ?

— Да, волкъ. Голоденъ... всегда... вотъ какъ волкъ... ну, и травятъ!

Сергѣичъ задумчиво покачиваетъ головой.

— А ты бы, сударь, не все грабежомъ.—говоритъ онъ:—а иногда и лаской. Вотъ папеньку-то за грабежъ поиѣ подъ судъ отдали!

— Врешь?

— Всѣхъ отдали подъ судъ: и папеньку, и дяденьку Софрона Матвѣича. Софронъ-то Матвѣичъ, сказываютъ, такихъ дѣловъ надѣлалъ, что и каторги-то ему, слышь, мало.

— Вре-ешь?

Лицо Хмылова оживляется и свѣтлѣетъ. Выраженіе этого лица какъ будто говоритъ: ай-да молодцы... Хмыловскіе!

— Вѣрно говорю,—продолжаетъ Сергѣичъ.—Теперича изъ губерніи цѣлый капалъ пріѣхалъ Софрона-то Матвѣича судить. Такъ онъ передъ ними, передъ чиновниками-то, словно вьюнъ на сковородѣ—такъ и пляшетъ!

— Врешь! не станетъ дядя подличать! На каторгу, такъ на каторгу! Развѣ на каторгѣ не тѣ же люди живутъ? Вотъ я хоть сейчасъ... что же!

„Палачъ“ задумывается; въ воображеніи его рисуется „нижегородка“, этапная тюрьма, конвой, угрюмыя лица арестантовъ. и среди нихъ онъ, звенящій кандалами и наручниками...

— Ну что, а Маришка какъ?—спрашиваетъ онъ, выходя изъ задумчивости.

— Маришку бросить надо—вотъ что. Она нынѣче и легла и встала—все съ Ѳедькой поваромъ!

— Ишь подлая!... А Микешка-фалетуръ?

— Микешкѣ баринъ намеднись сказалъ, что только ему и озоровать, что до перваго набора!

— Вре-ешь?

Черезъ шесть часовъ обывательскія лошаденки кой-какъ дотаскиваютъ путешественниковъ до Подольска, гдѣ назначенъ первый роздыхъ. Сергѣичъ суетится около кибитки, вытаскивая изъ-подъ сѣна кулекъ съ залежавшеюся домашней провизіей. „Палачъ“ усматриваетъ между тѣмъ висящій на гвоздикѣ у облучка Сергѣичевъ кисетъ съ махоркой и потихоньку высыпаетъ изъ него трубки на двѣ табаку.

— Что-жъ ты не спросишь, здоровы ли папенька съ маменькой? —укоризненно говоритъ ему Сергѣичъ на постояломъ дворѣ, гдѣ Хмыловъ успѣлъ ужъ расположиться подъ образами и съ жадностью оплетаетъ жареную курицу.

— А ну ихъ! денегъ не даютъ!

Черезъ четверть часа онъ стоитъ подъ навѣсомъ постоялаго двора и цѣлится камнемъ въ курицу, копающуюся въ навозѣ.

Курица испускаетъ неистовое кудахтанье и, отчаянно хлопая крыльями, убѣгаетъ.

Въ прежнія времена небогатые помѣщики, при выборѣ усадебной осѣдлости, руководствовались слѣдующими соображеніями: во-первыхъ, чтобы церковь стояла передъ глазами, а во-вторыхъ, чтобы мужикъ всегда подъ руками былъ. Отгородитъ помѣщикъ поопросторнѣе мѣстечко въ ряду съ крестьянскими избами (большей частью въ низинкѣ, чтобъ зимой теплѣе было) и складетъ тамъ домъ не домъ, берлогу не берлогу, вообще что-то такое, что зимой заноситъ снѣгомъ, а лѣтомъ чуть-чуть видѣется изъ-за тына. Потомъ спереди разведетъ палисадникъ, въ которомъ не то что гулять, а повернуться негдѣ, а сзади и по бокамъ настроитъ людскихъ, да застольныхъ, да амбарушекъ, да клѣтушекъ—и пойдетъ этотъ нескладный сбродъ строеній чернѣть и ветшать, подъ вліяніемъ времени и непогодъ, да наполняться грязью, навозомъ и вонью. Ни сада, ни воды, ни даже просто дали передъ глазами. Только и вида, что церковь, спротливо стоящая посреди площади, да направо и налѣво рядъ по-

косившихся крестьянскихъ избъ, раздѣляемыхъ улицей, на которой отъ навоза и грязи проѣзда нѣтъ. За то баринъ знаетъ, что въ какой избѣ дѣлается, что говорится, какой мужикъ по болѣзни не выходитъ на барщину, какой отлыниваетъ, у кого отелилась корова, что принесла и т. д.

Такого именно сорта была усадьба Петра Матвѣича Хмылова, стоявшая на самой серединѣ небольшого села Вавилова. Тутъ все было пригнано къ общему типу помѣщичьихъ усадьбъ средней руки: и почернѣвшій одноэтажный домъ съ подслѣповатыми окнами и ветхою крышей, и классическій палисадникъ, и великое множество клѣтушекъ, въ которыхъ десятками лѣтъ скоплялся и сберегался никому ненужный хламъ. Внутри дома—дрожащія половицы, стѣны, оклеенныя побѣлепой газетной бумагой, мебель, на которой жутко сидѣть, и великое изобиліе бутылей съ настойками и наливками, разставленныхъ по окнамъ. Внѣ дома—отсутствіе воды, тѣни, всего, на чемъ могъ бы отдохнуть глазъ. Куда ни взглянешь—вездѣ навозъ и грязь. Даже прудъ, выкопанный въ сторонѣ на площади,—и тотъ покрытъ плесенью и пухомъ домашней птицы, а по берегамъ до безобразія изрытъ и загаженъ.

Въ усадьбѣ Петра Матвѣича живутъ три поколѣнія. Онъ самъ съ женою Ариной Тимофеевной, два сына подростка (независимо отъ „палача“, съ которымъ мы ужъ познакомились) и старый дѣдушка Матвѣй Никанорычъ. Братецъ Софронъ Матвѣичъ владѣетъ собственной усадьбой, стоящей на той же площади, въ нѣсколькихъ десяткахъ саженей отъ главной усадьбы.

Дѣдушкѣ за восемьдесятъ лѣтъ; онъ совсѣмъ выжилъ изъ ума и помнитъ одно слово: „рви“! Лѣтъ двадцать назадъ (въ концѣ двадцатыхъ годовъ) онъ сотворилъ какую-то совершенно неслыханную штуку, за которую быть бы ему на каторгѣ, еслибъ добрые люди не надоумили его сказаться умершимъ. Вздумано-сдѣлано; добыли форменное свидѣтельство, что такого-то числа и года боярин Матвѣй Никаноровъ Хмыловъ волею Божіей помре, представили документъ въ уголовную палату—и живетъ съ тѣхъ поръ старикъ, въ видѣ контрабанды, на усадьбѣ у старшаго сына Петра Матвѣича.

Дѣдушка, несмотря на преклонныя лѣта, старикъ бодрый и блажной. Взамѣнъ потухшаго ума, въ немъ развилась назойливая проказливость, которая никому не дастъ покоя. Съ утра до вечера

онъ неутомимо шныритъ изъ комнаты въ комнату, тутъ отдеретъ отъ стѣны кусокъ обоевъ, тамъ—обмажетъ мебель грязью или жованнымъ хлѣбомъ. И все время неумолкаемо бормочетъ и свиститъ. „Согрѣшили мы!“—говоритъ, глядя на него, Арина Тимоѳеевна, и съ какою-то безнадежностью ждетъ, что вотъ-вотъ онъ или домъ подожжетъ, или битаго стекла въ наливку насыплетъ, или дѣвкѣ Маришкѣ глаза пескомъ засоритъ. Но домашніе не рѣшаются поступать съ нимъ круто, потому что подозрѣваютъ, что у него есть значительный кушъ, который онъ припряталъ въ то время, когда рѣшился сказаться умершимъ. Куда онъ спряталъ свое имущество—этого, несмотря на всѣ старанія, никто допскаться не можетъ, но загадочнось нѣкоторыхъ поступковъ полупомѣшаннаго старика даетъ полный поводъ предполагать, что дѣйствительно старикъ что-то скрываетъ. По временамъ онъ исчезаетъ куда-то, словно сквозь землю проваливается, и всегда неожиданно, сюрпризомъ. Едва успѣютъ хватиться старика, а онъ ужъ опять тутъ какъ тутъ, откуда-то возвращается и знай себѣ бормочетъ да посвистываетъ. Все это, разумѣется, интриговало и даже мучило домашнихъ, и Петръ Матвѣичъ, который даже въ пьяномъ видѣ не переставалъ быть почтительнымъ сыномъ, не разъ приступалъ къ отцу съ объясненіями по этому предмету.

— Откройтесь!—говорилъ онъ:—откройтесь, добрый другъ папенька! снимите съ души вашей тяжкій грѣхъ!

Но старикъ безсмысленно смотрѣлъ на него и бормоталъ:

— Рви... самъ... самъ... самъ рви!

Пробовалъ заводить рѣчь объ этой матеріи и Софронъ Матвѣичъ: этотъ старался подѣйствовать на воображеніе старика не столько почтительностью, сколько угрозою.

— Папенька!—говорилъ онъ:—вѣдь ежели теперича допросить васъ какъ слѣдуетъ—вѣдь вы скажете-съ! какъ святъ Богъ, скажете-съ!

Но на это увѣщаніе старикъ даже не произносилъ своего любимаго слова „рви“, а только слегка вздрагивалъ и измѣнялся въ лицѣ. Быть можетъ, онъ смутно догадывался, что Софронъ Матвѣичъ принадлежитъ къ числу тѣхъ людей, которые, разъ рѣшивъ въ умѣ своемъ предпріятіе, ни надъ чѣмъ не задумаются, чтобъ достигнуть его осуществленія.

Наконецъ, прибѣгали и къ третьему способу: заставляли дѣтей слѣдить за старикомъ. И дѣйствительно, младшему сыну, Ванѣ, чуть-чуть не удалось напасть на слѣдъ. Однажды онъ подсмотрѣлъ, какъ дѣдушка вышелъ изъ дома, какъ онъ перешелъ черезъ дворъ, и потомъ, согнувшись и подобравши полы халата, сталъ куда-то прокрадываться позади скотныхъ избъ. Но покуда маленькій шпіонъ раздумывалъ, не лечь ли ему на брюхо, чтобъ ловчѣе подползти къ старику, послѣдній точно чутьемъ догадался, что за нимъ слѣдятъ. Онъ внезапно выпрямился во весь ростъ, какъ ни въ чемъ не бывало повернулъ назадъ и, поровнявшись съ внукомъ, поднялъ его за плечи на воздухъ...

Съ тѣхъ поръ дѣдушку оставили въ покоѣ и съ какимъ-то тупымъ недоумѣніемъ ожидали, что вотъ-вотъ или умретъ старикъ, или перемѣнятъ форму ассигнацій—и тогда шиши пропало. Софронъ Матвѣичъ съ особенной настойчивостью указывалъ брату на эти случайности.

— Покаетесь, братецъ, да поздно будетъ! — говорилъ онъ своимъ хнычущимъ, вкрадчивымъ голосомъ, звукъ котораго былъ до такой степени мучителенъ, что Арина Тимофеевна, несмотря на двадцать-пять лѣтъ жизни въ семействѣ Хмыловыхъ, не могла его слышать безъ того, чтобъ въ ней не упало сердце.

Петръ Матвѣичъ, вмѣсто отвѣта, какъ-то алчно вздрагивалъ и дико вращалъ глазами.

— Я самъ родителя моего чту,—продолжалъ между тѣмъ Софронъ Матвѣичъ: —каждый день, утромъ и вечеромъ, возношу сердце объ ихъ долголѣтіи. Однако, и за всѣмъ тѣмъ, съ своей стороны мнѣніемъ полагалъ бы, что ежели теперича, безъ ущерба для ихъ здравія, на время ихъ въ чуланъ запереть или, напримѣръ, въ нищѣ сокращеніе допустить...

Петръ Матвѣичъ, не дослушавъ до конца, вскакивалъ какъ ужаленный и съ простертыми длaнями устремлялся впередъ, самъ не зная куда.

— Куда ты? куда? на убійство собрался?—кричала ему вслѣдъ Арина Тимофеевна.—Пишь тебя „зуда“-то раззудилъ! И глаза, какъ у быка, кровью налились!

Но старикъ и самъ предупреждалъ возможность „убійства“. Почуявъ, что объ немъ идетъ рѣчь, онъ скрывался въ чуланъ, или на

сѣновалъ, или въ другое неприступное мѣсто, и оставался тамъ до тѣхъ поръ, пока наступившая въ домѣ тишина не удостовѣряла, что Софронъ Матвѣичъ ушелъ во-свояси, а Петръ Матвѣичъ, окончательно ошалѣлый отъ водки, заснулъ гдѣ-нибудь богатырскимъ сномъ.

Такъ шли дни за днями, и старикъ продолжалъ жить, оставаясь загадкой для цѣлаго семейства. Никто не могъ сказать навѣрное, въ умѣ ли онъ, или не въ разумѣ, а также при чемъ онъ состоитъ: при настоящемъ ли капиталѣ, заключающемся въ ассигнаціяхъ, или при кипѣ старой газетной бумаги, которую онъ, быть можетъ, и самъ принималъ за кипу ассигнацій.

Петра Матвѣича многіе разумѣли злымъ человѣкомъ, но, говоря по правдѣ, онъ былъ ни добръ, ни золъ, а только черезъ мѣру лихъ. Разсудка онъ не имѣлъ, но, несмотря на свои слишкомъ пятьдесятъ лѣтъ, обладалъ замѣчательно горячимъ темпераментомъ, которымъ и руководствовался во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ. Это была, такъ сказать, талантливая скотина, готовая бѣжать, летѣть въ огонь, въ воду, въ преисподнюю, бить, сокрушать, вездѣ, всегда, во всякое время, на всякомъ мѣстѣ. Только на небо влѣзть онъ не могъ, да и то потому, что, читая каждый день „иже еси на небеси“, полагалъ, что тамъ живетъ какое-то особенное, ужъ совсѣмъ высшее начальство, контролировать которое ему, исправнику, не по чину. Мѣстные помѣщики знали эту всегдашнюю готовность Хмылова и, говоря объ немъ, выражались такъ: „у насъ исправникъ лихой! онъ подтянетъ!“ И онъ дѣйствительно съ такою любовью предавался подтягиванію, что даже постояннаго мѣстожительства нигдѣ, кромѣ тарантаса, указать не могъ. Подобно буйному вихрю, рыскалъ онъ день и ночь по угламъ и закоулкамъ уѣзда, издалека грозясь нагайкою и собственноручно творя судъ и расправу. Онъ налеталъ, какъ орелъ изъ-за сизыхъ тучъ, и сѣкъ. Затѣмъ летѣлъ дальше, опять сѣкъ и опять летѣлъ дальше. Что такое сѣченіе? Какое ощущеніе вызываетъ оно въ истязуемомъ субъектѣ? Эти вопросы никогда не являлись его уму, потому что и самое сѣченіе было, въ его глазахъ, только обрядомъ, входящимъ въ кругъ его обязанностей, какъ исправника. Онъ зналъ, что въ однихъ случаяхъ нужно надѣть мундиръ, въ другихъ—сѣчь, и согласно съ этимъ располагалъ своими постушками. „Запорю!“ „въ гробъ заколочу!“ „въ бараній рогъ согну!“—таковъ былъ обычный способъ его собесѣдованія, и онъ произносилъ эти слова безъ сознательной злобы,

хотя голосъ его гремѣлъ какъ труба, глаза таращились и у рта показывалась пѣна. Онъ не понималъ, чтобъ исправникъ могъ говорить, не обрывая, не простирая рукъ и не сквернословя. Въ сквернословіи видѣлъ онъ почти обязательную формальность, соблюденіе которой влекло за собой для него названія: „молодецъ“ и „лихой“, несоблюденіе—названія: „мямля“, „тряпка“ и „баба“.

— Ужъ это, батюшка, должность такая,—объяснялъ онъ:—повѣсь-ка я на стѣну вотъ этотъ инструментъ (онъ указывалъ на нагайку)—голову на отсѣченіе отдаю, что черезъ два дня весь уѣздъ вверхъ ногами пойдетъ!

И дѣйствительно, никогда, даже дома, не выпускалъ нагайки изъ рукъ.

Взятку онъ любилъ, но никогда не подбирался къ ней, какъ татьвъ нощи, не сочинялъ предварительныхъ проектовъ насчетъ ея обрѣтенія, не каверзничалъ, а бралъ съ маху. И притомъ бралъ исключительно съ имущихъ, а неимущихъ только сѣкъ. Сѣченіе представляло, въ его глазахъ, прерогативу; взятка была лишь уступкой мамонѣ, дѣлаемой нерѣдко даже въ ущербъ прерогативъ. Поэтому онъ и взятку старался облечь въ форму грабежа. Нужно денегъ—летитъ на гуртовщика, потомъ летитъ на лѣсопромышленника, потомъ на содержателя крупчатной мельницы, и всегда беретъ безъ дѣла, безъ повода, здорово живешь. Нѣтъ нужды въ деньгахъ—оставляетъ толстосумовъ въ покоѣ, а неимущихъ продолжаетъ сѣчь. Иногда онъ выказывалъ даже замѣчательное безкорыстіе и дѣлалъ въ назначенныхъ къ полученію кушахъ значительныя и ничѣмъ не мотивируемыя сбавки. Но это допускалось лишь въ тѣхъ случаяхъ, когда паціенты льстили его самолюбію, то-есть говорили ему въ глаза, что онъ лихой, что онъ въ одномъ своемъ кулакѣ держитъ цѣлый уѣздъ, и что не будь его—имъ пришлось бы тошно. Толстосумы знали эту слабую струну исправника и пользовались ею.

— А я, сударь, былъ намедни въ Латышовѣ,—говоритъ, напримѣръ, промышленникъ, на котораго наложена сторублевая дань:—ну, и подивился-таки!

— А что?

— Шолковые стали съ тѣхъ поръ, какъ ручки-то вашей отвѣдали.

— То-то; васъ не подтяни—вы всѣ разбойниками будете!

— Что говорить! по нашемъ братѣ палка плачетъ—это вѣрно!

— Ну, чортъ съ тобой, давай пятидесятную... живо!

Благодаря этому обстоятельству, у него никогда не было лишнихъ денегъ, да и тѣ, которыя были, онъ любилъ пропить, прогулять и вообще разсорить болѣе или менѣе непроизводительнымъ образомъ.

— Я,—говорилъ онъ:—не то, что другіе; я съ народа беру, да въ народъ же и пущаю.

Водку онъ пилъ не запоемъ, но во всякое время и столь же много, какъ бы запоемъ. Поэтому, хотя онъ никогда не бывалъ окончательно и безобразно пьянъ, но постоянно находился въ туманѣ и никогда отчетливо не понималъ, куда тычетъ руками. Тамъ, гдѣ онъ „раскидывалъ свой шатеръ“, происходило одно изъ двухъ: либо съченье, либо гульба. Поэтому господа дворяне выражались, что онъ проживаетъ свои доходы какъ благородный человѣкъ, а толстосумы даже называли его душевнымъ человѣкомъ.

— У насъ исправникъ—душа человѣкъ!—говорили они:—онъ съ тебя возьметъ, да онъ же и за столъ рядомъ съ собою посадитъ!

Передъ начальствомъ Петръ Матвѣичъ трепеталъ. Но не просто трепеталъ, а любилъ трепетать, трепеталъ не только за страхъ, но и за совѣсть. Онъ страстно любилъ встрѣчать, провожать, устремляться, застывать на мѣстѣ, рапортовать, а потому всякій проѣздъ начальства, хотя бы и не совсѣмъ того вѣдомства, къ которому онъ принадлежалъ, былъ для него торжествомъ. Прознавъ о предстоящемъ „прослѣдованіи“ черезъ его уѣздъ, онъ заѣодя приходилъ въ волненіе, заготовлялъ квартиры, съѣлъ направо и налѣво мужицкіе зубы и даже прекращалъ на время употребленіе водки, такъ что самое лицо дѣлалось у него бѣлое. Подстерегши начальство, подъ дождемъ и морозомъ, на границѣ уѣзда, онъ вытягивался въ струну, замиралъ и рапортовалъ; потомъ кидался въ телѣгу и какъ бѣшеный скакалъ впередъ, оглашая воздухъ гиканьемъ.

— Мы, батюшка, передъ начальствомъ—все одно, что борзыя-съ,—говорилъ онъ:—прикажутъ: разорви!—и разорвемъ-съ!

И точно, слушая, какъ онъ говорилъ это, видя, какъ онъ вращалъ при этомъ глазами, и какъ лицо его становилось изъ краснаго фіолетовымъ и даже синеватымъ, невозможно было усомниться ни на минуту. Разорветъ.

Начальство знало это и хвалило Хмылова.

— Хмыловъ,—выражалось оно:—это лихой! этотъ подтянетъ!

Даже крестьянскіе мальчики, и тѣ, наслушавшись расточаемыхъ со всѣхъ сторонъ Хмылову похвальныхъ аттестацій, говорили:

— Вотъ погоди! ужо проѣдетъ исправникъ—онъ те подтянетъ!

Дома Петръ Матвѣичъ бывалъ только наѣздами, на сутки, на двое, не больше. Налетитъ, перевернетъ все и всѣхъ вверхъ дномъ—и опять исчезнетъ недѣли на двѣ. Онъ самъ охотно сознавался, что ничего не смыслитъ въ деревенскомъ хозяйствѣ, и ставилъ это себѣ не въ порокъ, а въ достоинство.

— Какой я деревенскій хозяинъ!—выражался онъ:—я хозяинъ уѣзда—вотъ я кто!

Поэтому, какъ бразды хозяйственнаго управленія, такъ и воспитаніе дѣтей онъ вполнѣ предоставилъ женѣ, требуя только, чтобы въ случаяхъ тѣлесной расправы съ дѣтьми она не сама распоряжалась, а доводила о томъ до его свѣдѣнія.

— Вы, бабы,—говорилъ онъ,—не сѣчете, а только мажете. А ихъ, разбойниковъ, надо такимъ манеромъ дошросить, чтобъ они всю жизнь памятовали.

И такъ какъ дѣти дѣйствительно росли разбойниками, то каждый налетъ Петра Матвѣича въ деревню неизмѣнно сопровождался экзекуціей. „Въ гробъ ракалій заколочу!“ „Запорю мерзавцевъ!“—вотъ единственныя проявленія родственныхъ отношеній, которыя были обычными въ этой семьѣ. Но опять-таки и здѣсь на первомъ планѣ стояла не сознательная жестокость, а обрядъ. Петръ Матвѣичъ помнилъ, что онъ и самъ росъ разбойникомъ, что его самого и запарывали, и въ гробъ заколачивали, и что все это, однакожъ, не помѣшало ему сдѣлаться „молодцомъ“. А слѣдовательно и дѣтямъ тѣ же пути не заказаны. Ростутъ, ростутъ разбойниками, а потомъ, глядишь, и сдѣлаются вдругъ „молодцами“.

Къ отцу Петръ Матвѣичъ относился довольно равнодушно. Хотя предположеніе о таинственномъ капиталѣ и волновало его, но волновало лишь потому, что этимъ капиталомъ всѣ домашніе мозолили ему глаза. Но старикъ былъ къ нему почти ласковъ и, повидимому, даже искалъ у него защиты противъ ехидства Софрона Матвѣича. Въ присутствіи старшаго сына дѣдушка прекращалъ свои проказы, переставалъ бормотать, свистать и наполнять домъ гамомъ. По временамъ

онъ даже останавливался передъ Петромъ Матвѣичемъ и съ какою-то непривычною ему задушевностью въ голосѣ произносилъ:

— Рви!

— Помилуйте, наденька, я свои обязанности очень знаю!— возражалъ на это Петръ Матвѣичъ.

Но старикъ оставался непреклоненъ и повторялъ:

— Рви! рви! рви!

Петръ Матвѣичъ на минуту задумывался, потомъ внезапно приказывалъ запрягать тарантасъ и летѣть на встрѣчу гурту.

Въ эти дни исправникъ былъ неумолимъ и грабилъ все, что̀ положено, не поддаваясь ни резонамъ, ни лести.

Анна Тимофеевна была женщина смирная, но отличалась тѣмъ, что даже въ домашнемъ обиходѣ никогда не могла съ точностью опредѣлить, чего ей хочется. Можетъ-быть поѣсть, можетъ-быть испить, а можетъ-быть и просто по двору побродить. Случилось это съ нею съ тѣхъ поръ, какъ Петръ Матвѣичъ (молодые еще они тогда были) однажды ударилъ ее подъ пьяную руку по темени.

— Какъ ударилъ онъ это меня по темю,—разсказывала она всегдашней своей собесѣдницѣ, попадьѣ,—такъ съ тѣхъ поръ и нѣтъ у меня понятія. Хочется чего-то, и сама вижу, что хочется, а чего хочется—не разберу.

Уже смолоду она была рохлей, а съ годами свойство это возросло въ ней до геркулесовыхъ столповъ. День-деньской она слоняется то по дому, то по двору, то по деревнѣ; тамъ подберетъ, тутъ погрозитъ, и все какъ-то безъ толку, словно въ пресонь. Идетъ невѣдомо куда, и такъ безнадежно смотритъ, какъ будто говоритъ: да уйдите вы, распостылые, съ моихъ глазъ долой! Потомъ на минуту встрепенется и примется „настоящимъ манеромъ“ хозяйничать. Старосту назоветъ кровопивцемъ, повара—воромъ, дѣвку Маришку—паскудою. Совершивши этотъ подвигъ, опять притихнетъ, сядетъ у окна, разстегнетъ у блузы воротъ и высматриваетъ, не прошмыгнетъ ли черезъ дворъ Маришка-поганка на кухню къ подлецу Ѳедькѣ.

— И то бѣжитъ! бѣжитъ!—вдругъ воскликаетъ она, стремительно вскакивая съ мѣста и съ какимъ-то жаднымъ любопытствомъ приглядываясь, какъ Маришка съ быстротою ящерицы скользитъ по двору, скользитъ и, наконецъ, проскальзываетъ въ отворенную дверь кухни.

Или вдругъ встревожится, отчего дѣтей долго не видать, а они ужъ тутъ какъ тутъ. Одного ведутъ за ухо, потому что у пѣтуха крыло камнемъ перешибъ; другой самъ бѣжитъ съ раскваченнымъ носомъ.

— Смерти на васъ нѣтъ!—крикомъ-крикнетъ Арина Тимоѳеевна, и тотчасъ же распорядится: одному дастъ щелчокъ въ лобъ, другому вихоръ надеретъ.

Такого рода хозяйственныя и воспитательныя распоряженія исчерпывали собой весь день. Затѣмъ вечера Арина Тимоѳеевна проводила въ обществѣ попадьи и жаловалась ей на судьбу.

— Нѣтъ моей жизни каторжнѣе!—говорила она:—всѣмъ-то я припаси! всѣмъ-то я приготовь! И курочку-то подай! и сунцу-то свари! все я! все я!

Попадья покачивала головой и бросала кругомъ суровые взгляды, какъ бы выражая неодобреніе домашнимъ, причиняющимъ столько тревоги Аринѣ Тимоѳеевнѣ.

— Сколько старикъ одинъ слопаетъ, такъ это Богъ только видитъ! Богъ только видитъ!— продолжала хозяйка, ударяя себя кулакомъ въ грудь:—словно у него не брюхо, а прорва! Такъ и кладетъ! такъ и кладетъ! Набѣгается это день-деньской по угламъ-то, да пуще, да пуще!

— Слыхала я, сударыня, насчетъ крестовъ, которые каждому человѣку при рожденіи назначаются...—вставляла свое слово попадья. Но Арина Тимоѳеевна не слушала ее и продолжала:

— И все-то мнѣ тошно! и все-то мнѣ постыло! Вотъ хоть бы Маришка-поганка. Такъ хвостомъ и вертитъ, такъ и вертитъ! Каково мнѣ это видѣть-то!

Жалобы лились какъ рѣка, до тѣхъ поръ, пока самъ собою не истощался несложный репертуаръ ихъ. Тогда Арина Тимоѳеевна прощалась съ попадьей, удалялась въ спальню и приносила Маришкѣ окончательную жалобу.

— Измучилась я съ вами, словно день-то кули ворочала. Теперь бы вотъ Богу помолиться—анъ у меня и словъ никакихъ на языкѣ нѣтъ. А завтра опять вставай! опять на муку мученскую выходи!

Еслибъ у Арины Тимоѳеевны спросили, любитъ ли она мужа, она навѣрное отвѣтила бы: „какъ не любить! вѣдь онъ мужъ!“ Еслибъ спросили, любитъ ли она дѣтей, она отвѣтила бы: „какъ не любить! вѣдь они дѣти!“

— Щемитъ мое сердце по нихъ! — говорила она: — такъ-то щемитъ! такъ-то ноетъ!

Но въ чемъ именно проявлялось это материнское щемленіе сердца —этого, конечно, не могъ бы опредѣлить мудрѣйшій изъ мудрецовъ. Иной разъ щемитъ сердце отъ того, что севрюжинки соленькой захотѣлось; иной разъ оттого, что квасу хорошо бы испить: иной разъ оттого, что вдругъ объ дѣтяхъ дума въ голову западетъ.

— Это у тебя все отъ праздности да отъ жиру!—молвитъ ей въ упоръ Петръ Матвѣичъ, когда она черезъ-чуръ разохается.

— Какъ же, съ жиру! дѣти-то, чай, мои! — огрызнется она. Потомъ на минуту смолкнетъ, и опять начнетъ у ней сердце щемить.

— Вотъ,—скажетъ:—хорошо, кабы у насъ домъ полная чаша былъ!

— Это еще что?

— Да такъ... все, чего ни потребуй, все бы сейчасъ... Яичка бы захотѣлось—яичко бы на столѣ! Говядинки... супцу... все бы сейчасъ, въ секундъ!

— Вотъ дуру-то Богъ послалъ!

— По твоему, я дура, а по моему, ты дуракъ. Чѣмъ ругаться-то, лучше бы отца допросилъ, куда онъ милліонъ свой спряталъ?

Среди фантазій, безпорядочно бродившихъ въ головѣ Арины Тимоѳеевны, мысль о томъ, что у дѣдушки есть какой-то кушъ, который онъ неизвѣстно куда запряталъ, въ особенности угнетала ее. Она носилась съ этой мыслью съ утра до вечера, ложилась съ нею спать и наконецъ даже бредила ею во снѣ. Начавъ съ одной тысячи, воображеніе постепенно увеличивало и увеличивало вожделѣнную сумму, и наконецъ остановилось на милліонномъ размѣрѣ. Дальше Арина Тимоѳеевна не умѣла считать.

— А ты вѣрно знаешь, что милліонъ?—спрашиваетъ ее Петръ Матвѣичъ.

— Какъ же не вѣрно! Сколько лѣтъ жилъ! сколько грабилъ!

— Ахъ, дура, дура!

— Ты умень! Другіе на такихъ мѣстахъ, поди, какіе капиталы наживаютъ, а онъ, блаженный, все двугривенничками да пятналтынничками, да и тѣ деревенскимъ дѣвкамъ просоритъ!

Разговоры эти обыкновенно кончались тѣмъ, что Петръ Матвѣичъ выскакивалъ изъ-за стола и приказывалъ закладывать тарантасъ.

Что могло сдѣлаться изъ дѣтей въ подобномъ семействѣ — это понятно само собой. Ужъ въ силу утвердившейся семейной номенклатуры, это были „пащенки“, „выродки“, „балбесы“ — и ничего больше. Росли они по-спартански, то-есть кувыркались по двору, лазили по деревьямъ, разоряли птичьи гнѣзда, дразнили козла, науськивали собакъ на кошку и по временамъ даже воровали. Съ малыхъ лѣтъ ихъ головы задумывались надъ тѣмъ, что хорошо бы въ кучера или въ разсыльные идти, да имѣть въ рукахъ нагайку ременную и хлестать ею направо и налѣво, „вотъ какъ папенька хлещетъ“.

— Какого имъ дьявола воспитанія!—говорила Арина Тимоѳеевна:—и такъ, балбесы, изходя жуютъ!

— Я ихъ воспитаю... а-р-р-р-аннкомъ!—прибавлялъ съ своей стороны Петръ Матвѣичъ.

На десятомъ году старшаго сына, Максимку (онъ же и „налачъ“), засадили за грамоту. Призвали сельскаго попа, дали мальчугану въ руки указку и положили передъ нимъ азбуку съ громаднѣйшими азами.

— Ты его, отецъ Василій, дери!—рекомендовалъ при этомъ Петръ Матвѣичъ:—вѣдь онъ у насъ идолъ!

И дѣйствительно, Максимка оправдывалъ это прозвище. Исподлобья смотрѣлъ онъ на классный столъ, словно упирающійся быкъ, котораго ведутъ подъ обухъ.

— Ишь вѣдь какъ смотритъ! чуетъ, пащенокъ, чѣмъ пахнетъ. Я тебя... воспитаю!

И началась для Максима та ежедневная мука, которая называется грамотою.

— Азъ-буки-вѣди, бря, вря, дря, жря,—мрачно твердилъ онъ по цѣлымъ часамъ, ковыряя въ носу и безцѣльно озираясь по сторонамъ.

— Ты въ книгу-то носъ утки! по сторонамъ то не глазѣй!—внушалъ отецъ Василій.

Максимка съ какимъ-то безконечно-скорбнымъ выраженіемъ въ лицѣ устремлялъ глаза въ книгу, какъ будто говорилъ: вотъ вещь, постылѣе которой нѣтъ ничего на свѣтѣ!

— Я, отецъ Василій, въ кучера хочу! — вдругъ произносилъ онъ.

— Вотъ выростешь—можетъ, и въ настухи опредѣлятъ!

— А по мнѣ, хоть въ пастухи! у меня тогда большой-большой жнутъ будетъ!

— Ладно. Это когда-то еще будетъ. А теперь тверди: ля, мря, ня... ну, что еще въ посу нашелъ?

— Ля, мря, ня,—угрюмо повторялъ Максимка:—а ежели я буду пастухомъ, зачѣмъ же мнѣ грамота?

— И пастуху нужна грамота. Грамотный-то и кнутомъ съ пониманіемъ хлещетъ.

— Врете вы все. Вонъ Антипка, у него болона на лбу, а какъ онъ кнутомъ щелкаетъ! Его всѣ коровы знаютъ.

По временамъ въ „ученье“ вмѣшивалась Арина Тимоѳеевна.

— Каковъ у насъ идолъ-то?—спрашивала она, зайдя въ классную комнату.

— Башка!—отвѣтствовалъ обыкновенно отецъ Василій, гладя Максимку по головѣ.

— Ну и слава-те, Господи! Можетъ, хоть одинъ съ разумомъ выйдетъ!

Въ два года Максимка выучился читать и писать, грамматику до глагола и первые четыре правила ариѳметики. Это такъ ободрило Арину Тимоѳеевну, что она начала даже заявлять желанія нѣсколько прихотливыя.

— Ты бы его, батюшка, языку-то тому выучилъ!—говорила она отцу Василію.

— Какому же, сударыня, языку?

— А вотъ тому-то, что не говоритъ-то! ну, вотъ, что мертвый-то!

— Латинскому? что-жъ... никакъ я его еще помню?

Но Петръ Матвѣичъ прямо назвалъ эти затѣи преувеличенными и объявилъ, что везетъ Максимку въ „заведеніе“. Будущій „палачъ“, услышавъ объ этомъ разрѣшеніи, даже повеселѣлъ.

— Да ты никакъ, балбесъ, обрадовался?—укоризненно замѣтила ему Арина Тимоѳеевна.

— Что жъ дома-то! дома тиранятъ и тамъ будутъ тиранить! такъ лучше ужъ тамъ! Я въ кучера убѣгу.

Максимка былъ сданъ въ „заведеніе и забытъ. Черезъ четыре года очередь „ученья“ стояла ужъ за Ѳедькой-разбойникомъ, а тамъ, глядп, поспѣвалъ и Ванька-воряга.

— Всѣхъ-то всему научи! всѣмъ-то всего припаси!—жаловалась Арина Тимоѳеевна.

Такова была картина, которую представляло семейство Хмыловыхъ. Но чтобы сдѣлать ее вполнѣ ясною, необходимо сказать хотьнѣсколько словъ о другомъ представителѣ этой фамиліи, о братцѣ Софронѣ Матвѣичѣ.

Софронъ Матвѣичъ былъ младшій братъ и представлялъ совершенную противоположность Петру Матвѣичу. Если въ основаніи всѣхъ поступковъ послѣдняго лежала необузданность темперамента, то въ характерѣ перваго преобладающей чертой являлась сознательная жестокость и какое-то неизреченное ехидство. Петръ Матвѣичъ буянилъ, дрался и шелъ на-проломъ; Софронъ Матвѣичъ каверзничалъ, извивался и зудилъ. Петръ Матвѣичъ имѣлъ голосъ рѣзкій, не уступавшій протодіаконскому, и способный разбудить самую сонную окрестность; Софронъ Матвѣичъ говорилъ тихо, вкрадчиво, словно хныкалъ. Когда Петръ Матвѣичъ говорилъ: „паненька! какъ почтительный сынъ убѣждаю васъ“... то исходъ рѣчи былъ неизвѣстенъ заранѣе, ибо всякому было понятно, что „зуда когда-нибудь непремѣнно вызудитъ старика“. По внѣшнему виду Петръ Матвѣичъ былъ высокъ, коренастъ и постоянно грозилъ испытать на себѣ дѣйствіе паралича; напротивъ того, Софронъ Матвѣичъ походилъ фигурой на отца, то-есть былъ мужчина средняго роста, юркій, сухой и несомнѣнно живучій, ходилъ неслышными шагами, крадучись, и нѣсколько пригибалъ голову, какъ будто уклонялся отъ угрожавшаго ему откуда-то удара. Петръ Матвѣичъ относился къ церкви легкомысленно и рѣдко бывалъ у службы; напротивъ того, Софронъ Матвѣичъ былъ къ церкви усерденъ, молился всегда на колѣняхъ и притомъ со слезами. Въ довершеніе всего, Петръ Матвѣичъ имѣлъ должность видную и блестящую, а иногда даже позволялъ себѣ мечтать о возможномъ преуспѣяніи на поприщѣ администраціи; напротивъ того, Софронъ Матвѣичъ занималъ неблестящее, но солидное мѣсто уѣзднаго стряпчаго, и никогда ни о какомъ преуспѣяніи не мечталъ.

Несмотря на тихій, приниженный видъ, всѣ боялись Софрона

Матвѣича. При взглядѣ на его задумчивое и какъ-то сомнительно-улыбающееся лицо, всякому сейчасъ же невольно приходило на мысль: вотъ человѣкъ, который навѣрное обдумываетъ какое-нибудь злодѣйство. Съ просителями Софронъ Матвѣичъ былъ вѣжливъ необыкновенно, даже мужикамъ говорилъ не иначе, какъ „голубчикъ“ и „дружокъ“.

— У тебя, дружокъ, дѣльце въ судѣ?—спрашивалъ онъ такимъ голосомъ, что у просителя непремѣнно сердце ёкнетъ въ груди.

И затѣмъ, заручившись „дѣльцемъ“, онъ начиналъ играть съ нимъ. То дополнятъ, то запросы дѣлаетъ, то просто скажетъ: „а ну, не трогъ, маленько поокруглится!“

— Тебѣ чего, миленькій? объ дѣльцѣ небось справиться пришелъ? Идетъ оно у насъ, дружокъ, живымъ манеромъ бѣжитъ! Подмазочки бы вотъ надо!

И получивши подмазочку, кланялся, жалъ просителю руку и чувствительнѣйше благодарилъ.

Вообще онъ облюбовывалъ и смаковалъ просителя, какъ артистъ, и потому не сразу обдиралъ его, а любилъ постепенно вызудить у него жизнь. Ежели читатель видалъ когда-нибудь, какъ ручная лисица поступаетъ съ подстрѣленной вороной, предназначенной ей на обѣдъ, то онъ можетъ имѣть приблизительное понятіе о томъ, что происходило между Софрономъ Матвѣичемъ и просителемъ. Лисица не набрасывается на свою жертву, не рветъ ее на куски, а долгое время полегоньку то тамъ, то тутъ покусываетъ. Куснетъ—и отскочитъ въ сторону, даже задумается, словно забудетъ. Потомъ опять изогнется и со всѣхъ ногъ кинется къ воронѣ, но, не тронувъ ее, отпрянетъ назадъ. Даже ворона смотритъ на эти маневры съ изумленіемъ, какъ будто говоритъ: Христосъ съ тобой! вѣдь я было-испугалась! Потомъ опять скачокъ, и опять, и опять, — до тѣхъ поръ, пока не вызудитъ у вороны жизнь. Тогда потихоньку общипletъ и съѣстъ. Точно такъ поступалъ и Софронъ Матвѣичъ: онъ разорялъ полегоньку, со вздохами, съ перемежками, но разорялъ до тла, до тѣхъ поръ, пока послѣдній грошъ не вызудитъ. Тогда ужъ съѣстъ окончательно.

Въ усадьбу Софронъ Матвѣичъ наѣзжалъ рѣдко. Человѣкъ онъ былъ холостой и хозяйствомъ не занимался. Но всякій разъ, какъ

пріѣдетъ въ Вавиловку, непремѣнно кому-нибудь что-нибудь да прокуситъ.

— Ты, Палаша, никакъ опять съ прибылью?—обращался онъ къ судомойкѣ Палашѣ, которая по своему дѣвичеству каждый годъ носила ребятъ: — ахъ, дружокъ, какъ это грѣшно! знаешь, какъ Богъ-то за это наказываетъ? что̀ блудницамъ въ аду-то пріуготовано? Ахъ, другъ мой! другъ мой! Ну, нечего дѣлать, посадите ее, миленькіе, въ холодную, да кушать-то, кушать-то, дружки, не давайте!

Скажетъ—и сотворитъ при этомъ крестное знаменіе.

Старикъ-дѣдушка при одномъ упоминовеніи о Софронѣ Матвѣичѣ дрожалъ и измѣнялся въ лицѣ. Арина Тимоѳеевна тоже ненавидѣла его и увѣряла, что Максимка весь въ него уродился.

— Тѣломъ-то въ отца, а нравомъ въ Софронку. Софронка меня въ тѣ поры испугалъ, какъ я тяжела была, ну и вышелъ Максимка въ него.

Даже Петръ Матвѣичъ крестился и вздрагивалъ, когда Софронъ Матвѣичъ, по обыкновенію своему, неслышно подкрадывался къ нему.

Одинъ „палачъ“ *любилъ* дядю и говорилъ про него:

— Вотъ дядя—это человѣкъ! Этотъ не сробѣетъ, даромъ что съ виду тихенькимъ кажется!

„Палача“ ждутъ дома безъ нетерпѣнія; едва-ли даже не позабыли, что за нимъ послано.

Да и не до него теперь. Весь домъ въ унынін; Арина Тимоѳеевна ходитъ изъ угла въ уголъ, какъ потерянная, и вздыхаетъ; разбойники-дѣти благонравно сидятъ по мѣстамъ; дворовые суетятся: на дворѣ то впрягаютъ, то распрягаютъ лошадей; мужики нагружаютъ у барскаго крыльца подводы. Одинъ дѣдушка свѣжъ и бодръ и пуще прежняго щелкаетъ, свиститъ и горланитъ какую-то нескладицу. Самъ Петръ Матвѣичъ каждую ночь пріѣзжаетъ въ Вавилово вмѣстѣ съ Софрономъ Матвѣичемъ. Пріѣхавши, оба брата о чемъ-то шушукаются, потомъ дѣлаютъ распоряженія, вслѣдствіе которыхъ на другой день опять нагружаются подводы, а къ утру обоихъ и слѣдъ простылъ.

Разсыльный говорилъ правду: въ городъ одновременно наѣхали

двѣ коммиссіи, изъ которыхъ одна занималась изслѣдованіемъ дѣйствій исправника, другая выворачивала наизнанку уѣздный судъ. И такъ какъ члены коммиссіи нуждались въ пищѣ и питіи, то вавиловскіе запасы видимо истощались. И вдругъ, въ такую критическую минуту, когда дома каждая ложка супа, такъ сказать, на счету, наѣзжаетъ откуда-то совсѣмъ забытый сынъ.

— Вотъ ужъ правду-то говорятъ: гость не вò-время хуже татарина! — встрѣчаетъ Арина Тимоѳеевна „палача“.

— Вы, маменька, только ротъ разинете, такъ ужъ и сморозите! — отвѣчаетъ „палачъ“, цѣлуя у матери руки.

— Безчувственный ты балбесъ! слышалъ ли, по крайности, чтò съ отцомъ-то дѣлается?

— Какъ не слыхать! объ немъ по всей дорогѣ отъ самой Москвы въ рога трубятъ!

„Палачъ“ отворачивается отъ матери и идетъ въ залу. Но тамъ дѣдушка, подкравшись на цыпочкахъ къ двери, уже сторожитъ внучка, и въ одно мгновеніе ока мажетъ его по губамъ какою-то дрянью.

— Убью!—пускаетъ „палачъ“ въ догонку старику, который, учинивъ проказу и подобравъ халатъ, бѣжитъ во всѣ лопатки въ другія комнаты.

— А папеньку-то судить будутъ! — докладываетъ „палачу“ Ѳедька-разбойникъ.

— И дяденьку тоже!—присовокупляетъ Ванька-воряга.

— Цыцъ, бѣсенята! Жрать хочу! живо!—командуетъ „палачъ“, и въ ожиданіи ѣды направляетъ стопы въ дѣвичью.

Тамъ стоитъ дѣвка Маришка, нагнувшись къ сундуку, наполненному полотнами, и отбираетъ изъ нихъ тѣ, которыя потоньше.

— Маришка! жрать... смерть моя!—говоритъ онъ, придавая своему голосу почти мягкій оттѣнокъ.

— Не до васъ теперь, баринъ! видите, дѣло дѣлаю!—отвѣчаетъ Маришка и еще ниже нагибается къ сундуку, чтобы не встрѣтиться взорами съ „палачомъ“.

— Ты, подлая, съ Ѳедькой связалась?

— Еще съ кѣмъ?

— Тебѣ говорятъ: съ Ѳедькой! Да ты не верти хвостомъ, а гляди на меня!

— Не образъ!

— Говорятъ, гляди!

Маришка, все еще нагнувшись къ сундуку, неохотно поворачиваетъ къ нему голову и, взглянувши, восклицаетъ:

— Ахъ, да какіе вы, баринъ, большіе!

— То-то большой! ты смѣй только!

— Что смѣть-то! сами-то, чай, давнымъ-давно меня на какую-нибудь кузнечиху *) смѣняли!

— Ну, тамъ на кого бы ни смѣнялъ! То я, а то ты! Тебѣ и по закону такъ слѣдуетъ. Да брось ты полотна-то, гляди на меня!

Маришка выпрямляется и сконфуженно становится передъ нимъ.

— Что тутъ у васъ дѣлается? взбѣсились, что-ли? даже поѣсть не допросишься!

— Ахъ, баринъ, столько у насъ здѣсь напастей! столько напастей! Цѣлая орава папеньку-то судить поѣхала, и всѣ-то жрутъ, всѣ-то пьютъ! Кажется, что только добра папенька нажили — все туда, въ эту прорву пойдетъ.

— А ты... съ Ѳедькой?

„Палачъ“ рычитъ, но рычитъ не опасно. Маришка понимаетъ это.

— Вы, баринъ, всегда...—говоритъ она:—и что только вамъ этотъ Ѳедька поперекъ всталъ—диковина!

— Верти хвостомъ-то! Отецъ золъ?

— И не подступайся! Намедни сь Никешку чуть-чуть подъ красную шапку не отдали.

„Палачъ“ крутитъ зачатокъ уса и сурово произноситъ:

— Ну, и чортъ съ нимъ! я самъ въ солдаты уйду!

Въ эту минуту Арина Тимоѳеевна какъ буря влетаетъ въ дѣвичью и разстраиваетъ интересный tête-à-tête.

— Выросъ, батюшка!—язвитъ она:—ума не вынесъ, а не хуже стоялаго жеребца ржетъ! Смотри, какъ бы Ѳедька-подлецъ не приревновалъ!

— Да и у васъ, маменька, ума немного!—огрызается „палачъ“:—вотъ покормить, небось, не догадаетесь!

*) Магазинная дѣвушка съ Кузнецкаго-Моста, въ Москвѣ. Въ сороковыхъ годахъ дѣвицы эти не отличались особенной строгостью поведенія.

— Надоѣло!—вдругъ прибавляетъ онъ, зѣвая и потягиваясь, какъ будто и въ самомъ дѣлѣ онъ Богъ вѣсть сколько времени толчется въ этомъ домѣ, и все ему безмѣрно въ немъ опостылѣло.

Въ залѣ, на столѣ, „палача“ ждутъ холодные объѣдки.

— Ишь вѣдь! куска живого нѣтъ!—озлобленно произноситъ онъ, жадно обгладывая кость:—Ѳедька! нельзя ли, братецъ, цопнуть! спроворь!

Ѳедька устремляется со всѣхъ ногъ въ пространство; минуты черезъ три онъ возвращается назадъ, бережно неся что-то подъ полой халата.

— Гдѣ Богъ послалъ?—спрашиваетъ „палачъ“, принимая изъ рукъ брата пузырекъ съ водкой.

— У Михея кучера изъ полштофа вылилъ.

— Ну это, братъ, не порядки. Кучеръ—онъ человѣкъ дорожный, ему безъ водки нельзя. Ты бы по окнамъ у родительницы пошарилъ.

— Смотритъ... нельзя!

— Смотритъ! а ты такъ воруй, чтобъ смотрѣла, да не видала. А на будущее время, чтобъ не были вы безъ дѣла, вотъ вамъ урокъ: каждый день мнѣ чтобы косушка была!

Насытившись и въ пропорцію выпивши, „палачъ“ отправляется на конный дворъ и встрѣчается тамъ съ форейторомъ Никешкою.

— Здорово, Никешка!—кричитъ онъ ему.

Никешка вытягивается во фронтъ и на солдатскій манеръ произноситъ:

— Здравія желаю, ваше благородіе-е-е!

— Въ солдаты?

— Точно такъ, ваше благородіе-е-е!

— И я въ солдаты уйду! надоѣло!

— Это точно, ваше благородіе... прискучило!

— Хорошо, Никешка, въ солдатахъ! Всталъ утромъ... лошадь вычистилъ... рапецъ... Щи, каша... ходи! вытягивайся? Ну, да вѣдь солдатъ работы не боится!

— Зачѣмъ, ваше благородіе, работы бояться! Я теперича такъ себѣ сердце настроилъ, что заставь меня сейчасъ цѣлому полку амуницію вычистить—такъ вотъ сейчасъ и—и!

— Солдатъ человѣкъ привышный! Солдатъ, ежели начальство

прикажетъ: жги! рви!—онъ и сожжетъ, и разорветъ, все какъ слѣдуетъ! Потому онъ человѣкъ подначальный!

„Палачъ“ входитъ въ конюшню и осматриваетъ стойла.

— Трезорка живъ?

— Точно такъ, ваше благородіе!

— И Полканка живъ?

— Живъ, ваше благородіе!

— Какъ бы, братецъ, ихъ на кошку науськать!

На зовъ Никешки, держа хвостъ по вѣтру, какъ бѣшеные, прискакиваютъ два пса. „Палачъ“ и Никешка становятся въ углу конюшнаго двора и замираютъ въ ожиданіи; псы, раскрывъ пасти, нетерпѣливо стоятъ около нихъ, вертятъ хвостами и потихоньку взвизгиваютъ. Наконецъ на заборѣ появляется кошка. Озираясь, крадется она по верхней перекладинкѣ, поползетъ и остановится; потомъ почешетъ задней лапой за ухомъ, зѣвнетъ, оглянется, нѣтъ ли кого, и опять поползетъ. Наконецъ, не видя ни откуда опасности, соскакиваетъ на землю внутрь двора.

— Ату! ату его!—вдругъ какъ безумные подхватываютъ „палачъ“ и Никешка.

Псы летятъ; кошка сначала замнается, но черезъ мгновеніе тоже летитъ, задеря хвостъ, къ забору, цѣпляется когтями за столбъ, съ быстротою молніи вспалзываетъ на верхъ и, какъ окаменѣлая, становится тамъ, ощетинившись и выгнувши спину. Псы стоятъ у подошвы забора и, не сводя съ кошки глазъ, виляютъ хвостами и жалобно взвизгиваютъ.

— Стиксовали, подлецы! — гремитъ „палачъ“: — Никешка! учить ихъ!

Начинается ученіе: собакъ дерутъ за уши, бьютъ чѣмъ попало: воздухъ наполняется тѣмъ особеннымъ собачьимъ визгомъ, которому въ цѣломъ мірѣ звуковъ нѣтъ ничего подобнаго. На шумъ прибѣгаютъ братишки и старый дѣдушка. Послѣдній стоитъ въ воротахъ, подобравъ полы халата, и самъ, въ какомъ-то ребяческомъ экстазѣ, визжитъ и лаетъ.

— Ты чего прибѣжалъ?—обращается „палачъ“ къ старику: —старые годы вспомнилъ?

— Онъ такъ-то людей въ стары годы собаками травилъ!—вставляетъ свое слово Никешка.

— Рви!—огрызается дѣдушка и, видимо сконфуженный, удаляется во-свояси, при общемъ грохотѣ веселящихся.

— Маришку-то, ваше благородіе, оставить надо!—докладываетъ Никешка, когда гвалтъ унялся.

„Палачъ“ злобно фыркаетъ.

— Она теперича у Ѳедьки-повара и легла, и встала! А я вамъ, ваше благородіе, другую ягоду припасъ!.. такая-то ягода! вотъ такъ ужъ ягода!

— Потрафляй, Никешка, потрафляй!

День кончился; „палачъ“ окончательно вступилъ въ свою домашнюю колею, то-есть побывалъ и на конюмъ, и на скотномъ, и на огородѣ. Въ десять часовъ вечера онъ ужинаетъ вмѣстѣ со всѣмъ семействомъ, и на всѣ вопросы матери угрюмо отмалчивается.

— Да отвѣчай, идолъ, произвели ли тебя въ классы-то?!—чуть ли не въ десятый разъ спрашиваетъ его Арина Тимоѳеевна.

— Завтра отцу все скажу,—отвѣчаетъ „палачъ“, выходя изъ-за стола и, ни съ кѣмъ не простясь, удаляется въ боковушку, гдѣ ему постлали постель.

Около полуночи онъ слышитъ въ просонкахъ звонъ колокольцевъ, стукъ подъѣзжающаго экипажа, хлопанье воротъ и дверей и наконецъ шаги отца въ передней.

— Балбесъ пріѣхалъ?—раздается голосъ Петра Матвѣича.

— Ну, пошла пилыня въ ходъ!—мысленно произноситъ „палачъ“, переворачиваясь на другой бокъ.

Отцу, однакожъ, не до Максимки. На другой день, часовъ въ шесть утра, онъ уже собрался въ городъ и только мимоходомъ успѣлъ взглянуть на сына.

— Ну, что, олухъ Царя Небеснаго, экзамена не выдержалъ?—поздоровался онъ съ нимъ.

— Не выдержалъ-съ.

— Повѣсить тебя мало, ракалія!

— Я, папенька, въ юнкера желаю-съ.

— Сказалъ: сгною подлеца въ заведеніи! и сгною!

— Воля ваша-съ.

Присутствовавшій при этомъ Софронъ Матвѣичъ тоже счелъ долгомъ вступиться въ разговоръ.

— Что жъ ты, душенька, у папеньки-то ручки не цѣлуешь? а-ахъ, милый другъ! у родителя-то! да ты знаешь ли, миленькій, какъ родителей-то утѣшать надобно?

— Я, дяденька, въ военную службу желаю-съ!

— И что̀ это у васъ, други милые, за болѣзнь такая: все въ военную да въ военную! все бы вамъ убивать! все бы убивать! А знаешь ли ты, голубчикъ, что штатскій-то слово иногда пуститъ, такъ словомъ-то этимъ убьетъ вѣрнѣе, чѣмъ изъ ружья! Вотъ она, гражданская-то часть, какова!

— Что̀ съ нимъ, съ оболтусомъ, разговаривать!—прерываетъ Петръ Матвѣичъ медоточивую рѣчь брата:—вотъ ужо̀ свалимъ съ рукъ губернскую саранчу—я съ тобой раздѣлаюсь!

Дни идутъ за днями во всемъ ихъ суровомъ однообразіи, закаляя характеръ „палача“. Онъ совсѣмъ не видитъ отца и, пользуясь этимъ обстоятельствомъ, даетъ полный просторъ своимъ вкусамъ и наклонностямъ. Съ ранняго утра онъ уже на конюшнѣ, травитъ собаками кошку или козла, хлопаетъ арапникомъ, разсѣкаетъ кнутомъ лубья, курить махорку, сплевываетъ въ сторону и по временамъ устраиваетъ, съ цѣлью грабежа, экспедиціи на погребъ, въ кладовую и даже на крестьянскіе огороды.

— Скучно у васъ, Никешка!—говоритъ онъ своему напернику.

— Супротивъ Москвы какъ же можно!

— Я, братъ, въ Москвѣ такія штуки удиралъ, такія удиралъ! съ Голопятовымъ черезъ заборъ въ питейный бѣгали. Голопятова знаешь?

— Нѣтъ, такихъ не слыхали.

— Амченина-то Голопятова не знаешь? Вѣдь онъ тутъ по близости, въ Амченскѣ живетъ!

— Слыхали, что баринъ хорошій,—лжетъ Никешка.

— Ужъ такой, братъ, это человѣкъ! Мы съ нимъ однажды Кубарихинъ домъ вдвоемъ разнесли!

— Ишь ты! да ужъ гдѣ намъ супротивъ Москвы!

— У васъ даже питейнаго нѣтъ. Я со скуки хочу научиться табакъ нюхать.

— И отъ табаку тоже большого способья нѣтъ. Тошнитъ отъ него сперьвоначалу. А мы, баринъ, вотъ что̀: давайте въ церковь ходить да на крылосѣ пѣть.

— Чудесно. Вотъ это, братъ, отлично ты вздумалъ!

„Палачу“ такъ скучно, что онъ съ жаромъ хватается за поданную Никешкой идею и немедленно приводитъ ее въ исполненіе. Онъ вербуетъ въ нѣвчіе младшихъ братьевъ, дворовыхъ и деревенскихъ мальчишекъ, собираетъ ихъ на задворкахъ и производитъ спѣвки.

— Эхъ, Голопятова нѣтъ! вотъ бы рявкнулъ!—жалуется онъ.

Мало-по-малу, вмѣсто лая и визга собакъ, воздухъ оглашается стихирами и прокимнами. Двѣ недѣли кряду продолжается это новое столпотвореніе, и „палачъ“ до того предается своей забавѣ, что дѣлается почти неузнаваемъ. Только встанетъ утромъ—уже бѣжитъ на спѣвку; пообѣдаетъ, напьется чаю на скорую руку—и опять на спѣвку. Онъ похудѣлъ, сдѣлался богомоленъ и богобоязненъ, а мальчишекъ совсѣмъ смучилъ. По временамъ онъ даже помышляетъ, не пойти ли ему въ монахи.

— Жрутъ эти монахи... страсть!—рѣшаетъ онъ, и тотчасъ сообщаетъ о своемъ рѣшеніи Никешкѣ.

— Что-жъ, въ монахи—такъ въ монахи! я къ вамъ служкой пойду!—отвѣчаетъ Никешка.

— Заживемъ мы съ тобой... лихо!

Однако и эта затѣя не долго гнѣздится въ умѣ его, потому что Арина Тимоѳеевна, узнавъ о его планахъ, считаетъ долгомъ объяснить ему, что монахамъ не даютъ мяса.

— Что лопать-то будешь?—спрашиваетъ она его.

„Палачъ“ смущается, ибо совершенно опредѣленно сознаетъ, что безъ мяса ему жить невозможно.

— Знаешь ли ты, балбесъ, какъ настоящіе-то угодники живутъ? Одну просвирку на цѣлую недѣлю запасетъ, голубчикъ, да и кушаетъ! А въ Свѣтло-Христово воскресенье яичко-то облупитъ, поцѣлуетъ, да и опять на блюдо положитъ! А вѣдь тебѣ, олуху, мясица надобно!

— Врете вы все! не можетъ человѣкъ безъ мяса жить!

— Еще какъ живетъ-то! живетъ, да еще работаетъ! Ты спроси вотъ у мужичка, когда онъ мясо-то видитъ! И какъ только Богъ его поддерживаетъ! все-то онъ безъ мяса! Ни у него говядинки, ни у него курочки! Ничего.

Арина Тимоѳеевна впадаетъ въ чувствительность. Она готова разглагольствовать на эту тему хоть цѣлый день, готова даже погоревать и поплакать, но „палачъ“ сразу осаживаетъ ее.

— Ну, распустили нюни! — восклицаетъ онъ и, не дожидаясь дальнѣйшихъ разглагольствованій, уходитъ изъ дома.

Какъ ни огорчительно открытіе, сдѣланное Ариной Тимоѳеевной, но оно западаетъ въ душу „палача“ и производитъ переломъ въ его образѣ мыслей.

— Ну ихъ къ шуту! — говоритъ онъ Никешкѣ: — мать говоритъ, что монахамъ мяса не даютъ!

— Что жъ, можно и оставить!

Идея о монашествѣ предается забвенію, спѣвки прекращаются, и на мѣсто ихъ лай и визгъ собакъ опять вступаютъ въ права свои.

Среди этого содома Арина Тимоѳеевна ходитъ какъ потерянная и безъ перемежки вздыхаетъ.

„И отчего онъ такой кровопивецъ?“ думается ей: „нѣтъ-чтобы книжку почитать или въ уголку тихонько посидѣть, какъ другія дѣти! Все бы ему разорвать, да перервать, да разбить, да проломить!“

Бродитъ Арина Тимоѳеевна по комнатамъ и все думаетъ, все думаетъ. А на дворѣ гвалтъ, гиканье, свистъ, ревъ.

— Лаской, что-ли, съ нимъ какъ-нибудь! — наконецъ додумывается она и немедленно рѣшается воспользоваться этою мыслью.

— Хоть бы ты, Макся, поговорилъ съ матерью-то! — обращается она къ сыну.

— Объ чемъ мнѣ съ вами говорить!

— Ну, все же, хоть бы утѣшилъ!

— Горе, что-ли, у васъ?

— Какъ не быть горю! у меня, Макся, всегда горе! нѣтъ моему горю скончанья! вотъ хоть бы объ васъ, объ дѣточкахъ... ну щемитъ у меня сердце, щемитъ да и вся недолга!

— Ну и пущай щемитъ!

— Или вотъ теперича кровопивцы изъ губерніи налетѣли! что они пропили! что проѣли! Что было добра нажито — все повытаскали!

— И опять это дѣло не мое.

— Какъ же не твое, Макся!.. Ты хоть бы пожалѣлъ, мой другъ!

— Меня, маменька, не разжалобите!

Арина Тимоѳеевна на минуту умолкаетъ, видимо обиженная равнодушіемъ сына.

— И что это за народъ такой нынѣче ростетъ... безчувственный! — наконецъ произноситъ она, посматривая въ окошко.

— Вы, маменька, про чувства не говорите со мною. Я даже когда меня дерутъ—и то стараюсь не чувствовать. У насъ урядникъ Кунцовъ, прямо скажу, шкуру съ живого спущаетъ, такъ если бы тутъ еще чувствовать...

„Палачъ“ постепенно одушевляется: онъ ощущаетъ твердую почву подъ ногами.

— Одинъ разъ,—говоритъ онъ:—я товарища искалѣчилъ, такъ меня самъ инспекторъ билъ. Бьетъ-это смаху, словно у него бревно подъ руками, бьетъ, да тоже вотъ, какъ вы, приговариваетъ: „безчувственный!“ Такъ я ему прямо такъ-таки въ лицо и сказалъ: ежели, говорю, Василій Ипатычъ, такъ бьютъ, да еще чувствовать...

„Палачъ“ отъ волненія задыхается, словно пойманная крыса; лицо его вспыхиваетъ, ноздри раздуваются и самъ онъ отъ времени до времени вздрагиваетъ.

— Меня вотъ товарищи словно волка травятъ,—продолжаетъ онъ:—соберутся всей ватагой, да и травятъ. Такъ еслибъ я чувствовалъ, что̀ бы я долженъ былъ съ ними сдѣлать?

Онъ смотритъ на мать въ упоръ; глаза его сверкаютъ такимъ дикимъ блескомъ, что Арина Тимоѳеевна, не понявшая ни одного слова изъ всего, что̀ говорилъ сынъ, пугается.

— Да ты обалдѣлъ, что-ли: какъ на мать-то смотришь!—начинаетъ она, но „палачъ“ уже ничего не слышитъ.

— Теперича, къ примѣру, я хочу въ юнкера поступить,—гремитъ онъ:—такъ ежели начальство мнѣ скажетъ:—Хмыловъ! разорви!—какъ по вашему? я и въ то время долженъ какія-нибудь чувства имѣть? Извините-съ!

„Палачъ“ быстро поворачивается, и черезъ минуту сугубый гвалтъ возвѣщаетъ о благополучномъ прибытіи его на конный дворъ.

Арина Тимоѳеевна опять задумывается, или, лучше сказать, въ голову ея опять начинаютъ заглядывать какіе-то обрывки мыслей, которые она тщетно старается съютить. То вдругъ заглянетъ слово: „убьетъ!“—то вдругъ мелькнетъ: „это онъ съ матерью-то такъ разговариваетъ!“... Наконецъ она вскакиваетъ съ мѣста и разражается.

— Желала бы я!—восклицаетъ она иронически:—ну, вотъ хоть бы глазкомъ посмотрѣла бы, что̀ изъ этого урода выйдетъ!

Но вотъ и губернская саранча уѣхала во-свояси; Петръ Матвѣичъ свободенъ и пріѣзжаетъ въ Вавиловку отдохнуть.

— Теперь я съ тобой, мерзавецъ, раздѣлаюсь! — говоритъ онъ сыну, располагаясь въ креслѣ съ такимъ спокойнымъ видомъ, какъ будто собрался пріятно провести время.

— Вся ваша воля-съ.

— Сказывай, ракалья, будешь ли ты учиться?

— Я, папенька, въ полкъ желаю-съ.

— Будешь ли учиться?

— Я, папенька, ежели вы меня въ полкъ не отдадите, убѣгу-съ!

— К-к-кан-налллья!

Петръ Матвѣичъ вытягивается во весь ростъ, простираетъ руки и до такой степени таращитъ глаза, что, кажется, вотъ-вотъ они выскочатъ. „Палачъ“ закусываетъ губу и ждетъ.

— Нагаекъ! — кричитъ Петръ Матвѣичъ задавленнымъ голосомъ.

Экзекуція начинается; ударъ сыплется за ударомъ. Петръ Матвѣичъ блѣденъ; въ глазахъ его блуждаетъ огонь, горло пересохло, губы горятъ.

— Убью! въ гробъ заколочу! — уже не кричитъ, а шипитъ онъ тѣмъ же задавленнымъ голосомъ.

„Палачъ“ словно замеръ; ни стона, ни звука.

— Убить, что-ли, сына-то хочешь! — вдругъ раздается испуганный голосъ Арины Тимоѳеевны.

Она блѣдна и дрожитъ. Какъ кошка, вцѣпляется она въ полы мужнина сюртука и силится его оттащить.

— Да оттащите! оттащите, ради Христа! Убьетъ... ахъ, убьетъ!

Петра Матвѣича съ трудомъ оттаскиваютъ. Онъ шатается словно пьяный и смотритъ на всѣхъ потухшими глазами, какъ будто не сознаетъ, гдѣ онъ и что тутъ случилось. „Палачъ“ страдаетъ, но, видно, перемогаетъ себя. Онъ встряхиваетъ волосами, на губахъ его блуждаетъ вызывающая и вмѣстѣ съ тѣмъ исполненная инстинктивнаго страха улыбка. Но нервы его, очевидно, не могутъ выдерживать долѣе. Не проходитъ минуты, какъ лицо его начинаетъ искажаться, и наконецъ какое-то ужасное рычаніе вылетаетъ изъ его груди, рычаніе, сопровождаемое цѣлымъ ливнемъ слезъ.

— Плачь, батюшка, плачь!—увѣщеваетъ его Арина Тимоѳеевна:—плачь! легче будетъ!

Но онъ ничего не слышитъ и стремглавъ убѣгаетъ изъ комнаты.

Сцена сѣченія произвела на весь домъ подавляющее дѣйствіе. Всѣ какъ будто опомнились и въ то же время были до того поражены, что боялись словомъ или даже неосторожнымъ движеніемъ напомнить о прошедшемъ. Прислуга ходитъ на цыпочкахъ, словно чувствуетъ за собою вину; Арина Тимоѳеевна потихоньку плачетъ, но, заслышавъ шаги мужа, поспѣшно утираетъ слезы и старается казаться веселою: дѣдушка мелькаетъ тамъ и сямъ, но безшумно и неупранно, какъ будто тоже понимаетъ, что теперь не то время, чтобы озоровать; младшія дѣти сидятъ смирно и разсматриваютъ книжку съ картинками. Въ самомъ Петрѣ Матвѣичѣ замѣтна перемѣна: онъ похудѣлъ, осунулся, мало ѣстъ и совсѣмъ не пьетъ. „Палачъ“ примѣчаетъ это общее уныніе и всячески старается эксплуатировать его въ свою пользу. Онъ цѣлые дни гдѣ-то скрывается; приходитъ домой только обѣдать, молча ѣстъ, выбирая самые лучшіе куски, послѣ обѣда цѣлуетъ у родителей ручки и тотчасъ же опять уходитъ вплоть до ужина.

— Здоровъ?—какъ-то не удержался однажды спросить его Петръ Матвѣичъ.

— Слава Богу-съ; гной теперича въ ранахъ показался-съ,—отвѣтилъ „палачъ“, но съ такою язвительною почтительностью, что Петръ Матвѣичъ весь вспыхнулъ и чуть-было опять не потребовалъ нагаекъ.

На самомъ же дѣлѣ „палачъ“ уже почти позабылъ объ экзекуціи и проводитъ время на обычной аренѣ своихъ подвиговъ, то-есть на конномъ дворѣ. Но онъ сдѣлался какъ-то солиднѣе въ своихъ поступкахъ, не бурлитъ, не хлопаетъ арапникомъ, не дразнитъ козла, а или заваливается спать на сѣновалъ, или бесѣдуетъ съ кучерами. Станетъ гдѣ-нибудь въ углу, куритъ махорку, сплевываетъ и ведетъ разумную рѣчь о коренникахъ, объ иноходцахъ, о томъ, какія должны быть у „настоящей“ лошади копыта, какой задъ и т. д.

— У „настоящей“ лошади задъ долженъ быть широкій... какъ печка! потому у „ей“ вся сила въ заду! — утвердительно говоритъ „палачъ“.

— Нѣтъ, вотъ я у одного троечника коренника зналъ, такъ у

того былъ задъ... страсть!—разсказываетъ кучеръ Михей:—это подъ гору по полтораста пудовъ спустить—ни почемъ!

— По „саше“?—вопрошаетъ „палачъ“, поддѣлываясь подъ тонъ своей аудиторіи.

— По саше и по простой дорогѣ—какъ хошь! И сколько разъ у него эту лошадь торговали, тысячи давали...

— Не продалъ?

— Ни въ жисть. „Дай ты мнѣ сто пудовъ золота, говоритъ,—умру, а лошади не отдамъ!“

— И что за житье, ваше благородіе, этимъ извозчикамъ—умирать не надо!—вступается Никешка.

— На что̀ лучше!—восклицаетъ Михей:—ѣда одна что̀ стоитъ! Щи подадутъ—не продуешь! Иному барину въ праздникъ такихъ не ѣсть.

„Палачъ“ задумывается и полегоньку посасываетъ трубочку. Воображеніе его играетъ; онъ видитъ передъ собой большую дорогу, коренника, переступающаго съ ноги на ногу и упирающагося широкимъ задомъ въ громадный возъ; офицеровъ, скачущихъ мимо; постоялый дворъ, и на столѣ щи, подернутые толстымъ слоемъ растопившагося свинаго сала...

— Пашушникъ съ медомъ ѣсть будете?—слышится ему словно въ просонкахъ.

— Вы бы вотъ что̀. ваше благородіе,—прерываетъ его мечты Никешка:—поклонились бы вы напенькѣ-то: наградите, молъ, папенька, меня тройкой лошадей... А я бы вамъ, ваше благородіе, въ работникахъ послужилъ!

— Что-жъ, Никешка—парень ловкій! Онъ это дѣло управитъ!—подтверждаетъ Михей.

— А ужъ какую бы мы тройку подобрали—на удивленіе!—продолжаетъ Никешка:—ну, просто, то-есть, и въ гору, и подъ гору—какъ хошь!

— А ты это видѣлъ?—осаживаетъ его „палачъ“, снимая куртку и показывая спину, усѣянную поджившими рубцами:—такъ вотъ ты пойди да и поклонись напенькѣ-то, а онъ тебѣ еще вдвое засыплетъ!

Или:

— Кучеръ, коли ежели онъ настоящій ѣздокъ, непремѣнно долженъ особенное такое „слово“ знать!—повѣствуетъ Михей.

— Да, безъ этого нельзя!—подтверждаетъ и „палачъ".

— Теперича ежели ты въ грязи завязъ, или въ гору сталъ—только скажи это самое „слово" — хошь изъ какой хошь трущобы тебя лошадь вывезетъ! а не скажешь „слова" — хоть до завтрева бейся, на вершокъ не подвинешься!

И т. д., и т. д.

Однимъ словомъ, „палачъ" благодушествуетъ и, зная, что отцу до поры до времени совѣстно смотрѣть ему въ глаза, пользуется своимъ положеніемъ самой широкой рукой.

Иногда, наскучивши анекдотами о коренникахъ, о томъ, какъ однажды Никешка на ровномъ мѣстѣ пять часовъ бился, „хоть ты что̀ хошь", о томъ, какъ одинъ ямщикъ въ одну пряжку сто верстъ сдѣлалъ и только на половинѣ дороги лошадей поморилъ, „палачъ" отправляется къ дяденькѣ Софрону Матвѣичу, который тоже отдыхалъ въ Вавиловкѣ послѣ ревизорскаго погрома, и слушаетъ разсказы этого новаго Одиссея.

— Я, дяденька, въ полкъ уйду!—обыкновенно начинаетъ „палачъ".

— И что̀ ты это заладилъ одно: въ полкъ да въ полкъ! На войну хочешь? такъ на войнѣ-то, братъ, бабушка еще на-двое сказала: либо ты убьешь, либо тебя убьютъ!

И затѣмъ начинался безконечный рядъ разсказовъ о преимуществахъ гражданской службы.

— Гражданская-то служба развѣ не то же страженіе?—повѣствуетъ дяденька:—только всего и разницы, что по военной части двое стражаются, а по гражданской части одинъ стражается, а другой претерпѣваетъ страженіе. И сколько я этихъ гражданскихъ страженіевъ въ своей жизни выигралъ, такъ ежели бы все счесть, кажется, и фельдмаршаломъ-то меня сдѣлать мало!

„Палачъ" оглядываетъ мизерную, словно объѣденную фигуру дяденьки, и улыбается.

— А ты не гляди, миленькій, что я ростомъ не вышелъ; я, душа моя, такія дѣла дѣлывалъ, что другому даже въ генеральскихъ чинахъ во снѣ не приснится.

Дяденька выпрямляется во весь ростъ и, тыкая себя перстомъ въ грудь, продолжаетъ:

— Я только говорить о себѣ не люблю, а многимъ, даже очень многимъ въ жизни своей такія права предоставилъ, что ежели они послѣ того рукъ на себя не наложили, такъ именно только по христіанству, какъ христіанскій законъ вообще запрещаетъ роптать! Насѣкина, напримѣръ, Павла Ивановича знаешь?

— Это пьяненькаго-то?

— Это теперь онъ пьяненькій, а прежде былъ онъ у насъ предводителемъ, тузъ козырный былъ! Гордый человѣкъ былъ, тиранилъ, жегъ, сѣкъ. Дворянинъ ли, мужикъ ли—всѣ, говоритъ, передо мной равны! Вотъ онъ каковъ, „пьяненькій“-то, въ старые годы былъ! А кто гордыню-то эту изъ него извлекъ? Я, Софронъ Матвѣевъ Хмыловъ, се извлекъ! Походилъ около него, расплановалъ все какъ слѣдуетъ, потомъ далъ сраженіе—и извлекъ.

— Да я, дяденька, помилуйте...

— Погоди, мой другъ, дай сказать! Или возьмемъ теперича хоть Палагинское дѣло. Убили рабы своего господина, имѣніемъ его воспользовались—одними деньгами, душа моя, сто тысячъ было!—бѣжали, пойманы, уличены! По твоему, какъ надлежитъ въ этомъ случаѣ поступить? Отдуть душегубовъ кнутомъ, сослать куда Макаръ телятъ не гонялъ—и дѣло съ концомъ? — Ну, нѣтъ, не будетъ ли этакъ-то очень ужъ просто! Съ имѣніемъ-то, скажи ты мнѣ, какъ поступить? Да опять же и гдѣ это имѣніе взять? Потому эти самые душегубы во всемъ прочемъ чистосердечно повинились, а насчетъ имѣнія такую аллегорію, такую аллегорію поютъ, что и Боже ты мой! Ну, думаю, други милые, не хотите волей сказывать—придется сраженіе вамъ дать. И какъ бы ты полагалъ?—не успѣлъ я это сраженіе до половины довести, какъ они ужъ все до полушки отдали!

— Да вѣдь я, дяденька, не о васъ. Вы, извѣстно...

— Нѣтъ, да ты слушай, что̀ потомъ будетъ! Отдавши все до полушки, сидятъ они въ острогѣ годъ, сидятъ другой — и вдругъ возгордились! Мы-ста! да вы-ста! изъ насъ, говорятъ, жилы вытянули, а резону намъ не даютъ! И даже очень громко этакъ-то побалтываютъ. Что̀ жъ, дѣлать нечего, пришлось и въ другой разъ сраженіе дать... только ужъ послѣ этого другого-то сраженія...

Софронъ Матвѣичъ внезапно останавливается и вмѣсто продолженія прерваннаго разговора присовокупляетъ:

— Такъ вотъ они каковы, гражданскія-то сраженія! Коли

ежели да съ умѣніемъ, да съ сноровочкой,—большую можно пользу для себя получить!

„Палачъ“ смотритъ на дядю съ благоговѣніемъ, почти съ алчностью. Глаза его такъ и бѣгаютъ.

— Я десять губернаторовъ претерпѣлъ!—продолжаетъ Софронъ Матвѣичъ хныкающимъ голосомъ:—я пятнадцати ревизорамъ очки вставилъ! И всякій-то на меня съ наскоку наѣзжалъ!—„я, дескать, этого разбойника Хмылова въ бараній рогъ согну!“ Анъ дашь ему отраженіе—онъ и притихъ! Статскій совѣтникъ Ноздревъ у насъ былъ, такъ тотъ, какъ пріѣхалъ въ городъ, такъ и рычитъ: „подайте мнѣ его! разорву!“ Каково мнѣ это слушать-то? каково? Однако, я выслушалъ, доложилъ, опять выслушалъ, опять доложилъ—и сталъ онъ у меня послѣ того шолковый... Даже поноску носить выучился, и такъ-это привыкъ, что въ глаза, бывало, мнѣ смотритъ—когда же, молъ, ты скажешь: пиль!?

— Да вѣдь то вы, дяденька! вы, дяденька, умный!

— Не то чтобы слишкомъ уменъ, а человѣческое сердце, душа моя, знаю. Другой смотритъ на человѣка, и ничего въ немъ не видитъ, а я проникаю. Я даже когда не нужно—и тогда проникаю. Идешь это по улицѣ, видишь человѣка и все думаешь: а кто знаетъ, можетъ быть, этому человѣку современемъ придется отраженіе дать!

Но какъ ни привлекательны рисуемыя дядей картины гражданскихъ сраженій, „палачъ“ не поддается соблазну. Онъ понимаетъ, что ему тутъ дѣлать нечего. Въ немъ, если хотите, имѣется достаточный запасъ той одеревенѣлой жестокости, которая на самыя большія мученія позволяетъ смотрѣть хладнокровно, но нѣтъ ни настойчивости, ни остроты ума, ни прозорливости. Ни къ какимъ комбинаціямъ онъ неспособенъ, и потому даже въ шашки порядкомъ не могъ научиться играть.

— Нѣтъ, дяденька,—говоритъ онъ:— я ужъ въ полкъ!

— Что жъ, въ полкъ, такъ въ полкъ! Коли нѣтъ призванія, такъ и соваться нечего. А вѣдь и я, душа моя, не сразу тоже въ чувство пришелъ. Съ мужика съ простого началъ, а потомъ, постепенно, и губернаторовъ постигъ. Бывало, папенька приведетъ мужика-то и скажетъ: „Софронъ, учись!“ Ну, и начнешь его узнавать. Ходишь около него, всякій суставчикъ испытаешь, все ищешь, гдѣ

у него струна-то играетъ. Нашелъ струну—и ликуй, потому тутъ онъ ужъ и самъ передъ тобой, словно клубокъ, развертываться начнетъ. Ты только дергай, дергай его за нитку-то. а онъ—что̀ больше дергаешь, то ходчѣй да ходчѣй все развертывается. И такой вдругъ понятный сдѣлается, что даже вчужѣ удивительно, какъ это сразу ты его не постигъ!

. . . . . .

И живетъ такимъ родомъ „палачъ“ подъ сѣнью родительскаго крова, живетъ изо дня въ день, и не видитъ исхода своему страстному желанію оставить науку и поступить въ полкъ. Эта мысль преслѣдуетъ его день и ночь. Ни разсказы дяди, ни бесѣды на конномъ дворѣ не могутъ заставить ее позабыть. Вотъ и каникулы подходятъ къ концу. а онъ все при томъ же, при чемъ былъ и въ началѣ своего пріѣзда въ деревню.

Порой онъ рѣшается бѣжать, но куда? съ чѣмъ? При всей неразвитости, онъ понимаетъ непрактичность этой мысли, и потому не безъ удовольствія ожидаетъ момента, когда его опять повезутъ въ Москву и опять очутится онъ въ стѣнахъ „заведенія“. Тамъ онъ по крайней мѣрѣ увидится съ „Агашкой“, а это свиданіе возбуждаетъ въ немъ какія-то смутныя надежды. Что̀ будетъ?—онъ самъ еще не можетъ опредѣлить, но что нѣчто. навѣрное. будетъ—въ этомъ онъ не сомнѣвается.

— Голопятовъ выручитъ!—говоритъ онъ себѣ, и съ этою сладкою мыслью засыпаетъ въ послѣдній разъ подъ кровлей скромнаго вавиловскаго дома.

И дѣйствительно, „Агашка“—первое лицо, съ которымъ „палачъ“, встрѣчается въ „заведеніи“.

— Хмыловъ! меня опекунъ въ полкъ отдастъ! — объявляетъ онъ сразу.

„Палачъ“ блѣднѣетъ.

— Такъ это... вѣрно?—спрашиваетъ онъ потухшимъ голосомъ.

— Черезъ мѣсяцъ, какъ дважды два. А ты какъ?

„Палачъ“. вмѣсто отвѣта, снимаетъ съ себя куртку и показываетъ слѣды рубцовъ, оставшіеся на спинѣ.

— Это... за полкъ!—говоритъ онъ.

„Агашка“ вдругъ проникается великодушіемъ.

— Уйдемъ вмѣстѣ! — говоритъ онъ: — вмѣстѣ горе тянали. вмѣстѣ и уйдемъ!

— Да вѣдь ты... самъ собою... и безъ того...—заикается „палачъ“.

— Не хочу просто выходить... уйду! Или вотъ что: удеремъ. Хмыловъ, какую-нибудь такую штуку, чтобъ насъ обоихъ разомъ выгнали!

„Палачъ“ съ какою-то робкою радостью смотритъ на своего друга.

— Да ты что, подлецъ? не вѣришь мнѣ?—великодушествуетъ „Агашка“:—да я теперь ни за что безъ тебя изъ заведенія не уйду!

Пріятели цѣлуются и заключаютъ наступательный союзъ. Начинается цѣлый рядъ подвиговъ, слава которыхъ, постепенно возрастая, наполняетъ наконецъ Москву. Родители съ недоумѣніемъ вопрошаютъ другъ друга, правда ли, что какіе-то ученики „заведенія“ взяты будочникомъ въ кабакѣ? правда ли, что еще какіе-то ученики того же „заведенія“ пойманы въ ту минуту, какъ хотѣли взломать церковную кружку? правда ли, что еще какіе-то ученики забрались ночью въ квартиру женатаго надзирателя Сѣнъ-Романа?... Въ теченіе двухъ-трехъ недѣль „палачъ“ и Агашка вдвоемъ совершили столько, что казалось, будто въ ихъ подвигахъ участвовало не меньше ста человѣкъ.

Черезъ мѣсяцъ оба друга сидятъ уже въ карцерѣ; еще недѣля— и за обоими пріѣхали посланные отъ родныхъ.

Друзья веселы и всецѣло поглощены ощущеніемъ испытываемаго ими счастія. Они бодро проходятъ черезъ рекреаціонную залу, мимо столпившихся товарищей, которые на этотъ разъ даже не пускаютъ въ догонку Хмылову „палача“. Смутный говоръ удивленія провожаетъ ихъ до самой швейцарской.

Вотъ они на порогѣ: вотъ уже и стѣны заведенія остаются позади ихъ. „Палачъ“ останавливается и въ какомъ-то неописанномъ волненіи сжимаетъ руку „Агашки“.

— Не-про-на-демъ!—восторженно восклицаетъ онъ, отчетливо раздѣляя каждый слогъ своей краткой рѣчи.

— Не пропадемъ! — словно эхо, повторяетъ за нимъ „Агашка“.

ПАРАЛЛЕЛЬ ТРЕТЬЯ.

У начальника отдѣленія, статскаго совѣтника Семена Прокофьича Нагорнова, родился сынъ. Это былъ плодъ пятнадцатилѣтней бездѣтной супружеской жизни, и потому естественно, что появленіе его на свѣтъ произвело на родителей впечатлѣніе не совсѣмъ обыкновенное. Миша былъ еще во чревѣ матери, а родители уже устраивали его будущее, спорили о предстоящей ему карьерѣ и ни одной минуты не сомнѣвались, что у нихъ родится именно сынъ, а не дочь. Анна Михайловна, съ легкомысліемъ женщины, пророчила, что сынъ у нея будетъ военный; напротивъ того, Семенъ Прокофьичъ изъявлялъ надежду, что Мишѣ суждено современемъ сдѣлаться „министерскимъ перомъ“.

— Ему, матушка, карьеру надобно дѣлать, а не мостовую гранить,—говорилъ будущій отецъ:—а потому мы отдадимъ его въ такое заведеніе, гдѣ больше чиновъ даютъ.

Затѣмъ, разсчитавши, что Миша, пойдя по этой дорогѣ, восемнадцати лѣтъ уже можетъ быть титулярнымъ совѣтникомъ и что производство изъ коллежскихъ регистраторовъ въ титулярные совѣтники за выслугу лѣтъ, потребуетъ не менѣе десяти лѣтъ, Нагорновъ прибавилъ:

— Даже теперь можно уже сказать, что нашъ Михайло Семеновичъ состоитъ на службѣ на правахъ канцелярскаго чиновника, кончившаго курсъ въ уѣздномъ училищѣ!

Нагорновы были люди простые и добрые, и какъ мужъ, такъ и жена принадлежали къ очень почтенному чиновничьему роду. „Мы искони крапивные!“—шутя говаривалъ Семенъ Прокофьичъ, и отнюдь не скорбѣлъ о томъ, что въ ряду его предковъ не было ни князя Тарелкина, который былъ знаменитъ тѣмъ, что цѣловалъ крестъ царю Борису, потомъ цѣловалъ крестъ Лже-Димитрію, потомъ цѣловалъ крестъ Василію Ивановичу Шуйскому, и которому за всѣ эти поцѣлуи наконецъ выщипали бороду по волоску; ни маркиза Шасе-Круазе, который былъ знаменитъ тѣмъ, что въ одномъ нижнемъ бѣльѣ прибѣжалъ изъ Парижа въ Россію, и потомъ, въ 1814 году, вполнѣ экипированный, бралъ Парижъ вмѣстѣ съ союзниками. Отецъ Семена Прокофьича, уже умершій, служилъ совѣт-

никомъ въ управѣ благочинія; отецъ Анны Михайловны, по фамиліи Рыбниковъ, находился еще въ живыхъ и служилъ архиваріусомъ въ одномъ изъ министерствъ, но такъ какъ имѣлъ генеральскій чинъ. то назывался не архиваріусомъ, а управляющимъ архивомъ.

Обѣ семьи жили чрезвычайно дружно и по воскресеньямъ обыкновенно собирались за обѣдомъ у Нагорновыхъ; а такъ какъ у Анны Михайловны были еще три сестры дѣвицы, то въ небольшой квартирѣ начальника отдѣленія бывало довольно людно и шумно. Это были единственные дни, когда Нагорновъ весь отдавался отдохновенію, не скребъ съ утра до ночи перомъ и даже позволялъ себѣ партикулярные разговоры. Скромный обѣдъ разнообразился праздничной кулебякой съ сигомъ, которую всѣ ѣли съ тѣмъ аппетитомъ, съ какимъ обыкновенно ѣдятъ люди очень рѣдкое и лакомое блюдо, и которая каждое воскресенье давала поводъ для одного и того же неизмѣннаго разговора.

— Я пятьдесятъ лѣтъ на свѣтѣ живу, и, благодареніе моему Богу, никогда изъ Петербурга не выѣзжалъ (и батюшка, и дѣдушка безвыѣздно въ Петербургѣ жили!), и за всѣмъ тѣмъ все-таки могу сказать утвердительно, что этой рыбки, да еще нашей корюшки, нигдѣ, кромѣ здѣшней столицы, достать нельзя. Вотъ въ Ревелѣ, говорятъ, какую-то вкусную кильку ловятъ—ну, той, въ свѣжемъ видѣ, никогда не видалъ, а чего не видалъ, о томъ и спорить не стану!—бесѣдовалъ Семенъ Прокофьичъ, тщательно выскребывая ножомъ съ тарелки сориики рыбы и капусты и отправляя ихъ въ ротъ.

— Въ Шлюшинѣ, сказываютъ, этого сига множество!—возражалъ Михайло Семенычъ Рыбниковъ.

— Помилуйте, батюшка! какой же въ Шлюшинѣ сигъ! Ладожскій ли сигъ, или нашъ невскій!

— Ну, да и кусается же этотъ невскій сижокъ!—вставляла свое слово Анна Михайловна: — Зина! Евлаша! Лёля! сестрицы! что жъ вы! съ сижкомъ!—обращалась она къ сестрамъ, которыя, въ качествѣ сущихъ дѣвицъ, не были свободны отъ нѣкотораго жеманства.

— Онѣ у меня скромницы!—шутилъ старикъ Рыбниковъ:— при людяхъ не ѣдятъ, а вотъ послѣ обѣда на кухню заберутся, такъ ужъ тамъ и съ сижкомъ, и съ кашкой, и съ рисемъ... пожалуй, и платья-то разстегнутъ!

Сестрицы слегка зарумянивались, а остальные присутствующіе заливались добродушнымъ хохотомъ.

Затѣмъ разговоръ переходилъ къ жареному гусю, по поводу котораго тоже высказывалось мнѣніе, что противъ петербургскаго гуся никакому другому не устоять.

— Слыхалъ я,—говорилъ Нагорновъ:—будто въ Москвѣ въ Новотроицкомъ трактирѣ какихъ-то необыкновенныхъ гусей подаютъ, да вѣдь это славны бубны за горами, а мы поѣдимъ нашего петербургскаго.

— У насъ гуси ланчатые!—замѣчалъ въ свою очередь старикъ Рыбниковъ, вновь возбуждая во всей компаніи веселый смѣхъ.

Послѣ обѣда старцы уединялись въ кабинетъ и попыхивали конѣчныя сигары, прислушиваясь къ женскому стрекотанію, немолчно раздававшемуся въ спальной, и пэрѣдка перебрасываясь замѣчаніями.

— Такъ такъ-то, батюшка, ваше превосходительство!—говорилъ Семенъ Прокофьичъ.

— Да, есть тово... немного!—отвѣтствовалъ, позѣвывая, Михайло Семенычъ.

И такимъ порядкомъ проходило воскресенье за воскресеньемъ, безъ всякой надежды, чтобъ въ эту жизнь когда-нибудь проникнулъ свѣжій, живой элементъ.

Только въ серединѣ пятидесятыхъ годовъ, когда русская жизнь какъ будто тронулась, воскресные обѣды Нагорновыхъ нѣсколько оживились, ибо каждую недѣлю являлась какая-нибудь новость, которая задѣвала за живое и о которой трудно было не потолковать.

— Вотъ и марки почтовыя проявились! и инспекторскій департаментъ упразднень!—сообщалъ Семенъ Прокофьичъ, относившійся впрочемъ къ реформамъ съ большою благосклонностью:—а что вѣдь, ежели теперича все сообразить, сколько въ теченіе одной прошлой недѣли переформировано, такъ я думаю, что даже самаго обширнаго ума на такую работу не достанетъ!

— Это вамъ, молодымъ людямъ, въ диковинку эти реформы-то! —возражалъ старикъ Рыбниковъ:—а у меня, братъ, въ архивѣ, всѣ эти реформы какъ на ладони видны—вѣ какъ! За какую связку, ни возьмись, во всякой какую-нибудь реформу сыщешь!

— Ну, нѣтъ, батюшка! Это не такъ! прежде на бумагѣ-то города брали, а теперь настоящее дѣло пошло! Я самъ въ коммиссіи о

распространеніи единомыслія двадцать лѣтъ членомъ состоялъ—и что жъ! сто-одинъ томъ трудовъ выдали, и все-таки ни къ какому заключенію придти не могли! Потому—рано было! А теперича разомъ весь этотъ матеріалъ и двинули! Возьмемъ хоть бы почтовые ящики—какое это для всѣхъ удобство! Написалъ письмо, пошелъ въ департаментъ, опустилъ мимоходомъ въ ящикъ—и покоенъ! Нѣтъ, какъ же можно! Только бы, съ Божьею помощью, потихоньку да полегоньку, да безъ революцій!

— Давай Богъ! давай Богъ!

Но скоро и о почтовыхъ ящикахъ разговоры исчерпались, или, лучше сказать, они сдѣлались такими же скучными и вялыми, какъ и разговоры о пирогѣ съ сигомъ. И вдругъ въ это сѣренькое затишье, въ эту со всѣхъ сторонъ запертую и ничѣмъ не смущаемую среду ворвалось что-то новое, быть можетъ когда-то составлявшее предметъ завѣтнѣйшихъ мечтаній, но давнымъ-давно уже, за давностью лѣтъ, оставленное и позабытое... Анна Михайловна совершенно неожиданно оказалась беременною, и вотъ въ одно изъ воскресеній Семенъ Прокофьичъ слѣдующею рѣчью встрѣтилъ своего тестя:

— Подобно тому, какъ древле Захарія, священникъ Авіевой чреды, на склонѣ дней своихъ...

— Ну, братъ, исполать!—не далъ докончить ему обрадованный Рыбниковъ:—молодецъ! гдѣ же она? гдѣ же Анюта?

— А вотъ и самая оная Елисаветъ!—какъ-то блаженно улыбаясь, отвѣтилъ Семенъ Прокофьичъ, указывая на выходящую изъ спальной Анну Михайловну, которой щеки на сей разъ алѣли уже не отъ однихъ хлопотъ по приготовленію пирога, но и отъ той сладкой застѣнчивости, которую ощущаетъ всякая женщина, готовящаяся въ первый разъ подарить своей странѣ гражданина:—сего числа особа эта утвердительно можетъ сказать: взыграла младенецъ во чревѣ моемъ!

— Ну, братъ, не ждалъ! Молодецъ! молодецъ Анюта! и ежели теперича внукъ... вы непремѣнно Михайломъ его назовите!

— Что будетъ мнѣ сынъ, а вамъ внукъ—въ этомъ я никакого сомнѣнья не имѣю, потому, что въ моей фамиліи никогда женскаго пола не было, да и вообще по всему оно такъ видимо! Ну, и Михайломъ мы его тоже назовемъ: пускай будетъ такой же достойный Михайло Семенычъ, какъ и тезоименитый его дѣдъ!

Въ этотъ день обѣдъ былъ какъ-то особенно торжественъ и оживленъ. Радость прокралась въ эту скромную, тѣсную столовую и освѣтила ее лучомъ своимъ. Лица расцвѣли и покрылись словно глянцемъ; груди вздымались подъ напливомъ наполнявшаго ихъ блаженства; глаза застилались туманомъ счастія и непзреченной вѣры въ какое-то сладкое, свѣтлое, полное всевозможныхъ благъ будущее.

— Батюшка! откушайте-ка пирожка! Сегодня мы поѣдимъ и попьемъ! У меня, батюшка, сегодня праздникъ праздниковъ, торжество изъ торжествъ!—говорилъ Семенъ Прокофьичъ:—на склонѣ дней моихъ... Анюта! другъ мой! не тревожься!

— Да, братъ, теперь надо вамъ подумать... и крѣпко подумать! Потому что ежели ему теперича хорошее начало положить, такъ это, братъ, на всю жизнь пойдетъ!

— Я, батюшка, ужъ все обдумалъ. Анюта сначала предлагала въ конную гвардію его опредѣлить, но теперь, благодареніе Богу, мы такъ общими силами порѣшили: отдать нашего младенца въ такое заведеніе, гдѣ больше чиновъ даютъ!

— Это, братъ, правильно, потому что безъ чиновъ тоже нельзя. Хоть и поговариваютъ объ уничтоженіи, а я такъ полагаю, что никогда имъ скончанья не будетъ!

— И мы проживемъ, и дѣти наши, съ Божьею помощью, проживутъ, и никто чинамъ конца не увидитъ! А вы, сестрицы, какъ полагаете? по штатской или по военной пустить нашего Михайлу Семеныча?

Сестрицы, въ качествѣ сущихъ дѣвицъ, вмѣсто отвѣта, конфузливо катали изъ хлѣба шарики.

— Онѣ, братъ, у меня штатскія! въ архивѣ воспитаніе получили! —шутилъ Рыбниковъ.

— Ну, и слава Богу! Я, батюшка, такъ думаю, что первѣе всего слѣдуетъ достигать, чтобъ перо *у него* хорошее было и чтобъ на начальство *онъ* правильный взглядъ имѣлъ. Потому что ежели при нынѣшнемъ стремительномъ направленіи да еще хорошее перо... можно заранѣе поручиться, что онъ каждаго начальника уловитъ будетъ въ состояніи!

— Да, перо... хоть оно и гусиное...

— Я по себѣ, батюшка, знаю, что значитъ „перо“. Теперича у меня начальникъ всего только одно слово и можетъ говорить, да

и то не для всѣхъ вразумительно, однако я это слово понимаю. а потому онъ мною и дорожитъ. Мало того: иное время онъ даже слово-то, которое знаетъ, высказать тяготится. только лобъ морщитъ. а я все-таки понимаю!

— Все равно, что іерогрифъ!

— Іероглифъ—это такъ точно. Только надобно къ этому іероглифу ключъ имѣть; а какъ скоро его имѣешь, то прочая вся приложатся. А что бы я сдѣлалъ, кабы иеромъ не владѣлъ!

Съ этихъ поръ воскресныя бесѣды получили иной характеръ. Несмотря на то. что героямъ являлся все одинъ и тотъ же нетерпѣливо ожидаемый Михайло Семенычъ, въ разговорахъ явилось какое-то непстощимое разнообразіе. Старики были рады несказанно и строили предположенія за предположеніями. Конечно, проскакивали между ними и не совсѣмъ радостныя. Припоминалась, напримѣръ. тяжелая, трудная молодость, приномпнались характеры начальниковъ и какъ трудно было ладить съ ними. Но эти мгновенныя тѣни тотчасъ же разсѣевались передъ твердою увѣренностью, что Миша непремѣнно будетъ скромный, работящій и въ то же время талантливый малый. который легко овладѣетъ тайнами „пера“. а слѣдовательно съумѣетъ поработить всякаго начальника.

— Съ начальникомъ, батюшка, только ладить надо умѣть.— говорилъ Семенъ Прокофьичъ:—а какъ скоро его обладилъ, то поѣзжай на немъ безъ опасности!

— Я, братъ, такихъ начальниковъ видалъ. что даже поноску носить были готовы!—подтверждалъ Рыбниковъ.

— И даже съ удовольствіемъ-съ. Потому что начальникъ—онъ въ себѣ помощи не находитъ, ну и обращается къ подчиненному! и ужъ радъ-радъ. коли его кто выручить можетъ!

Однимъ словомъ, въ виду ожидаемаго новаго человѣка. допускалось даже легкое кощунство, ибо не было возможности устроить желаннымъ образомъ его судьбу безъ того. чтобы какъ-нибудь не потѣснить другихъ. Что Миша во что бы ни стало долженъ создать себѣ карьеру—это стояло внѣ всякаго сомнѣнія: а можетъ ли онъ достигнуть этого иначе, какъ сдѣлавшись необходимымъ кому-нибудь изъ сильныхъ міра сего? Очевидно. не можетъ. потому что у него нѣтъ ни блестящихъ связей. ни знатной родни, ни денегъ. Стало быть, онъ долженъ понравиться. а понравиться онъ можетъ лишь въ

томъ случаѣ, когда сильный міра сего настолько безпомощенъ, что не можетъ безъ Мини ни шагу ступить. Тогда только этотъ сильный, но безпомощный найдется въ необходимости, въ отплату за избавленіе его отъ безпомощности, подѣлиться съ своимъ избавителемъ хотя однимъ кускомъ того безконечнаго пирога, около котораго неотступно кишатъ миріады закусывателей, и какъ ни стараются, а все не могутъ окончательно докопать его. И Мина несомнѣнно доберется до этого куска, и будетъ, какъ и всѣ прочіе, глодать и сосать его, потому что было бы даже несправедливо предоставить это право людямъ, которые могутъ только „морщить лобъ“ и линить его человѣка, которому извѣстны всѣ тайны „пера“...

Подъ шумокъ этихъ мечтаній и предположеній Анна Михайловна съ своей стороны дѣятельно готовилась. Сестрицы ежедневно бѣгали въ квартиру Нагорновыхъ, гдѣ, кромѣ нихъ, появилась еще новая гостья, въ лицѣ повивальной бабки, Христины Карловны Либефрау. Женщины не выходили изъ спальной и неустанно между собою шушукались, кроили, шили, перебирали старыя рубашки Семена Прокофьича и рвали ихъ. Результатомъ этой суеты было то, что еще за мѣсяцъ до родовъ въ квартирѣ начальника отдѣленія появилась дѣтская кроватка и вездѣ лежали вороха всякаго бѣлья.

Наконецъ, въ одинъ морозный декабрскій день, предчувствія заботливыхъ родителей насчетъ того, что у нихъ непремѣнно будетъ сынъ, а не дочь, осуществились самымъ буквальнымъ и блистательнымъ образомъ: въ этотъ день Михайло Семенычъ Нагорновъ увидѣлъ свѣтъ.

Нѣтъ надобности разсказывать, какъ шло первоначальное воспитаніе Мини. За нимъ ухаживали, его мыли и нянчили всѣ, начиная отъ Анны Михайловны съ сестрицами и кончая Семеномъ Прокофьичемъ и старикомъ Рыбниковымъ. Въ домѣ его называли не иначе, какъ Михайломъ Семенычемъ, и всѣ до единаго глядѣли ему въ глаза, хотя Семенъ Прокофьичъ по временамъ и высказывалъ какую-то особенную воспитательную теорію, которая явно клонилась къ ущербу Мини. Теорія эта была, впрочемъ неновая и заключалась въ томъ, что всякаго младенца, для его же пользы, необходимо направлять на путь истинный посредствомъ лозы.

— Да, это такъ!—говорилъ онъ тономъ непреложнаго убѣжденія: — изстари ужъ такъ оно повелось, да и по себѣ я знаю, что человѣку безъ розги даже человѣкомъ сдѣлаться невозможно.

— Это ангела-то Божья! Это радость-то нашу!—накидывалась на него Анна Михайловна:—такъ тебѣ и дали! да ты ошалѣлъ, въ департаментѣ-то сидючи!

— Я не объ Михайлѣ Семенычѣ рѣчь веду, а вообще, съ теоретической точки зрѣнія дѣло обсуждаю! Вы, женщины, серьезнаго разговора вести не можете, потому что съ вами даже объ созданіи міра если заговоришь, такъ вы и тутъ свои тряпки и шиньоны съумѣете приплести! Объ Михайлѣ Семенычѣ—не знаю, а *вообще*—оно такъ! Даже государственные люди—и тѣ это средство на себѣ испытывали!

Но Миша, какъ бы подозрѣвая коварные подходы отца, росъ такъ тихо и благонравно, что рѣшительно не давалъ ни малѣйшаго повода къ примѣненію мѣръ строгости. Едва началъ онъ лепетать, какъ обнаружилъ необыкновенную понятливость и ласковость. Онъ такъ трогательно повторялъ утромъ и вечеромъ: „Спаси, Господи, папеньку, маменьку, дѣдушку, тетенекъ, начальниковъ, покровителей и всѣхъ православныхъ христіанъ“, и такъ мило при этомъ картавилъ и сюсюкалъ, что сердца родителей таяли отъ удовольствія. Четырехъ лѣтъ онъ зналъ наизусть „Отче нашъ“ и „Все упованіе мое“; аккуратно послѣ обѣда и чаю цѣловалъ ручки у папаши и мамаши, и каждое воскресенье непремѣнно сопровождалъ Семена Прокофьича къ обѣднѣ. Трудно было не радоваться на этого милаго ребенка, когда онъ, совершенно готовый въ путь, вбѣгалъ въ кабинетъ отца и торопилъ его въ церковь.

— Папа! скорѣе! звонятъ! — кричалъ онъ своимъ звонкимъ дѣтскимъ голосомъ.

— Сейчасъ, душенька! трезвонить еще будутъ!

— Мнѣ, папаша, ждать нельзя! я часы слушать хочу!

Съ какимъ-то особеннымъ чувствомъ гордости и блаженства шелъ Семенъ Прокофьичъ по Малой Подъяческой, ведя за руку сына, который истово и солидно переступалъ за нимъ своими маленькими ножками.

— Вашъ-съ?—спрашивали его встрѣчавшіеся по дорогѣ другіе начальники отдѣленій, которыми особенно изобилуетъ эта мѣстность.

— Самъ дѣлалъ!—шутилъ Семенъ Прокофьичъ:—вотъ какого пузыря выростилъ!

— По гражданской части пустить намѣрены?

— Въ департаментъ, батюшка, въ департаментъ! Сначала въ заведеніе отдадимъ (безъ этого нынче нельзя), а потомъ и на большую дорогу поставимъ!

И затѣмъ, въ теченіе цѣлаго обѣда, непремѣнно шла рѣчь о Мишѣ, о его необыкновенномъ благонравіи и набожности.

— Даже затормошилъ меня! — повѣствовалъ Семенъ Прокофьичъ:—„часы, говоритъ, слушать хочу!“

— А намеднись,—хвасталась Анна Михайловна:—просто даже удивилъ! „Мама, говоритъ, куши мнѣ ризу!“ Я спрашиваю: зачѣмъ тебѣ, душенька? „А я, говоритъ, дома каждый день обѣдню служить буду!“

— Что жъ? Это недорого стоитъ!—вступился старикъ Рыбниковъ:—погоди, Михайло Семенычъ, я тебѣ ужо ризу подарю, да ужъ и камилавку кстати состряпаемъ—служи себѣ да послуживай!

И дѣйствительно, къ величайшей радости Миши, у него вскорѣ явились и риза, и камилавка, и вырѣзанное изъ бумаги кадило. Запасшись этими принадлежностями, онъ цѣлые дни расхаживалъ по комнатамъ, размахивая кадиломъ и во весь свой дѣтскій голосъ выкрикивая: „аллилуія!“

Чѣмъ болѣе выросталъ Миша, тѣмъ благонравнѣе и понятливѣе онъ становился. Когда на восьмомъ году его усадили за грамоту, то оказалось, что онъ ловитъ азы и склады налету. И что всего важнѣе—не только съ быстротою усвоиваетъ себѣ грамоту, но въ то же время смотритъ учителю въ глаза и въ ротъ. Словомъ сказать, и въ этомъ случаѣ онъ обнаружилъ такую ласковость, что даже учитель (дешевенькій, изъ кантонистовъ) былъ уязвленъ ею до глубины души, и никогда не отзывался родителямъ о Мишѣ иначе, какъ съ воліеніемъ.

— Это такой,—восклицалъ онъ:—такой, доложу вамъ... ну, просто, такой-съ...

— Ну, и слава Богу!—говорила Анна Михайловна съ блаженной улыбкой.

— Нѣтъ-съ, вы себѣ представить не можете! Это такой-съ... это, можно сказать, гордость-съ... Это просто именно...

Родители радовались и приглашали учителя въ воскресенье отвѣдать кулебяки съ сигомъ.

Природа дала Мишѣ понятливость: благонравіе дала ему среда, или, лучше сказать, квартира, въ которой онъ воспитывался. Эта квартира была совершенно своеобразная, такъ сказать, не самостоятельная, а служившая продолженіемъ департамента. Обстановка, въ которой жило семейство Нагорновыхъ, вовсе не говорила о томъ, что тутъ живутъ люди, которые бьются со дня на день и думаютъ только о томъ, какъ бы спастись отъ нищеты. Напротивъ, здѣсь видѣлась даже извѣстная степень изобилія и запасливости. Но за всѣмъ тѣмъ на всемъ лежала такая печать наготы, монотонности и безрадостности, что свѣжій человѣкъ, безъ всякихъ посторонніхъ внушеній, понималъ, что позволь себѣ хозяинъ хотя на пядь отступить отъ самой строгой аккуратности—и вся эта запасливость разлетится въ прахъ. Все было пригнано и урѣзано такъ, чтобы жизнь вращалась только около необходимаго, не дозволяя себѣ никакого уклоненія въ сторону, а тѣмъ менѣе баловства. Если на мебели можно сидѣть—ну, и слава Богу: если въ подсвѣчникъ можно вставить свѣчу—вотъ все, что̀ требуется. Вся роскошь заключалась въ чистотѣ и въ той казенной симметріи, съ которою была расположена каждая вещь. Казалось, что эту квартиру когда-то обмеблировали, засадили туда какихъ-то людей, не совсѣмъ арестантовъ, но и не совсѣмъ не-арестантовъ, и потомъ закупорили со всѣхъ сторонъ, съ тѣмъ, чтобы туда никогда не проникала струя свѣжаго воздуха. Затѣмъ постепенно образовалась какая-то кисленькая атмосфера, къ которой живущіе въ ней такъ принюхались, что уже не обнаруживали ни малѣйшаго поползновенія освѣжиться. Эти люди отмѣривали время съ такою же безучастною объективностью, съ какою аршинникъ мѣряетъ матерію: вотъ отмѣрено двадцать-четыре аршина, потомъ еще, а тамъ гробъ—и конецъ отмѣриванію. Внѣ стѣнъ квартиры—все было неизвѣстность и мракъ. Внѣшній міръ наполненъ подводныхъ камней, опасностей и обидъ. Попробуй-ка, сунься выйти на улицу—какъ разъ наскочишь на сорванца, который или языкъ тебѣ покажетъ, или архивной крысой обзоветъ, или просто до смерти замистифируетъ. А дома между тѣмъ тепло и уютно; знаешь, гдѣ какая вещь лежитъ, ни на что не наткнешься и ужъ, конечно, не поскользнешься на пространствѣ какихъ-нибудь пяти-шести саженъ. Стало быть, жить слѣ-

дуетъ такимъ образомъ: какъ можно больше прижиматься къ сторонѣ, никого не затрогивать и твердо знать, въ какіе часы какая обязанность предстоитъ, не смѣшивая и тѣмъ болѣе не допуская легкомысленной забывчивости.

Быть можетъ, этотъ безрадостный складъ жизни возбуждалъ когда-то въ сердцѣ смутный ропотъ, но съ теченіемъ времени онъ такъ всосался въ плоть и кровь, что сдѣлался второю природой. Ни Семена Прокофьича, ни Анну Михайловну даже не порывало никуда: не только въ гости или въ театръ, но просто прогуляться. Они выходили изъ квартиры только по нуждѣ: онъ—въ департаментъ, она—на рынокъ, и забыли даже о возможности какихъ-либо другихъ отлучекъ. За все послѣднее время Семенъ Прокофьичъ только два раза вышелъ прогуляться, да и тутъ не обошлось безъ непріятностей. Въ первый разъ налетѣлъ на него какой-то сорванецъ, объявилъ себя старымъ знакомымъ, очень искусно выпыталъ, что у Семена Прокофьича была пріятельница, какая-то Катерина Прохоровна, увѣрилъ, что она умерла, и въ ту самую минуту, когда старикъ Нагорновъ вошелъ во вкусъ, сталъ охать и ахать—показалъ ему языкъ и убѣжалъ. Въ другой разъ налетѣлъ другой сорванецъ, снялъ шляпу, перекрестился и поцѣловалъ его прямо въ орденъ святыя Анны, который Семенъ Прокофьичъ очень тщательно и не безъ нѣкотораго хвастовства разстплалъ у себя на груди. Все это было обидно и больно, все убѣждало сидѣть дома и какъ можно рѣже переступать за порогъ его.

Въ такой атмосферѣ Миша невольно складывался благонравнымъ, аккуратнымъ, усидчивымъ и почтительнымъ ребенкомъ. Съ самой ранней юности слухъ его все чаще поражали слова: служба и департаментъ. Съ утра до вечера онъ слышалъ разговоры о департаментѣ, въ которыхъ сосредоточивалось все: и сѣтованія, и радости, и надежды, и предвидѣнія будущаго. Спрашивалъ ли онъ утромъ, куда папаша собирается—ему отвѣчали: въ департаментъ. Кто въ передней дожидается съ портфелемъ?—курьеръ привезъ бумаги отъ директора департамента. Чему папаша радуется?—ему привезли орденъ изъ департамента. Отчего папаша встревоженъ?—онъ боится, чтобъ его не обошли въ департаментѣ наградой. Начиналъ ли онъ рѣзвиться шумливѣе обыкновеннаго—его останавливали фразой: „не шуми, не мѣшай папашѣ; у него завтра докладъ въ департаментѣ“.

Въ скрипѣ пера, въ щелканьи косточками щетовъ, раздававшемся по вечерамъ въ тиши отцовскаго кабинета, въ той торопливости, съ которою подавался обѣдъ по приходѣ отца,—вездѣ слышался департаментъ. Даже когда Семенъ Прокофьичъ заваливался послѣ обѣда вехрапнуть на диванѣ, и тогда невольно приходило на умъ: такъ можетъ храпѣть только человѣкъ, намаявшійся утромъ въ департаментѣ! Однимъ словомъ, было очевидно, что папаша былъ прикрѣпленъ къ департаменту таинственною пуповиной, которую ежели разорвать, то папаша изойдетъ кровью, а за нимъ слѣдомъ изойдетъ кровью и все то, что̀ разъ навсегда заперто въ этой квартирѣ.

Правда, что представленія Миши о департаментѣ еще были довольно фантастичны. Онъ не понималъ дѣйствительной департаментской организаціи, а скорѣе представлялъ ее себѣ въ видѣ какого-то загадочнаго царства тѣней. Войдя въ это царство, папаша перестаетъ быть папашей, сохраняетъ только крестъ на шеѣ и, окруженный Васильемъ Прохорычемъ, Авдѣемъ Дмитричемъ, Алексѣемъ Иванычемъ и Владиміромъ Николаичемъ (такъ назывались столоначальники Нагорнова), витаетъ въ пространствѣ, созерцая лицо директора и непрестанно славословя предъ нимъ. Но вотъ пробило четыре часа—и видѣнія исчезаютъ. Папаша снова дѣлается папашей, надѣваетъ пальто и вмѣстѣ съ прочими волотившимися тѣнями, словно изъ темной трубы, выползаетъ изъ-подъ арки главнаго штаба. Черезъ минуту все пространство отъ Малой Милліонной до Подъяческихъ наполняется блѣдными, изнуренными лицами, на которыхъ читается одна настоятельная мысль: пора водку пить!

Но какъ ни фантастичны были эти мечты, важно было то, что въ мозгу Миши уже внѣдрилась идея департамента. Департаментъ —это цѣлое будущее; департаментъ—это глухой переулокъ, изъ котораго можно выйти только назадъ по Большой Морской въ Подъяческую. Департаментъ—это сама неизбѣжность, это шхера, около которой какъ ни лавируй, все-таки никакъ не минешь, чтобы не наткнуться на нее.

— И благодѣтельная шхера-съ! тутъ не разобьешься, а слаще, чѣмъ въ наилучшей гавани отдохнешь! — объяснялъ Семенъ Прокофьичъ, когда кто-нибудь позволялъ себѣ выразить въ его присутствіи хоть какое-нибудь сомнѣніе насчетъ живительныхъ свойствъ департамента.

Или:

— Ты попробуй-ка, сунься въ другомъ мѣстѣ поискать—анъ тутъ оступился, въ другомъ мѣстѣ промахъ далъ, а въ третьемъ и вовсе оказался негоднымъ! А въ департаментѣ-то какъ у Христа за пазушкой! дѣло у тебя постоянное, вѣрное... какъ калачъ! Не только никакихъ выдумокъ отъ тебя не требуютъ, но даже если бы ты и гораздъ былъ на выдумки, такъ запретъ тебѣ на нихъ положатъ! Пиши! округляй! а выдумывать предоставь прощелыгамъ да проходимцамъ. Такъ то-съ!

Благодаря такой обстановкѣ, Миша незамѣтно научился смотрѣть на родительскую квартиру какъ на продолженіе департамента, на отца—какъ на ходячій осколокъ департамента, и даже на самого себя—какъ на дитя департамента.

— А скоро, папаша, я въ службу пойду?—часто приставалъ онъ къ Семену Прокофьевичу.

— Вотъ, душенька, выучишься, а тамъ съ Богомъ и на службу! Вмѣстѣ будемъ лямку тянуть!

— И мундиръ мнѣ, папаша, дадутъ?

— И мундиръ дадутъ, и крестъ дадутъ... все какъ у папаши! Будь только прилеженъ да благонравенъ, а начальство ужъ наградитъ!

Слушая такія рѣчи, Миша усугублялъ рвеніе и, никогда не теряя изъ вида департамента, съ какою-то восторженностью зубрилъ: „города, стоящіе на Волгѣ, суть: Ржевъ, Зубцовъ, Старица, Тверь, Корчева и т. д.“

— А чѣмъ замѣчателенъ городъ Лаишевъ?—по временамъ испытывалъ его отецъ.

— Лаишевъ, уѣздный городъ Казанской губерніи, стоитъ при рѣкѣ Волгѣ, имѣетъ соборъ и рыбныя ловли.

— Ну, а городъ Свіяжскъ, напримѣръ?

— Свіяжскъ, уѣздный городъ Казанской губерніи, стоитъ при сліяніи рѣки Волги и Свіяги, имѣетъ соборъ и рыбныя ловли.

— Ну, а городъ Чебоксары?

— Чебоксары, уѣздный городъ Казанской губерніи, стоитъ на рѣкѣ Волгѣ, имѣетъ соборъ и рыбныя ловли.

— Да такъ ли, полно? что-то ты ужъ очень сходственно говоришь!

— Это такъ точно-съ, Семенъ Прокофьичъ,—вступался учитель:—Михайло Семенычъ нашъ не слукавитъ-съ! Это такой ребенокъ... такой, доложу вамъ, ребенокъ-съ...

И шли дни за днями, укрѣпляя въ Мишѣ вѣру въ ожидающее его департаментское будущее и обогащая его умъ познаніями. Наконецъ Ветлуги, Мценски и Новосили неизгладимыми буквами навсегда утвердились въ его памяти. Мишѣ минуло двѣнадцать лѣтъ. Это былъ срокъ, въ который заранѣе назначено было отдать его въ „заведеніе“.

„Заведеніе“, въ которое поступилъ Миша Нагорновъ, имѣло спеціальностью воспитывать государственныхъ младенцевъ. Поступитъ въ „заведеніе“ партикулярный ребенокъ—сейчасъ начнутъ его со всѣхъ сторонъ обшлифовывать и обгосударствливать,—глядишь, черезъ шесть, семь лѣтъ ужъ выходитъ настоящій, заправскій государственный младенецъ.

Государственный младенецъ тѣмъ отличается отъ прочихъ людей вообще и отъ людей государственныхъ въ особенности, что даже въ преклонныхъ лѣтахъ не можетъ вырости въ мѣру человѣка. Вглядитесь въ его жизнь и дѣйствія—и вамъ сразу будетъ ясно, что онъ совсѣмъ не живетъ и не дѣйствуетъ, въ реальномъ значеніи этихъ словъ, а все около чего-то вертится и что-то у кого-то заимствуетъ. Или около человѣка, или около теоріи, вообще около чего-то такого, что̀ съ нимъ, государственнымъ младенцемъ, не имѣетъ ничего общаго. Въ низменныхъ слояхъ общества это свойство обнаруживается съ особенною наглядностью. Очень часто вы встрѣчаете малаго лѣтъ сорока, пятидесяти, которому совершенно развязно говорятъ:

— Оедя! возьми, братъ, тамъ на столѣ рублевую и бѣги въ лавку за икрой!

Или:

— Оедя! слетай, братъ, къ Ивану Иванычу, скажи ему, что намъ безъ него жить невозможно!

Оедя беретъ рублевую, бѣжитъ въ лавку, приноситъ фунтъ икры и безъ утайки двадцать копѣекъ сдачи. И вы чувствуете, что никому изъ здѣ предстоящихъ подобнаго приказанія отдать нельзя, а Оедѣ можно. Быть можетъ, у Оеди сѣдина въ бородѣ пробивается,

быть можетъ, у него есть жена и дѣти, а его все-таки посылаютъ въ лавочку за икрой, и ему не приходитъ даже въ голову протестовать противъ подобнаго помыканія. Почему?—а потому просто, что онъ не выросъ и никогда не выростетъ въ мѣру человѣческаго роста. потому что онъ не живетъ, не поступаетъ, а вертится и гоношитъ.

Въ высшихъ сферахъ это состояніе вѣчнаго младенчества выступаетъ не такъ рельефно, во-первыхъ, потому, что человѣкъ-планета, около котораго вертится человѣкъ-спутникъ, не всегда бываетъ для простого глаза видимъ, а во-вторыхъ потому, что если человѣкъ-планета и видимъ, то онъ заявляетъ о своемъ присутствіи въ болѣе мягкихъ формахъ. Сколько спутниковъ имѣли и имѣютъ, напримѣръ, такія планеты, какъ Меттерних, Наполеонъ, Бисмаркъ и другіе? Сколько спутниковъ имѣли и имѣютъ другія, еще болѣе таинственныя планеты, какъ напримѣръ: неуклонное исполненіе обязанностей. строгость, натискъ, нелицепріятное примѣненіе правосудія и такъ далѣе?—На эти вопросы ни одинъ мудрецъ даже приблизительно не отвѣтитъ. Стоитъ начертить кругъ, дать ему названіе системы или принципа, чтобы въ этомъ кругѣ появились міріады вѣчныхъ недорослей, которые по первому манію и въ лавочку за икрой побѣгутъ, и подслушать не прочь, а въ случаѣ крайности—даже изъ ружья выпалить готовы.

— Ѳедя! подслушай!

— Опасно!

— Да ты не толкуй, а пойми, что тебѣ говорятъ: надо подслушать!

А у Ѳеди тѣмъ временемъ ужъ и морду перекосило отъ усердія и натуги; онъ только для острастки, для вида протестовалъ, а на самомъ дѣлѣ ужъ даже смекнулъ, какъ эту шутку устроить.

— Надо это дѣльце умненько сдѣлать,—говоритъ онъ:—вотъ развѣ...

И начинаетъ развивать цѣлый планъ, одинъ изъ тѣхъ плановъ, которые всегда какъ-то разомъ рождаются въ головахъ недорослей. небогатыхъ инициативой, но изобилующихъ всевозможными исполнительными каверзами. Ему и боязно, и въ то же время онъ сознаетъ. что не подслушать для него никакъ невозможно. Подобно выдрессированному зайцу, приближается вѣчный недоросль къ взведенному курку ружья, дрожа всѣмъ тѣломъ, хватается зубами за веревочку,

спускаетъ курокъ... и прежде, чѣмъ ружье успѣетъ выпалить, падаетъ въ обморокъ. Кажется, тутъ есть все: и отвращеніе къ огнестрѣльному оружію, и страхъ, и даже обморокъ, а все-таки онъ спуститъ курокъ и въ этотъ, и въ другой, и въ милліонный разъ, потому что этого требуетъ отъ него система, это предписываетъ человѣкъ-планета: Меттернихъ, Наполеонъ III, Бисмаркъ...

Миша Нагорновъ съ самыхъ раннихъ лѣтъ обнаруживалъ готовность вертѣться и быть вѣчнымъ недорослемъ. Уже дома онъ умѣлъ смотрѣть старшимъ въ ротъ и въ глаза, и зналъ, когда слѣдуетъ поцѣловать въ ручку и когда—въ плечо. Въ „заведеніи“—этимъ благонадежнымъ зародышамъ было суждено распуститься въ пышный цвѣтъ. Онъ не просто слушался, а слушался съ удовольствіемъ, съ радостью. Глаза его при этомъ блестѣли, ротъ улыбался, сердце билось; однимъ словомъ, все его существо принимало благодарное участіе въ подвигѣ послушанія. Это былъ даже не подвигъ для него—это было требованіе его натуры. Онъ понималъ надзирателя съ одного слова, и всегда шелъ дальше этого слова, то-есть отгадывалъ сокровенную его мысль, доканчивалъ ее и комментировалъ въ ущербъ себѣ и на пользу послушанію. Несмотря на общій, довольно высокій уровень благонравія въ заведеніи, Миша даже между благонравными былъ благонравнѣйшимъ. Онъ вовсе не былъ смиренъ въ банальномъ значеніи этого слова; нѣтъ, онъ былъ даже рѣзокъ, но это была та милая, откровенная рѣзвость, которая такъ по сердцу воспитателямъ и которая свидѣтельствуетъ о всегда открытомъ сердцѣ воспитываемаго.

— Нагорновъ ведетъ себя и учится хорошо не потому, что этого требуютъ уставы заведенія, а потому, что ему *пріятно* учиться и вести себя хорошо, — говорили о немъ начальники и, высказывая эту истину, обнаруживали несомнѣнную проницательность и знаніе человѣческаго сердца, не всегда начальству свойственное.

— Я, маманя, не понимаю, какъ можно быть послѣднимъ въ классѣ!—на первыхъ же порахъ сообщилъ онъ Аннѣ Михайловнѣ: —насъ въ классѣ тридцать-три человѣка, а всегда какъ-то такъ случается, что я и по наукамъ, и по поведенію первый!

— Это оттого, что ты слушаешься, душенька!

— Я, маманя, не то чтобы боялся чего-нибудь, а такъ... пріятно! Вотъ у насъ одинъ ученикъ, Погорѣловъ, есть, такъ тотъ

тоже всѣ уроки знаетъ, а все-таки никогда *первымъ* не будетъ! Во-первыхъ, онъ сидитъ на задней лавкѣ, а у насъ, мамаша, кто хочетъ *первымъ* быть, долженъ сидѣть на передней лавкѣ, чтобъ его всегда видѣли... Потому что, согласитесь сами, мамаша, ежели бы я, напримѣръ, сидѣлъ на задней лавкѣ, могъ ли бы учитель видѣть, что я всегда готовъ отвѣчать?

— Само собой, мой другъ.

— Или вотъ тотъ же Погорѣловъ: ведетъ-ведетъ себя хорошо —да вдругъ и нагрубитъ!

— Ты, душенька, съ мерзавцами-то не связывайся!

— Я, мамаша, ни съ кѣмъ не связываюсь, у кого балы дурные. Потому, я не знаю... мнѣ кажется, что съ ними мнѣ не объ чемъ говорить!

И дѣйствительно, ему не объ чемъ было говорить съ тѣми непослушными, вѣчно глядящими въ лѣсъ дѣтьми, экземпляры которыхъ, несмотря на обшлифовываніе, все-таки нерѣдки въ заведеніяхъ. Не то чтобы онъ преднамѣренно обѣгалъ ихъ, но природѣ его былъ положительно противенъ протестъ, котораго они были вмѣстилищемъ. „Послушаніе“ нашло въ немъ себѣ полнѣйшее осуществленіе. Онъ былъ рѣзвъ и смиренъ именно тогда, когда это какъ разъ сходилось съ уставами заведенія. Онъ вовсе не былъ произведеніемъ дрессировки, насильственнымъ образомъ заставляющей пригибаться подъ гнетомъ извѣстныхъ требованій; онъ представлялъ собой непосредственное олицетвореніе самого устава. Онъ инстинктомъ угадывалъ, когда слѣдуетъ быть рѣзвымъ и когда слѣдуетъ быть смирнымъ. Въ часы рѣзвости онъ былъ даже рѣзвѣе и шумливѣе другихъ, но для устава это было не только не оскорбительно, но даже очень пріятно. Что̀ означаетъ рѣзвость ребенка?—она означаетъ, что ребенокъ доволенъ собой, своими воспитателями, „заведеніемъ“, всею обстановкой. Она означаетъ, что въ ребенкѣ играетъ благодарное сердце, что онъ съ спокойной совѣстью обращается къ своему невинному вчерашнему дню и съ свѣтлымъ довѣріемъ взираетъ на свой невинный завтрашній день. Такая подкладка рѣзвости восхитительна даже въ томъ случаѣ, если она выражается нѣсколько шумно. Миша зналъ это, и потому въ назначенные для рѣзвости часы бѣгалъ рысью, скакалъ галопомъ, кувыркался, оглашалъ рекреаціонную залу крикомъ, и при этомъ никогда не приходило ему въ голову скрыться изъ

района гувернерскаго наблюденія. Съ своей стороны и воспитатели любовались его рѣзвостью, ибо видѣли, что дитя не повѣничаетъ. а рѣзвится—потому что оно довольно и исполнено довѣрія.

— Nagornoff, mon ami! vous êtes tout en nage! allons, reposons-nous, mon enfant!—говорилъ ему мсьё Петанлеръ, и говорилъ такимъ голосомъ, въ которомъ явственно звучала нота безконечнаго благожелательства къ милому ребенку.

Нагорновъ хваталъ эту ноту налету и, прекративъ кувырканье. садился невдалекѣ отъ мсьё Петанлера и дѣлался смирнымъ. Но не принужденье видѣлось въ его глазахъ, а удовольствіе, внушаемое сознаніемъ, что его усадили именно въ ту самую минуту, когда ему самому приходило на мысль, что слѣдуетъ сѣсть. Пройдетъ десять минутъ, онъ простынетъ, и мсьё Петанлеръ, конечно, скажетъ ему:

— Allons, mon ami! amusez-vous donc! Que diable! à votre âge il ne faut pas rester toujours sérieux!

И Миша опять начнетъ играть въ веревочку, прыгать, скакать —и все отъ души.

Такъ шло „поведеніе“ этого мальчика; такъ же шли и „науки“. Онъ понималъ, когда слѣдуетъ учиться и когда слѣдуетъ слушать. Въ часы репетиціи онъ весь уходилъ въ учебникъ, зажималъ себѣ уши, мѣрно качался всѣмъ корпусомъ и, изрѣдка выпрямляясь, съ какимъ-то гордо-довольнымъ видомъ произносилъ фразу изъ учебника, въ родѣ: „раздался звукъ вѣчевого колокола—и дрогнули сердца новгородцевъ“, или: „les Novogorodiens disaient oui et disaient oui et perdirent leur liberté“.

— Филимоновъ!—обращался онъ къ своему товарищу по лавкѣ: —почему Карамзинъ сказалъ: „*раздался* звукъ вѣчевого колокола“ и „*дрогнули* сердца новгородцевъ“, а не „звукъ вѣчевого колокола *раздался*“ и „сердца новгородцевъ *дрогнули*“?

— А почемъ я знаю! я у него въ головѣ не былъ!

— Чудакъ! потому что такъ сильнѣе! „Раздался“! „Дрогнули“! —тутъ натискъ есть. Надо, чтобы именно эти, а не другія слова сразу поразили читателя!

И затѣмъ онъ опять весь уходилъ въ учебникъ, зажималъ себѣ уши и мѣрно покачивался всѣмъ корпусомъ.

Но во время классовъ тетрадки и книги всегда лежали передъ нимъ закрытыми. Подобно фокуснику, производящему опыты магіи

на пичѣмъ не покрытомъ столѣ, онъ, казалось, говорилъ учителю: смотри! я безпомощенъ! ни подъ лавкой, ни на лавкѣ у меня ничего нѣтъ, а попробуй-ка спросить меня! И учитель понималъ это, и какъ бы магнитомъ влекся къ Нагорнову.

Вызываетъ, напримѣръ, русскій учитель:

— Господинъ Осликовъ! „Оселъ и соловей“—какая это часть рѣчи?

— Глаголъ-съ.

Миша Нагорновъ мгновенно весь просвѣтляется и ѣстъ учителя глазами.

— Извольте спрягать!

— Я оселъ и соловей, ты оселъ и соловей, онъ...

Осликовъ умолкаетъ, замѣчая, что учитель подставилъ ему ножку. Нагорновъ просвѣтляется больше и больше.

— Господинъ Нагорновъ! объясните господину Осликову, какая часть рѣчи „Оселъ и Соловей“!

— „Оселъ и Соловей“—это заглавіе одной изъ самыхъ правоучительныхъ басенъ дѣдушки Крылова. Это не часть рѣчи, а соединеніе трехъ словъ, изъ которыхъ два: „оселъ“, „соловей“—суть имена существительныя, а третье „и“—союзъ.

— Садитесь, господинъ Нагорновъ, а вы, господинъ Осликовъ...

И такъ далѣе.

Однимъ словомъ, между воспитателями и учителями съ одной стороны и Нагорновымъ—съ другой образовалась непрерывная симпатія, и—что всего важнѣе—образовалась совершенно естественно. Но за всѣмъ тѣмъ Миша не подольщался и не шіонствовалъ.—качества, которыя особенно не нравятся товарищамъ. Онъ и въ этомъ смыслѣ могъ бы считаться образцомъ, потому что угадывалъ сущность устава не только по отношенію къ начальству, но и по отношенію къ товариществу. Онъ сразу поставилъ себя такимъ образомъ, что никто ни въ чемъ не могъ его обвинить. Всякій видѣлъ, что Миша чистъ какъ хрусталь, что онъ не предумышленно хорошо ведетъ себя и учится, а потому что иначе вести себя и учиться не можетъ. Часто онъ даже помогалъ лѣнивымъ и тупымъ, объясняя передъ классомъ урокъ, переводя заданный отрывокъ изъ „De viris illustribus“, рѣшая математическія задачи и проч., но ни подсказывать, ни инымъ образомъ фальшивить не соглашался ни за что. Онъ даже лавку вы-

бралъ такую, на которой сидѣли юноши разумные, не нуждавшіеся въ подсказываньи, и былъ безконечно счастливъ, что можетъ безъ помѣхи всецѣло предаваться почтительному и радостному услѣживанію за выраженіемъ глазъ и рта учителя.

— Подлецъ ты, Нагорновъ!—брякнетъ отъ времени до времени Осликовъ, въ устахъ котораго слово: „подлецъ“, не имѣло впрочемъ никакого сознательно-ругательнаго значенія: — „Солитеръ“ (такъ звали въ „заведеніи“ учителя русской грамматики по причинѣ неимовѣрно-длиннаго его роста) канканъ въ нѣкоторомъ родѣ человѣку ставитъ, а тебѣ и горя мало. Еще радуется, выскакиваетъ!

— Послушай, душа моя!—отвѣтитъ Нагорновъ:—не могу же я, наконецъ! Чѣмъ же я виноватъ, что Амилій Васильевичъ ко мнѣ обращается?

И Осликовъ удовлетворяется этимъ объясненіемъ, ибо, въ сущности, самъ сознаетъ, что Нагорнову нельзя иначе, и что съ другой стороны и „Солитеру“ тоже ничего иного не остается, какъ обратиться за разрѣшеніемъ вопроса не къ кому другому, а къ Нагорнову, у котораго отъ природы всѣ разрѣшенія на лицѣ написаны.

Когда въ заведеніи происходили такъ-называемыя „исторіи“, никто изъ товарищей никогда не могъ навѣрное опредѣлить, участвовалъ ли въ нихъ Нагорновъ, или уклонился отъ участія. Скорѣе всего, что въ такія торжественныя минуты объ немъ совсѣмъ переставали думать. Какъ-то само собой разумѣлось, что Нагорнову тутъ быть не для чего, что это совсѣмъ не его дѣло. Тѣмъ не менѣе, приготовляясь къ „исторіи“, отъ него не скрывались и свободно развивали передъ нимъ проекты классныхъ возмущеній, не опасаясь, что онъ сошніопитъ. И дѣйствительно, онъ не только не шніопилъ, но, за-одно съ другими, выносилъ на себѣ послѣдствія „исторіи“.

— Eh bien, Nagornoff, mon ami! nous savons parfaitement que vous n'avez pas pris part dans cette vilaine histoire! Soyez donc sincère, mon enfant! Racontez-nous, comment cela s'est passé! —уговаривалъ его мсьё Петаплеръ, залучивъ куда-нибудь въ уединенную комнату.

— Pardonnez-moi, monsieur, j'ai été coupable comme les autres!—отвѣчалъ Миша, то краснѣя, то блѣднѣя подъ гнетомъ насилія, которое онъ долженъ былъ сдѣлать надъ собой, чтобы наклеветать самому на себя.

— Vous mentez, mon ami, vous qui ne mentez jamais! Prenez garde, cher enfant! n'entrez pas dans cette voie pernicieuse qui a déjà gâtée la carrière de maint jeune homme!

— Je vous assure, monsieur, que je ne mens pas!

Нагорнова отпускали, но онъ явственно слышалъ, какъ мсьё Петанлеръ, хотя и ничего отъ него не добившись, все-таки велѣлъ ему говорилъ:—Va, généreux jeune homme!

Такимъ образомъ, даже самыя „преступленія“ не только не пятнали его, но даже служили на пользу, сообщая ему, въ понятіяхъ начальства, оттѣнокъ чего-то рыцарскаго.

— Такъ какъ я не могу вѣрить, чтобъ воспитанникъ Нагорновъ участвовалъ въ вашей недостойной шалости, то, лишая весь классъ отпуска въ слѣдующее воскресенье, я для господина Нагорнова дѣлаю исключеніе!—сказалъ однажды инспекторъ послѣ одной изъ подобныхъ исторій.

Но Нагорновъ твердою стопой вышелъ изъ рядовъ и рѣшительно произнесъ:

— Позвольте и мнѣ раздѣлить участь моихъ товарищей!

Инспекторъ ласково взглянулъ на него, потрепалъ по щекѣ и, прошептавъ:

— Toujours le même! toujours bon et généreux!—прослѣдовалъ въ свои апартаменты.

Просьба *перваго* ученика была удовлетворена, и онъ раздѣлилъ участь своихъ товарищей.

Анну Михайловну такія исторіи всегда приводили въ волненіе. Во-первыхъ, онѣ лишали ее случая видѣть Мишу въ воскресенье дома, и во-вторыхъ, она, какъ женщина, постоянно трепетала, какъ бы Миша какъ-нибудь въ солдаты не угодилъ.

— Какіе-нибудь негодяи, мерзавцы кашу заварятъ,—жаловалась она:—а нашъ терпи! Ихъ домой не пускаютъ, и нашего не пускаютъ! ихъ въ солдаты—и нашего въ солдаты?

Но защитникомъ Миши въ этихъ случаяхъ являлся самъ Семенъ Прокофьичъ.

— Что касается до солдатовъ, то ты это черезъ-чуръ хватила,—говорилъ онъ:—А относительно товарищества вотъ что̀ скажу: товарищей тоже выдавать не слѣдуетъ. Почемъ знать, кто чѣмъ въ будущемъ сдѣлается? Можетъ прохвостомъ, а можетъ и съ неба звѣзды

хватать станетъ! Ты его теперь выдашь, а онъ въ свое время тебѣ припомнитъ: а помнишь ли, скажетъ, любезный другъ, какъ я передъ учителемъ дубина дубиной стоялъ, а ты въ ту пору надо мной фривольничалъ? Такъ-то вотъ.

— Все же таки...

— И все-таки ничего. Безъ ума головорѣзничать нашъ Михайло Семенычъ не станетъ—не таковъ онъ у насъ,—а держаться около товарищей полезно и нужно,—это я всегда скажу. Нынче такое время, что не знаешь, съ кѣмъ говоришь и къ кому завтра подъ начало попадешь. Ужъ я на что старикъ—и то берегусь. Сегодня *онъ* по тротуару гремитъ, а завтра *онъ* начальникомъ надъ тобой будетъ. Ты *ему* сегодня, покуда онъ по тротуару гремитъ, сгрубилъ, а завтра *онъ* тебя въ баранiй рогъ согнетъ... Вотъ тутъ и угадывай!

Соображенiя эти нѣсколько успокоивали Анну Михайловну, и едва успѣвали отобѣдать, какъ она уже летѣла въ „заведенiе“, завернувъ въ салфетку пирогъ съ сигомъ, до котораго въ эти дни, разумѣется, никто не дотрогивался. И умиленiе ея возрастало до крайнихъ предѣловъ, когда самъ Петанлеръ, узнавъ о ея пріѣздѣ, подходилъ къ ней и говорилъ:

— Вашъ сынъ, сударыня,—это утѣшенiе родителей, слава заведенiя и гордость товарищей!

Судебная реформа произвела въ „заведенiи“ необыкновенное, почти отуманивающее дѣйствiе, особливо съ той минуты, когда на дѣлѣ послѣдовало открытiе новыхъ судовъ, и ученики увидѣли ихъ лицомъ къ лицу. Витiи гремѣли, присяжные засѣдатели глядѣли безпомощно и метались словно въ предсмертной агонiи; судьи старались казаться безстрастными. Въ публикѣ ходили слухи о какихъ-то баснословныхъ кушахъ, о какихъ-то компанiяхъ, составляющихся съ цѣлью наиосновнѣйшаго ободранiя клiентовъ. Говорили, что изъ Москвы нарочно пріѣзжалъ какой-то грекъ и предлагалъ разостлать по всей Россiи такую паутину, чтобъ ни одинъ клiентъ не могъ миновать ее, а разъ попавшись—не могъ бы изъ нея выпутаться.

— Позвольте, однакожъ,—спорили въ публикѣ:—ежели всѣхъ клiентовъ сразу умертвить,—что жъ останется въ будущемъ?! Вѣдь это значитъ подрывать будущее!

— Какое тамъ еще будущее!—отвѣчали сорщикамъ:—во-первыхъ, клієнтъ безсмертенъ; сегодня умерщвленъ одинъ, завтра народится другой; во-вторыхъ, ежели переведется клієнтъ, развѣ нельзя фабрикаціей гороховой колбасы заняться или по желѣзнодорожной части куски рвать? Тутъ, батюшка, каждая минута дорога!

Повѣствовали, что такой-то взялъ съ клієнта тридцать процентовъ, такой-то уготовалъ себѣ мѣсто предсѣдателя конкурса съ фельдмаршальскимъ жалованьемъ, такъ что всѣ доходы съ имѣнія несостоятельнаго должника должны будутъ пойти на удовлетвореніе расходовъ по конкурсу...

Но суды открывались постепенно, потому что „людей не было“; адвокатскіе ряды пополнялись тоже медленно, тоже потому, что „людей не было“. До сихъ поръ были только звѣри, а теперь понадобились *люди*. Но для *людей*, если таковые находились, ворота были отворены настежъ; будь только *человѣкомъ*—и можешь быть обнадеженъ,

Что подъ каждымъ здѣсь листомъ
Ты найдешь и столъ, и домъ...

Карьера!—Это слово спирало въ зобу дыханіе. Прежде карьера была вещь относительно трудная, достижимая только для нѣкоторыхъ, „особливою знатностью отличающихся людей“. Худородный человѣкъ долженъ былъ употребить неимовѣрныя усилія, чтобы добраться до пирога. Сколько нужно было съѣсть грязи! сколько перецѣловать плечиковъ! сколько поставить банокъ къ поясницѣ, наболѣвшей и словно помертвѣвшей подъ гнетомъ ожиданій въ пріемныхъ, передняхъ и канцеляріяхъ! Алчущій пирога, предварительно допущенія къ нему, долженъ былъ проглотить шпагу, съѣсть раскаленный желѣзный орѣхъ, запить стаканомъ дегтя и т. д. Теперь—пирогъ стоялъ ничѣмъ не защищенный, при открытыхъ дверяхъ, и всѣхъ приглашалъ насладиться. „Вси пріидите! вси насладитесь! Всякій да ясть!“ И тотъ, кто пришелъ въ шестомъ часу, и тотъ, кто пришелъ въ девятомъ часу! Лишь былъ бы *человѣкъ*! Ври!

Человѣкъ! Но гдѣ же клеймо, съ помощью котораго можно было бы отличить человѣка отъ тысячеглаваго змія? На первыхъ порахъ многіе затруднялись этимъ вопросомъ и вслѣдствіе того робѣли рекомендоваться въ качествѣ *людей*. Но вскорѣ одумались и начали

дѣйствовать вольнымъ духомъ. Въ самомъ дѣлѣ, кто же тотъ юродивый простецъ, который, облизываясь на пирогъ, скажетъ о себѣ: хотѣлось бы мнѣ отвѣдать сего пирога, но, къ сожалѣнію, я *не человѣкъ*! Не правильнѣе ли предположить, что даже тотъ, кто во истину *не человѣкъ*, скорѣе скроетъ это печальное обстоятельство, нежели публично повѣдаетъ объ немъ, добровольно воздерживаясь отъ пирога? Въ древнія времена юродивымъ было довольно трудно скрыть свое юродство, ибо тогда люди ходили съ лампадами: погаснетъ лампада, навоняетъ—значитъ, нѣтъ тебѣ царства небеснаго. Нынѣче и тутъ облегченіе: юродивый безъ лампады ходитъ, и слѣдовательно имѣетъ возможность напакостить съ гору, прежде нежели наполнитъ вселенную зловоніемъ...

Такимъ образомъ, люди нашлись...

И что за карьера предстояла имъ! Съ одной стороны—лестная обязанность защищать общество отъ поползновеній преступной воли, обязанность, сопровождаемая прекраснѣйшимъ содержаніемъ и надеждами на блестящее будущее, въ случаѣ оправданія начальственнаго довѣрія. Съ другой—лестная обязанность ограждать невиннаго, защищать попранное право собственности,—обязанность, сопровождаемая тысячными кушами, пѣніемъ, танцами, увеселительными прогулками съ Дезеріей, Шнейдершей, а пожалуй хоть и съ цѣлымъ персоналомъ любого кафе-шантана...

— Ты что̀ получилъ за такое-то дѣло?

— Да что̀! всего пять тысячъ! не стоило руки марать!

— А я черезъ годъ думаю лавочку закрыть! Наработаю тысячъ двѣсти-триста—и на боковую!

Такого рода разговоры слышались вездѣ, да другихъ (по крайней мѣрѣ въ теченіе перваго, горячаго времени) и не было... Рестораны переполнены: шампанское льется рѣкой: облитые потомъ татары бѣгаютъ, не слыша подъ собою ногъ: ассигнаціи мелькаютъ въ воздухѣ, какъ мухи въ жаркій лѣтній день... Кто сіи ликующіе, стремящіеся затмить своимъ ликованіемъ ликованіе желѣзнодорожныхъ дѣятелей? Это они, это вчерашніе рыбари, это сегодняшніе ловкачи-ташкентцы, отвѣдывающіе отечественнаго пирога!

Спеціалисты по части убійствъ, спеціалисты по части личныхъ оскорбленій и купеческихъ самодуствъ, спеціалисты по части бракоразводныхъ дѣлъ—все посыпалось словно изъ рога изобилія.

„Пальты, сапоги, сакъ-вояжи, ситцы, люстрины... пожалуйте, господинъ! къ намъ пожалуйте!“

Жрать!!!

Рубль, выглядывающій изъ кармана ближняго-простеца, мѣшаетъ спать. „Зачѣмъ тебѣ, простофиля, рубль? зачѣмъ ты зажалъ его въ рукѣ?—разожми! Я возьму этотъ рубль, зажгу его на свѣчкѣ и закурю имъ сигару!“

Дальше рубля взоръ ничего не видитъ. Ни общаго смысла жизни, ни смысла общечеловѣческихъ поступковъ, ни прошлаго, ни настоящаго, ни будущаго. Все сосредоточилось, замкнулось, заклепалось въ одномъ словѣ: жрать!

Естественно, что этотъ неистовый кличъ, немолчно раздававшійся по стогнамъ города, не могъ не взволновать воображенія птенцовъ „заведенія“. Въ этомъ кличѣ открывалась своего рода система, новый кругъ, въ которомъ имъ суждено было вертѣться, и они ринулись туда съ головой. Птенецъ, у котораго вчера другой мысли не было, кромѣ: „раздался звукъ вѣчевого колокола“, сегодня, пользуясь праздничнымъ днемъ, уже намѣчаетъ на Невскомъ чистокровный рыжій экземпляръ и не безъ увѣренности говоритъ себѣ: „моя!“ Слыша, что происходитъ въ мірѣ большихъ, каждый птенецъ сознаетъ себя *человѣкомъ*, ибо каждый понимаетъ, что въ немъ имѣется достаточный запасъ юркости и способности, чтобы вмѣстѣ съ другими кричать: „Лови! не задерживай талій! слѣдующій! слѣдующій!“

Но если „птенцы“ были взбудоражены, то родители, въ свою очередь, отъ полноты чувствъ, могли только произносить: „ахъ!“ Они смотрѣли на своихъ подростковъ, представляли себѣ, что ждетъ ихъ въ будущемъ, и говорили: „ахъ!“ Они шли по Невскому, встрѣчались съ камеліей, и ихъ осѣнила мысль, что, можетъ быть, черезъ годъ эта самая камелія (увы! нынѣче родители уже и объ этихъ дѣтскихъ удобствахъ некутея!)... „ахъ!“ Проходя мимо Елисеева. Дюсо, Бореля, они восклицали: „ахъ!“ Даже на художественную выставку смотрѣли какими-то илотоядными, завидущими глазами... Только бы поскорѣе, только бы курсъ кончить, а что всѣ эти Елисеевы, Борели, кокотки, художники будутъ въ *нашихъ* рукахъ — въ этомъ нѣтъ сомнѣнія! За это ручается врожденная юркость „птенцовъ“, ихъ способность кричать всегда и при всякомъ случаѣ: „лови! не задерживай!“

Подобно другимъ, Миша Нагорновъ ходитъ какъ отуманенный. Онъ ропщетъ на Бога и на людей за то, что ему еще два года предстоитъ маяться въ „заведеніи“. Онъ чувствуетъ себя уже готовымъ, то-есть настолько же юрким, какъ X или Z, давно уже пріобрѣвшіе себѣ титулъ „ловкачей“. Онъ даже пробовалъ однажды свои силы: переодѣлся въ статское платье и подъ именемъ „аблаката“ Иванова явился въ камеру мирового судьи защищать дѣло „о излишне затребованномъ за котлету четвертакѣ“.

— И защитилъ!—говорилъ онъ, весь пылая, собравшимся вокругъ него товарищамъ: — Ахъ, господа! вы представить себѣ не можете, какое это чувство!

Въ „заведеніи“, вмѣсто баровъ, игры въ веревочку и пятнашки, завелась игра въ суды. Явились судьи, прокуроры, адвокаты! Присяжные засѣдатели избирались изъ учениковъ младшаго класса на томъ основаніи, что они, какъ дѣти, должны были сохранить совѣсть во всей неприкосновенности. Обвинялся обыкновенно лѣнивѣйшій изъ учениковъ, Осликовъ, на томъ основаніи, что ему, какъ неспособному и притомъ сыну очень бѣдныхъ родителей, не предстоитъ въ будущемъ никакой блестящей карьеры, а слѣдовательно и готовиться не къ чему, кромѣ скамьи обвиняемыхъ. Обвиняли его въ самыхъ разнообразныхъ преступленіяхъ, такъ что еслибъ сложить ихъ всѣ вмѣстѣ и показать ему эту массу злодѣйствъ въ яркой картинѣ, то даже онъ, несмотря на свою непонятливость, понялъ бы и пришелъ бы въ ужасъ отъ неключимости содѣяннаго имъ.

Едва пробилъ звонокъ, возвѣщающій рекреацію, какъ уже ученики бѣгутъ въ залъ и торопливо садятся по мѣстамъ. Слышится сдержанный говоръ; Осликовъ уже засѣлъ на скамью подсудимыхъ и окидываетъ товарищей безучастнымъ взглядомъ; защитникъ Тонкачевъ вбѣгаетъ запыхавшись, какъ будто сейчасъ только перехватилъ въ буфетной, и наскоро перелистовываетъ бумаги. Онъ изрѣдка обращается къ Осликову и шепчетъ ему, настолько однакожъ громко, что передніе ряды публики слышатъ: „Смотри же, болванъ, показывай, какъ я училъ. Я тутъ за тебя расшибаться буду, а ты, пожалуй, съдуру брякнешь!“ По другую сторону залы сидитъ обвинитель Нагорновъ, котораго открытая физіономія блещетъ сладкою увѣренностью, что вотъ-вотъ сейчасъ этого самаго Осликова онъ безъ масла проглотитъ. Судъ намѣренно мѣшкаетъ. Присяжные засѣдатели вздыхаютъ

и разсуждаютъ о томъ, нельзя ли какъ-нибудь отпроситься. Наконецъ влетаетъ судебный приставъ (тоже изъ лѣнивыхъ) и возглашаетъ: „судъ идетъ!“ Всѣ встаютъ и молча ожидаютъ, покуда судьи усядутся.

Нѣкоторое время судьи шепчутся. Они понимаютъ, что судьямъ необходимо совѣщаться, хотя бы они сейчасъ только вышли изъ совѣщательной комнаты. Судья потому и судья, что онъ никогда не можетъ всего предвидѣть, и потому всегда долженъ совѣщаться. Наконецъ шептанье оканчивается; предсѣдатель, ученикъ стараго класса Кнабенвурстъ, вынимаетъ бумажки съ именами присяжныхъ. Онъ дѣлаетъ это такъ опрятно, какъ будто показываетъ фокусы. „Смотрите, господа!“ такъ, кажется, и говоритъ онъ: „вотъ полтинникъ, но вы можете быть увѣрены, что, покуда онъ находится въ этихъ рукахъ, онъ никогда не превратится ни въ полуимперіалъ, ни даже въ цѣлковый!“ Присяжные засѣдатели выбраны и начинаютъ отлынивать.

— Помилуйте, ваше превосходительство, я служу въ мелочной лавочкѣ—кто же теперича за меня сидѣть будетъ?—отговаривается одинъ.

— Я даже не понимаю, какимъ образомъ позволили себѣ привлечь меня... я въ государственной службѣ состою! — удивляется другой.

— Я и по домашности-то моей даже самаго простого обстоятельства разсудить не могу!—оправдывается третій.

Судъ шепчется и оставляетъ всѣ отговорки безъ послѣдствій. Засѣдатели вздыхаютъ и, понуривъ головы, садятся на лавкѣ вблизи прокурора. Одинъ изъ нихъ немедленно притворяется спящимъ.

На сей разъ Осликовъ является въ роли отставного солдата Дороѳеева и обвиняется въ кражѣ со взломомъ. Но онъ ни въ чемъ не сознается.

— Ничего я этого, ваше превосходительство, не знаю. Я человѣкъ слабый, пьяный!—говоритъ онъ.

— Разскажите же намъ, какъ все это было! — настаиваетъ, тѣмъ не менѣе, предсѣдатель.

Защитникъ Гонкачевъ вскакиваетъ какъ ужаленный.

— Въ виду такой-то статьи такого-то тома и такой-то статьи такихъ-то правилъ, запрещающихъ домогаться отъ обвиняемаго при-

знанія,—говоритъ онъ,—я требую, чтобы мое заявленіе было записано въ протоколъ.

Судъ снова шепчется.

— Въ виду сейчасъ приведенныхъ защитникомъ законовъ,—говоритъ, наконецъ, предсѣдатель,—подсудимый! вы можете не сознаваться! Это ваше право! Защитникъ! настаиваете ли вы на томъ, чтобы ваше заявленіе было записано въ протоколъ?

Защитникъ расшаркивается и говоритъ, что даннымъ подсудимому правомъ не сознаваться онъ удовлетворенъ даже превыше своихъ желаній. Онъ видитъ теперь, что передъ нимъ дѣйствительно судъ скорый, милостивый и правый...

— Приступимъ же къ выслушанію свидѣтелей.

Показанія свидѣтелей отличаются сбивчивостью и неопредѣленностью. Потерпѣвшая сторона, содержатель почлежной, Савелій Потаповъ, не можетъ утвердительно сказать, точно ли найденный у Дорофеева грошъ принадлежалъ ему, Потапову.

— Мой будто зубомъ покусанъ былъ, а этотъ новый,— говоритъ онъ.

Прокуроръ вскакиваетъ и пронизываетъ Потапова взоромъ.

— Такъ вы точно помните, что у васъ наканунѣ грошъ былъ?

— Да, это точно... былъ! Былъ грошъ—это вѣрно.

— Этого для меня достаточно-съ!

Прокуроръ что-то отмѣчаетъ карандашомъ на бумагѣ; защитникъ въ свою очередь нѣчто записываетъ.

Другой свидѣтель показываетъ:

— Это точно, что онъ возлѣ меня на нарахъ лежалъ...

— Такъ вы точно помните, что онъ лежалъ? Это не показалось вамъ? вы подтверждаете это и теперь?—допекаетъ прокуроръ.

— Лежалъ—это вѣрно! Рядомъ легли—рядомъ и встали!

— Этого для меня совершенно достаточно!

— Если для обвинителя этого достаточно, то для меня...—встаетъ съ своего мѣста защитникъ, но предсѣдатель прерываетъ его, говоря, что онъ въ свое время можетъ сказать все, что находитъ нужнымъ, въ защиту подсудимаго.

— Я прошу занести въ протоколъ мое заявленіе, что защита не свободна!—настаиваетъ Тонкачевъ.

Предсѣдатель шепчется и объявляетъ, что защита можетъ, если желаетъ, сдѣлать нужное, по ея мнѣнію, замѣчаніе.

Тонкачевъ встаетъ, расшаркивается и заявляетъ, что онъ отлагаетъ замѣчаніе до произнесенія защитительной рѣчи. Тѣмъ не менѣе, онъ считаетъ своимъ долгомъ съ гордостью заявить, что видитъ передъ собой судъ скорый, милостивый и правый, который навѣрное отнесется къ его несчастному кліенту съ тою же гуманностью, съ какою относился и къ его собственнымъ заявленіямъ...

Наконецъ перекрестный допросъ кончился. Слово за прокуроромъ. Миша Нагорновъ нѣсколько блѣденъ, но глаза его такъ и пронизываютъ. Голосъ его сначала дрожитъ, но потомъ постепенно дѣлается тверже и тверже и подъ конецъ начинаетъ словно отчеканивать.

„Господа судьи! господа присяжные засѣдатели! — говоритъ онъ.—15-го іюня, на Сѣнной площади, совершилось преступленіе, неяркое по своему внѣшнему выраженію, но яркое по своей сущности: преступленіе, доказывающее съ очевидностью, до какой степени недостаточны и слабы въ нашемъ обществѣ понятія о правѣ собственности. Я не стану, господа присяжные, доказывать вамъ, какъ необходимо, чтобы въ обществѣ существовали твердыя понятія собственности; вы сами принадлежите къ почетному сословію собственниковъ и лучше меня можете понять, какія важныя послѣдствія сопряжены для общества и для васъ съ сохраненіемъ этой твердыни, на которой зиждется благополучіе государствъ и народовъ. Криминалисты насчетъ этого единогласны; общество, не признающее собственности, — говорятъ они, — подобно стаду дикихъ звѣрей, изъ которыхъ каждый стремится растерзать другого. Этого, я полагаю, совершенно достаточно, чтобы помочь вамъ встать на ту высоту, на которой слѣдуетъ стоять при обсужденіи предстоящаго намъ дѣла. Итакъ, въ іюнѣ 18** года, на Сѣнной площади, здѣсь въ С.-Петербургѣ, такъ сказать, въ центрѣ промышленнаго движенія, почти подъ глазами полицейскаго надзора, совершено дерзкое преступленіе. Въ ночь этого числа, въ одну изъ ночлежныхъ квартиръ, которыми изобилуетъ эта мрачная мѣстность, пришелъ ночевать отставной солдатъ Дороѳеевъ, а на другой день утромъ, когда хозяинъ квартиры, Савелій Потаповъ, проснулся и по своему обыкновенію полѣзъ въ сундукъ, то сундукъ этотъ оказался роспертымъ, замокъ у

сундука сломанным, пробой сорванным. При этом считаю долгом обратить ваше вниманіе, господа присяжные, на слѣдующее обстоятельство къ которому я впослѣдствіи обращусь. Обстоятельство это заключается въ томъ, что до того времени Дороссевъ почти каждый день посѣщалъночлежную Потапова, но дней за пять поссорился съ хозяиномъ и до 15-го числа ночевать къ нему не ходилъ.

„Такова, милостивые государи, фабула преступленія. Спустимся же съ факеломъ правосудія въ дебри преступленія и постараемся освѣтить ихъ. Но прежде чѣмъ идти далѣе, я долженъ объяснить вамъ, господа присяжные, значеніе такъ-называемыхъ косвенныхъ уликъ.

„Что такое косвенная улика?—Это такой признакъ преступленія, который хотя самъ по себѣ не имѣетъ никакого значенія, но, будучи сопоставленъ съ другими, тоже не имѣющими собственнаго значенія, признаками, будучи разсматриваемъ, такъ сказать, въ связи съ цѣлымъ рядомъ такого же рода признаковъ, составляетъ совершеннѣйшее доказательство. Предположимъ, напримѣръ, что въ городѣ совершено убійство. Убитъ Z, котораго видѣли, какъ онъ вчера, въ такомъ-то часу вечера, выходилъ изъ кабака вмѣстѣ съ X, и о которомъ съ тѣхъ поръ никто ничего не слыхалъ. Вотъ это-то обстоятельство, что X вышелъ изъ кабака вмѣстѣ съ Z, и есть первое звено въ цѣпи косвенныхъ уликъ, которыми впослѣдствіи поражень будетъ X. Взятое отдѣльно, оно, конечно, ничего не значитъ. X могъ выйти вмѣстѣ съ Z изъ дверей кабака, но, пройдя по улицѣ нѣсколько шаговъ, они могли разойтись въ разныя стороны—совершенно исключить такого рода возможность нельзя. Но тутъ начинается рядъ послѣдующихъ уликъ. Во-первыхъ, у X найдена на рукѣ царапина. И эта улика, конечно, сама по себѣ недостаточна, ибо X могъ оцарапать руку случайно, ему могла оцарапать ее кошка и т. д. Но вотъ является вторая улика: на ногахъ у X найдены сапоги убитаго, которые были на послѣднемъ въ то время, когда его видѣли въ кабакѣ: это уже значительная прибавка къ суммѣ уликъ, хотя сама по себѣ и она все-таки ничего не значитъ. Мало ли какимъ образомъ могъ пріобрѣсть X сапоги Z? Онъ могъ купить ихъ, могъ наконецъ выпросить! Все это далеко не невозможно. Но здѣсь на помощь является третья улика: X не можетъ объяснить употребленіе своего времени между моментомъ выхода вмѣстѣ съ Z изъ кабака и моментомъ, когда Z найденъ мертвымъ на улицѣ. Вы скажете, что и этотъ фактъ не имѣетъ

рѣшительнаго значенія; вы скажете, что X, подъ вліяніемъ винныхъ паровъ, могъ забыть, гдѣ онъ былъ, что онъ могъ забыть это по разсѣянности, что онъ, можетъ быть, провелъ это время въ предосудительномъ мѣстѣ и ему не хочется въ томъ сознаться? Я первый со всѣмъ этимъ согласенъ, господа присяжные, но потому-то и убѣждаю васъ: обращайте вниманіе не на каждую косвенную улику въ отдѣльности, а на ихъ совокупность. Совокупность—это уже не отдѣльная какая нибудь улика, но цѣлая, такъ сказать, совокупность или, другими словами, рядъ уликъ, взаимно другъ друга провѣряющихъ и подтверждающихъ!

„Совокупность—это единственное орудіе, которое имѣетъ правосудіе для борьбы съ зломъ! Зло уклончиво и лукаво, господа присяжные; оно совершаетъ свои дѣянія въ темнотѣ ночи; оно окутываетъ ихъ мракомъ, составляетъ для нихъ искусственную обстановку, обманываетъ, заметаетъ слѣды! Но здѣсь-то именно и настигаетъ его недремлющее око правосудія! Ежели ты *тамъ* не былъ, то гдѣ же ты былъ? ежели ты не помнишь, гдѣ былъ, то почему у тебя на рукѣ царапина? Какимъ образомъ очутились на твоихъ ногахъ чужіе сапоги? И такъ далѣе—покуда, наконецъ, изъ всѣхъ этихъ мелкихъ и, повидимому, ничтожныхъ признаковъ не образуется *совершеннѣйшее* доказательство!

„Вотъ этою-то „совокупностью уликъ“ и намѣренъ воспользоваться я относительно лица, сидящаго предъ вами на скамьѣ обвиняемыхъ.

„Первая косвенная улика — это самый сундукъ, который былъ вамъ предъявленъ. Онъ носитъ на себѣ всѣ признаки взлома, и, конечно, самъ подсудимый не будетъ столь смѣлъ, чтобъ утверждать, что онъ въ такомъ видѣ вышелъ изъ рукъ творца.

„Взломъ существуетъ—это фактъ!!

„Но взломъ сдѣланъ не просто для взлома, а съ преступною цѣлью воспользоваться чужою собственностью — это тоже фактъ!! Еще вечеромъ 15-го іюня 18*** года Потаповъ считалъ себя обладателемъ двоихъ старыхъ нестрядинныхъ портовъ, одной почти новой рубашки и монеты, называемой въ простонародьи семишникомъ. Утромъ, 16-го числа, этихъ вещей у него не стало. Онѣ исчезли, испарились, улетучились — все, что угодно, но только исчезли со

взломомъ, съ помощью сломаннаго висячаго замка и сорваннаго пробоя! Это вторая косвенная улика!

„Зачѣмъ Дороѳеевъ пришелъ къ Потапову? Защита, быть можетъ, скажетъ, что таково было обыкновеніе Дороѳеева: что квартира Потапова была ночлежнымъ домомъ, въ которомъ каждую ночь ночевало множество лицъ. Но, во-первыхъ, господа присяжные, къ словамъ защиты вообще слѣдуетъ относиться съ нѣкоторымъ недовѣріемъ. Защита *заинтересована* въ оправданіи своего кліента (*сильное движеніе со стороны Тонкачева* („*ого!*"); *предсѣдатель съ безпокойствомъ смотритъ на Мишу, но послѣдній, не смущаясь, продолжаетъ*): скажу болѣе: отъ этого оправданія зависитъ самое матеріальное обезпеченіе защиты (*Тонкачевъ вскакиваетъ*)... Но прекратимъ, однакоже, этотъ разговоръ, который—я сознаю—не всѣмъ можетъ здѣсь нравиться... Итакъ, продолжаю. Во-вторыхъ, говорю я, почему же Дороѳеевъ пришелъ ночевать къ Потапову именно въ ту самую ночь, когда у послѣдняго совершена кража... кража со взломомъ, господа присяжные! Или тутъ есть игра природы? или чудесное какое-нибудь стеченіе обстоятельствъ? Мы охотно согласились бы съ этимъ предположеніемъ, если бы не жили въ просвѣщенномъ девятнадцатомъ вѣкѣ, когда вѣра въ чудеса уже значительно утратила свою силу! Да, господа присяжные, тутъ нѣтъ ни игры природы, ни чуда, а просто-на-просто есть третья косвенная улика!

„Чтобъ доказать, что тутъ нѣтъ никакого чуда, намъ не нужно даже ссылаться на просвѣщенное время, среди котораго мы живемъ. Мы такъ легко, самыми обыкновенными средствами, можемъ распутать эту кажущуюся случайность, что она даже въ вашихъ глазахъ, гг. прясяжные, утратитъ всякое право претендовать на названіе случайности. И дѣйствительно, слѣдствіе съ полною ясностью раскрываетъ вамъ, что передъ этимъ Дороѳеевъ кряду пять дней не ночевалъ у Потапова, а имѣлъ пріютъ у другого ночлежника, Кузьмы Герасимова. Почему такъ?—на этотъ вопросъ слѣдствіе отвѣчаетъ прямо: Дороѳеевъ былъ во враждѣ съ Потаповымъ, и именно поссорился съ нимъ за пять дней передъ кражею, и именно изъ-за той почти новой рубахи, которая, какъ я сказалъ выше, вмѣстѣ съ прочимъ имуществомъ исчезла въ ночь 15-го іюня 18[illegible] года. За пять дней передъ тѣмъ Дороѳеевъ просилъ Потапова продать ему оста-

ченную выше рубашку: Потаповъ соглашался, но просилъ 50 копѣекъ; Дороѳеевъ давалъ только 40. Торгъ не состоялся, но злоба запала глубоко въ сердце Дороѳеева. Онъ уже тогда не могъ сдержать ее, и при постороннихъ людяхъ сказалъ Потапову: „погоди жъ ты!“ Во сколько же разъ должна была возрасти эта злоба въ теченіе послѣдующихъ пяти дней! Не забудьте, господа присяжные, что Дороѳеевъ человѣкъ неразвитой, человѣкъ нрава грубаго, человѣкъ, котораго ежеминутно должна была точить мысль объ этой почти новой рубашкѣ, на которую онъ, повидимому, давно уже смотрѣлъ завистливыми глазами! Въ виду этого соображенія ссора Дороѳеева съ Потаповымъ является уже не просто четвертой косвенной уликой кражи со взломомъ, но и уликой *предварительно* ея совершенія!

„Но идемъ дальше. Свидѣтель Онуфріевъ утверждаетъ, что самъ слышалъ, какъ Дороѳеевъ чиркалъ спичкою, чтобъ добыть огня, а свидѣтель Прохоровъ прямо показалъ, что, лежа подлѣ Дороѳеева, онъ очень отчетливо слышалъ, какъ послѣдній ворочался съ боку на бокъ. Свидѣтельства подавляющія! Тѣмъ не менѣе, Дороѳеевъ возражаетъ противъ нихъ и, смѣю такъ выразиться, съ невозмутимою наглостью утверждаетъ, что онъ добывалъ себѣ огня и ворочался на нарахъ, потому что хотѣлъ идти за естественной надобностью! Позволяю себѣ, однакожъ, думать, гг. присяжные, что вы оцѣните это объясненіе, какъ оно того заслуживаетъ. Какъ! и здѣсь является эта всегдашняя безчестная уловка людей, промышляющихъ темнымъ и опаснымъ ремесломъ незаконнаго стяжанія! И вы повѣрите ей! Вещь неслыханная („chose inouïe“)! Этихъ людей какъ-то всегда обуреваютъ естественныя надобности именно въ тѣ минуты, когда имъ предстоитъ привести въ исполненіе ихъ темные, глубоко обдуманные замыслы! Естественная надобность! что̀ можетъ быть законнѣе этой причины?! Но спрашиваю я васъ: развѣ Дороѳеевъ былъ въ первый разъ въ этомъ домѣ, чтобъ не имѣть полной возможности удовлетворить своей надобности безъ помощи огня? Развѣ онъ не знаетъ всѣхъ входовъ и выходовъ? не знаетъ, какъ расположена всякая нара, какъ нужно пройти, чтобъ достигнуть желаемаго?—Нѣтъ, онъ знаетъ все это; онъ не знаетъ опредѣлительно только одного: гдѣ стоитъ хозяйскій сундукъ, тотъ сундукъ, который ему предстоитъ взломать. И вотъ, пользуясь темнотою ночи, увѣренный, что почлежники, послѣ тяжкаго трудового дня, заснули сномъ, который позволяю себѣ на-

звать непробуднымъ, онъ зажигаетъ спичку и идетъ. Куда идетъ? что хочетъ совершить?—онъ не сказываетъ намъ объ этомъ. Но мы... мы уже угадываемъ его преступныя намѣренія! Мы слѣдили шагъ за шагомъ за его дѣйствіями, и позволяемъ себѣ думать, что у насъ прибавилась еще пятая косвенная улика, и притомъ такая, которая, кромѣ кражи со взломомъ, свидѣтельствуетъ еще и о нераскаянности обвиняемаго.

„Наконецъ и еще улика—шестая: у Дороѳеева на другой день, утромъ, при обыскѣ, найденъ былъ за голенищемъ сапога семишникъ. Конечно, Дороѳеевъ утверждаетъ, что эти двѣ копѣйки составляютъ его собственность,—но гдѣ жъ доказательства справедливости этого показанія? Кто видѣлъ, что у Дороѳеева вечеромъ 15-го числа 18*** года были эти двѣ копѣйки? И почему у него оказалось именно двѣ, а не три, не пять, не десять, не двадцать копѣекъ? Опять игра случая! Странная эта игра, господа присяжные! выгодная для подсудимаго, но которую, благодаря вашему просвѣщенному суду, ему положительно придется на будущее время оставить! Правда, что самъ Потановъ показываетъ, что бывшій у него семишникъ *будто* бы покусанъ зубомъ, между тѣмъ какъ монета, найденная у Дороѳеева, имѣетъ видъ совершенно новый. Но можно ли вѣрить Потанову, потерпѣвшему отъ преступленія? Почему не предположить, что имъ овладѣло состраданіе къ своему старинному квартиранту? что онъ, давая обвинительныя показанія, дѣйствовалъ подъ вліяніемъ угрозъ, внушеній, мольбы? Но васъ, господа присяжные, подобныя колебанія въ показаніяхъ потерпѣвшей стороны не должны останавливать: или, лучше сказать, на васъ они должны имѣть силу совершенно въ обратномъ смыслѣ. Вы должны сказать себѣ: эти колебанія не больше какъ колебанія; а за ними стоитъ неоспоримая, неопровержимая и со всѣхъ сторонъ непререкаемая истина, которую я позволяю себѣ формулировать слѣдующимъ образомъ: вчера пропало двѣ копѣйки, сегодня—найдено тоже двѣ копѣйки. Ни больше, ни меньше.

„Вы спросите, можетъ быть: гдѣ же другія вещественныя доказательства, исчезнувшія изъ сундука вмѣстѣ съ семишникомъ? гдѣ двое старыхъ нестряпанныхъ портовъ? гдѣ почти новая рубашка? гдѣ носовой платокъ, о которомъ, по незаявленію претензіи со стороны потерпѣвшаго лица, обвиненіе можетъ только догадываться? На это я могу отвѣчать одно: не знаю. Но въ то же время позволяю себѣ

предложить слѣдующую догадку. Ежели означеннаго имущества не оказалось у Дорофеева, то не значитъ ли это, что онъ его спряталъ? Отсутствіе вещественныхъ доказательствъ развѣ всегда равносильно несуществованію ихъ? Нѣтъ, въ бо́льшей части случаевъ, тутъ не только нѣтъ тождества, но есть даже доказательство совершенно противнаго. Поймите меня, гг. присяжные! Когда человѣкъ боится показать какую-нибудь вещь, то ему ничего другого не остается, какъ спрятать ее — это аксіома. Слѣдовательно, ежели мы не находимъ искомаго даже послѣ самаго тщательнаго обыска, произведеннаго у преступника, то это еще не значитъ, что искомаго у него нѣтъ, а означаетъ только, что онъ имѣлъ основаніе *тщательно* отъ насъ его скрыть. Таково мое внутреннее, глубокое убѣжденіе.

„Я кончилъ, господа присяжные. Вы знаете изреченіе: да будетъ судъ правый и милостивый, и, конечно, постараетесь не односторонне, но всесторонне отнестись къ предстоящему вамъ подвигу. Пусть будетъ вашъ судъ правымъ и *милостивымъ*, но въ то же время пусть будетъ онъ милостивымъ и *правымъ*. Пусть надъ преступникомъ простретъся ваше милосердіе, но въ то же время пусть кара, достойная преступленія, настигнетъ его! Тогда и только тогда вы будете на высотѣ вашего призванія и докажете враждебнымъ элементамъ, неустанно подтачивающимъ священнѣйшія основы общества, что милосердное око правосудія не дремлетъ. Оно не дремлетъ, милостивые государи, хотя оно *око*, а не *глаза*! Единственное око — но и тому вы не дадите сомкнуть вѣжды! Какое величественное зрѣлище, милостивые государи!“

Въ залѣ проносится смутный говоръ: рѣчь обвинителя произвела эффектъ. Нагорновъ, красный и запыхавшійся, опускается на стулъ. Однако, несмотря на изнеможеніе, онъ еще находитъ въ себѣ достаточно силы, чтобъ послать черезъ залъ вызывающій взглядъ Тонкачеву. Въ публикѣ слышится вопросъ: вывернется или провалится Тонкачевъ?

Тонкачевъ — очень чистенькій мальчикъ, съ виду похожій на jeune premier (онъ уже въ старшемъ классѣ и заранѣе усвоиваетъ себѣ всѣ замашки заправскихъ адвокатовъ изъ природы jeunes premiers). Онъ очень развязно помахиваетъ pince-nez и безъ малѣйшаго смущенія, даже съ нѣкоторою дерзостью, начинаетъ защитительную рѣчь. Ядовитость и ироніи такъ и брызжутъ въ каждомъ его словѣ.

„Господа судьи! господа присяжные! Прежде всего считаю своею обязанностью отдать полную справедливость обвиненію. Старательность и усердіе, съ которымъ оно составлено, заслуживаетъ величайшей похвалы. Скажу болѣе: я совершенно увѣренъ, что никогда, ни передъ однимъ судомъ не было сказано столь усердной обвинительной рѣчи, какъ та, которую вы сейчасъ слышали. Господинъ прокуроръ знаетъ, что еже.ли матеріальное обезпеченіе адвоката зависитъ отъ оправданія кліента, то, съ другой стороны, почести, которыя ждутъ впереди каждаго члена прокуратуры, отчасти обусловливаются успѣхомъ..."

Миша, весь блѣдный, вскакиваетъ съ своего мѣста и дрожащимъ голосомъ произноситъ:

— Господа судьи! я протестую! я всѣми силами моей души („de toutes les forces de mon âme!" мелькаетъ у него въ головѣ) протестую противъ инсинуаціи, которую дозволяетъ себѣ защита!

Судьи шепчутся; въ залѣ обнаруживается сдержанное волненіе.

— Защитникъ! приглашаю васъ оставаться въ предѣлахъ защиты!—произноситъ наконецъ предсѣдатель.

„Господа судьи! я вовсе не имѣлъ намѣренія оскорблять кого бы то ни было; я хотѣлъ только сказать, что для защиты имѣть дѣло съ противникомъ, который такъ старательно оправдываетъ довѣріе своего начальства—очень пріятно.

„Затѣмъ продолжаю, и ежели обвиненіе, какъ выразился г. прокуроръ, попыталось „спуститься съ факеломъ правосудія въ дебри преступленія", то я съ своей стороны постараюсь съ тѣмъ же факеломъ спуститься въ дебри обвиненія и водрузить знамя освобожденія въ развалинахъ невинности.

„Вещь замѣчательная, господа („chose remarquable, messieurs!" мелькаетъ у него въ головѣ)! Передъ вами сейчасъ говорилъ одинъ изъ лучшихъ представителей нашего обвинительнаго искусства; вы слышали рѣчь, продолжавшуюся болѣе получаса, рѣчь, старавшуюся быть убѣдительною и, повидимому, построенную очень искусно..."

Миша судорожно подскакиваетъ на стулѣ: глаза его бѣгаютъ отъ предсѣдателя къ защитнику. Наконецъ предсѣдатель вновь выходитъ изъ бездѣйствія.

Приглашаю защитника, — говоритъ онъ, — воздержаться

отъ оцѣнки талантовъ господина прокурора. Оцѣнивать эти таланты имѣетъ право лишь непосредственное его начальство.

„Но что же осталось въ вашемъ сознаніи, господа присяжные, теперь, когда рѣчь прокурора уже произнесена? Разберите внимательнѣе вынесенныя вами сейчасъ впечатлѣнія, и навѣрное вы найдетесь вынужденными отвѣтить на мой вопросъ только однимъ словомъ: ничего. Да, ничего, ничего и ничего. Это очень прискорбно, но это такъ. Я первый отдаю справедливость ораторскимъ средствамъ моего противника, его непреоборимому усердію, и за всѣмъ тѣмъ очень радъ за моего кліента, что единственный ясный результатъ, который вытекаетъ изъ рѣчи прокурора — это *ничего*!“

Нагорновъ хочетъ вновь обидѣться; предсѣдатель, видя это, начинаетъ ѣсть защитника глазами; еще одно лишнее слово — и Тонкачеву угрожаетъ прекращеніе защиты.

„Вамъ говорятъ, милостивые государи, что никакихъ прямыхъ уликъ, которыя доказывали бы, что преступленіе, о которомъ идетъ рѣчь, совершено обвиняемымъ Дороѳеевымъ, въ виду обвинительной власти не имѣется. Я охотно этому вѣрю. Такъ какъ мой кліентъ невиненъ, то было бы даже странно, если бы противъ него были какія-нибудь дѣйствительныя, а не мнимыя доказательства. Что же, однако, привело его сюда, на скамью обвиняемыхъ? А вотъ, говорятъ вамъ: противъ него существуютъ улики косвенныя. Это очень любопытно. Что же такое эти косвенныя улики? Къ величайшему удовольствію нашему, отвѣтъ на этотъ вопросъ дастъ само обвиненіе. Косвенныя улики, говоритъ онъ, это тѣ самыя, которыя ничего не стоютъ. Это обрывки чего-то неяснаго, неизвѣстно откуда идущаго, это подслушанныя сплетни досужихъ кумушекъ, это безпорядочная сорная куча, изъ которой торчатъ обглоданныя арбузныя корки, лоскутки бумаги, кухонные остатки, однимъ словомъ, все, что никому не нужно, чѣмъ всякій гнушается, между чѣмъ ни подъ какимъ видомъ нельзя отыскать не только внутренней, но и механической связи...

„Господа присяжные! Во всемъ этомъ скрывается цѣлое искусство, искусство не очень важное, но во всякомъ случаѣ очень замѣчательное. Искусство играть ничего незначащими объѣдками, чтобы воспользоваться ими въ интересахъ обвиненія. Чтобы показать вамъ,

что игра подобнаго рода не только возможна, но легка, я сейчасъ приведу вамъ нѣсколько образчиковъ.

„Слѣдствіе показываетъ, напримѣръ, что обвиняемый не былъ *тутъ*; обвиненіе хватается за этотъ фактъ и уже формулируетъ его такъ: обвиняемый не былъ *тутъ*, слѣдовательно онъ былъ *гдѣ-нибудь*, слѣдовательно и *конечно* онъ былъ тамъ, *гдѣ совершено преступленіе*. Вотъ одинъ образчикъ игры въ косвенныя улики. Какимъ образомъ очутилось здѣсь „конечно" — этого, *конечно*, не объяснятъ даже знаменитые духи, совѣтовавшіе г. Корбе въ такую-то ночь посильнѣе взволновать г-жу Алымову. (*Въ публикѣ раздается: „браво!" Предсѣдатель грозитъ очистить залу засѣданія.*) Другой образчикъ: наканунѣ пропало двѣ конѣйки, сегодня найдено тоже *двѣ* конѣйки; *слѣдовательно*, это тѣ самыя двѣ конѣйки, которыя пропали вчера. Откуда взялось это *слѣдовательно*? развѣ мало находится въ обращеніи двухконѣечниковъ? Пусть прокуроръ заглянетъ въ свой собственный кошелекъ! Пусть пошаритъ въ немъ! Быть можетъ, онъ найдетъ тамъ такой же семишникъ, этотъ salaire бѣднаго, къ которому онъ съ такимъ презрѣніемъ относился. (*Маша вскакиваетъ, безмолвно протестуя противъ приписываемой ему аристократической надменности.*) Почему же *этотъ* двухконѣечникъ, который въ сію минуту находится въ кошелькѣ г. прокурора,—не тотъ двухконѣечникъ, который въ ночь съ 15-го на 16-е іюня 18*** года пропалъ у Потанова?

„Но я не хочу идти далѣе и не стану продолжать вопросовъ по каждой изъ указанныхъ обвиненіемъ уликъ. Это безполезно. Вѣдь это дѣло рѣшенное: само обвиненіе заранѣе объявило, что каждая изъ этихъ пресловутыхъ уликъ, взятая сама по себѣ, не стоитъ ломанаго гроша...

„Но вамъ говорятъ: важность заключается не въ каждомъ признакѣ преступленія, взятомъ въ отдѣльности, а въ ихъ совокупности! Совокупность! Какое странное, подавляющее слово! Что же, однако, означаетъ оно? Увы! Я сейчасъ буду имѣть честь объяснить вамъ, гг. присяжные, что оно означаетъ.

„Возьмите арбузное зерно, прибавьте къ нему нѣсколько хлѣбныхъ крохъ, подсыпьте перцу, налейте уксусу, коли хотите, бросьте нѣсколько обрѣзковъ бумаги—и спросите себя, что изъ этого можетъ выйти? Обвиненіе утверждаетъ, что изъ этого выйдетъ арбузъ

(*въ публикѣ смѣхъ*), но я... я позволяю себѣ усомниться въ этомъ! Я прямо думаю, что это будетъ смѣсь предметовъ, которые, не имѣя никакой цѣнности, взятые порознь,—еще менѣе имѣютъ таковой, взятые вмѣстѣ! Это совсѣмъ не „совокупность", а именно смѣсь, жалкая, никому не надобная смѣсь...

„Тѣмъ не менѣе, изобрѣтенный г. прокуроромъ арбузъ (*новый взрывъ смѣха въ публикѣ; Миша дѣлается красенъ какъ раскаленное желѣзо*), при извѣстныхъ условіяхъ, дѣлается настолько опаснымъ, что равнодушно относиться къ нему невозможно. Такъ напримѣръ, въ настоящемъ случаѣ, это уже не арбузъ, а разрывной снарядъ, который могъ бы убить моего кліента, если бы судьба его зависѣла отъ суда менѣе просвѣщеннаго и гуманнаго, нежели вашъ. Но вѣдь онъ могъ бы убить не одного моего кліента, а и каждаго изъ васъ, гг. присяжные. Каждый изъ васъ навѣрное гдѣ-нибудь находился во время совершенія преступленія; каждый изъ васъ можетъ найтись въ невозможности объяснить употребленіе своего времени; у каждаго изъ васъ (даже у г. прокурора!) могутъ найтись двѣ копѣйки; стало быть, каждаго изъ васъ, вслѣдствіе этихъ ничтожныхъ, ничего не объясняющихъ признаковъ, можно привлечь къ суду? Подумайте, господа, что̀ будетъ съ обществомъ, въ которомъ г. прокурору будетъ дана возможность во всякое время по своему усмотрѣнію и въ кого попало пускать изобрѣтеннымъ имъ арбузомъ!

„Намъ говорятъ: берегитесь! неблагонадежные элементы подтачиваютъ священнѣйшія основы общества! Осуждайте! ибо если преступленіе останется ненаказаннымъ, то общество превратится въ скопище дикихъ звѣрей, которые будутъ хватать другъ друга за горло! Но позвольте же, господа! Осуждайте, карайте, преслѣдуйте, будьте безпощадны, но не забудьте, что стрѣлы ваши должны попадать въ дѣйствительнаго преступника, а не въ прохожаго, который случайно очутился на пути пущеннаго прокуроромъ разрывного снаряда. Если кража, совершонная у Потапова, взываетъ къ небу о мщеніи, то почему же непремѣнно казнить Дороѳеева, а не каждаго изъ насъ, по усмотрѣнію г. прокурора? Почему, наконецъ, не казнить первую попавшуюся подъ руку куклу, чтобы на ней показать примѣръ наказуемости? Я самъ не утопистъ, милостивые государи! Я далеко не принадлежу къ числу жалкихъ послѣдователей жалкой теоріи абсолютной не-

вмѣняемости, которою гнусныя исчадія современнаго нигилизма думаютъ отвести глаза правосудію! Нѣтъ, я не нигилистъ! Напротивъ того, я глубоко убѣжденъ, что преступная воля должна быть наказана, что преступникъ, какъ говоритъ безсмертный Гегель, не только имѣетъ право на наказаніе, но можетъ даже требовать его; однако согласитесь, милостивые государи, что странно и даже несправедливо было бы ожидать, чтобы подобное требованіе исходило отъ человѣка чистаго, совсѣмъ непричастнаго содѣянному! Дороѳеевъ невиненъ — зачѣмъ же онъ будетъ требовать, чтобы его наказали?!..

„Затѣмъ, обращаясь къ случаю, по поводу котораго довѣріе начальства призвало васъ, гг. присяжные, произнести приговоръ, я просто нахожу излишнимъ говорить что-либо въ оправданіе моего кліента. Да, онъ почевалъ у Потапова, онъ чиркалъ спичкою, онъ приторговалъ у потерпѣвшей стороны „почти новую“ рубаху — я охотно допускаю все это, но ни въ чемъ, рѣшительно ни въ чемъ не вижу преступленія! Я не проникалъ въ тайники души Дороѳеева —эти тайники, господа, открыты только Богу! — но, оставаясь на почвѣ фактовъ, я могу быть совершенно покойнымъ. Господа присяжные засѣдатели! вы не захотите обмануть довѣріе начальства! вы объявите подсудимаго Дороѳеева невиннымъ!“

Эта рѣчь производитъ эффектъ потрясающій. Осликовъ будетъ оправданъ — это несомнѣнно. Тонкачевъ съ какою-то неизреченною самоувѣренностью качается на стулѣ. Какъ будто хочетъ сказать: „и зачѣмъ вы меня изъ пустяковъ тревожили! зачѣмъ отняли понапрасну столько драгоцѣнныхъ минутъ!“ Нагорновъ понимаетъ это; онъ догадывается, что, какъ обвинитель, онъ хватилъ нѣсколько черезъ край, и потому отказывается отъ возраженія. Въ публикѣ слышится сдержанный смѣхъ; слово: „арбузъ! нагорновскій арбузъ!“ — летаетъ по рядамъ, и можно предвидѣть, что слово это не скоро забудется въ заведеніи. Но у Нагорнова есть звѣзда, и она выручаетъ его въ ту самую минуту, когда противники считаютъ его уже погибшимъ.

— Подсудимый Дороѳеевъ! что имѣете вы прибавить въ свою защиту?— обращается предсѣдатель къ Осликову.

Осликовъ лѣниво встаетъ и, ковыряя въ носу, озираетъ присутствующихъ. Тонкачевъ съ ужасомъ начинаетъ подозрѣвать, что кліентъ его позабылъ всѣ внушенія, которыя были ему даны передъ засѣданіемъ.

— Да что говорить, ваше высокородіе! — произноситъ наконецъ Осликовъ:—мой грѣхъ! я укралъ!

Тонкачевъ кидается къ Осликову; Нагорновъ поднимаетъ голову и, сложивъ на груди руки, бросаетъ своему противнику взглядъ, исполненный непзреченнаго торжества. Общій взрывъ хохота, подъ шумъ котораго никто не слышитъ рѣчи, которую предсѣдатель, въ видѣ безконечно тянущейся канители, обращаетъ къ присяжнымъ засѣдателямъ, вручая имъ листъ съ вопросными пунктами и убѣждая ихъ оправдать довѣріе начальства.

— Если вы найдете, что подсудимый виноватъ, — взываетъ предсѣдатель, — то скажете: *виновенъ;* если же найдете, что подсудимый не виноватъ, то скажете: *невиновенъ*. Идите же, и пусть Богъ просвѣтитъ сердца ваши!

Присяжные засѣдатели уходятъ, и черезъ минуту выносятъ приговоръ: *виновенъ*—по всѣмъ вопросамъ. Судъ присуждаетъ Осликова къ лишенію всѣхъ правъ состоянія и къ заключенію въ арестантскихъ ротахъ въ теченіе пяти лѣтъ.

Ученики спѣшатъ въ классы. Мосьё Петанлеръ ловитъ на дорогѣ Тонкачева.

— Ecoutez, Tonkatschoff! — говоритъ онъ: — vous avez été brillant, même éblouissant de verve et d'esprit, mais la vérité a été, comme toujours, du coté de Nagornoff! Comment ne comprenez-vous pas qu'il est impossible, qu'un nigaud comme Oslikoff ne soit pas coupable! Mais... au nom de Dieu!

По воскресеньямъ Миша разсказываетъ о своихъ подвигахъ родителямъ.

Со времени открытія новыхъ судовъ между родителями поселилось нѣкоторое разногласіе относительно будущности сына. Анна Михайловна придерживается адвокатуры: Семенъ Прокофьичъ склоняется на сторону прокурорскаго надзора.

— Да ты слышалъ ли, въ департаментѣ-то сидя, какіе *они* куски рвутъ!—убѣждаетъ Анна Михайловна мужа.

— Всѣхъ денегъ, матушка, не ограбишь. Да вѣдь если очень-то шибко по чужимъ карманамъ лазить начнешь, такъ и въ Сибирь, пожалуй, угодишь! Лавровъ-то вѣдь не далеко. Ну, и Бельмесовъ

тоже. Гуляетъ онъ до поры до времени, а я все-таки надѣюсь, что Туруханска ему не миновать. Кадны. А у начальства-то подъ глазами—онъ у насъ все равно, что у Христа за пазушкой будетъ! А можетъ быть еще политическій процессъ—такъ ты вотъ и понимай тутъ!

Самъ Мина тоже не могъ опредѣлительно сказать, куда ему хочется: въ адвокаты или въ прокуроры. Иногда, идетъ онъ мимо милютиныхъ лавокъ, и думаетъ: „Непремѣнно въ адвокаты пойду! вѣдь все, все, что̀ тутъ ни есть—все мое будетъ! Каждый день по четыре коробки сардинокъ съѣдать буду!“

Въ другой разъ его плѣняетъ прокурорскій мундиръ и сопряженная съ нимъ неуклонность. Да это и не мудрено, потому что вѣдь тутъ все-таки не то, что жулика защитить—тутъ, съ позволенія сказать, *общество* въ опасности! Для дитяти оно даже очень лестно. Нарушенное общественное спокойствіе! попранное право собственности! низринутые въ прахъ авторитеты!—какія величественныя, повергающія въ трепетъ задачи! И какая дорога впереди! сколько поводовъ для волненій на этомъ пути, въ началѣ котораго стоитъ какой-нибудь жалкій судебный слѣдователь или секретарь суда *), а въ концѣ — министръ! А тутъ еще, чего добраго, политическій процессъ наклюнется... будущее-то, будущее-то какое впереди!

— Вѣдь это, батюшка, не адвокатишка какой-нибудь, который, задеря хвостъ, по управамъ благочинія летаетъ, а въ нѣкоторомъ родѣ... гардъ-де-ссд!

Но надо сказать правду: молодость все-таки брала свое, и представленіе о четырехъ коробкахъ сардинокъ почти всегда одерживало верхъ надъ честолюбивыми мечтами. Мина не могъ пройти мимо человѣка, чтобы не видѣть въ немъ „кліента“, а разъ усмотрѣвши кліента, онъ уже невольно ѣлъ его глазами.

— Я, маменька, Плотицына сегодня во снѣ видѣлъ!—открывался онъ Аннѣ Михайловнѣ въ минуту, когда аппетитъ ужъ очень сильно начиналъ тревожить его.

*) Авторъ оговаривается: что должности судебнаго слѣдователя и секретаря суда очень почтенныя должности—въ этомъ нѣтъ сомнѣнія; слѣдовательно, ежели онѣ представляются жалкими, то не съ точки зрѣнія автора, а съ точки зрѣнія Мины Нагорнова. Для обвиненія въ диффамаціи тутъ нѣтъ повода, развѣ что кто-нибудь вздумаетъ преслѣдовать Мину Нагорнова.—*Авт.*

— Ужъ какъ бы хорошо! ужъ такъ бы хорошо! ахъ, какъ хорошо!—вмѣсто отвѣта восклицала Анна Михайловна и даже вся краснѣла отъ волненія.

— Да вы, маменька, попросили бы папеньку!

— Кто съ нимъ, съ упрямымъ, сговорится! А какіе куски-то они рвутъ! ахъ, мой другъ, какъ рвутъ!

— Да это само собой! Неужто жъ потачку давать! Тридцать процентиковъ, батюшка! тридцать процентиковъ, милости просимъ-съ!

— Вѣдь ныньче шагу безъ него, мой другъ, ступить нельзя! Дыхнуть безъ него, безъ кровопивца, возможности нѣтъ! Ты шагъ впередъ—онъ два! И все-то забѣгаетъ, все-то впередъ бѣжитъ, все-то норовитъ подножку тебѣ подставить!

— Однакожъ какое это, маменька, величественное зданіе!

— Вѣдь ужъ коли попалъ ты *сму* въ лапы—такъ тамъ и держись! И не шевелись! Все равно, что въ капканѣ! Ужъ *онъ* тебя лущитъ-лущитъ! Онъ тебя чиститъ-чиститъ! Путаетъ-путаетъ! И до тѣхъ поръ онъ тебя на волю не выпуститъ, покуда, что называется, какъ стельку не обстрижетъ!

— Ну, маменька, не всѣ такъ! Вотъ у насъ Благолѣповъ адвокатъ есть, такъ тотъ даже самъ съ удовольствіемъ, по силѣ возможности, кліенту подаритъ! Намедніись выигралъ дѣло одной кліентки, ну, кліентка и пріѣзжаетъ къ нему. „Что, говоритъ, Василій Васильичъ, вы съ меня за труды положите?“ А онъ, знаете, покраснѣлъ этакъ, да такъ прямо и брякнулъ: „я, говоритъ, сударыня, за добрыя дѣла деньгами не беру, а вотъ кабы вы просвирку за меня вынули!“

— Ну, ужъ это какой-то... необыкновенный какой-то? Однакожъ какъ бы ты думалъ! хоть просвиркой, а все-таки взялъ. Иной разъ, душа моя, и просвирка... ахъ, какъ это иногда важно, мой другъ! Молитва-то! вѣдь она, кажется... и ничего въ ней нѣтъ... ашь, смотришь, и долетѣла! Анъ онъ въ другомъ мѣстѣ уйму денегъ урвалъ или вотъ въ лотерею двѣсти тысячъ выигралъ! за молитву-то!

— Ну, маменька, у него и билета-то, пожалуй, не сыщется!

— Не говори этого, мой другъ! ахъ, не говори! какъ знать, чего не знаешь!

— А какъ бы, маменька, хорошо-то! Вотъ, говорятъ, Отпѣтый

такую „деверію“ завелъ, что вся кавалерія смотритъ да зубами щелкаетъ!

— Ну, это, мой другъ, тоже опасно. По моему, лучше конить. Вѣдь эти прорвы, душа моя... много, ахъ, много деньжищъ нужно, чтобы до сытости ихъ довести! У насъ, мой другъ, у директора такая-то была, такъ онъ не то что все состояніе свое въ нее ухлопалъ, а и казну-то, кажется, по міру бы пустилъ, кабы во-время его за руку не ухватили! Вонъ теперича и живетъ да поживаетъ въ Архангельской губерніи, а она, рыжая прорва, и о сю пору по Невскому на рысакахъ гарцуетъ!

— А хорошо бы, маменька!

— Ужъ какъ бы не хорошо, кабы не эта ихъ жадность! Опрятны онѣ очень—вотъ чѣмъ берутъ! Нашей русской противъ нихъ—и ни Боже мой! Только и дерутъ же онѣ за эту чистоту! Годиковъ этакъ пять-шесть профорсила—глядишь, либо домину въ четыре этажа вывела, или въ ломбардъ цѣлую уйму деньжищъ спрятала! А брильянтовъ-то сколько! а кружевъ-то!

— Имъ, маменька, безъ брильянтовъ нельзя. А что касается до богатства, такъ я отъ одного адвоката за вѣрное слышалъ, что у иной, кромѣ брильянтовъ да кружевъ, ничего и нѣтъ. Да и тѣ, какъ получитъ, сейчасъ же у закладчика заложитъ, да у него же опять и беретъ на прокатъ!

— Ужъ будто бы бѣдность такая! все, чай, сколько-нибудь накопитъ!

— Ей-Богу, маменька, такъ. Вѣдь онѣ до сихъ поръ все больше между офицерами обращались. Адвокаты-то только теперь въ ходъ пошли, а прежде все съ офицерами! Ну, а возьмите сами, сколько ей сперва нужно денегъ истратить, чтобы офицера-то заманить! Первое дѣло—квартира, ковры, бѣлье, второе—экипажъ, третье—туалетъ, чтобы новый каждый день былъ...

— И за все-то, мой другъ, съ нея вдвое! за все-то вдвое противъ другихъ дерутъ! Потому всякій знаетъ, что она нечестная—ну, и берутъ! Она и торговаться-то даже, мой другъ, не смѣетъ, а такъ прямо и отдаетъ!

— Вотъ видите! Платье-то, можетъ быть, на ней пятьсотъ рублей стоитъ, а офицеръ-то возьметъ да за обѣдомъ его шампанскимъ обольетъ!

— И обольетъ! Ты думаешь, не обольетъ! Да и какъ еще обольетъ-то! Офицеръ—вѣдь онъ гордъ! На, скажетъ, подлянка! понимай, каковъ я есть!

— Такъ вотъ то-то и есть! Тутъ, маменька, ужъ не о четырехъ-этажныхъ домахъ приходится думать, а о томъ, какъ бы самой-то лѣтъ пятокъ-другой продышать!

— Гдѣ ужъ о домахъ думать! да еще то ли съ ними дѣлаютъ! Еще нынче все-таки потише стало, а прежде, бывало, какъ поразскажетъ папенька!..

— Ужъ будто и папенька!!

— А ты какъ бы объ отцѣ-то своемъ полагалъ! Тоже, батюшка, сахаръ медовичъ былъ! Это чтобы „деверію“ встрѣтить да, высуня языкъ, цѣлыя сутки за ней не пробѣгать—да упаси Богъ, чтобы онъ случай такой пропустилъ! Пытала я первое-то время плакать отъ него! Бывало, онъ рыскаетъ тамъ, по Мѣщанскимъ-то, а я лежу одна-одинёшенька на постели, да все плачу! все плачу! И ни однимъ, то-есть, словомъ никогда я его не попрекнула, чтобы тамъ взглядъ какой-нибудь или жестъ недовольный... Никогда! Всегда—милости просимъ!

Анна Михайловна лжетъ, и Миша тоже очень хорошо знаетъ, что Семенъ Прокофьичъ имѣетъ о „деверіяхъ“ самыя первоначальныя, такъ сказать, дѣтскія понятія. Но имъ обоимъ пріятно лгать, потому что предметъ-то лганья очень ужъ занятенъ. Они ходятъ обнявшись по комнатѣ и мечтаютъ. Анна Михайловна мечтаетъ о томъ, сколько бы у нея было изюму, чернослива, вермишели, макарони, однимъ словомъ—всего, чего только душа проситъ. Мечтанія Миши обращены больше въ сторону „кокотки“.

— Еще бы не хорошо! ужъ такъ-то бы хорошо!—восклицаетъ Анна Михайловна.

— Ахъ, маменька!—стонущимъ голосомъ вторитъ ей Миша, и ни съ того, ни съ сего цѣлуетъ ее.

Но вотъ является Семенъ Прокофьичъ, только-что совершившій утреннее воскресное поклоненіе директору. Бесѣда разомъ принимаетъ другой характеръ.

— Ну, что, молодецъ, опять кого-нибудь въ каторжныя работы сослалъ?—спрашиваетъ счастливый отецъ.

— Нѣтъ, только на пять лѣтъ въ арестантскія роты! Да и то.

папенька, преступникъ ужъ самъ сознался! Чуть-чуть было Тонкачевъ не загонялъ меня!

— Какъ же это ты, братъ, маху далъ! Ай-ай-ай!

— Да вѣдь трудно, папенька!

— А ты напирай, братецъ! Онъ отъ тебя, а ты за нимъ! Онъ въ сторону, а ты обѣги кругомъ—да встрѣчу! Вотъ, братецъ, какъ дѣла-то обдѣлывать нужно!

— Да я, папенька, и такъ...

— Ну, да вѣдь и то сказать, не все же на каторгу! Спасибо и въ арестантскія роты на пять лѣтъ! Ну, и пущай его посидитъ! За дѣло! Впередъ не блуди!

— А у насъ, папаша, на будущей недѣлѣ въ „заведеніи“ политическій процессъ приготовляется?

— Ну, вотъ и дѣло! Вотъ этихъ лохматыхъ да стриженыхъ—это такъ! Катай ихъ!

— А я бы, право, Мишеньку въ адвокаты отдала!—какъ-то нерѣшительно заговариваетъ Анна Михайловна.

Этого робкаго заявленія достаточно, чтобы въ одно мгновеніе прогнать хорошее расположеніе духа Семена Прокофьича.

— И что тебѣ, матушка, за охота мнѣ передъ обѣдомъ аппетитъ портить!—брюзжитъ онъ.—Вотъ дай срокъ, умру, тогда хоть въ черти-дьяволы, хоть въ публичный домъ его отдавай!

Высказавъ это, Семенъ Прокофьичъ, огорченный и раздраженный, уходитъ къ себѣ въ кабинетъ и вплоть до самаго обѣда не показывается оттуда.

Ничто не измѣнилось въ теченіе шестнадцати лѣтъ въ воскресныхъ обѣдахъ Нагорновыхъ,—только посѣтители ихъ какъ будто новыцвѣли. Дѣдушка Михайло Семенычъ ужъ не управляетъ архивомъ, и съ тѣхъ поръ, какъ находится въ отставкѣ, какъ-то опустился, пересталъ шутить и, словно мхомъ, весь обросъ волосами. Онъ худо слышитъ, глядитъ какъ-то тускло и безпомощно и плохо ѣстъ. Сестрицы-дѣвицы попрежнему остаются сущими дѣвицами, но уже не краснѣютъ и не стыдятся при словѣ „мужчина“, но сами охотно заговариваютъ о самопомощи, самовоспитаніи и вообще обо всемъ, что имѣетъ какое-нибудь прикосновеніе къ женскому вопросу. Самъ Семенъ Прокофьичъ, съ тѣхъ поръ, какъ его сдѣлали генераломъ, постоянно задумывается и что-то шепчетъ про себя, какъ будто

разсчитываетъ, къ какому же, наконецъ, празднику дадутъ ему звѣзду. Пирогъ съ сигомъ подается по прежнему, но невскій снѣжокъ до такой степени поднялся въ цѣнѣ, что вынуждены были замѣнить его ладожскимъ и волховскимъ. Однимъ словомъ, жизнь видимо угасаетъ въ этомъ семействѣ и, можетъ быть, даже давно угасла бы, еслибъ отъ времени до времени не пробуждалъ ее Мина прикосновеніемъ своего скромнаго, но все-таки молодого задора.

— Нынче, батюшка, у насъ кулебяки не прежнія!—начинаетъ бесѣду Семенъ Прокофьичъ, обращаясь къ старику Рыбникову:—нынче невскими-то снѣжками князья да графы... да вотъ аблакаты лакомятся, а съ насъ, дѣйствительныхъ статскихъ, и ладожскаго предовольно! Да вѣдь и то сказать, чѣмъ же ладожскій сигъ—не сигъ?

Рыбниковъ мычитъ что-то въ отвѣтъ, но, очевидно, только изъ учтивости, потому что ничего не слышитъ, хотя Нагорновъ и старается говорить какъ можно отчетливѣе.

— Прежде, батюшка ваше превосходительство, говядина-то восемь копѣечекъ за фунтъ была, а нынче Богъ такъ привелъ, что за бульонную по двадцати копѣечекъ платимъ. Дорогъ понастроили, думали, что хоть икра дешевле будетъ, анъ и тутъ легости нѣтъ. Вотъ я за самую эту квартиру прежде пятьсотъ на ассигнаціи платилъ, а нынче она ужъ пятьсотъ-то серебрецомъ изъ кармана стоитъ-съ! Такъ-то вотъ!

Общее молчаніе. Всѣ понимаютъ, что Семенъ Прокофьичъ къ чему-то ведетъ свою рѣчь, и ждутъ понурившись. И дѣйствительно, по тѣмъ подергиваньямъ, съ которыми онъ рѣжетъ пирогъ и посылаетъ въ ротъ куски его, видно, что на сей разъ дѣло не обойдется безъ нравоученія.

— А сыночекъ вотъ въ аблакаты устремляется!—разражается наконецъ Семенъ Прокофьичъ:—а отъ этихъ, прости Господи, сорванцовъ и бѣдствія-то всѣ на насъ пошли!

Молчаніе дѣлается еще глубже и тягостнѣе.

— У отца за душой гроша нѣтъ, а у сынка ужъ актрисы на умѣ... да какъ эти... камеліями, что-ли, онѣ у васъ прозываются?

— Камеліями, папенька.

— Камелія, батюшка, — это цвѣтокъ такой. Цвѣтками на-

звали! настоящимъ-то манеромъ стыдно назвать, такъ по цвѣтку названіе выдумали!

— Помилуйте, папенька, развѣ я...

— Я не объ тебѣ, мой другъ, а вообще про молодежь про нынѣшнюю... Зависть, батюшка ваше превосходительство, у нихъ какая-то появляется, коли они у котораго человѣка въ карманѣ рубль видятъ! Мысли другой никакой нѣтъ! Такъ вотъ и говоритъ тебѣ въ самые глаза: не твой рубль, а мой! И такъ это на тебя взглянетъ, что даже сконфузитъ всего! Точно ты и въ самомъ дѣлѣ виноватъ передъ нимъ! точно и въ самомъ дѣлѣ у тебя не свой, а его рубль-то въ карманѣ!

Миша слушаетъ, уткнувшись въ тарелку. Очевидно, онъ недоволенъ. Какъ представитель молодого поколѣнія, онъ считаетъ своимъ долгомъ хотя пассивно, но достойно протестовать противъ клеветы на него.

— Иду я это, батюшка, намедни по Катериновкѣ,—продолжаетъ обличать Семенъ Прокофьичъ:—а передо мной два школяра идутъ. „Вотъ бы, говоритъ одинъ, кабы въ этой канавѣ разомъ всю рыбу выловить — вотъ бы денегъ-то много забрать можно!“ Такъ вотъ у нихъ жадность-то какова! А того и не понимаетъ, малецъ, что въ нашей Катериновкѣ, кромѣ нечистотъ изъ Зондерманландіи, и рыбы-то никакой нѣтъ!

При словѣ: „Зондерманландія“, старикъ Рыбниковъ обнаруживаетъ нѣкоторое оживленіе.

— Да, братъ, бывали! бывали мы тамъ!—шамкаетъ онъ.

— Вотъ онъ, аблакатъ-то этотъ, какъ нахватаетъ чужихъ-то денегъ, ему и не жалко! Въ лавку придетъ—всю лавку подавай! А мы терпи! Онъ чужой двугривенчикъ-то за говядину отдастъ, а мы свой собственный, кровный, по милости его, подавай!

— Бывали! бывали!—прерываетъ старикъ Рыбниковъ, думая, что рѣчь все идетъ объ Зондерманландіи.

— Нѣтъ, да вы, батюшка ваше превосходительство, послушали бы, какой у нихъ аукціонъ насчетъ этихъ деверій-камелій идетъ! Офицеръ говоритъ: полторы, говоритъ! Онъ: двѣ, говоритъ! Офицеръ опять: двѣ съ половиной! Онъ: три, говоритъ! Откуда онъ деньги-то беретъ! Вы вотъ что мнѣ, батюшка, объясните!

— Да... да... въ Зондерманландіи... это точно!

— И вѣдь ничего-то у него на умѣ, кромѣ стяжанья этого, нѣтъ! Не то чтобы государству или тамъ отечеству... послужить бы тамъ, что-ли... Нѣтъ, только одну мысль и держитъ въ головѣ: какъ бы мамонъ себѣ набить!

Семенъ Прокофьичъ постепенно приходитъ въ такой азартъ, что даже бросаетъ на тарелку ножъ и вилку.

— А насъ взяточниками обзываютъ!—гремитъ онъ:—мы обрѣзочки да обкусочки подбирали—мы взяточники! А онъ цѣлаго человѣка за-разъ проглотить готовъ—онъ ничего, онъ благородный! Зачѣмъ, молъ, сей человѣкъ праздно по свѣту мыкается! Пускай, молъ, онъ у меня въ животѣ отлежится!

Гусь стоитъ посреди стола нетронутымъ. Анна Михайловна и сестрицы притихли; у Мини слегка вздрагиваютъ губы; даже старикъ Рыбниковъ начинаетъ понимать, что происходитъ нѣчто неладное.

— И вотъ тебѣ мой отцовскій завѣтъ, Михайло Семенычъ!—въ упоръ обращается къ сыну старикъ Нагорновъ. — Въ аблакаты —ни-ни! Просвирками-то, братъ, не проживешь, да ты и теперь ужъ надъ просвирками-то посмѣиваешься! Ты, братъ, можетъ, на заграницу засматриваешься, что тамъ аблакатъ-то въ почетѣ? Такъ вѣдь тамъ онъ человѣкъ вольный: сегодня онъ аблакатъ, а завтра министръ —вонъ оно что! А ты здѣсь что! и сегодня мразь, и завтра мразь. Мразь! мразь! мразь!

Миша убѣждается, что, благодаря отцовскому предупрежденію, двери въ адвокатуру для него закрыты. Онъ рѣшается идти въ прокуроры, и въ согласность этому рѣшенію пріучаетъ себя слегка голодать. „У прокурора—говоритъ онъ себѣ—животъ долженъ имѣть форму вогнутаго зеркала, чтобы служилъ не къ обремененію, а чтобы всегда... вездѣ... ваше превосходительство!.. готовъ-съ!“

Тинъ надорваннаго, съ вогнутымъ животомъ и всегда готоваго исполнителя — тинъ еще нарастающій, будущій... но онъ будетъ. Или, лучше сказать, онъ существовалъ искони, но временно какъ бы поколебался и утратилъ свою ясность. Это все тотъ же русскій Митрофанъ, готовый и просвѣщаться, и просвѣщать, сражаться и быть сражаемымъ. Въ послѣднее время онъ нѣсколько замутился, благодаря новизнѣ нѣкоторыхъ положеній и неумѣнію съ желательною

скоростью освоиться съ ними; но несомнѣнно, что онъ воспрянетъ, что онъ вновь сдѣлается чистымъ какъ стекло и овладѣетъ бразда-ми...

Миша уже и ведетъ себя такъ, какъ будто онъ заправскій прокуроръ. Строго, сдержанно, немножко сурово. Изъ устъ его такъ и сыплются: „по уложенію о наказаніяхъ“, „по смыслу такого-то рѣшенія кассаціоннаго департамента“, „на основаніи правилъ о судопроизводствѣ“, „въ Сводѣ законовъ гражданскихъ, статья такая-то, раздѣлъ такой-то, изображено“ и т. д. Даже въ дружеской бесѣдѣ съ товарищами онъ все какъ будто обвиняетъ и убѣждаетъ кого-то сослать въ каторгу.

— Тебя, братъ, за такія дѣла, по статьѣ такой-то слѣдовало бы, по малой мѣрѣ, въ исправительный домъ на три года запрятать!—говоритъ онъ:—да моли еще Бога, что смягчающія обстоятельства натянуть можно!

Въ большой залѣ, въ ресторанѣ Бореля, свѣтло и людно. Говоръ, смѣхъ, остроты и шутки не умолкаютъ. Татары безшумно мелькаютъ взадъ и впередъ, перемѣняя тарелки, принимая опорожненныя бутылки и устанавливая столъ новыми. Это пируютъ за субботнимъ ужиномъ будущіе прокуроры, будущіе судьи, будущіе адвокаты.

Приближается время выпуска, и молодые люди постепенно эмансипируются. Частенько-таки собираются они то въ томъ, то въ другомъ ресторанѣ, и за бокаломъ вина обсуждаютъ ожидающія ихъ впереди карьеры. Начальство знаетъ объ этомъ, но, въ виду скораго выпуска, смотритъ на запрещенныя сходки сквозь пальцы.

Разговоръ дробится по группамъ. На одномъ концѣ стола ведутъ рѣчь о томъ, что̀ выгоднѣе: въ столицѣ быть адвокатомъ или въ провинціи?

— Ловкачевъ! ты куда?

— Странный вопросъ!—разумѣется, въ адвокаты! не въ судьяхъ же пять лѣтъ на одномъ стулѣ сидѣть!

— Я, братъ, тоже въ адвокаты, да только думаю въ провинцію. Здѣсь ужъ очень много нашего брата развелось!

— Что-жъ! это мысль!

— Я, братъ, на дняхъ одного провинціальнаго адвоката встрѣтилъ, такъ очень хвалитъ! Такое, говоритъ, житье, что даже повѣрить трудно!

— А какъ однако?

— А тысячъ пятнадцать, двадцать въ годъ! Только, говоритъ, у насъ деликатесы-то бросить надо!

— То-есть, въ какомъ же это смыслѣ?

— А такъ, говоритъ, какая сторона больше дастъ — ту и защищай!

— Это само собой! да тамъ дѣла-то все мозглявыя!

— Это нужды нѣтъ! Мнѣ, говоритъ, хоть по зернышку, да почаще! Вѣдь онъ тамъ одинъ какъ перстъ — ну, все и захватилъ! А ежели пріѣдетъ, говоритъ, еще адвокатъ — сейчасъ, говоритъ, въ другой городъ переберусь!

— Да, двоимъ — это точно... пожалуй, и дѣлать тамъ нечего!

— А теперь, представь себѣ, ка̀къ ему хорошо! Что̀ ни дѣло, то̀ вѣрный выигрышъ, потому что у него и противниковъ-то настоящихъ нѣтъ. Народъ безсловесный все: стало быть, истецъ ли, отвѣтчикъ ли, какъ только не успѣлъ заручиться имъ, такъ ужъ и знаетъ заранѣе, что дѣло его пропало. Для меня, говоритъ, любое дѣло защитить — все одно, что въ вистъ съ тремя болванами партію сыграть!

— Да! это мысль! объ этомъ стоитъ подумать!

Въ другой группѣ, средоточіемъ которой служитъ Миша Нагорновъ, идетъ тотъ же разговоръ, но съ другими варіаціями.

— Нѣтъ, Проходимцевъ, я съ тобой не согласенъ! — ораторствуетъ Миша: — въ существованіи прокурора есть тоже свои хорошія стороны!

— Еще бы не было! даже египетскіе аскеты, когда жевали акридъ — и тѣ находили, что существованіе ихъ имѣетъ свои хорошія стороны!

— Ну, нѣтъ-съ: тутъ не акридами пахнетъ. Это не совсѣмъ такъ. Я заранѣе приглашаю тебя на прокурорскій обѣдъ, и будь увѣренъ, что ты всегда найдешь у меня и кусокъ сочнаго „бульи", и стаканъ добраго вина!

— „Бульи"!

— Что-жъ, и „бульи" не у всякаго адвоката бываетъ! Конечно, есть между ними такіе, которые изъ трюфлей не выходятъ — я заранѣе уступаю тебѣ, что въ прокуратурѣ я этого не найду! — ну, да вѣдь это изъ десятка у одного, трюфли-то! Но чего у тебя никогда не

будетъ въ твоей адвокатурѣ—это возможности восходить по лѣстницѣ должностей, это возможности расширять твои горизонты и встать современемъ на ту высоту, съ которой человѣческіе интересы кажутся какимъ-то жалкимъ миражемъ, мгновенно разлетающимся при первомъ появленіи изъ-за тучъ величественнаго свѣтила государственности!

— Ну, еще когда доползешь до этой высоты-то!

— Нѣтъ, отчего же! Я понимаю, что препятствія будутъ, и даже препятствія очень серьезныя! Но мнѣ кажется, что ежели я съумѣю заслужить довѣріе моего начальства, то самыя препятствія обратятся мнѣ же на пользу! Они только закалятъ меня и въ то же время утратятъ характеръ непреодолимости!

— Вотъ закалъ-то этотъ...

— Да ты пойми, душа моя: два-три хорошихъ убійства—и у меня дѣло въ шляпѣ... Я ужъ на виду! А если тутъ не повезетъ, можно по части проектцевъ пройтись! Проектецъ, напримѣръ, по части измѣненія судебныхъ уставовъ... какіе тутъ виды-то представиться могутъ!

— Такъ, значитъ, будемъ рѣзаться другъ противъ друга?

— Значитъ, будемъ рѣзаться!

Въ другихъ пунктахъ стола идутъ разговоры болѣе отрывочные.

— Да съ этого дѣла,—выкрикиваетъ кто-то,—не то что тридцать, сто тысячъ взять мало! Это ужъ глупо! Это просто-на-просто значитъ дѣло портить!

— Ну, братъ, сто тысячъ—дудки! Кабы нашего брата поменьше было—это такъ! Я понимаю, что тогда можно было бы и сто тысячъ заполучить! А теперь... откажись-ка ты отъ тридцати-то тысячъ—десятки на твое мѣсто явятся! Нѣтъ, братъ, нынче и за тридцать тысячъ въ ножки поклонишься!

— Я навѣрное это знаю,—выкрикиваетъ другой:—что ежели ты ему впередъ тысячи рублей не выложишь, онъ пальцемъ объ палецъ для тебя не ударитъ! Нажединись въ Пензу по дѣлу о растлѣніи малолѣтней его приглашали, такъ онъ прямо напрѣзъ потребовалъ: первое—восемь тысячъ на столъ—это ужъ безъ возврата, значитъ; второе—ежели вмѣсто каторги только на поселеніе—еще восемь тысячъ; третье—ежели совсѣмъ оправлю—двадцать тысячъ!

— Ну, это, братъ, молодецъ!

— Господа—выкрикиваетъ третій:—я предлагаю составить компанію для отравленія этой нѣмки!

— Какой нѣмки? какой нѣмки?—сыплются со всѣхъ сторонъ вопросы.

— Да вотъ той, которая двадцать милліоновъ долларовъ въ наслѣдство получила! Боковая линія пятидесяти процентовъ не пожалѣетъ, чтобъ ее извести!

— Этотъ-то вопросъ неважный!—выкрикиваетъ четвертый:—вопросъ-то объ единоутробіи! Да ежели его какъ слѣдуетъ разработать, какой свѣтъ-то на всю судебную практику прольется! Вѣдь мы въ потьмахъ, господа, бродимъ! Вѣдь это что жъ. наконецъ!

И вдругъ, среди этого хаоса восклицаній, вопросовъ и пререканій. влетаетъ въ залъ цвѣтъ, слава и гордость адвокатуры—самъ господинъ Тонкачевъ.

Тонкачевъ уже два года какъ вышелъ изъ „заведенія“, и съ тѣхъ поръ съ честью подвизается на поприщѣ адвокатуры. Это вообще очень изящный молодой человѣкъ: на немъ черная бархатная визитка и тончайшее, ослѣпительной бѣлизны бѣлье. Претензій на щегольство—никакихъ: но все такъ прилично и умненько пригнано. что всякій при взглядѣ на него невольно думаетъ: „какой, должно быть, способный и основательный молодой человѣкъ!“ Стулья съ шумомъ раздвигаются. чтобы дать мѣсто новому и, очевидно. дорогому гостю.

— Тонкачевъ! вотъ это мило! вотъ это сюрпризъ!—восклицаютъ молодые люди, обступая адвокатскую знаменитость.

— Извините, господа. я по-просту! Я здѣсь въ сосѣдней комнатѣ ужиналъ—вдругъ. слышу, знакомые голоса! Думаю. отчего старыхъ пріятелей не навѣстить!

— И прекрасно! выпьемъ вмѣстѣ! Человѣкъ! шампанскаго! Господа! за здоровье Владиміра Васильевича Тонкачева!

— Принимаю и благодарю. И въ свою очередь пью за васъ. господа. Пью за эту блестящую плеяду будущихъ молодыхъ дѣятелей. которымъ черезъ два мѣсяца суждено испробовать свои силы! Привѣтствую въ васъ то еще недалекое и навсегда для меня незабвенное прошлое, когда и я, полный молодыхъ надеждъ, выступалъ изъ стѣнъ заведенія! Привѣтствую въ васъ то прекрасное будущее, которое впрочемъ прекрасно не для однихъ васъ. но съ

вами и, такъ сказать, по случаю васъ—и для всей страны! Да, господа, это мое глубокое, несокрушимое убѣжденіе: вы призваны совершить перерожденіе горячо любимой нами родины и, конечно, будете стоять на высотѣ этого призванія! Съ такими бодрыми, сильными, смѣлыми дѣятелями можно смотрѣть впередъ съ довѣріемъ. Можно смѣло поднимать завѣсу будущаго—и не опасаться! Пускай подкапывается подъ насъ злоба, пускай обращаетъ она на насъ свой змѣиный шипъ—мы останемся твердыми, какъ скала! Волны клеветы будутъ лизать ноги наши, но никогда не достигнутъ до головы. Мы не утописты, господа, не идеологи—слѣдовательно, у насъ даже мѣстъ такихъ не имѣется, въ которыя клевета могла бы безъ труда запустить свое жало! У насъ нѣтъ даже ахиллесовой пяты. Мы простые, честные труженики. Мы употребляемъ въ дѣло свой трудъ, свои познанія, и получаемъ за это посильное вознагражденіе! вотъ наша роль, господа: роль въ высшей степени скромная, но въ высшей степени плодотворная. Итакъ, господа, повторяю: я счастливъ, поднимая за васъ этотъ бокалъ! За васъ я пью, за эту блестящую плеяду будущихъ молодыхъ дѣятелей, которымъ суждено довершить то, что такъ счастливо начали ихъ предшественники!

Тонкачевъ произнесъ эту рѣчь совсѣмъ невзначай и съ такою легкостью, что, казалось, какъ будто вошелъ человѣкъ и плюнулъ. Тѣмъ неописаннѣе былъ произведенный ею въ молодежи фуроръ.

— Браво, Тонкачевъ! вотъ такъ спасибо! Это что называется по-товарищески! Человѣкъ! шампанскаго!—раздавалось со всѣхъ сторонъ.

Но вотъ, среди поцѣлуевъ и обниманій, къ Тонкачеву приближается Миша съ бокаломъ въ рукахъ.

— Позвольте мнѣ,—начинаетъ онъ взволнованнымъ голосомъ: —позвольте мнѣ, вашему бывшему противнику по состязательному процессу, привѣтствовать въ васъ славу, надежду и гордость нашего молодого, только-что нарождающагося сословія адвокатовъ! Изъ-за скромныхъ стѣнъ нашего заведенія мы слѣдили за вашими успѣхами и радовались имъ. Мы, смѣю такъ выразиться, гордились ими. На долю нашего заведенія выпалъ счастливый жребій, господа. Сколько дало оно странѣ высокопоставленныхъ лицъ, сколько людей, отмѣченныхъ печатью генія! Слѣдовательно, выходя изъ стѣнъ школы, мы прямо уже видимъ передъ собою примѣры, которыхъ вполнѣ до-

статочно, чтобъ ободрить молодой духъ и вдохнуть въ молодое сердце рѣшимость слѣдовать по стопамъ предшественниковъ. Что можетъ быть величественнѣе, поучительнѣе, благотворнѣе, какъ зрѣлище людей, неуклонно шествующихъ по стезѣ долга! А мы, мы видимъ это зрѣлище постоянно, и постоянно имѣемъ возможность вдохновляться имъ! Чтобъ быть твердыми, намъ не нужно особенныхъ усилій: намъ стоитъ только взглянуть впередъ. Тамъ, въ этомъ блестящемъ сонмищѣ людей, посвятившихъ себя служенію истинѣ, мы встрѣтимъ не только полезный примѣръ, но и дѣйствительную помощь, совѣтъ и одобреніе. Намъ ли не преуспѣвать! намъ ли не подвигаться быстрымъ и твердымъ шагомъ по лѣстницѣ должностей! Черезъ два мѣсяца мы выходимъ, господа. Черезъ два мѣсяца мы предстанемъ передъ вами, Владиміръ Васильевичъ! передъ вами и вашими славными сподвижниками! Вы не отвернетесь отъ насъ, вы подадите намъ руку помощи, которая такъ необходима для нашей неопытности! Я убѣжденъ въ этомъ и въ этой сладкой увѣренности, съ чувствомъ заранѣе несущейся отъ сердца признательности, поднимаю за васъ бокалъ мой! За Владиміра Васильевича Тонкачева, господа! За красу и гордость нашего заведенія! За славу нашего молодого, только-что нарождающагося сословія адвокатовъ!

Восторгъ школяровъ не знаетъ предѣловъ. Тонкачева качаютъ, Нагорнова качаютъ, потомъ поочередно качаютъ Ловкачева, Проходимцева, даже Осликова.

— Ты, Осликовъ, какъ?—спрашиваетъ его Тонкачевъ.

— А я, братъ, кажется, на скамьѣ подсудимыхъ сидѣть буду! —отвѣчаетъ Осликовъ, залпомъ выпивая громадную рюмку коньяку и заѣдая ее булкой съ икрой.

— Ну, въ такомъ случаѣ бери меня въ защитники,—любезно предлагаетъ Тонкачевъ:—только, чуръ, не виниться, какъ, помнишь, въ тотъ разъ!

— Я, братъ, нонче твердъ. Невиновенъ—кончено дѣло!

Общій взрывъ хохота.

Тонкачевъ усаживается въ центрѣ стола и начинаетъ бесѣдовать.

— Въ нашемъ дѣлѣ, господа, больше всего смѣлость нужна!— ораторствуетъ онъ:—смѣлость и находчивость; это средство на судей безъ ошибки дѣйствуетъ!

— Да, удивительно, какъ вы зининское дѣло выиграли!—воскликнулъ Ловкачевъ.

— А почему я его выигралъ? Потому что нашелся! А не найдись я, не пусти въ ходъ того блестящаго парадокса... помните?.. противная сторона откатала бы меня!

— Ну, съ вами-то не такъ легко справиться!

— Я, господа, вотъ какъ разсуждаю: адвокатъ долженъ не просто говорить, а говорить, такъ сказать, съ картинками. Вотъ какъ книжки: и съ картинками, и безъ картинокъ издаютъ. Чуть только судъ задумываться сталъ—ну, тутъ ужъ не плошай! Всѣ картинки, какія есть—всѣ на столъ разомъ выкладывай!

— Но вѣдь для этого талантъ особенный нужно имѣть!

— Безъ таланта, батюшка, ничего нельзя. За талантъ-то собственно и деньги намъ платятъ. За талантъ, за смѣлость, за умѣнье найтись. Наше дѣло такое, что тутъ все въ соображеніе принимать слѣдуетъ: и характеръ судей, и домашнюю ихъ обстановку, и даже случайность всякую. Да, даже просто случайность. Иногда, кажется, вотъ-вотъ проигралъ дѣло, анъ подвернется подъ руку случай—и поправился! Я даже въ запасѣ всегда какую-нибудь случайность имѣю. Анекдотъ тамъ, что-ли, цитату... ну, просто глупость какую-нибудь. Дамъ противнику выговориться, да тутъ его и накрою: въ нѣкоторомъ, молъ, царствѣ, въ нѣкоторомъ государствѣ жилъ былъ истецъ... И пошелъ! и пошелъ!

— Удивительно! безподобно!

Тонкачевъ окончательно входитъ въ роль и начинаетъ, такъ сказать, пророчать...

— Мнѣ стоитъ только взглянуть на составъ суда,—говоритъ онъ:—чтобъ сейчасъ же опредѣлить, выиграю я дѣло, или проиграю. Вотъ тутъ-то именно и нужна мнѣ сноровка. Ежели составъ суда благопріятный, я всѣ силы употреблю, чтобъ дѣло было разсмотрѣно въ этомъ засѣданіи; ежели составъ суда неблагопріятный—я изъ кожи лѣзу, чтобъ мое дѣло было отложено. Вы думаете, какъ я кондыревское дѣло выигралъ?—именно этотъ фортель въ ходъ пустилъ! Вижу, Левушка Спбарптовъ въ числѣ судей сидитъ—ну, думаю, плохо дѣло! И подвелъ, знаете, кулеврину! И до тѣхъ поръ откладывалъ да откладывалъ, покуда Левушку въ Черноѣскъ предсѣдателемъ не перевели. Тогда и покончилъ.

Въ публикѣ слышится ропотъ удивленія...

— Я не такія еще штуки выдѣлывалъ! Одинъ разъ я передъ присяжными показывалъ, какъ черезъ веревочку прыгаютъ. Всталъ по серединѣ зала и началъ прыгать. Оправдали. Другой разъ, сталъ доказывать, что одинъ человѣкъ можетъ цѣлый нанушникъ съѣсть —и съѣлъ. Я къ одному изъ будущихъ засѣданій такую штуку приготовляю, такую штуку! Вотъ увидите!

— Разскажите, Тонкачевъ! Ну, пожалуйста!

— Нѣтъ, господа, покуда это секретъ. Я долженъ поразить неожиданно, чтобы никто не опомнился. У меня, господа, сто-пять дѣлъ въ производствѣ было—сколько отчаянныхъ между ними, ну, самыхъ то-есть такихъ, что даже издали взглянуть на него противно! —и девяносто-семь изъ нихъ выигралъ! Замѣтьте: изъ ста-пяти дѣлъ только восемь проигранныхъ! Такого tour de force даже Оттѣтый не совершалъ!

— Тонкачевъ! шампанскаго! servez-vous!

— Нѣтъ, господа, вы ужъ позвольте мнѣ самому фетировать васъ! человѣкъ, двѣнадцать бутылокъ! Вы, господа, какое предпочитаете?

— Редереръ! Редереръ!

— А я, грѣшный человѣкъ, предпочитаю Heidzick-Cabinet! Суше. А впрочемъ, можно отъ времени до времени и ледерцу пропустить. Только предварительно надлежитъ по коньячкамъ пройтись, чтобы приличное *остие* сдѣлать послѣ всего этого изобилія плодовъ земныхъ!

Попойка возобновляетъ теченіе свое и принимаетъ болѣе и болѣе шумный характеръ. Черезъ часъ пирующіе уже перестаютъ понимать другъ друга. Одинъ Тонкачевъ, что называется, ни въ одинъ глазъ, и только хвастаетъ въ нѣсколько болѣе усиленныхъ размѣрахъ, чѣмъ обыкновенно.

— Вотъ когда вы выйдете изъ заведенія, всѣ ко мнѣ приходите!—говоритъ онъ:—такъ прямо и приходите! Я всѣхъ въ помощники приму! Мы цѣлую фабрику заведемъ! Мы такое судоговоренье устроимъ, что нѣбу жарко будетъ! Истецъ ли, отвѣтчикъ ли— все будетъ одно, все въ нашихъ рукахъ. Самъ истецъ, самъ и отвѣтчикъ! Вотъ мы какую штуку удеремъ! Я, ты, онъ—все одно! все одинъ чортъ!

Наконецъ дѣло доходитъ до того, что нѣкоторые изъ бесѣдующихъ начинаютъ плакать, другіе—смѣяться, третьи—призывать небо и землю въ свидѣтели. Одинъ изъ школьниковъ подходитъ къ зеркалу и, завидѣвъ тамъ свое изображеніе, начинаетъ къ нему придираться. Оньянѣлъ наконецъ и Тонкачевъ.

— А вѣдь по правдѣ-то,—говоритъ онъ косѣющимъ языкомъ:—какъ ежели по совѣсти... свиньи мы, господа! Ничего-то вѣдь у насъ за душой! Ну просто, такъ сказать, въ душѣ кабакъ... Ей Богу, такъ!

Далеко за полночь молодыхъ людей не безъ труда развозятъ по домамъ татары.

Наконецъ сданъ и послѣдній экзаменъ. Будущіе прокуроры и адвокаты разсыпаются по стогнамъ Петербурга.

Миша вышелъ первымъ. Въ щегольскомъ фракѣ, съ капитанскимъ чиномъ на плечахъ, онъ съ выпускного обѣда является въ отчій домъ. Но такъ какъ онъ навеселѣ, то ему кажется, что передъ нимъ не скромная квартира Семена Прокофьича Нагорнова въ Подъяческой, а величественное зданіе суда.

— Принимая во вниманіе,—говоритъ онъ, останавливаясь въ дверяхъ передней и указывая на отца:—принимая во вниманіе, что этотъ человѣкъ совершилъ преступленіе съ полнымъ сознаніемъ содѣяннаго, и притомъ безъ всякихъ уменьшающихъ вину его обстоятельствъ, а потому полагаемъ...

— Другъ ты мой!—восклицаетъ Анна Михайловна въ какомъ-то неописанномъ волненіи.

— Ну, Христосъ съ нимъ! выпилъ... Христосъ съ нимъ!—съ нѣжностью говоритъ Семенъ Прокофьичъ, крестя сына.

— И за что они меня въ прокуроры отдали! Я въ адвокаты хочу!—всхлипываетъ Миша какимъ-то наболѣвшимъ голосомъ. И слезы градомъ катятся изъ глазъ его.

Будущаго прокурора укладываютъ спать.

ПАРАЛЛЕЛЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

Никто не могъ сказать опредѣлительно, какимъ образомъ Порфирій Велентьевъ сдѣлался финансистомъ. Правда, что еще въ 1853 году, пользуясь военными обстоятельствами того времени, онъ уже написалъ проектъ подъ названіемъ:

ДЕШЕВѢЙШІЙ СПОСОБЪ ПРОДОВОЛЬСТВІЯ АРМІИ И ФЛОТОВЪ!!

ИЛИ

КОЛБАСА ИЗЪ ЕЛОВЫХЪ ШИШЕКЪ СЪ ПРИМѢСЬЮ НИКУДА НЕГОДНЫХЪ МЯСНЫХЪ ОБРѢЗКОВЪ!!

—въ которомъ, описывая питательность и долгосохраняемость изобрѣтеннаго имъ продукта, требовалъ, чтобы ему отвели до ста тысячъ десятинъ земли въ плодороднѣйшей полосѣ Россіи для устройства громадныхъ размѣровъ колбасной фабрики: взамѣнъ же того предлагалъ снабжать армію и флотъ изумительнѣйшею колбасою по баснословно-дешевымъ цѣнамъ. Но, увы! тогда время для проектовъ было тугое, и хотя нѣкоторые помощники столоначальниковъ того вѣдомства, въ которомъ служилъ Велентьевъ, соглашались, что „хорошо бы, братъ, разомъ этакой кусъ урвать“, однако въ высшихъ сферахъ никто Порфирія за финансиста не призналъ и проектомъ его не соблазнился. Напротивъ того, ему было даже внушено, чтобы онъ „несвойственными дворянскому званію вымыслами впредь не занимался, подъ опасеніемъ высылки за предѣлы цивилизаціи“. На томъ это дѣло и покончилось. Порфирій года четыре прожилъ смирно, состоя на службѣ въ одномъ изъ департаментовъ министерства финансовъ.

Но молчаніе его было вынужденное, и втайнѣ Велентьевъ все-таки давалъ себѣ слово во что бы ни стало возвратиться къ проекту о колбасѣ. Перечитывая стекающіяся отовсюду вѣдомости о положеніи въ казначействахъ суммъ и капиталовъ всевозможныхъ наименованій, онъ пускался въ вычисленія, доказывалъ недостаточность употреблявшихся въ то время способовъ для извлеченія доходовъ, требовалъ учрежденія особаго министерства подъ названіемъ „министерства дивидендовъ и раздачъ“ и, указывая на неисчерпаемыя богатства Россіи, лежащія какъ на поверхности земли, такъ и въ нѣдрахъ оной, восклицалъ:

— Столько богатствъ—и втунѣ! Вѣдь это, наконецъ, свинство!

Но никто уже не вѣрилъ ему. Даже помощники столопачальниковъ—и тѣ сомнѣвались, хотя каждому изъ нихъ, конечно, было бы лестно заполучить мѣстечко въ министерствѣ дивидендовъ и раздачъ. Всѣ считали Велентьева полупомѣшанною и преисполненною финансоваго бреда головой, никакъ не подозрѣвая, что близится время, когда самый горячечный бредъ не только сравняется съ дѣйствительностью, но даже будетъ оттѣснепъ послѣднею далеко на задній планъ...

Наконецъ наступилъ 1857 годъ, который всѣмъ открылъ глаза. Это былъ годъ, въ который впервые покачнулось пресловутое русское единомысліе и уступило мѣсто не менѣе пресловутому русскому галдѣнію. Это былъ годъ, когда выпорхнули цѣлые рои либераловъ-нѣкоснимателей и принялись усиленно нюхать, чѣмъ пахнетъ. Это былъ годъ, когда не было той скорбной головы, которая не попыталась бы хоть слегка поковырять въ нѣдрахъ русской земли, добродушно смѣшивая послѣднюю съ русской казною.

Промышленная и акціонерная горячка, послѣ всеобщаго затишья, вдругъ очутилась на самомъ зенитѣ. Проекты сыпались за проектами; акціонерныя компаніи нарождались одна за другою, какъ грибы въ мочливое время. Люди, которымъ дотолѣ присвоивались презрительныя наименованія „соломенныхъ головъ“, „гороховыхъ шутовъ“, „проходимцевъ“ и даже „подлецовъ“, вдругъ оказались геніями, передъ грандіозностью соображеній которыхъ слѣпли глаза у всѣхъ неносвященныхъ въ тайны жульничества. Всѣхъ русскихъ быковъ предполагалось посолить и въ соленомъ видѣ отправить за границу. Всѣ русскія болота представлялось необходимымъ разработать и извлеченные изъ торфа продукты отправить за границу. X. указывалъ на изобиліе грибовъ и требовалъ „устройства грибной промышленности на болѣе раціональныхъ основаніяхъ“; Z. указывалъ на массы тряпья, скопляющіяся по деревнямъ, и доказывалъ, что еслибы эти массы употребить на выдѣлку бумаги, то бумажныя фабрики всѣхъ странъ должны были бы объявить себя несостоятельными; Y. заявлялъ скромное желаніе, чтобы въ его руки отданы были всѣ русскіе кабаки, и взамѣнъ того обѣщалъ сдѣлать сивуху общедоступнымъ напиткомъ. Хмель, ленъ, пенька, сало, кожи—на все завистливымъ окомъ взглянули домашніе ловкачи-реформаторы и изъ всего изъяв-

ля.ли твердое намѣреніе выжать сокъ до послѣдней капли. Повсюду, даже на улицахъ, слышались возгласы:

— Ванька-то! курицынъ сынъ! скажите, какую штуку выдумалъ!

Однимъ словомъ, русскій геній воспрянулъ...

Но какъ ни грандіозны были проекты объ организаціи грибной промышленности, объ открытіи рынковъ для сбыта рѵ̀сскаго тряпья и проч.—они представлялись ребяческимъ лепетомъ въ сравненіи съ проектомъ, который созрѣлъ въ головѣ Велентьева. Тѣ проекты были простые, болѣе или менѣе увѣсистые булыжники. Велентьевъ же вдругъ извлекъ цѣлую глыбу и поднесъ ее изумленной публикѣ. Проектъ его былъ озаглавленъ такъ: „О предоставленіи коллежскому совѣтнику Порфирію Меандрову Велентьеву въ товариществѣ съ вильманстрандскимъ первостатейнымъ купцомъ Василіемъ Вонифатьевымъ Поротоуховымъ въ безпошлинную двадцатилѣтнюю эксплуатацію всѣхъ принадлежащихъ казнѣ лѣсовъ для непремѣннаго оныхъ, въ теченіе двадцати лѣтъ, истребленія“... Передъ величіемъ этой концессіи всѣ сомнѣнія относительно финансовыхъ способностей Порфирія немедленно разсѣялись. Всѣ тѣ, которые дотолѣ смотрѣли на Велентьева какъ на исполненную финансоваго бреда голову, должны были умолкнуть. Столоначальники и начальники отдѣленій, встрѣчаясь на Подъяческой, въ восторгѣ поздравляли другъ друга съ обрѣтеніемъ истиннаго финансоваго человѣка минуты. Директоры департаментовъ задумывались; но въ этой задумчивости проглядывалъ не скептицизмъ, а опасеніе, съумѣютъ ли они встать на высоту положенія, созданнаго Велентьевымъ. Словомъ сказать, репутація Велентьева, какъ финансиста, установилась на прочныхъ основаніяхъ, и ежели не навсегда, то по крайней мѣрѣ до тѣхъ поръ, пока не явится новый Велентьевъ, съ новымъ, еще болѣе грандіознымъ проектомъ „о повсемѣстномъ опустошеніи“, и не свергнетъ своего созію съ пьедестала, на который тотъ вскарабкался.

Само собой разумѣется, что часть славы, озарившей Велентьева, должна была отразиться и на вильманстрандскомъ купцѣ Поротоуховѣ. О Поротоуховѣ еще менѣе можно было сказать, какимъ образомъ онъ сдѣлался финансистомъ. Большинство помнило его еще подъ именемъ Васьки Поротое-Ухо сидѣльцемъ кабака въ одной изъ великорусскихъ губерній; хотя же онъ въ этомъ положеніи и успѣлъ

заслужить себѣ репутацію балагура, но такъ какъ въ тѣ малопросвѣщенныя времена никто не подозрѣвалъ, что отъ балагура до финансиста рукой подать, то никто и не обращалъ на него особеннаго вниманія. Тѣмъ не менѣе, должно полагать, что Васька занимался не однимъ балагурствомъ, но умѣлъ кое-что и утянть. И вотъ, въ одно прекрасное утро, онъ явился въ одно изъ присутственныхъ мѣстъ, гдѣ производились значительные торги на отдачу различныхъ поставокъ и подрядовъ, и подъ торговымъ листомъ совершенно отчетливо подписался: „вильмерстанскій первостатейнай купецъ Василей Велифантьяфъ Портаухафъ симъ натъ Писуюсь“. Присутствующіе такъ и ахнули. Поротоуховъ—первостатейный купецъ! Не можетъ быть! Васька! ты ли это?! Но Поротоуховъ смотрѣлъ такъ свѣтло и ясно, какъ будто онъ такъ и родился „вильмерстанскимъ купцомъ“. Повидимому онъ расцвѣлъ въ одну ночь, расцвѣлъ тайно отъ всѣхъ глазъ, съ тѣмъ, чтобы разомъ явить міру всѣ благоуханія, которыми онъ былъ преисполненъ. И расцвѣлъ не затѣмъ, чтобы вмалѣ завянуть, а затѣмъ, чтобы явиться финансистомъ-практикомъ, правою рукой того плодотворнаго дѣла, душою котораго суждено было сдѣлаться Велентьеву.

Такимъ образомъ, на нашемъ общественномъ горизонтѣ одновременно появилось два финансовыхъ свѣтила. Другое, болѣе слабонервное общество не выдержало бы, но мы выдержали. Велентьевъ и Поротоуховъ пошли въ ходъ. Желѣзными когтями вцѣпились они въ нѣдра русской земли и копаются въ нихъ доднесь, волнуя воображеніе россіянъ перспективами неслыханныхъ барышей и обѣщаніемъ какихъ-то сокровищъ, до которыхъ нужно только докопаться, чтобы посрамить остальную Европу.

Но общественное мнѣніе, справедливо угадавъ на Велентьевѣ и Поротоуховѣ людей, отвѣчавшихъ потребностямъ минуты, все-таки не совсѣмъ правильно взглянуло на тѣ условія, въ силу которыхъ они появились на аренѣ общественной дѣятельности не въ качествѣ прохвостовъ, какими бы имъ надлежало быть, но окруженные ореоломъ авторитетности. Оно увидѣло въ нихъ баловней фортуны, геніальныхъ самоучекъ, въ которыхъ идея о всеобщемъ ограбленіи явилась какъ плодъ внезапнаго откровенія. Это было заблужденіе. Не съ неба свалилась этимъ людямъ почетная роль финансовыхъ воротилъ русской земли, а пришла издалека. Надъ ними прошло цѣлое воспитаніе,

вслѣдствіе котораго они такъ же естественно развились въ финансистовъ самоновѣйшаго фасона, какъ Миша Нагорновъ—въ неусыпнаго служителя Ѳемиды, а Коля Персіяновъ—въ администратора высшей школы.

На этотъ разъ займемся собственно Порфишей Велентьевымъ, предоставляя себѣ поговорить о Васильѣ Поротоуховѣ при случаѣ.

Отецъ Порфиши, Менандръ Велентьевъ, происходилъ изъ духовнаго званія. Даже и теперь, въ одной изъ подмосковныхъ губерній, имѣется село Велентьево, въ которомъ Порфишинъ дѣдъ былъ въ теченіе сорока лѣтъ священникомъ. Благодаря существовавшему въ двадцатыхъ годахъ спросу на молодыхъ людей изъ духовнаго званія, Менандру посчастливилось, да къ тому же и способности у него были прекрасныя. Еще будучи въ семинаріи, онъ съ такою легкостью усвоивалъ себѣ всю книжную мудрость, отъ патристики до догматическаго богословія включительно, что отецъ ректоръ не разъ рѣшался переименовать его въ Быстроумова, но, къ счастью для Менандра, а еще болѣе для Порфиши, почему-то не успѣлъ наложить на родъ Велентьевыхъ неизгладимое клеймо племени Левитова. Впослѣдствіи, какъ отличный, Менандръ былъ переведенъ въ духовную академію, въ Петербургъ, гдѣ тоже блистательно кончилъ курсъ, но, при выходѣ изъ академіи, духовной карьеры не пожелалъ, а предпочелъ ей карьеру чиновника. Обстоятельства поблагопріятствовали ему и тутъ. Въ это самое время князь Оболдуй-Щетина Ферлакуръ искалъ для своего сына воспитателя и, по совѣту жены, обратился къ единственному въ то время надежному источнику истиннаго просвѣщенія—къ духовной академіи. Отецъ-ректоръ порекомендовалъ князю Менандра Велентьева.

Князь Оболдуй-Щетина-Ферлакуръ былъ первый изъ русскихъ Ферлакуровъ. Княжна Оболдуй-Щетина была послѣднею представительницей знаменитаго рода князей Оболдуевъ-Щетинъ. Дабы не дать угаснуть воспоминанію объ этомъ родѣ, княжна, вышедши замужъ за французскаго эмигранта Ферлакура, исходатайствоала, чтобы къ фамиліи послѣдняго была присоединена и ея собственная. Такимъ образомъ устроился трисоставный князь Оболдуй-Щетина-Ферлакуръ. Новоиспеченный князь Россійской Имперіи оказался вполнѣ достойнымъ внезапно постигшаго его счастія. Онъ сразу понялъ, что настоя-

щее отечество для праздношатающагося — тамъ, гдѣ представляется возможность кататься какъ сыръ въ маслѣ, и затѣмъ, ни мало не колеблясь, принялъ православіе, и съ этой минуты не иначе говорилъ о себѣ, какъ: „мы, русскіе“. Долгихъ усилій ему стоило, чтобы *полюбить севрюжину* съ хрѣномъ; но такъ какъ онъ понялъ, что безъ этого быть истинно русскимъ нельзя, то не только полюбилъ севрюжину, но даже охотно пилъ квасъ, а о кашѣ выражался не иначе, какъ: „каша есть матерь наша“. Онъ щеголялъ тѣмъ, что онъ русскій, хотя и Ферлакуръ, и предсказывалъ, что недалеко время, когда всѣ французскіе Ферлакуры будутъ русскими. Въ разговорѣ онъ любилъ вклеивать малоупотребительныя слова, въ родѣ „токмо“, „вящій“, „вмалѣ“, „книжица“, „иждивеніе“ и т. д. Но когда онъ, наконецъ, написалъ книжицу, въ которой изобразилъ, какими неисповѣдимыми путями онъ дошелъ до сознанія истинъ святой православной вѣры, то всѣ признали, что болѣе благонадежнаго русскаго, чѣмъ этотъ русскій Ферлакуръ — и желать не надо. Пользуясь этимъ благопріятнымъ поворотомъ мнѣнія высшихъ административныхъ сферъ, князь достигъ того, что неторопливыми, но вѣрными шагами шелъ себѣ да шелъ по лѣстницѣ должностей, и наконецъ получилъ совершенно обезпеченное положеніе въ вѣдомствѣ святѣйшаго синода.

Такимъ образомъ, когда Менандръ Велентьевъ поступилъ, въ качествѣ домашняго воспитателя, въ домъ князя Оболдуй-Щетина-Ферлакура, послѣдній былъ уже на верху почестей и славы.

Менандръ скоро и ловко освоился съ своимъ новымъ положеніемъ. Онъ понялъ, что ему слѣдуетъ быть почтительнымъ безъ низкопоклонства, откровеннымъ безъ фамильярности и, наконецъ, по крайней мѣрѣ въ такой же степени русскимъ, какъ и князь Оболдуй-Щетина-Ферлакуръ! Послѣднее было для него, конечно, довольно легко, потому что онъ не только ѣлъ севрюжину съ хрѣномъ, но и гороховицу употреблялъ довольно охотно. Но найти середину между почтительностью и низкопоклонствомъ, отыскать ту поту, которая не дозволяла бы откровенности перейти въ фамильярность, было нѣсколько труднѣе. Какъ и всѣ семинаристы, Менандръ былъ до крайности угловатъ, и потому рѣшительно не владѣлъ своимъ тѣломъ. Онъ не зналъ, что̀ дѣлать съ руками (по временамъ, онъ порывался ихъ прятать, какъ бы подъ гнетомъ ощущенія рясы на плечахъ), и

вообще всею фигурой напоминалъ танцующаго медвѣдя. Желаніе понасть въ тонъ и показать знаніе свѣтскихъ приличій убивало его и заставляло дѣлать тысячи несообразностей. Онъ то спѣшилъ и устремлялся, то вдругъ останавливался и упирался какъ быкъ; то чрезмѣрно улыбался, стараясь сложить губы на подобіе сердечка; то вдругъ насупливалъ брови и по цѣлымъ часамъ глядѣлъ исподлобья. По-французски онъ понималъ отлично, но разговоръ его былъ нерѣшительный, какъ будто его постоянно преслѣдовала мысль: а не по-латыни ли я говорю? Сверхъ того, онъ былъ ширококость и говорилъ такимъ открытымъ басомъ и съ такою невозмутимою разсудительностью, какъ будто непрерывно проповѣдовалъ или вразумлялъ. Но что въ особенности вредило ему, такъ это тогдашній модный костюмъ, которымъ онъ поспѣшилъ обзавестись. Вообразите вишневаго цвѣта съ искрой фракъ, совершенно облизанный спереди и съ узенькими фалдочками назади, штаны въ обтяжку, высокій галстухъ, до того туго повязанный, что всякій франтъ того времени казался всегда живущимъ подъ угрозой паралича, и наконецъ прическу, состоящую изъ кока посреди лба, гладко выстриженнаго затылка и волосъ, зачесанныхъ на виски въ видѣ толстыхъ запятыхъ —и вы будете имѣть возможность представить, какъ долженъ былъ казаться смѣшнымъ въ такомъ видѣ этотъ плотный семинаристъ, только-что перешедшій съ академической парты въ великолѣпные салоны перваго русскаго Ферлакура.

По Менандру, что называется, везло, и потому даже нелѣпая внѣшность послужила ему въ пользу.

Княгиня была женщина еще не старая, но не очень красивая и набожная. Въ обществѣ ее уважали за то, что она умѣла умно вести теологическіе споры; но такъ какъ даже и въ то суровое время молодые люди предпочитали амурные разговоры теологическимъ, то княгиня постоянно видѣла себя окруженною людьми, имѣвшими не менѣе статскаго совѣтника на плечахъ. Но статскіе и дѣйствительные статскіе совѣтники говорили такъ резонно, что даже на нее наводили тоску. Съ одной стороны, старый Ферлакуръ съ своими „книжицами“ и „пждивеніями“, съ другой—какой-нибудь генералъ-маіоръ Толоконниковъ, читающій на soirée causante проектъ „немедленнаго возсоединенія уніи, буде нужно, даже съ помощью оружія“—вотъ убивающая обстановка, въ которой ей суждено было

влачить изо дня въ день свое существованіе. Поэтому, хотя княгиня и не сознавалась даже самой себѣ, что отсутствіе въ ея салонахъ молодого элемента раздражало ее, но по временамъ сами статскіе совѣтники замѣчали, что на нее находятъ порывы какой-то странной теологической рѣзвости. То вдругъ начнетъ цитировать Вольтера и энциклопедистовъ, то возбудитъ вопросъ о папской непогрѣшимости и окажетъ явную наклонность къ поддержанію ея (подивимся, читатель! гдѣ-то, на отдаленномъ сѣверѣ, слабая женщина еще въ двадцатыхъ годахъ провидѣла вопросъ, повергающій въ смущеніе современную католическую Европу!). Статскіе совѣтники слушали, хлопали глазами и расходились по домамъ „смущенные и очи опустя“. А княгиня, оставшись наединѣ съ самой собою, начинала вздыхать, швыряла теологическія диссертаціи на полъ, садилась къ окну и съ какимъ-то безнадежнымъ томленіемъ устремляла въ даль глаза свои. Ждала ли она чего-нибудь? сознавала ли даже, что чего-то ждетъ? —на эти вопросы я отвѣчать не берусь. Я знаю только, что когда маленькому князенку стукнуло десять лѣтъ, она съ какимъ-то лихорадочнымъ нетерпѣніемъ начала торопить стараго Ферлакура, чтобъ онъ какъ можно скорѣе прінскивалъ сыну воспитателя.

Княгинѣ понравилась и неловкость Велентьева, и даже его необыкновенный французскій языкъ. Тутъ было много пикантнаго, много такого, надъ чѣмъ можно было поработать. Она прямо взяла Менандра подъ свое покровительство, и, надо сказать правду, повела дѣло приручения дикаря съ большимъ тактомъ. Прежде всего она внушила ему полное довѣріе къ себѣ своимъ ровнымъ, мягкимъ и открытымъ обращеніемъ. Изъ своихъ отношеній къ нему она изгнала всякую подготовленность, все, что могло бы намекнуть Велентьеву, что она выдерживаетъ школу, а не свободно относится къ нему. Потомъ она предприняла внушить ему, что она „святая“ (une sainte), и въ этомъ качествѣ имѣетъ нѣкоторое право снисходительно указывать людямъ на ихъ недостатки, безъ всякаго намѣренія оскорбить ихъ самолюбіе. Пользуясь тѣмъ, что Менандръ занималъ должность воспитателя ея сына, она часто и подолгу бесѣдовала съ нимъ, но никогда не давала замѣтить, что его открытый басъ по временамъ уже слишкомъ переходитъ въ порывистый вой или глубокомысленное урчаніе, а только нюхала спиртъ и противопоставляла этимъ страннымъ голосовымъ тонамъ мягкіе и ровные тоны своего собственнаго голоса.

Вслушиваясь въ ея свободно-льющуюся, хотя и нѣсколько безцвѣтную рѣчь, Велентьевъ невольнымъ образомъ сравнивалъ ее съ своими захлебываніями и начиналъ догадываться, почему княгиня ощущаетъ потребность нюхать спиртъ, когда онъ говоритъ. И вслѣдствіе этихъ сравненій его собственная рѣчь невольнымъ образомъ, хотя и не безъ нѣкоторой съ его стороны работы, становилась все болѣе и болѣе спокойною. Та же самая тактика была съ успѣхомъ примѣнена и относительно прочихъ внѣшнихъ манеръ. Княгиня начала съ того, что, идя къ обѣду, потребовала, чтобъ Велентьевъ подавалъ ей руку; но когда она сдѣлала это въ первый разъ, то Менандръ, во-первыхъ, бросился къ ней со всѣхъ ногъ и чуть не обрушился на нее всѣмъ корпусомъ, во-вторыхъ, изогнулся такимъ образомъ, что самъ князь удивился и сказалъ: „нѣтъ необходимости, другъ мой, столь вяще изломиться“. Съ тѣхъ поръ княгиня всегда сама подходила къ Менандру, брала его за руку и въ качествѣ „святой“ позволяла себѣ незамѣтно сообщать его корпусу надлежащее направленіе. Въ результатѣ оказалось, что черезъ какой-нибудь мѣсяцъ Велентьевъ говорилъ очень пріятнымъ и изъятымъ отъ всякой натуги басомъ и имѣлъ походку настолько непринужденную, что княгиня безъ всякаго риска могла даже при гостяхъ призывать его къ себѣ съ другого конца комнаты.

По вечерамъ княгиня читала съ Велентьевымъ Боссюэта и Массильона. Начинала она всегда сама, но потомъ, подъ предлогомъ утомленія, передавала книгу Менандру. Велентьевъ, кутаясь и краснѣя, выводилъ латинскія фразы и употреблялъ невѣроятныя усилія, чтобы произносить ихъ какъ можно болѣе въ носъ. Княгиня съ ангельскимъ терпѣніемъ выносила эту тарабарщину, и только тогда, когда можно было сдѣлать это безъ неприличія, вновь брала у Менандра книгу и продолжала читать сама.

— Вы читаете съ большимъ одушевленіемъ,—дружески говорила она:—я рѣдко слышала чтеніе до такой степени ясное, какъ ваше; но произношеніе у васъ еще недостаточно выработано. При вашихъ блестящихъ способностяхъ, вы, конечно, въ самое короткое время успѣете преодолѣть небольшія трудности языка.

И дѣйствительно, постепенно Менандръ до того навострился, что даже самъ старый Ферлакуръ, выслушавъ, въ одно прекрасное утро,

его рапортъ о вчерашнихъ воспитательныхъ занятіяхъ юнаго князька. въ изумленіи воскликнулъ:

— Ah ça! ah mais! mais il est tout-à-fait comme il faut, ce coquin de séminariste! Еще одно вящее усиліе, мой юный другъ. и все будетъ къ наилучшему концу!

По временамъ княгиня посвящала его и въ тайны свѣтскаго разговора. Обыкновенно это случалось вечеромъ, когда въ домѣ не было гостей, когда старый князь уѣзжалъ въ клубъ, а маленькій князекъ уже спалъ. Начитавшись Массильона, перебравъ всѣ доводы pro и contra возсоединенія церквей, княгиня въ задумчивости полулежала на кушеткѣ, а Менандръ, сложивъ губы сердечкомъ (отъ этой скверной привычки даже она не могла его отъучить), сидѣлъ противъ нея.

— Ахъ, что-то будетъ за гробомъ?—произносила княгиня, закрывая глаза.

— Я полагаю, будетъ жизнь безконечная, — отвѣчалъ Велентьевъ.

Княгиня нѣкоторое время молча вздыхала. Не особенно высокая грудь ея слегка колебалась, голова закидывалась назадъ; складки темной шолковой блузы мягко вздрагивали.

— Нѣтъ, я не объ томъ,—начинала она вновь:—я хотѣла бы знать, что̀ такое ангелы?

— Ангелы-съ—это безплотные духи. По крайней мѣрѣ, такъ учитъ наша святая православная церковь.

— Однако многіе праведные люди ихъ видѣли. Согласитесь, что еслибъ они были совсѣмъ-совсѣмъ безплотными, развѣ можно было бы видѣть ихъ?

— Нетлѣннымъ очамъ, ваше сіятельство, я полагаю...

— Ахъ, нѣтъ, опять не то! Знаете ли, я бы сама хотѣла быть ангеломъ! Только тогда, быть можетъ, я убѣдилась бы, что̀ такое значитъ: „безплотная“, и въ то же время плоть есть.

— Ваше сіятельство! Ежели судить по сердцу, то и въ настоящее время едва-ли впадетъ въ ошибку тотъ, кто будетъ утверждать, что вы ангелъ!!!

— Вы думаете?.. Однако... я не безплотная...

Княгиня взглядывала на него исподлобья. Велентьевъ краснѣлъ какъ ракъ и начиналъ тяжело дышать.

— Я не безплотная,—тихо повторяла княгиня, снова закрывая глаза и окончательно впадая въ мечтательность.

Черезъ нѣсколько времени Менандру было объявлено, что онъ причисленъ, съ чиномъ коллежскаго секретаря, къ одной изъ канцелярій. Но такъ какъ на его рукахъ лежало болѣе важное дѣло воспитанія молодого Ферлакура, то само собой разумѣется, что всѣ его обязанности относительно государственной службы должны были ограничиваться полученіемъ за отличіе чиновъ. Это было время его перевоспитанія, то время, когда онъ долженъ былъ совлечь съ себя ветхаго семинариста и облечься въ ризу серьезнаго молодого человѣка, до тонкости понимающаго приличія свѣта. Княгиня продолжала заниматься его перевоспитаніемъ со всѣмъ увлеченіемъ экзальтированной женщины. Она переговорила съ нимъ всѣ разговоры того времени, но подъ конецъ какъ-то всегда сводила рѣчь къ ангеламъ и старалась допытаться, въ чемъ заключаются особенности ангельскаго житія. Онъ же съ своей стороны осмѣлился до того, что мало-по-малу сталъ заводить рѣчь „о тѣлесномъ озлобленіи", и по зрѣломъ разсмотрѣніи этого предмета приходилъ къ заключенію, что „сколь сіе ни прискорбно кажется, но надобно оное, по возможности, утишить, дабы душа могла свободнѣе воспарить".

— Какой вы, однакожъ, матеріалистъ, Менандръ!—съ легкимъ укоромъ выговаривала ему княгиня.

— Невозможно, ваше сіятельство!—возражалъ онъ:—извольте разсудить сами! естественное ли дѣло, чтобы душа человѣческая чувствовала себя свободною, коль скоро сдерживающія ее узы не находятъ себѣ надлежащаго разрѣшенія?..

Княгиня на минуту задумывалась и потомъ какъ бы про себя произносила:

— Au fond, peut-être, vous êtes dans le vrai!

А молодой Ферлакуръ между тѣмъ подрасталъ, пріятнѣйшимъ образомъ проводя время въ дѣвичьей, въ обществѣ нянекъ и горничныхъ, и лишь по временамъ ощущая на себѣ воспитательное вліяніе Велентьева.

Года черезъ три Менандръ однакожъ сообразилъ, что, предаваясь разговорамъ объ ангельскомъ житіи и тѣлесномъ озлобленіи, онъ не только не уйдетъ далеко, но даже можетъ скомпрометтировать свое будущее. Онъ понялъ, что какъ ни ангелоподобна княгиня, но

къ этой ангелоподобности уже начинаетъ примѣшиваться нѣкоторое количество „тѣлеснаго озлобленія“. Затѣмъ представился вопросъ: что̀ такое княгиня, и что̀ такое онъ самъ? Вопросъ этотъ Велентьевъ, нимало не обольщаясь, разъяснилъ себѣ такимъ образомъ: княгиня — женщина избалованная, капризная и при томъ властная; онъ же — червь, въ самомъ реальномъ значеніи этого слова. Поэтому онъ рѣшился оставаться, въ отношеніяхъ своихъ къ княгинѣ, на почвѣ исключительной дружбы, не увлекаясь никакими любовными фантазіями, какъ бы ни легко казалось ихъ осуществленіе...

Въ это время молодой Ферлакуръ поступилъ въ университетъ. Затѣмъ, хотя обязанности воспитателя и продолжали попрежнему лежать на Велентьевѣ, но онъ былъ уже настолько свободенъ, что могъ безъ ущерба для этихъ обязанностей искать для себя и другихъ занятій. Вслѣдствіе этого онъ началъ порываться на дѣйствительную службу, и устроилъ это дѣло такъ ловко, что сама княгиня убѣдилась, что дѣйствительно государственному механизму чего-то недостаетъ, и что этотъ пропускъ можетъ быть лучше всего восполненъ Велентьевымъ, у котораго кстати была на-готовѣ цѣлая законодательная система, ждавшая только удобнаго случая для своего осуществленія.

— Законы, ваше сіятельство, къ тому должны быть направлены, чтобы всѣхъ людей добродѣтельными сдѣлать! — такъ формулировалъ Менандръ свой взглядъ на законодательство.

— Странный вы человѣкъ, Велентьевъ! развѣ кто-нибудь сомнѣвался, что люди обязаны быть добродѣтельными! Но какъ этого достигнуть? — возражала княгиня.

— Достигнуть, ваше сіятельство, всего возможно, если правительствомъ будутъ допущены необходимыя въ семъ случаѣ приспособленія.

— Я понимаю: вы хотите сказать, что въ основаніе законодательства слѣдуетъ положить систему наказаній и наградъ!

— Точно такъ, ваше сіятельство. Ежели для добродѣтели будутъ ассигнуемы отъ правительства поощренія и награды, а пороку будутъ указаны въ перспективѣ арестантскія роты и смирительные дома, и ежели указанія эти будутъ выполнены неукоснительно, то всякому вразумительно будетъ, по какой стезѣ ему надлежитъ идти.

— Да, но вы забываете, что смирительные дома уже сущест-

вуютъ, а что касается до наградъ, то врядъ-ли казна будетъ въ состояніи...

— Ваше сіятельство! Я такъ объ этомъ предметѣ думаю, что истинно-добродѣтельный человѣкъ, не обременяя казны, самъ себя съумѣетъ вознаградить, если ему будутъ преподаны надлежащія къ тому средства!

Однимъ словомъ, при содѣйствіи княгини, Менандръ въ скоромъ времени очутился въ самомъ центрѣ той кипучей дѣятельности, среди которой неслышно, но неуклонно разрабатывается общественное прокустово ложе...

Двадцатые года были уже на исходѣ, и прежній піэтизмъ замѣнился страстью къ законодательству. Канцелярія, въ которой пріютился Велентьевъ, занималась преимущественно законами. Тамъ писались новые законы, измѣнялись, согласовались и редижировались старые. Цѣлыя полчища семинаристовъ окунали перья въ сокровищницу первозданнаго, неиспорченнаго человѣческаго мышленія и, „замаравши ихъ тамо“, предавались „изобрѣтенію неослабныхъ и для всеобщаго употребленія пригодныхъ правилъ и узаконеній“. Цѣлые вороха подготовительныхъ работъ валялись въ шкафахъ и по столамъ; тутъ были и предварительныя объяснительныя записки, и сравнительныя таблицы, и какіе-то громадные листы съ наклеенными на нихъ печатными вырѣзками. Слонообразные юноши-семинаристы безъ устали копались въ этихъ ворохахъ, и начальство, взирая на нихъ, съ удовольствіемъ помышляло, что существуютъ же на свѣтѣ тѣлеса, которыхъ даже подобная работа сломить не можетъ.

Здѣсь Велентьевъ встрѣтилъ товарищей по академіи, съ которыми временно разлучила его суровая обязанность воспитательства. Тутъ были они всѣ: и Гіероглифовъ, и Мудровъ, и Быстроумовъ, и Словущенскій. На нихъ лежали тогдашнія упованія Россіи, и, какъ извѣстно, лежали не напрасно. Товарищи встрѣтили Менандра не только безъ зависти, но даже съ сердечностью и радушіемъ. Вскорѣ они ввели его въ свой интимный кружокъ, который, повидимому, преслѣдовалъ какія-то особыя цѣли, и потому имѣлъ внѣшніе признаки недозволеннаго правительствомъ общества.

Кружокъ этотъ назывался „Кружескимъ союзомъ для изысканія средствъ и достиженія цѣлей“. Цѣль союза формулировалась такъ: произвести повсемѣстное паренье духа, имѣя притомъ въ виду дости-

женіе высшихъ блаженствъ. Въ тридцатыхъ годахъ—это уже не дозволялось. Ближайшимъ средствомъ къ этой цѣли предлагалось слѣдующее: опутать Россію цѣлою сѣтью семинаристовъ-администраторовъ и семинаристовъ-законодателей, такъ какъ имъ однимъ, „яко видѣвшимъ процвѣтшій въ едину отъ нощей жезлъ Аароновъ“, вполнѣ доступно истинное представленіе о высшихъ блаженствахъ. Будучи введенъ въ это общество, Велентьевъ немедленно и съ полною ясностью опредѣлилъ себѣ тотъ путь, по которому ему надлежитъ идти, то-есть предпринялъ изгнать отъ него все относящееся къ паренію духа, яко противоправительственное.

Какъ и во всякомъ обществѣ людей, соединившихся съ извѣстными цѣлями, въ „союзѣ“ были двѣ партіи: радикалы и умѣренные. Во главѣ радикаловъ стояли: Гіероглифовъ и Мудровъ; во главѣ умѣренныхъ (иначе „суетныхъ“) находились: Быстроумовъ и Словущенскій. Какъ составители законовъ, эти молодые люди руководили всѣмъ движеніемъ; за ними уже стояли цѣлыя полчища Рождественскихъ, Спасскихъ, Неглигентовыхъ и проч., имѣвшихъ болѣе скромныя должности въ различныхъ департаментахъ.

Радикалы не только серьезно, но даже щепетильно относились къ „паренію духа“: они небрегли внѣшностью, были чрезмѣрно худы и длинны, одѣвались плохо, причесывались по принужденію и жадно глотали всякую пищу, не разбирая достоинствъ ея. Словомъ сказать, они охотно отдали бы на поруганіе тѣла свои, лишь бы достигнуть „высшихъ блаженствъ“.

„Я желалъ бы, чтобы псы терзали меня!“—вдохновенно говорилъ Гіероглифовъ. Напротивъ того, „суетные“ были люди слегка тронутые матеріализмомъ, и хотя признавали „паренiе духа“ лучшею формою человѣческаго счастія, но признавали это подъ условіемъ укрощенія и блеснаго озлобленія при посредствѣ „незазорныхъ и дозволенныхъ правительствомъ лакомствъ“. Имъ улыбался суровый съ виду, но въ сущности очень покладистый правительственный матеріализмъ, въ видѣ приношеній, взятокъ, акциденцій и проч. По наружному виду это были люди кругленькіе и сытенькіе: одѣвались они не безъ семинарской щеголеватости, причесывались каждый день и не только не признавали правила: „предлагаемое да ядимъ“, но, напротивъ того, всегда выбирали по возможности лучшіе куски. Тѣлъ своихъ на поруганіе они не отдавали, а напротивъ желали „въ пол-

номъ спокойствіи и мирѣ душевномъ сквозь горнило испытаній пройти, дабы впослѣдствіи отъ трапезы блаженствъ благочинно и непрепятственно вкушать".

Менандръ Велентьевъ сразу сталъ на сторону „суетныхъ" и даже скоро сдѣлался руководителемъ и главой этой партіи. Случайно высказанное имъ княгинѣ убѣжденіе, относительно средствъ для укрощенія тѣлеснаго озлобленія, глубоко запало ему въ душу. Сначала укротить, а потомъ — воспарить. Немедленно по вступленіи въ союзъ, онъ напечаталъ, за подписью Z, въ одномъ изъ журналовъ того времени статью подъ названіемъ: „Что означаетъ истинное умерщвленіе человѣческой плоти?" — въ которой доказывалъ, что истинное умерщвленіе плоти есть „благопріятное и въ дозволенныхъ закономъ размѣрахъ оной удовлетвореніе". „Неспорно, — писалъ онъ, — что плоть человѣческая имѣетъ естество въ достаточной степени гнусное, но такъ какъ мы оную ни уничтожить, ниже сократить не вольны, то и вынуждаемся принять оную во вниманіе". Статья эта надѣлала большого шума: Гіероглифовъ и Мудровъ написали каждый по отвѣтной статьѣ, въ которыхъ изъяснили, что хотя г. Z имъ и неизвѣстенъ, но, должно быть, имѣетъ душу низкую, такъ какъ даже имени своего подъ статьей подписать не дерзнулъ. Тогда Велентьевъ написалъ другую статью подъ названіемъ: „Что симъ достигается?" — побѣдоноснымъ образомъ доказавъ, что симъ достигается именно то самое свободное паренiе духа, о которомъ хлопочутъ и Гіероглифовъ съ Мудровымъ. „Когда духъ нашъ свободно и бодро паритъ?" вопрошалъ онъ себя, и тутъ же отвѣтствовалъ на вопросъ: „тогда, когда плоть молчитъ; молчитъ же она не тогда, когда чувствуетъ себя угнетенною, но тогда, когда требованія ея вполнѣ и на законномъ основаніи удовлетворены".

Полемика эта, какъ и всѣ полемики, никакой пользы для науки духознанія не принесла, но для самого Велентьева имѣла результатъ очень существенный. Вопросъ о тѣлесномъ озлобленіи выяснился для него настолько ясно, что его неотступно началo преслѣдовать страстное представленіе о мѣстѣ совѣтника въ одной изъ казенныхъ палатъ. Получить мѣсто совѣтника питейнаго отдѣленія и потомъ воспарить — такова была отнынѣ завѣтная мечта Велентьева, — мечта, осуществленіе которой сдѣлало его равнодушнымъ даже къ „изобрѣтенію пригодныхъ законовъ". Только въ званіи совѣтника онъ на-

дѣялся найти для себя ту награду, которую, по его же словамъ, истинно добродѣтельный человѣкъ, не обременяя казны, самъ для себя получить можетъ. Получить мѣсто по питейной части и затѣмъ приличнымъ образомъ пристроиться, избрать себѣ въ подруги дѣвицу не весьма знатную, но и не низкаго рода, не весьма богатую, но и не безприданницу, не весьма красивую, но и не нарочито уродливую—таковъ былъ планъ, на которомъ остановилась мысль Менандра.

Къ счастію для Велентьева, привести въ исполненіе оба эти предположенія оказалось нетруднымъ.

Если въ спиодальномъ вѣдомствѣ игралъ видную роль князь Оболдуй-Ферлакуръ, то въ финансовомъ вѣдомствѣ такую же роль игралъ эйзенахскій уроженецъ фонъ-Юнгфернафтъ, въ то время уже возведенный въ графское Россійской Имперіи достоинство. Франко-германской распри еще не существовало; вопросъ о національностяхъ дремалъ подъ сѣнію вѣнскихъ трактатовъ, а потому всѣ выходцы поддерживали другъ друга безъ различія національностей. Ферлакуръ шепнетъ словечко Юнгфернафту насчетъ мѣстечка по питейной части; Юнгфернафтъ, въ свою очередь, порекомендуетъ Ферлакуру какого-нибудь архимандрита—и, благодаря взаимнымъ услугамъ, дѣла объ опредѣленіяхъ и увольненіяхъ шли какъ по маслу. Архимандриты, совѣтники, исправники—всѣ видѣли себя агентами одной и той же коропы, только по разнымъ предметамъ, распредѣленіе которыхъ хранилось въ высшей регистратурѣ. Велентьеву пришлось дожидаться не долго. Княгиня такъ усердно хлопотала, что чрезъ мѣсяцъ послѣ того, какъ зародилась идея о мѣстѣ. Менандръ уже являлся къ самому Юнгфернафту и получалъ отъ него наставленіе, какимъ образомъ слѣдуетъ обращаться съ россійскими финансами. Графъ былъ сухой и безстрастный старикъ, говорившій глухимъ и однообразнымъ басомъ. Молва считала его безкорыстнымъ, и повидимому онъ оправдывалъ это мнѣніе; но, къ сожалѣнію, изъ долговременной административной практики онъ вынесъ какое-то глубоко-безнадежное убѣжденіе о Россіи.

— Сей страна отъ природы таковъ,—говаривалъ онъ,—что въ немъ безъ грабежа существовать не есть возможно!

Велентьева графъ принялъ съ тою безличною, сухою благосклонностью, которая его отличала.

— Вы отправляетесь въ одну изъ наивыгоднѣйшихъ губерній Россійской Имперіи,—сказалъ онъ ему:—но прошу васъ—я не приказываю, но прошу—имѣйте ротъ не столько широкій, какъ многіе изъ сослуживцевъ вашихъ!

— Помилуйте, ваше сіятельство!—запнулся-было Менандръ, у котораго отъ этихъ словъ душа уже начала полегоньку парить.

— Я знаю, что̀ вы хотите сказать,—невозмутимо продолжалъ старикъ:—вы хотите сказать, что вы не таковъ. Я долженъ вамъ вѣрить, хотя и думаю, что это не есть возможно. Но повторяю вамъ: сожалѣйте вашъ родной страна! Это очень добрый и хорошій страна: но нужно немного его менажировать!

Велентьевъ продолжалъ раскрывать ротъ, видимо порываясь разувѣрить графа; но старикъ былъ невозмутимъ.

— И еще прошу васъ,—говорилъ онъ:—не будьте нетерпѣливъ! Мы для всѣхъ предлагаемъ очень хорошій обѣдъ, но много людей имѣютъ такъ мало терпѣнья, что бросаются кушать, когда еще столъ не накрыть. И за то попадаютъ подъ судъ.

На губахъ графа играла чуть-чуть замѣтная улыбка; глаза смотрѣли ясно, какъ будто читали насквозь въ душѣ этого вскормленника гороховицы, всѣ фибры котораго въ эту минуту свѣтились вожделѣніемъ. Подъ лучомъ этого взгляда Велентьеву сдѣлалось жутко, почти стыдно.

— И еще скажу,—продолжалъ напутствовать графъ:—не все грабить! Очень большой человѣкъ грабить не надо. Ибо ежели законъ говоритъ: дѣйствовать не взирая на особъ, то практика говоритъ не такъ. Прощайте, г. Велентій!

Велентьевъ вышелъ отъ графа словно изъ бани. Съ одной стороны, уста по привычкѣ шептали: „ангелъ, а не человѣкъ!“—съ другой стороны, онъ чувствовалъ, что ему неловко, что графъ угадалъ въ немъ нѣчто такое, въ чемъ даже онъ самъ не рѣшался дать себѣ отчетъ. И притомъ угадалъ съ такою чуткою проницательностью, что, говоря по совѣсти, не было возможности что-либо возразить.

Какъ бы то ни было, но предположеніе относительно мѣста осуществилось; оставалось осуществить другое предположеніе—относительно вступленія въ законный бракъ. Фортуна и на этотъ разъ не оставила Менандра своимъ покровительствомъ.

У княгини жила въ домѣ троюродная племянница, одна изъ многочисленныхъ представительницъ захудалаго грузино-осетинскаго рода князей Крикулидзевыхъ. Княжнѣ Нинѣ Иракліевнѣ было подъ-тридцать. Маленькая, худенькая, вся черненькая, съ большимъ грузинскимъ носомъ и быстрыми черными глазами, она незамѣтно коношилась въ одномъ изъ темныхъ угловъ обширнаго синодальнаго дома, не обращая на себя ничьего вниманія и повидимому отказавшись отъ всякой надежды на вступленіе въ брачный союзъ. Въ постоянномъ одиночествѣ она пріобрѣла одну страсть: копить деньги. Бережно прятала она небольшія подачки, которыя давала ей по праздникамъ княгиня-тетка, и была совершенно счастлива, когда ей поручали сдѣлать въ гостиномъ дворѣ или въ милютиныхъ лавкахъ закупки: тогда она экономливала нѣсколько рублей и присовокупляла ихъ къ прочимъ. Сверхъ того, у нея было въ Пензенской губерніи небольшое имѣніе (не болѣе тридцати душъ), доходы съ котораго она тоже прятала. Никто не зналъ, въ чемъ заключается это имѣніе и приноситъ ли оно что-нибудь, но она знала это отлично, и, пользуясь въ домѣ тетки полной свободой, неслышно и незримо для всѣхъ дѣлала очень выгодныя финансовыя операціи. Операціи эти заключались въ отдачѣ крестьянъ въ солдаты „за дурное поведеніе“, въ продажѣ рекрутскихъ квитанцій, въ покупкѣ на свозъ душъ, въ продажѣ дѣвокъ и проч. Операціи неблестящія, почти незамѣтныя, но вѣрныя и прочныя. Когда она хлопотала и суетилась по поводу сдачи какого-нибудь Іонки-подлеца, котораго казенная палата не соглашалась принять въ рекруты по случаю искривленія позвоночнаго столба, въ домѣ надъ нею смѣялись и говорили: „cette pauvre Nina! a-t-elle du guignon!“ и затѣмъ, конечно, обхватывали дѣло такъ, что Іонку-подлеца принимали, несмотря на искривленіе позвоночнаго столба. А она прикидывалась казанской сиротой, но черезъ мѣсяцъ или черезъ два снова возбуждала вопросъ объ отдачѣ въ солдаты подлеца-Ипатки, у котораго на правой рукѣ не оказывалось указательнаго перста.

— Calmez-vous, chère enfant!—успокоивалъ ее старый князь:—j'intercederai! cela s'arrangera.

И Прошки, Ипатки, Іонки исчезали безслѣдно въ качествѣ кашеваровъ, лазаретныхъ служителей и прочихъ фуршатскихъ чиновъ великой россійской арміи.

Но подъ конецъ и въ домѣ стали догадываться, что у княжны

водятся деньги. Это случилось именно въ то время, когда ей исполнилось тридцать лѣтъ, и она, постепенно чернѣя, сдѣлалась уже совсѣмъ черною. Догадался и Велентьевъ, но, прежде чѣмъ на что-нибудь окончательно рѣшиться, онъ сталъ исподволь похаживать по корридору, въ который выходила комната княжны. Княжна съ своей стороны замѣтила эти прогулки—и задумалась. Жажда жизни, долгое время заглушаемая заботливостью, одиночествомъ и страстью къ деньгамъ, вдругъ вспыхнула. Чаще и чаще начала она посматриваться въ зеркало, и незамѣтно для самой себя ощутила потребность рядиться, прыскаться духами, взбивать волосы, порхать, подпрыгивать и проч. Глаза сдѣлались томные, голосъ зазвучалъ рѣзче, носъ еще болѣе заострился и вытянулся. Наконецъ, въ одно послѣ-обѣда, встрѣтившись съ Велентьевымъ въ коридорѣ, она пригласила его въ свою комнату и угостила прекраснѣйшимъ вареньемъ.

— Вы, можетъ быть думаете, что у меня денегъ нѣтъ?—сказала она, вдругъ приступая къ самому существу дѣла:—нѣтъ, у меня есть деньги!

Велентьева бросило въ жаръ при этомъ признаніи.

— Я недавно купила сто мужиковъ на свозъ.—продолжала княжна:—и ежели эта операція удастся, то я получу хорошую выгоду.

— Ваше сіятельство!—захлебнулся Велентьевъ.

— А когда я буду выходить замужъ, то ma tante дастъ мнѣ еще десять тысячъ. Эти деньги я думаю отдать въ ростъ.

— Ваше сіятельство! осмѣлюсь доложить...

— Вы думаете, можетъ быть, что отдавать деньги въ ростъ—дѣло рискованное, но я могу сказать навѣрное, что тутъ никакого риску нѣтъ. Почти всѣ заложенныя вещи остаются невыкупленными и достаются мнѣ за безцѣнокъ. Посмотрите, сколько у меня прекраснѣйшихъ вещей!

И она выложила передъ нимъ цѣлый ворохъ табакерокъ, булавокъ и т. п.

— Всѣ эти вещи теперь мои,—сказала она:—потому что всѣ онѣ просрочены. Когда вы будете нюхать табакъ, то я вамъ подарю одну изъ этихъ табакерокъ. Скажите, вы въ какихъ отношеніяхъ къ ma tante?

— Помилуйте, ваше сіятельство!.. Княгиня—ангелъ-съ! смѣю ли я подумать!

— Гм... ангелъ! А Ѳедосѣя Семеныча вы знаете?

— Нѣтъ-съ, не имѣю чести...

— Ну, такъ вотъ онъ могъ бы сказать вамъ, какой она ангелъ. Теперь онъ секретаремъ въ вятской духовной консисторіи служитъ.

Это былъ единственный амурный разговоръ между Велентьевымъ и княжною. Тѣмъ не менѣе онъ заключалъ къ себѣ настолько содержательности, что участь обоихъ дѣйствующихъ лицъ была рѣшена. Черезъ мѣсяцъ княжна Нина Иракліевна Крикулидзева уже носила фамилію Велентьевой, и молодые въ великолѣпномъ іохимовскомъ дормезѣ (подарокъ ma tante) отправлялись въ губернскій городъ Семпозерскъ. Черезъ годъ у нихъ родился сынъ Порфирій.

Такимъ образомъ уже съ колыбели Порфиша очутился, такъ сказать, на самомъ лонѣ финансовыхъ операцій.

Менандръ Семеновичъ взглянулъ на свою должность съ тѣмъ невозмутимымъ практическимъ смысломъ, которымъ онъ всегда отличался. Конечно, въ качествѣ бывшаго семинариста, не отвыкшаго еще во всякомъ дѣлѣ прежде всего отыскивать его отвлеченную суть, онъ увлекся-было разъясненіемъ вопроса о правахъ и обязанностяхъ, сопряженныхъ съ званіемъ совѣтника казенной палаты, но къ чести его должно сказать, что увлеченіе это было непродолжительно. Онъ быстро понялъ современную ему дѣйствительность и съ свойственною ему проницательностью угадалъ, что отыскивать въ ней что-либо отвѣчающее понятію, выраженному словами: права и обязанности,—былобы совершенно напраснымъ трудомъ. Нельзя же, въ самомъ дѣлѣ, признать за нѣчто существенное такое, напримѣръ, право, какъ право носить мундиръ съ шитьемъ шестого класса, или такую обязанность, какъ обязанность являться въ соборъ и по начальству въ табельные дни. Все это не больше, какъ принадлежность чиновничьяго этикета, который, въ общемъ своемъ составѣ хотя и подраздѣлялся на рубрики, носившія наименованіе „правъ и обязанностей“, но очевидно, что это произошло лишь вслѣдствіе недоразумѣнія. Въ сущности, всякій, какъ чиновникъ, такъ и простой обыватель, жилъ какъ могъ, то-есть не зналъ ни правъ, ни обязанностей, а просто-на-просто занимался пріобрѣтеніемъ въ свою пользу матеріальныхъ удобствъ настолько, насколько это позволяла личная

возможность пріобрѣтать. И ужъ, конечно, никто не стѣснялся мыслью, что существуетъ на свѣтѣ какая-то особенная жизненная подкладка, элементы которой имѣютъ названіе правъ и обязанностей.

Итакъ, ни правъ, ни обязанностей не было, а была только возможность или невозможность получить желаемое и, кромѣ того, опасеніе не попасть подъ судъ. Но желаніе есть такая вещь, которая присуща природѣ человѣка, даже независимо отъ степени нравственнаго и умственнаго его развитія. И дикарь нѣчто желаетъ, несмотря на то, что онъ не имѣетъ понятія ни о правдѣ, ни о добрѣ, ни объ общественномъ интересѣ. Поэтому, если существуетъ общество, въ которомъ всѣ высшіе интересы сосредоточиваются исключительно около мундирнаго шитья и другихъ внѣшнихъ проявленій чиновничьяго этикета, то ясно, что въ этомъ обществѣ единственнымъ регуляторомъ человѣческихъ дѣйствій можетъ служить только личная жадность каждаго отдѣльнаго индивидуума, и притомъ жадность эгоистичная, уровень которой немногимъ превышаетъ уровень жадности дикаря. Можетъ человѣкъ унести и спрятать, или не можетъ? можетъ заглотать облюбованный кусъ, или не можетъ?—вотъ кругъ, въ которомъ вращается человѣческая жизнь, вотъ вся ея философія.

Несмотря на свою грубость, эта теорія улыбалась Велентьеву. Во-первыхъ, она не только совпадала съ его теоріей угожденія плоти (дабы духъ могъ безпрепятственнѣе воспарить), но и шла значительно дальше, предоставляя выполненіе второй половины задачи (парені̀е духа) естественному ходу обстоятельствъ. Возможетъ духъ воспарить —прекрасно; не возможетъ—стало быть обстоятельства тому не благопріятствуютъ. И дешево, и сердито.

Во-вторыхъ, ежели другой, лучшей теоріи нѣтъ, то, дѣлать нечего, надобно мириться и съ тою, какая есть. Только безумцы могутъ отыскивать жемчужное зерно въ навозѣ; мудрый же довольствуется и овсянымъ зерномъ. Притомъ же и правительство одобряетъ, дабы никто жемчужнаго зерна не искалъ. Мудрый прежде всего ищетъ, чтобы у него была почва подъ ногами, и ежели эту почву составляетъ навозъ, то онъ и на навозѣ не погнушается строить зданіе своего благосостоянія. Въ-третьихъ, наконецъ,—и это самое главное,—теорія личной жадности встрѣчала на практикѣ такія приспособленія, которыя примиряли съ нею самаго взыскательнаго и щепетильнаго моралиста.

Взятая сама по себѣ, она была безнравственна — Велентьевъ охотно допускалъ это. Еслибъ всѣмъ людямъ безъ различія была предоставлена возможность свободно проявлять стремленія своего аппетита, то послѣдствія этой свободы были бы самыя пагубныя. А именно: или всеобщая истребительная война, или всеобщее обѣдпѣніе. По крайней мѣрѣ такъ гласитъ наука не только тогдашняго, но и нашего времени. Ни того, ни другого Менандръ Семеновичъ не одобрялъ. Въ качествѣ вскормленника семинаріи, онъ ненавидѣлъ военныя упражненія и любилъ сосать свой кусъ не токмо нетревожно и несмущенно, но такъ, чтобы и сердце играло, и душа непрестанно славословила Подателя всѣхъ благъ. Съ другой стороны, какъ патріотъ, онъ понималъ, что ежели всѣ куски сдѣлать равными, то человѣческая дѣятельность утратитъ главнѣйшій свой стимулъ: соревнованіе. Каждый будетъ доволенъ (или вынужденъ казаться таковымъ) своей долей, и не станетъ порываться урвать долю, сосомую сосѣдомъ. Люди одичаютъ, сдѣлаются лѣнивыми и безпечными, утратятъ инстинктъ предусмотрительности и запасливости—на что̀ похоже! Фабрики и заводы прекратятъ свое дѣйствіе; промышленность придетъ въ упадокъ, торги запустѣютъ, земледѣлію будетъ нанесенъ ударъ, отъ котораго оно никогда не оправится. Что̀ станется съ отечествомъ? — Велентьева подиралъ морозъ по кожѣ отъ этого вопроса. Но, къ счастію, ему не представлялось даже надобности разрѣшать этотъ вопросъ, ибо само отечество позаботилось о его разрѣшеніи.

Русское общество съ самаго начала XVIII вѣка порывалось создать теорію такой регламентаціи аппетитовъ, которая приличествовала бы обществу вполнѣ цивилизованному, оберегающему себя и отъ анархіи, и отъ всеобщаго обѣдпѣнія. Попытки эти выразились въ формѣ очень незамысловатой, но въ то же время очень дѣйствительной, а именно — въ формѣ табели о рангахъ. Общество не лукавило: оно не прибѣгало для оправданія своихъ теорій къ помощи сложныхъ и извилистыхъ политико-экономическихъ афоризмовъ, которые, впрочемъ, не столько разрѣшаютъ вопросъ объ уравновѣшеніи человѣческихъ аппетитовъ, сколько описываютъ, какимъ образомъ въ дѣйствительности происходитъ ограниченіе однихъ частныхъ аппетитовъ въ пользу другихъ таковыхъ же. Оно поступило проще, то-есть раздѣлило аппетиты на ранги, и затѣмъ сказало, что только дѣйствительно сильный и вполнѣ сознающій себя аппетитъ можетъ выйти изъ

того ранга, въ который его помѣстила судьба. Это была своего рода цѣльная и оригинальная экономическая наука, которая въ главныхъ чертахъ раздѣляла обывателей на слѣдующіе четыре разряда. Однимъ предоставлялось желать, но не получать желаемаго; другимъ—желать и получать, но не сполна; третьимъ — желать и получать сполна; четвертымъ—желать и получать въ излишествѣ.

Такимъ образомъ вопросъ о безнравственности теоріи индивидуальныхъ аппетитовъ былъ устраненъ, и это тѣмъ болѣе утѣшило Велентьева, что въ большинствѣ случаевъ съ табелью о рангахъ уходилъ на задній планъ и вопросъ о силѣ аппетита, или, лучше сказать, вопросъ этотъ ставился въ полнѣйшую зависимость отъ разрядовъ. Конечно, исключенія допускались (самъ онъ, Менандръ Велентьевъ, былъ однимъ изъ такихъ исключеній), но исключенія, какъ извѣстно, только подтверждаютъ и узаконяютъ правило. По общему же правилу: будь человѣкъ хоть семи пядей во лбу, имѣй онъ хоть волчій аппетитъ, но ежели по щучьему велѣнію онъ засѣлъ въ разрядъ неполучающихъ, то и не выкарабкаться ему оттуда ни подъ какимъ видомъ.

— Да-съ, и сиди да поспживай тамъ! вотъ и хотѣлось бы тебѣ, курицыну сыну, что-нибудь стибрить—анъ врешь, руки коротки! Припасено, милый человѣкъ, да не про тебя!—мысленно говорилъ себѣ Велентьевъ, потирая руки.

Столь прекрасныя практическія приспособленія совершенно успокоили Менандра Семеновича. Онъ чувствовалъ, что аппетитъ у него сильный, что самъ онъ, по мѣрѣ возможности, готовъ пожрать все, что̀ угодно, и что обстоятельства благопріятствуютъ не только содержанію этого аппетита въ исправности, но даже и развитію его въ будущемъ. Тѣмъ не менѣе, онъ былъ настолько благоразуменъ, что на первый разъ, по собственному движенію, причислилъ себя не къ четвертому, а лишь къ третьему разряду обывателей. Четвертый разрядъ—это идеалъ, это свѣтозарный пунктъ, къ которому надлежитъ стремиться и по возможности достигать. Третій разрядъ—это „слѣдуемое“, это то̀, что̀ во всякомъ случаѣ должно быть. Велентьевъ понялъ, что прежде, нежели требовать отъ судьбы излишковъ, человѣкъ долженъ достигать „счастія“, то-есть такого душевнаго равновѣсія, при которомъ онъ имѣетъ право сказать: я мало имѣю, но за сіе малое восхвалю Господа моего въ тимпанахъ и гуслях! Достигнуть же этого блаженнаго состоянія можно лишь тогда, когда жела-

нія человѣческія строго согласованы съ средствами ихъ осуществленія, и когда вслѣдствіе этого согласованія произойдетъ полученіе желаемаго сполна. Разумѣется, непріятно видѣть, какъ сосѣдъ держитъ во рту кусокъ (иной и держать-то путемъ не умѣетъ!), но на первыхъ порахъ и эту непріятность слѣдуетъ перенести стоически. Пускай цари живутъ въ позлащенныхъ дворцахъ—онъ, Велентьевъ, поживетъ и на Козьей улицѣ, въ собственномъ домикѣ съ садомъ и полисадникомъ. Всякому свое—вотъ правило мудраго: тотъ же мудрѣйшій, который пожелаетъ возвести это правило на ту высоту, гдѣ уже теряется различіе между твоимъ и моимъ—все-таки долженъ хотя на время притвориться лишь просто мудрымъ. Поэтому: совѣтнику ревизскаго отдѣленія—свое; губернскому контролеру—свое, поменѣе; губернскому казначею—свое, еще поменѣе; ему, Велентьеву, яко совѣтнику питейнаго отдѣленія—свое, противъ другихъ сугубо. Но до поры до времени ни ему нѣтъ дѣла до чужихъ кусковъ, ни другимъ—до его куска. Всякій да сосетъ свой кусокъ подъ смоковницею своей.

„Прибылъ я въ патріархальный нашъ Семиозерскъ,—писалъ Велентьевъ къ другу своему Словущенскому,—и изумился, до какой степени мудро наши добрые провинціалы все сіе устроили. Представь себѣ немалое зданіе, множествомъ камеръ исполненное. Одному дана камера посвѣтлѣе и пообширнѣе, другому—не столько свѣтлая и обширная; однакожъ никто, начиная съ презуса и кончая послѣднимъ канцелярскимъ служителемъ, не забытъ. И скажу тебѣ откровенно, мой другъ! Мнится, что не тотъ счастливъ, кто имѣетъ самую свѣтлую и обширную камеру, но тотъ, кто и въ своей посредственной камерѣ умѣетъ съ чистымъ сердцемъ прожить!“

Въ тѣ времена мѣста совѣтниковъ казенныхъ палатъ (въ особенности же питейныхъ отдѣленій) считались самыми завидными. Хотя грабежъ шелъ неусыпающій, но такъ какъ онъ былъ негромкій, то со стороны казалось, что это не грабежъ, а только полученіе желаемаго. Поэтому, кромѣ хорошихъ доходовъ, тутъ былъ и почетъ. Какой-нибудь совѣтникъ губернскаго правленія, чтобы поставить себя въ матеріальномъ отношеніи на одну высоту съ совѣтникомъ казенной палаты, обязывался совершить что-нибудь необыкновенное: или взойти въ паи съ убійцами, или скрасть сенатскій указъ, или сдѣлать подлогъ. То-есть, говоря выраженіемъ того времени, долженъ былъ „за-

мараться", ибо лишь за дѣла, сопряженныя съ „замараніемъ", онъ получалъ мзду настолько существенную, что „не совѣстно было ее взять". Напротивъ того, совѣтникъ казенной палаты могъ не только гнушаться убійцами, но просто имѣлъ право сидѣть сложа руки и, какъ говорится, ждать у моря погоды—и ни десница, ни шуйца его оттого не оскудѣвали. Ему нужно было только состоять въ званіи совѣтника—и взятка притекала къ нему сама, и притомъ взятка самая „благородная", такая, которую и „не стыдно было взять" (въ количественномъ смыслѣ), и для полученія которой не нужно было ни „мараться", ни рисковать. Не мудрено, стало быть, что мѣста эти цѣнились высоко и достигались лишь съ помощью сильной протекціи или очень значительной денежной оплаты.

Но даже и въ казенныхъ палатахъ питейныя отдѣленія казались чѣмъ-то исключительнымъ, въ родѣ рая земного. Прочіе совѣтники хоть по временамъ, но должны были красть и вымогать *); совѣтникъ питейнаго отдѣленія—никогда! Онъ могъ, никого не угнетая, а, напротивъ, всѣхъ радуя, прожить свой вѣкъ—и во всякомъ случаѣ получить желаемое сполна и въ опредѣленные сроки. Въ его завѣдываніи было самое тучное, благонравное и сговорчивое изъ всѣхъ стадъ, какія когда-либо ввѣрялись человѣческому пасенью. То было стадо откупщиковъ и винокуренныхъ заводчиковъ. Тучное и покладистое, оно привлекало къ себѣ всѣ сердца еще тѣмъ, что было немногочисленно и неразнообразно, а слѣдовательно не представляло опасностей и относительно болтовни. Въ этомъ маленькомъ, однородномъ и по природѣ податливомъ мірѣ, между насущими и насомыми изстари завязались такія крѣпкія отношенія, которыя образовали собой цѣлое „положеніе", имѣвшее, пожалуй, болѣе силы и обязательности, нежели положенія, освященныя закономъ. Это добровольное, выработанное самою жизнью „положеніе" выполнялось съ точностью вѣрнѣйшаго часового механизма и притомъ самымъ „благороднымъ"

*) Такъ напримѣръ: совѣтникъ ревизскаго отдѣленія обязанъ былъ нюхать рекрутскія тѣла, выслушивать плачъ, стоны и проклятія, кривить душой при пріемѣ охотниковъ, входить въ пререканія съ лекарями и военными пріемщиками и т. д.; губернскій контролеръ, чтобы получить мзду, нерѣдко оставлялъ безъ утвержденія даже самые правильные отчеты, такъ что ему давали взятку только затѣмъ, чтобы развязаться съ нимъ; на мѣста губернскихъ казначеевъ попадали древніе старики, которые жили подачками при подписаніи указовъ о выдачѣ денегъ, а также подарками, получаемыми отъ уѣздныхъ казначеевъ.—*Примѣч. авт.*

образомъ. Однимъ словомъ, благодаря ему, совѣтникъ питейнаго отдѣленія могъ, нимало „не марая сь“, получать все то, что и онъ, и самъ взяткодатель считали безспорно ему принадлежащимъ.

Каждогодно, въ сентябрѣ, производились въ палатѣ торги на поставку вина, и каждый заводчикъ безропотно вносилъ „на братію“ отъ шести до восьми копѣекъ ассигнаціями съ ведра, смотря по тому, какое существовало въ губерніи „положеніе“. Откупщикъ съ своей стороны тоже руководился „положеніемъ“, внося свою дачу по третямъ года или помѣсячно, и притомъ всегда впередъ, такъ что даже въ случаѣ смерти получателя деньги эти не возвращались. Наконецъ являлись по временамъ и отдѣльные случаи: взятіе откупа въ казенное управленіе, корчемство, пререканія между откупщиками двухъ сосѣднихъ уѣздовъ и т. д. Но и эти случаи были предвидѣны „положеніемъ“, и ежели не математически вѣрно, то приблизительно были имъ разрѣшены. Слѣдовательно въ виду всегда имѣлась живая и осязательная руководящая нить, которая не допускала ни споровъ, ни пререканій. Пріѣдетъ заводчикъ, скажетъ: „по „положенію“ имѣю честь вручить“; совѣтникъ пожметъ ему руку и отвѣтитъ: „напрасно безпокоились, а впрочемъ“... Только всего и разговоровъ.

Затѣмъ замокъ щелкалъ, и „слѣдующее по положенію“ скромно присовокуплялось къ прочимъ таковымъ.

И откупщики, и заводчики, и винные пристава—всѣ приносили отъ избытковъ своихъ, а тотъ, кто терпѣлъ—не жаловался, да врядъли и понималъ, что онъ терпитъ.

Столь превосходныя качества мѣстъ требовали и строгаго выбора лицъ для занятія ихъ. Лица эти были люди солидные, обладавшіе вполнѣ благонадежными качествами ума и сердца. Многіе изъ совѣтниковъ питейныхъ отдѣленій были тайные поборники масонства; многіе числились членами библейскаго общества и всѣ безъ исключенія отличались набожностью, склонностью къ созерцательности и любовью къ благолѣпію службы церковной. Епархіальные архіереи видѣли въ нихъ опору благочестія, доблестнѣйшихъ сыновъ церкви, составлявшихъ украшеніе воскресныхъ архіерейскихъ пироговъ. Центральная власть понимала ихъ какъ людей, существенно заинтересованныхъ въ сохраненіи существующихъ порядковъ, а слѣдовательно благонамѣренныхъ и нестроптивыхъ. Директоры училищъ отводили душу, бесѣдуя съ ними о Богѣ и Его величіи. Полиціймейстеры ука-

зывали на нихъ, какъ на идеалъ доблестнаго содержанія мостовыхъ и неуклонной вывозки нечистотъ. Въ заключеніе же всего, общество, убѣжденное, что изъ всего чиновничьяго сословія они одни не имѣютъ надобности „мараться“, а только получаютъ слѣдующее „по положенію“, дарило ихъ своимъ довѣріемъ и выбирало старшинами въ мѣстные клубы.

Живя скромно, окруженные общей любовью, никѣмъ не огорчаемые, эти люди незамѣтно становились городскими старожилами, принимали къ сердцу мѣстные интересы, дѣлались членами холерныхъ, оспенныхъ и другихъ комитетовъ и умирали въ глубокой старости, оставляя послѣ себя вдовъ и сиротъ, которые были бы неутѣшными, еслибъ хлопоты по утвержденію въ правахъ наслѣдства давали имъ время для продолжительнаго оплакиванья. И когда печальная колесница увозила къ послѣднему жилищу гробъ, на крышкѣ котораго красовалась трехугольная шляпа, а внутри покоились бренные останки того, кто еще такъ недавно былъ добрымъ пастыремъ откупщиковъ и винокуренныхъ заводчиковъ, никто не говорилъ вслѣдъ этому гробу: „вотъ умеръ одинъ изъ грабителей русской земли!“ — но всякій, сотворивъ крестное знаменіе, произносилъ: „вотъ умеръ человѣкъ, который никогда въ своей жизни не замарался, но довольствовался лишь тѣмъ, что слѣдовало ему по положенію“.

Вотъ краткій, но правдивый очеркъ того положенія, въ которомъ очутился Велентьевъ въ Семозерскѣ.

Менандръ Семенычъ инстинктомъ угадалъ все, что въ его новой роли заключалось существеннаго, и потому, вступивъ въ должность, почувствовалъ себя въ ней точно такъ же свободно, какъ будто онъ двадцать лѣтъ сряду разрѣшалъ вопросы объ утечкѣ и усушкѣ. Еще передъ выѣздомъ изъ Петербурга онъ понялъ, что главное въ этомъ дѣлѣ — это бюджетъ доходовъ, и потому прежде всего пріобрѣлъ себѣ отлично переплетенную и разлинованную тетрадь съ вытисненною на переплетѣ надписью: „Разное“. На внутреннемъ же заглавномъ листѣ тетради онъ написалъ: „Смѣта ожидаемыхъ полученій“, съ эпиграфомъ: *благословиши вѣнець лѣта благости Твоея, Господи!* Затѣмъ, съ свойственною ему проницательностью, онъ раздѣлилъ смѣту на пять слѣдующихъ параграфовъ: § 1-й. „Содержаніе, отъ казны присвоенное (*лепта вдовиця*)“. § 2-й. „Положеніе отъ откупа (*всякое даяніе благо*)“. § 3-й. „Положеніе отъ господъ вино-

куренныхъ заводчиковъ (*и всякъ дара совершенъ*)". § 4-й. „Слѣдуемое отъ винныхъ приставовъ (*ему же дань — дань, ему же честь — честь, ему же оброкъ — оброкъ*)". § 5-й. „Разныя поступленія (*ищите и обрящете*)". Сдѣлавъ это распредѣленіе, Менандръ Семеновичъ сказалъ себѣ, что главное исполнено, что рубрики, исчерпывающія кругообращеніе совѣтника питейнаго отдѣленія, найдены, и затѣмъ остается только наблюдать, чтобъ онѣ своевременно и неукоснительно наполнялись.

По соображеніямъ его, всѣ пять параграфовъ смѣты должны были доставить никакъ не менѣе тридцати тысячъ рублей на ассигнаціи въ годъ, безъ лажа. А такъ какъ, при тогдашней дешевизнѣ всѣхъ жизненныхъ потребностей и при собственной его умѣренной жизни, ему и пять тысячъ прожить за глаза, то долженъ получиться ежегодный остатокъ въ двадцать-пять тысячъ рублей, который и представляетъ собой „полученіе желаемаго", или чистый доходъ. Этотъ чистый доходъ предполагалось употреблять на финансовыя операціи.

Въ тѣ времена финансовыя операціи были еще въ младенчествѣ. Никто еще не думалъ ни о желѣзныхъ дорогахъ, ни о водопроводахъ, а тѣмъ менѣе объ учрежденіи компаній для полученія отъ казны пособій. Приращеніе капитала шло медленно, но за то вѣрно. Большинство чиновниковъ клало свои лепты въ ломбардъ на имя неизвѣстнаго и предпочитало этотъ способъ приращенія всѣмъ другимъ, потому что онъ не былъ сопряженъ съ рискомъ и не допускалъ огласки.

— Ломбардъ — святое дѣло! — говорили чиновники. — Положилъ, и концы въ воду.

Другой способъ приращенія заключался въ одолженіи деньгами „вѣрнаго человѣка" за хорошіе проценты. Тутъ приращеніе шло нѣсколько быстрѣе, но и возможность огласки была настолько значительна, что только мелкіе и очень жадные чиновники рѣшались на эту операцію. Третій способъ состоялъ въ помѣщеніи денегъ въ торговыя предпріятія, которыя обыкновенно велись подъ чужимъ именемъ; но эта операція требовала такого сложнаго и бдительнаго контроля, что чиновники, увлекшіеся выгодами торговыхъ барышей, нерѣдко становились въ положеніе человѣка, погнавшагося разомъ за двумя зайцами и ни одного не поймавшаго. Наконецъ, существовала еще и четвертая операція — это покупка и продажа мужиковъ. Опе-

рація эта была совершенно вѣрная и выгодная, но тутъ огласка была уже полная.

Менандръ Семеновичъ, какъ человѣкъ солидный, и операцію выбралъ солидную, то-есть рѣшился класть свой чистый доходъ въ ломбардъ. Нельзя сказать, чтобы мысль о болѣе быстромъ обогащеніи не улыбалась ему, но онъ понялъ, что благосостояніе его зависитъ не столько отъ тѣхъ выгодъ, которыя можетъ доставить ему быстрое обращеніе благопріобрѣтенныхъ капиталовъ, сколько отъ ежегодныхъ и совершенно вѣрныхъ присовокупленій, которыя сулила ему должность. Эта должность представляла единственную прочную и никогда не изсякающую операцію, которую онъ могъ предпринять безъ риска, а потому онъ далъ себѣ слово оберегать ее отъ всякихъ случайностей и содержать этотъ источникъ столь чистымъ и прозрачнымъ, какъ ему въ томъ передъ начальствомъ и на страшномъ судѣ отвѣтъ дать надлежитъ.

Только два раза, въ продолженіе своей служебной карьеры, Велентьевъ отступилъ отъ этого мудраго правила: оба раза по настоянію Нины Иракліевны, и оба раза съ ущербомъ. Одинъ разъ онъ „одолжилъ“ за хорошій процентъ довольно значительную сумму совершенно „вѣрному“ человѣку, которому притомъ нужно было „перехватить“ двадцать тысячъ на самый короткій срокъ для самой надежной операціи. И что же оказалось? Едва получилъ „вѣрный человѣкъ“ деньги, какъ тотчасъ же словно въ воду канулъ. Только черезъ годъ онъ вынырнулъ, но вынырнулъ тамъ, гдѣ уже не существуетъ ни возвратовъ занятыхъ суммъ, ни надежды на выгодныя операціи—въ семиозерскомъ острогѣ. Менандръ Семеновичъ поскорбѣлъ, упрекнулъ Нину Иракліевну въ легкомысліи, но давать дѣлу огласку и „марать ся“ не пожелалъ. Подобно древнему Іову, онъ сказалъ себѣ: Богъ далъ, Богъ и взялъ“,—и затѣмъ купилъ два калача и поѣхалъ въ тюремный замокъ.

— Ты у меня двадцать тысячъ укралъ,—сказалъ онъ своему должнику:—но я тебѣ не мщу, потому что мстятъ только низкія души. Вотъ, привезъ тебѣ два калача: возьми и ѣшь.

Въ другой разъ онъ задумалъ открыть мучной лабазъ и торговать подъ чужимъ именемъ хлѣбомъ, но и эта операція убѣдила его, что одному человѣку заграбить всѣ деньги никакъ невозможно. Во-первыхъ, контроль надъ мѣщаниномъ, отъ имени котораго произво-

дилась торговля, оказался до крайности сложнымъ и даже унизительнымъ. Каждое утро Велентьевъ запирался съ своимъ агентомъ въ кабинетѣ, провѣрялъ счеты, прокладывалъ выручку, но и за всѣмъ тѣмъ никогда не могъ освободиться отъ мысли, что агентъ нѣчто укралъ. Какъ плодъ этихъ сомнѣній, въ кабинетѣ раздавались покрякиванія и еще какіе-то звуки, выражавшіе не то недовѣріе, не то недоумѣніе.

— „Со вчерашними ежели считать, то двѣсти-пятьдесятъ рублей и три четверти копѣйки, а безъ оныхъ сто-одинъ рубль двадцать-двѣ копѣйки, и того девяносто рублей“,—читалъ Менандръ Семеновичъ отчетъ.—Чортъ тебя знастъ, братецъ, какую ты тутъ чушь напоролъ!

Затѣмъ счеты складывались, и Велентьевъ уже безъ дальнѣйшихъ околичностей обращался къ своему агенту съ вопросомъ:

— Вѣрно?

— Помилуйте, ваше высокородіе! осмѣлюсь ли я?

— Я тебя спрашиваю: вѣрно?

— Вотъ какъ передъ Истиннымъ-съ!

— Повтори, какое ты слово сказалъ?

— Какъ передъ Истиннымъ, такъ и передъ вашимъ высокородіемъ: ни копѣйки не утаилъ-съ!

— Смотри же, помни это! Знаешь, что въ писаніи сказано: не человѣкомъ солгалъ еси, но Богу!

Во-вторыхъ, несмотря на клятвы, дѣло кончилось все-таки тѣмъ, что мѣщанинъ однажды совсѣмъ не явился съ отчетомъ, а вслѣдъ затѣмъ объявилъ себя отъ собственнаго имени невинно надшимъ и исчезъ. Вторично Велентьевъ, подобно Іову, воскликнулъ: „Богъ далъ, Богъ и взялъ!“—но съ тѣхъ поръ уже далъ себѣ слово никогда не сворачивать съ пути, который указывалъ ему на ломбардъ, какъ на единственное вѣрное хранилище чиновническихъ лентъ.

Когда Порфиша началъ понимать себя, репутація Менандра Семеновича въ Семиозерскѣ уже установилась. Онъ пользовался общественнымъ уваженіемъ, состоялъ въ званіи старшины мѣстнаго клуба, имѣлъ на шеѣ орденъ св. Анны и въ довершеніе всего обладалъ дружескимъ расположеніемъ губернатора. Губернаторъ когда-то принадлежалъ къ сектѣ скакуновъ, былъ пойманъ на радѣніи въ инженерномъ замкѣ, затѣмъ, въ видѣ опалы, сосланъ въ Семиозерскъ

на губернаторство, и вслѣдствіе всего этого считалъ себя философомъ. Поэтому бесѣда съ Менандромъ была для него настоящею усладою. Но и среди этихъ благопріятныхъ условій Велентьевъ нимало не возгордился, но, напротивъ того, готовъ былъ всякому подать благой совѣтъ и даже оказать помощь—разумѣется, если она была не денежная.

Порфиша отъ природы былъ любознателенъ, но это качество развилось въ немъ еще болѣе вслѣдствіе таинственности, которою папаша облекалъ нѣкоторыя свои дѣйствія. Ежедневно утромъ Менандръ Семеновичъ запирался у себя въ кабинетѣ и по истеченіи нѣкотораго времени выходилъ оттуда весь красный. Естественно, что обстоятельство это должно было заинтриговать Порфишу, и вотъ однажды, оторвавшись отъ рѣзвыхъ игръ юности, онъ подстерегъ моментъ, когда дверь папашина кабинета захлопнулась, подкрался къ ней неслышными шагами, приложилъ къ замочной скважинѣ глазъ и увидѣлъ слѣдующую картину.

Отецъ сидѣлъ у письменнаго стола, задомъ къ нему, слѣдилъ по толстой разграфленой книгѣ и щелкалъ на счетахъ. Потомъ началъ перебирать какія-то бумажки, смотрѣлъ нѣкоторыя изъ нихъ на свѣтъ, щелкнулъ на счетахъ, досталъ новую пачку бумажекъ, пересчиталъ и опять щелкнулъ на счетахъ, досталъ новую пачку бумажекъ, пересчиталъ и опять щелкнулъ. Сосчитавши все какъ слѣдуетъ, онъ приступилъ къ сортированію тѣхъ бумажекъ, которыя еще не были сложены въ пачки, подобралъ сѣренькія къ сѣренькимъ, красныя къ краснымъ и т. д. Подобравъ полную пачку, онъ клалъ ее на столъ, причемъ каждый разъ хлопалъ рукою и боязливо обертывался назадъ, какъ бы опасаясь, не наблюдаетъ ли кто за нимъ. Затѣмъ онъ выдвинулъ другой ящикъ, вынулъ оттуда мѣшокъ съ полуимперіалами и разложилъ на столѣ порядочное количество блестящихъ столбиковъ. Наконецъ, сосчитавши ассигнаціи и полуимперіалы, онъ подвелъ на счетахъ общій итогъ, потянулся, крякнулъ и призвалъ имя Господне. Финансовая операція кончилась, ассигнаціи и полуимперіалы отправлены въ надлежащіе ящики; замки защелкнулись; Порфиша отпрянулъ отъ двери и поспѣшилъ въ столовую играть.

Какъ ни однообразно было это зрѣлище, но оно полюбилось Порфишѣ. Ему понравился и звонъ полуимперіаловъ, и шелестъ бума-

жекъ, тѣмъ болѣе, что папаша, въ качествѣ члена палаты, постоянно имѣлъ ассигнаціи новенькія. Каждое утро онъ съ лихорадочнымъ нетерпѣніемъ выжидалъ начала сеанса и, притаивъ дыханіе, выдерживалъ его до конца. Онъ научился различать интонаціи папашиныхъ покрякиваній, угадывалъ, когда папаша доволенъ результатами своего сеанса и когда недоволенъ. Мало того: никѣмъ не наставляемый, онъ въ скоромъ времени сталъ отличать сѣренькія бумажки отъ красненькихъ и синенькихъ, и, какъ ребенокъ живой и острый, угадалъ, что первымъ надлежитъ отдать предпочтеніе передъ послѣдними. Словомъ сказать, инстинктъ финансиста въ немъ заговорилъ.

Но въ особенности интересовали его два мѣсяца въ году, а именно, сентябрь, когда производились торги на вино, въ просторѣчіи называемые сѣнокосомъ, и ноябрь, когда присяжные отправлялись въ Петербургъ за гербовой бумагой и когда папаша отсылалъ свой чистый доходъ для вклада въ ломбардъ. Въ обоихъ случаяхъ Менандръ Семеновичъ замѣтно волновался, но въ первомъ волновался сладостно и видѣлъ веселые сны, а во второмъ былъ мраченъ и видѣлъ во снѣ воровъ, мошенниковъ и грабителей. Это волненіе длилось до тѣхъ поръ, пока вино не было окончательно заподряжено и пока довѣренный присяжный не вручалъ Велентьеву новаго ломбарднаго билета на имя неизвѣстнаго. Тогда все снова приходило въ обычный порядокъ. Вмѣстѣ съ отцомъ оживалъ и падалъ духомъ и Порфиша. Не имѣя никакихъ положительныхъ свѣдѣній ни о порядкѣ вина, ни о ломбардѣ, онъ понималъ, однакожъ, что названныя выше эпохи составляютъ вѣнецъ того процесса созиданія, которому такъ неутомимо, въ продолженіе цѣлаго года, предавался его отецъ. Онъ смутно чувствовалъ, что въ родительскомъ домѣ происходитъ нѣчто очень важное и рѣшительное, и еслибы проницательный человѣкъ заглянулъ въ эти минуты въ его душу, то убѣдился бы, что хотя Порфиша еще ни разу не произнесъ слова: „капиталъ“, но что слово это уже созрѣло и недалеко то время, когда оно слетитъ съ его языка такъ свободно, какъ будто именно на этомъ языкѣ, а не въ другомъ мѣстѣ его подлинное мѣсторожденіе.

Но чѣмъ болѣе Порфиша выказывалъ наклонности къ меркантилизму и къ счетной части, тѣмъ менѣе поощрялъ въ немъ эту наклонность Менандръ Семеновичъ. Подобно всѣмъ людямъ, занимающимся

накопленіемъ, а не распредѣленіемъ богатствъ, онъ какъ бы нѣсколько стыдился своего ремесла.

Одаренный отъ природы домовитыми инстинктами евангельской Марѳы, онъ прикидывался безпечною Маріей, и ни о чемъ такъ охотно не бесѣдовалъ, какъ о маслѣ, миррѣ и благовоніяхъ. Поэтому онъ твердилъ Порфишѣ о добродѣтели и старался внушить ему чувства невинныя и въ то же время возвышенныя. Но, къ величайшему сожалѣнію, у него было такъ мало свободнаго времени, что онъ могъ дѣлать эти внушенія лишь въ самомъ краткомъ видѣ. Утро было занято службой, вечеръ—клубомъ; вполнѣ свободнымъ оказывался только небольшой послѣобѣденный промежутокъ, который и посвящался вкорененію въ ребенкѣ благородныхъ чувствъ. Отдохнувши и напившись чаю, Менандръ Семеновичъ ходилъ съ Порфишей по довольно обширному фруктовому саду, который былъ разведенъ имъ сзади дома, очищалъ яблони отъ червей и гусеницъ и собиралъ паданцы. Если яблоко упало вслѣдствіе зрѣлости, то Менандръ Семеновичъ, поднимая его, говорилъ:

— Вотъ, мой другъ, образъ жизни человѣческой! Едва созрѣлъ —и ужъ упалъ!

Ежели же яблоко упало подточенное червемъ, то онъ говорилъ:

— И тутъ жизнь человѣческая прообразуется! Но не зрѣлостью сраженная, а подточенная завистью и клеветой!

Потомъ, указывая на небо, присовокуплялъ:

— Смотри на небо, мой другъ, и оттолѣ жди себѣ утѣшенія въ коловратностяхъ жизни! Тамъ живетъ Общій Отецъ нашъ! Люби его, другъ мой!

И затѣмъ, поверившись на каблукахъ, отправлялся въ клубъ.

Несмотря на краткость этихъ поученій, Порфиша не любилъ ихъ. Быть можетъ, онъ не могъ согласить ихъ съ тѣми утренними сеансами, которыхъ онъ былъ ежедневнымъ свидѣтелемъ, или же вообще въ немъ мало развита была склонность къ реторическимъ уподобленіямъ—какъ бы то ни было, но образъ отца представлялся ему двойственнымъ: во-первыхъ, въ видѣ солиднаго человѣка, занимающагося процессомъ созданія, и, во-вторыхъ, въ видѣ сытаго празднолюбца, предающагося, въ ожиданіи партіи виста, разглагольствіямъ о какихъ-то совсѣмъ ненужныхъ сравненіяхъ человѣка съ яблокомъ. За дѣйствіями перваго онъ слѣдилъ съ тревогою и любовью; предиками

послѣдняго скучалъ и тяготился. Онъ не разъ даже пытался объяснить себѣ, отчего папаша утромъ такой, а послѣ обѣда другой: но такъ какъ для дѣтскаго ума разрѣшеніе этого вопроса не представляло существеннаго интереса, то вопросъ такъ и канулъ въ общей безднѣ мгновенно вспыхивающихъ и мгновенно же погибающихъ вопросовъ, которыми такъ богато дѣтское существованіе. Впослѣдствіи, въ лѣтахъ болѣе зрѣлыхъ, образъ отца разглагольствующаго окончательно стушевался, и тѣмъ рельефнѣе выступилъ образъ отца, щелкающаго на счетахъ и каждодневно созидающаго.

Гораздо цѣльнѣе и рельефнѣе представлялся Порфишѣ образъ матери.

Нина Иракліевна, вышедши замужъ и поселившись въ Семиозерскѣ, значительно измѣнилась. И прежде у нея было не много княжескихъ привычекъ, теперь же она предала забвенію и то немногое княжеское, которое сохраняла въ домѣ ma tante. Фигура ея изъ тоненькой сдѣлалась круглою и плотною; лицо, утративъ желчное выраженіе, пріобрѣло оттѣнокъ довольства и даже добродушія. Вообще устройство ея судьбы подѣйствовало на нее благотворно. Она не была обязана ни скрываться, ни пріобрѣтать исподтишка, какъ въ домѣ ma tante. Та страсть, которая была двигателемъ всей ея жизни — страсть къ пріобрѣтенію — получила себѣ вполнѣ свободный выходъ. Она могла покупать, продавать, вымѣнивать — Менандръ Семеновичъ не только не препятствовалъ ей, но даже радовался, взирая на ея дѣятельность. У Менандра Семеновича было свое дѣло, у нея — свое. Она тоже создала себѣ своего рода палату, въ которой и копошилась съ утра до вечера.

На половинѣ у мамани также шелъ процессъ созиданія, но шелъ не потаенно, а въ видѣ непрерывной и совершенно открытой сутолоки, такъ что Порфиша имѣлъ полную возможность слѣдить за всѣми его подробностями. Нина Иракліевна вела операцію очень сложную и замысловатую: она торговала мужикомъ. Вымѣнивала, покупала, продавала, отпускала на волю, сдавала въ солдаты и проч. Отказавшись лично отъ этой операціи, Менандръ Семеновичъ предоставилъ веденіе ея женѣ тѣмъ охотнѣе, что послѣдняя, какъ было всѣмъ извѣстно, имѣла свой приданный капиталъ и свою приданную деревню. Слѣдовательно, ни огласка, ни опасеніе клеветы — ничто не препятствовало ей производить всѣ свойственныя благородному званію

и дозволенныя закономъ операціи. Находились, конечно, люди, которые говорили, будто Велентьевъ удѣляетъ своей женѣ на этотъ предметъ довольно значительные куши, которые въ расходной его книгѣ записываются подъ рубрикой: „воспособленія“. Но такъ какъ никто этого собственными глазами не видалъ, а самъ Велентьевъ въ томъ не сознавался, то и выходилъ одинъ пустой разговоръ. И Нина Пракліевна, не смущаясь разговорами, продолжала дѣйствовать неутомимо и ловко. Она изучала мужика подробно, хотя и довольно односторонне, а именно, только съ точки зрѣнія выжиманія такъ-называемаго мужицкаго сока. Не обращая вниманія на этнографическія и бытовыя стороны мужицкой жизни, она направила свою проницательность исключительно на изученіе стороны экономической, и такъ наметалась въ этой наукѣ, что съ перваго взгляда угадывала, гдѣ и что у мужика лежитъ и какую денежную цѣнность онъ собой представляетъ. Не брезгая мужикомъ барщинным, она преимущественно любила мужика оброчнаго, какъ болѣе избалованнаго свободой передвиженій и, слѣдовательно, болѣе чувствительнаго ко всякимъ ограниченіямъ этой свободы. Заставить мужика за хорошую плату выкупиться на волю—вотъ что стояло у нея на первомъ планѣ; затѣмъ уже слѣдовали другія мѣры: заставить откупиться отъ солдатчины, отъ барщины, отъ службы въ качествѣ бурмистра и проч. На все это оброчный мужикъ шелъ гораздо ходчѣе барщиннаго. Къ тому же и доходъ въ видѣ денегъ представлялся ея уму яснѣе, нежели доходъ въ видѣ произведеній мужицкаго труда. Послѣднія она допускала лишь между прочимъ, въ видѣ талекъ, сушеныхъ грибовъ, полотна, овчинъ и проч. Этого добра скопялись у нея полныя кладовыя, и она охотно снабжала имъ мелкихъ семиозерскихъ торгашей.

Комната мамаши представляла цѣлый хаосъ, въ которомъ только она одна могла разобраться. Тутъ были сложены вороха талекъ, полотенъ, кожъ и другого крестьянскаго хлама, и все это съ утра до вечера перевѣшивалось, перемѣрпвалось, записывалось въ особыя матеріальныя книги и затѣмъ отправлялось въ кладовыя, чтобы на другой день дать мѣсто другимъ ворохамъ. Тутъ же, къ великому удовольствію Порфиши, лежали и незатѣйливыя сласти: пряники, орѣхи, леденцы и проч., приносимыя мужиками на поклонъ. Подобно Менандру Семеновичу, Нина Пракліевна каждодневно повѣряла себя, и въ это время, точно такъ же, какъ и мужъ, запиралась въ своей

комнатѣ, но отъ Порфиши она не скрывалась и даже дѣлала его соучастникомъ тѣхъ наслажденій, которыя доставляла ей повѣрка. Ставши колѣнами на стулъ и навалившись всѣмъ корпусомъ на столъ, Порфиша въ какомъ-то очарованномъ забытьи всматривался въ ряды разложенныхъ пачекъ и слѣдилъ за движеніями рукъ мамаши. Въ комнатѣ дѣлалось тихо; слышался только шелестъ бумажекъ, сопровождаемый чуть слышнымъ бормотаніемъ, да изрѣдка раздавалось щелканье косточекъ на счетахъ, отъ котораго Порфиша каждый разъ вздрагивалъ, какъ будто въ этомъ щелканьи слышалась ему какая-то сухая, безапелляціонная резолюція. Бумажки, въ противоположность напашинымъ, были замасленныя, рваныя, вдѣланныя въ писанную бумагу, и это обстоятельство тоже обратило на себя вниманіе Порфиши.

— Мамаша! отчего у тебя бумажки рваныя, а у папаши новенькія?—спрашивалъ онъ.

— Оттого, что мои бумажки мужички принесли! Не мѣшай, мой другъ! пять, шесть, семь...

Порфиша протягивалъ руку и дотрогивался пальцемъ до одной изъ пачекъ.

— Отчего же у мужичковъ рваныя бумажки?—спрашивалъ онъ опять.

— Оттого, что у нихъ руки потныя... Не трогай, мой другъ! не сдвигай пачекъ съ мѣста! Восемь, девять, десять...

Порфиша на время умолкалъ и сидѣлъ смирно; но дѣтская подвижность понемногу брала-таки свое, и онъ снова протягивалъ руку.

— Мамаша! у Авдѣя старосты руки черныя-пречерныя!—говорилъ онъ, пытаясь отвлечь вниманіе Нины Прокопьевны.

— У Авдѣя старосты... Да не тронь же, душечка, пачку! въ другой разъ запрусь и не оставлю тебя съ собой!

— Я, мамаша, только пальчикомъ!

Но вотъ и мамаша оканчивала повѣрку. „Слава Богу, все вѣрно!“ — говорила она и, уложивъ пачки въ ящикъ, запирала послѣдній ключомъ. Затѣмъ она на нѣкоторое время предавалась не то что отдохновенію, а какъ бы сладкому сознанію, что все до спхъ поръ шло и идетъ хорошо, а завтра, быть можетъ, будетъ идти и еще лучше. Но отдохновеніе Нины Прокопьевны не бывало продолжительно. Ее всегда ожидали нужныя дѣла, въ видѣ переговоровъ

съ сводчиками, конференціи съ мужиками и старостами, пріема. оброка, талекъ, яицъ и т. п.

Всѣ сводчики ее знали и наперерывъ предлагали имѣнія. Всегда находились люди, которые, постоянно проворовываясь, въ одно прекрасное утро усматривали себя въ положеніи, о которомъ говорится: „хоть въ петлю полѣзай“. Поэтому имѣній, которыя нужно было продать во что бы то ни стало и за что бы то ни стало, всегда бывало очень достаточно. Нина Иракліевна зорко слѣдила за такими оказіями, имѣла на этотъ случай „руку“ въ опекунскомъ совѣтѣ и находилась въ постоянныхъ сношеніяхъ съ сводчиками, которые являлись у нея чуть не каждый божій день.

— Дорого,—обыкновенно отрѣзывала она, выслушавъ предложеніе сводчика и зная, что послѣдній всегда запрашиваетъ если не вдвое, то въ полтора раза.

— Сударыня! строеніевъ однихъ сколько! Избы новыя, крытыя тесомъ, скотъ-съ... Опять-таки мельница, лѣсъ-съ...

— Не люблю я съ мельницами возиться... ну ихъ! мнѣ мужика дай!

— И мужики исправные; у одного въ Москвѣ на Таганкѣ заведеніе, у нѣкоторыхъ смолокурни, дегтярные заводы-съ!

— Сколько душъ-то, ты говоришь?

— Триста.

— По четыреста за душу... сколько это денегъ-то выйдетъ?

— Не по четыреста, а по двѣсти, сударыня, въ двухъ стахъ они въ совѣтъ заложены!

— Ну, ин̀ъ по двѣсти! Сто по двѣсти—это двадцать тысячъ... шесть-десятъ-то тысячъ! да ты, сударь, никакъ съума спятилъ!

Нина Иракліевна съ негодованіемъ отбрасывала счеты и отворачивалась отъ сводчика къ окну.

— За пятьдесятъ, можетъ быть, отдадутъ!—заговаривалъ сводчикъ.

Молчаніе.

— Хоть сорокъ-то пять положьте!

— Тридцать!

— Нѣтъ, за тридцать нельзя! Однихъ строеніевъ сколько! опять же скотъ!

— Да ты скажи мнѣ, съ какихъ ты-то радостей торгуешься? Или ужъ началъ и нашимъ, и вашимъ служить?

— Я, сударыня, всякому служу, кто меня проситъ! Вы попросите—вамъ послужу; другой попроситъ—другому готовъ!

— То-то „готовъ“! Объ стороны продать готовъ! Васъ за такія дѣла знаешь какъ надо! Сказывай, народъ-то смиренъ ли?

— Самый покорный-съ. Чтобъ это возмущеніе или бунтъ—и въ заведеніи никогда не бывало!

— Сорокъ—и ни копѣйки больше!

Сказавши это, Нина Иракліевна уже окончательно упиралась, и результатомъ этого упорства почти всегда оказывалась кучая крѣпость, вслѣдствіе которой, черезъ мѣсяцъ или черезъ два, владѣлецъ „заведенія“ на Таганкѣ продавалъ его, а самъ, съ отпускной въ рукахъ, поступалъ въ то же „заведеніе“ половымъ.

Еще чаще заставалъ Порфиша у мамаши мужиковъ. Изъ комнаты несся запахъ дегтя и сермяжины и раздавались возгласы: „гдѣ же взять-то, сударыня? и неизбѣжный отвѣтъ на нихъ: „а мнѣ хоть роди, да подай!“ Въ большей части случаевъ мужики винились, становились на колѣни и просили прощенія, изъ чего Порфиша заключилъ, что всѣ они обманщики, и что мамаша напрасно теряетъ время, разговаривая съ такими негодяями. Но изрѣдка бывали и такіе случаи, что мужикъ спорилъ и доказывалъ.

— Вѣдь еще объ Рождествѣ я деньги-то отдалъ!—горячился какой-нибудь Еремка, объясняя свою правоту.

— Не получала я, никакихъ я денегъ отъ тебя не получивала! —запиралась Нина Иракліевна.

— Вотъ Владычица видѣла, какъ я на самомъ этомъ мѣстѣ всѣ деньги отдалъ!—упорствовалъ Еремка, указывая на висѣвшій въ углу приданный образъ Богоматери, передъ которымъ всегда теплилась лампадка.

— Можетъ и видѣла Владычица, какъ ты отдавалъ, только кому-нибудь другому, а не мнѣ!

— Оборотню, что-ли, я отдавалъ?

— Пошелъ вонъ, подлецъ!

Мужикъ уходилъ; Нина Иракліевна задумывалась, болтала ногами и нѣкоторое время избѣгала смотрѣть на Владычицу. Въ ней просыпалось что-то въ родѣ упрека; являлось колебаніе, не отдать ли?

— Никакъ и въ самомъ дѣлѣ онъ заплатилъ?—шептали уста ея.

Но Порфишу во всей этой сценѣ поражали лишь грубость Еремки

и дерзость, съ которою онъ осмѣливается обличать мамашу свидѣтельствомъ Владычицы. Заключеніе, которое онъ выводилъ изъ этого случая, было то же самое, какъ и тогда, когда мужикъ винился и просилъ прощенія. И въ первомъ случаѣ мужикъ былъ обманщикъ, и во второмъ обманщикъ. „Стало быть, онъ обманывалъ, если прощенья запросилъ!“ „Обманщикъ—и еще смѣетъ грубить!“—такъ говорилъ онъ себѣ, все болѣе и болѣе убѣждаясь, что формула: „какъ ты смѣешь?“ есть самая удобная въ сношеніяхъ съ мужикомъ.

— Мамаша! какъ онъ смѣетъ тебѣ грубить!—восклицалъ онъ, съ воплемъ бросаясь въ объятія Нины Ираклiевны.

Этотъ вопль окончательно улаживалъ всѣ сомнѣнія. Нина Ираклiевна успокоивалась, и Еремка уходилъ домой, унося съ собой эпитеты нераскаяннаго и закоснѣлаго, которые не обѣщали ему ничего хорошаго въ будущемъ.

Но верхомъ торжества Нины Ираклiевны были хозяйственныя распоряженія, выражавшіяся въ приказаніяхъ, отдаваемыхъ старостамъ и приказчикамъ.

— У Васьки Косого лошадь хороша, такъ ее на барскій дворъ взять, а ему похуже дать! Все равно ему пахать, что на хорошей, что на худой!

— Слушаю, сударыня!

— А у Матрены-бобылки избу взять и Прохору продать. А сама пусть въ людяхъ живетъ. А если хочетъ избу за собой оставить, пусть пятьдесятъ рублей отдастъ.

— Гдѣ ей эко мѣсто денегъ взять, сударыня!

— А негдѣ взять, такъ пусть не прогнѣвается! И въ людяхъ поживетъ!

— Слушаю, сударыня!

— То-то „слушаю“. Ты слушай, а не разговаривай, что негдѣ ей денегъ взять. Всѣ вы потатчики!

— Кажется, стараемся, матушка!

— Всѣ вы стараетесь! Ты мнѣ вотъ что̀ скажи: за Ѳедькой-то Долговязовымъ до сихъ поръ овца въ недоимкѣ числится... А! Скоро ли я дождусь?

— Одна у него, сударыня! Говоритъ: пущай прежде объягнится!

— А знаешь ли ты, что за такія слова вашего брата въ сол-

даты отдаютъ! Мнѣ чтобъ была овца! У тебя со двора сведу, если черезъ недѣлю Ѳедька не приведетъ!

И такъ далѣе, и такъ далѣе.

Вслушиваясь въ эти разговоры и постоянно обращаясь среди всякаго рода полученій, Порфиша невольнымъ образомъ и самъ получилъ вкусъ къ финансамъ. Я не думаю, конечно, чтобы онъ относился къ процессу созданія сознательно и чтобы въ немъ уже зародилась та доза канальства, которая въ этомъ случаѣ потребна, но едва-ли ошибусь, сказавъ, что какъ бы ни было поверхностно дѣйствіе получаемыхъ въ дѣтствѣ впечатлѣній на человѣческое сознаніе, все-таки они не пропадаютъ безслѣдно. Спачала эти впечатлѣнія втѣсняются въ видѣ разрозненныхъ фактовъ, но потомъ, мало-по-малу, одни отдѣльные факты начинаютъ цѣпляться за другіе и даютъ поводъ для сравненій и сопоставленій. Память хранитъ цѣлый запасъ фактовъ, которые, казалось, прошли въ свое время мимо, не возбудивъ даже вниманія, но на дѣлѣ оказывается, что они не только не исчезли, но выступаютъ во всей своей свѣжести и ясности, и выступаютъ именно въ ту самую минуту, когда всего болѣе чувствуется ихъ пригодность. Порфиша уже освоился съ формою денежныхъ знаковъ, онъ слышалъ щелканье счетовъ, видѣлъ мужика и хоть поверхностно, но все-таки пораженъ былъ энергическимъ выраженіемъ: „хоть роди, да подай!“, къ которому любила прибѣгать Нина Иракліевна. Этого достаточно было, чтобы въ свое время память выдвинула всѣ эти факты и жизненный опытъ нашелъ для нихъ надлежащее мѣсто въ общей экономіи міросозерцанія.

Ни Менандръ Семеновичъ, ни Нина Иракліевна не думали сдѣлать изъ сына своего финансиста, которому впослѣдствіи суждено будетъ возвыситься до идеи о всеобщемъ ограбленіи. Да врядъ ли въ воспитательной практикѣ того времени и можно было найти примѣры подобной спеціальной подготовки. Въ то время люди воспитывались безъ всякихъ заданныхъ темъ; требовалось только, чтобъ они были понятливы, шустры и готовы на все. Что выйдетъ изъ этого впослѣдствіи, то-есть въ какомъ именно видоизмѣненіи „свободы тѣлодвиженій“ найдетъ себѣ выходъ эта готовность на все — объ этомъ никто не задумывался. Всякій отецъ и всякая мать имѣли только одну заботу: чтобъ ребенку хорошо было жить на свѣтѣ. А это представлялось возможнымъ лишь тогда, когда ребенокъ твердо усвои-

валъ себѣ всѣ условія окружающей среды. Поэтому, ежели школа и обучала ребенка закону Божію, ариѳметикѣ, грамматикѣ, чистописанію, то главная воспитательная закваска лежала все-таки не въ ней, а въ той домашней обстановкѣ, которая, независимо отъ азбучныхъ прописей, сама по себѣ отчеканивала и натуральныхъ юристовъ, и натуральныхъ администраторовъ, и натуральныхъ финансистовъ.

Тѣмъ не менѣе, ежели бы Порфиша воспитывался исключительно подъ вліяніемъ отца и матери, изъ него, конечно, образовался бы только обыкновенный рутинный финансистъ, на манеръ финансистовъ добраго стараго времени. Онъ копилъ бы деньги безъ дерзости, считалъ бы ихъ, крѣпко-на-крѣпко замыкалъ бы замки въ денежныхъ помѣщеніяхъ и затѣмъ умеръ бы, пріобрѣтя на полученный въ наслѣдство милліонъ еще какой-нибудь такой же милліонъ. Но было обстоятельство, которое значительно расширило его финансовый кругозоръ и помогло ему сойти съ рутинной дороги. Этимъ возбуждающимъ стимуломъ, пролившимъ живописный свѣтъ на дальнѣйшія судьбы Порфиши, были отыскивающіе княжескаго достоинства братья Тамерланцевы.

Георгій и Иванъ Мастрюковичи Тамерланцевы приходились по матери двоюродными братьями Нинѣ Иракліевнѣ и были чистокровные осетинцы. Спеціальность ихъ заключалась въ томъ, что они не имѣли постояннаго мѣста жительства и переѣзжали съ одной ярмарки на другую. Сверхъ того, они были прекрасно обучены на бильярдѣ, отыскивали княжеское достоинство, занимались покупкой и продажей лошадей, а въ карты играли такъ чисто, что ярмарочные шулера называли ихъ не иначе, какъ „благородными людьми“.

Отецъ ихъ, Мастрюкъ Булатовичъ, былъ неизвѣстнаго происхожденія осетинъ, перебѣжавшій нѣкогда къ русскимъ, поступившій въ иноородческій эскадронъ въ чинѣ корнета и тотчасъ же начавшій отыскивать княжеское достоинство. Многія высокопоставленныя лица помогали ему въ этихъ домогательствахъ, но безуспѣшно. Доказательствъ у него не было никакихъ, кромѣ собственныхъ разсказовъ, изъ которыхъ явствовало, что на родинѣ, въ Осетіи, у него была сакля и двѣ козы.

— Саклемъ владалъ, пара коза кормилъ, ружьемъ ходилъ.

свинья убивалъ!—наивно объяснялъ онъ средства своего существованія въ состояніи дикости, но достовѣрности даже этихъ бѣдныхъ показаній ничѣмъ подтвердить не могъ.

Осетія въ то время еще не состояла во власти русскихъ, слѣдовательно не существовало ни губернскаго правленія, ни даже земскаго суда, черезъ которое можно было бы доподлинно узнать, дѣйствительно ли обладаніе двумя козами составляетъ, по мѣстнымъ законамъ, признакъ княжескаго достоинства. Поэтому герольдія медлила, затруднялась и требовала какихъ-то поколѣнныхъ росписей, а Мастрюкъ, ничему не внимая и ничего не понимая, твердилъ одно:

— Саклемъ владалъ, ружьемъ ходилъ, свинья убивалъ!

Въ такомъ положеніи находилось это дѣло въ то время, когда Мастрюкъ, дослужившійся до ротмистра и принявшій фамилію Тамерланцева, умеръ, оставивъ послѣ себя двухъ сыновей: Амалата и Азамата. Умеръ онъ вѣрнымъ мусульманиномъ, хотя самъ Ферлакуръ неоднократно убѣждалъ его, какъ дальняго родственника по женѣ (въ это время мелкомѣстный князь Крикулидзевъ женился на Мастрюковой сестрѣ, Магуль-Мегери, во святомъ крещеніи Маріѣ Булатовичѣ), оставить заблужденія и познать свѣтъ истинной вѣры. Но Мастрюкъ, выслушавъ убѣжденія, постоянно задавалъ Ферлакуру одинъ и тотъ же вопросъ:

— У тебя, бачка, много жена?

— Одна.

— Ну, а мине двадцать-одинъ жонъ довольна!

Но когда Мастрюкъ умеръ, сыновей живо окрестили и отдали въ кадетскій корпусъ, переименовавъ старшаго изъ Амалата въ Георгія, а младшаго—изъ Азамата въ Ивана. Въ корпусѣ оба брата отличались необыкновенною ненавистью къ наукамъ и особенною страстью въ восточной магіи и къ тѣлеснымъ упражненіямъ, требовавшимъ ловкости и силы. Когда они вышли въ офицеры, то уже знали весьма значительное число фокусовъ, и потому смотрѣли въ глаза будущему совершенно спокойно, почти свѣтло. Это были необыкновенно развитые въ тѣлесномъ отношеніи молодые люди, съ смуглыми, очень красивыми, хотя и совершенно безжизненными лицами, на подобіе масокъ. У обоихъ братьевъ были широкія сильныя скулы, черные какъ смоль волосы и глаза, и на правой щекѣ по большому родимому пятну, увѣнчанному волосами. Амалатъ имѣлъ очень пріятнымъ басомъ, Аза-

матъ—теноромъ: оба—плясали лезгинку, какъ истые горцы. Женщины вольнаго обращенія были отъ нихъ безъ ума: старушки, занимавшіяся покровительствомъ скромнымъ молодымъ людямъ, замѣтивъ ихъ въ театрѣ, интересовались узнать ихъ фамилію. Въ полку, куда они поступили, ихъ тоже полюбили, потому что они охотно принимали участіе въ такъ-называемыхъ исторіяхъ, и кромѣ того никто не могъ выпить столько, сколько выпивали братья Тамерланцевы. Словомъ сказать, молодые люди были хоть куда.

Благодаря покровительству лицъ, помнившихъ еще незабвенныя услуги, оказанныя покойнымъ Мастрюкомъ, имъ предстояла, конечно, довольно видная военная карьера въ будущемъ. Быть можетъ, имъ суждено было даже принять когда-нибудь дѣятельное участіе въ возсоединеніи Осетіи, но они сами испортили все дѣло. Однажды Амалатъ запрегъ въ телѣгу тройку жидовъ и одного изъ нихъ загналъ, а Азаматъ въ то же время поймалъ трехъ жидовокъ, вымазалъ ихъ дегтемъ, обвалялъ въ перьяхъ и пустилъ по городу (это происходило въ одной изъ западныхъ губерній). Къ несчастію, и жиды, и жидовки принадлежали къ числу упорныхъ, не шедшихъ ни на какія соглашенія, такъ что дѣло нельзя было „замять“, и братья вынуждены были оставить полкъ.

Тогда братья обратились къ проворству рукъ и къ покровительству чувствительныхъ старушекъ. У нихъ появились рысаки, экипажи и на всѣхъ пальцахъ брилліантовые перстни, которые они, поносивъ немного, замѣняли очень хорошими стразовыми. Жизнь они вели бродячую, цыганскую: покупали, прогорали и опять возрождались, бывали даже биты. Во всѣхъ городахъ, гдѣ существовали маломальски значительныя ярмарки, они являлись непремѣнными посѣтителями, устраивались на постоялыхъ дворахъ какъ у себя дома, разстилали на полу и на голыхъ скамьяхъ персидскіе ковры, и на все время ярмарки заводили, какъ говорится, дымъ коромысломъ. Кончится ярмарка—исчезнутъ и они, исчезнетъ и дымъ, которымъ они наполняли свои временныя пристанища. Не успѣютъ оглянуться—они ужъ на другой ярмаркѣ; опять разстилаютъ ковры, покупаютъ, продаютъ, мечутъ и понтируютъ.

Иногда, впрочемъ, они основывались и въ одномъ и томъ же городѣ на довольно продолжительное время. Это бывало въ тѣхъ случаяхъ, когда верхнее чутье докладывало имъ, что въ такомъ-то мѣ-

стѣ есть нѣкто, около котораго можно поощечиться. Тогда они знакомились съ помѣщиками, представлялись губернатору, называли себя политическими изгнанниками, прикидывались завидными женихами и не прочь были занять денегъ подъ залогъ осетинскихъ виноградниковъ. Въ провинціальныхъ обществахъ ихъ принимали очень радушно. во-первыхъ, потому, что они носили крупныя стразовыя запонки, а во-вторыхъ, потому, что были малые на всѣ руки. Перекинуть ли направо-налѣво, устроить ли для дѣвицъ petits jeux, рекомендовать ли лошадку, спѣть ли модный тогда романсъ „Черную шаль“, причемъ съ особеннымъ чувствомъ проскрежетать:

Ко мнѣ постучался презрѣнный еврей...

—на все это они такъ охотно соглашались, что, гдѣ бы они ни появились, общество немедленно оживлялось. Объ Осетіи они разсказывали чудеса. Какъ злой дядя за два абаза продалъ ихъ въ Кахетію, и какъ отецъ ночью обратно ихъ оттуда укралъ; какъ у отца ихъ была неприступная крѣпость, изъ которой онъ дѣлалъ на русскихъ набѣги; какой удивительный росъ у нихъ виноградъ; какіе вкусные чуреки дѣлала ихъ мать; какъ прекраснъ Казбекъ при восходѣ солнца и проч., и проч. Словомъ сказать, объясняли все, что̀ можно было почерпнуть изъ производившихъ тогда фуроръ повѣстей Марлинскаго. И въ доказательство своего подлинно-осетинскаго происхожденія затягивали пѣсню, въ которой слышались только гортанные звуки: га-го-ги! но которая заставляла ихъ заливаться горькими-горькими слезами.

Вообще Тамерланцевы имѣли то свойство, что коль скоро проникали въ какой-нибудь домъ, то незамѣтно дѣлались въ немъ своими людьми. Они умѣли побалагурить съ лакеями, перемигнуться съ горничными, привлечь на свою сторону дѣтей и такъ убѣдительно просили хозяевъ не церемониться съ ними и не безпокоиться ихъ присутствіемъ, что тѣмъ оставалось только махнуть рукою. Въ самое короткое время, хотѣли или не хотѣли хозяева, они утверждались въ домѣ самымъ прочнымъ образомъ. Лакеи, чутьемъ заслышавъ приближающійся экипажъ, бросались къ подъѣзду и наперерывъ провозглашали: „пожалуйте-съ! господа только-что за столъ сѣли-съ!“, или: „пожалуйте-съ! господъ дома нѣтъ, да они сейчасъ будутъ-съ!“ И начинали суетиться, готовить закуску, словно принимали самыхъ

близкихъ родныхъ. Горничныя просовывали въ дверь головы, въ ожиданіи щипка или поцѣлуя. Дѣти съ гикомъ и гамомъ устремлялись на встрѣчу, вооруженные свистульками, гремушками и трещетками. Даже поваръ—и тотъ говорилъ: „сегодня у насъ молодые господа будутъ обѣдать“—и требовалъ отъ экономки усиленной пропорціи сахару, яицъ и масла. Хозяева, обольщенные пріятными манерами и услужливостью братьевъ, сначала тоже были внѣ себя; когда же потомъ начинали изыскивать способы, какимъ бы образомъ избавиться отъ ихъ вездѣсущія, то было уже поздно. Тамерланцевы уже крѣпко держались на всѣхъ пунктахъ, и едва появлялись передъ ними недоумѣвающія лица хозяевъ, какъ они самымъ любезнымъ образомъ восклицали:

— Евдокимъ Григорьичъ! Анна Павловна! не церемоньтесь съ нами! пожалуйста, занимайтесь вашими дѣлами! Мы здѣсь съ дѣтьми. Кирюша! Параша! Вѣдь мы поѣдемъ сегодня въ Москву? А? вотъ такъ: туру-ту-ту... га! въ Москву поѣхали!

И Евдокимъ Григорьичъ отправлялся въ кабинетъ, плюнувъ и говоря Аннѣ Павловнѣ:

— Нѣтъ ужъ, матушка, ты сама! Сама пріучила этихъ эѳіоповъ —сама. какъ хочешь, и раздѣлывайся съ ними.

Нельзя сказать, чтобъ это было съ ихъ стороны предумышленно. Скорѣе всего, они безсознательно стремились всюду, гдѣ можно было что-нибудь урвать или урѣзать, и вообще имѣли такъ-называемый чортовъ инстинктъ. Всякій очень скоро убѣждался, что братья глупы, и что, слѣдовательно, искать въ ихъ дѣйствіяхъ какого-нибудь злого умысла —нѣтъ повода; но всякій въ то же время ощущалъ, что десятки самыхъ злыхъ озорниковъ не въ состояніи были бы привести человѣка въ такое беззащитное положеніе. въ какое приводили эти два безсознательныхъ и безконечно покладистыхъ шалопая.

Нина Иракліевна почти испугалась, когда ей доложили, что ее желаютъ видѣть князья Тамерланцевы.

— Тети-Машины дѣти!—воскликнула она въ недоумѣніи, но тутъ же, не потерявъ присутствія духа, обратилась къ Менандру Семеновичу и прибавила:—ради Христа, не давай ты имъ денегъ!

Свиданіе произошло: Велентьевы были сдержанны; кузены предупредительны и нѣжны.

— Въ государственной службѣ, господа, состоите? — спрашивалъ Менандръ Семеновичъ.

— Нѣтъ, братецъ, способностей не имѣемъ,—скромно отвѣчали братья.

— Ну, способности тутъ не Богъ-знаетъ какія требуются!

Братья посидѣли, раскланялись и уѣхали; затѣмъ въ теченіе недѣли они еще два раза навѣстили Велентьевыхъ и каждый разъ называли Нину Иракліевну „belle cousine“, увѣряли, что она вполнѣ сохранила тамерланцевскій типъ, и такъ крѣпко и часто цѣловали у нея ручки, что она невольно конфузилась и жалась. Порфишѣ (ему минуло въ то время одиннадцать лѣтъ) они на другой же разъ подарили книжку съ картинками, такъ что не пригласить ихъ обѣдать было уже совѣстно. Затѣмъ, хотя послѣ обѣда Тамерланцевы и попросили у Менандра Семеновича денегъ взаймы, но, получивъ отказъ, не только не обидѣлись, но очень любезно воскликнули:

— Братецъ, забудьте! пусть денежные разсчеты не разстраиваютъ нашихъ родственныхъ отношеній! Забудьте! намъ не нужно денегъ! мы не просили ихъ!

Словомъ сказать, съ Велентьевыми повторилась та же исторія, что и съ другими. Какъ ни чутко держали они себя относительно братьевъ, но устоять противъ естественнаго теченія обстоятельствъ не могли. Постепенно учащая свои визиты, они каждый разъ умѣли чѣмъ-нибудь подслужиться: Нинѣ Иракліевнѣ подарили настоящій персидскій коверъ, Порфишѣ навезли цѣлый ворохъ игрушекъ, наконецъ у Менандра Семеновича попросили позволенія осмотрѣть его лошадей, нашли у одной изъ нихъ подсѣдъ и дали такой мази, отъ которой въ два дня подсѣда какъ не бывало.

— Совсѣмъ было-думалъ продать лошадь! — говорилъ Велентьевъ:—а теперь опять хоть куда! Благодарю!

— Вы, братецъ, насчетъ лошадей, пожалуйста, ни къ кому не обращайтесь!—упрашивали Тамерланцевы:—у насъ теперь на примѣтѣ одна пара есть... ахъ, какая это пара!

И дѣйствительно, почти за безцѣнокъ сосватали Велентьеву такую пару, что самъ инспекторъ врачебной управы, вкупѣ съ отставнымъ кавалерійскимъ полковникомъ, какъ ни осматривали животныхъ, не могли найти въ нихъ ни одного порока.

Но сомнѣніе уже мучило Менандра Семеновича, и по временамъ онъ выражалъ его довольно энергично.

— И чортъ ихъ знаетъ, что̀ за народъ такой! — разсуждалъ онъ самъ съ собою:—цыгане не цыгане, венгерцы не венгерцы, шулера не шулера... иностранцы какіе-то!

И онъ на всякій случай пробовалъ, достаточно ли крѣпко заперты ящики его письменнаго стола, и удостовѣрившись, что крѣпко, отправлялся на половину къ Нинѣ Иракліевнѣ.

— Да полно, братцы ли они тебѣ?—спрашивалъ онъ ее.

— Тетп-Машины дѣти-то! неужто жъ я не знаю!

— И все-таки ты бы запирала! Эти братцы... право, ужъ и не знаю!

Мало-по-малу Тамерланцевы пріобрѣли дружбу лакеевъ и горничныхъ, а въ особенности полное довѣріе Порфиши. Тогда они ужъ безъ церемоніи стали таскаться и завтракать, и обѣдать. Сидитъ Менандръ Семеновичъ въ кабинетѣ и деньги считаетъ—глядь, братцы пріѣхали! Въ залѣ бѣготня, пѣніе, стукъ, трескъ; Азаматъ учитъ Порфишу лезгинку танцовать, Амалатъ аккомпанируетъ на фортепьяно и выкрикиваетъ: „га-го-ги!“ Лакей бѣгаетъ изъ столовой въ буфетную и обратно, стучитъ тарелками, ножами и готовитъ закуску. Менандръ Семеновичъ нѣкоторое время терпитъ и старается разрѣшить себѣ задачу: „два да пять сколько будетъ?“—но сколько онъ ни прокладываетъ на счетахъ—все выходитъ или однимъ рублемъ больше, или однимъ рублемъ меньше. Наконецъ онъ, какъ ужаленный, вбѣгаетъ въ буфетную.

— Тебѣ кто велѣлъ?—накидывается онъ на лакея, поспѣшающаго съ подносомъ въ рукахъ въ столовую.

— Какъ-же-съ, вѣдь братцы-съ!—отвѣчаетъ лакей, очевидно даже изумленный, что ему могъ быть предложенъ такой странный вопросъ.

Менандръ Семеновичъ краснѣетъ, покрякиваетъ и уже не настаиваетъ больше. Онъ съ грустною покорностью снимаетъ съ себя халатъ, надѣваетъ домашній казинетовый казакинъ и отправляется въ столовую, предварительно удостовѣрившись, что всѣ ящики заперты и все въ кабинетѣ цѣло.

А братцы уже спѣшатъ къ нему на встрѣчу и въ одинъ голосъ восклицаютъ:

— Братецъ, напрасно безпокоитесь! Мы здѣсь съ Порфишей!

Но Менандръ Семеновичъ уже чувствуетъ, что утро у него отравлено, и что гдѣ бы онъ ни былъ, въ столовой ли, въ кабинетѣ ли, мысль о „братцахъ“ вездѣ будетъ его преслѣдовать. Поэтому онъ усаживается за столъ и принимаетъ геройское рѣшеніе занимать братцевъ.

— Я говорю: вы бы, господа, въ государственную службу шли! —начинаетъ онъ, краснѣя и самъ не зная, о чемъ собственно онъ ведетъ рѣчь.

— Способности, братецъ, не имѣемъ.

— А вы бы принудили себя!

— Старались, братецъ, да ничего не вышло.

— Гм... странно это!

Молчаніе.

— Да вы, братецъ, напрасно себя безпокоите! Мы здѣсь вотъ съ Порфишей, а не то, немного погодя, къ кузинѣ Ниночкѣ пройдемъ!—опять начинаютъ братцы.

— Нина Ракліевна занята. Я тоже. Признаться, я даже не понимаю, какъ можно безъ занятій жить! — говоритъ Менандръ Семеновичъ, уже не скрывая своихъ недоумѣній.

Но братцы какъ бы забавляются этими недоумѣніями.

— Мы, братецъ, тоже занимаемся,—отвѣчаютъ они: —только занятія у насъ кратковременныя. Вотъ и сегодня утромъ пару лошадей присмотрѣли... ахъ, какая это пара!

— Какое ужъ это занятіе—лошади!

Тщетно все. Какъ ни старался Валентьевъ выжить братцевъ—они словно приросли. Въ домѣ все цѣло; денегъ въ другой разъ не просятъ—а между тѣмъ, какъ ни посмотришь, все тутъ. Иногда онъ даже желалъ, чтобъ они что-нибудь украли (разумѣется, не весьма цѣнное), лишь бы безъ шума отдѣлаться отъ нихъ.

— Я, сударыня, съума скоро сойду!—жаловался онъ женѣ.— Выйти изъ кабинета нельзя: одинъ въ залѣ съ Порфишей, другой въ корридорѣ съ Агашкой шушукается. Сведетъ онъ ее у насъ!

— А коли сведетъ, такъ и купитъ. По мнѣ, ежели хорошую цѣну дастъ... и Богъ съ ними!

А братцы между тѣмъ забрали уже себѣ въ голову, что Порфиша года черезъ четыре будетъ гусарскимъ юнкеромъ, и что, слѣ-

довательно, имѣются въ перспективѣ векселя подъ вѣрное обезпеченіе смерти любезнѣйшихъ родителей. Какъ ни отдаленны были эти надежды, но какъ другого дѣла покамѣстъ у нихъ не было, то прирученіе Порфиши представлялось цѣлью очень привлекательною и даже практическою...

Съ своей стороны, Порфиша очень хорошо понялъ дяденекъ. Онъ угадалъ въ нихъ присутствіе именно того элемента легкомыслія, перемѣшаннаго съ жульничествомъ, котораго ему недоставало и безъ котораго истинный финансистъ все равно, что тѣло безъ души. Онъ видѣлъ, что дяденьки всегда свободны, беззаботны и веселы; что они ничѣмъ не занимаются, а между тѣмъ бросаютъ деньгами, какъ щепками; что у нихъ во всякое время—неистощимый запасъ игръ, выдумокъ и фокусовъ. Все это вмѣстѣ взятое произвело на него подавляющее впечатлѣніе, и въ самое короткое время онъ до такой степени страстно прилѣпился къ дяденькамъ, что даже пересталъ слѣдить за финансовыми операціями родителей.

Первый сдѣланный передъ нимъ фокусъ особенно его поразилъ. Дядя Амалатъ вынулъ изъ кармана золотой и показалъ его Порфишѣ.

— Видѣлъ?—спросилъ онъ его.

— Видѣлъ.

Амалатъ положилъ золотой на ладонь и зажалъ его въ кулакъ.

— Видѣлъ? тутъ золотой? — спросилъ онъ опять, разжимая кулакъ и вновь сжимая его.

— Тутъ.

— Ну, теперь смотри!

Амалатъ сдѣлалъ рукой движеніе, но до такой степени быстрое, что Порфиша могъ только замѣтить, что у него что-то мелькнуло въ глазахъ. Потомъ Амалатъ разжалъ кулакъ и показалъ Порфишѣ пустую ладонь.

— Клацъ! гдѣ золотой?

Порфиша вытаращилъ глаза и машинально повторилъ:

— Гдѣ золотой?

— Ну, теперь обыскивай меня: если сыщешь—твой золотой!

Но сколько Порфиша ни искалъ—золотого нигдѣ не оказалось. Тогда Амалатъ повторилъ свой фокусъ наоборотъ, то-есть показалъ, какъ въ пустыхъ рукахъ—клацъ!—вдругъ оказалось по два золотыхъ.

— Дяденька!—захлебывающимся голосомъ простоналъ Порфиша.

Въ другой разъ на сцену выступилъ Азаматъ и изобразилъ штуку еще почище, а именно: взялъ колоду картъ и показалъ ее Порфишѣ.

— Видѣлъ? Вся колода картъ тутъ?

— Вся.

— Теперь сказывай, какую ты карту хочешь?

— Двойку пикъ.

Клацъ!—Азаматъ выбросилъ двойку пикъ.

— Можетъ, ты еще двойку пикъ хочешь?

— Еще двойку пикъ хочу.

— Держись!

Клацъ!—Азаматъ опять выбросилъ двойку пикъ.

— Можетъ быть, ты и еще двойку пикъ хочешь?

Но Порфиша уже не отвѣчалъ, а только взглядывалъ на дяденьку съ разинутымъ ртомъ.

— Ты, можетъ быть, хочешь, чтобъ вся колода была изъ двоекъ пикъ? смотри!

И Азаматъ одну за другой сталъ кидать двойки пикъ. Это до того поразило Порфишу, что онъ заплакалъ, какъ бы обидѣвшись, что дяденьки смѣются надъ нимъ.

— Погоди, мы еще не то тебѣ покажемъ!—утѣшали его братья Тамерланцевы.

Когда дяденьки ушли, Порфиша взялъ въ руки грошъ и старался произвести съ нимъ ту же эволюцію, какую Амалатъ производилъ съ золотымъ, но ничего изъ этого не вышло. Потомъ онъ попробовалъ то же самое сдѣлать наоборотъ, то-есть сжалъ пустые кулаки, махнулъ ими крестъ-на-крестъ въ воздухѣ,—сказалъ: „клацъ!“ —но и тутъ ничего не вышло.

— Дяденька!—приставалъ онъ:—покажите, какъ вы дѣлаете?

— Погоди! вотъ будешь большой—до всего дойдешь!

Слова эти глубоко запали въ душу Порфиши. Онъ повторялъ ихъ и старался угадать, что такое это „все“, до чего онъ со временемъ дойдетъ. Постепенно онъ сталъ задумываться и сдѣлался разсѣяннымъ. Процессъ созиданія, царствовавшій въ домѣ родителей, уже не удовлетворялъ его, тѣмъ болѣе, что дяденьки, по мѣрѣ ближайшаго

знакомства, начали открыто смѣяться надъ скопидомствомъ Менандра Семеновича.

— У твоего отца много денегъ?—спрашивалъ его Амалатъ.

— Много.

— А знаешь ли ты, какъ онъ деньги копитъ?

— Какъ?

— А вотъ какъ, смотри!

И Амалатъ клалъ на столъ золотой, накладывалъ на него другой, третій и т. д., причемъ пыхтѣлъ, покрякивалъ, пожимался и озирался кругомъ.

— Такъ?

Порфиша не отвѣчалъ, но ему и самому уже начинало казаться, что „такъ“.

— Ну, а мы вотъ какъ: сколько ты хочешь, чтобъ у меня было въ горсти золотыхъ?

— Двадцать!

— Эка хватилъ! Ну, держи руки, отсчитывай!

Дяденька дѣлалъ видъ, какъ будто ловилъ что-то руками въ воздухѣ, и затѣмъ отчеканивалъ монету за монетой до двадцати.

Нина Иракліевна первая замѣтила, что Порфиша задумывается, начинаетъ любить уединеніе, шевелитъ губами, какъ бы разговаривая самъ съ собой, дѣлаетъ какія-то странныя движенія руками, то сжимаетъ кулаки, то разжимаетъ ихъ.

— Не боленъ ли ты, мой другъ?—спросила она однажды сына.

— Нѣтъ, здоровъ.

— Что же ты ходишь точно растерянный?

Порфиша остановился и показалъ мамашѣ руки.

— Вы это видѣли?

Нина Иракліевна съ изумленіемъ смотрѣла, какъ онъ растянулъ руки на подобіе фокусника, потомъ быстро махнулъ ими крестъ-накрестъ и сказалъ:

— Видѣли, что ничего не было? Теперь смотрите! Клацъ! Видите?

— Что видѣть-то! Разжалъ пустые кулаки—только и всего!

— Ничего вы не понимаете! Вы только и умѣете, что копѣйку къ копѣйкѣ прижимать, а я вотъ—клацъ!—сколько захочу денегъ, столько и будетъ!

Нина Иракліевна безпокойно взглянула ему въ глаза.

— Это все Амалатка съ Азаматкой! —процѣдила она.

Въ этотъ же день, послѣ обѣда, Порфиша былъ призванъ на аудіенцію къ отцу.

— Какое ты давеча слово мамашѣ сказалъ? — спросилъ Меандръ Семеновичъ.

Но Порфиша не только не струсилъ, но отвѣчалъ даже дерзко:

— Какое слово? Клацъ! вотъ какое слово!

— Что же оно означаетъ?

— А вотъ что!

Порфиша вытянулъ обѣ руки, сжалъ кулаки, встряхнулъ ими и сказалъ отцу:

— Клацъ! видѣли? Сколько захочу денегъ, столько и будетъ!

— Да-съ, это они! Это Мастрюковичи!—обратился Велентьевъ къ женѣ:—это они его фокусамъ обучаютъ!

Но какія ни принимали Велентьевы мѣры, чтобъ устранить вліяніе дяденекъ, все было напрасно. Тамерланцевымъ было отказано отъ дому, но домашніе такъ полюбили ихъ, что нисколько не мѣшали Порфишѣ бѣгать къ дяденькамъ послѣ обѣда, когда папаша и мамаша почивали отъ трудовъ. Однажды, прибѣжавъ къ нимъ, онъ засталъ въ ихъ квартирѣ что-то не совсѣмъ обыкновенное.

Единственная пріемная комната была полна народомъ; на столѣ, около печки, красовалась закуска и нѣсколько наполовину опорожненныхъ бутылокъ и штофовъ; облака дыма выѣдали глаза. Дядя Азаматъ сидѣлъ за большимъ зеленымъ столомъ и металъ; дядя Амалатъ помѣщался сбоку и распоряжался кассой. Кругомъ стола сидѣли неизвѣстныя личности въ мундирныхъ сюртукахъ, венгеркахъ и казакинахъ; передъ каждымъ лежали игранныя колоды картъ, изъ которыхъ они съ нервнымъ движеніемъ вытаскивали то одну, то другую карту и клали на столъ. Тамъ и сямъ виднѣлись столбики золота, которое не считали, а передавали изъ рукъ въ руки кучками, какъ бы на глазомѣръ. На пальцахъ рукъ обоихъ братьевъ сверкали перстни. Порфиша, не ожидавшій такого зрѣлища, остановился.

— Ва-банкъ! —крикнулъ кто-то въ ту самую минуту, какъ онъ вошелъ.

Руки у дяди Азамата чуть дрогнули; но Амалатъ такъ ясно сверкнулъ въ его сторону глазами, что банкометъ тотчасъ же овладѣлъ собой и передернулъ столь чисто, что извѣстный шулеръ,

маіоръ Бѣлокопытовъ, присутствовавшій тутъ же и понтировавшій только для виду, крякнулъ отъ наслажденія.

Игра кончилась. Порфиша видѣлъ, какъ груды золота перешли въ руки дяденекъ, и посмотрѣлъ на нихъ почти съ благоговѣніемъ.

— Видишь?—сказалъ ему Азаматъ, когда разошлись гости:— а твой отецъ еще говоритъ, что мы только гранимъ мостовую. Можетъ ли онъ въ цѣлый вѣкъ столько денегъ добыть, сколько мы въ одинъ часъ добыли!

— Дяденька! какъ вы это дѣлаете?

— Нѣтъ, братъ, тебѣ еще рано. Выростешь — самъ до всего дойдешь. Главное, чтобъ охота была, а умѣнье придетъ само собою!

Такъ длилось до тѣхъ поръ, пока Амалатъ не получилъ, наконецъ, такъ-называемую „непріятность“, вслѣдствіе которой братья вынуждены были оставить Семозерскъ и искать убѣжища въ другомъ городѣ.

Разсчеты Тамерланцевыхъ на Порфишу не оправдались. Онъ не сдѣлался ни игрокомъ, ни фокусникомъ, ни гусаромъ. Тѣмъ не менѣе, общество дяденекъ оказало на его будущее дѣйствіе гораздо болѣе рѣшительное, нежели даже примѣръ родителей. Если послѣдніе познакомили его съ наружнымъ видомъ денежныхъ знаковъ и заронили въ его душу первую мысль о созиданіи, то первые доказали во-очію, что перлъ созданія—это созданіе изъ ничего. Тамерланцевы исчезли безслѣдно, но уроки ихъ неизгладимыми чертами врѣзались въ чуткой душѣ Порфиши. Въ той суммѣ впечатлѣній, которыя даются человѣку дѣтствомъ, примѣры внѣшней ловкости и быстроты всегда представляютъ очень компактный и характерный слой. По удаленіи дяденекъ Порфиша сдѣлался скученъ и долгое время машинально дѣлалъ быстрыя движенія руками, сжималъ и разжималъ пустые кулаки и тщательно разсматривалъ, не окажется ли тамъ червонца. Повидимому, это были движенія безсмысленныя и ненужныя, но будущее доказало, что они были необходимы и вполнѣ умѣстны, ибо служили какъ бы смутнымъ прообразованіемъ тѣхъ пріемовъ, которые должны были впослѣдствіи составить его славу, какъ финансиста.

Червонцевъ не оказалось, но вмѣсто нихъ—кляцъ!—неслышно и незримо уже зрѣлъ въ его душѣ проектъ объ изготовленіи дешевой и долгосохраняемой колбасы.

Формальное воспитаніе между тѣмъ шло своимъ чередомъ. Хотя нельзя было сказать, чтобъ Порфиша питалъ особенную страсть къ наукамъ, тѣмъ не менѣе, до знакомства съ дяденьками, дѣло образованія ума и сердца кое-какъ шло. Нѣкоторыми предметами онъ болѣе или менѣе интересовался, а математику даже полюбилъ настолько, что съ самозабвеніемъ принялся извлекать квадратные корни, какъ только этотъ математическій пріемъ былъ ему показанъ. Но съ тѣхъ поръ, какъ явились дяденьки и на первый разъ объяснили ему задачу: „летѣло стадо гусей“, онъ постепенно дѣлался все разсѣяннѣе и разсѣяннѣе. Все простое, все, что̀ могло быть рѣшено наглядным образомъ, опротивѣло ему. Мысль неудержимо влеклась къ неизвѣстному, сложному и до такой степени необыкновенному, что только чудо, въ родѣ щучьяго велѣнія, могло освободить его отъ сѣтей, въ которыхъ путалось его воображеніе. Еслибъ въ то время кто-нибудь шепнулъ ему о квадратурѣ круга или о непрерывномъ движеніи, онъ навѣрное со всѣмъ пыломъ юношеской горячности увлекся бы этими задачами и сталъ бы съ утра до вечера вертѣться около нихъ, какъ бѣлка въ колесѣ. Но, увы! у него даже этого ограниченія не было, а было только одно магическое слово: „кланъ!“, за которымъ открывалась пустая и бездонная пропасть. Въ этой безднѣ, среди цѣлаго міра чудесъ, свободно парило воображеніе, питая само себя и гадливо отвращаясь отъ всего, что̀ напоминало о дѣйствительности. Понятно, что при такомъ болѣзненномъ настроеніи умственныхъ силъ Порфишѣ было уже не до квадратныхъ корней, которыми пичкалъ его Менандръ Семеновичъ.

На четырнадцатомъ году Порфишу отдали въ одно изъ аристократическихъ заведеній Петербурга, едва-ли не въ то же самое, въ которомъ воспитывался и Коля Персіяновъ. Выборъ этого заведенія Менандръ Семеновичъ слѣдующимъ образомъ формулировалъ въ письмѣ къ княгинѣ Ферлакуръ: „Вы знаете, добрѣйшая моя благодѣтельница,—писалъ онъ ей,—что я не аристократъ по происхожденію. Хотя и отецъ мой, и дѣды, въ теченіе, можетъ быть, многихъ столѣтій, возносили Подателю всѣхъ благъ молитву о *принесеніи честныхъ дарѣ*, но вѣдь молитва въ заслугу у насъ не принимается: слѣдовательно, еслибъ я даже могъ доказать, что происхожу по прямой линіи отъ Аарона, то и тогда никто бы меня за аристократа не счелъ. Но аристократія любезна моему сердцу потому, что

назначеніе ея—вливать въ государственный организмъ возвышенный духъ. Аристократія полезна даже и въ томъ случаѣ, если она ничего дѣйствительно полезнаго не совершаетъ. Она полезна потому, что она есть. Вспомните, *чѣмъ* я былъ до поступленія въ вашъ почтеннѣйшій домъ, и *что* сдѣлали изъ меня вы! Вотъ почему я желалъ бы, чтобъ мой Порфирій былъ съ дѣтскихъ лѣтъ окруженъ юношами благородныхъ фамилій. Черезъ сношеніе съ ними онъ получитъ возвышенныя чувства, которыя при томъ же, будучи по матери потомкомъ древняго рода князей Крикулидзевыхъ, онъ и отъ природы весьма склоненъ имѣть. Въ особенности было бы хорошо, еслибъ онъ сіи чувства могъ пріобрѣтать на казенный счетъ, къ устройству чего вы, моя незабвенная благодѣтельница, всеконечно, имѣете всѣ пути".

Порфиша былъ принятъ, но въ заведеніи участь его была не изъ самыхъ завидныхъ. Во-первыхъ, товарищи скоро узнали, что отецъ его происходитъ изъ духовнаго званія и, къ довершенію всего, служитъ совѣтникомъ питейнаго отдѣленія, тогда какъ ихъ отцы были не только сами егермейстеры, но и дѣти дѣтей егермейстерскихъ. Поэтому они начали явно выказывать ему чувство гадливости, которое было тѣмъ тягостнѣе, что сопровождалось приставаніями и весьма недвусмысленною назойливостью. Одни, проходя мимо него въ саду, снимали фуражки и крестились; другіе дѣлали видъ, что кадятъ; третьи—показывали рукой хапанца, какъ эмблему питейнаго отдѣленія; четвертые, наконецъ, рисовали хапанца на бумагѣ и утверждали, что это гербъ рода Велентьевыхъ. Во-вторыхъ, княгиня Ферлакуръ, выхлопотавши помѣщеніе Порфиши въ заведеніе на казенный счетъ, этимъ и ограничила свои попеченія о немъ. Въ это время ей было не до Велентьевыхъ, потому что ее занималъ вопросъ о возсоединеніи латышей, съ которыми была тѣсно связана личность генерала Толоконникова.

Такимъ образомъ, Порфиша росъ въ заведеніи одинокій и забытый. По праздникамъ товарищи разъѣзжались по домамъ, ѣздили на лихачахъ, лакомились въ кондитерскихъ и ресторанахъ, а онъ сидѣлъ въ заведеніи, ѣлъ говядину подъ краснымъ соусомъ, давился суконными пирогами и выслушивалъ сарказмы гувернера, которому тоже до смерти опостылѣли стѣны заведенія и который охотно промѣнялъ бы ихъ на стѣны ресторана Доминика, гдѣ есть бильярдъ, домино и т. д.

— Mais, malheureux jeune homme!—укорялъ его мосьё Петанлеръ:—vous n'avez donc ni père, ni mère, ni parents, personne qui puisse vous abriter! Ah! c'est singulier!

— Personne, monsieur,—угрюмо отвѣтствовалъ Порфиша и съ какимъ-то нервнымъ нетерпѣніемъ выслушивалъ вечеромъ разсказы товарищей о томъ, сколько они съѣли, въ теченіе дня, пирожковъ и порцій мороженаго, въ какой кондитерской дѣлаются лучшія конфекты и у какого извозчика лучше бѣжитъ рысакъ.

Это одиночество еще сильнѣе развило въ Порфишѣ ту мечтательную сосредоточенность, начало которой было положено еще дома педагогическими откровеніями дяденекъ. Съ нетерпѣніемъ ждалъ онъ рекреаціонныхъ часовъ, которые позволяли ему быть въ сторонѣ отъ товарищеской сутолоки, и какъ только звонокъ возвѣщалъ окончаніе класса—удалялся въ садъ, бродилъ по аллеямъ или садился на дерновую скамейку и мечталъ. Передъ нимъ проносился весь процессъ созданія, видѣнный въ дѣтствѣ: столбики золота, бумажки новыя (папашины), бумажки старыя (мамашины), мужики, запахъ дегтя, тальки, овчины, сушеные грибы... И вдругъ—клацъ! — вся эта обстановка исчезала, но исчезала лишь на минуту, для того, чтобы—клацъ!—появиться вновь, но уже не въ рукахъ папаши съ мамашей, а въ рукахъ дяденекъ, которыя онъ сейчасъ только видѣлъ пустыми. Вообще, какъ только появлялись на сцену дяденьки, видѣнія шли за видѣніями, цѣлыми вереницами, и принимали самый фантастическій характеръ...

Не успѣлъ совсѣмъ стихнуть звонокъ, какъ уже воображеніе Порфиши работаетъ. Онъ видитъ себя заблудившимся въ лѣсу. Онъ бродитъ, выбивается изъ силъ, молится, плачетъ — все тщетно! Вдругъ, словно изъ земли, выростаетъ передъ нимъ старикъ и подаетъ червонецъ. Вручая червонецъ, старикъ говоритъ: „ты можешь размѣнивать его сколько угодно, онъ всегда будетъ у тебя цѣлъ". Вотъ тема, за которую хватается фантазія и по поводу которой тотчасъ же начинаетъ рисовать самыя разнообразныя практическія примѣненія. И лѣсъ, и старикъ—исчезаютъ; остается только волшебный червонецъ. Порфиша мысленно отправляется съ нимъ въ кондитерскую, покупаетъ пять пирожковъ и получаетъ два рубля семьдесятъ-пять копѣекъ сдачи. А червонецъ тутъ-какъ-тутъ. Потомъ онъ отправляется въ овощную лавку, покупаетъ пятокъ яблокъ и

получаетъ сдачи два рубля девяносто копѣекъ. Червонецъ опять тутъ-какъ-тутъ. Потомъ онъ идетъ въ гостинницу, съѣдаетъ бифштексъ, оттуда опять въ кондитерскую, гдѣ ѣстъ порцію мороженаго, вездѣ получаетъ сдачу и вездѣ удостовѣряется, что драгоцѣнный червонецъ неприкосновенъ. Въ этихъ мысленныхъ экскурсіяхъ застаетъ Порфишу звонокъ; онъ медленно идетъ въ классъ, но и тамъ, за урокомъ, начатая работа мысли не прекращается. Онъ складываетъ, умножаетъ, повѣряетъ и получаетъ проценты...

Тогда фантазія начинаетъ другой сонъ, другую сказочную легенду.

Передъ Порфишей—прыгающая лягушка, за которою онъ гонится и которую тщетно старается убить. Вотъ онъ уже настигаетъ ее, вотъ настигъ, какъ вдругъ—клацъ!—передъ нимъ ужъ не лягушка, а древняя сморщенная старуха, которая говоритъ ему: „тутъ, подъ этой старой липой, лежитъ несмѣтный кладъ; разбойникъ Кудеяръ зарылъ котелъ съ золотыми деньгами и посадилъ эту самую липу“. Сказавши это, старуха исчезаетъ, а фантазія Порфиши цѣпко хватается за новую тему и начинаетъ по ея поводу новый процессъ созиданія. Что кладъ будетъ въ рукахъ Порфиши—это не можетъ подлежать сомнѣнію. Съ этою цѣлью онъ встаетъ по ночамъ, неслышными шагами пробирается мимо дремлющаго дядьки, отпираетъ наружную дверь и, вооруженный заступомъ, выходитъ въ садъ. Аллеи длинны и темны; кругомъ—тишина и загадочность; издали, въ формѣ неопредѣленнаго шороха, то возрастающаго, то смолкающаго, доносится шумъ неусыпающаго города. Но Порфиша не останавливается передъ приливами и отливами городского шума. Онъ спѣшитъ къ цѣли и начинаетъ рыть. Онъ одинъ выполнитъ эту трудную задачу, потому что ни съ кѣмъ не хочетъ раздѣлить свою добычу. Не то чтобы онъ былъ безгранично жаденъ, но ему улыбается мысль, что вдругъ—клацъ!—и онъ обладатель милліоновъ. Однако что-то ужъ звякнуло... это онъ! это котелъ съ имперіалами! Порфиша судорожно вскрываетъ крышку, черпаетъ, черпаетъ; но болѣе пуда золота за-разъ унести не можетъ. Сколько золотыхъ въ пудѣ? Сколько составитъ это въ переводѣ на кредитные рубли? Опять звонокъ, опять классъ. Учитель латинскаго языка тщетно допрашиваетъ Порфишу объ исключеніяхъ на is. „Amnis, anguis, axis“, бормочетъ Порфиша и окончательно становится въ тупикъ. Коли хотите, онъ знаетъ и

дальше: calis, canalis и проч., но онъ не о томъ думаетъ. Онъ видитъ передъ собою другую безлунную ночь, потомъ третью, четвертую и такъ далѣе, пока воображеніе вновь не запутывается въ собственныхъ тенетахъ.

Ученье шло туго, несмотря на то, что Порфиша уже дома зналъ гораздо больше того, что̀ требовалось въ томъ классѣ заведенія, въ который онъ поступилъ. Постоянно живя въ обществѣ призраковъ, онъ сдѣлался разсѣянъ, впалъ въ полудремотное состояніе. Это повліяло и на его поведеніе или, лучше сказать, на тѣ отмѣтки, которыми въ заведеніи выражалась степень внѣшняго благочинія воспитанниковъ. Онъ былъ тихъ и смиренъ, никогда не повѣничалъ, не приставалъ, не грубилъ, но начальствующимъ почему-то казалось, что въ сердцѣ этого мальчика свилъ гнѣздо порокъ. Французъ-гувернеръ называлъ его не иначе, какъ „malheureux jeune homme“; гувернеръ-нѣмецъ утверждалъ, что спасти злосчастнаго юношу можетъ только одинъ педагогическій пріемъ, а именно пріемъ, носящій спеціальное наименованіе „внезапно данной пощечины“.

Съ родителями Порфиша видѣлся только лѣтомъ, во время каникулъ. Но и къ нимъ онъ поставилъ себя въ какія-то странныя, натянутыя отношенія. Пріѣзжая въ Семиозерскъ, онъ заставалъ въ родительскомъ домѣ тотъ же процессъ простого созиданія, которому онъ былъ свидѣтелемъ и до поступленія въ заведеніе. По старому отецъ запирался каждое утро въ кабинетѣ, щелкалъ на счетахъ и по истеченіи урочнаго времени выходилъ изъ своего заключенія весь красный, какъ бы стыдящійся. По прежнему мать спекулировала мужикомъ, спорила, торговалась и въ концѣ трудового дня укладывала въ пачки замасленные кредитные билеты. Но послѣ тѣхъ сновъ наяву, которые постоянно пропосились передъ Порфишей,—сновъ съ кладами, неразмѣнными червонцами, разрывъ-травами и проч.,—это кропотливое копѣечное созиданіе не могло не показаться ему просто жалкимъ.

— А вы по прежнему копѣечку къ копѣечкѣ прижимаете-съ?—спросилъ онъ мать въ первый же разъ, какъ увидѣлся съ ней послѣ годовой разлуки.

Въ первую минуту Нина Прокофьевна приняла эти слова за шутку; но тонъ, которымъ они были сказаны, дышалъ такой нес-

мѣшной язвительностью, что она вдругъ догадалась и словно замерла съ пачкой кредитныхъ билетовъ въ рукахъ.

— Курочки-съ! талечки-съ! грибки-съ!—продолжалъ между тѣмъ Порфиша, отчетливо отчеканивая каждое слово.

Нина Пракліевна переполошилась не на шутку.

— Да ты что это, щенокъ, говоришь?—крикнула она на него почти испуганно.

Но Порфиша не сконфузился даже передъ этимъ восклицаніемъ. Нѣкоторое время онъ исподлобья, съ идіотскою ироніей, взглядывалъ на мать, шевелилъ губами и дѣлалъ видъ, что едва удерживается отъ смѣха. Наконецъ всталъ и, удаляясь изъ комнаты, произнесъ:

— Продолжайте-съ! Что-же-съ! Талечки-съ! грибочки-съ! овчинки-съ! Похвально-съ!

Вслѣдъ затѣмъ подобное же недоразумѣніе произошло у Порфиши и съ отцомъ. Однажды Менандръ Семеновичъ стоялъ въ передней и провожалъ дорогого гостя, то-есть откупщика, который только-что вручилъ „слѣдуемое по положенію“.

— Напрасно безпокоились!—говорилъ Менандръ Семеновичъ.

— Помилуйте-съ! Не я, а положеніе-съ... святое дѣло!—расшаркивался откупщикъ.

— Положеніе—это такъ; а все-таки...—настаивалъ Менандръ Семеновичъ.

— Совсѣмъ не „все-таки“, а просто положеніе—и больше ничего!

И т. д.

На эту-то сцену, Богъ вѣсть откуда, нагрянулъ Порфиша. Но вмѣсто того, чтобъ расшаркаться передъ откупщикомъ и пожать ему руку, онъ пробѣжалъ мимо, какъ-то странно при этомъ хихикнувъ, и вполголоса, но такъ, что всѣ слышали, произнесъ:

— Взяточки-съ!

Словомъ сказать, и въ школѣ, и дома, благодаря педагогическому вліянію дяденекъ, Порфиша поставилъ себя особнякомъ. И Богъ знаетъ, куда привелъ бы его этотъ финансовый идеализмъ, еслибъ не случилось обстоятельство, которое разомъ возвратило его къ чувству дѣйствительности.

Съ переходомъ въ старшій курсъ умственныя силы Порфиши

вдругъ пробудились снова. Совершилось нѣчто чудесное, но чудо было вполнѣ достойно той науки, которая его произвела. Наука эта называлась „политической экономіей" и преподавалась воспитанникамъ заведенія какъ вѣнецъ тѣхъ знаній, съ которыми они должны были явиться въ свѣтъ. Послѣ первыхъ же лекцій Порфиша вдругъ почувствовалъ себя свѣжимъ и бодрымъ. Ему показалось, что на него пахнуло чѣмъ-то знакомымъ, что то, о чемъ онъ когда-то мечталъ, уединившись въ саду, снова проходитъ передъ нимъ, но подъ другими, болѣе ясными формами: что онъ вновь находится въ обществѣ дяденекъ Амалата и Азамата, и что таинственное слово: „кланъ!" постепенно утрачиваетъ свою таинственность. Міръ чудесъ, къ которому онъ такъ страстно стремился, но который до сихъ поръ представлялся его мысли смутно и безпорядочно, вдругъ пріобрѣлъ необыкновенную выпуклость, почти осязаемость. Прежде его выручали фантастическія видѣнія, въ формѣ волшебницъ, волшебниковъ, кладовъ, неразмѣнныхъ червонцевъ—теперь ему подавала руку сама наука; прежде процессъ созиданія зависѣлъ отъ случайностей, которыя могли придти и не придти на помощь, смотря по тѣмъ ресурсамъ, которые представляла большая или меньшая напряженность воображенія—теперь передъ нимъ были всегда готовые и вполнѣ солидные куиштюки, которые, вдобавокъ, носили названіе политико-экономическихъ законовъ. Бредъ наяву продолжался, но это былъ уже бредъ серьезный, могущій, пожалуй, послужить матеріаломъ для любой докладной записки или для газетной передовой статьи.

Въ заведеніи, о которомъ идетъ рѣчь, преподавалась политическая экономія коротенькая. Законы, управляющіе міромъ промышленности и труда, излагались въ видѣ отдѣльныхъ разбросанныхъ группъ, изъ которыхъ каждая въ свою очередь представлялась уму въ формѣ дѣтской игры, эластичностью своей напоминающей нѣчто: коли любишь — прикажи, а не любишь — откажи. Вотъ милостивые государи, „спросъ": вотъ — „предложеніе": вотъ — „кредитъ" и т. д. Той подкладки, сквозь которую слышался бы трепетъ дѣйствительной, конкретной жизни, съ ея ликованіями и воплями, съ ея сытостью и голодомъ, съ ея излюбленными и обойденными — не было и въ поминѣ. Откуда явились и утвердились въ жизни всѣ эти хитросплетенія, которымъ присвоилось названіе законовъ? правильно ли присвоено это названіе, или неправильно? насколько они могутъ удовлетворять тре-

бованіямъ справедливости, присущей природѣ человѣка?—все это оставалось безъ разъясненія. Наука—пустой пузырь, съ наклеенными на немъ безсмысленными этикетами; жизнь—арена, въ которой регуляторомъ человѣческихъ дѣйствій является даже не борьба, а просто изворотливость, надувательство и бездѣльничество.

Порфишѣ эта коротенькая наука пришлась по нраву. Она была какъ бы продолженіемъ его дѣтскихъ сновъ, осуществленіемъ таинственнаго „кладъ!“, которое такъ долго смущало его воображеніе. Слова: „спросъ“, „предложеніе“, „кредитъ“, „ажіотажъ“, „акціонерныя компаніи“—не сходили у него съ языка. Онъ скоро сдѣлался любимѣйшимъ ученикомъ профессора и отвѣчалъ на всѣ вопросы такъ быстро и несмущенно, какъ будто отвѣты давно уже таились въ немъ, а теперь онъ отыскалъ лишь приличную форму для нихъ. Онъ понялъ науку не только въ ея общихъ законахъ и выводахъ, а въ самомъ дѣйствіи. Онъ чувствовалъ себя участникомъ этого дѣйствія и лично на самомъ дѣлѣ испытывалъ послѣдствія каждаго экономическаго закона. Игра въ „спросъ и предложеніе“ представляла цѣлую повѣсть, исполненную разнообразнѣйшихъ эпизодовъ; игра въ „кредитъ“ разросталась въ романъ; игра въ „ажіотажъ“ превращалась, по мѣрѣ своего развитія, въ безконечную поэму...

— Кредитъ,—толковалъ онъ Колѣ Персіянову:—это когда у тебя нѣтъ денегъ... понимаешь? Нѣтъ денегъ, вдругъ—кладъ!—онѣ есть!

— Однако, mon cher, если потребуютъ уплаты?—картавилъ Коля.

— Чудакъ! ты даже такой простой вещи не понимаешь! Надобно платить—ну. и опять кредитъ! Еще платить—еще кредитъ! Нынче всѣ государства такъ живутъ.

Коля удовлетворялся этимъ объясненіемъ, во-первыхъ, потому, что оно согласовалось съ практикой, которой слѣдовали его предки, а во-вторыхъ и потому, что оно отвѣчало его собственнымъ видамъ и пожеланіямъ. Что предстояло Колѣ въ будущемъ?—ему предстояла жизнь праздная, легкая и удобная. На „производство богатствъ“ онъ не расчитывалъ, на „накопленіе“ ихъ—и того менѣе. Изъ всѣхъ экономическихъ законовъ, о которыхъ гласила школа, на немъ отражался только законъ „распредѣленія богатствъ“—въ видѣ оброковъ. присылаемыхъ изъ деревень, да еще законъ „потребленія“

—въ формѣ пріобрѣтенія рысаковъ и производства всевозможныхъ кутежей. Но, увы! дѣйствіе закона потребленія давало себя знать всегда какъ-то сильнѣе, нежели дѣйствіе закона распредѣленія, и потому онъ очень былъ радъ, когда въ формѣ „кредита“ ему явился совершенно готовый исходъ изъ этого затрудненія.

И чѣмъ дальше шла впередъ наука, тѣмъ чудодѣйственнѣе и чудодѣйственнѣе становился открываемый ею міръ. Хороша была игра, въ силу которой „спросъ“ съ завязанными глазами бѣгалъ за „предложеніемъ“, а „предложеніе“. въ свою очередь, нащупывало, нѣтъ ли гдѣ „спроса“; но она уже представлялась простыми гулючками по сравненію съ игрой въ „ажіотажъ“ и въ „акціонерныя компаніи“, которая ждала Порфишу впереди. То былъ волшебный, жгучій бредъ, въ которомъ лились золотыя рѣки, обрамленныя сапфировыми и рубиновыми берегами. Порфиша въ какомъ-то экстатическомъ упоеніи утопалъ въ этой свѣтящейся безднѣ. Онъ былъ властелиномъ биржи; передъ нимъ преклонялись языцы въ видѣ армянъ, грековъ и жидовъ. Съ недѣтскою проницательностью угадывалъ онъ моментъ, когда нужно было купить бумагу, и когда нужно было ее продать. Или, лучше сказать, не угадывалъ, а самъ устраивалъ этотъ моментъ. Онъ продавалъ, и за нимъ бросались продавать всѣ. Происходила паника, вслѣдствіе которой на сцену являлось „предложеніе“, а „спросъ“ былъ въ отсутствіи. Тогда онъ начиналъ покупать, и за нимъ бросались покупать всѣ. Новая паника, вслѣдствіе которой на сцену являлся „спросъ“, а „предложеніе“ было въ отсутствіи. И всѣ эти перевороты совершались съ быстротой изумительной, ибо онъ понималъ, что главное достоинство капитала—это его подвижность и способность обращаться быстро. Насытившись биржевой игрой, онъ придумывалъ новыя экономическія комбинаціи: отыскивалъ неслыханные дотолѣ источники богатствъ, устраивалъ акціонерныя общества и т. д. Мысленный взоръ его устремлялся всюду: и на Ледовитый океанъ, въ которомъ мирно плавали стада китовъ, тюленей, морскихъ коровъ и т. д., и на Скопинскій уѣздъ, въ нѣдрахъ котораго безъ вѣсти пропадали залежи каменнаго угля, и на Печорскій край, рѣки котораго кишѣли семгою, нельмою и максупомъ. Открывши новый источникъ богатствъ, онъ мысленно устраивалъ акціонерную компанію, но, выпустивъ акціи и продавъ ихъ съ премією, не останавливался подолгу

на одномъ и томъ же предпріятіи, а снѣшилъ къ другимъ источникамъ и другимъ акціонернымъ обществамъ.

Это была какая-то лихорадочная, неусыпающая дѣятельность, тѣмъ болѣе достойная удивленія, что она носила чисто отвлеченный характеръ. Процессъ накопленія доставлялъ Порфишѣ неисчерпаемый источникъ наслажденій, независимо отъ всякихъ личныхъ практическихъ примѣненій, однѣми перипетіями, которыя его сопровождали. Если Колѣ Персіянову былъ необходимъ „кредитъ“ для того, чтобъ позавтракать устрицами, отобѣдать съ шампанскимъ и окончить день въ домѣ терпимости, то Порфишѣ онъ нуженъ былъ совсѣмъ для другихъ цѣлей. Онъ видѣлъ въ „кредитѣ“ извѣстную экономическую функцію, безъ которой нельзя было обойтись въ ряду прочихъ экономическихъ функцій. Экономическая наука представлялась ему въ видѣ шкафа съ множествомъ ящиковъ, и чѣмъ быстрѣе выдвигались и задвигались эти ящики, тѣмъ болѣе умилялась его душа.

Но что всего замѣчательнѣе, на глазахъ у Порфиши не было даже практическихъ примѣровъ, съ помощью которыхъ его мысль могла бы ориентироваться. Время тогда было самое глухое: изъ значительныхъ желѣзныхъ дорогъ существовала только одна; объ акціонерныхъ обществахъ и биржевой игрѣ не было и помину. Никому не приходила въ голову ни неистощимая печерская семга, ни безпримѣрныя въ лѣтописяхъ міра скопинскія залежи каменнаго угля. Ничѣмъ не руководимый, съ помощью одного инстинкта, Порфиша проникалъ и въ нѣдра земли, и въ глубины морскихъ хлябей—и вездѣ находилъ что-нибудь полезное. Его не смущало то, что всѣ финансовыя построенія, которымъ онъ такъ неутомимо предавался, были построеніями безплотными, разлетавшимися при первомъ прикосновеніи дѣйствительности. Онъ ничего лично для себя не желалъ, а только выполнялъ свою провиденціальную задачу. Быть можетъ, онъ уже чувствовалъ, что тотъ моментъ недалекъ, когда онъ явится съ зажатыми горстями, торжественно разожметъ ихъ, и—клацъ!—покажетъ изумленной Россіи пустыя ладони.

Былъ, однакожъ, одинъ очень важный практическій результатъ, который Порфиша извлекъ лично для себя изъ своихъ финансовыхъ сновъ: къ нему съ уваженіемъ стали относиться товарищи.

— Il est par trop théoricien, ce cher Vélentieff,—выражался

о немъ Коля Персіяновъ:—mais c'est égal, c'est une bonne tête, et avec le temps on pourra l'utiliser.

Самъ директоръ былъ изумленъ, когда однажды при немъ Порфиша бойко и безъ запинки, въ какихъ-нибудь четверть часа, объяснилъ краткія правила къ познанію биржевой игры.

— Ну, Велентьевъ, не ожидалъ!—сказалъ онъ. — Судя по началу, я думалъ, что ты такъ и выростешь дуракомъ, а ты вонъ какъ развернулся!

Но Порфиша не увлекался похвалами и, повидимому, даже не понималъ ихъ. Онъ разсѣянно выслушивалъ сравненія, которыя проводились между его прошлымъ и настоящимъ, и очень можетъ быть, что въ головѣ его въ это время мелькала мысль:

„Чудаки! какъ будто что-нибудь измѣнилось! Какъ будто я не тотъ же Порфиша, которому когда-то снились клады и неразмѣнные червонцы, а теперь снятся непроглядные вятскіе лѣса и скопинскія каменноугольныя залежи!“

Одинъ Меандръ Семеновичъ съ прежнимъ недовѣріемъ относился къ сыну и, выслушивая его разсказы о самоновѣйшихъ способахъ накопленія богатствъ, невольно припоминалъ объ Амалатикѣ и Азаматкѣ. Очевидно, онъ уже подозрѣвалъ въ Порфишѣ реформатора, который придетъ, старый храмъ разрушитъ, новаго не возведетъ и, насоривши, исчезнетъ, чтобъ дать мѣсто другому реформатору, который также придетъ, насоритъ и уйдетъ...

II.

ПОШЕХОНСКІЕ РАЗСКАЗЫ

[1883—1884 гг.]

Вечеръ первый.

По Сенькѣ и шапка.

(*Пословица.*)

Андроны ѣдутъ...

(*Изреченіе.*)

Никогда не жилось мнѣ такъ весело, какъ въ то время, когда я служилъ въ Можайскомъ гусарскомъ полку. Удивительная тогда во всемъ простота царствовала. Нынче молодому человѣку и пожить-то въ свое удовольствіе нельзя, ежели, по крайности, хоть до тройного правила ариѳметику не прошелъ. Говорятъ тебѣ: какія ты можешь, скотина, удовольствія или огорченья испытывать, коль скоро ты даже именованныхъ чиселъ не знаешь! А прежде съ корнета ничего такого не спрашивали. Былъ бы вѣрный слуга отечеству, да по части женскаго пола чтобы все въ исправности состояло—вотъ и только. Передъ тѣмъ, кто этими качествами обладалъ, всѣ двери были настежъ. Молодого человѣка ласкали, баловали, а частенько гдѣ-нибудь въ укромномъ уголку не обходилось и безъ посредничества плутишки амура, въ качествѣ третейскаго судьи. Ибо кому же изъ юныхъ воиновъ удовольствіе сіе не представлялось привлекательнымъ и полезнымъ?

Я только-что былъ произведенъ въ корнеты. Тѣлосложенія я былъ столь состоятельнаго, что могу сказать смѣло: всѣ дѣвицы смотрѣли на меня съ удовольствіемъ. Но такъ какъ маменька не позволяла мнѣ жениться, то я больше льнулъ къ дамамъ, между коими были преаппетитныя, особливо одна черненькая. Но и за всѣмъ тѣмъ, перебирая на склонѣ дней мои воспоминанія по сему предмету, я со

вздохомъ восклицаю: сколь многаго я не выполнилъ, а иное и совсѣмъ изъ виду упустилъ! Но теперь уже не воротишь.

Полкъ нашъ чистенько-таки перекочевывалъ изъ губерніи въ губернію, но нигдѣ по части жепскаго продовольствія недостатка не ощущалось. Наконецъ, однакожъ, на довольно продолжительное время расквартировали насъ въ К—омъ уѣздѣ Т—ской губерніи—тутъ ужъ не только мы, офицеры, но и солдатики вилотную пожуировали. Впослѣдствіи, когда нашъ эскадронъ выступилъ въ походъ противъ турокъ, то бабы со всего села веретъ шестьдесятъ, подъ предлогомъ музыки, за нами шли и выли... Вотъ какъ выразительно говоритъ иногда языкъ природы!

Эта была самая веселая стоянка. Помѣщиковъ множество, и всѣ прегостепріимные. У всякаго или жена, или дочери, или свояченицы, а иногда и то, и другое, и третье вмѣстѣ. У нѣкоторыхъ, сверхъ того, дульцинеи. Послѣднія хотя и безъ кринолиновъ, но у иной и принцессы природные дары не въ такой исправности. Юные воины переѣзжали изъ усадьбы въ усадьбу и катались какъ сыръ въ маслѣ. Закуски и лакомства цѣлый день не сходили со стола, а кромѣ того: псовая охота, ѣзда съ барышнями на тройкахъ, рыбная ловля, прогулки въ лѣсу... А вечеромъ—танцы. Далеко за полночь, послѣ обильнаго ужина, въ залѣ постилались на полу перины, и всѣ спали въ-повалку. Случалось тутъ кое-что и неладное, ну, да въ корнетскомъ чинѣ и осудить за сіе строго нельзя.

Вскорѣ однакожъ наступила отмѣна крѣпостного права—и куда всѣ эти перины и дульцинеи дѣвались!

Юные нынѣшніе корнеты! по совѣсти васъ спрошу: не лучше ли симъ естественнымъ способомъ время проводить, нежели о сухихъ туманахъ спорить, отъ каковыхъ споровъ и до превратныхъ толкованій, пожалуй, недалеко.

Но въ глубокую осень и въ весеннюю ростепель случались дни, когда по-неволѣ приходилось коротать время въ своемъ кружкѣ, на глазахъ старшихъ. О старшихъ вообще должно сказать, что они ѣздили къ сосѣднимъ помѣщикамъ только въ дни семейныхъ торжествъ, а прочее время собирались между собой, рѣзались въ штосъ и пили пуншъ. Но были и такіе, которые въ карты не играли, а только пуншъ пили. Въ числѣ послѣднихъ былъ и незабвенный маіоръ Горбылёвъ. Пилъ онъ пуншъ безъ счета и надежды на опьяпѣніе, и во время питья

любилъ поразсказать разную бывальщину. Маіромъ онъ служилъ съ испоконъ вѣку, изъѣздилъ на вѣрномъ конѣ всю Россію, многое видѣлъ, но еще больше того не видалъ. Но главный интересъ его разсказовъ заключается въ томъ, что во всѣхъ обстоятельствахъ его жизни прямо или косвенно принимала участіе нечистая сила. То въ видѣ домового, то въ видѣ лѣшаго, то прямо въ видѣ чорта. А вѣдьмъ, русалокъ и лѣшачихъ перевидалъ онъ безъ числа. И отъ всей этой нечисти, благодареніе Богу, благополучно избавился, кромѣ впрочемъ домового, который до самой смерти, послѣ пуншa, его по ночамъ душилъ.

Мы, молодежь, съ увлеченіемъ внимали его безконечнымъ разсказамъ, почерпая въ нихъ полезныя для себя указанія на случай встрѣчи съ лѣшимъ или съ лѣшачихой. Вотъ, бывало, на дворѣ дождь, по дорогамъ невылазная грязь стоитъ, а мы заберемся къ доброму старому маіору, обсядемъ кругомъ и слушаемъ.

Нѣкоторые изъ его разсказовъ я счелъ своевременнымъ публиковать. Давно бы мнѣ пора на сію стезю вступить, да все думалось: авось Богъ помилуетъ! Даже и теперь когда сдѣлалось яснымъ, что по грѣхамъ моимъ надежды на помилованіе нѣтъ—даже и теперь до послѣдней минуты колебался, что̀ лучше публиковать: разсказы маіора Горбылёва или „Поваренную книгу“?

Однакожъ не рѣшился на послѣднее, потому что поваръ я уже совсѣмъ плохой. А послѣ разсказовъ Горбылёва, быть можетъ, опубликую разсказы ротмистра Возницына, а потомъ и прочихъ господъ офицеровъ. Смотришь, время-то и пройдетъ *).

Разсказы маіора Горбылева.

„Разскажу вамъ, господа, какъ я однажды съ чортомъ въ карты игралъ.

„Было время, когда я страстно карты любилъ. Съ утра до вечера штосы срѣзывалъ или банкъ металъ, и, признаюсь, довольнотаки удачно. И такъ къ этой операціи привыкъ, что даже походомъ идучи не разъ на сѣдлѣ банкъ металъ.

*) Къ сожалѣнію, я не выполнилъ этого намѣренія и увлекся въ другую сторону. За то послѣдствія этого увлеченія были весьма для меня непріятныя.

„Вотъ только стояли мы въ Могилевской губерніи, въ мѣстечкѣ одномъ, и говоритъ мнѣ жидокъ: сегодня вечеромъ въ клубѣ польскій графъ будетъ. Прекрасно. Прихожу, вижу: дѣйствительно, новое лицо въ клубѣ появилось, а около него наша молодежь такъ и вьется. Одѣтъ франтомъ: на рубашкѣ брильянтовыя запонки чуть не съ лѣсной орѣхъ; изъ себя—молодецъ.—Угодно? говоритъ.—Съ удовольствіемъ.

„И началъ онъ меня жарить. И самъ банкъ заложитъ, и мнѣ заложить предложитъ—бьетъ одну карту за другой да и шабашъ. А я, по несчастію, въ то время полковымъ казначеемъ былъ. Все, что принесъ съ собой, въ полчаса спустилъ, домой за подкрѣпленіемъ сходилъ—и опять только на полчаса хватило. Словомъ сказать, въ такой азартъ вошелъ, что и за казенный ящикъ принялся. А онъ сидитъ, только карты вскидываетъ да улыбается...

„Думалъ я сначала, не на шулера ли напалъ, однако сколько ни слѣдилъ—чисто мечетъ! Аккуратно, не спѣша, карта за картой, точно говоритъ: глядите! Одно только подозрительно: перчатокъ съ рукъ не снимаетъ, такъ въ нихъ и мечетъ. А я между тѣмъ ужъ двадцать тысячъ проигралъ—немудреное дѣло, подъ судъ идти. Съ досады сталъ придираться.—Извольте, говорю, перчатки снять!—„Это почему?“—Да такъ, говорю, безъ перчатокъ вамъ ловчѣе будетъ!—Слово за слово, онъ—меня, я—его... Схватилъ, знаете, во время перепалки, я его за руку, а у него вмѣсто руки-то—лапа гусиная! Я такъ и обомлѣлъ, а онъ какъ загогочетъ! Да такъ это тоскливо да тяжко, что сколько тутъ ни было народу—всѣ разомъ вонъ изъ клуба такъ и прыснули!

„А я какъ вцѣпился обѣими руками въ лапу его, такъ и застылъ. И вижу, что у него и изо рта, и изъ носу, и изъ ушей—змѣи поползли. А сзади—рыла мохнатыя. Хочу крикнуть—языкъ не поворачивается; хочу крестное знаменіе сотворить—рукъ отцѣпить отъ него не могу. Наконецъ чувствую, что онъ меня самого за собой куда-то тащитъ...

„И представьте себѣ, въ эту самую минуту, какъ мнѣ ужъ пропасть приходилось, вдругъ, на мое счастіе, въ кухню индѣюшка принесли! Его на котлеты рѣзать хотѣли, а онъ возьми да и запой! Вижу: поблѣднѣлъ мой графъ, какъ мертвецъ, и зашатался. Шатался-шатался, и въ одну секунду, въ моихъ глазахъ, словно въ воз-

духѣ растаялъ... Тутъ только я понялъ, съ какимъ „графомъ“ я въ карты игралъ.

„А денежки мои, между тѣмъ, на столѣ остались. Разумѣется, я сейчасъ же ихъ обобралъ и казенный ящикъ пополнилъ. А на другой день, на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ онъ металъ банкъ, подковку серебряную двухъ-копытную нашли. Это, значитъ, „онъ“, впопыхахъ, съ ноги потерялъ.

„Подковка эта и теперь у меня хранится, но съ тѣхъ поръ я только пуншъ пью, а картъ въ руки не беру“.

„А вскорѣ послѣ того и еще происшествіе со мной было. Стоялъ я въ это время ужъ въ Кіевской губерніи, подъ Чернобыломъ.

„Ну, сами молоды, знаете, каково барану безъ ярочки жить. А Хиври, да Гапки, да Окси такъ мимо и шмыгаютъ, и все чернобровыя. Я въ то время пѣсню зналъ: „и шумѣ, и гудѣ, дрібенъ дождикъ идé“—сидишь, бывало, на крылечкѣ у хаты и поешь, а онѣ. шельмы, зубы скалятъ. Одну ущипнешь, другую... Вечеромъ ляжешь спать—смерть! Вотъ я одну и намѣтилъ.

„— Какъ тебя зовутъ?

„— Наталка.

„ — Знаю. Наталка-Полтавка... у Нижнемъ на ярмарци видавъ... Ну, такъ какъ же, Наталочка, будешь что-ли со мной по-малороссійски разговаривать?

„— Не знаю, говоритъ, чи буду, чи нѣтъ. Вамъ, пане, може паненочку треба?

„— Ну ихъ! говорю. Щò треба, щò не треба... у всѣхъ у васъ секретъ-то одинъ. А ты ужò приходи, такъ я тебѣ гривенничекъ пожертвую.

„Дѣйствительно, какъ только смерклось—пришла. Разумѣется, кровь во мнѣ такъ и кипитъ. Запаска—къ чорту, плахта—къ дьяволу... п-ахъ, го-о-лубушка ты моя! И вдругъ... чувствую. что сзади у нея что-то шевелится...

„— Щò сè такé?

„— А это, говоритъ, фистъ.

„— Какъ фистъ?

„— Вѣдьма же я, милюсенькій, вѣдьма...

„Вотъ такъ праздникъ! Человѣкъ распорядился, совсѣмъ уже себя, такъ сказать, предрасположилъ—и вдругъ: вѣдьма, фистъ!...

„Являюсь на другой день къ полковнику. Докладываю. И что жъ бы вы думали онъ мнѣ отвѣтилъ?

„— Ахъ, простофиля-корнетъ! не знаетъ, что въ Кіевской губерніи каждой дивчинѣ, въ числѣ прочихъ даровъ природы, присвояется хвостъ! Стыдитесь, сударь!

„Разумѣется, съ тѣхъ поръ я ужъ не стѣснялся. Только, бывало, скажешь: убери, голубушка, фистъ!—и ничего. Все равно что безъ хвоста, что съ хвостомъ.

„Но Наталки я больше не видалъ, а только слышалъ, что она, пришедши отъ меня, цѣлую ночь тосковала, а подъ утро сѣла верхомъ на помело и вылетѣла въ трубу“.

Разсказавши это происшествіе, маіоръ грустно поникъ головой, и нѣкоторое время тихо-тихо напѣвалъ себѣ подъ носъ: „И шуме, и гуде“... И вдругъ крупная слеза, какъ тяжелая капля дождя, громко шлепнулась въ его пуншъ.

„— Да,—проговорилъ онъ торжественно-взволнованнымъ голосомъ:—что тамъ ни утверждай философы, а безъ женскаго пола не проживешь. Царь Давидъ на что былъ—и тотъ согрѣшилъ. А царь Соломонъ даже и очень. Впрочемъ вы, молодые люди, лучше другихъ это знаете.

„И не только мы, родъ человѣческій, но даже животныя— и тѣ къ женскому полу непреодолимое стремленіе чувствуютъ.

„Зналъ я одного общественнаго быка, такъ даже словъ не могу подобрать, какой это удивительный быкъ былъ! Точно человѣкъ!

„Надо вамъ сказать, что въ нашихъ деревняхъ быкъ—въ родѣ какъ должность общественная. Староста, сотскій, десятскій и быкъ. Въ иной деревнѣ ни сотскаго, ни десятскаго нѣтъ, а быкъ непремѣнно всегда и вездѣ. И содержится онъ на общественный счетъ, потому что онъ—геній-хранитель крестьянскаго стада, онъ—ручательство, что коровій родъ не изгибнетъ во вѣкъ. Ибо что значитъ корова безъ быка?

„Но, подобно людямъ, и быки бываютъ разныхъ достоинствъ. Бываютъ быки небольшіе, но сощіе, и наоборотъ. Быкъ деревни Ра-

зуваевой принадлежалъ къ числу первыхъ. Онъ былъ такъ умѣнъ, что могъ бы получить аттестатъ зрѣлости, еслибы не требовалось древнихъ языковъ. Пять лѣтъ сряду высоко держалъ онъ свое знамя, и не только не думалъ положить оружіе, но даже нимало не отяжелѣлъ. Мужички нарадоваться не могли и жили за нимъ какъ за каменной стѣной. Какъ вдругъ у сосѣдняго помѣщика явилась корова Красавка, которая всѣ мужицкія упованія разсѣяла въ прахъ.

„Разсѣять мужицкія упованія очень легко, господа. Иногда мужичокъ совсѣмъ ужъ подноситъ кусокъ къ губамъ—и вдругъ вмѣсто куска... признательность начальства... Да и признательность-то не ему, а сборщику податей. Или: шли бабы полосу жать. Уповаютъ. И вдругъ, откуда ни возьмись градъ... и опять однимъ упованіемъ въ жизни мужика стало меньше!

„А онъ и впредь уповать продолжаетъ.

„Такъ было и въ этомъ случаѣ. Быкъ увидѣлъ Красавку нечаянно, когда она паслась за оврагомъ на пригоркѣ, слишкомъ за версту отъ того мѣста, гдѣ паслось крестьянское стадо. Въ одно мгновеніе участь его была рѣшена. Задравши хвостъ, уставившись рогами впередъ и взрывая копытами землю, онъ помчался черезъ поля и овраги, и не успѣлъ помѣщичій пастухъ ахнуть, какъ уже въ ввѣренномъ ему стадѣ произошелъ общій переполохъ. Очевидно, что смѣлый поступокъ отважнаго чужанина произвелъ среди помѣщичьихъ коровъ глубокую сенсацію.

„На первый разъ однакожъ дѣло обошлось мирно. Помѣщикъ былъ человѣкъ добродушный, и рыцарскій поступокъ быка даже понравился ему. Но съ этихъ поръ поведеніе быка относительно своихъ довѣрителей совершенно измѣнилось. Напрасно послѣдніе изощрялись гонять мірское стадо какъ можно дальше отъ помѣщичьяго, напрасно возмущенныя домохозяйки сѣкли быка крапивой, напрасно сами коровы бодали его рогами,—ни одна не добилась отъ него ни малѣйшей ласки. По вечерамъ, когда стадо пригонялось въ деревню, быкъ убѣгалъ. И всегда въ одну сторону: въ помѣщичью усадьбу, гдѣ находилась его возлюбленная. Упрется рогами въ запертыя ворота скотнаго двора, рветъ копытами землю и реветъ! Прибѣгутъ за нимъ крестьяне-довѣрители, начнутъ жарить въ три кнута, а онъ стоитъ и реветъ. И такимъ раздирающимъ голосомъ, что самъ добрый помѣщикъ выбѣжитъ и крикнетъ:—Шибче жарьте! вотъ такъ!

„Наконецъ пришлось убѣдиться, что единственною развязкой въ такомъ дѣлѣ можетъ быть только ножъ...

„И что же потомъ оказалось? — что и солощій крестьянскій быкъ, и корова Красавка — не что иное, какъ оборотни! А именно: поручикъ Потаповъ и жена сосѣдняго помѣщика Красавина. Оба они были давнымъ-давно другъ въ друга влюблены, но, по обстоятельствамъ, соединиться не могли. Вотъ и придумали“...

„Вообще встарину нечистой силы довольно было. Лѣса-то берегли, да и болотъ было множество — такъ вотъ оттуда. И еслибъ не это, то многаго въ жизни совсѣмъ было бы объяснить нельзя.

„Какъ, напримѣръ, объясните вы слѣдующее происшествіе? Ѣду я однажды въ городъ въ тарантасѣ, на почтовыхъ. Разумѣется, съ ямщикомъ калякаю.

„— Хорошо васъ хозяинъ кормитъ?

„— Щи, каша, а по праздникамъ пироги.

„— А съ женой согласно живешь?

„— Мы другъ дружку .. вотъ и сейчасъ, пріѣду домой, на печь полѣзу...

„Словомъ сказать, какъ обыкновенно. Знали мужики мой нравъ, и никогда не жаловались. Только въѣзжаемъ мы, знаете, въ лѣсъ, а я возьми да и прикурни маленько. И вдругъ чувствую, что мы ни съ мѣста. Открываю глаза — и что же вижу? Ни ямщика, ни лошадей, ни тарантаса — ничего! А я лежу подъ деревомъ на голой землѣ и плачу. Да-съ, плачу-съ.

„Натурально, удивился и пошелъ куда глаза глядятъ. Три дня сряду я по этому проклятому лѣсу плуталъ, только брусникой питался. Заснуть — боюсь, присяду отдохнуть на минуту — нетерпѣнье такъ и подымаетъ: иду да иду! Наконецъ отощалъ. Сѣлъ на камень и думаю: — Однакожъ, вѣдь я маіоръ! — А тутъ изъ лѣсу кто-то какъ рявкнетъ: — маіоръ! маіоръ! маіоръ! — Къ счастью, я вспомнилъ, что у меня на ремнѣ фляжка съ водкой. Думаю: булькну. Булькнулъ разъ, булькнулъ другой — слышу, и въ лѣсу кто-то булькаетъ. Однако булькалъ да булькалъ, да подъ конецъ и заснулъ! Долго ли, коротко ли я спалъ, только просыпаюсь: преспокойно лежу себѣ дома на походной постели!

„Такъ вотъ какіе перевороты въ самое короткое время случаются. Какимъ образомъ это объяснить?“

— А можетъ быть мало-мало выпито было? — съехидничалъ штабсъ-ротмистръ Возницынъ, который внутренно хотя и вѣрилъ въ чертей, но по временамъ любилъ хвастнуть скептицизмомъ.

— Выпито—это само по себѣ. Было выпито—это вѣрно. Но какимъ же образомъ объяснить, что я и въ тарантасѣ ѣхалъ, и съ ямщикомъ говорилъ?.. Вѣдь это все... было? И вдругъ... лежу на землѣ?!

— Да вотъ именно въ подпитіи. Ни въ тарантасѣ вы не ѣхали, ни на землѣ не сидѣли...

— Позвольте! но вѣдь я послѣ этого три дня въ лѣсу ходилъ! брусникой питался?!

— И по лѣсу не ходили, и бруснику не ѣли...

— Но какимъ образомъ объяснить, что я фляжку съ водкой выпилъ, и потомъ дома въ собственной постели очутился! кто же нибудь меня туда перенесъ?

— Да просто вы накануѣ выпили. Выпивши, легли въ постель. а на другое утро въ той же постели проснулись.

Маіоръ задумался.

— Можетъ быть,—наконецъ согласился онъ:—во-змо-жно!!

Но было очевидно, что это согласіе стоило ему сильной нравственной борьбы.

„— Хорошо, продолжалъ онъ:—положимъ, что тогда дѣйствительно... Было выпито—это такъ. Но какимъ же образомъ вы объясните слѣдующій случай?

„Былъ у насъ полковой командиръ, полковникъ Золотиловъ. Лихой. Службу зналъ такъ, что словно на нотахъ, бывало, разыгрываетъ. Въ приказахъ по корпусу—всегда первый, въ примѣръ другимъ. Полкъ—въ исправности, касса—на-лицо: ума—палата. Всякій божій день — для всѣхъ господъ офицеровъ открытый столъ. Словомъ сказать, жили мы за нимъ какъ за каменной стѣной.

„Только перевели къ намъ въ полкъ изъ заграничныхъ уланъ ротмистра одного. Культяпка прозывался. Явился Культяпка въ полку, и первымъ дѣломъ, разумѣется, къ полковому командиру. Я

въ это время полковымъ казначеемъ былъ, съ утреннимъ рапортомъ у командира сидѣлъ и, слѣдовательно, самъ очевидцемъ былъ. Началъ это Культяпка рапортовать:—Имѣю честь...—и съ первыхъ же словъ перевралъ. Смотрю: вглядывается мой Культяпка въ командира, словно припомнить хочетъ. И вдругъ:

„— А вѣдь я, говоритъ, тебя узналъ!..

„Туда-сюда. Вспыхнулъ-было нашъ полковникъ:—Подъ арестъ! —и проч. А Культяпка, какъ ни въ чемъ не бывало, такъ и рѣжетъ:

„— Ты не тормошись, — говоритъ: — а скажи, помнишь ли, какъ ты съ своей лѣшачихой мой эскадронъ цѣлую недѣлю по лѣсу водилъ?

„И вотъ какъ хотите, такъ и судите. Въ моихъ глазахъ, въ одинъ моментъ, полковникъ Золотиловъ словно въ воздухѣ растаялъ. И жена его тоже пропала; и книги, и приказы, и переписка — все. Бросились мы потомъ формуляръ полковничій искать—и формуляра нѣтъ. Ужъ писарь одинъ намъ сказывалъ:—Да вѣдь я спервоначала замѣтилъ, что въ формулярѣ было написано: „по окончаніи домашняго воспитанія, опредѣленъ на службу... *въ лишіе!!*“—Такъ что же ты, курицынъ сынъ, молчалъ?

„Разумѣется, сейчасъ рапортъ, а намъ, вмѣсто него, на смѣну Домового прислали. Да такъ всю чертовщину постепенно и перебрали. И я все время казначеемъ служилъ“.

— Ну, какъ вы этотъ случай объясните?—обратился къ намъ маіоръ:—вѣдь это я ужъ собственными глазами видѣлъ?

Но волшебство было столь уже явно, что даже вольномысленный штабсъ-ротмистръ задумался. Однакожъ выдержалъ-таки характеръ и возразилъ:

— Да выпито было. Ни Золотилова, ни Культяпки...

— Ну, нѣтъ; это, братъ, шалишь! Я при Золотиловѣ-то два года служилъ—неужто-жъ все время пьянъ былъ? Нѣтъ, а вотъ что лучше послушайте: вѣдь Культяпка-то послѣ этого сохнуть сталъ. Чахнулъ-чахнулъ, а наконецъ и совсѣмъ зачахъ. Говорятъ, будто сейчасъ послѣ этого пришла къ нему полковница и какое-то дѣло припомнила. Съ тѣхъ поръ и пошло на него, и пошло. Жениться за-

думалъ и къ свадьбѣ все приготовилъ, а самъ пропалъ. Мы ужъ и въ церковь собрались—хвать-похвать, гдѣ женихъ? Нѣтъ Культяпки, да и шабашъ. И что же потомъ оказалось?—что онъ трое сутокъ на сѣновалѣ проспалъ! Такъ дѣло и разстроилось. Въ другой разъ онъ же часы въ лотерею выигралъ, а когда пришелъ получать—оказалось, что и лотереи такой никогда не бывало. Какъ вы это объясните?

— Гм!—воскликнули мы въ одинъ голосъ.

— Да и на мою долю, по милости этого Культяпки, попало,—продолжалъ маіоръ:—потому что я свидѣтелемъ этой сцены былъ. Не будь меня, полковникъ, можетъ быть, какъ-нибудь обвертѣлъ бы Культяшку, ну, а при мнѣ—нельзя было. Вотъ онъ и мнѣ потомъ мстилъ. Я даже подозрѣваю, что польскаго графа-то этого, который меня въ карты-то обыгралъ, не кто другой, а именно полковникъ Золотиловъ подославъ. А можетъ быть онъ самъ и оборотился графомъ.

— Весьма вѣроятно,—вынуждены были мы согласиться.

— Да и одно ли это! Мало ли онъ разныхъ проказъ надо мной строилъ! Однажды я грибъ въ лѣсу увидѣлъ. Смотрю, подъ самой березой стоитъ боровикъ. Протянулъ-это руку, чтобы сорвать, а онъ на поларшина въ сторону. Я за нимъ, а онъ опять на поларшина въ сторону. Лазилъ-лазилъ, гляжу, а боровиковъ кругомъ видимо-невидимо. И всѣ крѣпкіе, ядреные, одинъ къ одному. Я—въ кучу, хочу хоть одинъ поймать—пусто! Наконецъ догадался, заклинанье прочелъ—вдругъ какъ запищатъ боровики-то! Я—давай Богъ ноги! И что же потомъ оказалось!—что я и въ лѣсу совсѣмъ не былъ, а преспокойно пилъ пуншъ у драгунскаго капитана Кедрова!

— То-то, что выпито-то было!—замѣтилъ вольномыслящій штабсъ-ротмистръ Возницынъ.

Но мы ему не повѣрили.

„Вообще въ то время много необъяснимаго было. Бывало, ѣшь, пьешь, а между прочимъ боишься, какъ бы нечистую силу не проглотить.

„Всѣмъ извѣстны, напримѣръ, вяземскіе пряники; а знаете ли вы, отчего они прежде сладки были, а нынче въ нихъ вдвое противъ прежняго сласти убавилось? А я—знаю. Все отъ „этого“.

„Стояли мы въ восемьсотъ-тридцать-шестомъ году съ полкомъ въ Вязьмѣ, а тамъ, въ то время пряничница Прасковья Ивановна въ славѣ была. Изъ себя—королева, тѣло—разсыпчатое, губы—алыя, глаза—на выкатѣ, груди—вотъ! Ну, и присталъ я къ ней:

„— Отчего, говорю, у тебя, Прасковья Ивановна, такіе пряники сладкіе? сахару, что-ли, не жалѣешь?

„— У меня, говоритъ, и безъ сахару сладки.

„— Что жъ за причина?

„— А это, говоритъ, тайность моя.

„И что жъ наконецъ она мнѣ открыла?

„— Ежели, говоритъ, я тебѣ, милый баринъ, мою тайности скажу, такъ ты послѣ того въ ротъ нашего пряника не возьмешь!

„Разумѣется, я не настаивалъ.

„Послѣ однакожъ и до начальства дѣло дошло: пряники сладки, а сахару не кладутъ. И распорядилось начальство, чтобы впередъ на каждомъ пряникѣ (на той сторонѣ, гдѣ картина) было оттиснуто: „Печатать дозволяется. Цензоръ Бируковъ“. Съ тѣхъ поръ тайность какъ рукой сняло, но зато и сладости прежней нѣтъ.

„Но вы вообразите, сколько мы этой нечисти подъ видомъ сладости наглотались!“

„Въ другой разъ въ Пензенской губерніи дѣло было. Пріѣзжаю однажды на постоялый дворъ, голодный-преголодный, а хозяйка и говоритъ: „Поросеночка не угодно ли?“—Волоки!—Принесли. Лежитъ это поросеночекъ, какъ ребеночекъ малый, ножки поджалъ, кожица бѣлая, жирокъ... словомъ сказать, только-что не говоритъ!

„— Какъ это, спрашиваю, вы такъ отлично отпаивать ихъ умѣете?

„— А у насъ, говоритъ, слово такое есть.

„— Какое слово?

„— А въ родѣ какъ проклятіе на себя наложить слѣдуетъ...

„Конечно, я не затруднился этимъ; но кто же можетъ сказать, *кого* я подъ видомъ поросеночка съѣлъ?!

„Впрочемъ Пензенская губернія вообще въ то время страною волшебствъ была. Куда, бывало ни повернись—вездѣ либо Араповъ, либо Сабуровъ, а для разнообразія на каждой верстѣ по Загоскину да по Бекетову. И ссорятся, и мирятся—все промежду себя:

Араповы на Сабуровыхъ женятся, Сабуровы—на Араповыхъ, а Бекетовы и Загоскины сами по себѣ плодятся. Чужой человѣкъ попадется—загрызутъ. Однажды самого губернатора въ осадѣ держали за то, что онъ это волшебство разъяснить хотѣлъ. И выжили-таки. Ни дать, ни взять—Чурова долина.

„А папенька-покойникъ вотъ еще что̀ про Пензу разсказывалъ. Въ царствованіе блаженной памяти императрицы Екатерины II туда два губернатора съѣхались: одинъ Потемкинскій, а другой—Мамоновскій. Встали другъ передъ другомъ, да и стоятъ: кто первый смигнетъ! Да, къ счастію, соборный протоіерей тутъ случился. съ пріѣздомъ поздравлять пришелъ. Какъ только губернаторы его учуяли—смотрятъ, Потемкинскаго-то ужъ нѣтъ, а вмѣсто него—корпунъ! Покуда на него глядѣли, какъ онъ крыльями взмывалъ, анъ промежду ногъ черная кошка шмыгнула—и Мамоновскій. значитъ, исчезъ!

„А кабы не это, побѣдили бы они другъ друга, да и управляли бы. А можетъ быть впрочемъ и не разъ такіе управляли".

„Спро̀сите вы меня, съ чего это я все объ чертяхъ да о кикиморахъ разсказываю? Такъ я на это вотъ что̀ скажу: такая у насъ жизнь волшебная. что самъ собой разговоръ въ этомъ родѣ складывается.

„Что̀ такое эта чертовщина и въ какомъ смыслѣ ее понимать надлежитъ?—на это я опредѣлительнаго отвѣта дать не могу. Но вѣдь. съ другой стороны, ежели сказать напрѣзъ: нѣтъ чертовщины!—а вдругъ она есть? Кто тогда въ дуракахъ будетъ?

„Зналъ я одного умнаго статскаго совѣтника, такъ тотъ прямо мнѣ сознался:—Вообще я въ нечистую силу не вѣрю; но ежели обстоятельства ей благопріятствуютъ, то не токмо самъ вѣрю, но и другимъ совѣтую".

„Однажды имѣлъ онъ тяжебное дѣло съ сосѣдомъ въ сенатѣ. и ужъ совсѣмъ-было его проигралъ, да вдругъ узналъ. что оберъ-секретарь тамошній въ чертей вѣритъ. Вотъ и пустилъ онъ слухъ. будто бы въ Кіевѣ, на Лысой горѣ, онъ однажды съ вѣдьмой пошабашилъ. Дошло это до оберъ-секретаря—пожелалъ объясниться лично.

„— Правда ли, говоритъ, что вы живую вѣдьму видѣли?

„— Истинная, ваше превосходительство, правда.

„— Разскажите.

„Ну, статскій совѣтникъ—во всѣхъ подробностяхъ. И какъ, и что. А оберъ-секретарь слушаетъ да только поясницей вздрагиваетъ: хоть бы глазкомъ, молъ, взглянуть!

„И что жъ бы вы думали! черезъ недѣлю рѣшеніе состоялось: отдать землю въ вѣчную собственность статскому совѣтнику. А земли-то никакъ пятьсотъ десятинъ было“.

„Я и самъ, признаться, однажды въ этомъ родѣ фортель въ ходъ пустилъ“.

„Отличился я въ ту пору подъ Севастополемъ—вотъ насъ, героевъ, штукъ двадцать отобрали, привезли въ Петербургъ да Кокореву и препоручили. Онъ насъ днемъ по гуляньямъ водилъ, а ночью—чествовалъ. Привезетъ, бывало, въ Павловскъ и водитъ по музыкѣ: „героп!“ А публика смотритъ и повторяетъ: „герои!“ Бабы въ нашу честь дѣлали пикники, ученыя собранія устраивали: „герои пріѣдутъ!“ А нѣкоторыя дамы изъ важныхъ даже по-одиночкѣ къ себѣ зазывали: „такая-то тайная совѣтница проситъ героя NN пожаловать“. Словомъ сказать, многіе изъ насъ при деньгахъ къ полкамъ возвратились.

„И меня на одномъ балу старушка-графиня намѣтила: „Сядьте, говоритъ, герой, возлѣ меня—вотъ такъ“. Сѣлъ. „Разскажите, говоритъ, какъ вы Севастополь брали?“—Не брали, ваше сіятельство, а отстаивали.—„Это все равно. А впрочемъ что жъ объ этомъ на балу разговаривать; лучше вы мнѣ часокъ-другой на свободѣ посвятите. Да вотъ что: завтра я въ двѣнадцать часовъ утромъ дома буду, а мужъ въ свое учрежденіе уѣдетъ—милости просимъ, герой!“

„Гляжу я на нее: мѣста живого нѣтъ! приспособиться не къ чему! А съ другой стороны—графиня, и мужъ въ учрежденіи служитъ: какъ тутъ отказать?

„На утро, ни живъ, ни мертвъ, а иду. Хуже чѣмъ въ сраженіе: потому въ сраженіе тебя посылаютъ, а тутъ—самъ иди! Являюсь, а она, прахъ ее побери, на кушеткѣ лежитъ. Стукнулъ шпорами.

„— Приблизьтесь, говоритъ, герой!

„И вдругъ меня словно освѣтило.

„— Ваше сіятельство,—говорю:—вѣдь я лѣшій-съ!

„Какъ она взвизгнетъ!—Корнило! Прохоръ! Антипка! гоните его!

„И гнали они меня по Литейной, отъ пушечнаго двора вплоть до самаго Невскаго. Гонятъ и приговариваютъ: „герой!“

„А народъ шапки снимаетъ“.

„А въ другой разъ со мной и въ противномъ смыслѣ случай произошелъ.

„Стояли мы однажды въ Полтавской губерніи: я тогда только-что въ корнеты произведенъ былъ. Кровь такъ ходуномъ, бывало, и ходитъ, а смѣлости нѣтъ. Еще казачку простую, куда ни шло, ущипнешь, а чуть мало-мальски пани или паночка—стоишь передъ ней какъ дуракъ да только глаза таращишь.

„Между тѣмъ у помѣщика, у пана Холявы, жена была—краля писаная. И видѣлъ я, что я ей по нраву пришелся. Каждый день, бывало, посланца за мной шлетъ. Приду — сейчасъ возлѣ себя посадитъ.

„— Любитъ панъ корнетъ галушки?

„— Люблю, сударыня.

„— Можe панъ корнетъ и смоквы любитъ?

„— И смоквы, сударыня, люблю.

„Подадутъ и галушки, и смоквы—я и то, и другое въ одну минуту съѣмъ. А она смотритъ на меня и думаетъ: сейчасъ онъ поѣстъ и декларацію сдѣлаетъ! Не тутъ-то было. Я какъ поѣмъ, такъ еще пуще робѣю. Поспдимъ-поспдимъ, до того наспдимся, что она ужъ спиртъ нюхать начнетъ.

„— Однако,—скажетъ:—глупый же вы корнетъ!

„Не понимаю даже, какъ я ей не опротивѣлъ. Полагаю, что она больше изъ любопытства упорствовала. Видитъ, что дубину обрящила, и думаетъ: что изъ этого выйдетъ?

„— Вотъ однажды, когда я наѣлся галушекъ, она меня и спрашиваетъ:

„— А что, панъ корнетъ: вы боитесь русалокъ?

„— Боюсь, говорю.

„— Вотъ такъ ахвицеръ!

„— То-есть, я, говорю, настоящихъ русалокъ боюсь, а ежели которыя...

„— Молчите! и слушать больше не хочу! Вотъ что̀ выдумалъ... какихъ-то *ненастоящихъ* русалокъ! Такъ вотъ что̀ вы сдѣлайте: вонъ тамъ въ пруду, въ камышахъ, каждое утро на зорькѣ русалка купается... „настоящая“ русалка... слышите?

„Ушелъ. Цѣлую ночь глазъ не смыкалъ, дождался зорьки—и маршъ на прудъ. Купаюсь, плаваю... вдругъ слышу: въ камышахъ зашелестѣло.

„— Кто тамъ?

„— Я, русалка...

Приди въ чертогъ ко мнѣ златой,
Приди, о князь мой дорогой!

„Тутъ ужъ и робость съ меня соскочила. Какъ бѣшеный, рванулся я въ камыши и въ одну минуту выволокъ русалку на берегъ.

„Однако впослѣдствіи никогда ни единымъ словомъ ей не намекнулъ, что русалка „ненастоящая“ была. Сидишь, бывало, сосешь леденцы и скажешь:

„— А какъ вы полагаете, нани, придетъ завтра на зорькѣ русалка купаться?

„— А когда же она не приходитъ?!

„Съ мѣсяцъ мы такимъ родомъ купались. Она—русалка; я—князь. Но что̀ было бы послѣ, когда прудъ замерзъ—сказать не умѣю. Вѣроятно мы какъ-нибудь устроились бы по сухопутному.

„Но черезъ мѣсяцъ насъ угнали въ Костромскую губернію—вотъ куда!“

„Но бываютъ и настоящія русалки. У насъ въ полку еще одинъ маіоръ былъ, такъ тотъ разсказывалъ, что онъ цѣлый годъ въ водяномъ дворцѣ съ русалками прожилъ. И женили его тамъ. Главная русалка на тронѣ съ нимъ сидѣла, а прочія—прислуживали. А кормили его рыбой да раками. Сначала въ охотку было, а потомъ опротивѣло.

„И сколько ему хлопотъ это происшествіе надѣлало! Аблаката нанималъ, чтобъ бракъ-то этотъ недѣйствительнымъ признать!

„Ну, я, бывало, слушаю эти разсказы и думаю про себя: знаемъ мы этихъ „настоящихъ“ русалокъ!

„А можетъ быть впрочемъ онъ и съ „настоящей“ русалкой жилъ. Потому что на свѣтѣ все такъ: здѣсь настоящее, а рядомъ—*не*-настоящее... какъ тутъ отличить? Ежели по рыбьему хвосту заключать, такъ и тутъ всяко бываетъ; иная и безъ хвоста, а въ лучшемъ видѣ русалка!“

„У насъ къ одному полковому командиру цѣлый мѣсяцъ каждый день нечистая сила въ образѣ блудницы являлась. Только-что, бывало, отпуститъ вечеромъ вѣстового, а она тутъ какъ тутъ. Головою киваетъ, плечами поматываетъ, бедрами потрясаетъ... И что же потомъ оказалось?—что это тетка юнкера Растопырьева за племянника ходатайствовать приходила! А полковникъ между тѣмъ думалъ, что она чертовка—и пальцемъ не прикоснулся къ ней!

„А въ это же самое время къ поручику Клятвину настоящая чертовка ходила, но онъ передъ ней не сробѣлъ.

„Какъ это объяснить?

„Поникъ у насъ въ полку былъ—молоденькій!—такъ тотъ, бывало, отъ объясненій уклонялся. Обступятъ его юнкера молодые и начнутъ допрашивать:

„— Вы, батюшка, какъ насчетъ кикиморъ полагаете: постныя онѣ или скоромныя?

„А онъ только застыдится и пробормочетъ:

„— Увольте меня, господа!

„Однако когда съ полковникомъ это происшествіе случилось, и онъ долженъ былъ сознаться, что на свѣтѣ есть много такого, чего разумъ человѣческій постигнуть не въ состояніи. Иной всего только въ кадетскомъ корпусѣ воспитаніе получилъ, а потомъ, смотришь, изъ него министръ вышелъ—какъ это объяснить?

„Лежишь иногда ночью въ кровати—вдругъ шорохъ! или идешь по лѣсу—хохотъ! съ ружьемъ по болоту пробираешься—лязгъ! Кто? что? какъ? почему?

„А главное: сейчасъ видишь и слышишь, а сейчасъ—нѣтъ ничего...

„Однажды со мной такой случай былъ: только-что успѣлъ я со станціи выѣхать, какъ откуда ни возьмись цѣлое стадо статскихъ

совѣтниковъ за нами погналось. Съ кокардами, при шпагахъ, какъ есть по формѣ. Наслу отъ нихъ уѣхали. А ямщикъ говоритъ, что это было стадо быковъ. Кто изъ насъ правъ? кто неправъ? По моему, оба правы. Я правъ—потому что видѣлъ статскихъ совѣтниковъ въ то время, когда они статскими совѣтниками были, а ямщикъ правъ—потому что видѣлъ ихъ уже въ то время, когда они въ быковъ оборотились.

„Вообще превращенія эти какъ-то вдругъ совершаются. Въ Москвѣ мнѣ одного купца показывали: днемъ онъ купецъ, скобянымъ товаромъ торгуетъ, а ночью въ видѣ цѣпной собаки собственную лавку стережетъ. А на утро—опять купецъ. Какъ сподручнѣе, такъ и орудуетъ“.

„Встрѣтился я однажды на станціи съ маіоромъ. Какъ есть, натуральный маіоръ и съ бантомъ въ петлицѣ. Разговорились. То да сё.

„— Въ какомъ дѣлѣ изволили бантъ получить?

„— Подъ Остроленкой.

„— Такъ-съ. И жаркое дѣло было?

„— Должно быть, жаркое. А впрочемъ, былъ ли я тамъ—хоть убейте, не помню!

„Такъ вотъ какъ иногда бываетъ. И банты получаемъ, а за что—не знаемъ. Какъ это объяснить?

„А другой случай такой былъ. Служилъ у насъ въ полку ротмистръ Коробейниковъ и заказалъ онъ себѣ новыя рейтузы. Только надѣлъ онъ эти рейтузы—и вдругъ сдѣлался невидимъ. Рейтузы и сидятъ, и стоятъ, и ходятъ, а Коробейникова нѣтъ какъ нѣтъ. И главное, онъ самъ нѣкоторое время объ этомъ не зналъ. Сидимъ мы однажды въ офицерской сборной и вдругъ видимъ: порожнія рейтузы идутъ! Можете себѣ представить общій испугъ!

„Теперь сообразите-ка: у одного рейтузы волшебныя, у другого—ментикъ, у третьяго—колетъ... весь полкъ волшебный! Аммуниція на-лицо, а воиновъ нѣтъ!“

„Зналъ я одну помѣщицу, которая къ вахмистру на свиданіе ходила, а объ ней говорили, что лѣшій ее по ночамъ въ лѣсъ уноситъ. А про другую помѣщицу говорили, что она къ вахмистру бѣгаетъ, а на самомъ-то дѣлѣ ее лѣшій въ лѣсъ уносилъ. И сдѣлалась она

по времени какъ щепка худая, глаза большущіе, въ лицѣ ни кровинки, а губы красныя-раскрасныя. Чрезъ девять мѣсяцевъ она лѣшонка принесла... да кудрявый какой!

„Вотъ какъ наружность иногда бываетъ обманчива!

„Поэтому я и не разсуждаю. Что знаю—того не скрываю, а чего не знаю, объ томъ такъ и говорю: не знаю!

„И всегда вспоминаю при этомъ слова мудраго статскаго совѣтника: „коли время стоитъ для чертей благопріятное—значитъ, хоть вѣрь, хоть не вѣрь, а все-таки говори: есть!“ А когда же оно у насъ, позвольте спросить, неблагопріятно?“

„Жили-были двѣ дѣвушки-сиротки, и все говорили:—не вѣримъ да не вѣримъ!—А одинъ колежскій совѣтникъ, изъ добровольцевъ, ихъ и подслушалъ:—Чему, сударыня, не вѣрите?

„Туда-сюда. Оказалось на повѣрку, что онѣ и сами досконально не знаютъ, чему вѣрятъ, чему не вѣрятъ. Стоятъ передъ своимъ судіей да только ножками сучатъ. А онъ и судья-то не настоящій былъ, такъ, со стороны какой-то взялся. И несмотря на это, не только ихъ проэкзаменовалъ, да еще къ бабушкѣ въ деревню подъ надзоръ отправилъ.

„Много нынче черезъ это самое молодыхъ людей пропадаетъ. Сначала въ одно не вѣрятъ—потомъ въ другое, а наконецъ и въ третье. Иной бы впослѣдствіи и радъ повѣрить, да нѣтъ, братъ, шалишь! Близокъ локоть, да не укусишь. И вотъ какъ дойдутъ они до предѣла—ихъ и поманятъ:—позвольте объяснить, въ какой силѣ и почему?—А какъ необъяснимое объяснить!

„Я самъ въ молодыхъ лѣтахъ однажды этого духа набрался. Пришелъ, какъ смерклось, на кладбище, да и гаркнулъ: не вѣрю! А тутъ подъ плитой статскій совѣтникъ Шешковскій лежалъ:—извольте, говоритъ, повторить!—И вдругъ-это всѣ могилы зашевелились—лѣзутъ на меня отовсюду, да и шабашъ! У кого кабанья голова, у кого—конёвья... Волки, медвѣди, ехидны, змѣи...

„И что же потомъ оказалось—что при блаженной памяти императрицѣ Екатеринѣ II чиновниковъ тайной канцеляріи на этомъ кладбищѣ хоронили! Они меня и подсидѣли“.

„Нынѣче съ самаго малаго возраста ужъ всѣмъ наукамъ учатъ. Клонъ, отъ земли не видать—а его съ утра до вечера ничкаютъ. Въ наукѣ тоже, чай, всякія слова бываютъ; иное надо бы и пропустить, а у насъ не разбираютъ: всѣ слова сподрядъ учи! Точно въ Ростовѣ каплунамъ насильно въ зобъ кашу пальцемъ проталкиваютъ. Ну, мальчёнко долбитъ-долбитъ, да и закричитъ:—не вѣрю!

„А по моему настоящая наука только одна: сиди у моря и жди погоды. Вывезетъ – хорошо; не вывезетъ—дожидайся случая. А между прочимъ поглядывай. Какова пора ни мѣра—не упускай, а упустилъ—старайся быть впередъ провориѣе. Но паче всего помни, что жизни сей обстоятельства не нами устраиваются, а намъ надлежитъ только глядѣть въ оба.

„По наружности наука эта не трудная: ни азовъ, ни латыни, ни ариѳметики. Однако ни въ какой другой наукѣ не случается столько эпизодовъ, какъ въ этой. Всю жизнь въ ней экзаменъ держать предстоптъ, а экзаменатора впередъ угадать нельзя. Сегодня ты къ одному экзаменатору приспособился, а завтра этотъ экзаменаторъ самъ въ экзаменуемые попалъ. Вотъ какова сей жизни превратность.

„И первое въ этой наукѣ правило—во все вѣрить. Спросятъ тебя: „Въ настоящихъ русалокъ вѣришь?“—Вѣрю.—„А въ непастоящихъ русалокъ вѣришь?“—Вѣрю.—„Ну, живи!“...

„Я самъ всегда этихъ правилъ въ жизни держался—оттого двадцатый годъ въ маіорскомъ чинѣ состою. И буду ли когда-нибудь подполковникомъ—неизвѣстно“.

„Прожилъ, господа, я свою жизнь; шестой десятокъ заканчиваю. Молодость—почти совсѣмъ позабылъ, середку—тоже, а вотъ это помню: что и въ началѣ, и въ серединѣ—всегда шушъ пилъ. Давно что-то я его пью. День между пальцевъ проскочитъ, а вечеромъ—шушъ: съ нимъ и спать ляжешь. Вся жизнь тутъ. Былъ и подъ венгерцемъ, и въ Севастополѣ, и на полька ходилъ, а что осталось —спросите!

„Нѣтъ десятокъ тому назадъ собралось насъ въ полку пять человѣкъ добрыхъ товарищей: все однолѣтки и все маіоры. Соберемся, бывало, и шушъ пьемъ. Пить-то пьемъ, а разговору у насъ нѣтъ. Заведемъ разговоръ—смотришь, сейчасъ ему и конецъ. И я съ вѣдь-

мой шабашилъ, и другой съ вѣдьмой шабашилъ; и я съ русалкой купался, и третій съ русалкой купался. У всѣхъ — одно. Однажды вздумали про сотвореніе міра говорить, такъ и то у всѣхъ одно и то же выходитъ. А пѣсни пѣть совѣстно. Скажутъ: захмелѣли маіоры.

„Пріѣдешь, бывало, къ помѣщику въ гости—сейчасъ-это въ садъ поведутъ. Показываютъ, водятъ. „Вотъ это—аллея, а это—прудъ". А ты только объ одномъ думаешь: скоро ли водку подадутъ.

„— Нравится вамъ?

„— Помилуйте!

„— Такъ не угодно ли въ поле, пшеничку посмотрѣть?

„— Съ удовольствіемъ!

„Или въ клубъ на танцовальный вечеръ тебя нелегкая занесетъ. Сядешь въ уголъ, а тутъ къ тебѣ предводительша подлетитъ.

„— Извольте, маіоръ, кадриль со мной танцовать!

„— Съ удовольствіемъ-съ.

„— Нравятся вамъ наши балы?

„— Помилуйте!

„— На будущей недѣлѣ я пикникъ въ пользу бѣдныхъ устраиваю—пріѣдете?

„— За честь сочту-съ.

„Полковой командиръ у насъ женился, молодую жену привезъ. Натурально, обѣдъ. И меня, какъ сейчасъ помню, по правую руку около жены посадилъ.

„— Вамъ не скучно подлѣ меня сидѣть?

„— Помилуйте-съ!

„— А ежели не скучно, будемте разговаривать.

„— Съ удовольствіемъ-съ.

„Ни въ мужскомъ, ни въ женскомъ обществѣ—нигдѣ разговору нѣтъ. Познакомишься, бывало, съ дамочкой, подведутъ тебя къ ней, словно на трензеляхъ:

„— Вы, маіоръ, женское общество любите?

„— Помилуйте, сударыня!

„— Въ такомъ случаѣ приходите почаще.

„— За честь почту-съ.

„Сядешь и молчишь. Вотъ она посидитъ-посидитъ, видитъ, что малому-то не до разговоровъ, и молвитъ:

„— Приходите сегодня вечеромъ вонъ въ ту бесѣдку...

„Тутъ словно какъ и оживишься... го-го-го!

„Скука. И самому скука, и другимъ смерть. Придешь домой, а тамъ ужъ полну комнату скуки наползло. Попробуешь думать—черезъ четверть часа готовъ: всѣ думы передумалъ... Пуншу!

„Съ самой ранней молодости мы разгулъ за веселье, а ёрничество за любовь принимали, да такъ спозаранку и одичали. Изъ всѣхъ этихъ свѣтскихъ манеръ только и знали, что шпорами, бывало, щелкнешь.

„Отъ этого я никогда объ женитьбѣ серьезно не думалъ. Начнешь, бывало, умомъ раскидывать: что бы мнѣ больше всего въ женѣ нравилось?—и непремѣнно что-нибудь ординарное надумаешь. Такъ вѣдь для ординарнаго не много нужно: вышелъ за ворота и свиснулъ. А чтобы обстановочка какая-нибудь, чтобы, напримѣръ, постелька какъ слѣдуетъ, занавѣсочка, столъ, самоварчикъ, чай, кофе—„хорошо ли ты, мой другъ, почивалъ?“—этого и въ воображеніи не было. Растянешься на диванѣ, какъ одеръ, подъ головой замасленная кожаная подушка—и дрыхнешь. А въ передней, на голой доскѣ, деньщикъ во снѣ стонетъ. Встанешь—и умываться не хочется. Чай деньщикъ подастъ:—Чортъ тебя знаетъ, скотина, чего ты въ чай мѣшаешь!

„И все-таки скажу: лучше въ нашемъ званіи такъ прожить, нежели на семейную жизнь соблазниться. Иной не воздержится, женится—и что же выйдетъ? Дѣвочка-то, какъ замужъ выходила, ровно огурчикъ была, а черезъ два, три мѣсяца, смотришь, она ужъ въ какихъ-то кацавейкахъ офицеровъ принимаетъ: опустилась, обвисла, трубку куритъ, верхомъ на стулъ садится. Халда халдой“.

„Въ послѣднее время начали при полкахъ исправныя библіотеки содержать. Это бы хорошо, да какъ себя, на старости лѣтъ, принудить читать? Возьмешь газету—вездѣ словно концы разсказываютъ, а начала не знаешь. Воспитаніе-то я „домашнее“ получилъ, а потомъ—прямо въ полкъ. Такъ даже стиховъ никакихъ не знаю. Помню, что подъ венгерца ходилъ, поляка два раза усмиряли, съ туркой за ключи воевали, а французъ съ англичаниномъ помогали ему... Помню, потому что самъ тамъ былъ, а что и какъ—спросить не догадался. Начальство приказывало—вотъ и все. Поэтому, какъ стали насильно заставлять газеты читать, все и пишешь: гдѣ же начало?

„Въ то время какъ насъ пять маіоровъ въ полку было, досталъ одинъ маіоръ исторію Карамзина: — Давайте, братцы, читать! — Какъ дошли мы до Святополка Окаяннаго, такъ оно на меня подѣйствовало, что я, и во снѣ, и наяву, все, бывало, Святополка Окаяннаго вижу. Кого ни встрѣчу, офицера, помѣщика, солдата — всѣмъ про него разсказываю. А черезъ недѣлю меня и самого стали Святополкомъ Окаяннымъ честить. На этомъ и пошабашилъ.

„Стоялъ я, еще въ чинѣ ротмистра, въ Орловской губерніи, въ деревнѣ у одного помѣщика. Богатый былъ, молодой и холостой. Вотъ и повадился я къ нему ходить. Хожу и все спрашиваю: — Отчего это мнѣ жить очень скучно?

„— Водку, говоритъ, пьете?

„— Пью.

„— Клоштосы на бильярдѣ умѣете дѣлать?

„— Умѣю.

„— А географію знаете?

„— Н-н-нетвердо.

„— Вотъ то-то и есть.

„И началъ онъ меня коротенько всякимъ наукамъ учить. Сегодня — одну науку разскажетъ, завтра — другую. А я приду въ полкъ да вахмистру пересказываю... И что же потомъ оказалось? Что все-то онъ мнѣ въ насмѣшку разсказывалъ!“

„Вы, господа, не смѣйтесь: охота-то, значитъ, во мнѣ была, да не ко двору пришлась. Былъ у насъ юнкеръ въ полку, служилъ исправно, и вдругъ тосковать началъ. Тосковалъ-тосковалъ, да и ушелъ въ университетъ. Отецъ узналъ, да арапникомъ — и опять въ полкъ. А онъ опять въ университетъ. Да до трехъ разъ. Такъ и бросили.

„И что же вышло? Я какъ тогда былъ маіоръ, такъ и теперь маіоръ, а онъ, съ годъ тому, въ генеральскомъ чинѣ, инспекторскій смотръ полку дѣлалъ. Изъ университета-то, изволите видѣть, опять въ юнкера поступилъ, да въ академію, а оттуда и пошелъ, и пошелъ...

„Однакоже на смотру узналъ меня.

„— Вы ли, маіоръ?

„— Онъ самый-съ.

„Потужилъ, покачалъ головой, поцѣловалъ и уѣхалъ. Я, признаться, понадѣялся, не произведутъ ли въ подполковники—да гдѣ ужъ!

„При моей охотѣ, да кабы въ университетъ... Можетъ быть, и я бы теперь генераломъ былъ".

„Служилъ я всегда исправно и часть свою въ порядкѣ содержалъ. Только два раза въ теченіе всего времени взысканіямъ подвергался.

„Въ первый разъ—на абвахтѣ сидѣлъ. Купался я однажды съ русалкой, а какой-то озорникъ взялъ да аммуницію мою въ кусты спряталъ. Я, было, задворками да перелѣсочкомъ на квартиру—анъ на встрѣчу стадо. Какъ увидѣли коровы—словно взбѣленились. Словомъ сказать, вышелъ скандалъ.

„Въ другой разъ—изъ трактира ночью шли. Идемъ и видимъ, что извозчики, прикурнувши на дрожкахъ, спятъ. „Разнуздаемте, господа, лошадей!" Разнуздали; отошли подальше, кричимъ: „извозчикъ!" Можете себѣ представить картину! Возжами дергаютъ, кнутомъ хлещутъ, лошади несутся какъ бѣшеныя... Однако съ однимъ извозчикомъ обошлось неблагополучно. На другое утро—къ полковнику. „Стыдитесь, корнетъ!"

„Встарину такіе поступки „шалостями молодыхъ людей" назывались. Окна въ трактирѣ перебить, будочника съ ума свести, купцу бороду спалить, при встрѣчѣ съ духовнымъ лицомъ заголотать—вотъ какія тогда удовольствія были. Однажды квартальный къ полиціймейстеру съ рапортомъ шелъ, такъ ему въ заднюю фалдочку кусокъ лимбургскаго сыру положили, а полиціймейстеръ за это свиньей его назвалъ.

„Признаться сказать, теперь я и самъ удивляюсь: какія же это удовольствія!"

„А подъ конецъ разскажу вамъ самое любопытное: какъ я одинъ разъ конституціи требовалъ.

„Было это въ то время, когда насъ, послѣ севастопольской кампаніи, въ видѣ героевъ, господину Кокореву препоручили. Тогда по всей Россіи восторгъ былъ. Во-первыхъ, война кончилась, а во-вто-

рыхъ, мягкость какая-то вездѣ разлилась. Курить на улицахъ было дозволено, усы, бороды носить. Съ этого началось. А главное, не возбранялось ни ходить, ни сидѣть, ни смѣяться, ни плакать. Хочу—хожу, хочу—сижу; хочу—молчу, а надоѣло молчать—возьму да и поговорю. И никакого вреда отъ этого не было—ей Богу! словомъ сказать, такой неожиданный моментъ выдался, когда всѣ только удовольствіе испытывали.

„Разумѣется, не обходилось и безъ фанаберіи. Одни говорили: нужно, чтобъ у мужика каждый день добрая чарка водки была: но были и такіе, которые прибавляли: а для прочихъ чтобы конституція. Однако, ни тѣхъ, ни другихъ не тревожили, а только на замѣчаніе брали.

„Мы, герои, вели себя очень скромно. И въ эрмитажѣ побывали, и въ кунсткамерѣ, и въ Исакіевскомъ скверѣ—тихо, благородно. Конечно, вечеркомъ попоздѣе, подъ руководствомъ Василья Александровича, изрядно-таки накачивались, но по большей части насъ увозили для этого въ Ушаки *). Отзвонимъ сутокъ двое, да и опять въ Петербургъ свѣтленькіе воротимся.

„Вотъ однажды благодушествуемъ мы такимъ образомъ въ Ушакахъ, и налакались-таки до предѣловъ. И началъ нашъ любезный хозяинъ объяснять: для чего, когда поѣздъ на станцію приходитъ, рабочіе подъ вагонами лазаютъ да объ колеса и шины постукиваютъ? —Для того, говоритъ, чтобы знать, все ли исправно, и нѣтъ ли гдѣ изъяна. А подобно сему, говоритъ, на будущее время и въ государственныхъ дѣлахъ поступать надлежитъ. На удалую-то не скакать, а сначала постучать: а ежели окажется трещина или раковина, то заплаточку положить, а потомъ ужъ ѣхать.

„Что же, стучать, такъ стучать. Начали мы стучать, и что дальше, то больше. Одни говорятъ: на первый разъ достаточно чарки добраго вина; другіе говорятъ: этого мало, нужно конституцію... А въ томъ числѣ и я.

„Только находился промежъ насъ одинъ мужчина. Притворился онъ, будто лыка не вяжетъ, а самъ даже подъ шефе настоящимъ образомъ не былъ. Образина, можно прямо сказать, беззаконная.

*) Ушаки—имѣніе, принадлежавшее въ концѣ пятидесятыхъ годовъ г. Кокореву. Послѣдняя станція отъ Петербурга передъ Лугою.

Глаза—въ-раскосъ, ротъ—на сторону; одна щека опухла, другая—словно сейчасъ изъ-подъ утюга. Но такъ было тогда всѣмъ хорошо, что мы даже передъ этими явными признаками не остереглись.

„Разумѣется, я проспался и на другой же день все перезабылъ. И вдругъ, на третій день—къ генералу требуютъ.

„— Знаете вы, что̀ такое конституція?

„— Никакъ нѣтъ, ваше превосходительство.

„— Почему же вы такъ ея желаете?

„— Не могу знать, ваше превосходительство.

„— Не можете знать... гм... Однакожъ припомните-ка... въ Ушакахъ?..

„— Виноватъ, ваше превосходительство.

„— То-то вотъ и есть. Значенія слова не знаете, а злоупотребляете имъ. Забудьте объ этомъ, мой другъ! Это васъ врагъ рода человѣческаго смутилъ!

„Съ этимъ и отпустилъ... это тотъ самый генералъ, который прежде безъ серьезнаго слова минуты обойтись не могъ, а теперь... „мой другъ“! Вотъ время какое волшебное было!

„Разумѣется, я на извозчика и домой. А дня черезъ три послѣ этого насъ, героевъ, по полкамъ водворили“.

Вечеръ второй.

Audiatur et altera pars.

Не разъ случалось мнѣ слышать отъ людей благорасположенныхъ: зачѣмъ вы все изнанку да изнанку изображаете? вѣдь это и для начальства непріятно, да и по существу неправильно. Вы думаете, сладко начальству слышать: ты чего смотришь? ты зачѣмъ допускаешь? Какъ будто бы оно можетъ зачѣмъ-нибудь не усмотрѣть и чего-нибудь не допустить!? А съ другой стороны, развѣ естественно, чтобы на свѣтѣ были одни мздоимцы, да прелюбодѣи, да предатели? Вѣдь мы давно бы изгибли всѣ до единаго, еслибъ это было такъ! А вы попробуйте-ка взглянуть наоборотъ—можетъ быть, и другое что-нибудь выйдетъ? Ну-те-ка, съ Богомъ... а?

Долго я не понималъ, въ чемъ заключается суть этихъ благожеланій, и потому не обращалъ на нихъ вниманія. Съ легкомыслiемъ, достойнымъ лучшей участи, я указывалъ на мздоимство Фейера, хищничество Дерунова и Разуваева, любострастіе маіора Прыща, безсмысленное злопыхательство Угрюмъ-Бурчеева и проч., и, сознаюсь откровенно, почти никогда не приходило мнѣ на мысль, что рядомъ съ Фейерами, Прыщами и Угрюмъ-Бурчеевыми существуютъ Правдины, Добросердовы и Здравомысловы. Не потому не приходило, чтобъ я игнорировалъ или презиралъ этихъ людей, но потому, что мнѣ всегда казалось, что они и сами на себя смотрятъ какъ-то сомнительно. Какъ будто не знаютъ, дѣйствительно ли они люди, а не призраки. Говорить начнутъ—словно ихъ тошнитъ; къ дѣлу приступятся—словно веревки во снѣ вьютъ. Но въ особенности меня ставило въ тупикъ ихъ робкое отношеніе къ населяющимъ землю Простаковымъ и Скотининымъ,—отношеніе, не выразившееся не только ни однимъ горячимъ поступкомъ, но и ни однимъ искреннимъ словомъ. Вѣдь эти Правдины, говорилъ я себѣ, не какіе-нибудь обдѣленные, которымъ протесты не такъ-то легко сходятъ съ рукъ, а такіе же сильные міра, какъ и Скотинины. Какимъ же образомъ они могутъ смотрѣть на всевозможныя безчинства и даже злодѣйства необузданныхъ дикарей, и ограничиваются только тѣмъ, что пробормочутъ *въ сторону* номенклатуру происходящихъ передъ ихъ глазами гнусностей? Какъ хотите, а это неестественно. Поэтому мнѣ казались сомнительными и самые Правдины, хотя я и зналъ, что они не только существуютъ, но и пользуются особливымъ отъ начальства довѣріемъ. Они *никого не трогаютъ*—вотъ ихъ главное право на почетную роль въ обществѣ и въ то же время ихъ жизненный девизъ. Они добродѣтельны, правдивы и здравомысленны—*для себя;* другимъ же отъ такихъ похвальныхъ ихъ качествъ—ни тепло, ни холодно. И бродятъ они по свѣту, получая привосенные *никого не трогающимъ* людямъ чины и ордена.

Все это я впрочемъ только объясняю, а отнюдь не оправдываюсь. Напротивъ того, въ послѣднее время я вполнѣ убѣдился, что разсуждалъ легкомысленно и совершенно понапрасну утруждалъ и огорчалъ начальство. Одно могу сказать себѣ въ утѣшеніе: огорчать начальство никогда не было въ моихъ правилахъ, и я никогда не дѣлалъ этого преднамѣренно. Въ наивности души своей я думалъ, что

содѣйствую, а на повѣрку оказалось, что я противодѣйствовалъ. Нужно было устроить такъ, чтобы Правдинъ побѣдилъ Скотинина, а я о Правдинѣ-то и позабылъ, вслѣдствіе чего Скотининъ такъ и остался непобѣжденнымъ.

Теперь я рѣшился и самъ исправиться, и все мною написанное исправить. Къ счастію, разбираясь въ обширномъ матеріалѣ, накопленномъ моею памятью, я вижу, что это не составитъ для меня даже особеннаго труда. Въ этомъ матеріалѣ я нахожу такое количество драгоцѣннѣйшихъ фактовъ и отраднѣйшихъ образовъ, что съ моей стороны было бы даже непростительнымъ грѣхомъ, еслибы я не познакомилъ съ ними моихъ читателей.

Начну съ городничихъ.

Городничіе-безсребренники.

Былъ одинъ городничій, который совсѣмъ взятокъ не бралъ, такъ что долгое время всѣ обыватели въ недоумѣніи были. Думали, что онъ нарочно сдерживается, чтобы впослѣдствіи учинить генеральный походъ. Но когда прошло довольно времени, и похода не было, то дивились. „Какъ это—думалось всѣмъ—онъ насъ не грабитъ? и какъ онъ на свое жалованьишко съ семьей живетъ?“ Жалованье же въ то время городничему полагалось чуть не семь сотъ на ассигнаціи, да и семейство при этомъ не возбранялось имѣть. А у этого самаго городничаго, кромѣ жены и охапки дѣтей, еще двѣ свояченицы жили, да теща, да племянникъ-дурачокъ. Всѣхъ надо было накормить, напоить, обуть и одѣть. И онъ все это исполнялъ аккуратно, и даже пріятелей отъ времени до времени хлѣбомъ-солью угощалъ.

— Кузьма Петровичъ! да какъ же ты изворачиваешься? взятокъ ты не берешь, а между тѣмъ всего у тебя въ изобиліи?—спрашивали его прочіе чины, которые хотя тоже взятокъ не брали, однако и не отказывались.

Но онъ долгое время уклонялся отъ объясненій и только загадочно отвѣчалъ:

— Слово такое у меня есть!

Наконецъ однакожъ пристали къ нему такъ, что онъ рѣшился открыть свой секретъ.

— Когда меня на должность опредѣлили,—сказалъ онъ,—я на первыхъ порахъ чуть рукъ на себя не наложилъ. Жалованьишко малое, семья большая—какъ тутъ жить? Теща говоритъ: „надобно, Кузьма Петровичъ, взятки брать!“ а я въ отвѣтъ: „неблагородно!“ Жена плачетъ: „самъ ты посуди, какъ безъ взятокъ семью прокормить!“—а я въ отвѣтъ: „покажи законъ, коимъ дозволяется взятки брать!“ Словомъ сказать, уперся на своемъ, слышать ничего не хочу... Однако взятки не взятки, а пить-ѣсть надобно. Вотъ взмолился я ангелу своему: Кузьма безсребренникъ, угодникъ Божій! научи, какъ мнѣ быть! Молюсь день, молюсь ночь — нѣтъ ничего. Молюсь еще день, еще ночь — опять нѣтъ ничего. На третью ночь чувствую, словно бы вѣтромъ на меня пахнуло - и вдругъ кто-то мнѣ въ ухо „слово“ шепнулъ... Съ тѣхъ поръ я и поправился. Балыка на закуску захочу — сейчасъ: встань передо мной, какъ листъ передъ травой! бакалейщикъ Бородавкинъ! чтобъ былъ балыкъ!—смотришь, а онъ ужъ и на столѣ. Выйдетъ запасъ чаю, сахару—кликну: встань передо мной какъ листъ передъ травой! бакалейщикъ Зензивѣевъ! чтобъ былъ чай-сахаръ! — а онъ ужъ и тутъ какъ тутъ! Выйдутъ деньги — закричу: встань передо мной какъ листъ передъ травой! господинъ откупщикъ! или вы своихъ обязанностей не знаете! — и деньги въ карманѣ! Такъ и живу! Взятокъ не беру, а всего у меня изобильно!

Открытіе это всѣмъ показалось настолько занимательнымъ, что и прочіе чины захотѣли воспользоваться имъ. И съ тѣхъ поръ ни въ городѣ, ни въ уѣздѣ у насъ никто взятокъ не бралъ, а всѣ были сыты, обуты, одѣты, а иногда и пьяны. Обыватели же гордились своими начальниками и говорили: у насъ взятокъ не берутъ! наши начальники „слово“ знаютъ!

Одинъ городничій говаривалъ:

— Я одной рукой беру, а другой—отдаю! развѣ это взятка!

— Какъ же это выходитъ у васъ, Христофоръ Иванычъ? — спрашивали его однажды сослуживцы, которые обѣими руками брали и ни одною не отдавали.

— Очень просто,—отвѣтилъ онъ.—Сейчасъ деньги получу, и сейчасъ же на нихъ какое-нибудь произведеніе куплю. Стало быть,

что изъ народнаго обращенія выну, то и опять въ народное же обращеніе пущу.

И когда всѣ подивились его мудрости, то прибавилъ:

— То же самое, что казна дѣлаетъ. Съ мужичковъ деньги беретъ, да мужичкамъ же ихъ назадъ отдаетъ.

Съ тѣхъ поръ въ городѣ Добромысловѣ никто не говорилъ: „брать взятки“, а говорили: „пускать деньги въ народное обращеніе“.

Одинъ городничій охотникъ былъ до рыбы. Придетъ на садокъ и скажетъ рыбнику:

— Стерлядки у тебя, я слышалъ, Герасимъ, хороши?

— Есть тотъ грѣхъ, вашескородіе.

— Уху соорудить можешь?

— Можно, вашескородіе.

— А вѣдь къ ухѣ-то, пожалуй, и обстановочку пристойную нужно?

— И это въ нашихъ рукахъ, вашескородіе.

— Валяй!

Съѣстъ уху, выпьетъ пристойную обстановку, щелкнетъ языкомъ и уйдетъ.

А Герасимъ ему въ догонку:

— Ангелъ!

Городничій Ухватовъ во всей губерніи славился своимъ безкорыстіемъ.

Однажды вечеромъ пришли къ нему два мѣщанина съ взаимной претензіей.

Нашли они оба разомъ на дорогѣ червонецъ. Одинъ говоритъ: „я первый увидѣлъ“, другой: „а я первый поднялъ!“ И оба требовали, чтобы Ухватовъ ихъ разсудилъ.

Тогда Ухватовъ сказалъ:

— Вотъ что, ребята. Положите вы этотъ червонецъ ко мнѣ на божницу. Ежели онъ ночь пролежитъ и цѣлъ останется—значитъ, вы оба правы, и должны раздѣлить червонецъ пополамъ; ежели же онъ исчезнетъ, то, значитъ, вы оба неправы, и сама судьба не хочетъ, чтобы кто-нибудь изъ васъ воспользовался находкой.

Такъ и сдѣлали.

Прошла ночь, наступило утро; хвать-похвать—нѣтъ червонца! Рѣшили: такъ какъ червонецъ исчезъ — стало быть, оба мѣщанина неправы.

Съ тѣхъ поръ и мѣщане, и купцы валомъ повалили на судъ къ Ухватову. И онъ всѣ дѣла рѣшалъ по одному образцу. Но этого мало! даже тѣ чины, которые прежде дѣла рѣшали за взятки—и тѣ перестали мздоимствовать и начали поступать по примѣру Ухватова.

А губернаторъ, узнавши о семъ, говорилъ: — Молодецъ Ухватовъ!

Одинъ городничій тоже славился безкорыстіемъ, а сверхъ того любилъ Богу молиться и ни одной церковной службы не пропускалъ. И Богъ ему за это посылалъ.

Увидѣвши, что городничій взятокъ не беретъ, а между тѣмъ пить-ѣсть ему надобно, обыватели скоро нашли средство, какъ этому дѣлу помочь. Кому до городничаго дѣло есть, тотъ купитъ просвирку, вырѣжетъ на донышкѣ мякишъ, да и суетъ туда по силѣ-возможности: кто золотой, кто ассигнацію. А городничій просвирѣ всегда очень радъ. Начнетъ кушать и вдругъ—ассигнація!

— Домнушка! дѣти!—кликнетъ онъ домочадцевъ: — посмотрите-ка, что намъ Богъ послалъ!

И всѣ радуются.

А однажды такъ въ рыбѣ четыре золотыхъ пашелъ—то-то было радости!

И что-жъ! даже тутъ нашлись завистники. Узналъ стрянчій, что городничій просвиры съ ассигнаціями ѣстъ—сталъ доносомъ грозить. Но тутъ ужъ обыватели городничаго выручили: начали по двѣ просвирки носить. Одну для городничаго, другую — для стрянчаго. И по двѣ рыбы.

И опять настала въ городѣ тишь да гладь, да божья благодать.

Одинъ городничій дочь замужъ выдавалъ, а передъ этимъ онъ только-что взятки пересталъ брать. Говорила ему жена: „рано ты, Антонъ Антонычъ, на покой собрался!“—а онъ не послушался. Заладилъ: „будетъ!“—и свадьбу дочери изъ вида упустилъ.

Вотъ, когда дѣло съ женихомъ ужъ сладилось и надо было приданое готовить, жена и начала къ нему приставать: „говорила я тебѣ, что рано ты на покой собрался!“ А черезъ часъ еще: „говорила я тебѣ, что рано“... А черезъ два часа опять: „говорила я тебѣ“... Да такимъ образомъ черезъ часъ по ложкѣ. Долбила да долбила, и до того додолбилась, что опалѣлъ городничій. Самому жалко стало.

И вотъ взмолился онъ: „Просвѣти, Боже, сердца краснорядцевъ, бакалейщиковъ, погребщиковъ, мясниковъ и рыбниковъ! И научи ихъ! Дабы не во взятку, но въ приношеніе, и не по принужденію, а отъ сердца полноты!“

И молитва его была тайная, только слышалъ ее квартальный надзиратель.

И что же! не прошло двухъ дней, какъ краснорядцы цѣлые вороха матерій городничихѣ нанесли, погребщики—ящики съ винами, бакалейщики—кульки бакалеи всякой, а откупщикъ—тысячу рублей прислалъ!

Сыгралъ городничій свадьбу на славу и вслѣдъ затѣмъ въ отставку вышелъ. „Это, говоритъ, моя лебединая пѣсня была!“

Вскорѣ послѣ этого онъ тутъ же подъ городомъ и имѣньице купилъ, и теперь земскимъ дѣятелемъ по выборамъ служитъ и всѣмъ разсказываетъ, какъ онъ несчастливъ былъ, когда взятки бралъ, и какъ былъ потомъ вознагражденъ, когда пересталъ взятки брать.

— То ли дѣло,—говоритъ:—какъ на совѣсти-то ни пятнышка! Встрѣтишься съ обывателемъ—прямо ему въ глаза смотришь!

Одинъ городничій плавать не умѣлъ, а купаться любилъ. Только пошелъ онъ однажды купаться и началъ тонуть, а мѣщанинъ, стоявшій на берегу, бросился въ воду и вытащилъ его. За это городничій далъ мѣщанину цѣлковый, но онъ отъ награды отказался, только рюмку водки выпилъ.

Прошло послѣ того много лѣтъ; мѣщанинъ проворовался и тоже сталъ тонуть. То-есть, не въ рѣкѣ тонуть, а въ купели, называемой уложеніемъ о наказаніяхъ. Городничій же, вспомнивъ его прежнюю заслугу, не только изъ купели его вытащилъ, но и отказался отъ пяти рублей, которые мѣщанинъ хотѣлъ ему подарить изъ украденныхъ денегъ.

— Не надо мнѣ твоихъ денегъ,—сказалъ городничій:—сдѣлайся честнымъ человѣкомъ—вотъ чѣмъ ты меня лучше всего отблагодаришь.

— Рады стараться, вашескородіе!—отвѣчалъ воръ.

Одного городничаго спрашивали:

— Берете вы взятки, Иванъ Парамонычъ?

— Никогда!!

Вотъ цѣлыхъ восемь характеристикъ. Я могъ бы представить и больше, но полагаю, что этого достаточно. Не буду впрочемъ преувеличивать. Безспорно, что были и между городничими взяточники (какъ о томъ устныя преданія и доднесь свидѣтельствуютъ), но не всѣ. Вотъ это-то обыкновенно и упускается изъ виду господами-обличителями. Сверхъ того, многіе изъ бравшихъ взятки раскаялись, а это тоже необходимо принимать въ разсчетъ для полноты картины. Вообще же, мнѣ кажется, слѣдуетъ принять за правило: описывать только то, что хорошо и благородно. Этого же правила не лишне держаться и въ живописи: съ персонъ, обладающихъ физіономіями чистыми и пріятными—писать портреты, а персонъ, обладающихъ физіономіями нелицепріятными, обезображенными золотухой, оспой, наложными синями и проч.—оставлять безъ портретовъ. Такой образъ дѣйствія и начальству удовольствіе доставитъ, и самому описателю дастъ возможность многіе годы прожить благополучно. Какая польза напоминать о взяткахъ и обдираніяхъ, когда взятое давнымъ-давно проѣдено, а ободранное вновь заросло лучше прежняго! А еще того лучше: совсѣмъ ничего не писать. Было же время, когда ни о чемъ ничего не писали—и всѣ были благополучны. Потомъ наступило время, когда *обо всемъ* и *все* начали писать—и „вотъ къ чему“ привели! Такъ не пора ли опять на прежнюю колею вступить—можетъ быть, и опять мы благополучны будемъ?

— Вотъ это-то именно я теперь и понялъ.

— Для чего вы заводите рѣчь о чиновничьихъ добродѣтеляхъ, коли сами сознаете, что лучше совсѣмъ ничего объ нихъ не писать? быть можетъ спроситъ меня благосклонный читатель.—А для того, отвѣчу я, чтобы исправить мою репутацію. Сначала эту задачу вы-

полію, а потомъ и совсѣмъ брошу. Я знаю, что задача эта не весьма умная, но вѣдь глупыя дѣла бываютъ въ родѣ повѣтрія. Глупые фасоны вышли—вотъ и все. Но ежели глупые фасоны застрянутъ на неопредѣленное время, тогда, разумѣется, придется совсѣмъ бросить и бѣжать куда глаза глядятъ...

Затѣмъ перехожу къ другимъ чинамъ, о доблестяхъ которыхъ тоже могу поразсказать достаточно.

Въ до-реформенное время почти всѣ служебныя должности, и въ администраціи, и по судебному вѣдомству, занимались, въ губерніяхъ и уѣздахъ, по выбору отъ дворянства. Поэтому все было тогда благородно. Крѣпостное право тоже не мало этому соспѣшествовало, такъ какъ, благодаря ему, всякій благородный человѣкъ, въ сущности, былъ и должностнымъ лицомъ. Правилъ насчетъ благородства никакихъ не было, а просто предполагалось, что отъ благородныхъ людей слѣдуетъ ожидать благородныхъ поступковъ. Все остальное дѣлалось само собой, въ силу искони сложившихся обстоятельствъ, и дѣлалось хорошо и прочно. Тишина была и благорастворепіе. Протесты прорывались рѣдко—и оканчивались наказаніями на тѣлѣ; насильственные поступки совершались еще рѣже—и оканчивались отдачею въ солдаты, ссылкой въ Сибирь, каторгой и т. п. Благородные люди не входили другъ съ другомъ въ соглашеніе, и тѣмъ не менѣе гармонія была полная. Не было ни съѣздовъ, ни обмѣна мыслей, ни возбужденія и разрѣшенія вопросовъ, а всякій понималъ свое дѣло столь отлично, какъ будто сейчасъ со съѣзда пріѣхалъ. Каждый дѣйствовалъ за себя лично, но эти личныя дѣйствія сливались въ одномъ согласномъ хорѣ, въ которомъ ни единаго диссонанса не было слышно. Удивительное это было время, волшебное, и называлось оно *порядкомъ вещей*. Нѣчто въ родѣ громаднаго сосуда, въ которомъ безразлично были намѣшаны и лакомства, и свиное сало, и купоросное масло. Ничего разобрать было нельзя, но именно потому эта смѣсь и была такъ устойчива.

Неудивительно, что волшебныя эти времена оставили въ избранныхъ душахъ благодарныя воспоминанія. Еще менѣе удивительно, что въ средѣ этихъ избранниковъ прорывается стремленіе возстановить эти времена и возвратиться къ тому спокойному и величаво-

благородному жизненному теченію, которое составляло ихъ существенное обаяніе. Кому не мило благородство? Кому не дорога тишина? Помилуйте? да не изъ-за этого ли мы всѣ и бьемся!

Къ сожалѣнію, избранники обыкновенно упоминаютъ при этомъ о какомъ-то дворянскомъ принципѣ. Тогда, дескать, дворянскій принципъ господствовалъ—оттого и было всѣмъ хорошо. Возстановимте опять этотъ принципъ—и опять будетъ всѣмъ хорошо.

Но это не такъ. Во времена, о которыхъ идетъ рѣчь, никакихъ принциповъ не было—вотъ отчего было всѣмъ хорошо. Это-то именно и называлось *порядкомъ вещей*. Существовала, какъ я уже сказалъ выше, смѣсь, до того непроницаемая, что ни расчленить составные ея элементы, ни анализировать ихъ было невозможно. Или нѣчто въ родѣ запертой нагоды, безъ оконъ и дверей, въ которой хранились никому неизвѣстныя и недоступныя письмена.

Повторяю: желаніе возвратить утерянный рай заслуживаетъ полнаго сочувствія, ибо нельзя себѣ представить ничего болѣе блаженнаго, нежели райское житіе. Но для того, чтобы достигнуть этой цѣли, прежде всего необходимо воздержаться отъ нѣкоторыхъ проявленій пытливости, которыя сами по себѣ составляютъ новшество, несовмѣстимое съ *порядкомъ вещей*. Мы ищемъ освободиться отъ новшествъ, замутившихъ нашу жизнь, и въ то же время сами прибѣгаемъ къ наиболѣе пагубному изъ этихъ новшествъ: къ пытливости —развѣ это логично?

Не надо пытаться проникнуть въ запертую нагоду, ибо проникновеніе предполагаетъ отпертую или даже—чего Боже сохрани!—взломанную дверь. Разъ что дверь отперта, или—чего Боже сохрани! —взломана, кто можетъ поручиться, что въ нее не войдутъ такіе „сторонніе люди“, которые сразу разгадаютъ смыслъ хранящихся въ нагодѣ письменъ и переведутъ ихъ на языкъ, не имѣющій ничего загадочнаго? Равнымъ образомъ не слѣдуетъ заводить разговора и о принципахъ, потому что принципъ никогда не является въ одиночку, а всегда въ сопровожденіи цѣлой свиты. Мы будемъ хлопотать о возрожденіи и укрѣпленіи принципа дворянскаго, а рядомъ съ нимъ возникнетъ принципъ анти-дворянскій, о которомъ тоже будутъ хлопотать. А за этимъ принципомъ появятся и другіе принципы, о которыхъ тоже будутъ хлопотать. И выйдетъ въ результатѣ нѣчто совсѣмъ неожиданное, а именно: преслѣдуя идеалы тишины и

благоустройства, мы вмѣсто нихъ получимъ борьбу, свару, междоусобіе...

Итакъ, „впередъ безъ страха и сомнѣнья“! Но осторожно. Ни пытливости, ни принциповъ. И главное чтобы безъ шума; чтобы никто ни о чемъ никому нигугу. Чтобы какъ яичко въ Христовъ день: на, кушай! Великія предпріятія, какъ и великія мысли, въ тишинѣ зрѣютъ. Пререканія же, а тѣмъ паче остервенѣлая полемика, насквозь пропизанная озлобленіемъ и ненавистью, только погубляютъ ихъ.

Но будетъ ли успѣхъ?—на это я вполнѣ достовѣрнаго отвѣта дать не могу. Я могу только горѣть восторгомъ и признательностью, но отъ компетентности, въ смыслѣ разгадыванія загадокъ, уклоняюсь.

Одно меня смущаетъ: какъ поступить съ тѣми новыми явленіями и требованіями, которыя народились уже послѣ упраздненія „порядка вещей“ и въ рамки послѣдняго, судя по всѣмъ видимостямъ, втиснуты быть не могутъ?

Что дѣлать съ новыми судами, съ земскими учрежденіями, съ желѣзными дорогами, банками и т. п.?

Впрочемъ съ судами уладиться еще легко. Судебный персоналъ размѣстить, причислить и отчислить. Адвокатовъ — расшихать. А земство такъ даже очень радо будетъ. Опять свой перецъ, свой арбузъ, своя буженина, свои повара, свои садовники, кучера. доѣзжачіе... умирать не надо!

Но желѣзныя дороги? но банки? какъ съ ними поступить?

Совсѣмъ не слѣдовало бы желѣзныя дороги строить, да и банки не надо бы дозволять. Вотъ тогда былъ бы настоящій палладіумъ. Но такъ какъ дороги ужъ выстроены, а банки учреждены, то ничего съ этимъ не подѣлаешь.

Сколько сутолоки изъ-за однѣхъ желѣзныхъ дорогъ на Руси развелось! сколько кукуевскихъ катастрофъ! Спѣшатъ, бѣгутъ, давятъ другъ друга, кричатъ караулъ, изрыгаютъ ругательства... поѣхали! И вдругъ... паровозъ на дыбы! На встрѣчу другой... прямо въ лобъ! Батюшки! да никакъ смерть!

Или банки: объявленія печатаютъ, заманиваютъ, балансы подводятъ—къ намъ пожалуйте, къ намъ! Со всѣхъ концовъ рубли

такъ и илывутъ! рубли потные, захватанные, вымученные! Попы несутъ свои сбереженія... попы!! И вдругъ... трахъ!! Украли и убѣжали! деньги-то гдѣ же, деньги-то? Украли и убѣжали! Господи! да никакъ смерть!

Стоило ли дороги строить? стоило ли банки заводить?

А между тѣмъ какой запасъ распорядительности, ума и мышечной силы нужно имѣть, чтобъ все это направить, за всѣмъ усмотрѣть? И все-таки ничего не направить и ни зачѣмъ не усмотрѣть... Сколько муки нужно принять, чтобъ только по вагонамъ-то всѣхъ разсадить, а потомъ кого слѣдуетъ, за невѣжество, изъ вагоновъ высадить—да въ участокъ, да къ мировому!

Но этого мало. Во всѣхъ странахъ желѣзныя дороги для передвиженій служатъ, а у насъ, сверхъ того, и для воровства. Во всѣхъ странахъ банки для оплодотворенія основываются, а у насъ, сверхъ того, и для воровства.

Однако воровать вѣдь не дозволяется—это хоть у кого угодно спросите. Стало быть, и за этимъ надобно присмотрѣть. Запустилъ еврей Мошка лапу—надобно его изловить и въ полицію съ поличнымъ представить. Заигралъ Губошлеповъ мозгами—надо эти вредные мозги изъ него вынуть и тоже куда слѣдуетъ представить.

Могъ ли „порядокъ вещей“ удовлетворить этимъ требованіямъ? Увы! какъ это ни прискорбно для моего сердца, но я, не обинуясь, отвѣчаю: не могъ!

„Порядокъ вещей“ исходилъ изъ тишины и безпрекословія. Всякая сутолока, всякое движеніе были противны самой природѣ его. Я думаю, что онъ даже „публику“ не былъ бы въ состояніи чередомъ по вагонамъ разсадить. Всякій изъ этой „публики“ чего-то *своего* ищетъ, всякій резоны предъявляетъ; а „порядокъ вещей“ ни исковъ, ни резоновъ не допускалъ. Что же касается до воровства, то объ немъ и говорить нечего. „Порядокъ вещей“ вѣдалъ воровъ простыхъ, смирныхъ и безпрекословныхъ, а попробуйте-ка изловить Мошку и Губошленова! Первый скажетъ: „я не воровалъ, а только лапу запустилъ!“; второй: „я не воровалъ, а мозгами игралъ!“ А неподалечку и адвокаты стоятъ, кассаціонныя рѣшенія подъ мышкой держатъ. Попытайтесь доказать имъ, что „играть мозгами“ — это-то и есть оно самое: „воровать“...

Я не скажу, конечно, чтобы все это могъ предотвратить и „без-

порядокъ вещей", но и „порядокъ"... Нѣтъ, для того, чтобъ желѣзныя дороги были желѣзными дорогами, а банки—банками, что-то совсѣмъ особливое нужно. А что̀ именно—ей-Богу, не знаю.

На дняхъ случилось мнѣ объ этомъ предметѣ бесѣдовать съ однимъ опытнымъ инженеромъ.

— Какъ вы думаете, Филаретъ Михайлычъ,—спросилъ я его: —отчего у насъ, въ особенности по вашей части, такое нещадное воровство пошло?

— Голубчикъ! да какъ же не воровать?—отвѣчалъ онъ:—во-первыхъ, плохо лежитъ; во-вторыхъ, всякому сладенько пожить хочется, а въ-третьихъ—вообще...

— Однакожъ прежде о такихъ непстовыхъ воровствахъ не слыхать было?

— Прежде, мой другъ, вообще было тише. Дѣла были маленькія—и воровства маленькія. А нынѣче дѣла большія—и воровства пошли большія. Suum cuique.

— Воля ваша, а это безобразно!

— Нельзя иначе: сама жизнь пошла въ ширь. Прежде и на три рубля можно было себѣ удовольствіе доставить; а нынѣче ежели у кого нѣтъ сію минуту въ карманѣ пятисотъ, тысячи рублей, того всѣ кокотки несчастливцемъ почитаютъ. Жиды, мой другъ, въ гору пошли, а около нихъ ужъ и наши привередничаютъ. А сверхъ того и монетная единица. Ассигнація вѣдь, мой другъ, у насъ—ну, а что̀ такое ассигнаціи?

— Ну, что́ вы! вѣдь это тоже своего рода мѣновой знакъ!

— Много ихъ уже очень. Такъ много, такъ много, что пригоршнями ихъ во всѣ стороны швыряютъ, а все имъ конца-краю нѣтъ. Какъ ассигнацію-то „опъ" зажалъ въ руку, ему и кажется, что никакого тутъ воровства нѣтъ, а просто „ничьи деньги" проявились.

— Но вѣдь нужно же когда-нибудь положить предѣлъ этой больной фантазіи!

— А какъ вамъ сказать? Встарину, бывало, мы этого предѣла отъ смягченія нравовъ ждали. Молодо было, зелено. Думалось, что когда вообще нравственный уровень повысится, тогда и воровство само собой уничтожится.

— Ну-съ?

— Ну, и ждали. Годы ждали—нѣтъ смягченія правовъ! стали еще годы ждать—опять нѣтъ смягченія правовъ!.. Да такъ иные и посейчасъ ждутъ.

— Но почему же его нѣтъ, этого смягченія правовъ?

— Да формъ, должно быть, такихъ еще не народилось, при помощи которыхъ смягченіе правовъ совершиться можетъ—только и всего.

— Допустимъ. Но развѣ, независимо отъ формъ, нельзя какія-нибудь мѣры придумать?

— Придумать, конечно, можно. Кары, напримѣръ, и притомъ самыя суровыя. Только вотъ насчетъ дѣйствія, которое эти мѣры возъимѣть могутъ—сомнительно...

— Помилуйте! да вѣдь это гнусность, это, наконецъ, предательство! Вѣдь они Россію, отечество свое, эти негодяи, продаютъ! Не крадутъ они, а кровь сосутъ, жилы тянутъ! Висѣлицы мало за это!

— Висѣлица—это дѣйствительно средство радикальное. Но вопросъ, когда „его“ вѣшать: *до* или *по*? Ежели, напримѣръ, инженера мостъ строить послать и предварительно повѣсить—некому будетъ мостъ строить. Ежели дозволить ему *сперва* мостъ построить, а *потомъ* повѣсить—какой же ему будетъ разсчетъ стараться? Ахъ, голубчикъ! коли начать вѣшать, такъ вѣдь до Москвы, пожалуй, не перевѣшаешь!

. . . . . .

— Ну, а вы сами, Филаретъ Михайлычъ... повинны?—полюбопытствовалъ я.

— Я? никогда! Копѣйкой казенной я не попользовался! Я вотъ какъ: копѣйку истратилъ—сейчасъ же ее на бумажку записалъ, а къ вечеру ужъ отчетъ отдалъ: смотри! Сохрани меня Богъ!

— Однакожъ и вы... нечего сказать, чистенько живете! И обстановочка, и домикъ, и имѣньице, и все такое... А вѣдь у васъ, помнится, какъ на первую-то канавку вы вышли...

— Знаю: одни штаны были...—отвѣтилъ онъ скромно:—но мнѣ Богъ послалъ! Выроешь, бывало, канавку, воротишься домой, а жена говоритъ: „другъ мой! намъ Богъ пять тысячъ послалъ!“ Или мостокъ выстроишь, а жена опять на встрѣчу бѣжитъ: „другъ мой!

намъ Богъ десять тысячъ послалъ!“ Помаленьку да потихоньку — глядишь, и обставился...

Но обратимся къ прерванному разсказу.

Первое мѣсто въ уѣздной чиновной іерархіи и прежде занимали, и теперь занимаютъ предводители дворянства. Но нынче завелись какіе-то „независимые“, которые къ предводителямъ относятся довольно равнодушно, а въ прежнее время никакой независимости и въ заводѣ не было, такъ что предводитель дворянства въ своемъ уѣздѣ былъ подлинно кузырный тузъ. Онъ распоряжался земскою полиціей: онъ вліялъ на рѣшенія суда; онъ аттестовалъ уѣздныхъ чиновъ; онъ кормилъ губернатора во время ревизіи. Нерѣдко однакожъ между губернаторомъ и предводителемъ зарождались „контры“: губернаторъ говорилъ: „я здѣсь хозяинъ!“ а предводитель говорилъ: „я самъ моего государя слуга!“—и расходились врагами. Тогда предводитель начиналъ мутить уѣздъ, и душевное равновѣсіе губернатора на время нарушалось. Въ подобныхъ случаяхъ на сцену обыкновенно выступалъ губернскій предводитель, объявлялъ губернатору, что „такъ нельзя“, что дворянство—„опора“, и губернаторъ смирялся.

Какъ я уже объяснилъ выше, въ до-реформенное время всего болѣе цѣнилась тишина. О такъ-называемомъ развитіи народныхъ силъ и народнаго генія только въ литературѣ говорили, да и то шепоткомъ, а объ тишинѣ—вездѣ и вслухъ. Но тишина могла быть достигнута только подъ условіемъ духовнаго единенія властей. Такого единенія, при которомъ всѣ власти въ одну точку смотрятъ, и ни о чемъ, кромѣ тишины, не думаютъ. Отвѣчали за эту тишину губернаторы: предводители же ни за что не отвѣчали, а только носили бѣлые штаны. И за всѣмъ тѣмъ, въ виду тишины, первые даже не вполнѣ естественнымъ требованіямъ послѣднихъ вынуждены были уступать.

Типъ до-реформеннаго предводителя былъ довольно запутанный, и нельзя сказать, чтобъ русская литература выяснила его. Въ общемъ литература относилась къ нему не столько враждебно, сколько съ юмористической точки зрѣнія. Предводитель изображался неизбѣжно тучнымъ, съ ожирѣлымъ кадыкомъ и съ обширнымъ брюхомъ, въ которомъ безъ вѣсти пропадало всякое произведеніе природы, которое

можно было ложкой или вилкой зацѣпить. Предполагалось, что предводитель безпрерывно ѣстъ, такъ что и на портретахъ онъ писался съ завязанною вокругъ шеи салфеткою, а не съ книжкой въ рукахъ. Равнымъ образомъ выдавалось за достовѣрное, что онъ не имѣетъ никакого понятія о борьбѣ христиносовъ съ карлистами, а изъ географіи знаетъ только имена тѣхъ городовъ, въ которыхъ что-нибудь закусывалъ („а! Крестцы! это гдѣ мы поросенка холоднаго съ Семенъ-Иванычемъ ѣли! знаю!“). Что онъ упренъ, глухъ къ убѣжденіямъ и вмѣстѣ простодушенъ. Что онъ не умѣетъ отличить правую руку отъ лѣвой, хотя крестное знаменіе творитъ правильно, правой рукой. Что онъ ругатель, и на то, что изъ устъ выходитъ, не обращаетъ никакого вниманія. Что онъ способенъ проѣсть безчисленное количество наслѣдствъ, а кромѣ того жену и свояченицъ. Что вообще это явленіе апокалипсическое, отъ вѣковъ уготованное, неизбѣжное и неотвратимое. Въ родѣ египетской тьмы.

Вотъ въ какомъ видѣ до-реформенный предводительскій типъ возведенъ въ перлъ созданія даже такими несомнѣнно благосклонными къ дворянству беллетристами, какъ Загоскинъ и Бегичевъ (авторъ „Семейства Холмскихъ“).

Несмотря однакожъ на всю талантливость и кажущуюся вѣрность подобныхъ художественныхъ воспроизведеній, я съ ними согласиться не могу. Я и самъ не мало виноватъ въ такого рода юмористическихъ изображеніяхъ, но *теперь* вполнѣ сознаю свою ошибку. Были, конечно, „такіе“ предводители, но *не всѣ*. Audiatur et altera pars.

Я зналъ одного предводителя, который имѣлъ такія обаятельныя манеры и такой просвѣщенный умъ, что когда просилъ взаймы денегъ, то никто не въ силахъ былъ ему отказать. Такимъ образомъ онъ чуть не всей губерніи задолжалъ, и хотя не подавалъ ни малѣйшей надежды на уплату, но обаянія своего до конца не утратилъ.

Однажды пріѣзжаетъ онъ къ извѣстному во всей губерніи скрягѣ-помѣщику, къ которому онъ и самъ дотолѣ обращаться считалъ безполезнымъ. Скупецъ — какъ увидѣлъ изъ окошка предводительскій экипажъ, такъ сейчасъ же понялъ. Хотѣлъ зарѣзаться, но бритвы не нашелъ. Побѣжалъ приказать, чтобъ не принимали гостя — а онъ

ужъ въ залѣ стоитъ! Сѣли, начали говорить. Пяти-шести фразъ другъ другу не сказали—и вдругъ:

— Денегъ, Иванъ Петровичъ! до зарѣзу денегъ нужно!

— Какія, вашество, у меня деньги!—заметался Иванъ Петровичъ:—на хлѣбъ да на квасъ...

А онъ ему вмѣсто отвѣта—процентъ!

Процентъ да процентъ — такъ ошеломилъ скрягу, что онъ сначала закуску велѣлъ подать, а немного погодя и въ шкатулку полѣзъ.

Словомъ сказать, отъ кремня, который нищему никогда корки не подалъ, цѣлый кусъ увезъ!

Но этого мало. Совершивъ этотъ подвигъ и понабравъ еще кой-гдѣ изрядную сумму денегъ, обаятельный предводитель... вдругъ исчезъ!

Туда-сюда. Сначала прошелъ слухъ, что его въ Баденъ-Баденѣ за рулеткой видѣли, потомъ будто бы въ Парижѣ, въ Ниццѣ, въ Монте-Карло... И наконецъ что жъ оказалось? что онъ послѣднія денежки спустилъ, и гдѣ-то во Франціи, на границѣ Швейцаріи, гарсономъ въ ресторанъ поступилъ.

Разумѣется, русскіе путешественники валомъ повалили къ нему.

— Мемнонъ Захарычъ! ты?

— Онъ самый; садитесь-ка поближе, вотъ за этотъ столъ. Я вамъ такого пулѐ-о-крессонъ подамъ, что вѣкъ будете Мемношку помнить!

И точно: подастъ на славу и скажетъ:

— Если всего не одолѣете, такъ не плюйте въ тарелку, а мнѣ отдайте. Я крылышко съѣмъ.

Скажите по совѣсти: ну, какъ „своему брату“ лишняго франка на водку не дать!

И давали ему, такъ что онъ во время „сезона“ по 30 — 40 франковъ въ день получалъ. Но онъ былъ благородепъ, и деньги у него не держались.

И я его прошлымъ лѣтомъ видѣлъ въ Ушп. Стоитъ на пристани съ салфеткой въ рукахъ и парохода поджидаетъ.

— Мемнонъ Захарычъ! какими судьбами!—воскликнулъ я.

— Политическій...—пробормоталъ онъ, слегка смутившись.

Однакожъ я на эту удочку не поддался.

— Стыдитесь, сударь,—сказалъ я ему строго:—что̀ затѣялп! Да, по моему мнѣнію, лучше тысячу разъ чужія деньги изъ кармана украсть, нежели одинъ разъ въ политическое недоразумѣніе впасть!

Такъ онъ и отошелъ, не солоно хлѣбавши. Далъ я ему на водку франкъ—и баста.

Но что̀ всего примѣчательнѣе: всю ясность ума сохранилъ. Какъ только начнутъ его кредиторы въ Уши ловить—онъ на пароходѣ въ Евіанъ, на французскій берегъ переплывет̀ъ, и тамъ нурбуары получаетъ. Какъ только кредиторы въ Евіанъ квартиру перенесутъ—онъ шмыгъ въ Уши, и былъ таковъ!

А говорятъ еще, что предводители правую руку отъ лѣвой отличить не умѣли! Да дай Богъ всякому.

Одинъ предводитель былъ такъ уменъ, что самъ своему аппетиту предѣлъ полагалъ. Поставятъ, бывало, передъ нимъ окорокъ—онъ половину съѣстъ и скажетъ:

— Баста, Сашка! остальное до завтрева!

И больше ужъ не ѣстъ!

Благодаря этому, онъ дожилъ до преклонныхъ лѣтъ и умеръ своею смертью, а не напрасною.

Идѣтямъ своимъ завѣщалъ: „лучше продолжительное время каждый день по поль-окорока съѣдать, нежели заразъ цѣлый окорокъ истребить и за это поплатиться жизнью“.

Одинъ предводитель твердостью души отличался. Когда объявили эмансипацію, онъ у всѣхъ спрашивалъ:

— А какъ же наши права?

Насилу его убѣдили.

Одинъ предводитель видѣлъ во снѣ, что онъ на сосну влѣзъ, и что покуда онъ лѣзъ, у подошвы сосны цѣлое стадо волковъ собралось. Словомъ сказать, влѣзть—влѣзъ, а слѣзть не смѣетъ.

Проснувшись на утро, онъ хотѣлъ отгадать, что̀ означаетъ этотъ сонъ, но не отгадалъ.

Посторонніе же, видя его усилія, говорили: „вотъ онъ хоть и предводитель, а какая въ немъ пытливость ума!“

Не стану далѣе множить примѣры, потому что я пишу не статистику предводительскихъ добродѣтелей, а только дѣлаю небольшія изъ нея извлеченія, доказывающія, какъ я до сихъ поръ былъ легкомысленъ и несправедливъ. Что же касается до взятокъ, то въ этомъ отношеніи предводители пользовались вполнѣ заслуженною репутаціей безкорыстія. Исключеніе составляли лишь тѣ, которые во время ополченія допускали замѣну въ ратническомъ сапогѣ подошвы картономъ, а равнымъ образомъ тѣ, кои довольствовали ратниковъ гнилыми сухарями.

Были и такіе, но не всѣ.

О дореформенныхъ уѣздныхъ судьяхъ могу сказать лишь немногое, ибо это были наименѣе блестящіе чины того времени.

Въ уѣздные судьи большею частью выбирались небогатые и смирные помѣщики изъ отставныхъ военныхъ. Или французъ подъ Бородинымъ изувѣчилъ, или турокъ часть тѣла повредилъ—милости просимъ! Лишь бы разсудокъ не подлежалъ освидѣтельствованію, да и это соблюдалось только потому, что уѣздный стрянчій (ежели онъ кляузникъ) можетъ донести. Вообще на присутствія уѣздныхъ судовъ того времени даже серьезные люди смотрѣли въ родѣ какъ на богадѣльни, но канцеляріи судовъ называли „звѣринцами“. О секретаряхъ говорили: „мерзавцы!“, а о писцахъ: „разбойники съ большой дороги!“ И боялись ихъ. Да впрочемъ и можно ли было не опасаться людей, которые получали полтинникъ въ мѣсяцъ жалованья?

Полтинникъ въ мѣсяцъ! вѣдь въ самомъ дѣлѣ тутъ было что-то волшебное...

Такой взглядъ на уѣздные суды обусловливался главнымъ образомъ тѣмъ, что для большинства дѣлъ они представляли лишь первую инстанцію. Думали: ежели уѣздный судъ напутаетъ, то уголовная или гражданская палаты опять напутаютъ, но за тѣмъ дѣло поступитъ въ сенатъ, гдѣ ужъ и воздадутъ suum cuique. Стало быть, наплевать. Но для чего при такихъ условіяхъ существовали суды и палаты?—этимъ вопросомъ никто не задавался, или, лучше сказать, махали на это дѣло рукою и говорили: „Христосъ съ ними!“

Несмотря на глухоту и другія увѣчья, уѣздные судьи въ большинствѣ случаевъ были люди добрые и сострадательные, а среди звѣриной обстановки, которая ихъ окружала, они просто казались чистыми голубями. Взятокъ имъ почти совсѣмъ не давали—секретари по дорогѣ все перехватывали— да убогому человѣку, по правдѣ сказать, немного и нужно. Развѣ что-нибудь изъ живности или изъ бакалеи, да и то не перваго сорта. Поэтому къ судьямъ рѣдко и въ гости ходили, да и ихъ въ гости рѣдко приглашали, такъ какъ въ карты они играли по такой „маленькой“, что и счетъ свести трудно было.

Я помню, одному судьѣ кто-то изъ тяжущихся, по неопытности, возъ мерзлой рыбы прислалъ—такъ не только всѣ этому дивились, но и самъ онъ оробѣлъ. Выбралъ для себя пару подлещиковъ, „а остальное, говоритъ, должно быть, секретарю слѣдуетъ“. И представьте, секретарь, несмотря на то, что уже свой возъ получилъ, и этотъ возъ—не посовѣстился—взялъ.

Нѣкоторые судьи прямо говорили тяжущимся: „зачѣмъ вы на насъ тратитесь! вѣдь все равно наше рѣшеніе уважено не будетъ! такъ лучше ужъ вы поберегите себя для гражданской палаты!“ И что же, вмѣсто того, чтобъ умилиться надъ такой чертой самоотверженности, вмѣсто того, чтобъ сказать: „ну, Богъ съ тобой! будь сытъ и ты!“—большинство тяжущихся буквально слѣдовало поданному совѣту и даже приготовленнымъ уже подаркамъ давало другое назначеніе.

Положеніе уѣздныхъ судей было по истинѣ трагическое. Читаетъ, бывало, секретарь проектъ рѣшенія, а судья не понимаетъ. Такіе проекты тогда писались, что и въ здравомъ умѣ человѣку понять невозможно, а ежели кто раненъ, такъ гдѣ ужъ! Вотъ судья слушаетъ, слушаетъ, да и перекрестится. Думаетъ, что его лѣшій обошелъ.

— Подписывать-то, Семенъ Семенычъ, можно ли?—взмолится онъ къ секретарю.

— Съ Богомъ, Сергѣй Христофорычъ! подписывайте безъ сомнѣнія!

— Ну, будемъ подписывать. Господи благослови!

Возьметъ перо въ правую руку, а лѣвою локоть придерживаетъ, чтобы перо не разскакалось. Выведетъ: „Уезнай суда Вислаухавъ“, и скажетъ:—Слава Богу!

Но въ особенности съ уголовными приговорами маялись, потому что тамъ не только подписывать, но и *прописывать* нужно было. И прописывать-то все плети, да все трехвостныя, съ малою долею розгачей.

— Девяносто, что-ли, Семенъ Семенычъ?

— Девяносто, Сергѣй Христофорычъ.

— А поменьше нельзя? пятьдесятъ, напримѣръ?

— По мнѣ хоть награду дайте. Все равно, уголовная палата сполна пропишетъ.

— Ну-ну, что ужъ! Господи благослови!

Или:

— А этому, Семенъ Семенычъ, ничего?

— Ничего, Сергѣй Христофорычъ.

— Ну, слава Богу. Господи благослови!

Пропишетъ что слѣдуетъ, придетъ домой и женѣ разскажетъ.

— Вотъ, Ксеша, я въ нынѣшнее утро, въ общей сложности, восемьсотъ пятьдесятъ штукъ прописалъ!

— А что же такое!—отвѣтитъ Ксеша:—это вѣдь ты не отъ себя! сами виноваты, что начальства не слушаются. Начальство имъ добра хочетъ, а они—натко!

— Плетей вѣдь восемьсотъ-то пятьдесятъ, а не пряниковъ. А плети-то нынче ременныя, да объ трехъ хвостахъ. Вотъ какъ подумаешь: трижды восемьсотъ—двѣ тысячи четыреста, да трижды пятьдесятъ—полтораста, такъ оно...

— Ну-ну, жалѣльщикъ! ступай-ко водку пить, а то щи на столѣ простынутъ!

И шелъ добрый судья водку пить и щи хлебать, пока не простыли. А по праздникамъ, кромѣ того, въ церковь ходилъ и пирогомъ лакомился.

Въ большинствѣ случаевъ уѣздные судьи были люди семейные. Жены у нихъ были старыя-престарыя и тоже добрыя. Въ сущности, вѣдь и Ксеша огорчалась, что ея Сергѣй Христофорычъ „прописываетъ“, но утѣшала себя тѣмъ, что это онъ *не отъ себя*. „Сами виноваты, начальства не слушаютъ, а Сергѣй Христофорычъ развѣ можетъ!“

Секретарей судейши терпѣть не могли и всегда предостерегали мужей:

— Вотъ помяни мое слово, ежели опъ тебя не подведетъ!

— Ахъ, матушка!

Дѣтей у судей бывало много, но дома они не заживались. Съ раннихъ лѣтъ ихъ разсовывали на казенный счетъ по кадетскимъ корпусамъ и по сиротскимъ институтамъ, а по пришествіи въ возрастъ они уже сами о себѣ промышляли.

Дома оставалось лишь какое-нибудь безпомощное существо: или глухонѣмая дѣвица, или сынъ-дурачокъ.

Вообще типъ дореформеннаго судьи былъ однимъ изъ наиболѣе симпатичныхъ того времени, а необыкновенно малое содержаніе (даже по сравненію съ необыкновенно малыми содержаніями чиновъ другихъ вѣдомствъ), которое получали уѣздные судьи, дѣлало ихъ положеніе въ высшей степени трогательнымъ. И за всѣмъ тѣмъ они не роптали и не завидовали.

Можно ли возвратиться къ этому типу отправленія правосудія и вновь водворить его въ нашу жизнь?—полагаю, что ежели приняться за дѣло чистенько и безъ шума, то можно. Во всякомъ случаѣ попытаться недурно. Но будетъ ли отъ этого польза?—ей Богу, не знаю.

Относительно исправниковъ и вообще чиновъ земской полиціи можно сказать то же самое, что̀ и о городничихъ. Тѣ же общія положенія и тѣ же „истинныя происшествія“. Предметы ихъ дѣятельности были одинаковые, а стало быть и поводы для „истинныхъ происшествій“ тоже одинаковые; только районъ, въ предѣлахъ котораго распоряжались исправники, былъ обширнѣе.

Нареканій на земскую полицію дореформеннаго времени существовало не мало, но возникали они, большею частью, по поводу становыхъ приставовъ. Послѣдніе были дѣйствительно не весьма доброкачественны, хотя тоже не всѣ. Расквартированные по захолустьямъ, преимущественно въ селеніяхъ экономическихъ крестьянъ, вдали отъ образованнаго общества и хорошихъ примѣровъ, эти люди нерѣдко утрачивали человѣческій образъ, а вмѣстѣ съ нимъ и вѣру въ Провидѣніе и въ загробную жизнь. Не имѣя въ виду воздаянія, не понимая, что не только дѣйствія, но и мысли человѣческія не могутъ оставаться сокрытыми, они страшились лишь одного: чтобы о противозаконныхъ ихъ дѣйствіяхъ не было доведено до свѣдѣнія губернскаго

начальства. Но и въ этомъ отношеніи они ежели и не были вполнѣ обезпечены, то стояли весьма благопріятно. Будучи опредѣляемы непосредственно центральною губернскою властью и олицетворяя собой единственный ея органъ въ уѣздѣ, они обыкновенно имѣли „руку“ въ губернскихъ правленіяхъ, и пользовались этой защитой не для благихъ и похвальныхъ цѣлей, но для удовлетворенія необузданности страстей. Нерѣдко случалось, что сами губернаторы втайнѣ имъ сочувствовали и называли ихъ излюбленными чадами, а судей, исправниковъ и городничихъ (послѣдніе опредѣлялись комитетомъ о раненыхъ)—пасынками. Казалось бы, столь лестное довѣріе начальства должно было обязывать, но, увы! оно давало пищу только гордости и самомнѣнію. Подъ вліяніемъ сихъ чувствъ, становые пристава въ скорости становились вмѣстилищами всевозможныхъ нравственныхъ изъяновъ. Правосудіе и трезвость были чужды ихъ душамъ. Съ утра наполненные винными парами, они перекочевывали съ мѣста на мѣсто, отъ одной границы уѣзда до другой, ни о чемъ не помышляя, кромѣ вымогательства. Исправники же, видя безобразія становыхъ, хотя и понимали, какъ это нехорошо, но были безсильны искоренить зло.

Встарину зло искоренялось опредѣленіями и увольненіями, да, кажется, и до сихъ поръ тѣми же способами искореняется. Уволить такого-то пьяницу, а на его мѣсто опредѣлить такого-то пьяницу—вотъ и весь секретъ. А такъ какъ становые пристава опредѣлялись и увольнялись губернскою властью, и притомъ нерѣдко въ нику власти, облеченной довѣріемъ дворянства, то понятно, какой источникъ недоразумѣній возникалъ отъ столкновенія этихъ двухъ противоположныхъ довѣрій. Но этого-то именно и не понимали становые пристава, то-есть не понимали, какъ это прискорбно и вредитъ дѣлу. Большинство ихъ положительно не стояло на высотѣ своей задачи. Вмѣсто того, чтобъ оправдывать довѣріе начальства, оно компрометтировало его; вмѣсто того, чтобъ подавать управляемымъ примѣръ воздержанія, трудолюбія и охоты къ просвѣщенію, оно наполняло окрестность легендами, содержаніемъ для которыхъ служила необузданность страстей, непреоборимая праздность и невѣжественность. А губернаторы, взирая на нихъ какъ на излюбленныхъ и увлекаясь теоретическими построеніями, думали, что коль скоро у центральной власти имѣются въ уѣздѣ свои собственные органы, то все обстоитъ благо-

получно. То-есть, благополучнѣе, чѣмъ тогда, когда вмѣсто становыхъ приставовъ при земскихъ судахъ состояли дворянскіе засѣдатели.

Пишу я эти строки, а воспоминанія такъ и плывутъ мнѣ на встрѣчу. Смотришь, бывало, въ окошко—вотъ она, гать-то, на двѣ версты растянулась!—и вдругъ на этой самой гати показывается крестьянская тележонка парой, а въ тележонкѣ чье-то тѣло въ-растяжку лежитъ. Это *сіо* везутъ, куроцапа. Имя такое *сму* было, для всѣхъ вразумительное. Давно ли это было? давно ли „порядокъ вещей“ съ такою ясностью объ себѣ заявлялъ? И неужели мы такъ-таки и не воротимся къ нему?

Грустно.

Таковы были дореформенные становые пристава. Но, какъ я уже сказалъ выше, *не всѣ*.

Я зналъ одного станового пристава, который, мучимый раскаяніемъ, удалился въ лѣсъ. Долгое время онъ питался тамъ злаками, не имѣя пристанища и не зная иного прикрытія, кромѣ стареньказо вицмундира, украшеннаго пряжкою за тридцать-пять лѣтъ. Но по времени онъ выстроилъ въ самой чащѣ хижину, въ которой предположилъ спасти свою душу. Скоро объ этомъ провѣдали окрестные раскольники и начали стекаться къ нему. Разнесся слухъ, что въ лѣсу поселился „мужъ святъ“, что отъ него распространяется благоуханіе, и что надъ хижиной его (которую уже называли „келіей“) по ночамъ виденъ свѣтъ. Мало-по-малу въ лѣсу образовался раскольничій скитъ, въ которомъ бывшій становой былъ много лѣтъ настоятелемъ подъ именемъ блаженно-мздоимца Арсенія. Затѣмъ обитатели скита образовали особенный раскольничій толкъ, подъ названіемъ „мздоимцевскаго“, а себя стали называть „мздоимцами“, въ отличіе отъ „перемазанцевъ“ и „перекувырканцевъ“. Но въ эпоху гоненія полиція узнала о существованіи скита и нагрянула. Арсенія заковали въ кандалы и заточили въ дальній монастырь, а „мздоимцевъ“ разселили по разнымъ мѣстамъ. Тамъ они всяко размножились: и съ помощью пропаганды, и естественнымъ путемъ сожитія. Такъ что теперь куда ни оберись—вездѣ „мздоимцы“. То-есть, послѣдователи лже-блаженнаго-мздоимца Арсенія.

Я зналъ другого станового пристава, который долгое время пилъ безъ просыпа, но потомъ вдругъ пересталъ и до конца жизни пилъ только квасъ.

Впрочемъ, признаюсь откровенно: только эти два примѣра я и зналъ. Но несомнѣнно, что найдутся люди, которые подобнаго рода „истинныхъ происшествій“ не мало знаютъ. Распубликованіемъ таковыхъ они премного меня одолжатъ.

Обращаюсь къ исправникамъ.

Общее положеніе. Исправники, какъ облеченные довѣріемъ господъ-дворянъ, вообще вели себя благородно.

— Намъ не съ кого брать,—говорилъ мнѣ одинъ исправникъ: —у насъ въ уѣздѣ все помѣщики: какъ съ своего брата возьмешь! Вотъ ежели выйдетъ случай, да съ временнымъ отдѣленіемъ въ экономическомъ селѣ задержишься—ну, тамъ дѣйствительно...

Такъ что ежелибъ не было экономическихъ крестьянъ, да раздарили бы ихъ всѣхъ въ воздаяніе, то исправники были бы совсѣмъ невинны.

Въ исправники избирались лица мужескаго пола въ цвѣтѣ лѣтъ и силъ, отъ подпоручичьяго до маіорскаго чина включительно. Изъ нихъ штабсъ-ротмистры и ротмистры представляли самую желательную исправницкую среднюю величину. Молодость и присутствіе физической силы говорили объ отвагѣ, отвага же служила ручательствомъ, что довѣріе господъ-дворянъ будетъ оправдано. При такихъ исправникахъ злые трепетали, а добрые предавались мирнымъ занятіямъ.

Одинъ исправникъ хвалился, что у него въ уѣздѣ совсѣмъ воровъ нѣтъ.

— У меня пѣтъ воровъ, и не будетъ,—говорилъ онъ:—потому что воръ знаетъ, что не подъ судъ, а ко мнѣ въ руки попадетъ.

— Что же вы съ ними дѣлаете, Никонъ Гаврилычъ?

— Да ужъ...

Онъ не договаривалъ, а только простиралъ руки. И всѣ безъ словъ понимали.

Другой исправникъ, допрашивая воровъ, надѣвалъ на нихъ такъ-называемый „стулъ“ (желѣзный ошейникъ съ прикрѣпленной къ нему желѣзною цѣпью, которая въ свою очередь прикрѣплялась къ тяжелому обрубку бревна), и когда ему замѣчали, что подобные допросы называются допросами съ пристрастіемъ и законами воспрещаются, то онъ отвѣчалъ:

— Такъ, по вашему, по головкѣ надобно гладить? „Иванъ Иванычъ! вы, мой другъ, лошадь у Пантелея Егорова украли?“ —Нѣтъ, не я-съ.— „Не вы-съ? ахъ, извините, пожалуйста, что васъ напрасну задержали. Милости просимъ на всѣ на четыре стороны! воруйте сколько вашей душѣ угодно!..“ Ну, нѣтъ-съ, слуга покорный! Пускай филантропы въ уѣздномъ судѣ съ ними валандаются, а я... не могу-съ! По моему: попался и... говори! Гово-рри, каналья... распибу! Всю подноготную, курицынъ сынъ, говори! Иначе какой же бы я былъ исправникъ!

Первый изъ приведенныхъ исправниковъ былъ штабсъ-ротмистръ, второй—ротмистръ. Слѣдовательно—въ самомъ соку. До штабсъ-ротмистрскаго чина еще мышцы въ человѣкѣ не вполнѣ крѣпки, а съ маіорскаго чина они ужъ слабѣть начинаютъ. Впрочемъ нерѣдко и между поручиками хорошіе исправники удавались.

Въ исправникѣ даже вліятельные помѣщики нужду имѣли, а потому онъ былъ въ помѣщичьихъ домахъ всегда желаннымъ гостемъ. Помѣщицы цѣнили въ немъ ротмистрскія статьи; помѣщики видѣли охрану и въ то же время добраго товарища. Пріѣдетъ исправникъ— и у всѣхъ на душѣ весело, даже въ дѣвичьей пѣсни бойчѣе раздаются. Во-первыхъ, онъ всякія вѣсти привезетъ: и изъ уѣзда, и изъ губерніи, и даже изъ столицъ. Встарину и міровыя происшествія туго до помѣщичьихъ гнѣздъ доходили, а исправники изъ первыхъ рукъ, отъ почтмейстеровъ узнавали, да и развозили по уѣзду. Что Людовикъ-Филиппъ на престолъ прародительскій вступилъ—это они первые узнали, а потомъ ужъ и пошло. Что преосвященный Никодимъ по епархіи отправляется—это тоже они первые оповѣстили, а равнымъ образомъ и то, что губернатору, того гляди, къ празднику ленту дадутъ. И все по ихнему такъ и сбылось. Во-вторыхъ, исправническій пріѣздъ разомъ всѣ накопившіяся недоразумѣнія прекращалъ. Даже мимо, бывало, исправникъ проѣдетъ—и все какъ рукой сниметъ. Тутъ розгами вспрыснетъ, тамъ плюху дастъ, въ третьемъ мѣстѣ пальцемъ пригрозитъ—смотришь, и тихо. До проѣзда что-то гдѣ-то охало, вздыхало, стонало—и вдругъ исцѣленіе получило. Простыя тогда болѣзни были—оттого и лекарства простыя прописывались.

Помѣщики принимали исправниковъ охотнѣе, нежели даже предводителей. Предводитель *чести дѣлалъ* своимъ пріѣздомъ, а исправ-

никъ запросто, за панибрата пріѣзжалъ. Принять предводителя было начётисто: онъ и самъ вдвое противъ обыкновеннаго дворянина съѣсть, а еще больше того зря на тарелкѣ оставитъ; исправникъ же все чистенько подберетъ, и тарелку точно сейчасъ вымытую сдастъ. Но въ особенности тяжело было разговоръ съ предводителемъ поддерживать: сидитъ словно фаршированный и зубами скрипитъ. И вдругъ слово скажетъ... ахъ, какое слово! Такъ и тутъ, бывало, исправникъ выручитъ. Объяснитъ, поправитъ—и опять всѣмъ весело!

Словомъ сказать, лихіе ребята были.

Взятки (за дѣла) исправники брали лишь въ крайнемъ случаѣ: ежели съ деньгами совсѣмъ матъ. Вообще же они довольствовались „положеніемъ". Было „положеніе" отъ откупщика, отъ земской полиціи, отъ содержателей перевозовъ, отъ конторъ богатыхъ отсутствующихъ помѣщиковъ. Многіе изъ осѣдлыхъ помѣщиковъ посылали исправникамъ въ презентъ произведенія собственныхъ хозяйствъ.

И все шло тихо, исправно, благополучно. Точно въ раю.

Но справились ли бы дореформенные исправники съ обстоятельствами нынѣшняго времени? спроситъ меня читатель. На это я уже далъ отвѣтъ выше: вряд ли бы справились, хотя попробовать можно.

Но вѣдь и нынѣшніе исправники... развѣ они справляются? нѣтъ, не справляются.

Такъ о чемъ же тутъ споръ?

Въ заключеніе мнѣ остается только упомянуть о почтмейстерахъ и уѣздныхъ стряпчихъ. Постараюсь быть краткимъ.

Почтмейстеры были наивны и любознательны. Географію знали недостаточно, и потому нерѣдко засылали почту вмѣсто Вятки въ Кяхту—и наоборотъ. Но такое тогда волшебное время было, что даже отъ подобныхъ засылокъ никто чувствительнаго ущерба не ощущалъ. Вотъ что значитъ „порядокъ вещей".

Что касается до уѣздныхъ стряпчихъ, то они представляли собой въ древности то же самое начало, какое нынѣче представляютъ прокуроры и ихъ товарищи. Это одно уже служитъ для нихъ отмѣнной рекомендаціей.

Вечеръ третій.

Въ трактирѣ „Грачи". Комната первая.

Въ седьмомъ часу вечера въ трактирѣ „Грачи" собрались три статскихъ совѣтника. Первый, Емельянъ Иванычъ Пугачевъ, служилъ въ департаментѣ пересмотровъ и преуспѣяній; второй, Порфирій Семенычъ Вожделенскій—въ департаментѣ Препонъ, и наконецъ третій, Антонъ Юстовичъ Кюстмильё (сынъ учителя французской грамматики, принявшаго русское подданство)—въ департаментѣ оговорокъ. Всѣ трое были начальники отдѣленій, имѣли соотвѣтствующіе знаки отличія и пользовались, каждый по своему вѣдомству, довѣріемъ начальства.

Ежедневно они собирались въ „Грачахъ" въ тотъ часъ, когда обыкновенно кончаются въ департаментахъ занятія. Ѣли рублевый обѣдъ и пріятельски бесѣдовали. Они были друзья, хотя въ характерахъ, въ образѣ мыслей и даже въ предметахъ ихъ служебныхъ занятій существовало довольно рѣзкое несходство. Пугачевъ былъ сангвиникъ, постоянно волновавшійся и вмѣстѣ съ своимъ департаментомъ всѣхъ звавшій впередъ. Даже въ трактирѣ онъ безстрашно восклицалъ: „свѣту! свѣту больше! вотъ въ чемъ наше спасеніе!"— и не разъ имѣлъ вслѣдствіе этого непріятныя объясненія, изъ которыхъ, впрочемъ, легко выпутывался, благодаря заступничеству непосредственнаго начальства. Вожделенскій былъ флегматикъ и консерваторъ, который на всякое преуспѣяніе смотрѣлъ какъ на „опасную игру", и вмѣсто всякихъ „пересмотровъ" предлагалъ одобренныя вѣковымъ опытомъ „ежовыя рукавицы". „Право, съ насъ и этого предовольно!" — высказывалъ онъ громко и развивалъ свою программу такъ резонно, что даже буфетчикъ за стойкой умилялся. Что касается до Кюстмильё, то онъ не былъ ни сангвиникъ, ни флегматикъ, не требовалъ ни свѣта, ни ежовыхъ рукавицъ, а вмѣстѣ съ своимъ департаментомъ надѣялся, что со временемъ все разъяснится. А когда все разъяснится, тогда и у начальства руки будутъ развязаны.

Но при собесѣдованіяхъ эти разногласія легко улаживались. Есть почва, на которой сходятся всѣ статскіе совѣтники вообще и на которой не было резона не сходиться и нашимъ статскимъ совѣтни-

камъ. Это — почва взаимнаго признанія. Пугачевъ, будучи ярымъ поборникомъ преуспѣяній, признавалъ однакожъ, что и препоны, въ общей экономіи благоустройства, представляютъ небезполезный противовѣсъ; Вожделенскій, съ своей стороны, дѣлалъ такую же уступку относительно преуспѣяній („конечно, нельзя безъ того, чтобы иногда не прикинуть, но...“), а Жюстмильё слушалъ ихъ и радовался. Вслѣдствіе этого, какъ ни различествовали ихъ мнѣнія по существу, но половымъ казалось, что всѣ они говорили одно и то же.

Сейчасъ Пугачевъ восклицаетъ:

— А я про что жъ говорю! Я именно это самое всегда и утверждалъ.

И пойдетъ, и пойдетъ. Дальше да шире — конца краю нѣтъ. А черезъ пять минутъ, смотришь, уже восклицаетъ Вожделенскій:

— А я про что жъ говорю! Я именно это самое всегда и утверждалъ.

А Жюстмильё это на-руку, ибо онъ и подавно это самое всегда утверждалъ. И буфетчику, и половымъ — всѣмъ на-руку.

Словомъ сказать, люди были скромные и незлобивые, которые въ стѣнахъ своихъ департаментовъ какъ львы исполняли возложенныя на нихъ обязанности.

Долгое время проводили они въ сихъ невинныхъ занятіяхъ, взаимно другъ друга признавая и дополняя, и едва-ли даже подозрѣвали, что разногласія ихъ когда-нибудь могутъ перейти въ распрю. Благоволеніе царствовало тогда въ воздухѣ; оно же переполняло и бюрократическія сердца. И такъ какъ преуспѣянія провозглашались во имя препонъ, а препоны во имя преуспѣяній, то трудно было даже разобрать, гдѣ кончаются однѣ и начинаются другія...

Но въ послѣднее время нѣчто произошло. Какъ будто бы выяснилось, что преуспѣяніе есть преуспѣяніе, а препона есть препона. Что ни рядомъ идти, ни другъ друга пополнять или поправлять они ни подъ какимъ видомъ не могутъ, а могутъ только взаимно другъ друга уничтожать. Просіяніе это отразилось и въ сферѣ служебныхъ отношеній. Директоръ департамента преуспѣяній, Рудинъ, и директоръ департамента препонъ, Ренетиловъ, вступили въ единоборство. Директоръ департамента оговорокъ, Мямлинъ, попробовалъ было предложить свое посредничество для умиротворенія борцовъ,

но, убѣдившись, что благія его намѣренія могутъ быть истолкованы въ смыслѣ укрывательства, замолчалъ. Или лучше сказать — болѣе нежели замолчалъ, а началъ умильно взглядывать на Репетилова. Само собою разумѣется, что при этомъ единоборствѣ, въ качествѣ обязательныхъ свидѣтелей, присутствовали Пугачевъ и Вожделенскій. Оба скрѣпляли (а въ большинствѣ случаевъ и сочиняли) самыя колючія бумаги, причемъ Пугачевъ напрягалъ послѣднія усилія, входилъ въ лиризмъ, но не чуждался и ироніи, а Вожделенскій холодно и резонно подсиживалъ. Что же касается до Жюстмильё, то онъ выслушивалъ каждаго по очереди, и каждаго же по очереди удостовѣрялъ: „помилуйте! да я самъ всегда это самое утверждалъ!“

Разумѣется, эта канцелярская экзема высыпала преимущественно на бумагѣ. Однакожъ и на обѣденныхъ собесѣдованіяхъ она не могла не отразиться. Пріятели попрежнему сходились и дружески диспутировали, но въ эти диспуты уже закралась какая-то сложная и загадочная нота, въ составъ которой, съ одной стороны, входила горечь обманутыхъ надеждъ и ожиданіе грядущей бѣды, въ формѣ отставки или упраздненія, а съ другой — предвкушеніе какого-то нелѣпаго торжества. И Пугачевъ, и Вожделенскій поняли, что до сихъ поръ они держались на теоретическихъ высотахъ, а теперь совсѣмъ неожиданно встрѣтились лицомъ къ лицу съ нѣкоторою загадочною практикой. Одинъ Жюстмильё плохо смекалъ и все убѣждалъ: „ахъ, господа! да объяснитесь же наконецъ!“

— Да вѣдь мы это такъ... съ точки зрѣнія...—разувѣрялъ его Пугачевъ.

— А то какъ же! разумѣется, съ точки зрѣнія!—подтверждалъ и Вожделенскій.

Пріятели расходились пріятелями, а на слѣдующій день, съ первой же ложкой щей, опять начинала звучать загадочная нота.

Однимъ словомъ, настала минута, когда въ головѣ у Пугачева при взглядѣ на Вожделенскаго сама собой сложилась мысль: „отъ руки этого человѣка мнѣ суждено принять смерть!“ И, къ удивленію, та же мысль, хотя и въ менѣе отчетливой формѣ, начинала по временамъ зарождаться и въ головѣ Жюстмильё. Ибо и онъ ужъ догадывался, что требованія ростутъ и ростутъ, а время бѣжитъ все быстрѣе и быстрѣе, такъ что, пожалуй, не успѣешь и оглянуться, какъ вдругъ изъ всѣхъ уединенныхъ мѣстъ раздастся вопль: „Оговорки!“

Что̀ такое „Оговорки“? — Это та же крамола, только сдобренная двуязычіемъ, и потому во сто разъ болѣе опасная!..

И Вожделенскій, очевидно, понималъ душевную смуту, обуревавшую этихъ людей, потому что глаза его смотрѣли какъ-то особенно ясно, словно говорили: точно такъ-съ.

Трактиръ „Грачи“ гудѣлъ какъ улей. Сентябрь былъ еще въ серединѣ, но ненастный, студёный, темный. Въ заведеніи уже горѣли огни, когда наши статскіе совѣтники, голодные и замученные, ворвались въ буфетную и подошли къ стойкѣ. Пугачевъ былъ блѣденъ и положительно изнуренъ. Онъ первно проглотилъ рюмку полынной, и когда буфетчикъ вмѣсто селедки подалъ ему закусить миндгу, то онъ оттолкнулъ блюдце рукой и нетерпѣливо замѣтилъ:

— Пора бы, кажется, помнить... не первый годъ!

Напротивъ, Вожделенскій, не торопясь, принялъ рюмку, посмотрѣлъ ее на свѣтъ, выпилъ и сказалъ:

— Послѣ трудовъ и водочки выпить не грѣхъ! Много пить— нехорошо, а рюмку-другую—можно!

Что же касается до Жюстмильё, то хоть онъ вообще не чувствовалъ потребности въ передобѣденной рюмкѣ, но ради товарищей полъ-рюмочки выпивалъ. Выпилъ и теперь.

— Погода-то нынче! точно съ цѣпи сорвалась!—молвилъ Пугачевъ, прожевывая селедку.

— И погода, и люди — все нынче съ цѣпи сорвалось!—сентенціозно отозвался Вожделенскій.

— Ужъ именно все!—подтвердилъ Пугачевъ:—и люди, и погода, и дѣла... А я что̀ же говорю?

— И я это самое... И дѣла... да, и дѣла! — повторялъ Вожделенскій, особенно выразительно нажимая на словѣ: „дѣла“...

— И прекрасно! стало быть, и недоразумѣній никакихъ нѣтъ! —порадовался Жюстмильё.

Но Пугачевъ повидимому не обманывалъ себя насчетъ значенія сказанной Вожделенскимъ фразы. Потоптавшись съ минуту, онъ сказалъ:

— Будемъ, что-ли, обѣдать?

Но спросилъ такимъ тономъ, какъ будто ждалъ, что вотъ-вотъ

Вожделенскій скажетъ: „нѣтъ, я одного человѣчка поджидаю“ — и затѣмъ уйдетъ въ другую комнату и отобѣдаетъ втихомолку одинъ.

Однако Вожделенскій не сдѣлалъ этого, а, напротивъ, съ обычнымъ дружелюбіемъ отвѣтилъ:

— За этимъ пришли, такъ, разумѣется, надо обѣдать.

Лѣнивыя щи пріятели вычерпали быстро и молчаливо. Проглотивши послѣднюю ложку, Пугачевъ откинулся на спинку кресла и сказалъ:

— А департаментъ-то нашъ, кажется... ау!

— Что такъ?—откликнулся Вожделенскій какъ бы удивленно, но съ затаенной проніей.

— Да такъ... видимости нѣкоторыя проявляются... Будто ужъ вы и не знаете?

— Не знаю,—отрекся Вожделенскій.—О преобразованіяхъ, не скрою, слыхалъ, а чтобы совсѣмъ упразднить—объ этомъ не знаю.

— Ну, да, преобразованія... У насъ вѣдь всегда съ преобразованій начинается... Сначала тебя преобразуютъ, а потомъ и упразднятъ.

— Не упразднятъ-съ, а остепенятъ, въ надлежащія рамки поставятъ—это такъ! Это—бываетъ! Да вѣдь оно и не можетъ иначе быть.

— Совершенно справедливо,—согласился Жюстмильё.

— Въ чемъ же остепененіе-то будетъ состоять?

— А въ томъ и будетъ состоять, что служить такъ служить, а либеральничать такъ либеральничать. Только и всего.

Никогда еще Вожделенскій не говорилъ такъ опредѣлительно. Очевидно, онъ чувствовалъ подъ ногами вполнѣ твердую почву. Пугачевъ угрюмо сдвинулъ брови и нотушился. Жюстмильё тоже какъ будто оторопѣлъ и смущенно уставился глазами въ зеленую массу протертаго щавеля, изъ которой торчали куски зачерствѣлой телятины (фрикандо).

„А потомъ, можетъ быть, и департаментъ оговорокъ остепенять начнутъ!“ думалъ онъ, полегоньку вздрагивая.

— Чѣмъ же мы... худо служили?—спросилъ Пугачевъ послѣ минутнаго замѣшательства.

— Худо не худо, а не-бла-го-вре-мен-но!—отчеканилъ Вожде-

ленскій и затѣмъ, перевернувъ блюдце съ фрикандо, осмотрѣлъ его со всѣхъ сторонъ, на мгновеніе поколебался, но наконецъ перекрестился и запустилъ ложку въ гущу: съ Богомъ!

— Что такое „неблаговременно“? Это насчетъ прожектовъ, что-ли?—присталъ Пугачевъ.

— И насчетъ прожектовъ, и вообще. Общество волнуете.

— А я такъ думаю—совсѣмъ напротивъ. Утѣшеніе подаемъ.

— Вы думаете такъ, а другіе думаютъ иначе. Вы говорите: утѣшеніе, а другіе говорятъ: вредъ.

— Въ чемъ же вредъ? Ежели обществу показываютъ перспективы, ежели ему даютъ понять, что потребности его имѣются въ виду... въ чемъ же тутъ, смѣю спросить, вредъ?

Пугачевъ былъ взволнованъ и возвысилъ голосъ; Вожделенскій, который вообще не любилъ „исторій“, носнѣшно вычищалъ ножикомъ зеленую массу и молчалъ. Жюстмильё сидѣлъ какъ на иголкахъ, но на всякій случай посылалъ умильные взоры въ сторону Вожделенскаго.

— Легко сказать: вредъ!—горячился Пугачевъ:—а что такое вредъ? Развѣ мы что-нибудь когда-нибудь предваряли! развѣ мы что-нибудь когда-нибудь распространяли или поощряли? Въ чемъ заключалась наша задача?—она заключалась въ томъ, чтобы показывать обществу перспективы! Для чего нужны были перспективы? —для того, чтобъ уберечь общество отъ химеръ и преувеличеній! Для того, чтобъ его успокоить, обнадежить, утѣшить. Полагаю, что въ этомъ ничего неблаговременнаго нѣтъ!

— То-есть, какъ вамъ сказать...—вставилъ свое слово Жюстмильё, но Пугачевъ не обратилъ на него никакого вниманія и даже сдѣлалъ рукою движеніе, словно досадную муху смахнулъ.

— Я думаю, что даже добрая политика такихъ указаній требуетъ,—продолжалъ онъ.—Необходимо, чтобъ общество видѣло... чтобъ оно, такъ сказать, въ надеждѣ было... Вы говорите: прожекты. А позвольте спросить, какіе-такіе у насъ были прожекты, которые бы, такъ сказать... ну, тамъ волненіе или движеніе, что-ли... Слава Богу! тихо, смирно, благородно!

— Ну, было-таки, Емельянъ Иванычъ, было! что говорить!— пошутилъ Вожделенскій, искрививъ ротъ въ улыбку.

Жюстмильё тоже скривилъ ротъ и даже одинъ глазъ прищурилъ.

Очевидно, онъ силился что-то угадать. А можетъ быть даже и угадалъ, что обычное его посредничество между спорящими сторонами едва-ли на этотъ разъ будетъ благовременно.

— Что̀ такое было? — гремѣлъ Пугачевъ: — это вы насчетъ *тѣхъ*, что-ли? Такъ развѣ мы поощряли? развѣ мы покрывали? А что касается до перспективъ, такъ вѣдь и это въ тѣхъ же видахъ... Нельзя безъ перспективъ! нужно, чтобъ общество имѣло въ виду: вотъ, молъ, что̀ для васъ... А тамъ какую перспективу въ ходъ пустить, а какую попридержать — это ужъ не мы! Наше дѣло — сообразить, изложить, представить, а потомъ...

— А потомъ ужъ „не мы“?—съехидничалъ Вожделенскій.

— Тамъ какъ хотите, смѣйтесь или не смѣйтесь, а я правильно говорю. Наше дѣло — машину завести: общество занять, пищу ему предоставить, а рѣшить, какая перспектива благовременна, а какая неблаговременна—это ужъ не отъ насъ зависитъ.

— А отъ кого же?

— Ну, тамъ...

— Мы, дескать, намутимъ, а вы—какъ знаете?.. Ахъ, господа, господа! Нѣтъ, это не такъ. По моему, надо такъ: служить такъ служить, а мутить такъ мутить!

— Но вѣдь мы и служимъ. Развѣ мы противодѣйствуемъ?

— Еще бы вы противодѣйствовали! Не о противодѣйствіи идетъ рѣчь, а о содѣйствіи, сударь, о содѣйствіи! Объ томъ, чтобъ у всѣхъ одинъ планъ, одна мысль, одна забота... вотъ объ чемъ!

— Но вѣдь и мы... развѣ вашъ департаментъ когда-нибудь примѣчалъ за нами? Напротивъ, мы всегда, можно сказать, всей душою... содѣйствовали...

— Нашъ департаментъ „дѣломъ“ занимается, а не фантазіями-съ. Поэтому вы ни содѣйствія, ни противодѣйствія оказать ему не можете. И не требуется-съ... Такъ по крайней мѣрѣ я полагаю.

— Но мнѣ кажется, что, занимая общество перспективами, мы тѣмъ самымъ уже содѣйствуемъ...

— Не полагаю-съ.

— Если я не ошибаюсь, то Емельянъ Иванычъ хотѣлъ выразить...—вступился Жюстмильё.

— Я очень хорошо понимаю, что̀ хотѣлъ выразить Емельянъ

Ивапычъ,—сухо отрѣзалъ Вожделенскій:—но, къ сожалѣнію, доводы его не кажутся мнѣ убѣдительными...

И, откинувшись назадъ, онъ хлопнулъ Пугачева по колѣнкѣ и сказалъ:

— Старая система, батюшка, старая!

Водворилось минутное молчаніе, тѣмъ болѣе тягостное, что половой позамѣшкался съ жаркимъ. Наконецъ принесли птицу, и у Пугачева вновь развязался языкъ.

— Не понимаю!—бормоталъ онъ:—департаментъ препонъ—самъ по себѣ, а напъ департаментъ—самъ по себѣ... Сами вы всегда говорили... Департаментъ преуспѣяній указываетъ, а департаментъ препонъ сдерживаетъ и умѣряетъ... И наоборотъ.

— Старая система, батюшка, старая!—повторилъ Вожделенскій.

— Заладили одно: старая! Въ чемъ же новая-то ваша система состоитъ?

— А вотъ въ чемъ: служить такъ служить, а либеральничать такъ либеральничать.

Хотя Вожделенскій уже не впервые высказывался въ этомъ смыслѣ и въ этихъ самыхъ выраженіяхъ, но на этотъ разъ вышло какъ-то особенно ясно. Безъ перспективъ, а прямо къ цѣли. Пугачевъ вдругъ почувствовалъ, что ему ужъ не очиститься. Да и Кюстмильё, съ своей стороны, страдальчески заметался.

„Навѣрное Вожделенскій завтра въ „Грачи“ не придетъ.—блеснуло у него въ головѣ.—Да и вообще не видать его „Грачамъ“ какъ ушей своихъ. Любопытно, однакожъ, въ какой онъ трактиръ ходить будетъ?“

— Стало быть, нельзя даже... А впрочемъ что-жъ! оно къ тому идетъ!—процѣдилъ сквозь зубы Пугачевъ и вздохнулъ.

— Да-съ, къ тому-съ.

— Одного я не понимаю: ежели и нельзя, то все-таки почему же бы мы...

Пугачевъ запнулся, какъ бы вызывая Вожделенскаго на поощреніе, но Вожделенскій ехидно молчалъ. Тогда онъ продолжалъ:

— Повторяю: совсѣмъ мы не въ томъ смыслѣ... не въ вредномъ... Дать обществу пищу... отклонить его отъ вредныхъ увлеченій... кажется, это именно та самая задача, которою достигается...

Ежели департаментъ препонъ самымъ дѣломъ воздѣйствуетъ, то мы, съ своей стороны, косвенно...

— То-то, что косвенное-то нынѣ не полагается. Прямо.

— Что жъ такое! прямо такъ прямо. Вѣдь это только такъ говорилось: „косвенно“, а въ сущности оно и всегда было „прямо“...

— Ну-у? такъ ли полно?

— А ежели и еще прямѣе нужно, такъ и прямѣе... — робко инсинуировалъ Пугачевъ.

— Ну, вотъ вы и объяснились, господа!—обрадовался Кюстмильё.

— Согласны и прямѣе-съ?—въ упоръ хихикалъ Вожделенскій, но такъ ядовито, что Пугачевъ во всемъ тѣлѣ почувствовалъ внезапную слабость.

— Гм... стало быть, нашъ департаментъ—ау?—машинально произнесъ онъ упавшимъ голосомъ.

— Поговариваютъ-съ.

— Безъ преобразованій... прямо?—продолжалъ Пугачевъ, все больше и больше увядая.

— На-двое-съ. Одни говорятъ: реформу! другіе—прямо!

Кюстмильё мучительно заёрзалъ на стулѣ. Въ его сердцѣ окончательно поселилось предчувствіе. Нѣкоторое время однакожъ онъ не рѣшался высказаться, но подъ конецъ его такъ прожгло, что онъ не выдержалъ.

— А объ насъ... не слыхать?—произнесъ онъ робко, какъ бы не довѣряя собственнымъ словамъ.

— Въ частности—ничего, но вообще...—загадочно молвилъ Вожделенскій.

— Что же такое... вообще! Мы даже и не призывали... Къ обществу мы не обращались, перспективъ не показывали... — оправдывался Кюстмильё, въ пылу обуявшаго страха даже не догадываясь, что онъ косвеннымъ образомъ и съ своей стороны формулируетъ обвиненіе противъ Пугачева.

— Слышали-съ?—ядовито обратился Вожделенскій къ Пугачеву:—вотъ и они понимаютъ... Они не „обращались“, не „показывали“... А вашъ департаментъ...

И затѣмъ, отвѣчая Кюстмильё, прибавилъ:

— Я и не выдаю за вѣрное насчетъ вашего вѣдомства. Я говорю

только, что вообще... Предрасположеніе такое нынѣче въ сферахъ... Содѣйствіе требуется... прямое! А не то чтобы тамъ косвенно или, напримѣръ, ни туда, ни сюда...

Обѣдъ кончился. Пріятели выкурили по папиросѣ, и Вожделенскій почесывалъ себѣ колѣнки, въ знакъ того, что пора и во-свояси. Но Пугачевъ намѣренно затягивалъ бесѣду: ему нужно было, во что бы ни стало, дойти до конца.

— Нѣтъ, вы скажите... этимъ вѣдь шутить нельзя!—говорилъ онъ, волнуясь.—Мы тоже... конечно, обидѣть не долго... ну, что-жъ! въ заштатъ такъ въ заштатъ! Но за что? Развѣ насъ призывали? развѣ намъ приказывали? объяснили ли намъ хоть разъ: вотъ это —такъ, а вотъ это—не такъ? Призовите! прикажите! Что-жъ! мы съ своей стороны...

— И мы съ своей стороны...—отозвался Жюстмильё.

— То-то, что ни призывать, ни приказывать, ни объяснять не видится надобности. Шуму отъ этихъ призываньевъ да приказываньевъ много. Оказательство.

— Что-жъ такое: оказательство?—все больше и больше раздражался Пугачевъ.—Тутъ рѣчь объ участи людей идетъ, а вы: оказательство!

— Не я, а власть имѣющіе.

— Нѣтъ, вы откройтесь. Вы объясните прямо: что за причина? что̀ такое? почему? ка̀къ?

— Чудакъ вы, Емельянъ Иванычъ! обращаетесь ко мнѣ, точно я властенъ!

— Нѣтъ, вы можете! если вы не властны передѣлать, то можете предупредить, направить... Можете, наконецъ, зарекомендовать!.. А опять и еще: переформировка предстоитъ или упраздненіе? Ежели только переформировка, то можетъ быть... Объяснитесь! А то натко! напустили туману, да и на утёкъ!

Вмѣсто отвѣта Вожделенскій усиленно зачесалъ колѣнки и испустилъ звукъ, который ясно означалъ: надоѣлъ ты мнѣ, братецъ, хуже горькой рѣдьки! И затѣмъ началъ потихоньку сниматься съ мѣста.

— Переформировка или упраздненіе?—приставалъ Пугачевъ.

— Не знаю-съ,—сухо отвѣтилъ Вожделенскій, пробираясь къ выходу.

— Ну, и упраздняйте! — пустилъ ему вслѣдъ Пугачевъ: — и упраздняйте... и упрзадняйте... упррразднители!

Онъ обернулся, думая призвать Жюстмильё во свидѣтели: но ловкій малый уже исчезъ, точно растаялъ въ воздухѣ.

На другой день, объ ту же пòру, Жюстмильё прохаживался по Большой Морской, отъ угла Невскаго до штабной арки и обратно. Онъ явно кого-то поджидалъ и вглядывался въ сумерки. Дѣйствительно, черезъ четверть часа, со стороны Невскаго, показалась знакомая фигура статскаго совѣтника Вожделенскаго, и Жюстмильё мгновенно нырнулъ въ подъѣздъ Малоярославскаго трактира. Минуту спустя, онъ, какъ ни въ чемъ не бывало, уже стоялъ у стойки и тыкалъ вилкой въ блюдце съ килькой. Еще минута — и къ той же стойкѣ подошелъ Вожделенскій.

— Какими судьбами?—воскликнулъ послѣдній, завидѣвъ вчерашняго собесѣдника.

Жюстмильё всѣмъ своимъ женоподобнымъ, потертымъ лицомъ осклабился.

— Да такъ-съ...—пролепеталъ онъ:—признаюсь, послѣ вчерашняго разговора... совсѣмъ мнѣ „Грачи“ опротивѣли!

— Но почему же именно сюда?

— Предчувствіе-съ... — застѣнчиво намекнулъ Жюстмильё и снова осклабился.

— Благодарю!—отвѣтилъ Вожделенскій, протягивая руку:— милости просимъ! будемъ, по старому, вдвоемъ канитель разводить!

И затѣмъ, вспомнивъ о Пугачевѣ, любезно продолжалъ:

— А революціонеръ-то нашъ! поди, дожидается теперь! Перспективы, изволите видѣть, показываетъ! общество занимать хочетъ! Теперь вотъ и спохватился, да поздно... Близокъ локоть, да не укусишь... ау, братъ! Что-жъ, рублевый, что-ли, спросимъ?

— Сегодня ужъ мнѣ позвольте! — засеменилъ Жюстмильё:— въ знакъ будущаго... И вообще... Человѣкъ! два полутора-рублевыхъ! —крикнулъ онъ половому, и, пошептавшись съ нимъ,—прибавилъ вслухъ:—да чтобы заморозить... непррремѣнно!

— Никакъ вы кутить собрались!—ласково укорилъ Вожделен-

скій — что-жъ! отъ времени до времени это не безъ пользы. Постоянно пить нехорошо, но при случаѣ расшить бутылочку-другую — это даже кровь полируетъ!

Черезъ четверть часа пріятели сидѣли за столомъ и оживленно бесѣдовали. Впрочемъ, говорилъ исключительно одинъ Вожделенскій, а Жюстмильё ласково смотрѣлъ ему въ глаза и распускалъ ротъ. Отъ времени до времени упоминалось о Пугачевѣ въ сопровожденіи нарицательнаго: „революціонеръ“. Допускались предположенія: что-то „революціонеръ“ теперь дѣлаетъ? ждетъ, поди, а можетъ быть и ждать пересталъ, щи ѣстъ?

— Предупреждалъ я его, — ораторствовалъ Вожделенскій, впадая въ учительный тонъ. — Эй, говорю, Емельянъ Иванычъ! не слишкомъ ли, сударь, прытко! Не послушался — вотъ на мое и вышло!

— А жалко почтеннѣйшаго Емельяна Иваныча! хоть и по своей отчасти винѣ, а все-таки жалко! — лицемѣрилъ Жюстмюльё, подливая въ стаканы шампанское.

— Это дѣлаетъ честь вашему доброму сердцу, сударь! — снисходительно подхватилъ Вожделенскій. — Я и самъ иногда... по человѣчеству! Всѣ мы люди, всѣ человѣки... Такъ-то.

Жюстмильё весь, всѣмъ существомъ, такъ и расцвѣлъ отъ похвалы.

— Нельзя не жалѣть, — продолжалъ Вожделенскій: — человѣкъ еще въ порѣ, могъ бы пользу приносить... Кабы къ рукамъ, такъ даже прямо можно сказать: золотой человѣкъ!.. И вдругъ!

— И вдругъ! — какъ эхо повторилъ Жюстмильё.

Его самого мутило. Хотя Вожделенскій вчера и не высказался опредѣленно насчетъ департамента оговорокъ, но все-таки кое-что запустилъ. Очевидно, что-то готовится. Но что̀ именно, что̀? Реформировка или... Нѣкоторое время Жюстмильё робѣлъ и воздерживался отъ вопросовъ, но къ концу обѣда языкъ его самъ собой обнаружилъ душевную язву.

— Ну, а насчетъ нашего департамента... слышно? — пролепеталъ онъ, освѣщаясь заискивающей улыбкой.

— Поговариваютъ-съ, — кратко отрѣзалъ Вожделенскій.

Жюстмильё мгновенно завялъ.

Комната вторая.

Павелъ Никитичъ Павлинскій только-что возвратился изъ заграничной поѣздки. Человѣкъ онъ былъ среднихъ лѣтъ (скорѣе даже молодой), безсемейный, не предъявлявшій къ жизни чрезмѣрныхъ требованій и не честолюбивый. Служилъ онъ въ департаментѣ раздачъ и дивидендовъ и довольствовался скромною должностью столоначальника, которую занималъ чуть не десять лѣтъ сряду. Департаментъ этотъ изстари былъ либеральный, и—что особенно было дорого—чиновники его еще въ то время ходили на службу въ пиджакахъ и курили, при отправленіи обязанностей, папиросы, когда въ другихъ департаментахъ не шли дальше цвѣтныхъ брюкъ при вице-кафтанахъ, а курить позволяли себѣ только въ форточку. Это само по себѣ уже составляло приманку, но сверхъ того содержаніе здѣсь было погуще, нежели въ другихъ вѣдомствахъ, да къ концу года и изъ общей массы дивидендовъ на долю каждаго перепадала малая толика. Благодаря этимъ воспособленіямъ, у Павлинскаго всегда водилась вольная деньга, которою онъ и пользовался, чтобы ежегодно дѣлать кратковременныя экскурсіи за границу. Въ концѣ іюля онъ перекидывалъ черезъ плечо дорожную сумку и садился въ вагонъ (непремѣнно I-го класса), а въ началѣ сентября тѣмъ же порядкомъ вновь водворялся въ департаментѣ. Чаще всего онъ дѣлалъ эти экскурсіи на собственный коштъ, но иногда выпрашивалъ какую-нибудь командировку и получалъ отъ казны прогонныя, подъемныя и порціонныя. Пошатается нѣсколько недѣль по Германіи, наблюдетъ, какъ дѣлаютъ папиросныя гильзы въ Баденъ-Баденѣ, Эмсѣ, Гомбургѣ, и подъ конецъ непремѣнно недѣли на двѣ закатится въ Парижъ.

Въ нынѣшнемъ году ему удалось получить командировку. Предлагалось ему посѣтить Швейцарію и на мѣстѣ изслѣдовать, изъ какихъ элементовъ составляется тамошняя дивидендная масса и въ какой пропорціи оная распредѣляется между швейцарскими властями. Съ этою цѣлью онъ цѣлый мѣсяцъ выжилъ на Женевскомъ озерѣ, посѣтилъ Лозанну, Вевэ, Кларанъ, Монтрё и проч. (въ Женеву однакожъ не рискнулъ); но, къ сожалѣнію, вездѣ встрѣтился съ серьезными затрудненіями. На всемъ протяженіи Женевскаго озера по вопросу о раздачахъ и дивидендахъ царствовало полнѣйшее невѣже-

ство, почти хаосъ, такъ что на первый разъ онъ долженъ былъ ограничить свои дѣйствія лишь необходимыми разъясненіями и пропагандой. Плоды этой пропаганды приходилось паблюсти въ будущемъ году, что̀, впрочемъ, не особенно его огорчало, потому что въ перспективѣ обрисовывалась новая командировка съ новыми „воспособленіями“ отъ казны. Затѣмъ, выполнивъ свой долгъ добросовѣстно, Павлинскій, по обыкновенію, направилъ путь въ Парижъ. Пообѣдалъ у Вефура, у Вуазена, у Бребана, Маньи, но въ „Café Américain“ только „такъ посидѣлъ“, потому что показалось дорого. Видѣлъ „Peau d'âne“, „M-lle Nitouche“, „La princesse de Canaries“, побывалъ въ „Excelsior“, въ „Café des Ambassadeurs“ и зашелъ въ „Contributions indirectes“—посмотрѣть, какъ тамъ „наше дѣло стоитъ“. Наконецъ, въ одинъ дождливый и темный вечеръ сѣлъ въ вагонъ и прикатилъ въ Петербургъ. На утро—въ департаментъ; обѣдать—въ „Грачи“. Для человѣка, еще полнаго воспоминаній о „Contributions indirectes“ и о Вефурѣ, это былъ переходъ очень рѣзкій; но Павлинскій былъ человѣкъ бодрый и разсудительный, который легко мирился съ суровою дѣйствительностью и безропотно покорялся начертанному на дверяхъ департамента девизу: „Грачамъ—время, а Вефуру—часъ“. Онъ понималъ, что иначе дивиденды никогда не были бы поставлены на томъ незыблемомъ основаніи, которое позволяло имъ съ честью выдерживать натискъ всѣхъ остальныхъ вѣдомствъ и даже завистливые намеки на фельдмаршальскія содержанія.

Первый сезонный обѣдъ сотоварищей по дивидендамъ былъ чрезвычайно оживленъ. Собралось человѣкъ шесть собесѣдниковъ, и такъ какъ дивиденды были заранѣе уже вычислены и обозначены, то у всѣхъ на душѣ было свѣтло, бодро и радостно. На радостяхъ потребовали „генеральскую закуску“ и, по секрету отъ возвратившагося члена общей дивидендной семьи, заказали пару бутылокъ шипучаго. Затѣмъ, въ ожиданіи ѣды, закурили папиросы, и всѣ лица расцвѣтились такими счастливыми улыбками, что и половые, глядя на господъ, стали улыбаться.

За обѣдомъ рѣчь держалъ по преимуществу Павлинскій. Онъ, не стѣсняясь, называлъ Швейцарію „страною свободы“ и подробно перечислялъ благодѣянія, которыя свобода распространяетъ вокругъ себя. Пароходы, желѣзныя дороги, телеграфы, телефоны—все это

въ „свободныхъ“ странахъ служитъ для общаго блага, а въ „несвободныхъ“ — для воровства. А эти гостиницы-дворцы, подобныхъ которымъ нѣтъ въ цѣломъ мірѣ?.. А возможность свободнаго обмѣна мыслей? А личная обезпеченность, которая каждому даетъ право смѣло смотрѣть въ глаза будущему!? А несмѣтныя толпы иностранцевъ, которыя добрую половину года наводняютъ страну свободы и тратятъ тамъ свои деньги!? А конституція!?!!

— Я провелъ почти мѣсяцъ въ Кларанѣ, — разсказывалъ Павлинскій: — и ни разу даже не почувствовалъ процесса жизни. Жилъ — вотъ и все. Жилъ — потому, что никто не препятствуетъ жить, жилъ — потому, что не только самъ себя чувствовалъ хорошо, но видѣлъ, что и другіе чувствуютъ себя хорошо. Жить въ одиночку — это все равно, что втихомолку ѣсть, думая только о наполненіи желудка. Жить вмѣстѣ со всѣми — это участвовать *всѣми* силами и способностями души въ наслажденіи общими жизненными благами! Ничего нельзя себѣ представить благороднѣе и чище того душевнаго равновѣсія, которое чувствуешь при видѣ довольства, царствующаго кругомъ!

И затѣмъ, спустившись съ высотъ паренія, онъ прибавилъ:

— Встаешь утромъ, откроешь окно — изумительно! Небо — синее; озеро — голубое; прямо — Dent du Midi; влѣво — безподобная долина Роны, которую со всѣхъ сторонъ стерегутъ сѣдые великаны... Воздухъ — упоительный! теплота — поразительная! Спустишься внизъ — кофей готовъ!!

— Dent du Midi? форму зуба, что-ли, онъ имѣетъ? — полюбопытствовалъ одинъ изъ собесѣдниковъ, Мозговитинъ.

— Какъ вамъ сказать... это не зубъ, а скорѣе цѣлый рядъ неровныхъ зубовъ. Одинъ разъ при мнѣ дантистъ у попа такой коренной зубъ вырвалъ... Когда середку горы окутаетъ облако, а сверху солнце свѣтитъ, то кажется, словно фантастическій замокъ, съ башнями и бойницами, на облакахъ повисъ... Изумительно!! Напьешься кофею — съ хлѣбомъ, съ ароматнымъ масломъ, съ настоящими сливками — гулять! Небо синее, озеро голубое, кругомъ озера — всего озера сплошь! — каменная набережная... Идешь — и не чувствуешь, что идешь! Что-то есть такое, что возвышаетъ, уноситъ, располагаетъ... Зайдешь въ лавку, купишь винограду — и опять гулять! Въ часъ завтракъ — по звонку. Послѣ завтрака — экскурія. Иногда

пѣшкомъ, иногда—въ шарабанѣ, иногда—по озеру. Кто хочетъ купаться—купается; кто хочетъ ловить рыбу—ловитъ. Свобода—полная. Окрестности — безподобныя. Гліонъ, Вевэ, Уши, Шильонъ, Евіанъ... Нынѣшнимъ лѣтомъ около Шильона, въ Hôtel Byron Викторъ Гюго жилъ... маститый старикъ! А въ шесть часовъ—обѣдъ, опять по звонку! Обѣдаешь—а въ душѣ музыка!

— Вотъ это — жизнь!—въ восторгѣ отозвался Мозговитинъ, тоже столоначальникъ, хотя и не столь прикосновенный къ дивидендамъ, однако...

— А мы тутъ цѣлое лѣто въ Озеркахъ на Поклонную гору глазѣли да проектъ о превращеніи пятикопѣечныхъ гербовыхъ марокъ въ сорокакопѣечныя сочиняли!—съ горечью воскликнулъ третій столоначальникъ, Ловягинъ, преимущественно участвовавшій въ раздачахъ, а не въ дивидендахъ.

— Вы и въ Шильонѣ были?—спросилъ четвертый столоначальникъ, Глухаревъ, служившій въ отдѣленіи „гдѣ раки зимуютъ“.

— Еще бы! Шильонскій узникъ! Байронъ! Тамъ и теперь на одной изъ колоннъ его автографъ показываютъ. И столбъ, къ которому былъ прикованъ „добродѣтельный гражданинъ“ Бониваръ, и углубленіе, которое онъ сдѣлалъ на плитномъ полу, ходя взадъ и впередъ въ одномъ и томъ же направленіи. Представьте себѣ желѣзную цѣпь, которая не позволяла ему отойти отъ столба дальше нежели на два аршина... И такимъ образомъ цѣлыхъ восемь лѣтъ! Восемь лѣтъ!

— За что же это его такъ?—полюбопытствовалъ пятый собесѣдникъ, Новинскій, который былъ только помощникомъ столоначальника и не успѣлъ еще погрязнуть въ дивидендахъ.

— Любилъ свободу и былъ добродѣтельный гражданинъ—вотъ и все! Для Савойскаго дома, который тогда владѣлъ этою частью Швейцаріи, этого было вполнѣ достаточно.

— Для Саво·ойскаго?!—изумленно переспросили собесѣдники, въ воображеніи которыхъ съ понятіемъ о Савойскомъ домѣ соединялось представленіе о Викторѣ-Эммануилѣ, о Кавурѣ, о Гарибальди и даже о Мадзини.—А теперь-то! теперь-то Савойскій домъ!

— Да, господа, были времена, когда и Савойскій домъ велъ себя не безукоризненно!—продолжалъ Павлинскій.—Въ томъ же Шильонскомъ замкѣ показываютъ, напримѣръ, высѣченное въ ка-

менной скалѣ ложе съ каменнымъ изголовьемъ, на которомъ осужденные проводили послѣднюю ночь. А иногда ихъ обманывали: объявляли прощеніе и вели темнымъ корридоромъ изъ тюрьмы. Но въ концѣ корридора былъ вырытъ колодезь; осужденный оступался въ него и падалъ на громадные ножи, которые рѣзали его на куски.

— Однако!

— А теперь вокругъ этихъ самыхъ стѣнъ играетъ жизнь, ликуетъ свобода! А именемъ Бонивара названъ лучшій озерный пароходъ... Какой урокъ!

— Все оттого, что прежде тьма была, а теперь—свѣтъ!—рѣшилъ Ловягинъ.—А вонъ въ Озеркахъ хоть замка Шильонскаго пѣтъ, а все кажется, словно ты вокругъ столба на цѣпи ходишь!

— Свѣтъ — это главное! — подтвердилъ и Мозговитинъ: — только трудно ему пробиться сквозь тучи... оттого и долгонько бываетъ ждать... Ну, а по нашей части какъ у нихъ?—обратился онъ къ Павлинскому.

— По нашей части, признаться, больше нежели слабо. Представьте себѣ, отъ меня отъ перваго тамъ услышали слово: дивидендъ! Пріѣхалъ я въ Кларанъ, осмотрѣлся чуточку, отдохнулъ—и сейчасъ же въ Лозанну, къ тамошнему окружному надзирателю. Спрашиваю: въ какомъ положеніи у васъ дивидендное дѣло? И что же бы вы думали? Онъ даже не понялъ!

— Не понялъ?!

— Не понимаетъ, да и все тутъ. Я туда-сюда, толковалъ ему, толковалъ... Одинъ отвѣтъ: „не можетъ быть!“ Однако, немного погодя, началъ задумываться.

— Пробрало?

— Кажется, что такъ. Пришелъ ко мнѣ въ Кларанъ, молча пожалъ мнѣ руку и ушелъ.

— Увидите, что и тамъ теперь реформы начнутся!

— То есть... какъ вамъ сказать!.. навѣрное утверждать не берусь. Слишкомъ сильна тамъ консервативная партія. Она непремѣнно будетъ тормозить. Во всякомъ случаѣ это вопросъ настолько существенный, что въ будущемъ году я непремѣнно опять отправлюсь въ Лозанну, чтобъ лично убѣдиться, какое дѣйствіе произвели мои разъясненія.

— Дай Богъ! дай Богъ! А въ Парижѣ... конечно, тоже побывали?

— Еще бы! Быть за границей и не заѣхать въ Парижъ? Но въ какомъ они нынче трико женщинъ въ феерiяхъ выводятъ—ну, просто... Одного не понимаю: зачѣмъ трико?

— А у насъ надѣнутъ на *нее* мѣшокъ, да такой, что гороху четверикъ туда всыпать можно, да еще кисеи цѣлый ворохъ накутаютъ... догадывайся!

— Да, господа, Парижъ—это столица мiра! Встанешь утромъ—и сейчасъ чувствуешь... Возьмите одни журналы: „Intransigent“. „Justice“, „Combat“... такъ и брызжетъ! Прочитаешь—куда идти? Завтракать?—къ Бребану! Garçon! la carte du jour! Filet de boeuf sauce béarnaise... c'est ça! Мягко и нѣжно и въ то же время серьезно. Полбутылки вина, на десертъ персикъ, кисть винограда—нигдѣ въ цѣломъ мiрѣ подобныхъ фруктовъ нѣтъ! Позавтракавши—на бульваръ. Ходишь, фланируешь, осматриваешь въ окнахъ выставки, и вдругъ... „Вы—русскiй?“—Русскiй-съ.—„Пріятно познакомиться. А это моя жена, ма фамъ, Прасковья Ивановна“. Слово за слово: „Не хотите ли отобѣдать вмѣстѣ?“—Съ удовольствiемъ.—„А до обѣда къ Тортони пойдемъ, соломинку пососемъ“... Смотришь, утро и прошло. Отобѣдаешь, а вечеромъ въ театръ!

— Съ Прасковьей Ивановной?

— Ну, да... Какой вы однакожъ, Ловягинъ! всегда что-нибудь заподозритъ... циникъ!..

Подобные разговоры изъ года въ годъ повторялись въ одной и той же силѣ, почти въ однихъ и тѣхъ же выраженiяхъ. Несомнѣнно, что столопачальники, которые ихъ вели, были люди благонамѣренные, либеральные и просвѣщенные; но жизнь русскаго культурнаго человѣка такъ странно сложилась, что онъ тогда только чувствуетъ себя вполнѣ компетентно, когда рѣчь заходитъ объ ѣдѣ, объ атурахъ и дивидендахъ. Правда, что въ послѣднее время трактирныя собесѣдованiя обогатились еще однимъ элементомъ: похвалами неуклонности; но ни Павлинскiй, ни его товарищи этого элемента еще не допускали. И, по моему мнѣнiю, хорошо дѣлали, ибо, право, лучше о вефуровскихъ шатобріанахъ разговаривать, нежели о неуклонности.

Разговоры о неуклонности—самые наскудные изъ всѣхъ. Они раздражаютъ, волнуютъ, вызываютъ на мысль о потасовкѣ. Сидитъ остервенившiйся кляузникъ, точитъ изо рта пѣну и сулитъ всякiя нелегкiя... Какое такое ты полное право имѣешь, наглый ядрило,

осквернять мозги посторонних лицъ своимъ бѣшенымъ бормотаніемъ? гдѣ почерпнулъ ты смѣлость оподлять землю, которая тебя носитъ, время, въ которое ты живешь, стѣны, среди которыхъ ты точишь свою слюну? откуда пришла къ тебѣ увѣренность въ безнаказанности? изъ какой упраздненной щели ты выползъ? зачѣмъ?

Несомнѣнно, что современныя собесѣдованія о неуклонности служатъ естественнымъ развитіемъ тѣхъ разговоровъ о бараньемъ рогѣ и ежовыхъ рукавицахъ, которые, лѣтъ двадцать тому назадъ, оглашали дореформенную Россію. Но какая разница въ манерѣ, въ силѣ и въ самомъ содержаніи! Въ то время какъ прежніе разговоры представляли собой простую безсмыслицу и, подобно молніи, прорѣзывающей тучу, являлись мимолетнымъ взрывомъ наэлектризованнаго темперамента, нынѣшніе сквернословные діалоги представляются уже выраженіемъ какой-то угрюмой системы, обдуманной въ тиши уединеннаго мѣста, и не потухаютъ мгновенно, а длятся, длятся безъ конца...

Во всякомъ случаѣ я отнюдь не осуждаю Павлинскаго и его товарищей ни за ихъ разговорное безсиліе, ни за то, что ихъ либерализмъ перепутался съ дивидендами, и вслѣдствіе этого принялъ своеобразныя, нѣсколько неуклюжія формы. Какъ уже сказано выше, явленія эти зависѣли не столько отъ нихъ самихъ, сколько отъ общаго безсодержательнаго уровня русской культурной жизни.

Но я положительно хвалю ихъ за то, что они никому не угрожаютъ и не сулятъ нелегкихъ. По моему мнѣнію, между гражданами одной и той же страны не можетъ быть допускаемо ни трактирнаго поединщванія, ни угрожательной полемики вообще. Обыватели обязаны сидѣть въ трактирахъ смирно, а ежели иногда имъ и приходится слышать произносимыя по близости несочувственныя рѣчи, то они не должны забывать, что виновный въ произнесеніи таковыхъ рѣчей отвѣтственъ за нихъ передъ компетентною властью, а отнюдь не передъ трактирными завсегдатаями. Конечно, бываютъ рѣчи, отъ коихъ тошнитъ, но лучше тошноту перенести, нежели входить въ рискованныя трактирныя пререканія. Именно такъ и поступали Павлинскій съ товарищи. Когда надворный совѣтникъ Скорпіоновъ, обѣдая въ ихъ сосѣдствѣ, провозглашалъ, что либераловъ слѣдуетъ топить въ рѣкѣ, они не только не сворачивали ему за это скуль, но дѣлали видъ, что Скорпіоновскія рѣчи вовсе до нихъ не относятся.

Вообще они вели себя въ этомъ дѣлѣ съ тѣмъ тонкимъ тактомъ, который всякому прозорливому столоначальнику свойственъ. То-есть, не отрицали неуклонности, но и не шли къ ней на встрѣчу. Когда же передъ ними ставили этотъ вопросъ рѣзко и въ упоръ, то отзывались, что неуклонность находится въ другомъ вѣдомствѣ и, слѣдовательно, оцѣнкѣ ихъ не подлежитъ. И такимъ образомъ находили отговорку, которая служила имъ очень приличнымъ прикрытіемъ.

Тѣмъ не менѣе времена настолько созрѣли, что вопросъ о неуклонности принялъ нарочито назойливыя формы. Весь воздухъ до такой степени насытился неуклонностью, что люди смирные тщетно мечутся, изыскивая способы отмолчаться. Неуклонность слѣдуетъ за ними по пятамъ въ образѣ жестоковыйныхъ кляузниковъ, которые съ беззавѣтнымъ нахальствомъ проникаютъ и въ публичныя мѣста, и въ частныя квартиры. Способность мыслить становится тяжелымъ бременемъ, а попытка формулировать какую бы то ни было мысль—рискомъ, не обѣщающимъ ничего хорошаго...

Я знаю, меня обвинятъ въ преувеличеніи. Скажутъ: хотя кляузники и существуютъ, но, въ сущности, они составляютъ очень мизерное меньшинство... Прекрасно, пусть будетъ такъ. Но, во-первыхъ, таково свойство кляузы, что она и въ одиночку легко поражаетъ разрозненныя и слабыя массы; а во-вторыхъ, вѣдь и трихина прокрадывается въ организмъ лишь небольшими партіями, а какія она расположаетъ массы, какъ только найдетъ для себя благопріятную среду!

Какъ бы то ни было, но мирное собесѣдованіе столоначальниковъ было возмущено самымъ страннымъ образомъ.

Разсказавъ подробности своего заграничнаго путешествія и отдавъ дань похвалы соусу soubise, подаваемому у Бребана къ котлетамъ изъ présalé, Павлинскій очень любезно обратился къ товарищамъ съ вопросомъ:

— Ну, а вы, горемычные, какъ тутъ лѣтомъ пропекались?

Невиннѣе и естественнѣе этого вопроса ничего не могло быть. Невиннѣе—потому что ничего виновнаго онъ въ себѣ не заключалъ; естественнѣе—потому что самые элементарные законы общежитія требовали, чтобы въ отвѣтъ на выраженное друзьями доброжелательство заплатить имъ такимъ же доброжелательствомъ. Что же касается до выраженія: „горемычные“, то хотя въ немъ и слышится нѣкоторая тривіальность, но такъ какъ въ законахъ не выражается

требованія, чтобы для разговоровъ въ трактирѣ „Грачи“ употреблялся высокій слогъ, то и въ этомъ отношеніи Павлинскій былъ, какъ говорится, „въ порядкѣ“.

Но не такъ думалъ объ этомъ надворный совѣтникъ Скорпіоновъ, который, какъ только заслышалъ вопросъ Павлинскаго, такъ тотчасъ же залаялъ. На этотъ разъ онъ обѣдалъ съ титулярнымъ совѣтникомъ Аникой Тарантуловымъ, который, подобно Скорпіонову, не имѣлъ „постоянныхъ“ занятій, а добывалъ себѣ пропитаніе „похвальными поступками“. Тѣмъ не менѣе, не имѣя правильныхъ способовъ существованія, ни тотъ, ни другой не имѣли и правильнаго обѣда, а довольствовались чѣмъ попало, преимущественно напирая на водку. На сей разъ Тарантуловъ ѣлъ подовый пирогъ, а Скорпіоновъ — московскую селянку. Ѣли и въ промежуткахъ между глотками искускали охранительные звуки.

— А по моему, такъ именно тѣ, по справедливости, „горемычными“ назваться могутъ, кои по заграницамъ да по Парижамъ „горе мыкаютъ!“ —обратился Скорпіоновъ къ Тарантулову, какъ бы продолжая „самостоятельный“ разговоръ.

— Что такъ! а я, напротивъ, слыхалъ, что тѣ нынче „интеллигентами“ себя величаютъ! —отозвался Аника, и такъ ему смѣшно показалось, что онъ не выдержалъ и захохоталъ: —ха-ха!

— Удивляюсь! —продолжалъ самостоятельно резонировать Скорпіоновъ: —не тому удивляюсь, что развратъ этотъ нынѣ всюду вывь проникъ, а тому, что никто не вступится. Кажется, только бы слово одно! Одно бы только словечко: братцы! вотъ они! — и всѣхъ бы этихъ интеллигентовъ...

— Ау?! —хихикнулъ Тарантуловъ.

Хотя Павлинскій старался показать, что онъ не слышитъ Скорпіоновскихъ рѣчей, но невольное волненіе выдало его. И волненіе это очень характерно выразилось въ томъ, что онъ машинально и какъ-то растерянно повторилъ свой вопросъ:

— А вы, горемычные, какъ лѣтомъ пропекались?

Голосъ его звучалъ неспокойно: губы слегка побѣднѣли; ножикъ, которымъ онъ разрѣзывалъ птицу, дрожалъ. Къ сожалѣнію, и между товарищами произошло нѣкоторое замѣшательство, такъ что они не могли утверждать, что Скорпіоновскій лай не коснулся ихъ.

— Что же мы! — смалодушничалъ Ловягинъ: — своимъ дѣломъ занимались — только и всего!

— Сквернословили! — пояснилъ Скорпіоновъ.

— Ладненько да смирненько — и не видали, какъ лѣто прошло! — присовокупилъ Мозговитинъ.

— Я въ Озеркахъ жилъ, Ѳедоръ Ѳедорычъ — въ Лиговѣ, Василій Иванычъ — въ Стрѣльнѣ, Иванъ Павлычъ — въ Лѣсномъ. Располземся къ обѣду, какъ раки въ разныя стороны, а утромъ опять въ департаментъ къ своимъ дѣламъ обратимся.

— Только погода все лѣто ужасная стояла! по цѣлымъ недѣлямъ солнца не видали! — не остерегся высказаться Новинскій.

— Гдѣ ужъ солнце въ Стрѣльнахъ да въ Озеркахъ видѣть! — „самостоятельно“ съехидничалъ Скорпіоновъ. — Оно, вишь, въ Женеву да въ Парижъ спряталось! И какъ это мы съ вами, Аника Иванычъ, и солнце, и звѣзды, и мѣсяцъ — все видѣли? Солнце какъ солнце!

— Мы съ вами не интеллигенты, Василискъ Тимофеичъ, — объяснилъ Тарантуловъ: — интеллигенты-то на солнце въ подзорную трубу смотрятъ, а мы по-простецки — голыми глазами!

— Развѣ что такъ... Только ужъ такъ я на этихъ интеллигентовъ сердитъ! Кажется, взялъ бы да...

— Д-да-а!? — видимо растерялся Ловягинъ, однако перемогъ себя и продолжалъ: — но ежели погода была и не вполнѣ благопріятна, за то... Удивительно, какъ нынче тихо было! замѣчательно тихое лѣто!

А Глухаревъ, съ своей стороны, прибавилъ:

— Никогда прежде такъ тихо не бывало! Такъ тихо, что ежели кто не чувствовалъ за собою вины, то смѣло могъ надѣяться, что его не потревожатъ.

— А развѣ когда-нибудь прежде бывало, господинъ Глухаревъ, чтобы невинныхъ тревожили? — возопилъ Скорпіоновъ, безцеремонно врываясь въ пріятельскую бесѣду.

Павлинскаго передернуло. Ему слѣдовало совсѣмъ не обращать вниманія на запросъ, но онъ, повидимому все еще находясь подъ игомъ воспоминаній о Dent du Midi, не выдержалъ и процѣдилъ сквозь зубы:

— Ахъ, какъ непріятно!

— Непріятно-съ? — подхватилъ Скорпіоновъ. — Позвольте одна-

кожъ спросить, господинъ Павлинскій, кому больше непріятно: вамъ или вашимъ слушателямъ? Ежели васъ даже скромное напоминаніе о долгѣ приводитъ въ раздраженіе, то что же должны испытывать тѣ, коихъ вы оскорбляете, такъ сказать, въ глубинѣ священнѣйшихъ чувствъ?

На этотъ разъ Павлинскій смолчалъ и нервно торопился доѣсть жареную птицу.

— Какіе дивиденды—и какая неблагодарность?—продолжалъ Скорпіоновъ:—подумали вы, господинъ Павлинскій, кто вамъ эти дивиденды присвоилъ? и на какой предметъ? Фельдмаршальское содержаніе получаете—а какъ выражаетесь... ахъ-ахъ-ахъ! Да еслибъ я... еслибъ мы, напримѣръ, съ Аникой Иванычемъ... при такомъ авантажѣ... да мы бы...

Тарантуловъ, услыхавъ это предположеніе, такъ быстро усвоилъ его себѣ, что даже застоналъ:

— Охъ!

Столоначальники молча доѣдали обѣдъ, торопя глазами полового, чтобъ поскорѣе подавалъ перемѣну. Однакожъ Новинскій, какъ человѣкъ еще молодой и горяченькій, не вытерпѣлъ и хоть несмѣло, но все-таки достаточно громко сказалъ:

— Вотъ ужъ дѣйствительно... трихина!

Но Скорпіоновъ и этимъ не смутился.

— „Трихина“-съ?—такъ, кажется, вы, господинъ Новинскій, изволили выразиться?—очень любезно отпарировалъ онъ:—слыхали-съ! Это червячки такіе миніатюрненькіе... въ ветчинѣ бываютъ?.. Но еслибы даже и червяки-съ! еслибы и червячокъ правду высказалъ, такъ, по моему, и отъ червячка не стыдно ее выслушать... Правда—вездѣ правда, и никакіе дивиденды ее неправдой не сдѣлаютъ. Нынче, я слышалъ, въ Москвѣ нѣкоторый человѣкъ проявился: сидитъ въ укромномъ мѣстѣ и все только правду говоритъ! А прохожіе идутъ мимо и слушаютъ! На то она и правда, чтобъ всякій ее слушалъ! А ежели кто добровольно не согласенъ правду слушать, противъ того можно и мѣры принять... Такъ ли я, Аника Иванычъ, говорю?

— Прравильно!—раскатился Тарантуловъ могучимъ мокротнымъ басомъ.

— Правду, доложу вамъ, даже полезно отъ времени до времени

выслушивать, — продолжалъ резонировать Скорпіоновъ: — потому человѣкъ не всегда самъ за собой услѣдить можетъ. Иной и благонамѣренный, а смотришь — онъ ослабъ! Ну, такъ ослабъ, что еще немножко—хоть на цѣпь его сажай, такъ въ ту же пору! И вдругъ, въ этакихъ-то стѣсненныхъ обстоятельствахъ, онъ правду слышитъ. Слышитъ разъ, слышитъ другой... Въ трактиръ придетъ—правда! на службу придетъ — правда! домой придетъ — правда! А что, дескать, ужъ и впрямь не спанашился ли я? Подумаетъ-подумаетъ, да взвѣситъ, да сообразитъ... смотришь, онъ и остепенился! Вотъ она, правда-то, что̀ значитъ! Такъ ли я, Аника Иванычъ, говорю!

— Ирправильно!

— А вы меня трихиной изволили обозвать! Я, васъ жалѣючи, правду говорю, а вы...

— Счетъ!—раздраженно крикнулъ Павлинскій.

— Сѣшите-съ!—уязвилъ-было Скорпіоновъ; но въ эту минуту Новинскаго посѣтило вдохновеніе.

— Что̀ такъ рано, Павелъ Никитичъ? — обратился онъ къ Павлинскому:—вѣдь этакъ отъ нихъ, отъ кляузниковъ, и дѣваться некуда будетъ. А мы вотъ что̀ сдѣлаемъ. Господинъ Скорпіоновъ! кажется, графинчикъ-то у васъ сиротой стоитъ?.. Такъ не хотите ли... отъ насъ? а? Человѣкъ! другой графинчикъ господину Скорпіонову! Вы, кажется, очищенную пьете, господа?

— Обыкновенно употребляемъ очищенное вино; но ежели случится двойная померанцевая...

— Прекрасно. Графинъ двойной померанцевой! И два подовыхъ пирога!

Маневръ удался какъ нельзя лучше. Тѣмъ не менѣе онъ совершился настолько внезапно, что даже Скорпіоновъ почувствовалъ себя не совсѣмъ ловко.

— Обыкновенно... мы безвозмездно — пробормоталъ онъ:— но ежели гостепріимство, и при томъ съ раскаяніемъ...

— Именно такъ: съ раскаяніемъ... Кушайте, господа, не стѣсняйтесь!

Наступила временная тишина. Тарантуловъ быстро рвалъ пирогъ зубами и озирался по сторонамъ, какъ бы кто у него не отнялъ; Скорпіоновъ чавкалъ понемножку, прихлебывая небольшими глоточками изъ рюмки. Столоначальники вздохнули свободно и кидали

благодарные взгляды въ сторону Новинскаго. Но прежній дивидендно-либеральный разговоръ уже не вязался.

— Хорошо, господа, на Женевскомъ озерѣ было! небо—синее, озеро—голубое, прямо—Dent du Midi, слѣва—Dent du Jaman... —началъ было Павлинскій, но вспомнилъ, что онъ однажды уже все это разсказалъ, и остановился.

Кляуза сдѣлала-таки свое дѣло: либерализмъ былъ подсѣченъ въ самомъ корнѣ...

Съѣли пирожное, выпили остатки шампанскаго и стали сниматься съ мѣстъ. Столоначальники впрочемъ не торопились и показывали видъ, что ничего особеннаго не произошло, кромѣ небольшого, свойственнаго трактирамъ, недоразумѣнія, которое тутъ же и уладилось, къ общему удовольствію.

Но когда они были уже въ буфетной, Скорпіоновъ прошипѣлъ имъ въ догонку:

— Дивидендщики!

А Новинскій, принимая на подъѣздѣ поздравленія отъ товарищей, говорилъ:

— Что прикажете дѣлать! Только водкой и можно кляузѣ глотку залить! Согласитесь, что, за отсутствіемъ другихъ, это тоже въ своемъ родѣ... обезпеченіе?!

Комната третья.

Крамольниковъ (публицистъ и либрпансёръ) чувствовалъ себя въ этотъ день въ особенности возбужденно.

Съ нѣкоторыхъ поръ онъ „рѣшительно ничего не понималъ". До самой послѣдней минуты онъ думалъ, что существуетъ какое-то отверстіе, въ которое можно заглянуть и изъ котораго отъ времени до времени можетъ пахнуть воздухомъ. Ежели не ворота, то подворотня. Щелка, наконецъ. И вдругъ даже щели—и тѣ исчезли. Законопачены, замазаны, притерты — нѣтъ вамъ щелей! И что всего обиднѣе: онъ даже изслѣдить не догадался, какимъ образомъ все это произошло. Наканунѣ еще думалъ: завтра утромъ пойду и посмотрю въ щелку! Приходитъ—гладко! Даже мѣсто, гдѣ была щелка, не можетъ опознать. И къ кому онъ ни обращался съ вопросомъ: кто замазалъ и по

какому поводу?—всѣ смотрѣли на него съ недоумѣніемъ. и даже съ робостью, какъ бы говоря: ишь вѣдь, головорѣзъ, про что̀ вспомнилъ! И отвѣчали вслухъ: „Проходи-ка, братъ, мимо! ни объ какихъ мы щеляхъ не слыхивали! всегда была здѣсь стѣна какъ стѣна!“

Будучи отъ природы любознателенъ, Крамольниковъ, натурально, взволновался. Любознательность вообще свойственна людямъ, которые еще не успѣли сдѣлаться живыми трупами, а онъ не безъ основанія причислялъ себя къ категоріи такихъ людей. Да, онъ не трупъ, онъ еще дышетъ, и легкія его требуютъ прилива свѣжаго воздуха. Въ тайникахъ души онъ простиралъ свои виды довольно далеко, и не прочь былъ потребовать даже *всего*. Но такъ какъ онъ зналъ, что *остальное* ему не дадутъ, то вынужденъ былъ удовлетвориться щелочкой. Онъ сдѣлалъ эту уступку скрѣпя сердце, но разъ примирившись съ минимумомъ своихъ притязаній къ жизни—уже не допускалъ изъ него никакихъ урѣзокъ. „Щелка такъ щелка,—провозглашалъ онъ рѣзко:—но за то она моя... всецѣло! Ни линіи, ни полълиніи, ни четверть-линіи!“ И жилъ въ надеждѣ, что щелка останется неприкосновенною (а можетъ быть современемъ ее и расковырять будетъ можно), и что *онъ* съумѣетъ отстоять ее отъ чьихъ бы то ни было притязаній...

Каково же было его огорченіе, когда онъ воочію убѣдился, что щелка—пустое дѣло, и что никому даже не интересно знать, согласенъ ли онъ на урѣзки, или несогласенъ. Пришли, замазали и ушли.

Цѣлое утро онъ пробѣгалъ отъ одного знакомаго къ другому, протестуя и жалуясь.

— Представьте себѣ! щелки-то вѣдь ужъ нѣтъ!—сообщалъ онъ одному.

— Да объясните же наконецъ, что̀ такое произошло? — спрашивалъ у другого.

— Вѣдь это ужъ не фактъ, а волшебство! Волшебство! волшебство! волшебство!—повторялъ третьему.

И даже идя по улицѣ, не стѣсняясь присутствіемъ городовыхъ, повторялъ:

— Какое неслыханное варварство!

Наконецъ, измученный, съ растрепанными нервами, прибѣжалъ въ семь часовъ въ „Грачи“, гдѣ имѣлъ обыкновеніе насыщаться. Не обѣдать и даже не ѣсть, а именно только насыщаться.

Тутъ онъ встрѣтилъ цѣлую компанію знакомцевъ, такихъ же либрпансёровъ, какъ и онъ самъ, и не успѣлъ порядкомъ сѣсть на стулъ, какъ уже загремѣлъ:

— Представьте себѣ—щелка-то замазана!—Утромъ пришелъ, думаю: посмотрю! и вдругъ съ одной стороны—стѣна, и съ другой —стѣна! Гдѣ щелка?—нѣтъ щелки!

— А вы только теперь догадались? — молвилъ одинъ знакомецъ.

— Ее ни вчера, ни третьяго дня ужъ не было... давно!—сообщилъ другой.

— У васъ, должно быть, празднаго времени много! Ищете Богъ знаетъ чего, говорите объ томъ, что̀ было, да и быльемъ поросло!— подтрунилъ третій.

Крамольниковъ усѣлся и началъ глотать пищу. Мужчина онъ былъ вальяжный, нуждавшійся въ питаніи, но глоталъ зря, не сознавая ни вкуса, ни даже свойства подаваемой ѣды, такъ что еслибъ ему подали сладкій пирожокъ, намазанный горчицей, то онъ и его бы проглотилъ. Наконецъ, въ срединѣ обѣда, уничтоживъ цѣлую массу черпаго хлѣба, онъ почувствовалъ себя сытымъ и опомнился. Отставилъ приборъ, оглядѣлся, какъ бы припоминая, какъ онъ сюда попалъ, увидѣлъ знакомыя лица, вспомнилъ и опять загремѣлъ:

— Представьте мое удивленіе! — Гляжу, ищу — и ничего не вижу! — Смотрю — на встрѣчу Семенъ Иванычъ идетъ. Къ нему, „Семенъ Иванычъ! — батюшка! — какимъ манеромъ? съ чего?“ И что жъ бы вы думали?—потоптался, потоптался Семенъ Иванычъ— шмыгъ отъ меня на другую сторону улицы! Я — къ Яковъ-Петровичу: „Яковъ Петровичъ! батюшка!“—Этотъ ужъ совсѣмъ дуракъ дуракомъ. „Стыдитесь!“—говоритъ.

— Ха-ха!—раздалось за столомъ.

Но посреди общаго хохота выдѣлился серьезный голосъ, который произнесъ:

— А вы, Крамольниковъ, будьте поосторожнѣе. Помните, что вѣдь здѣсь трактиръ.

Голосъ этотъ принадлежалъ несомнѣнному либрпансёру Тебенькову, который тоже не прочь былъ въ щелочку посмотрѣть. Но такъ какъ онъ былъ малый мудрый, то, разъ убѣдившись, что щелка исчезла, онъ сказалъ себѣ: „ежели она исчезла, то, стало быть, ея

нѣтъ", и благоразумно воздержался отъ всякихъ изслѣдованій по этому предмету.

— Что̀ такое „неосторожиѣе"? и что̀ жъ изъ того, что здѣсь трактиръ?—разгорячился Крамольниковъ.

— А то, во-первыхъ, что самое открытіе, которое васъ такъ поразило, уже указываетъ на необходимость осмотрительности: а во-вторыхъ, то, что въ трактирѣ всякаго гаду довольно.

— Осторожность да осмотрительность—только и слышишь отъ васъ, Тебеньковъ!—вознегодовалъ Крамольниковъ:—докуда же наконецъ?—И какое кому дѣло до гадовъ?—Не преувеличиваете ли вы?—Общество совсѣмъ не такъ низко стоитъ, чтобы сгибаться подъ ферулой какихъ-то „гадовъ"! Напротивъ, при всякомъ удобномъ случаѣ, оно наглядно доказываетъ, въ какую сторону влекутъ его симпатіи. Спрашивается: при такомъ общественномъ настроеніи, что̀ значитъ какихъ-нибудь два-три гада, которые, дѣйствительно, могутъ проскользнуть?

— А то и значитъ, что, несмотря на свою численную слабость, эти два-три гада имѣютъ достаточно силы, чтобы всѣхъ здѣсь присутствующихъ въ осадѣ держать.

Несмотря на то, что Крамольниковъ былъ весь погруженъ въ свои сѣтованія, слова Тебенькова остепенили его. Онъ невольно оглядѣлъ комнату, въ которой они обѣдали, и, къ удовольствію, убѣдился, что въ ней никого, кромѣ своей компаніи, нѣтъ. Правда, изъ сосѣднихъ анфиладъ, справа и слѣва, доносилось густое гудѣніе, но, по мнѣнію его, это гудѣніе даже обезпечивало тайну интимной бесѣды.

— Яко тать въ нощи,—прибавилъ Тебеньковъ, какъ бы угадывая его мысль.

— А коли такъ,—разгорячился Крамольниковъ:—то давайте вести разговоры, которые низшимъ организмамъ свойственны! Нутека, благословясь: мяу-у!

— Крамольниковъ, вы нелѣпы!—обидѣлся Тебеньковъ.

— А ежели и это вамъ кажется черезъ-чуръ радикальнымъ, то займемтесь чѣмъ-нибудь приблизительнымъ. Напримѣръ: какъ называется эта птица, которая поставлена на столъ?

— Судя по могущественному тѣлосложенію, надо бы быть глухарю,—сказалъ онъ.

— А по моему, такъ это преклонныхъ лѣтъ самоклюй,—отозвался другой.

Догадка за догадкой пришли къ заключенію, что это коршунъ, который предварительно съѣлъ и глухаря, и самоклюя, и затѣмъ, въ качествѣ чего-то средняго, попалъ въ трактиръ „Грачи“. Порѣшивши на этомъ, начали ѣсть и вскорѣ такъ освоились, что кто-то даже выразился: „право, хоть бы и еще такую же птицу!“ Наѣвшись, закурили папиросы, спросили пива и стали уже настоящимъ образомъ разговаривать.

— Однажды я въ Тверской губерніи лѣтомъ гостилъ, такъ дупелей ѣлъ—вотъ это такъ птица!—сообщилъ одинъ.

— А по моему тетеревъ, ежели онъ еще цыпленокъ, даже лучше дупеля будетъ!—отозвался другой.

— Тетеревъ-то и не цыпленокъ, а просто „попѣшній“... ежели, напримѣръ, въ сентябрѣ...—возразилъ третій—приготовить его въ кастрюлькѣ да дать легонько вздохнуть—высокая это ѣда, господа!

Наговорившись о птицахъ, перешли къ пиву. Одинъ хвалилъ калинкинское; другой предпочиталъ „Баварію“; третій вспомнилъ о пивѣ Даньельсона въ Москвѣ, щелкнулъ языкомъ и прибавилъ: „Вотъ это такъ пиво было... дореформенное!“

Словомъ сказать, такъ увлеклись, что никто бы и не подумалъ, что люди ведутъ разговоры, высшимъ организмамъ несвойственные. Одинъ Крамольниковъ нервно пожималъ плечами, приговаривая: „каплуны! ай да каплуны!“ Наконецъ онъ не выдержалъ, всталъ съ мѣста и зашагалъ по комнатѣ.

— Растолкуйте вы мнѣ, мудрецы!—началъ онъ, обращаясь къ пріятельской компаніи: — почему то, чему присвоивается названіе „правды“ по ту сторону Вержболова, называется неправдой и превратнымъ толкованіемъ по сю сторону? почему то, что признается не только безопаснымъ, но даже благотворнымъ по ту сторону, становится опаснымъ и вреднымъ по сю сторону? почему люди, считающіеся надежнѣйшею поддержкою порядка—*тамъ*, являются *здѣсь* подрывателями, чуть не разбойниками? почему, наконецъ, одинъ и тотъ же человѣкъ какой-то пустой рѣчонкой, составляющей границу, разсѣкается на-двое? Почему-съ?

— Потому вѣроятно, что въ Вержболовѣ—таможня,— спокойно рѣшилъ Тебеньковъ.

— Не понимаю! Можетъ быть, вы, по обыкновенію, изволите шутить... и, можетъ быть, даже очень остроумно... Но я—не понимаю! Вообще я шутокъ не понимаю. Не понимаю-съ! не понимаю-съ!—повторилъ онъ раздраженно.—Время, въ которое мы живемъ, такъ серьезно и вмѣстѣ съ тѣмъ такъ сурово, что двусмысленности кажутся мнѣ неумѣстными. Да-съ, неумѣстными-съ.

— Но я и не думалъ шутить. Я говорю, что въ Вержболовѣ существуетъ таможня, точно такъ же, какъ сказалъ бы, что существуютъ таможни въ Кёльнѣ, въ Аврикурѣ, въ Пани, въ Пантарлье и проч. Вѣдь и по сю сторону, напримѣръ, Аврикура жизненныя условія имѣютъ совершенно иной характеръ, нежели по ту сторону...

— Не „совершенно иной", а „до извѣстной степени иной" — это такъ. Разница тутъ только въ размѣрахъ, а не въ сущности. Понятія объ общественномъ благѣ и общественномъ вредѣ, объ основахъ, на которыхъ покоится общественный порядокъ, обиай безопасность и личная обезпеченность — и тамъ, и тутъ одни и тѣ же. А ежели политическія формы въ одномъ мѣстѣ шире, а въ другомъ уже, то, право, это вопросъ второстепенной важности. Средній человѣкъ не гонится за политической номенклатурой, а дорожитъ только реальными благами: но, разумѣется, не одними матеріальными благами, а и духовными. А такъ какъ къ числу послѣднихъ принадлежитъ...

— Ахъ, да знаемъ мы, что къ числу послѣднихъ принадлежитъ! —рѣзко прервалъ его Тебеньковъ:—не только знаемъ, но даже можемъ и вамъ предложить небезполезный по этому поводу совѣтъ. Оставьте вы эту безплодную игру въ вопросы и отвѣты! а если не можете совсѣмъ оставить, то отложите ее до болѣе благопріятнаго времени!

— Вы сказали: „до болѣе благопріятнаго времени"! Стало быть, вы признаете, что нынѣшнее время...

— Ничего я не признаю, ни не признаю. Просто-на-просто, не желаю.

— Чего же вы не желаете, господинъ Тебеньковъ? и почему такъ скромно? Не доказываетъ ли это...

— Ничего не доказываетъ. Мы пришли сюда объѣздъ, а не политическій вопросъ обсуждать. Не было—и будетъ съ насъ.

— Странно!

Крамольниковъ горько улыбнулся, раскрылъ ротъ, чтобы еще что-то сказать, но воздержался и принялся шагать взадъ и впередъ по комнатѣ.

— Въ Москвѣ я однажды дѣвицу видѣлъ...—раздался чей-то голосъ среди общаго молчанія.

— Позвольте-съ!—сурово прервалъ Крамольниковъ: —объ московской дѣвицѣ вы послѣ разскажете, а теперь рѣчь вотъ объ чемъ. Позвольте васъ спросить, господа мудрецы: отчего прежде былъ Стыдъ, а теперь—нѣтъ его?

Крамольниковъ скрестилъ на груди руки и неукоснительно требовалъ отвѣта.

— Ахъ, Крамольниковъ! — произнесъ Тебеньковъ съ явнымъ оттѣнкомъ нетерпѣнія.

— Знаю я, что я Крамольниковъ, но не въ этомъ дѣло. Скажите: почему еще такъ недавно обыватель самаго несомнѣнно-заскорузлаго пошиба, развивая тезисъ о пользѣ ежовыхъ рукавицъ, всегда оговаривался! „Знаю, молъ, я, что ежовыя рукавицы не составляютъ послѣдняго слова науки, но что же дѣлать, если безъ нихъ нельзя обойтись? Погодите! Потерпите! Придетъ время, когда нецѣлесообразность этого средства обнаружится сама собою; но при настоящихъ условіяхъ оно представляетъ очень существенное подспорье. Временное, коли хотите, и даже... не вполнѣ нравственное, но тѣмъ не менѣе несомнѣнное и необходимое!“ Вотъ сколько было нужно оговорокъ, чтобъ объяснить — не защитить, а только объяснить — ежовыя рукавицы! Почему, спрашиваю я васъ, этотъ заскорузлый человѣкъ не отстаивалъ ежовыхъ рукавицъ по существу, а только объяснялъ ихъ, какъ явленіе временное, допускаемое, такъ сказать, съ стѣсненнымъ сердцемъ? И почему онъ нынѣ объявляетъ прямо: „ежовыя рукавицы — и средство, и цѣль! кромѣ ежовыхъ рукавицъ, ничего нѣтъ и не будетъ!“ Почему-съ? А потому, государи мои, что когда-то у этого обывателя Стыдъ въ глазахъ былъ, а теперь — и слѣда его нѣтъ! Вотъ.

Крамольниковъ все больше и больше возвышалъ голосъ, а слушатели его все больше и больше жались и озирались по сторонамъ, испытывая сквозь открытыя двери пространство, наполненное пестрыми кучками завсегдатаевъ. Нѣкоторые изъ слушателей даже заносили ноги, съ намѣреніемъ, при первомъ случаѣ, улепетнуть.

— Почему вы сами, господа,—не унимался Крамольниковъ:—еще такъ недавно съ охотой вступали въ собесѣдованіе по поводу самыхъ горячихъ вопросовъ жизни, а теперь вы не только уклоняетесь отъ подобныхъ вопросовъ, но прямо стараетесь заглушить въ себѣ эту потребность разговорами, человѣческому естеству несвойственными? Не потому ли, что прежде вы чувствовали въ сердцахъ вашихъ движеніе совѣсти, а теперь—чувствуете только постыдные порывы самосохраненія? Затѣмъ позвольте еще одинъ нескромный вопросъ...

— Оставьте, Крамольниковъ!—раздалось нѣсколько голосовъ:—положительно вы дѣлаетесь невозможны!

— Кто? я невозможенъ?—уже полнымъ голосомъ возопилъ Крамольниковъ:—я, который довелъ свои требованія до минимума? я—который, въ виду суровой дѣйствительности, добровольно отказался отъ завѣтнѣйшихъ мечтаній жизни и подчинилъ ихъ представленіямъ возможнаго, доступнаго и благовременнаго? я, который, подобно алчущему елею, искалъ чистыхъ струй для утоленія угнетавшей меня жажды и вмѣсто того удовлетворялъ ее словами: подождите! потерпите!? я, который, въ надеждѣ славы и добра, съ восхищеніемъ повторялъ: наше время — не время широкихъ задачъ?!? я, который цѣлымъ рядомъ передовицъ доказывалъ, что на первый разъ мы обязываемся довольствоваться щелкой... съ тѣмъ, разумѣется, чтобы щелка, расширяясь въ строгой постепенности, образовала современемъ соотвѣтствующее отверстіе?? Я невозможенъ? я?!?!

Онъ кричалъ такъ громко, что въ дверяхъ уже показалось нѣсколько ябедническихъ головъ. Въ рядахъ либрпансёровъ обнаружилось серьезное безпокойство, чуть не смятеніе, и ноги ихъ рѣшительнѣе прежняго начали заноситься по направленію къ выходу. Замѣтивъ это движеніе, Крамольниковъ простеръ руки, какъ бы удерживая бѣглецовъ. Въ этой позѣ онъ напоминалъ собой капельмейстера, который началъ назначенный въ программѣ Concertstück и уже не можетъ не довести его до конца. Всецѣло поглощенный горькими впечатлѣніями дня, онъ утратилъ всякое представленіе о времени и мѣстѣ. Вперивъ глаза въ пространство, онъ, казалось, отыскалъ въ немъ какое-то лучезарное мельканіе, которое заставило его позабыть и о слушателяхъ, и объ инстинктахъ самосохраненія, заставлявшихъ этихъ слушателей смотрѣть на всякое „проявленіе“

или „оказательство“ какъ на скандалъ, который самъ по себѣ, помимо злостныхъ комментаріевъ, можетъ запутать и обвиноватить цѣлую массу совсѣмъ неприкосновенныхъ людей.

— Я каюсь!—бичевалъ онъ самъ себя:—я былъ малодушенъ! Мало того: я былъ... постыденъ! Я измѣнилъ большимъ убѣжденіямъ и примирился съ малыми... это нечестно! Вмѣсто того, чтобъ идти широкимъ вольнымъ путемъ, я предпочелъ окольныя тропинки; вмѣсто того, чтобы вступить на торжище жизни воротами, я удовольствовался заглядываніемъ въ щелку... какъ рабъ! Я думалъ, что это знаменуетъ мудрость, а на повѣрку вышло, что это была громадная, непоправимая глупость! Въ одно прекрасное утро щелка исчезла, и я остался безо всего! Я наказанъ жестоко, но заслуженно! Ибо я былъ не только постыденъ, но и глупъ. Глупъ—вотъ что̀ больнѣе всего! Постыдность сама по себѣ можетъ служить даже залогомъ успѣха: глупость—можетъ служить залогомъ только безсрочнаго оплеванія! Постыдному человѣку, только при очень благопріятныхъ условіяхъ, могутъ сказать въ глаза: ты постыденъ! Глупому человѣку, при всякихъ условіяхъ, благовременно и безвременно, говорятъ: дуракъ! дуракъ! дуракъ! Вотъ именно такимъ дуракомъ я сознаю себя...

Онъ остановился, отыскалъ чей-то до половины наполненный стаканъ пива, залпомъ его выпилъ и продолжалъ, попрежнему вперяя глаза въ пространство:

— Тѣмъ не менѣе, мнѣ сдается, что какъ ни обидна глупость, но при извѣстной обстановкѣ она можетъ служить смягчающимъ обстоятельствомъ. „Постыденъ, но безъ разумѣнія“—такой вердиктъ еще можно вынести! Но ежели вердиктъ гласитъ кратко: „постыденъ!“ и только по изреченному милосердію судей не прибавляетъ: „съ предварительно обдуманнымъ намѣреніемъ“—такого страшнаго вердикта положительно нельзя вынести! И хотя я никого прямо не называю, къ кому могъ бы быть примѣненъ подобный жестокій вердиктъ, но все-таки приглашаю васъ обдумать мои слова, господа! Къ сожалѣнію, многіе изъ васъ думаютъ, что можно до такой степени умалиться, стушеваться, исчезнуть, что самая суровая дѣйствительность не выдержитъ и поступится хоть забвеніемъ... Тщетная надежда, государи мои! Уступки и забвенія свойственны явленіямъ нарождающимся, не окрѣпшимъ и неувѣреннымъ въ своемъ будущемъ, а не дѣйствительности, имѣющей за собой многовѣковую исторію. Дѣй-

ствительность есть дѣйствительность, и въ силу своей общепризнанности, въ силу своего исконнаго торжества, она никогда и ничѣмъ не поступается и никогда ничего не забываетъ. Она вполнѣ послѣдовательно выполняетъ свою задачу, то-есть подчиняетъ себѣ все, находящееся въ районѣ ея кругозора, фасонируетъ все, что̀ поддается ея дѣйствію, а неподдающееся—выбрасываетъ за̀ бортъ. Вотъ будущность, которая предстоитъ. И вы не минуете ея, хотя и надѣетесь, что норы, въ которыхъ вы спрятались, *въ ожиданіи лучшихъ дней*, не выдадутъ васъ. Выдадутъ, господа! Да и вы сами, наконецъ, не вытерпите насильственнаго заключенія и выйдете! И вотъ, когда это случится, передъ вами немедленно встанетъ все ваше робкое, скудное прошлое, и встанетъ не въ видѣ укора въ скудости, какъ вы постыдно надѣетесь, а въ видѣ улики въ стремленіи къ потрясенію основъ! Всѣ ваши подходы припомнятся вамъ, всѣ недомолвки будутъ сочтены. Тебеньковъ былъ несомнѣнно правъ, говоря, что одного-двухъ ябедниковъ совершенно достаточно, чтобъ держать въ осадѣ цѣлую массу людей; но онъ позабылъ прибавить, что если дѣйствительно сила ябеды такъ велика, то всякая попытка укрыться отъ нея является, по малой мѣрѣ, безплодною. Я не говорю уже о тѣхъ архиябедникахъ, которые, при посредствѣ печатнаго станка, всю Россію опутали своею подкупною кляузою, и на могилу которыхъ потомство, вмѣсто монумента, уготоваетъ осиновый колъ; но сколько есть ябедниковъ третьестепенныхъ, захудалыхъ, которые, собственно говоря, не имѣютъ никакого ябеднической авторитета, а только похваляются тѣмъ, что они ябедники!.. А вы передъ ними стушевываетесь, и въ нихъ признаете какую-то силу, которая въ одну минуту можетъ васъ скомкать и проглотить!—Стыдитесь, господа!—Вспомните, что вы люди и что не напрасно преданіе отличаетъ человѣческій образъ отъ звѣринаго! Вспомните, что въ извѣстныхъ случаяхъ отсутствіе мужества равняется предательству! Вспомните, наконецъ...

Но тутъ Крамольниковъ круто оборвалъ. Случайно оторвавъ глаза отъ лучезарнаго пространства, къ которому они были прикованы, онъ опустилъ ихъ до̀лу... Передъ нимъ стоялъ пустой столъ, загаженный пивными пятнами. Собесѣдники, четверть часа тому назадъ сидѣвшіе тутъ, исчезли всѣ до единаго.

Взамѣнъ ихъ въ дверяхъ стояли Скорпіоновъ и Тарантуловъ.

— Ахъ, господинъ Крамольниковъ, какъ вы хорошо говорите —въ умиленіи воскликнулъ Скорпіоновъ:—то-есть, такъ вы говорите! такъ говорите!.. вѣкъ бы васъ слушалъ и не наслушался бы!!

Вечеръ четвертый.

ПОШЕХОНСКІЕ РЕФОРМАТОРЫ.

I.

Андрей Курзановъ.

Въ началѣ сороковыхъ годовъ въ семьѣ пошехонскаго мѣщанина Тихона Гордѣева Курзанова проявилась личность, сразу обратившая на себя общее вниманіе. Это былъ сынъ стараго Тихона, Андрей, молодой человѣкъ 20—22 лѣтъ.

Семья Курзановыхъ была бѣдная, смирная и богобоязненная. Старый Тихонъ происходилъ изъ крѣпостныхъ и состоялъ въ дворѣ помѣщика Беленицына, въ качествѣ „живописца“. Все, что носило на себѣ слѣды масляной краски въ селѣ Верховомъ, начиная отъ половъ „подъ паркетъ“ въ барской усадьбѣ и кончая портретной галереей баръ, барчатъ и барышенъ, а также иконостасомъ сельской церкви—все это было дѣломъ рукъ Тихона Курзанова. Въ тогдашнее время помѣщики любили украшать свои жилища произведеніями искусствъ, такъ что почти во всякомъ господскомъ домѣ можно было встрѣтить и „Иродіаду“, держащую на блюдѣ голову Іоанна Крестителя, въ которую Иродъ тыкалъ вилкою, и „Сусанну“, лежащую въ обнаженномъ видѣ, съ двумя старцами по бокамъ, и „Дѣвушку съ тазикомъ и графиномъ воды“, и „Обѣдающихъ дураковъ“ и т. д. Тихонъ и такія картины умѣлъ писать. Человѣкъ онъ былъ смирный и покорный, а въ своей спеціальности положительно неутомимый. Съ утра до вечера онъ готовъ былъ „писать“, но за то ко всякой другой работѣ выказывалъ рѣшительную неспособность. Ни на сѣнокосъ его, въ горячее время, послать было нельзя, ни даже въ лѣсъ за ягодами или за грибами—все равно, ничего не принесетъ. Да и господа были добрые, и хотя смутно, но понимали, что принужденіе

можетъ только изнурить Тихона, а дѣлу не поможетъ. Поэтому, когда по дому не требовалось никакой масляной или живописной работы, то Тихона отпускали по оброку, который онъ и платилъ всегда аккуратно. Когда ему было уже лѣтъ около тридцати-пяти, его женили на сѣдой дѣвушкѣ Аннушкѣ, которую тогда же обложили умѣренными тальками, а лѣтъ черезъ пять послѣ того баринъ Беленицынъ скончался и, умирая, почему-то вспомнилъ о Тихонѣ и заказалъ барынѣ Аннѣ Семеновнѣ дать ему вольную.

Вышедши на волю, Курзановъ поселился въ Пошехонья и жилъ, какъ говорится, съ хлѣба на квасъ. Большой нужды не было, но не было и настоящей сытости. На недостатокъ заказовъ онъ не жаловался, но заказы были исключительно церковные, которые, какъ извѣстно, всегда оканчиваются словами: для Бога-то, чай, можно и уступить? И Тихонъ уступалъ до самой крайней степени, потому что и самъ понималъ, что для Бога не уступить нельзя. Аннушку Тихонъ любилъ, но, по странной особенности всего своего душевнаго строя, какъ будто считалъ свое сожитіе съ нею дѣломъ грѣховнымъ, на которое онъ не рѣшился бы, еслибъ не тяготѣла надъ нимъ всевластная рука крѣпостного права. Съ своей стороны и Аннушка любила его, однакожъ къ матеріальнымъ лишеніямъ относилась не совсѣмъ равнодушно, и нерѣдко-таки поговаривала: „только слава, что золотыя у Тихона руки, а круглый годъ мы съ нимъ по мытарствамъ ходимъ“.

Андрей росъ тихо и одиноко. Это былъ мальчикъ впечатлительный, съ очень нѣжнымъ, почти болѣзненнымъ организмомъ. Съ ранняго дѣтства окруженный образами и книгами церковнаго обихода, онъ легко пристрастился къ божественному. Не пропускалъ ни одной церковной службы и въ особенности любилъ ходить на богомолья по сосѣднимъ пустынямъ и монастырямъ, гдѣ старый Тихонъ имѣлъ почти постоянные заказы. Тишина, окружавшая эти молитвенныя общежитія, умиляла его и растворяла его дѣтское сердце любовью. Тою тихою, ровною, несознаваемою, но разлитою во всемъ организмѣ любовью *ко всему*, которая согрѣваетъ не только самого любящаго, но и весь окружающій его міръ. Не трепетомъ наполняли его вѣковые сосновые боры, служащіе какъ бы преддверіемъ къ обителямъ, а сладко волновали все его существо смѣшаннымъ чувствомъ радости и жалѣнія. Ноги его утопали въ зыбучемъ пескѣ, а онъ чувствовалъ.

что за плечами у него выростаютъ крылья, которыя несутъ его, несутъ... И сердце ширится и рвется, и глаза куда ни обратятся, вездѣ имъ на встрѣчу: свѣтъ, свѣтъ, свѣтъ... Потребность пасть на землю появлялась внезапно и неудержимо. Пасть, цѣловать ноги странныхъ и убогихъ, плакать, страдать, умереть...

Грамота далась ему легко, но ни къ какому другому ремеслу онъ охоты не проявилъ. Даже къ живописи отнесся равнодушно, потому что существо его было переполнено какимъ-то неизъяснимымъ просіяніемъ, которое не имѣло ни формы, ни очертаній, и слѣдовательно не поддавалось ни слову, ни кисти. Впрочемъ, отецъ и не неудилъ его: онъ самъ имѣлъ природу, тождественную съ сыномъ, и ежели „писалъ", то лишь по привычкѣ и ради нужды. Мать тоже не огорчалась внѣшнимъ бездѣйствіемъ сына, потому что провидѣла въ немъ будущаго „богомола", который не только себя, но и ихъ, стариковъ, современемъ прокормитъ.

„Богомолы" въ старые годы составляли особую касту, которой жилось сравнительно хорошо. Это были люди, посвящавшіе себя странствованіямъ и молитвеннымъ подвигамъ. Были между ними искренніе, подвижничавшіе ради подвижничества; но были и такіе, которые смотрѣли на свои скитанія какъ на выгодное ремесло. Послѣдняя категорія выдѣлялась чаще и была очень многочисленна. Ходили они обыкновенно въ полумонашеской одеждѣ, состоявшей изъ длиннаго чернаго полукафтанья, подпоясаннаго широкимъ расшитымъ поясомъ, застегнутымъ на крючки. Волосы подстригали рѣдко; на головѣ носили высокія шапочки на манеръ камилавокъ, и ходили, опираясь правой рукой на высокую трость, въ родѣ поповской. Старозавѣтные помѣщики (а преимущественно ихъ жены и вообще женскій полъ), рѣдко выѣзжавшіе изъ своихъ гнѣздъ, охотно ихъ принимали и сажали за господскій столъ, успокаивали на гостиныхъ перинахъ и любили съ ними бесѣдовать. Предметомъ бесѣдъ обыкновенно служили разныя апокрифическія сказанія: о хожденіи души по мытарствамъ; о томъ, какъ нѣкто, бывъ по ошибкѣ отозванъ отъ міра сего и потомъ вновь возвращенъ къ жизни, передавалъ сокровенныя подробности загробнаго существованія, коихъ былъ очевидцемъ; о томъ, что̀ будетъ на страшномъ судѣ, и какая кого и за что̀ ожидаетъ кара. Но въ область непосредственныхъ обличеній не пускались, и кары, повидимому, сулили не весьма строгія, потому что домашній помѣщичій обиходъ отъ

этихъ собесѣдованій не измѣнялся. Помѣщицы вздыхали, плакали, но вслѣдъ за тѣмъ слезы высыхали и жизнь продолжала течь своей обычной колеей. Вели себя „богомолы“ по большей части скромно; сплетенъ не переносили, вещей плохо лежащихъ не утаивали, и только изрѣдка запутывались въ дѣвичьихъ, какъ бы во свидѣтельство, что и у нихъ, какъ у прочихъ смертныхъ, плоть немощна. Но это имъ извиняли, потому что какъ же съ этимъ быть? Но главное, что̀ въ нихъ восхищало и умиляло—это то, что большинство ихъ круглый годъ не вкушало скоромной пищи. Иные даже въ Свѣтлый праздникъ ограничивались тѣмъ, что поцѣлуютъ яичко, да и опять за рыбку, да за грибки. Отъ этого постояннаго воздержанія нѣкоторые изъ нихъ входили въ экстазъ и прорицали. Предвѣщали вещи простыя, всѣмъ близкія и понятныя: неурожай или изобиліе плодовъ земныхъ, ненастье или вёдро, войну или мирное житіе, угадывали полъ ребенка въ утробѣ матери и проч. Такіе прорицатели особенно чествовались.

Вотъ на такое-то привольное житье и разсчитывала Аннушка для своего сына. Однакожъ ожиданія ея сбылись только отчасти. Изъ Андрея дѣйствительно выработался богомольный и набожный юноша, но въ то же время умственный складъ его сформировался съ такими своеобразными особенностями, которыя рѣшительно не допускали его оставаться на почвѣ простого богомола-ремесленника. Не міръ апокрифическихъ сказаній плѣнялъ его мысль, но міръ человѣческихъ злоключеній, начиная отъ матеріальной неурядицы и кончая страданіями высшаго разряда. Люди, не получившіе никакой воспитательной подготовки, но въ то же время влекомые неудержимою силою къ свѣту, встрѣчаются нерѣдко въ низменныхъ слояхъ общества, но въ большинствѣ случаевъ эти личности впадаютъ въ экзальтацію и становятся чуть не душевно-больными. Къ счастью, Андрей Курзановъ избѣжалъ этого. Онъ не сдѣлался ни юродивымъ, ни бѣсноватымъ, ни прорицателемъ, а остался обыкновеннымъ человѣкомъ, который наивно и безъ раздраженія развивалъ мысли, не имѣвшія никакихъ точекъ прикосновенія съ сложившимся типомъ жизни. Изъ всего вычитаннаго, слышаннаго и видѣннаго онъ извлекъ особый нравственный кодексъ, который коротко выражалъ словами: „жить по-божески“.

Выраженія такого рода настолько общи, что не даютъ повода для какихъ-либо непосредственныхъ выводовъ, да вряд̀ъ-ли и самъ

Андрей подозрѣвалъ, что такіе выводы возможны. По крайней мѣрѣ, онъ не настаивалъ на нихъ. Поэтому, въ большинствѣ случаевъ, выраженія эти остаются незамѣченными (не переведенными на культурно-чиновничій языкъ), или же сопричисляются къ массѣ тѣхъ мнимо-безсодержательныхъ афоризмовъ, которые отъ времени до времени изрекаетъ „непросвѣщенная черь“. Въ сущности однакожъ они далеко не безсодержательны, и простыя сердца отлично угадываютъ ихъ таинственный смыслъ. „Жить по-божески“ значитъ жить по справедливости, никого не утѣсняя, всѣхъ любя и взаимно другъ друга прощая. Коли хотите, непосредственныхъ примѣненій и въ этой расчлененной программѣ не видится, но для чуткаго сердца простеца она несомнѣнно исчерпываетъ всю сложность и все разнообразіе человѣческихъ отношеній.

Тѣмъ не менѣе, въ то время простыя сердца были слишкомъ задавлены, чтобы вслушиваться и вдумываться въ какія бы то ни было досужія рѣчи, и Андрею по-неволѣ приходилось отыскивать для себя аудиторію исключительно среди представителей и представительницъ тогдашней поповской интеллигенціи, то-есть въ помѣщичьей и чиновничьей средѣ.

И тутъ наибольшая часть вниманія шла со стороны женщинъ. Въ пользу Андрея говорила и его молодость, и мягкій, ласкающій голосъ, и задумчивые большіе глаза, и даже меланхолическое тѣлосложеніе. Онъ не говорилъ ни о пламени неугасимомъ, ни о червѣ неусыпающемъ, ни о раскаленныхъ щипцахъ и сковородахъ, а сладко волновалъ сердца „справедливыми“ словами. Къ словамъ этимъ по временамъ прислушивался и мужской полъ, и хотя не умилялся по ихъ поводу, но съ формальной стороны тоже не могъ не находить „справедливыми“. Такъ что за Андреемъ Курзановымъ въ скоромъ времени, во всѣхъ захолустьяхъ поповской интеллигенціи, утвердилась репутація „справедливаго“ человѣка.

Да иначе оно и не могло быть. Дѣлать какія-нибудь посылки изъ общихъ и притомъ совершенно туманныхъ положеній въ то время никому и на мысль не приходило, а что „справедливость“ есть терминъ виолинѣ почтенный и непререкаемый — въ этомъ никто сомнѣваться не дерзалъ. Объ этомъ и помимо Андрея слыхали и въ церкви, и на школьной скамьѣ—какой же наставникъ позволилъ бы себѣ не отдать дани похвалы самоотверженности, любви къ ближнему и

прочимъ элементамъ, изъ которыхъ составляется „божеское“ житіе? —и въ тѣхъ не частыхъ, но все-таки по временамъ прорывавшихся собесѣдованіяхъ, когда даже въ среду, со всѣхъ сторонъ на-глухо запертую, вдругъ невѣдомо откуда и какимъ образомъ налетало свѣжее чувство, просвѣтлявшее умы и умилявшее сердца.

Только вотъ въ глаза этой „справедливости“ не видали, такъ это, пожалуй, придавало еще больше цѣны устнымъ бесѣдамъ о ней.

— Что̀ значитъ жить по-божески?—спрашивала Андрея добрая помѣщица Марья Ивановна, до которой палъ слухъ, что въ Пошехонье объявился „блаженный“, изрекающій „справедливыя“ слова.

— А вотъ что̀: тебѣ кусокъ, и ему кусокъ, и всѣмъ прочимъ по куску!—объяснилъ Андрей въ наивной увѣренности, что въ его объясненіи не только нѣтъ ничего угрожающаго, но что воистину иного угоднаго Богу житья не можетъ существовать.

Марья Ивановна выслушивала это объясненіе и тоже никакихъ угрозъ въ немъ не находила. Напротивъ того, думала: „вотъ кабы Богъ привелъ!“

— А мы-то, жадные!—печаловалась она:—все норовимъ, какъ бы заграбастить да оттянуть. Все бы себѣ! все себѣ!

— Жадность, сударыня, тоже разная бываетъ. Иной отъ болѣзни жаденъ, другой отъ комплекціи. У насъ въ Пошехонье купецъ есть, такъ онъ сколько ни ѣстъ, никакъ наѣсться не можетъ. И въ Москву отъ своей болѣзни лечиться ѣздилъ, и въ Кіевъ по обѣщанью пѣшкомъ ходилъ—не даетъ Богъ облегченья. Такую жадность нельзя вмѣнить въ грѣхъ. А вотъ ежели кто „отъ себя“ жаденъ, того ограничить должно.

— Ахъ, Андрюша, Андрюша! какъ же ты его ограничишь, коль скоро и граница, и мѣра—все въ его собственныхъ рукахъ состоитъ? Ты ему: довольно, сударь! а онъ тебѣ: давай еще! Какъ ты *меня* ограничишь, коли всѣ кругомъ куски—всѣ мои? одинъ я отъ папеньки получила, другой—съ аукціона купила, собственныя денежки за него выложила! Какой хочу—тотъ возьму да и съѣмъ!

— И кушайте, сударыня! Я не къ тому... Вы, сударыня, *по закону* кушаете, а я говорю, какъ по-божески. *По закону*, всякій около своего куска ходитъ, а *по-божески* вотъ какъ: тебѣ кусокъ, и мнѣ кусокъ, и прочимъ по куску. Всѣ чтобы сыты были.

— Хоть бы часокъ этакъ-то пожить!—восклицала Марья Ивановна и сладко задумывалась.

Сердце ея переполнялось благоволеніемъ, а мысли разбѣгались во всѣ стороны. Отъ Аришки перебѣгали къ Ипаткѣ, отъ Ипатки къ Антипкѣ... Всѣ сыты! Даже Максимка пастухъ — и тотъ сытъ! А она смотритъ на нихъ и радуется...

Конечно, вспоминалось ей не разъ—и даже очень подробно вспоминалось,—какъ однажды у нихъ на усадьбѣ, объ масляницѣ, „бунтъ былъ“... Ужъ *они* ли въ ту пору не ѣли! И блиновъ-то *имъ!* и судачины-то *имъ!* и толокна-то! и творогу! И что-жъ, однако, подъ конецъ мерзавцы сдѣлали! Въ самый прощёный день дали имъ молочка похлебать... такъ, чуть-чуть съ кислецой... а они взяли, всѣмъ кагаломъ привалили къ господскому крыльцу да молоко-то въ снѣгъ и вылили... Вотъ вѣдь неблагодарность какая!

— А можетъ это и отъ болѣзни, или отъ комплекціи, какъ у того купца... Сколько въ него ни вали — все какъ въ прорву! Ну, и Христосъ съ вами, коли такъ... кушайте, батюшки, кушайте!— Лучше пускай ужъ я... много ли мнѣ нужно?—сунцу, да жарковца, да сладенькаго... У меня вѣдь „комплекціи-то“ нѣтъ—вотъ я и сыта! А прочее—пусть ужъ все имъ! И картофелю, и капусты, и хлѣба... всего! Пускай будутъ сыты... дармоѣды ненасытные! Вонъ Порфишка-то и сейчасъ поперекъ себя толще ходитъ! И все-то ему мало! всѣмъ-то онъ жалуется, что съ толокна у него животъ подвело... вотъ такъ „комплекція“!

Какъ бы то ни было, но первая подробность „божескаго житія“ выяснилась достаточно: тебѣ кусокъ и мнѣ кусокъ, и прочимъ всѣмъ по куску. Такъ слѣдуетъ жить „по справедливости“. Но ежели „всѣ куски—мои“, то—„кушайте, сударыня“! Хоть это и не „по-божески“, но ничего съ этимъ не подѣлаешь. Тѣмъ-то и дорогъ былъ Андрюша, что хоть „справедливыя слова“ у него изъ устъ потокомъ текли, а никому отъ нихъ обидно не было...

Затѣмъ постепенно выяснилась и другая подробность „божескаго житія“.

— Коли кто хочетъ „по справедливости“ жить, — говорилъ Андрей,—тотъ долженъ кичливость оставить. Чтобы ни рабовъ, ни данниковъ, ни кабальныхъ людей—ничего такого чтобъ не было. Всѣ въ равной другъ съ другомъ любви должны жить. Я—тебѣ послужу,

ты—мнѣ. У всѣхъ одинъ Богъ, и всѣхъ онъ одною любовью любитъ, и всѣхъ однимъ судомъ судить будетъ.

— А мы-то! А мы-то! грѣхи наши, грѣхи!

— Коли мы всѣ другъ друга въ равной любви содержать будемъ, то и огорченія наши прекратятся сами собой. И ненависть, и свара, и ропотъ—все исчезнетъ, потому что все это отъ нелюбви, отъ неравенства. Однимъ честь, а другимъ—поношеніе; однимъ веселіе, а другимъ—скорбь. Какъ тутъ огорченью не быть?

— Что говорить! ужъ мы, дворяне, на что Богомъ и царемъ взысканы, а и то, другъ на дружку глядя, нѣтъ-нѣтъ, да и позавидуешь!

— Всѣ мы по естеству равны; всѣ Адамовымъ грѣхомъ въ адъ ввержены были, и всѣ Христомъ Спасомъ Истиннымъ изъ ада освобождены. А ежели всѣ равны—стало быть и одинаковая часть всѣмъ отъ Бога положена.

— Откуда же они взялись... рабы?—робко спрашивала Марья Ивановна:—Богъ не повелѣлъ, а ихъ видимо-невидимо. Въ господскихъ домахъ—господа, въ людскихъ да на скотныхъ—рабы... Господа приказываютъ, а рабы повинуются, тяготы носятъ...

— Встарину, сударыня, это сдѣлалось. Не всѣ люди равной комплекціи рождаются; одинъ покрѣпче, другой послабѣе, а третій и вовсе разслабленный. Сильный-то слабаго и покорилъ. Да покоривши, взялъ да узломъ завязалъ. Теперь ни конца, ни начала этому узлу и не отыщешь!

— Ишь вѣдь что сдѣлалъ!

Марьѣ Ивановнѣ становилось жалко. Какъ это такъ?—думалось ей:—Христосъ Спасъ Истинный всѣхъ изъ ада освободилъ, а „онъ“ —ишь что сдѣлалъ! „Онъ“-то свое дѣло сдѣлалъ, да и ушелъ — ищи его да свищи! — а она, между прочимъ, съ аукціона купила, собственными денежками все до копѣйки заплатила... какъ теперь разсудить? „Ежели поступить „по-божески“, такъ неужто-же *денежки мои* такъ-таки пропасть должны?.. Ежели же не по-божески поступить“...

— Барыня! головку причесать пожалуйте!—прерывала ея мечтанія горничная Анютка.

Перерывъ этотъ являлся очень кстати, ибо давалъ ея мыслямъ новое направленіе.

— Вотъ, Андрюша, я какова!—жаловалась она сама на себя: —и голову-то себѣ причесать сама не могу, все Анютка да Анютка! Анютка, прими! Анютка, подай!—а я сижу какъ царевна, да руки-ноги протягиваю! И знаю, что всѣ мы одной природы, а не могу... Ни я одѣться сама, ни я умыться... словомъ сказать, безъ Анютки какъ безъ рукъ!

— Что-жъ такое, сударыня! И пускай Анютка потрудится... это ей и по закону вмѣняется! Я вѣдь не противъ закона иду, а говорю, какъ по-божески...

Марья Ивановна удалялась успокоенная и отдавала свою голову въ распоряженіе Анютки. Но въ это же время она уносила новую подробность „божескаго житія“: всѣ мы Христомъ Спасомъ Истинымъ изъ ада освобождены, а „онъ“—ишь ты что сдѣлалъ! А она между тѣмъ съ аукціона купила... по закону!

Причесавшись, Марья Ивановна вновь возвращалась къ прерванной бесѣдѣ.

— Какъ же намъ душу-то спасти?—вотъ ты мнѣ что скажи!—безпокоилась она.

— За други свои полагать ее надо—вотъ и спасешь! — отвѣчалъ онъ, нимало не затрудняясь.

Однакожъ Марью Ивановну отвѣтъ этотъ заставалъ неприготовленною.

— Какъ это... душу?—сомнѣвалась она:—словно бы ужъ... Хоть бы руку-ногу, а то... душу! Слыхала я, что въ пустыняхъ живали люди, которые... А чтобы въ міру это было... не знаю!

— Въ пустынѣ молитва спасаетъ, а въ міру—жертва душевная. Коли мы всѣ въ разнобойку по угламъ будемъ сидѣть да за шкуру свою дрожать—откуда же добро-то въ міръ придетъ?

— Ужъ и не знаю, какъ тебѣ сказать... Конечно, мало ли какія у людей „свои дѣла“ бываютъ... иной на службѣ служитъ, другой по коммерческой части... но чтобы у кого такое „занятіе“ было, чтобы „душу“ полагать... не знаю! И не слыхала, и не видала... не знаю!

— Обиду ежели видите—заступитесь: нищету увидите—помогите; муку душевную видите—утѣшьте. Вотъ это и значитъ душу за други свои полагать...

— И заступитесь, и утѣшьте, и помогите! — уже дразнилась

Марья Ивановна.—И помогите! и помогите! А коли помогалки-то, помогальщикъ, у меня нѣтъ?

— На нѣтъ, сударыня, и суда нѣтъ.

— Ну, хорошо. Пускай по твоему. Стало быть, какъ встала съ утра, такъ я и бѣги, вытараща глаза? За одного — заступись, другому—помоги, третьяго—утѣшь! А за меня-то кто безпокоиться будетъ?

— Другъ по дружкѣ, сударыня. Вы за всѣхъ, всѣ за васъ. Христосъ Спасъ Истинный крестное страданіе за насъ принялъ, а мы и побезпокоить себя не хотимъ!

— А ежели я... не могу!—ну, нѣтъ во мнѣ этого, нѣтъ?!

— А не можете, такъ и не нудьте себя, сударыня! Я вѣдь не то чтобы что...

— И вотъ я тебѣ еще что скажу. Ну, положимъ! Положимъ, что я прытка. Туда—побѣгу, сюда—носъ суну, въ третьемъ мѣстѣ —пыль столбомъ подыму... ай да Марья Ивановна!—вотъ такъ Марья Ивановна! А ну, какъ мнѣ самой за это носъ утрутъ? Откуда, скажутъ, помогальщица непрошенная выискалась? Какой такой, скажутъ, законъ есть, чтобы въ чужое дѣло свой носъ совать? А путко. сказывай, какой я на эти слова отвѣтъ дамъ?!

— По закону это, дѣйствительно, такъ... По закону каждый самъ по себѣ—это лучше всего. Вѣдь и я противъ закона не иду, а только объясняю, что ежели по-божески...

— Знаю я, что „по-божески“ хорошо... Ты вотъ по-божьему да по справедливому, а мы—по-грѣшному, да по-человѣчьему! Ты слабость-то человѣчью ни во что не ставишь, а мы объ ней на всякъ часъ помнимъ! Куда ты ее, слабость-то нашу, дѣнешь?

Такимъ образомъ выяснялась и еще подробность „божескаго житія“: душу за ближняго полагать. Правда, что Марья Ивановна такъ и осталась при своемъ мнѣніи насчетъ практическаго примѣненія этого правила, но, благодаря взаимнымъ уступкамъ и разъясненіямъ, дѣло все-таки слаживалось легко. Собственно говоря, Андрюша вѣдь никого не нудилъ, а только говорилъ: коли можете жить по-божески, то и душу по-божески спасайте. а коли не можете по-божески жить—спасайте душу „по закону“. Такъ она именно и поступаетъ: „божеское житіе“ имѣетъ въ „предметѣ“, а душу спасаетъ... „по закону“!

Тѣмъ-то и дорогъ былъ Андрюша Маріѣ Ивановнѣ, что онъ нудить не нудилъ, а между тѣмъ „справедливыя слова“ говорилъ. И говорилъ ихъ въ такое время, когда у всѣхъ на умѣ и на языкѣ только жестокія слова были. Сколько лѣтъ она за Кондратьемъ Кондратьичемъ въ замужствѣ живетъ, и ни одного-то „справедливаго“ слова отъ него не слыхала! Все или водку пьетъ, или табачище куритъ, или сквернословитъ, или на конюшнѣ арапникомъ щелкаетъ! А ночью придетъ пьяный и дрыхнетъ. Въ этомъ вся ея жизнь прошла. Только отъ Андрюши она и увидѣла свѣтъ. Поговоришь съ нимъ —словно какъ и очнешься. И объ душѣ вспомнишь, и о Богѣ... чувствуешь, по крайности, что не до конца окоченѣла!

И не съ одною Маріей Ивановной бесѣдовалъ такимъ образомъ Андрей, а вообще любилъ по душѣ поговорить и, разговаривая, нерѣдко касался такихъ предметовъ, о которыхъ тогда никто и въ помышленіи не имѣлъ. Такимъ образомъ онъ уже въ сороковыхъ годахъ провидѣлъ и новые суды, и земство, и даже свободу книгопечатанія.

О судахъ онъ такъ выражался:

— Нынче судья-то забьется въ мурью, да и пишетъ что̀ ему хочется. Хочетъ — завинитъ, хочетъ — бѣлѣе снѣга сдѣлаетъ. А какъ на міру-то его судить заставятъ, такъ правда-то сама изъ него выскочитъ!

О земствѣ:

— Какъ возможно сравнить: чиновникъ ли по уѣзду распоряжается, или самъ обыватель своимъ дѣломъ заправляетъ? Чиновнику —что̀? онъ пріѣхалъ, взглянулъ, плюнулъ и уѣхалъ! А у обывателя каждая копѣечка на счету и объ каждой у него сердце болитъ!

И наконецъ, кратко, о свободѣ книгопечатанія:

— И помяните мое слово, ежели въ самой скорости волю книгопечатанію не объявятъ!

И дѣйствительно, такъ по его впослѣдствіи все и сдѣлалось.

Но что̀ всего замѣчательнѣе — ни пошехонскій судья, ни пошехонскіе чиновники, ни цензурное вѣдомство — никто на Андрея не претендовалъ. Потому что всѣ понимали, что онъ никого не нудитъ, а только „по-божески“ разговариваетъ.

Словомъ сказать, въ самое короткое время молодой Курзановъ сдѣлался гордостью и украшеніемъ всего Пошехонскаго уѣзда. Самъ городничій, и тотъ любилъ послушать его. Призоветъ бывало, и ве-

литъ „справедливыя слова“ говорить. Скажетъ Андрей: „мнѣ кусокъ!“ — а городничій подтвердитъ: — правильно! — Скажетъ Андрей: „и всѣмъ прочимъ по куску!“ — а городничій опять подтвердитъ:—правильно!—Да и нельзя было не подтвердить, потому что такія же, приблизительно, слова городничій въ церкви по воскресеньямъ слыхалъ.

Этого мало: пріѣхалъ въ Пошехонье на ревизію губернаторъ и тоже пожелалъ на пошехонскую диковинку посмотрѣть. И когда Андрей ему, въ присутствіи всѣхъ уѣздныхъ чиновъ, свои „справедливыя слова“ высказалъ, то онъ не только не нашелъ въ нихъ ничего предосудительнаго, но похвалилъ:

— Молодецъ Курзановъ!

Уѣздные же чины, преисполнившись радости, съ своей стороны, воскликнули:

— Это въ немъ, ваше превосходительство, божеское!

Долго ли, коротко ли такъ шло, а времена между тѣмъ измѣнялись. И все къ лучшему. Началъ Андрею во снѣ старецъ являться. Придетъ, скажетъ:—эй, Андрей! какъ бы тебя за „справедливыя-то слова“ не высѣкли!—и исчезнетъ.

Но Андрей вѣрилъ въ правоту своего дѣла и не боялся.

Наконецъ наступилъ моментъ, когда просвѣщеніе, обойдя всѣ закоулки Россійской имперіи, коснулось и Пошехонья. Прежде всего оно сочло необходимымъ обревизовать пошехонскую терминологію, и затѣмъ, найдя въ ней болѣе или менѣе значительныя неисправности, усердно принялось за очистку ея отъ ненужныхъ примѣсей. Въ числѣ прочихъ подверглись тщательной ревизіи и ходячіе разговоры о „божескомъ житіи“. Просвѣщеніе не отвергало прямо проповѣди о „божескомъ житіи“, но отводило ей мѣсто въ церквахъ и монастыряхъ, и притомъ преимущественно въ воскресные и табельные дни. „Когда царство небесное сдѣлается общимъ достояніемъ,—писалось по этому поводу въ „Уединенномъ Пошехонцѣ“. получавшемъ внушенія чуть не изъ самаго городническаго правленія. —тогда и божеское житіе само собой возъимѣетъ дѣйствіе. До тѣхъ же поръ пошехонскіе обыватели обязываются, не предваряя времени, стараться онаго житія достигнуть не разговорами, а ревностнымъ

исполненіемъ законнаго долга и возлагаемыхъ на нихъ начальствомъ порученій". А въ другой статьѣ тотъ же „Уединенный Пошехонецъ" объяснялъ слѣдующее: „Между прочими баснями, смущающими нетвердые обывательскіе умы, распространяется и таковая, будто бы только тѣ люди живутъ „по справедливости", кои въ основаніе своей жизни полагаютъ правило: „мнѣ кусокъ, и тебѣ—кусокъ, и прочимъ всѣмъ—по куску". Не отрицая, съ своей стороны, удовольствія, которое можетъ доставить общая сытость, мы считаемъ однакожъ не лишнимъ предупредить увлекающихся, что ежели ихъ мечтаніямъ и суждено когда-нибудь осуществиться, то навѣрное ни одинъ изъ нихъ даже приблизительно не въ состояніи опредѣлить момента такового осуществленія. А посему представляется болѣе согласнымъ съ требованіями благоразумія, ежели обыватели, не предваряя событій, положатъ въ основаніе своихъ дѣйствій правило не столь „сытое", но болѣе соотвѣтствующее духу нашего просвѣщеннаго времени, а именно: какой у кого кусокъ есть, тотъ пусть при ономъ и останется. Неимѣющій же куска да потщится на свой собственный коштъ пріобрѣсть таковой".

Это было уже не въ бровь, а прямо въ глазъ. Тѣмъ не менѣе Андрей не только не угомонился, но даже совершенно ничего не понялъ. Такова участь всѣхъ вообще недомолвокъ, полусловъ и полумѣръ. „Уединенный Пошехонецъ" и самъ видимо колебался. Съ одной стороны онъ какъ будто иронизировалъ, но съ другой—не отрицалъ прямо ни „сытости", ни „божескаго житія". Вообще, какъ говорится, ходилъ кругомъ да около. Поэтому обыватель не весьма догадливый не только не убѣждался его доводами, но находилъ ихъ положительно слабыми. „Это онъ для удобности городнической лукавитъ, говорили сторонники „божескаго житія": —хочетъ, чтобъ городничему помыкать нами легче было!" И, утвердившись на этомъ, продолжали упорствовать въ своемъ заблужденіи.

А времена между тѣмъ продолжали зрѣть. И все къ лучшему.

Въ концѣ пятидесятыхъ годовъ пріѣхалъ на городничество майоръ Стратиговъ. Правой ноги у него не было, а отъ лѣвой руки осталась только небольшая часть. А сверхъ того онъ и въ церковь рѣдко ходилъ, а слѣдовательно и о „справедливыхъ словахъ" совсѣмъ позабылъ. Но за то когда онъ бралъ въ правую руку костыль, то дрался имъ замѣчательно больно. Пріѣхавши на городничество.

онъ вызвалъ Андрея Курзанова и велѣлъ ему „справедливыя слова“ говорить. И когда послѣдній, въ наивной увѣренности, что въ этихъ словахъ ничего супротивнаго нѣтъ, высказалъ все, что̀ у него было на душѣ, то Стратиговъ инстинктивно сжалъ въ рукѣ костыль, но, не предваряя событій, отъ немедленнаго боя воздержался, а только какъ-то загадочно метнулъ на него глазами и пробормоталъ:

— Гм...

А на другой день явилась въ „Уединенномъ Пошехонцѣ“ передовица, которая разъяснила дѣло уже въ болѣе рѣшительномъ тонѣ. „Въ городѣ Пошехонья,—говорилось въ этой статьѣ,—появились личности, которыя открыто присвоиваютъ себѣ право говорить такъ-называемыя „справедливыя слова“. Хотя по существу сіи слова представляютъ собой образчики похвальнаго умственнаго паренія, но тѣмъ не менѣе самая сила производимаго ими впечатлѣнія съ достаточностью указываетъ на то, сколь значительный вредъ можетъ произойти отъ невѣжественнаго или неискуснаго съ ними обращенія. Исторія не даромъ свидѣтельствуетъ, что не только у насъ въ Пошехонья, но и въ прочихъ странахъ образованнаго міра слова этой категоріи всегда находились и находятся въ вѣдѣніи подлежащихъ вѣдомствъ и особо препоставленныхъ на сей предметъ учрежденій. Ежели таково непререкаемое свидѣтельство исторіи, то не явствуетъ ли изъ онаго, что „справедливыя слова“, по самой природѣ своей, должны считаться изъятыми изъ общаго обращенія, и что такое изъятіе должно быть принимаемо обывателями отнюдь не въ качествѣ стѣсненія ихъ въ выраженіи благородныхъ чувствъ, но лишь въ смыслѣ предостереженія, что и благородныя чувства могутъ имѣть послѣдствіемъ ссылку въ мѣста не столь отдаленныя. А посему, еслибъ кто-либо изъ обывателей и былъ приведенъ въ такое состояніе, когда отъ избытка чувствъ уста глаголютъ, то и въ такомъ случаѣ представлялось бы полезнѣйшимъ, дабы онъ потребность сію удовлетворялъ у себя въ квартирѣ (однакожъ не при гостяхъ) или въ другихъ пустынныхъ мѣстахъ, публичное же распубликованіе „справедливыхъ“ и тому подобныхъ чувствъ предоставилъ бы лицамъ и мѣстамъ, особливо на сей конецъ уполномоченнымъ“.

Однакожъ Андрей и послѣ этого не смирился. Напротивъ, возъимѣвъ дерзкое намѣреніе проникнуть въ самое сердце полиціи, онъ началъ донимать „справедливыми словами“ будочниковъ, и дѣйство-

валъ въ этомъ смыслѣ настолько успѣшно, что въ одно прекрасное утро искали-искали по всему Пошехонью „пиворота“, и не нашли. И только ужъ на другой день самъ городничій, ходя по базару, едва успѣлъ его вновь осуществить.

Тогда Стратиговъ убѣдился, что наступило время истреблять „фанаберіи“ посредствомъ выколачиванія. Онъ вновь призвалъ Курзанова и вновь велѣлъ ему „справедливыя слова“ говорить. Когда же послѣдній, не подозрѣвая ловушки, съ обычной наивностью выложилъ все, что̀ зналъ, то городничій, взявъ въ правую руку костыль, однократно ударилъ имъ Андрея между крылецъ, сказавъ:

— А остальное за мною!

И что-жъ! Андрей даже этимъ не отрезвился! Противъ всякаго ожиданія онъ не вознегодовалъ, а весь проникся состраданіемъ къ Стратигову, убѣжденный, что это въ немъ дѣйствуетъ болѣзнь.

— Ноги у него нѣтъ,—говоритъ:—руки вотъ съ эстолько осталось—ну и мозжитъ его!

Черезъ день Стратиговъ опять вызвалъ Андрея и ударилъ его между крылецъ уже двукратно. Еще черезъ день—ударилъ троекратно. И наконецъ сталъ бить безъ счету и нещадно. Но Андрей попрежнему продолжалъ говорить „справедливыя слова“, и все больше и больше проникался состраданіемъ къ колченогому городничему, котораго болѣзнь вынуждала прибѣгать къ костылю. Даже тогда, когда въ „Уединенномъ Пошехонцѣ“ появилась статья, въ которой прямо требовалось, чтобы „справедливыя слова произносились только въ нарочито-изготовленныхъ для сего помѣщеніяхъ, а отнюдь не на улицахъ и даже не въ частныхъ домахъ, гдѣ могутъ оныя слышать личности, къ уразумѣнію ихъ неприготовленныя“—даже тогда Андрей не понялъ, что и костыль городническій, и журнальная передовица имѣютъ въ предметѣ дѣйствія, имъ производимыя.

Самъ Стратиговъ изумился. „Ужъ дойму же я тебя, балбесъ!—кричалъ онъ въ изступленіи:—костыль объ тебя измочалю, а дойму!“ И какъ сказалъ, такъ и поступилъ. И все-таки не допялъ. Не допялъ потому что никакой костыль не могъ вразумить Андрея, что слова, которыя въ нарочито-устраиваемыхъ помѣщеніяхъ считаются „справедливыми“, въ другихъ мѣстахъ могутъ превратиться въ опасныя и „несправедливыя“.

Какъ бы то ни было, но теорія искорененія „фанаберіи“ посредствомъ выколачиванія оказывалась исчерпанною. На мѣсто ея потребовалась другая теорія, болѣе состоятельная, и она не замедлила заявить о себѣ.

То была теорія обращенія къ почтеннѣйшей публикѣ. Насадителемъ ея явился исправникъ Октавіанъ Феликсовичъ Язвилло, который, за упраздненіемъ городнической должности, соединилъ въ своемъ лицѣ высшую полицейскую власть по городу и по уѣзду.

Язвилло былъ человѣкъ ловкій. Въ церкви онъ ужъ совсѣмъ никогда не бывалъ, а о „справедливыхъ словахъ“ и не слыхивалъ. Взамѣнъ того онъ принесъ съ собою какія-то особенныя, совсѣмъ новыя слова. Онъ первый произнесъ въ Пошехонья выраженіе: „основы“, и первый же вполнѣ опредѣленно формулировалъ мысль, что „справедливыя слова“ суть зло, направленное къ потрясенію основъ“.

И такъ какъ всѣ предпринимаемыя до тѣхъ поръ средства—въ формѣ вразумленія и вколачиванія, съ цѣлью локализировать зло въ нарочито-устроенныхъ помѣщеніяхъ—оказались безсильными, то Язвилло пришелъ къ заключенію, что въ этомъ дѣлѣ потребны пріемы гораздо болѣе сложные, чуждые этой заскорузлой рутинности, которая шла напроломъ и напиралась на рожонъ.

Наиболѣе цѣлесообразнымъ изъ этихъ пріемовъ представлялось ему спасительное междоусобіе. Съ него онъ и началъ. Раздѣливъ обывателей на двѣ категоріи—благонадежныхъ и неблагонадежныхъ, онъ прежде всего въ яркихъ чертахъ обрисовалъ тѣ опасности, которыми угрожаетъ распространеніе въ публикѣ заблужденій (такъ называлъ онъ прежнія „справедливыя слова“), и затѣмъ призвалъ всѣхъ благонадежныхъ обывателей (на этотъ разъ онъ даже не усомнился употребить слово: „граждане“) къ содѣйствію. Это была съ его стороны штука очень рискованная—кто знаетъ, что̀ могло втемяшиться пошехонцамъ въ голову по случаю этого „призыва“?—но „Уединенный Пошехонецъ“ и на этотъ разъ сослужилъ ему обычную службу. Въ обширной передовицѣ, растянувшейся на цѣлыхъ четыре нумера, онъ разъяснилъ: во-первыхъ, кого слѣдуетъ разумѣть подъ именемъ благонадежныхъ гражданъ; во-вторыхъ, что̀ означаетъ выраженіе: „основы“, почему оныя должны стоять незыблемо; въ-третьихъ, въ какомъ смыслѣ должны быть понимаемы слова: „содѣйствіе общества“; и въ-четвертыхъ, какія хитрости употребляетъ злоумы-

шленіе въ видахъ упраздненія основъ, и какіе пріемы необходимо этимъ хитростямъ противопоставить, чтобы пресѣчь зло въ самомъ корнѣ.

Отвѣты на эти вопросы вкратцѣ заключались въ слѣдующемъ: „благонадежными“ признавались лишь тѣ граждане, кои, „будучи довольны предопредѣленной имъ частью, благополучно подъ сѣнію начальственныхъ предписаній почиваютъ“; „неблагонадежными“ же —тѣ, кои, „по лѣности, пьянству, нерадѣнію или праздности будучи приведены въ уныніе, вмѣсто того, чтобы принимать мѣры къ собственному исправленію, продолжаютъ завистливымъ окомъ вожделѣть“. Изъ числа „основъ“ „Пошехонецъ“ въ особенности настаивалъ на собственности и совѣтовалъ защищать ее всѣми средствами. И не только отъ воровъ, грабителей и разбойниковъ, а всего больше отъ распространителей развратныхъ мыслей, которые за тѣмъ только „всѣхъ равными кусками потчуютъ, дабы собственную нерадивую праздность при семъ случаѣ угобзить“. Что же касается до „основъ“ прочихъ сортовъ, то авторъ передовицы скромно сознавался, что въ полицейскомъ управленіи имѣются объ нихъ лишь весьма скудныя свѣдѣнія, но что въ ближайшемъ будущемъ отъ ярославскаго губернскаго правленія ожидается подробное по сему предмету разъясненіе. О „содѣйствіи“ „Пошехонецъ“ выражался такъ: „не для того оно нужно, чтобы г. исправникъ потребность въ опомъ ощущалъ, а для того, дабы сами обыватели въ полезныхъ упражненіяхъ время препровождали“. Относительно же хитростей, употребляемыхъ для потрясенія основъ, „Уединенный Пошехонецъ“ на первомъ планѣ ставилъ „льстивыя обѣщанія легкаго житія, сопровождаемыя возбужденіемъ дурныхъ страстей“, и какъ противодѣйствіе этимъ ухищреніямъ рекомендовалъ откровенное обращеніе къ Октавіану Феликсовичу Язвилло.

Успѣхъ, достигнутый этой передовицей, былъ поразительный. Но надо сказать правду. что значительнѣйшею частью этого успѣха она была обязана упоминовенію о собственности. Такъ какъ рѣдкій изъ пошехонцевъ не сознавалъ себя обладателемъ хотя бы шила, то понятно, какой страхъ подобный собственникъ долженъ былъ ощутить. узнавъ, что кто-то имѣетъ на это шило претензію и собирается его отнять. Поднялось галдѣніе неслыханное. Сначала теребили преимущественно Андрея Курзанова (по нѣкоторымъ признакамъ дога-

дались, что передовица имѣла въ виду именно его), но потомъ, въ общей суматохѣ, объ немъ забыли, и стали побивать каждый каждаго. Обладатель большого шила слалъ донось на обладателя малаго шила: обладатель суконныхъ штановъ уличалъ въ потрясательныхъ намѣреніяхъ обладателя штановъ нанковыхъ. Мирный дотолѣ городъ загудѣлъ и заволновался, а „благонадежные“ толпами осаждали полицейское управленіе и требовали скорой и немилостивой расправы съ „неблагонадежными“.

Но Курзановъ все-таки продолжалъ не понимать. Не понималъ онъ, какое отношеніе имѣютъ „справедливыя слова“ къ этой неожиданной пошехонской сумятицѣ, да и сами пошехонцы врядъ-ли это понимали. Тѣмъ не менѣе житье Андрея въ эту пору было незавидное. Его періодически то сажали въ кутузку, то освобождали отъ нея. Но онъ и этому не удивлялся, а называлъ сажаніе въ кутузку „дѣйствіемъ по закону“, а освобожденіе изъ нея — „дѣйствіемъ по справедливости“.

— Я не противъ закона иду, — говорилъ онъ Язвиллѣ: — а говорю только, что коли ежели „по-божески“...

И такъ-таки на этомъ и устоялъ, несмотря на то, что въ теченіе года по крайней мѣрѣ шесть мѣсяцевъ провелъ въ кутузкѣ.

Язвилло торжествовалъ и уже завелъ-было книгу, въ которую постепенно вносилъ обывателей, на которыхъ само „содѣйствіе“ указывало какъ на неблагонадежныхъ. Однакожъ торжество это было недолгое. Главнымъ образомъ ошибка Язвиллы заключалась въ томъ, что онъ никакъ не предполагалъ, чтобы ябеда, имъ возбужденная, достигла такихъ несказанныхъ размѣровъ и приняла столь разнообразныя формы. Пошехонцы до такой степени разревновались, что превзошли самыя смѣлыя ожиданія. Вчерашній охранитель дѣлался сегодняшнимъ потрясателемъ; сегодняшній охранитель могъ быть увѣреннымъ, что сдѣлается потрясателемъ завтрашнимъ. Язвилло бѣгалъ по городу какъ угорѣлый, ловилъ, хваталъ, но уже никакая лихорадочная дѣятельность не могла удовлетворить народной немезидѣ. Въ одно прекрасное утро оказалось, что изъ всего пошехонскаго населенія только онъ, Язвилло, да негласный руководитель ябедническаго движенія, Беркутовъ (о немъ зри ниже) остались незавиненными. Даже непремѣнный засѣдатель — и тотъ оказался потря-

сателемъ, потому что, получивши съ почвы казенныя деньги, „обронилъ“ ихъ по дорогѣ въ полицейское управленіе.

Тогда Язвилло отправился съ докладомъ въ губернію, гдѣ и былъ немедленно уволенъ отъ должности.

На мѣсто Язвиллы пріѣхалъ въ Пошехонье капитанъ Груздевъ (новокрещенъ изъ черемисъ), который вновь возвратился къ простымъ и удобопонятнымъ распоряженіямъ, съ тѣмъ лишь присовокупленіемъ, что разъ навсегда устранилъ всѣ колебанія и неясности, которыя въ прежнее время парализовали успѣхъ принимаемыхъ мѣръ.

Прибывши на мѣсто, онъ, по примѣру своихъ предмѣстниковъ, велѣлъ привести Андрея Курзанова и приказалъ ему „справедливыя слова“ говорить. Но едва началъ Андрей: „тебѣ — кусокъ, и мнѣ кусокъ“, какъ Груздевъ на первыхъ же словахъ его перервалъ.

— Довольно!—сказалъ онъ твердо:—даю тебѣ два дня на исправленіе!

Черезъ два дня Курзановъ явился вновь; но такъ какъ новидимому умъ у него окончательно заложило, то и на этотъ разъ онъ началъ: „тебѣ—кусокъ, мнѣ—кусокъ“...

— Фюить!

II.

Никаноръ Беркутовъ.

Все въ тотъ же самый періодъ времени, такъ сказать параллельно съ Андреемъ Курзановымъ, расцвѣлъ по сосѣдству съ Пошехоньемъ, въ городѣ Тотьмѣ (Вологодской губерніи), другой реформаторъ, Никаноръ Беркутовъ.

Въ этихъ людяхъ было разное: и отправная точка дѣятельности, и дальнѣйшія ихъ судьбы. Но одна черта была общая, которая и сообщала ихъ дѣятельности выдающійся характеръ: оба мыслили и говорили не такъ, какъ прочіе тотемцы и пошехонцы мыслятъ и говорятъ.

Беркутовъ былъ причетническій сынъ и родился въ одномъ изъ тотемскихъ захолустьевъ, гдѣ отецъ его служилъ пономаремъ при очень бѣдной приходской церкви. Въ дѣтствѣ Никаноръ никогда досыта не ѣдалъ, но за то по горло былъ сытъ побоями и колотушками, которыми щедро одѣляли его отецъ и мать. По одиннадцатому

году сдали его въ тотемское духовное училище, гдѣ сытости не прибавилось, а тѣлесныя калѣчества. напротивъ, въ значительной мѣрѣ умножились. Учился онъ плохо, кончилъ курсъ въ училищѣ поздно и отъ перехода въ семинарію уклонился, а прямо поступилъ на службу писцомъ въ тотемскій земскій судъ на рублевое мѣсячное жалованье. Лѣтъ десять сряду онъ мыкался то около суда, то по становымъ квартирамъ, подстерегая просителей, устраивая мелкія вымогательства, и кончилъ все-таки тѣмъ, что былъ за пьянство и вздорный характеръ выгнанъ изъ службы.

Принятые въ дѣтствѣ побои, а затѣмъ голодъ и дальнѣйшія преслѣдованія судьбы развили въ Беркутовѣ угрюмость, которая постепенно развилась въ открытое человѣконенавистничество. Всѣхъ и за все онъ ненавидѣлъ. Богатыхъ—за то, что богаты, сильныхъ—за то, что сильны, бѣдныхъ—за то, что бѣдны, слабыхъ—за то, что слабы. Въ первыхъ онъ видѣлъ угнетателей, во-вторыхъ—массу ничтожныхъ существъ, которыя ни ему, ни другимъ, ни даже самимъ себѣ не могли оказать ни защиты, ни поддержки. И всѣмъ по мѣрѣ силъ старался сдѣлать зло. Злоба ключомъ кипѣла въ его сердцѣ, злоба прокаженнаго человѣка, къ которому никто добровольно не хочетъ прикоснуться. И онъ несомнѣнно задохся бы отъ ненависти, если-бы не облегчалъ себя, всеминутно изрыгая потоки клеветническихъ и смрадныхъ словъ.

Тридцати лѣтъ отъ роду онъ уже имѣлъ наружность отживающаго старика. Сухой, словно изъѣденный невѣдомыми внутренними бактеріями, съ сгорбленною, какъ бы перешибленною спиною, съ трясущимися руками и ногами, съ морщинистымъ и желтымъ, какъ пергаментъ, лицомъ, онъ, казалось, всеминутно готовъ былъ разсыпаться въ прахъ. Но глаза свидѣтельствовали объ его живучести. Это были черные юношескіе глаза, которые горѣли въ своихъ глубокихъ впадинахъ сухимъ и горячимъ блескомъ, наводя на посторонихъ не страхъ и даже не уныніе, а какую-то щемящую сухоту, какъ будто изъ этихъ глазъ изливался таинственный токъ, который и прочія сердца отравлялъ ненавистью, изсушившею самого Беркутова.

Съ утра до вечера бродилъ Беркутовъ по городскимъ улицамъ, грузно ступая ногами по грязи и опираясь на толстую суковатую палку, которою по временамъ онъ грозилъ, проходя мимо особенно ненавистныхъ ему домовъ. Въ кабаки и харчевни онъ заходилъ охот-

но, но не для пьянства (хотя и выпить былъ не прочь), а для подстрекательства. Тамъ онъ снималъ съ присутствующихъ формальный допросъ и, узнавъ о притѣсненіяхъ—все равно, дѣйствительныхъ или мнимыхъ,—тутъ же начиналъ дѣло. За труды отъ мзды не отказывался, но бралъ умѣренно, и житейскія свои потребности довелъ почти до минимума, такъ что казалось даже удивительнымъ, какъ онъ и въ самомъ дѣлѣ не разсыплется въ прахъ.

Однакожъ адвокатская спеціальность далеко не исчерпывала содержанія его дѣятельности. Самою существенною чертою этой дѣятельности, какъ сказано выше, являлась проповѣдь ненависти къ сильнымъ и презрѣнія къ слабымъ. И то, и другое онъ высказывалъ громко и не стѣсняясь. Сильные тогдашняго тотемскаго міра вообще были нѣсколько позамараны. Это были или мѣстные дворяне, почти сплошь мелкопомѣстные, которые тиранили своихъ крѣпостныхъ, выжимая изъ нихъ послѣдніе соки; или чиновники, которые въ то время во всей Россіи жили не столько казеннымъ жалованьемъ, сколько выдумками собственнаго изобрѣтенія. Это значительно облегчало Беркутову его пропаганду ненависти, такъ что какъ ни горѣли представители мѣстной культуры желаніемъ доѣсть наглаго надругателя, но самая нерѣшительность и робкость, которыя они при этомъ выказывали, въ самомъ корнѣ парализировала ихъ усилія. Что же касается до презрѣнія къ слабымъ, то, конечно, въ этомъ отношеніи ни съ какой стороны препятствій для Беркутова возникнуть не могло.

Замѣчательно, что, несмотря на несомнѣнную каверзность его наружнаго вида, никто надъ Беркутовымъ не издѣвался. Даже мальчишки не бѣгали за нимъ толпами, не кричали и не дразнились, какъ это дѣлалось въ отношеніи другихъ, болѣе обыкновенныхъ пропойцевъ. Какъ будто они понимали, что въ этомъ трясущемся тѣлѣ заключена таинственная сила, которая можетъ въ одну минуту задавить и ихъ самихъ, и присныхъ ихъ, и то „праховое" устройство, около котораго лѣпилось ихъ существованіе. Взрослые же тотемцы почти поголовно снимали передъ Беркутовымъ картузы, что доставляло ему неизреченное наслажденіе, такъ какъ онъ зналъ, что не было той души во всемъ городѣ, которая не ненавидѣла бы его.

Ученіе Беркутова было очень просто и выражалось въ слѣдующихъ немногихъ словахъ: „всѣхъ привести къ одному знаменателю".

Именно такъ онъ и говорилъ, какъ бы свидѣтельствуя этимъ, что былъ въ училищѣ и не забылъ о дробяхъ.

Никакихъ разъясненій и развитій это ученіе не требовало. Все оно исчерпывалось въ своей краткой гнусности. Кого нужно было привести къ одному знаменателю?—всѣхъ. По какимъ причинамъ?—по всѣмъ вообще. Что̀ означало слово: „знаменатель“?—все вообще, что̀ заставляетъ человѣка страдать, корчиться отъ боли, изнывать. И плющильный молотъ, и „кошки“, и плеть, и пресловутый „третій пунктъ“, и клевета, и нравственныя мучительства и истязанія—все на потребу! все въ бо́льшей или ме́ньшей степени равняетъ людей передъ лицомъ „знаменателя“.

Для чего это нужно?—Беркутовъ никогда на этотъ вопросъ не отвѣчалъ; но видно было, что для него дѣло было вполнѣ ясно. Можетъ быть, ему представлялась безконечная пустыня, по которой рыскали звѣри и рвали другъ друга зубами. Или, быть можетъ, передъ глазами его мелькалъ наполненный атомами хаосъ, изъ темной глубины котораго выступалъ сатана... Во всякомъ случаѣ едва-ли даже лично самого себя онъ выдѣлялъ изъ той общей утрамбовки, которую долженъ былъ произвести „знаменатель“, похаживая по обывательскимъ головамъ.

Повторяю, однакожъ: Беркутова весь городъ ненавидѣлъ, а въ томъ числѣ и лица, за которыхъ онъ по наружности заступался и отъ имени которыхъ вчиналъ иски и дѣла. Но всего болѣе ненавидѣли его чиновники, несмотря на то, что теорія приведенія къ одному знаменателю, по существу, вовсе не противорѣчила вѣяньямъ того времени. Очевидно, что атмосфера до того была насыщена всевозможными знаменателями, что слышать это слово отъ какого-то случайнаго поганца становилось уже совсѣмъ нестерпимымъ. Поэтому, какъ ни боялись тотемскіе чины разоблаченій Беркутова и какъ ни ошеломляюще дѣйствовала эта боязнь на ихъ отношенія къ „поганцу“, тѣмъ не менѣе они все-таки всемѣрно старались его допять.

Тотемскій городничій не разъ призывалъ Беркутова и угрожалъ ему:

— И отъ кого ты, поганецъ, уродился?—кричалъ онъ на него:—и какъ земля тебя, демона, носитъ, какъ не задохнешься ты въ паскудствѣ своемъ? Вотъ погоди ужо! сгною я тебя въ острогѣ! сгною, какъ нитъ дамъ!

И дѣйствительно, отъ времени до времени изобрѣталъ какую-нибудь выдумку и сажалъ Беркутова въ острогъ. А однажды даже и впрямь едва не „стопилъ“ его въ тюрьмѣ. И вотъ по какому случаю.

Въ то время, относительно доносителей по первымъ двумъ пунктамъ, держались такого правила: коли любишь доносить, то люби и доказать свой донось (по пословицѣ: „любишь кататься, люби и саночки возить“), а покуда не докажешь — сиди въ острогѣ. Правило это, мудрое и человѣколюбивое, налагало на доносчиковъ извѣстную узду и вполнѣ оправдалось вакханаліями „слова и дѣла“, которыя были еще у всѣхъ на памяти. Доносить было и сладко, и жутко. Сладко потому, что донось столь блестящій сразу ставилъ доносчика во мнѣніи согражданъ на недосягаемую высоту; жутко — потому, что тотъ же донось, въ случаѣ неудачи, могъ низвергнуть своего автора на самое дно преисподней.

Начальство не любило блестящихъ доносчиковъ. Во-первыхъ, оно по природѣ своей охотнѣе утирало слезы, нежели извлекало ихъ; во-вторыхъ, оно отлично понимало, что въ какой-нибудь Тотьмѣ не только двухъ первыхъ, но и вообще никакихъ пунктовъ невозможно и предположить. Поэтому обиліе подобныхъ доносчиковъ считалось карою и вреднымъ усложненіемъ административнаго механизма. Въ доносчикахъ тѣмъ охотнѣе видѣли безпокойныхъ и даже злонамѣренныхъ людей, что страсть къ доносамъ не ограничивалась какою-либо спеціальностью, но распространялась вообще на все и на всѣхъ. Первые два пункта представляли собой какъ бы лакомство; обыкновенною же пищею для доносовъ служили заурядные постуки уѣздныхъ и губернскихъ чиновъ! Понятно, что послѣдніе пользовались всякимъ случаемъ, чтобы подловить хотя тѣхъ шустрыхъ негодяевъ, которые самонадѣянно пускались въ слишкомъ смѣлое плаваніе по безграничному океану ябедничества.

Именно такой грѣхъ случился и съ Беркутовымъ. Какимъ-то образомъ онъ не разсчиталъ себя, и вмѣсто пьедестала очутился въ острогѣ. На этотъ разъ онъ засѣлъ тамъ уже не на недѣлю и не на мѣсяцъ, какъ прежде, а на цѣлые годы. Однакожъ узы не только не пролили мира въ его озлобленную душу, но еще больше ожесточили ее. Ежели, съ одной стороны, ему періодически напоминали о представленіи доказательствъ, подтверждающихъ сдѣланный имъ донось,

то, съ другой стороны, онъ отвѣчалъ на эти напоминанія усугубленіемъ ябеднической дѣятельности. Каждый день онъ являлся въ смотрительскую и оттуда наводнялъ присутственныя мѣста доносами и клеузами. Власти смутились. Вышло нѣчто совсѣмъ неожиданное. Заключеніе Беркутова въ острогъ не только не облегчило движенія административнаго механизма, но чуть было совсѣмъ не затормозило его. Беркутовъ на досугѣ всѣхъ завинилъ: не только людей, находящихся у кормила, но ихъ женъ, свояченицъ и спохъ. Чувствовалась потребность, во что бы то ни стало, развязать этотъ узелъ, и наконецъ его развязали тѣмъ, что административнымъ порядкомъ водворили ябедника въ Пошехонье.

Здѣсь его встрѣтилъ тотъ самый городничій, который такъ благосклонно выслушивалъ Андрея Курзанова и дивился его разуму. И встрѣтилъ, надо сказать правду, неблагосклонно.

— Ты у меня смотри!—кричалъ на Беркутова городничій:—ябедничать или доносы писать—и Боже тебя сохрани! У насъ здѣсь покудова было смирно, такъ ежели что... сгною, поганца, въ острогѣ! какъ пить дамъ, сгною!

Беркутовъ угрюмо выслушалъ эту угрозу и отвѣтилъ на нее тѣмъ, что съ первой же почтой на всѣ пошехонскія власти послалъ обстоятельный доносъ.

И въ Пошехонье началась такая же суматоха, какъ въ Тотьмѣ. Но такъ какъ Беркутовъ былъ уже „ябедникъ завѣдомый“, то на этотъ разъ административный механизмъ былъ не особенно затрудненъ его дѣятельностью. Прошенія и ябеды его оставались безъ разсмотрѣнія и возвращались ему съ надписью. А городничій, узнавъ изъ этихъ прошеній, что онъ не только издолщикъ, но и кровосмѣситель, возвращая ихъ доносителю, говорилъ:

— Ужъ сгною я тебя въ острогѣ, поганецъ! убей меня Богъ, коли не сгною!

Беркутовъ задыхался и сохъ. Онъ сознавалъ себя въ положеніи пойманнаго волка, на которомъ всякій могъ срывать зло, а онъ—ни на комъ. Хотя же онъ и продолжалъ гремѣть по всѣмъ кабакамъ, что все и всѣхъ необходимо привести къ одному знаменателю, но пошехонцы, убѣдившись, что начальство относится къ нему немилостиво, не только не довѣряли его словамъ, но даже не разъ содѣйствовали его заключенію въ клоповникъ, какъ возмутителя.

Долго ли, коротко ли такъ шло, но мало-по-малу времена измѣнялись. И опять-таки къ лучшему.

На городничество прибылъ Стратиговъ и, несмотря на свое калѣчество, сразу понялъ, что Беркутовымъ можно отлично воспользоваться, ежели взяться за дѣло умѣючи. Онъ велѣлъ привести его и, указавъ на костыль, спросилъ:

— Видишь?

— Вижу,—отвѣтилъ Беркутовъ, и что-то въ родѣ улыбки впервые скользнуло на его губахъ.

— Ну, такъ вотъ что. Если ты про меня хоть одно слово, хоть полслова—въ гробъ, поганца, заколочу! Ни подъ судъ отдавать не буду, ни въ острогъ не посажу—самъ, собственными руками... слышалъ?

— Слышалъ. Что кричишь!—сфамильярничалъ Беркутовъ.

— А коли слышалъ, такъ и намотай себѣ это на усъ. Ну, съ Богомъ! Каждое утро будь здѣсь. И чтобъ все, что въ городѣ... понялъ?

На другой день въ „Уединенномъ Пошехонцѣ“ появилась передовая статья, въ которой доказывалось, что ошибочно мы называемъ ябедниками и доносчиками тѣхъ, кои отъ усердія о происходящихъ въ городѣ вредностяхъ извѣщаютъ; и что, напротивъ, „всемѣрно необходимо оное рвеніе поощрять, дабы злодѣи и прочіе развратные люди, прежде нежели умыслить въ сердцахъ свою пагубу, напередъ знали, что городническое правленіе объ оной уже увѣдомлено и находится въ ожиданіи“.

Передъ Беркутовымъ словно небеса разверзлись. Не то чтобы онъ изъялъ Стратигова изъ кипѣвшей въ его сердцѣ ненависти къ человѣчеству вообще, но онъ надѣялся доказать ему эту ненависть впослѣдствіи; теперь же рѣшился воспользоваться имъ, какъ подспорьемъ для осуществленія ученія о знаменателѣ. Въ теченіе какого-нибудь мѣсяца, благодаря его извѣстительному рвенію, Пошехонье переполнилось такими преступленіями, о которыхъ самое разнузданное пошехонское воображеніе никогда не смѣло мечтать. И что всего важнѣе—открыватель этихъ фантастическихъ преступленій назывался уже не доносчикомъ, а извѣстителемъ. Но этого мало: постепенно Стратиговъ такъ распалился ревностью, что уже не ссылался на свидѣтельство Беркутова, а просто говорилъ: „до свѣдѣнія моего дошло“—и дѣло съ концомъ.

Тѣмъ не менѣе. дѣйствія Стратигова были настолько безтолковы и порывисты, что удовлетворить Беркутова не могли. Стратиговъ мздоимствовалъ, дрался и затѣмъ стихалъ, считая себя на время удовлетвореннымъ; Беркутовъ же стремился къ тому, чтобы постепенными мѣрами довести городъ до тоски. „Сухоту сердечную навести надо,— говорилъ онъ,—мглу непросвѣтную, чтобы ни злакамъ, ни плодамъ земнымъ, ни людямъ — ничему бы свершенія не было!“

Сверхъ того Стратиговъ не зналъ, что̀ именно слѣдуетъ защищать и что̀ преслѣдовать; хотя же Беркутовъ понималъ въ этомъ случаѣ не больше Стратигова, но все-таки чувствовалъ, что въ дѣйствіяхъ городничаго существуетъ какой-то изъянъ. Что нѣтъ у него ни ясно сознанной цѣли, ни общаго плана, который устранялъ бы безплодную суматоху, а прямо указывалъ бы, куда и зачѣмъ нужно идти. Простая драка, простое мздоимство—развѣ за этимъ однимъ гнался Беркутовъ?

Настоящую суть дѣла взялъ на себя разъяснить Язвилло (см. выше). Онъ первый изъ представителей власти призналъ Беркутова благонамѣреннѣйшимъ гражданиномъ и сдѣлалъ его своимъ излюбленнымъ человѣкомъ. Съ непререкаемою послѣдовательностью развилъ онъ передъ нимъ и свои цѣли, и свой планъ. Изъ этого изложенія Беркутовъ убѣдился: 1) что, направляя свою дѣятельность преимущественно въ сторону первыхъ двухъ пунктовъ, онъ, въ сущности, игралъ въ руку внутреннему врагу, ибо никакое самое придирчивое изслѣдованіе не въ состояніи было доказать, чтобы въ Пошехонья могли существовать пункты, и слѣдовательно всѣ попытки въ этомъ смыслѣ могли произвести только безплодное замѣшательство, которымъ внутренній врагъ и не преминетъ воспользоваться для своихъ цѣлей; 2) что идеалы первыхъ двухъ пунктовъ суть вообще идеалы устарѣлые, бѣдные результатами и притомъ сопряженные съ личнымъ рискомъ, въ чемъ онъ, Беркутовъ, и имѣлъ случай убѣдиться лично на своихъ бокахъ; 3) что несравненно удобнѣйшимъ поводомъ для уловленій могутъ служить такъ-называемыя „основы“, какъ по растяжимости понятія, ими выражаемаго, такъ и потому, что „основы“ затрогиваютъ не столько умъ и чувства человѣка, сколько его шкуру, вслѣдствіе чего человѣкъ мгновенно впадаетъ въ безуміе и лѣзетъ на стѣну; и 4) что, оставивъ ябеду въ своей силѣ, необходимо дать ей другое наименованіе, и что наиболѣе подходя-

щимъ въ этомъ смыслѣ терминомъ является „содѣйствіе общества“, такъ какъ терминъ этотъ, независимо отъ благородства, которымъ онъ отличается, еще въ значительной мѣрѣ расширяетъ предѣлы самой ябеды.

Беркутовъ въ совершенствѣ понялъ наставленія своего принципала, и въ особенности ту привилегію безнаказанности, которую они въ себѣ заключали. Не теряя времени, онъ отправился по всѣмъ кабакамъ, призывая къ содѣйствію всѣхъ, кои за шкаликъ готовы были продать свою совѣсть. Благодаря объявленной волѣ вину, кабаковъ расплодилось въ городѣ множество и всѣ съ утра до вечера были полны народомъ. Окруженные со всѣхъ сторонъ винными парами, пошехонцы дѣлались обыкновенно нервны, чутки и проницательны. Поэтому, какъ только Беркутовъ объяснилъ, что въ Пошехонья водворился внутренній врагъ, который у обладателей шила отниметъ шило, а у обладателей штановъ—штаны, всѣ пропойцы такъ и ахнули. Тогда Беркутовъ растолковалъ, что надо не медля идти на встрѣчу врагу, дабы пристигнуть въ самомъ его убѣжищѣ— и всѣ сейчасъ же ходко и горячо откликнулись на призывъ и огласили Пошехонье криками: „караулъ! грабятъ!“

Первою жертвою системы „содѣйствія общества“ палъ судебный слѣдователь; второю — мѣстный акцизный надзиратель. Затѣмъ жертвы начали попадаться массами. Беркутовъ съ утра разстилалъ сѣть и, запутавъ въ ней цѣлую уйму „неблагонамѣренныхъ“, представлялъ ихъ въ полицейское управленіе на зависящее распоряженіе.

Тѣмъ не менѣе, какъ ни ловокъ былъ Язвилло въ дѣлѣ подстрекательства обывателей и какъ ни усердно помогалъ ему Беркутовъ—въ результатѣ все-таки получилась сумятица. Перипетіи этой сумятицы описаны выше; здѣсь же слѣдуетъ прибавить, что Язвилло до того увлекся своимъ „предпріятіемъ“, что самъ повѣрилъ обилію скопившихся въ Пошехонья горючихъ матеріаловъ и, испугавшись могущаго послѣдовать отъ сего для Россійской Имперіи ущерба, совершенно искренно испрашивалъ у начальства благомилостиваго разрѣшенія на срытіе города Пошехонья до основанія. Но на этотъ разъ Беркутовъ не только не раздѣлялъ мнѣнія Язвиллы, но даже послалъ на него донось, обзывая своего милостивца полякомъ и измѣнникомъ и обвиняя его въ произведеніи безплодной суматохи, въ угоду „ржонду“. Причемъ совершенно резонно присовокупилъ, что ежели

всѣхъ обывателей города Пошехонья безнужно истребить, то кого же на будущее время съискивать и на кого сухоту наводить онъ будетъ?

Принятъ ли былъ во вниманіе Беркутовскій доносъ и даже былъ ли онъ разсмотрѣнъ—неизвѣстно; но Язвилло не долго наслаждался плодами произведеннаго имъ спасительнаго междоусобія. Начальство не только оставило безъ уваженія его ходатайство о срытіи Пошехонья, но его самого „за сію нелѣпую затѣю“ уволило отъ должности.

На мѣсто Язвилло назначенъ былъ Груздевъ.

Прибывъ въ городъ, онъ созвалъ пошехонцевъ и молча погрозилъ имъ пальцемъ.

Затѣмъ, дабы сейчасъ же познакомить обывателей съ программою будущихъ своихъ дѣйствій, Андрея Курзанова истребилъ, а Беркутова возложилъ на лоно.

Вечеръ пятый.

ПОШЕХОНСКОЕ «ДѢЛО».

Будучи отъ рожденія пошехонскимъ гражданиномъ, я съ удовольствіемъ дѣлаю періодическія экскурсіи въ эту страну. Сколько лѣтъ я на свѣтѣ живу, столько же времени и знаю ее. Зналъ ее крѣпостною, зналъ и реформенною, знаю и теперь, готовою возродиться вновь, или, какъ нынѣче принято говорить, отъ мечтаній перейти къ дѣлу. Замечтались, видите, пошехонцы, закружились у нихъ буйныя головы—натурально, пора за дѣло молодцовъ засадить. Принимайтесь, господа, принимайтесь! а дальше видно будетъ, какъ съ вами поступить.

Все мнѣ въ этой странѣ родственно и достолюбезно. Дороги мнѣ и зыбучіе ея пески, и болота, и хвойные лѣса (увы! нынѣ значительно поредѣвшіе); но въ особенности милъ населяющій ее людъ, простодушный, смирный, слегка унылый, или, лучше сказать, какъ бы задумавшійся надъ разрѣшеніемъ какой-то непосильной задачи. Всегда онъ былъ такимъ, во всѣхъ положеніяхъ: всегда шелъ безотговорочно и впередъ, и назадъ, принимая къ свѣдѣнію и руковод-

ству всевозможные уроки и задачи, и въ то же время какъ бы говоря себѣ: посмотримъ, какая-то изъ этого новаго хлѣба лебеда выйдетъ! Слышалась ли въ этомъ вопросѣ робкая иронія, или онъ былъ только невольнымъ выраженіемъ всполошившагося инстинкта самосохраненія — я не берусь объяснить. Но могу сказать достовѣрно, что когда водворялись новые порядки и создавались новыя положенія, то они всегда находили пошехонца готовымъ приспособиться къ приносимой ими новой лебедѣ съ тою же повадливостью, съ какою онъ искони приспособлялся къ лебедѣ всѣхъ временъ...

Случались, конечно, между пошехонцами и недоразумѣнія (приспособляются-приспособляются, да вдругъ и станутъ въ тупикъ), или, какъ встарину выражались, „бунты“, но никто до сихъ поръ въ этихъ „бунтахъ“ разобраться не могъ. Что такое ихъ порождаетъ. экономическія ли причины, политическія ли, или религіозныя — ни одинъ компетентный изслѣдователь пошехонской народности на этотъ вопросъ ясно не отвѣтилъ. Хотя же господа исправники и утверждаютъ, что всѣ бунты происходятъ отъ зачинщиковъ, но, по моему мнѣнію, такое объясненіе черезъ-чуръ уже просто, а потому и неимовѣрно. Поэтому я съ своей стороны предлагаю такую догадку: пошехонецъ бунтуетъ, когда у него шкура болитъ; но когда онъ, при посредствѣ вразумленій, убѣждается, что стоитъ только перетерпѣть и шкура отболитъ сама собою, тогда онъ бунтовать перестаетъ.

Бывали минуты, когда пошехонская страна приводила меня въ недоумѣніе; но такой минуты, когда бы сердце мое перестало болѣть по ней, я рѣшительно не запомню. Бѣдная эта страна, — ее надо любить. Ничто такъ естественно не вызываетъ любви, какъ бѣдность, угнетенность, скорбь и злосчастіе вообще. Любовь сама по себѣ есть чувство радостное и свѣтлое, но, въ большинствѣ примѣненій, въ нее громаднымъ элементомъ входитъ жалѣніе. Оно дѣлаетъ любовь дѣятельной и внушаетъ ей подвиги высокаго самоотверженія; оно наполняетъ человѣческую жизнь отравой и въ то же время заставляетъ человѣка стремиться къ этой отравѣ, жаждать ея, видѣть въ ней завѣтнѣйшую цѣль лучшихъ помысловъ души. Даже совсѣмъ дряблыя и закоченѣвшія сердца — и тѣ находятъ въ глубинахъ своихъ искру, которая не только побуждаетъ ихъ устремляться навстрѣчу злосчастію, но и ихъ самихъ согрѣваетъ и растворяетъ. Бѣдные! бѣдные! бѣдные! — вотъ мысль, которая можетъ переполнить все существо, перепол-

нить до краевъ, не давая мѣста ни другой мысли, ни другому чувству. Эта робкая боль, сказывающаяся всюду, эти подавленные стоны, волной переливающіеся изъ края въ край—могутъ замучить. Они призываютъ къ суду человѣческой совѣсти тѣни прошлаго; побуждаютъ ее разбираться въ томъ, что̀ казалось позабытымъ, канувшимъ въ вѣчность: заставляютъ чего-то искать, какихъ-то лучей, на которыхъ можно было бы успокоиться... Искать, искать... и не находить. Не потому не находить, чтобы все прошлое было сплошнымъ темнымъ пятномъ, а потому, что нѣтъ того солнца, котораго лучи не потускнѣли бы въ глубинахъ безразсвѣтной ночи, называемой человѣческимъ злосчастіемъ. Спрашивается: при такихъ неусыпающихъ мученіяхъ совѣсти естественно ли, чтобы мысль переносилась на почву иныхъ (хотя бы высшихъ и міровыхъ) вопросовъ, а не сознавала себя безповоротно прикованною къ тѣмъ непосредственнымъ отравамъ, которыя и свидѣтельства прошлаго, и перспективы будущаго—все окутываютъ непроницаемымъ флёромъ?

Мы переживаемъ время суровыхъ, но безплодныхъ поученій. Всѣ какъ будто проснулись отъ пьянаго сна и впервые встрѣтились лицомъ къ лицу съ какою-то безнадежною, почти фантастическою дѣйствительностью. Отсюда—всеобщее изумленіе, поголовный страхъ. Именно только изумленіе и страхъ, потому что бросившійся въ глаза хаосъ не вызвалъ въ насъ рѣшимости разобраться въ немъ, не указалъ на необходимость отдѣлить слѣдствія отъ причинъ, согласовать накопившіяся жизненныя противорѣчія и установить отправные пункты для будущаго жизнестроительства, а только пробудилъ какое-то спутанное чувство, которое и овладѣло умами съ неудержимою силой.

Спутанное чувство и формулу нашло для себя спутанную. „Прочь мечтанія! прочь волшебные сны! прочь фразы! Пора наконецъ за дѣло взяться!“—вотъ эта формула. Какія мечтанія, какіе сны, какія фразы—неизвѣстно. Почему эти мечтанія, сны и фразы оказались безплодными: потому ли, что они сами въ себѣ не заключали зерна жизни, или потому, что это зерно было погублено сложившимися условіями—тоже неизвѣстно. И наконецъ въ чемъ заключается дѣло, за которое пора взяться—и объ этомъ никто не говоритъ.

Однимъ словомъ, всѣ жалуются и вопіютъ, что „фраза“ заѣла

насъ, всѣ настаиваютъ на ея истребленіи, и всѣ на ея мѣсто предлагаютъ... такую же фразу! И въ довершеніе — фразу совсѣмъ не новую, а засиженную, истрепанную, почти истлѣвшую подъ наслоеніями пыли и плесени. Фразу, которую въ любомъ архивѣ, на любой полкѣ можно прочесть въ безконечномъ разнообразіи редакцій...

Тѣмъ не менѣе, мысль о необходимости перехода отъ мечтаній къ „дѣлу“ повидимому оказалась настолько по плечу нашей „отрезвившейся“ современности, что сомнѣваться въ предстоящей ей блестящей будущности нѣтъ возможности.

Во всѣхъ трактирахъ и харчевняхъ разомъ раздалось такое множество трезвенныхъ голосовъ, что въ общей сумятицѣ трудно различить, гдѣ кончается простое пустословіе и гдѣ начинается подстрекательство. Всѣ требуютъ „дѣла“, говорятъ о „дѣлѣ“, получаютъ, убѣждаютъ, негодуютъ на тему: дѣла, дѣла и дѣла! Публицисты едва поспѣваютъ формулировать народившіяся требованія, желанія и аспираціи. Одинъ восклицаетъ: „прочь дурныя фантасмагоріи, этотъ гнилой плодъ дурныхъ страстей! прочь несбыточныя и неосуществимыя ожиданія! да проглянетъ лучъ свѣта въ темную ночь мечтаній! да восторжествуетъ здравый смыслъ!“ Другой, положа руку на сердце, излагаетъ: „Эпоха мечтаній повидимому миновалась —и слава Богу! Злоба дня измѣнила характеръ свой, и изъ области блестящихъ, но туманныхъ порываній вывела общество въ область простого, но яснаго и всѣмъ доступнаго дѣла. Будемъ же вѣрны этой вновь народившейся потребности общества, и вмѣстѣ со всѣми желающими отечеству процвѣтанія воскликнемъ: да исчезнутъ мечтанія! да здравствуетъ суровое, но плодотворное дѣло!“ Третій наивно подхватываетъ: „А что въ самомъ дѣлѣ! не попробовать ли намъ обратиться къ дѣлу? Авось либо“... и т. д.

И затѣмъ, наговорившись до-сыта, и публицисты, и устные представители общественнаго задора, какъ бы обращаясь къ невидимому оппоненту, едиными устами возглашаютъ: „къ чему привели насъ мечтанія?—ни къ чему!!“ И вся окрестность вторитъ имъ: „ни къ чему!“ И долы, и горы, и поля, и луга—все, какъ одинъ, вопіетъ: „ни къ чему! ни къ чему! ни къ чему!“

Но, какъ уже замѣчено выше, ни въ трактирахъ, ни въ публицистикѣ никто до сихъ поръ не обмолвился, въ чемъ же должно заключаться „дѣло“, котораго вожделѣютъ всѣ сердца; никто не на-

звалъ его по имени. Воображенію представляется нѣчто въ родѣ пирога, который покуда стоитъ въ духовомъ шкафу и поспѣваетъ. Когда онъ зарумянится, его вынутъ и подадутъ: кушайте!

Такіе внезапные всполохи человѣческой мысли въ особенности любопытны въ психологическомъ отношеніи. Иной разъ думается, что слово сказалось непонимаючи—анъ оно сказано не только „понимаючи“, но и съ намѣреніемъ подсидѣть; въ другой разъ—наоборотъ. Думаешь-думаешь, стараешься разобрать, и все выходитъ: понимаючи—непонимаючи, непонимаючи—понимаючи. Самое лучшее въ такихъ случаяхъ—уйти отъ грѣха. Потому что если вокругъ всѣ скопомъ кричатъ: довольно мечтаній! довольно!—то тутъ и самый скромный человѣкъ невольно скажетъ себѣ: а что въ самомъ дѣлѣ... авось...

— Объ „дѣлѣ“ надо сказать такъ: какое дѣло и въ какое время!—говорилъ мнѣ на дняхъ отставной безшабашный совѣтникъ Рогуля.—И дѣла надо требовать съ осторожностью. Иное дѣло на взглядъ совсѣмъ плёвое, а смотришь, исподволь оно округляться начинаетъ. Округляется да округляется, и вдругъ—вонъ-оно куда пошло!

Повторяю, однакожъ: представленіе о „дѣлѣ“ не только не новость въ исторіи нашей цивилизаціи, но, напротивъ, составляетъ существеннѣйшую часть всего ея содержанія.

По крайней мѣрѣ такъ искони было у насъ въ Пошехонья. Благодаря отсутствію мечтаній, пошехонская страна поражала своей несокрушимостью; благодаря тому, что въ ней никогда не замѣчалось недостатка въ „дѣлѣ“—она удивляла изобиліемъ.

О несокрушимости пошехонской я говорить не буду, потому что считаю себя въ этомъ вопросѣ некомпетентнымъ; но о такъ-называемомъ пошехонскомъ изобиліи побесѣдую съ охотою.

Многіе и до сихъ поръ повѣствуютъ, что было время, когда пошехонская страна кишѣла млекомъ и медомъ. „Арсеній Иванычъ,—говорятъ они,—при ста душахъ самъ-четырнадцать за столъ каждый день садился—а какъ жилъ!“ Или: „У Анны Мосевны всего одна ревизская душа была, да и та бездѣтная, а жила же!“ И сдѣлавши эти посылки, считаютъ себя вполнѣ правыми.

Что касается до меня, то хотя я остаюсь при особомъ мнѣніи насчетъ подлинности и размѣровъ пошехонскаго изобилія, но долженъ

все-таки признать, что лѣтъ тридцать тому назадъ жилось здѣсь какъ будто ходчѣе. Дѣйствительно что-то такое было въ родѣ полной чаши, напоминавшей объ изобиліи. Но когда я спрашиваю себя, на чью собственно долю выпадало это изобиліе?—то, по совѣсти, вынужденъ сознаться, что оно выпадало только на долю потомковъ лейбкампанцевъ, истопниковъ и прочихъ дружинниковъ, и что подлинные пошехонцы участвовали въ немъ лишь воздыханіями. Какимъ же образомъ это привилегированное изобиліе достигалось тѣми, на долю которыхъ оно выпадало?— на этотъ вопросъ все Пошехонье навѣрное въ одинъ голосъ отвѣтитъ: „дѣломъ“. Ибо старые дружинники не только понимали, въ чемъ состоитъ „дѣло“, но и умѣли раздѣлить его на двѣ части. Сами взяли въ руки жезлъ, а аборигенамъ предоставили проливать потъ и слезы. И дѣло не только шло какъ по маслу, но и творило подлинныя чудеса. Изъ конца въ конецъ кипѣла пошехонская земля слезами и потомъ, какъ рѣка въ полую воду, и благодаря этому кипѣнію пески превращались въ плодородныя нивы, болота—въ луга, а Анна Мосевна могла благодушествовать при одной ревизской душѣ. И такъ ловко пользовались дружинники этимъ своеобразнымъ изобиліемъ, что и впрямь казалось, что ему конца-краю нѣтъ. Ужели это было мечтаніе, а не „дѣло“?

Въ началѣ пятидесятыхъ годовъ потомки лейбкампанцевъ начали задумываться. Крѣпостное право было еще въ самомъ разгарѣ, но въ самой совѣсти счастливыхъ дружинниковъ произошло раздвоеніе. Ряды посѣдѣлыхъ въ бояхъ истопниковъ постепенно рѣдѣли и пополнялись молодыми дружинниками, которые не имѣли ни прежней цѣльности міросозерцанія, ни прежней вѣры въ крѣпостное право и его творческія силы. Это были люди колеблющіеся, не чуждые зачатковъ пробуждающейся совѣсти, но больше всего чистоплотные. Чуть-чуть въ то время „мечтанія“ не заполонили „дѣла“. Но Богъ спасъ. Новые дружинники слишкомъ много любили досугъ, лакомства и комфортъ жизни, чтобы отказаться отъ „дѣла“, которое ихъ доставляло. Натворивъ тьму-тьмущую всякаго рода несообразностей, то умывая руки и доказывая свою непричастность къ крѣпостному строю, то цѣпляясь за него, они, послѣ цѣлаго ряда безсильныхъ и лживыхъ потугъ, пришли къ убѣжденію, что ихъ личное участіе въ пошехонскихъ судьбахъ можетъ только поколебать установившуюся традицію объ изобиліи пошехонской страны. И убѣдившись въ этомъ, въ одно

прекрасное утро, какъ тати, исчезли изъ насиженныхъ предками гнѣздъ, предоставивъ довѣреннымъ Финагенчамъ и Прохорычамъ продолжать исконное трезвенное пошехонское „дѣло“, а плоды его высылать имъ по мѣсту жительства. И Финагенчи не положили охулки на руку. Это было самое горькое время для пошехонцевъ-аборигеновъ, ибо они были обязаны дѣлать „дѣло“ противъ прежняго вдвое: разъ—во имя интересовъ дружинника, и два—во имя интересовъ его замѣстителя. Ужели и это было мечтаніе, а не „дѣло“?

Наконецъ, когда пошехонецъ окончательно весь выпотѣлъ, надорвался и отощалъ—наступило „время, всѣхъ освящающее“. Изъ человѣка кабальнаго пошехонецъ вдругъ шагнулъ въ „меньшіе братья“. Противъ этой клички онъ точно также не прекословилъ, какъ не прекословилъ и противъ другихъ безчисленныхъ кличекъ, съ незапамятныхъ временъ на него сыпавшихся. И только тогда, когда увидѣлъ себя замурованнымъ въ „надѣлѣ“, какъ будто задумался. И опять, не то иронически, не то машинально, спросилъ себя: „посмотримъ, какая изъ этого выйдетъ лебеда?“

Снова „мечтанія“ едва не заполонили „дѣла“. Но мечтанія странныя, чисто пошехонскія. А именно: чаяли жито лопатами загребать, а по какому случаю—неизвѣстно. Разумѣется, случилось нѣчто совсѣмъ неожиданное: не пришлось не только за лопаты браться, но и на пригоршню жита не хватило.

Житницы дружинниковъ запустѣли, житницы „меньшихъ братьевъ“ не наполнялись. Какимъ образомъ произошло явленіе столь изумительное, доказывавшее, что досугъ вмѣсто изобилія приводитъ за собой скудость—объ этомъ покуда не велѣно сказывать. Но достовѣрно, что оно совершилось у всѣхъ на глазахъ и удивило даже самихъ ничему не удивляющихся пошехонцевъ. Земля была все та же, и пошехонецъ на ней—все тотъ же, простодушный, во всякое время готовый источать потъ; но плоды земные словно сговорились: перестали лѣзть изъ земли да и шабашъ. Надо всѣмъ царилъ какой-то загадочный вопросъ, который, повидимому, связывалъ руки, мѣшалъ воздѣлывать, сѣять, жать.

Разрѣшеніе загадки, впрочемъ, не заставило себя ждать и осуществилось въ лицѣ Деруновыхъ, Колупаевыхъ и Разуваевыхъ. Эти шустрые люди отлично поняли, что „меньшій братъ“ засовался, и что прежде всего его слѣдуетъ „остепенить“. Или, говоря другими

словами, необходимо дать пошехонскому поту такое примѣненіе, благодаря которому онъ лился бы столько же изобильно, какъ при крѣпостномъ правѣ, и въ то же время назывался бы „вольнымъ“ пошехонскимъ потомъ. Но замѣчательно, что, предпринимая осуществленіе этой задачи, Колупаевы не принесли съ собой ничего, что могло бы хотя отчасти оправдать ихъ претензіи—ни усовершенствованій, ни знаній, ни новыхъ пріемовъ, а озаботились только объ одномъ: чтобы аборигенъ какъ можно аккуратнѣе уперся лбомъ въ стѣну. Вотъ это-то именно они называли „дѣломъ“. И не скрывали этого, но шли въ походъ, восклицая, подобно нынѣшнимъ трезвеннымъ людямъ: „прочь мечтанія! прочь фразы! да здравствуетъ дѣло!“

И все, какъ нарочно, сложилось такъ, чтобъ увѣнчать ихъ предпріятіе успѣхомъ. И купленные за грошъ западѣльные обрѣзки, и надѣлы, устроенные на манеръ западней, и распивочная продажа вина—все устроилось на потребу потомку древнихъ гужеѣдовъ и на пагубу пользу-кормильцу пошехонской земли. Въ скоромъ времени меньшій братъ увидѣлъ себя до такой степени изловленнымъ, что мысль о непрерывности даней, составлявшая основной элементъ его крѣпостного существованія, вновь предстала передъ нимъ, какъ единственный выходъ, приличествующій его злосчастію. И предстала тѣмъ съ большею ясностью и неизбѣжностью, что самый процессъ принесенія даней уже именовался вольнымъ, а не принудительнымъ. Очевидно, что и это было совсѣмъ не мечтаніе, но „дѣло“, горшее изъ всѣхъ „дѣлъ“.

Тѣмъ не менѣе представленіе объ изобиліи пошехонской страны, однажды поколебленное, уже не возстановилось. До такой степени не возстановилось, что нынѣ многіе начинаютъ сомнѣваться, дѣйствительно ли оно когда-нибудь существовало, и не смѣшивали ли его съ изобиліемъ пошехонской мужицкой спины. Сама земля явилась съ нѣмымъ протестомъ противъ насилій, которымъ подвергала ее Колупаевская невѣжественная орда. Съ каждымъ годомъ нѣдра ея поступаются скуднѣе и скуднѣе, хотя кабальный пошехонецъ безъ устали продѣлываетъ, за счетъ Колупаева, все тотъ же изнурительный процессъ, который продѣлывали его отцы и дѣды за счетъ счастливаго лейбкампанца... А Колупаевъ сидитъ, ничего не разумѣючи, за стойкой въ кабакѣ да по-дурацки покрикиваетъ: „довольно мечтаній! довольно фразъ! за дѣло!“

Такимъ образомъ оказывается, что мысль о „дѣлѣ“, которая такъ настойчиво волнуетъ современное русское общество, у насъ, въ Пошехоньи, не только не составляетъ новости, но искони служила единственнымъ основаніемъ, на которомъ созидалось и утверждалось наше пошехонское житіе. Такъ что ежели и случались экскурсіи въ область мечтаній и фразъ, то экскурсіи эти занимали какъ разъ столько времени, сколько требовалось для того, чтобы переходъ отъ одной формы „дѣла“ къ другой не казался черезъ-чуръ рѣзкимъ.

Но что всего замѣчательнѣе — представленіе о „дѣлѣ“ послѣ каждой такой экскурсіи не только не смягчалось, но становилось все суровѣе и суровѣе. Ибо, по старинному обычаю пошехонскому, всякая новая форма „дѣла“ требовала не простого подчиненія ей, но подчиненія, сопровождаемаго приличествующимъ остервененіемъ.

Я помню, въ одну изъ такихъ эпохъ, когда кратковременная экскурсія въ области мечтаній и фразъ только-что завершилась, пришлось мнѣ быть въ „своемъ мѣстѣ“ по „своему дѣлу“.

Не буду говорить о томъ, сколько разъ и съ какою силою ёкало мое сердце при видѣ родного гнѣзда, какъ пахнуло на меня ароматами юности, какъ я внезапно почувствовалъ себя добрѣе, бодрѣе, свѣжѣе и т. д. Обо всемъ этомъ неоднократно и болѣе искусными руками было живописуемо въ русской литературѣ, и моя рука ни одного штриха къ этой картинѣ ни прибавить, ни убавить не можетъ. Начну прямо съ того, что въ „своемъ мѣстѣ“ всякое дѣло дѣлается безпорядочно, урывками, или, лучше сказать, занятіе дѣломъ беретъ ничтожную сумму минутъ, раздѣленныхъ между собою часами и сутками. Сегодня пришелъ Прохорычъ — онъ и согласенъ бы, да подумать надо; завтра пришелъ Финагеичъ — этотъ и согласенъ, и [illegible], но въ [illegible] случаѣ ему надо въ [illegible] за сорокъ верстъ съѣздить, чтобы рѣшительный отвѣтъ дать; на послѣ-завтра ждали купца Кабальникова, а онъ совсѣмъ не явился: „замѣшкался, старый песъ, вѣрно, [illegible] денегъ“. Эти часовые и суточные промежутки, посвящаемые исключительно праздной ходьбѣ взадъ и впередъ по комнатамъ, тянутся необыкновенно томительно.

Чтобъ сократить время, можно бы сосѣдняго батюшку пригласить, но [illegible] разговоръ его не занимаетъ, а о мужицкихъ дѣлахъ говорить [illegible]. Такъ что ежели пить да [illegible] стоитъ [illegible] для продолженія времени, въ каждый [illegible]

двухъ разъ вилкой тычетъ, какъ будто сразу захватить не можетъ), то объ стороны чувствуютъ себя стѣснительно.

Поэтому я очень обрадовался, узнавъ, что еще не всѣ бывшіе дружинники разбѣжались изъ своихъ гнѣздъ, и что во главѣ несбѣжавшихъ находится и старый мой знакомый, Артемій Клубковъ.

Я зналъ Клубкова очень давно и въ весьма благопріятномъ, сравнительно, положеніи. Онъ служилъ при губернаторѣ чиновникомъ особыхъ порученій, по казенной службой не особенно отягощался (на него возлагали только такъ-называемыя „щекотливыя“ дѣла), преимущественно возлежалъ на лонѣ у губернатора и выполнялъ порученія губернаторши. Сверхъ того онъ былъ великій мастеръ по части всякаго рода увеселеній, такъ что ни одинъ клубный балъ, ни одинъ загородный пикникъ, ни одинъ благотворительный спектакль не обходились безъ того, чтобъ онъ не являлся главнымъ распорядителемъ. Наружность онъ имѣлъ довольно ординарную, но одѣвался чисто и зналъ, кому и чѣмъ услужить. И въ то же время умѣлъ пользоваться привилегіями, которыя доставляла ему роль распорядителя увеселеній, съ тою же ловкостью, съ какою пользуется своими привилегіями первый балетный сюжетъ, на обязанности котораго лежитъ держать на вѣсу балерину въ то время, когда она всѣмъ корпусомъ изгибается, чтобы увидѣть свои собственныя пятки. Поэтому между нимъ и губернскими дамочками установились какія-то особенныя, какъ бы служебныя отношенія, въ силу которыхъ послѣднія хотя и не увлекались имъ, но и противодѣйствовать не дерзали.

— Клубковъ! вы мнѣ дадите роль въ „Отцѣ какихъ мало“?

— А какая будетъ за это награда?

— Ахъ, противный!

И вотъ, по манію Клубкова, безъ предварительныхъ ухаживаній и разговоровъ, дамочкинъ „семейный союзъ“ разлетался въ прахъ...

Всѣмъ этимъ относительнымъ благополучіемъ Клубковъ былъ обязанъ исключительно самому себѣ или, лучше сказать, своимъ натуральнымъ качествамъ. Образованіе онъ получилъ „домашнее“, то-есть, по достиженіи восемнадцати лѣтъ, прямо съ отческой конюшни, перешелъ въ кавалерійскій полкъ юнкеромъ и тянулъ тамъ лямку до поручичьяго чина, послѣ чего опредѣлился къ штатскимъ дѣламъ. Въ матеріальномъ отношеніи онъ тоже былъ плохо обезпеченъ, потому что отецъ его хотя и не былъ въ тѣсномъ смыслѣ слова мелко-

помѣстнымъ (у него было 80 душъ крестьянъ при четырехъ стахъ десятинахъ земли), но дѣлиться съ сыномъ могъ лишь въ самыхъ ограниченныхъ размѣрахъ. Тѣмъ не менѣе, у Артемія всегда водилась вольная деньга, и хотя нѣкоторые приписывали это его привилегированному положенію при губернаторѣ, но это было только отчасти справедливо. Знатокъ по лошадиной части, онъ занимался барышничествомъ, и на этомъ дѣлѣ выгадывалъ въ свою пользу не одинъ лишній рублишко.

Отецъ Клубкова былъ однимъ изъ тѣхъ прозорливыхъ поше-хонцевъ, которые всегда предпочитали „дѣло“ мечтаніямъ. Онъ отлично понималъ, что въ жизни дружинника „дѣломъ“ можетъ быть названо только то, что доставляетъ матеріальный прибытокъ, а въ жизни кабальнаго человѣка—только трудъ. Все остальное называлось мечтаніемъ и могло только мѣшать „дѣлу“. Исходя изъ этого разсужденія, онъ разсчиталъ, что трудъ крѣпостного крестьянина до извѣстной степени не изъятъ отъ мечтаній, и что только трудъ крѣпостного дворового человѣка всецѣло принадлежитъ помѣщику. Поэтому онъ, еще за долго до эмансипаціи, устроилъ у себя при усадьбѣ фаланстеръ, въ который и заточилъ всѣхъ крестьянъ, а вслѣдъ затѣмъ записалъ ихъ въ ревизію подъ наименованіемъ дворовыхъ. Выдумка была выгодная и удалась вполнѣ. Во-первыхъ, и крестьянскія избы, и крестьянскіе животы—все пошло въ пользу Клубкова; а во-вторыхъ, вся рабочая сила имѣнія была у него теперь подъ рукой и урвать хотя минуту изъ принадлежащаго помѣщику времени не стало возможности. Правда, что съ этихъ поръ Клубковскіе крестьяне получили наименованіе „каторжныхъ“, но самого Клубкова большинство сосѣднихъ дружинниковъ звало „умницею“ и „дѣлягой“, и только очень немногіе называли „злодѣемъ“.

Такъ шло дѣло до упраздненія крѣпостного права. За это время Клубковъ успѣлъ довести свое хозяйство до возможно-цвѣтущаго состоянія, и въ моментъ освобожденія, когда прочіе его собратья отчасти лукавили, отчасти рохлили, онъ съ самодовольствомъ видѣлъ, что лично для него крестьянскій вопросъ разрѣшился какъ бы самъ собою. Ни уставныхъ грамотъ онъ не составлялъ, ни надѣловъ не отрѣзывалъ, а спокойно воспользовался предоставленнымъ ему правомъ на двухлѣтній трудъ „дворовыхъ“ людей и, по истеченіи льготнаго срока, распустилъ дворню и началъ жить по новому.

Артемій въ это время еще служилъ и къ дѣяніямъ отца относился какъ-то загадочно. Въ большинствѣ случаевъ онъ избѣгалъ говорить объ немъ, но, въ сущности, очевидно понималъ, что отецъ его дѣлаетъ „дѣло“. Быть можетъ, косвенно онъ даже содѣйствовалъ этому „дѣлу“, такъ какъ даже въ то суровое время устройство открытой каторги было вещью не совсѣмъ обыкновенною и едва-ли могло бы осуществиться безъ секретной поддержки. Затѣмъ прошло три-четыре года по упраздненіи крѣпостного права, и Артемій Клубковъ вдругъ куда-то исчезъ. Говорили, что отецъ его умеръ и что сынъ отправился въ „свое мѣсто“ дѣлать „дѣла“. Прибавляли, что онъ женился, облекся въ полушубокъ и завелъ въ самомъ городскомъ домѣ постоялый дворъ, съ продажей распивочно и на-вынось, и при немъ лавку съ крестьянскимъ товаромъ. Что онъ самолично присутствуетъ въ кабакѣ, а жену посадилъ въ лавку, что поля содержатся у него въ порядкѣ, какъ было при отцѣ, что вообще онъ исключительно поглощенъ „дѣломъ“, а мечтаніями не только не увлекается, но совершенно ихъ игнорируетъ.

Приблизительно эти же свѣдѣнія получилъ я о Клубковѣ и теперь. Разспрашивая объ немъ старосту Андрея Иваныча, я узналъ, что Артемій положительно стряхнулъ съ себя ветхаго человѣка и весь предался продажѣ и куплѣ. Имѣніе свое онъ ловко округлилъ, скупая у сосѣднихъ владѣльцевъ земельные обрѣзки, которые прилегали къ его дачѣ. Благодаря этому, у него было теперь и лѣску довольно, и пустошныхъ покосцевъ вволю, а собственную землю онъ всю раздѣлилъ подъ пашню, которая приносила не убытокъ, а доходъ. Но главную прибыльную статью его бюджета составляло дробное ростовщичество, которое онъ развелъ въ такихъ размѣрахъ, что чуть не всю округу запуталъ въ своихъ сѣтяхъ. Уму его всѣ удивлялись.

— Главная причина,—говорилъ староста Андрей Иванычъ:—на настоящее дѣло напалъ и настоящимъ манеромъ его ведетъ. Нѣтъ нужды, что баринъ.

И затѣмъ, развивая свой тезисъ дальше, продолжалъ:

— Онъ всякую вещь сначала понюхаетъ да на свѣтъ посмотритъ, а потомъ ужъ и настоящее мѣсто ей опредѣлитъ. Деготь ли, сало ли, яйцо, перо, мука—все онъ сейчасъ сообразитъ. И ежели что сказалъ—законъ. Сказалъ: рунь—рунь и бери; сказалъ: полтина—бери полтину. Вещь-то она, можетъ, два рубля стоитъ, а онъ ее за по-

тину приспособить. И одѣвается онъ по-русски, чтобы способнѣе было.

— Такъ это-то и есть настоящее „дѣло“?

— Оно самое. Ноньче ужъ и господа моды-то бросили, за дѣло принялись. Только не всѣ умѣютъ, а онъ умѣетъ. Вонъ Григорій Александрычъ—недалеко ходить—и жадности, и ненависти, всего въ немъ довольно, а не умѣетъ да и шабашъ.

— Да неужто Григорій Александрычъ еще живъ?

— Живъ, только ума въ немъ ни капли не осталось. Все мужичья воля взяла, одни скверныя слова оставила. Онъ бы давно, какъ комаръ, сгибъ, да Клубковъ его еще побаловываетъ: коё мучки, коё чайку-сахарку пришлетъ—этимъ и живетъ.

— А богатъ Клубковъ?

— Денегъ у него прорва, только всѣ распущены. Весь капиталъ у него кругомъ да около, а онъ посередкѣ похаживаетъ. Вся наша округа его. Ничего у насъ нынче собственнаго нѣтъ. Все равно какъ встарину, когда крѣпостные были: захочетъ господинъ—твое; не захочетъ—вези или веди на господскій дворъ!

— Однако онъ васъ пристигъ-таки!

— Совсѣмъ окружилъ. Точно онъ каждаго въ грѣхѣ засталъ. Захочетъ—проститъ, захочетъ—выдастъ.

— И весело ему живется?

— Сначала, какъ пріѣхалъ въ усадьбу, очень сердился. Все за то, что мужика на волю выпустили. Въ „кандалы бы, говоритъ, его заковать надо, а онъ вмѣсто того вонъ что сдѣлали!“ Однако годика черезъ два осмотрѣлся, сталъ хвалить. „И хорошо, говоритъ, что ихъ на всѣ четыре стороны пустили: они сами себѣ прочнѣе прежнихъ кандалы выкуютъ!“

— А семья у него велика?

— Жена да двое сыновъ—только и всего. Карахтеръ ему отъ родителя Клубковскій достался—только гдѣ покойному противъ него! Старикъ все-таки хоть сколько-нибудь жалѣнья имѣлъ. Людишки-то свои, крѣпостные, были, такъ ежели ихъ совсѣмъ-то покалѣчить—выгоды нѣтъ. А нынче они—вольные. Одного покалѣчитъ—другой, замѣсто его, изъ земли выросъ. Гдѣ спина, тамъ и вина.

Свѣдѣнія эти настолько меня заинтересовали, что на другой день

въ десять часовъ утра, я былъ уже въ Береговскомъ (такъ называлась усадьба Клубкова).

Усадьба стояла особнякомъ, у самой большой дороги, обращаясь переднимъ фасадомъ къ тракту, а задами упираясь въ небольшое озерко, которое представляло ей съ этой стороны какъ бы натуральную защиту. И вправо, и влѣво, и впереди тянулись поля, и ни одного даже тощаго лѣска верстъ на пять. Усадьба была видна издалека, какъ на ладони, да и изъ нея во всѣ стороны далеко видно было. Строеній имѣлось достаточно, и все прочныя, одно къ одному. Характеръ построекъ былъ купеческій, средней руки, безъ претензій на красоту и даже на удобства, но за то съ соблюденіемъ всякаго рода охранительныхъ мѣръ. Главный жилой корпусъ представлялъ собой длинный бревенчатый срубъ, средину котораго занимала харчевня, а по бокамъ съ одной стороны — лавка, съ другой — жилое помѣщеніе самихъ хозяевъ. Во всякое помѣщеніе вело особое крыльцо; оконъ по фасаду было много, но небольшія (для тепла) и снабженныя ставнями, которыя запирались желѣзными болтами. По бокамъ главнаго корпуса тянулись службы, которыя со стороны поля были обрыты канавами. Вообще усадьба имѣла видъ четырехугольной цитадели, въ которую лихому человѣку проникнуть было очень трудно.

Когда я вошелъ, Клубковъ находился въ харчевнѣ одинъ и, наклонившись къ стойкѣ, дѣлалъ карандашомъ разсчетъ. На немъ былъ надѣтъ новый полушубокъ, расшитый по груди въ строчку шелками (на дворѣ стоялъ октябрь въ началѣ), но волосы были причесаны по-нѣмецки, борода обрита и глаза вооружены тонкими стальными очками.

Увидѣвши меня, онъ не то чтобы изумился, но какъ будто сейчасъ проснулся. И въ то же время въ глазахъ его уже просвѣчивала досада. Очень вѣроятно, что онъ зналъ о моемъ пріѣздѣ въ имѣніе и даже разсчитывалъ на возможность моего посѣщенія, но „дѣло“ до такой степени овладѣло всѣми его помыслами, что всякій посторонній“ случай, какъ бы онъ ни былъ естественъ, неизбѣжно застигалъ его врасплохъ.

— А вы меня застали, такъ сказать, среди самой процедуры моего дѣла!—привѣтствовалъ онъ меня, но съ такимъ отсутствіемъ какого бы то ни было душевнаго движенія, какъ будто вчера только со мною разстался. Однакожъ протянулъ мнѣ обѣ руки и поздоровался.

— Я, признаться, отвыкъ ужъ отъ общества, — продолжалъ онъ, слегка иронизируя:—да при такой обстановкѣ можетъ ли быть и рѣчь объ обществѣ... не правда ли? а?

— Обстановку всякій выбираетъ по желанію, — отвѣтилъ я, чтобъ сказать что-нибудь.

— Да, но „общество“... оно вѣдь обязываетъ. „Иль не па де нотръ сосьетé“, какъ говаривали наши р—скія дамочки... помните? Или, какъ нынче принято говорить: интеллигенція, правящіе классы... фу-ты важно!!

Говоря это, онъ уже не иронизировалъ, а сознательно себя взвинчивалъ, и вдругъ словно самъ себѣ на мозоль наступилъ.

— Ну, да вѣдь теперь—баста!—произнесъ онъ почти зловѣще: —теперь золотые-то сны миновали! Побаловались! пошалили! аминь!

Однако взглянулъ на меня и какъ будто опомнился, что покуда я еще ни въ чемъ передъ нимъ не провинился.

— А впрочемъ что жъ это я вамъ...—сказалъ онъ, стихая.— Ну, да вѣдь и накипѣло же у меня! Тутъ дѣла по горло, не знаешь какъ сладить, а кругомъ — празднословіе, праздномысліе, хвастовство!.. То расцвѣтаютъ, то увядаютъ... Какъ мы съ вами, однакожъ, давно... помните? *Ничего* тогда было... жилось! Тогда и теперь — сравните!

— Но вамъ и теперь повидимому...

— Ничего: я лично не жалуюсь, но вообще... Пойдемте однако, я въ свою хижину васъ сведу, съ бабой своей познакомлю: она тоже въ полушубкѣ въ лавкѣ сидитъ... Антонъ!—обратился онъ къ вошедшему батраку:—ты тутъ за меня посиди, а коли кто съ дѣломъ придетъ, говори: ужо! Пойдемте, пойдемте! Я васъ дворомъ проведу! посмотрите, какіе у меня тамъ порядки.

Дворъ былъ просторный, свѣтлый и начисто выметенный. Заборъ перегораживалъ его на двѣ половины, изъ которыхъ въ одной помѣщались скотный и конный дворы, а въ другой, примыкавшей къ господскому жилью — помѣщеніе для рабочихъ и амбары. Въ глубинѣ двора стояло пять, шесть крестьянскихъ подводъ, съ которыхъ производилась ссыпка всякаго рода сѣмени.

— Мужички ленокъ обмолотили,—сказалъ Клубковъ мягко:— сѣмечко отъ избытковъ везутъ... А мы—покупаемъ.

Говоря это, онъ захватилъ горстью сѣмя и началъ пересыпать

его изъ одной горсти въ другую, причемъ ворошилъ по ладони пальцемъ, всматривался, подувалъ и т. д.

— Лендкъ чистенькій... ничего! — обратился онъ ко мнѣ. — Безъ костеря. Только вотъ въ дѣлѣ будетъ ли споръ?

И для того, чтобъ разрѣшить этотъ вопросъ, слизнулъ нѣсколько сѣмечекъ языкомъ и пожевалъ.

— Ничего, и масла будетъ въ мѣру. Лённое сѣмя—это, я вамъ скажу, такая вещь, что съ нимъ глаза да и глаза надо. Какъ разъ, подлецы, съ пескомъ подсунутъ!

Потомъ подошелъ къ другому возу: оказался овесъ.

— И овсецо обмолотили—тоже покупаемъ,—сказалъ онъ, раскалывая зубомъ зерно пополамъ:—ничего овёсикъ! недурной! Зерно полненькое, сухое, только вотъ насчетъ чистоты...

Опять началось пересыпанье изъ горсти въ горсть, съ подуваніемъ, разсматриваніемъ на свѣтъ и проч. Нѣсколько разъ черпалъ онъ то въ томъ, то въ другомъ мѣшкѣ, доставая рукою до самаго дна и повторяя одну и ту же процедуру. И вдругъ раздался грозный голосъ:

— Отставь!

— Артемій Иванычъ! родимый!—откликнулся кто-то изъ глубины.

— Знаю я давно, что я Артемій Иванычъ. Отставь. До праздниковъ у него не принимать —ни зерна! А потомъ—увидимъ!—сказалъ онъ батраку, занимавшемуся ссыпкой, и затѣмъ, обращаясь ко мнѣ, прибавилъ:—хочу добиться, чтобъ не считали меня дуракомъ, курицыны сыны, не смѣли бы надувать. И добьюсь.

Такимъ же порядкомъ мы проинспектировали всѣ возы, пока не добрались до хозяйскаго крыльца. Въ комнатахъ насъ ждалъ самоваръ и неизбѣжная закуска; но жены Клубкова не было.

— И не придетъ,—разсудилъ Клубковъ.—Про сосьете вспомнила и оробѣла Человѣкъ, изволите видѣть, изъ самаго сосьете пріѣхалъ, а она — въ полушубкѣ! Милости просимъ! чего прежде, водочки или чайку?

И, не дождавшись моего отвѣта, налилъ себѣ рюмку настойки и проглотилъ.

— А знаете ли что,—продолжалъ онъ наивно:—на первыхъ порахъ вашъ визитъ... какъ бы вамъ сказать... ну, просто мнѣ лиш-

нимъ показался. Съ чего? что такое понадобилось? А теперь вотъ взглянулъ на васъ—такъ на меня и хлынуло прошлымъ! И пріятно. Со мной это и до сихъ поръ по временамъ бываетъ. Сидишь это, молчишь да молчишь, да разсчеты дѣлаешь... и вдругъ откуда ни возьмись:

Скинь-ка шапку, скинь-ка шапку,
Да пониже, да пониже, да пониже поклонись!

Помните, кадриль такая „на мотивы“ была?... И все передъ тобой какъ въявь: и музыка, и горящія люстры, и дамочки... Глупо, но пріятно!

— Стало быть, и мой визитъ на васъ такое же впечатлѣніе сдѣлалъ?

— Да, именно въ этомъ пріятномъ смыслѣ. Старое вспомнилось. Но сколькихъ мы безобразій съ тѣхъ поръ были свидѣтелями! чего наслушались! насмотрѣлись!

— Не знаю. Развѣ что-нибудь особенное произошло?

— Помилуйте! Начать хоть бы съ „меньшаго брата“—неужто это не безобразіе?! А устность и гласность! а обличенія? а скорый и милостивый судъ? Наконецъ: интеллигенція, обезпеченность, самоуправленіе, легальность, правовой порядокъ, иллюзіи, золотыя мечты, надежды, упованія, перспективы... вонъ вѣдь сколько! И все это мы видѣли собственными глазами, слышали собственными ушами!!

— Такъ что-жъ такое! вѣдь не ослѣпли и не оглохли!

— Но за то нанюхались. Нѣтъ, это не такъ. Пошлости-то надо оставить. Уши выше лба не ростутъ. Хоть шиломъ шиты, а все-таки въ какомъ-ни-на есть государствѣ живемъ. Да-съ, въ государствѣ-съ.

Онъ дѣлался кратокъ и начиналъ впадать въ учительный тонъ. И смотрѣлъ на меня ужъ въ упоръ, какъ будто понялъ, гдѣ раки зимуютъ.

— Вамъ, можетъ быть, непріятенъ этотъ разговоръ?—инсинуировалъ онъ ехидно.

— Помилуйте! да мнѣ-то что-жъ! наплевать—только и всего! —малодушничалъ я довольно развязно:—сегодня—гласность, завтра—безгласность, сегодня—перспективы, завтра—каменный мѣшокъ... сколько угодно! Помните, какъ въ какомъ-то водевилѣ поется:

Такъ и эдакъ, и вотъ эдакъ,
И вотъ эдакъ, и вотъ такъ!

Всячески хорошо. Не понимаю, вы-то изъ чего безпокоитесь?

Однакожъ развязность моя не только не плѣнила его, но даже заставила слегка нахмуриться.

— Ну, такъ давайте объ другомъ...—сказалъ онъ послѣ короткой паузы.—Помните, какъ мы въ Р** жили—вѣдь хорошо тогда было... право!

Начали припоминать, но вспомнилось немногое. Прежде всего изъ глубины прошлаго выплыла хорошенькая мадамъ Первагина, которая любила съ мужчинами „картинки“ смотрѣть; потомъ—старый помѣщикъ, который былъ тѣмъ замѣчателенъ, что его всѣ звали „бѣлымъ арапомъ“; потомъ—полиціймейстеръ, у котораго отъ умиленія расходились сзади фалды, когда онъ по начальству съ докладомъ являлся. Ничего особеннаго. Тѣмъ не менѣе, мы оба старались испытывать удовольствіе и отъ времени до времени даже хохотали. Вспомнили кстати нѣсколько „щекотливыхъ“ дѣлъ—и опять хохотали. Однакожъ разговоръ оказался до такой степени скуднымъ, что какъ мы ни длили его, но все-таки въ непродолжительномъ времени стали въ тупикъ. Начали курить папиросы; курили-курили, хлопали другъ друга по колѣнкѣ, смотрѣли другъ другу въ глаза, обмѣнивались краткими восклицаніями... ни взадъ, ни впередъ!

— А я съ тѣхъ поръ дѣломъ занялся, и вотъ какъ видите!—не выдержалъ онъ и опять зачастилъ на старую тему:—да и всѣмъ вообще пора за дѣло! Пожировали! побаловались! И будетъ.

— Какое же собственно дѣло васъ занимаетъ?—полюбопытствовалъ я.

— Работаю. Съ утра до вечера у меня минуты праздной нѣтъ. Я люблю дѣло; а кто его любитъ, у того оно всегда найдется. Въ мужики пошелъ! полушубокъ надѣлъ, косоворотку! сапоги ворванью смазываю... Исправникъ даже доносъ на меня сгоряча написалъ: думалъ, что я мужиковствовать собрался. Ну, нѣтъ! это—аттàндe!

Онъ всталъ съ мѣста и началъ ходить по комнатѣ, видимо сгорая нетерпѣніемъ высказаться.

— У меня нынче...—началъ онъ, волнуясь:—у меня ужъ ноль-уѣзда подъ пятой... Хочу—придавлю, хочу—вздохнуть дамъ. Сы-

тость ихнюю я въ рукахъ держу... Видѣли на дворѣ амбары?—такъ вотъ тамъ ихняя сытость за тремя замками лежитъ...

— На что же она вамъ понадобилась?

— Чувствуютъ они ее преимущественно. Слова-то въ ушахъ не задерживаются, да и тѣлесныя поврежденія, и тѣ нынѣче не всегда надлежащее дѣйствіе оказываютъ... А вотъ ежели за желудокъ умѣючи взяться...

— Что такое вы говорите, Артемій Ивановичъ!—невольно вырвалось у меня при этомъ признаніи.

Онъ взглянулъ на меня изъ-подъ очковъ и усмѣхнулся.

— А вы изъ филантроповъ?

— Изъ филантроповъ или не изъ филантроповъ, а все-таки... Послушать васъ, такъ можно подумать, что вы за что-то мстите!

— Я не мщу, а дѣло дѣлаю. Разжиться торговлей задумалъ. Покупаю—хочу купить дешево; продаю—хочу продать дорого. Желаю имѣть барышъ. А ежели вмѣсто барышей буду терпѣть убытки, то сейчасъ же свою махину по боку—и шабашъ! Понятно?

— Какъ не понимать. Адвокатъ не для того по судамъ изнуряется, чтобы кліентовъ не находить; докторъ не для того практикуетъ, чтобы къ нему не обращались за помощью и т. д. Но при чемъ же тутъ мужицкая сытость?

— А при томъ, что она побуждаетъ дѣло дѣлать. По моему, дѣло для всѣхъ обязательно. Всякій долженъ именно „свое“ дѣло дѣлать, а не забираться въ чужія хоромы, не мечтать. Да, государь мой! покойный батюшка получше насъ съ вами зналъ, какъ за „пихъ“ взяться! И они не мечтали при немъ, а дѣлали дѣло, трудились. А для мечтателей у него былъ—жезлъ-съ!

— Это батюшка вашъ, а вы...

— Знаю-съ. Нѣтъ у меня жезла —это дѣйствительно. Но поэтому-то я и приспособляюсь. Жезла не имѣю, такъ въ родѣ того стараюсь найти. Посмотрите на „пихъ“! Ободраны! обглоданы! ни избы, ни телѣги, ни сохи... срамъ!

— А вамъ жаль?

— Срамъ-съ!

— Да вѣдь этакъ пожалуй окажется, что вы, стыда ради, не только не посягаете на общую сытость, а добиваетесь ея!

— Я-то? я знаю, чего добиваюсь. Остепенить *их* надо—вотъ что̀ я говорю!

— Понимаю. Но мнѣ кажется, что въ этомъ смыслѣ и безъ того сдѣлано больше чѣмъ надо. Вы сами сейчасъ сказали, что повсюду, куда ни обернись—ни кола, ни двора... Что̀ же можетъ быть степеннѣе этого?

— Я не объ этомъ, а объ дѣлѣ... Мнѣ не колы и дворы ихъ нужны—это они ужъ какъ знаютъ—а дѣло!

Онъ видимо желалъ высказать свою мысль до конца, но въ то же время нѣчто его останавливало. Не совѣсть, а какая-то не совсѣмъ еще исчезнувшая боязнь сболтнуть что-нибудь лишнее. Въ итогѣ оказывались недомолвки и противорѣчія, которыя глубоко его раздражали.

— Но неужто „они“ не работаютъ, а только празднуютъ?—удивился я.

— Празднуютъ-съ.

— Допустимъ. Предположите, однакожъ, что мужикъ пересталъ праздновать и всецѣло отдался „дѣлу“—должна же къ чему-нибудь эта метаморфоза его привести? Ну, напримѣръ, хоть къ относительному довольству?.. Думаете ли вы, что тогда такъ же легко будетъ завладѣть его сытостью, какъ теперь?

— А куда же онъ дѣнется, позвольте спросить? откуда онъ довольство-то возьметъ?

— Очень просто: будетъ работать для себя и у себя.

— Это въ западняхъ-то въ ихнихъ?

Онъ залился такимъ добродушнымъ смѣхомъ, что я и самъ догадался, что высказалъ нѣчто рискованное.

— Нѣтъ, это не такъ,—продолжалъ онъ:—не то вы совсѣмъ говорите. Никогда онъ отъ меня не уйдетъ и ни отъ кого, минуя меня, ничего не получитъ. Я не защищаю людей своего сословія. Слишкомъ многіе изъ нихъ въ трудную минуту выказали себя предателями, и почти всѣ безъ исключенія—малодушными и непредусмотрительными. Но среди общей паники, среди общаго бѣгства, сама собою устроилась одна комбинація, которой предстоитъ громадное будущее въ смыслѣ остепененія. Эта комбинація—надѣльныя западни. И хотя теперь ужъ видно, что ея плодами воспользуются совсѣмъ не тѣ, которые ее придумали, но во всякомъ случаѣ нѣкто воспользуется!

— Или, говоря другими словами: съ одной стороны вы требуете непрестаннаго труда, а съ другой — радуетесь условіямъ, которыя дѣлаютъ примѣненіе труда почти безнадежнымъ... Что-жъ, это тоже своего рода комбинація!

— Для труда всегда примѣненіе найдется. Вездѣ-съ. Не только свѣту въ окошкѣ, что крестьянскій надѣлъ. Куда ни обернитесь— вездѣ открытое поприще для труда. Я самъ лично не одной сотнѣ людей могу хлѣба дать. А надѣлъ только запутываетъ. И это когда-нибудь для всѣхъ будетъ ясно.

— Когда-то еще будетъ!

— Ничего, мы и подождемъ. Мы умѣемъ ждать. А въ ожиданіи будемъ остепенять „ихъ“ на собственный страхъ. И не боимся-съ. Мнѣ и ножемъ, и ружьемъ, и краснымъ нѣтухомъ грозили, а я и сію минуту цѣлёхонекъ. Сначала грозились, потомъ бояться стали, а нынче ужъ и довѣріемъ осчастливливаютъ. Погодите немножко— чего добраго, и полюбятъ...

. . . . . .

Ничего другого я добиться отъ него не могъ. Впрочемъ, мысль его была всѣмъ ясна, хотя онъ и опасался формулировать его совершенно опредѣлительно. Вѣроятно теперь, когда толки о „дѣлѣ“ становятся все болѣе и болѣе настойчивыми, онъ высказываетъ свои пожеланія уже на чистоту. Какъ бы то ни было, но идеалъ „дѣла“, осуществленія котораго онъ домогался, представлялся ему снабженнымъ всѣми аттрибутами крѣпостного права. Около этой упраздненной формулы ютились всѣ его помыслы, и никакой иной комбинаціи онъ не только придумать, но и случайно представить себѣ не былъ въ состояніи. Но такъ какъ крѣпостное право было вооружено жезломъ, а у него жезла не было, то онъ и подыскивалъ замѣняющее средство. И нашелъ его въ формѣ непосредственнаго дѣйствія на человѣческую сытость...

Онъ не разсчиталъ двухъ вещей: во-первыхъ, что жезлъ въ большинствѣ случаевъ только ранилъ, тогда какъ придуманное имъ замѣняющее средство — калѣчитъ и погубляетъ, и во-вторыхъ, что разъ жезлъ выпалъ изъ рукъ за негодностью, гораздо выгоднѣе совсѣмъ объ немъ позабыть, нежели изнывать надъ пріисканіемъ замѣняющихъ средствъ одинаковаго съ нимъ воспитательнаго вліянія.

Однимъ словомъ, онъ вопіялъ о „дѣлѣ“, и въ то же время уби-

валъ силу, на обязанности которой лежало созданіе этого дѣла. И, вдобавокъ, на это убиваніе употреблялъ средство, которое точно такъ же ежеминутно могло выпасть у него изъ рукъ, какъ нѣкогда выпалъ изъ рукъ „жезлъ“... Съ самаго того дня, въ который онъ сѣлъ на хозяйство, не было ни одной минуты, когда бы онъ не мечталъ объ дѣлѣ, не говорилъ себѣ: вотъ-вотъ сейчасъ оно придетъ... Но проходили годы, и „дѣло“ не только не являлось на призывъ, но съ каждымъ часомъ все дальше и дальше уходило вглубь. Однакожъ и это не вразумляло его, а только злило, и онъ продолжалъ ждать, продолжалъ говорить: вотъ сейчасъ...

Ждетъ онъ и поднесь. Что окрыляетъ его надежды? что заставляетъ его, несмотря на вразумленія дѣйствительности, упорно смотрѣть въ одну и ту же фантастическую точку? — отвѣтить на эти вопросы не трудно. И для меня во всякомъ случаѣ несомнѣнно, что значительную роль въ этомъ упорствѣ играетъ голая злость.

Злость, злость и злость... Неизъяснимая, непреодолимая, съ одиначовою яростью гложущая и самого злеца, и предметъ его озлобленія. Словно одна изъ казней египетскихъ, отъ которой некуда бѣжать. Вотъ единственный ясный мотивъ, который лежитъ въ основаніи толковъ о „дѣлѣ“. Онъ одинъ даетъ этимъ толкамъ жизненность, одинъ сообщаетъ имъ какое-то подобіе убѣжденія и даже страстности, и помогаетъ уловлять прозелитовъ въ средѣ, наобумъ изрекающей самые неожиданные приговоры и не признающей себя отвѣтственною за нихъ.

Клубкова я долженъ, однакожъ, до извѣстной степени выгородить: онъ, по крайней мѣрѣ, можетъ назвать по имени объектъ своихъ вожделѣній. Это объектъ несостоятельный, опороченный опытомъ и въ самомъ существѣ своемъ безнравственный; но Клубковъ все-таки знаетъ его. Въ большинствѣ случаевъ и этого знанія нѣтъ. Вы видите массу сорвавшихся съ цѣпи людей, которые и на улицахъ, и въ публичныхъ домахъ, и печатно, и устно твердятъ объ „дѣлѣ“, и которые, въ сущности, заражены лишь безъименнымъ бѣшенствомъ. И никакого отвѣта на вопросъ объ дѣлѣ эти люди дать не могутъ, кромѣ одного: или повторяй на вѣру ихъ загадочное бормотанье, или слѣдуй по приглашенью въ участокъ...

Что-то тутъ есть ненормальное, почти страшное. Посылая проклятія пустопорожней фразѣ, мы по горло окунаемся въ кучину другой, не менѣе пустопорожней фразы, но фразы посконной, неуклюжей, юродствующей. Я не поклонникъ фразы, даже въ тѣхъ случаяхъ, когда она представляетъ собой образецъ чеканки и округленности; но въ то же время я не могу не сравнивать. Въ прежней фразѣ, отъ которой мы отрекаемся, все-таки слышалось нѣчто, хотя неясное, недосказанное, но не идущее въ разрѣзъ человѣческой природѣ. Прежняя фраза не давала разрѣшеній, не указывала ни прямыхъ цѣлей, ни путей для достиженія ихъ; но она не возмущала, не отравляла, не засоряла мозговъ. Нынѣшняя посконная фраза прежде всего противна человѣческому естеству. Надо перестать быть человѣкомъ, чтобъ формулировать ее не краснѣя. Отъ этого-то такъ часто слышится рядомъ съ нею напоминаніе объ участкѣ.

Въ этомъ смыслѣ староста Андрей Иванычъ былъ совершенно правъ, говоря, что у Григорія Александрыча (который съ неменьшимъ нетерпѣніемъ, какъ и Клубковъ, чего-то ждалъ, но только не зналъ, какъ провести время въ ожиданіи) ничего не осталось, кромѣ „скверныхъ словъ“. Проѣзжая отъ Клубкова домой, я и къ нему заѣхалъ. Старикъ до того уже опустился, что даже о крѣпостномъ правѣ позабылъ. Никакихъ идеаловъ онъ не лелѣялъ, никакихъ осуществленій не домогался, а только проклиналъ и ругался замѣчательно-скверными словами. И всѣ ругательства неизмѣнно заканчивалъ словами: „а вотъ погодите! ужо опять всѣхъ за дѣло засадятъ!“

Это было до того утомительно и однообразно, что я даже и въ споръ не вступалъ, а только ради шутки сказалъ:

— А помните ли, какъ въ старые годы пошехонцы счастія искали, да въ трехъ соснахъ заблудились? Какъ бы и теперь того же не случилось? Поищутъ-поищутъ „дѣла“, а кончатъ все-таки тѣмъ, что въ трехъ соснахъ заблудятся.

И представьте мое удивленіе: онъ не только не возразилъ мнѣ, но даже вполнѣ меня одобрилъ.

— Именно такъ! — воскликнулъ онъ, по-дѣтски хлопая въ ладоши: — браво! въ трехъ соснахъ... это вѣрно! Именно, именно такъ и будетъ!

Очевидно, что онъ перепуталъ и радовался совсѣмъ не тому. Но

что касается до меня лично, то признаюсь откровенно, что только надежда на эту счастливую безалаберность и утѣшаетъ меня.

Годы уходятъ, а общественная мысль не только не просвѣтляется сознательнымъ отношеніемъ къ предстоящимъ жизненнымъ задачамъ, но все больше и больше запутывается въ массѣ безплодныхъ околичностей. И что всего хуже — всецѣло проникается угрюмостью, нетерпимостью, человѣконенавистничествомъ. Фраза съ какою-то удручающею правильностью смѣняется фразою, и притомъ въ такой качественной постепенности, которая, въ виду фразы новоявленной, заставляетъ съ сожалѣніемъ вспоминать о фразѣ предыдущей, только-что признанной несостоятельною.

Неизбѣжность господства фразы надъ жизнью (мы даже изъ вопроса о безплодности фразы и необходимости „дѣла“ ухитрились устроить „фразу“) представляется до такой степени естественною, что большинство уже смотритъ на это явленіе какъ на законъ, не допускающій ни споровъ, ни возраженій, а требующій лишь безусловнаго подчиненія. Это предѣлъ, дальше котораго паденіе мыслительнаго уровня общества идти не можетъ. Начинается нелѣпое одностороннее торжество, въ которомъ пустомысліе изрекаетъ обязательные афоризмы, сопровождаемые, со стороны наивныхъ, безпорядочными трубными звуками, а со стороны ловкихъ людей—всѣми аттрибутами нескрываемаго хищничества. Какъ акклиматизироваться среди этой безсмысленной, безстыжей оргіи? гдѣ найти силу, чтобы положить ей конецъ или хотя умѣрить ея наглость? Увы! личныя усилія разбиваются такъ легко, что даже самое восторженное самообольщеніе остановится передъ ничтожностью предстоящихъ результатовъ; а затѣмъ ни откуда—ни помощи, ни ободренія! Все кругомъ уже взято въ плѣнъ привычкою, все отжило, не живши, завяло, не испытавши цвѣтенія. Привычка съ изумительною быстротою овладѣла всѣми помыслами и всѣхъ выручила изъ затрудненія. Привычка спасла сердца отъ негодованія, освободила совѣсть отъ упрековъ и во всѣ человѣческія отношенія ввела проказу равнодушія. Равнодушіе—это своего рода благо, за которое цѣпляются, въ которомъ видятъ спасеніе. Ибо оно даетъ силу жить, не истекая кровью и не сгорая всей глубиной переживаемаго злостастія.

Благо равнодушнымъ! благо тѣмъ, которые въ сердечной вялости находятъ для себя миръ и успокоеніе! Личное ихъ благополучіе не только не подлежитъ спору, но можетъ считаться вполнѣ обезпеченнымъ. А ничего другого имъ и не нужно. Но пусть же они знаютъ, что равнодушіе въ данномъ случаѣ обезпечиваетъ не только ихъ личное спокойствіе, но и безсрочное торжество лгуновъ-человѣконенавистниковъ. И сверхъ того оно на цѣлую среду, на цѣлую эпоху кладетъ печать безсилія, предательства и трусости.

Но какъ ни громадно сонмище равнодушныхъ, населяющихъ вселенную, я ни въ какомъ случаѣ не могу причислить къ нему моего друга Крамольникова. Напротивъ того, современные толки о непригодности мечтаній и необходимости „дѣла“ до такой степени угнетаютъ его, что онъ даже не всегда соблюдаетъ надлежащую мѣру благоразумія въ выраженіи своихъ мнѣній объ этомъ предметѣ.

На дняхъ сижу я утромъ въ трактирѣ „Ерши“ и благодушествую. Передо мной—большой подовый пирогъ, за нимъ—графинчикъ очищенной, сбоку—двусмысленной формы сосудъ, наполненный жижей. Помочу въ рюмкѣ усы—и закушу пирогомъ, потомъ опять помочу усы — и опять закушу, а въ промежуткахъ обдумываю: не спросить ли ветчинки? Словомъ сказать, сижу и занимаюсь современнымъ „дѣломъ“. И никто меня не трогаетъ. И я никого не трогаю, и меня никто не трогаетъ. Какъ вдругъ, откуда ни возьмись — Крамольниковъ!

Крамольниковъ—мой давній пріятель; но встрѣчаться съ нимъ въ публичныхъ мѣстахъ — сущее наказаніе. Къ сожалѣнію, онъ ужасно любитъ кочующую жизнь, и съ утра до вечера всюду заглядываетъ. И всякій разъ, какъ онъ меня застигаетъ винъ предѣловъ моей квартиры, мнѣ начинаетъ казаться, что было бы лучше, еслибъ онъ мимо пропелъ. Ибо хотя я не принадлежу къ числу безусловно-равнодушныхъ, но мѣру благоразумія все-таки знаю. А Крамольниковъ не знаетъ ее; а потому, когда встрѣчаешься съ нимъ при благородныхъ свидѣтеляхъ, то невольно приходитъ на мысль: ну, ужъ сегодня навѣрное участка не миновать!

Такъ было и теперь. Едва появился онъ на порогѣ, первая мысль, которая осѣнила меня, была такова: вотъ-вотъ онъ сейчасъ „ляпнетъ“!

— Насыщаетесь?—обратился онъ ко мнѣ, опускаясь на стулъ за тѣмъ же столомъ, за которымъ я завтракалъ.

— Ѣмъ.

— Буду ѣсть и я.—Человѣкъ! копченаго сига! А сколько я, батюшка, срамословія сегодня наслушался! удивительно, какъ только сквозь землю не провалился!

При этихъ словахъ сердце такъ и захолонуло во мнѣ. Ну, непремѣнно сейчасъ „ляпнетъ“!

— Сдѣлалъ шагъ — куча! другой — двѣ кучи! въ сторону кинулся—три кучи! Маневрировалъ-маневрировалъ—проходу нѣтъ! Наконецъ вижу: „Ершъ“! Шмыгнулъ въ подъѣздъ, и вотъ онъ я!

— Удивляюсь, Крамольниковъ, какъ у васъ все это образно... И какъ это вы успѣваете! еще двѣнадцати часовъ нѣтъ, а вы ужъ и наслушались, и нанюхались?

— То-то, батюшка, что нынче ужъ натощакъ срамословятъ. Не поѣвши хлѣба божьяго, такъ и прутъ. И все съ захлебываніемъ, съ пѣной у рта, съ сжатыми кулаками, точно на супостата въ походъ собрались и заранѣе тризну по немъ правятъ!

„Ляпнетъ!“—опять стукнуло у меня въ головѣ.

— Все какого-то „дѣла“, представьте себѣ, требуютъ. „Довольно мечтаній! кричатъ: — не нужно фразъ! дѣло подайте намъ! дѣло!“ А нѣкоторые даже прибавляютъ: „настоящее“.

— А вы?

— А я говорю: рожна намъ нужно—вотъ что!

— Но почему же? По моему, „дѣло“, ежели оно...

— Знаю, что дѣло „ежели оно“... Да они вѣдь совсѣмъ не объ томъ. Рожна они требуютъ, вопстину только рожна! а „дѣло“ тутъ—одинъ подвохъ.

— И опять-таки вы черезъ-чуръ образно выражаетесь. Рожонъ, подвохъ—образно, но не убѣдительно!

— Постойте. Взгляните въ окошко — что вы видите? Вонъ мужчина въ кожаномъ фартукѣ сапоги тачаетъ—развѣ это не дѣло? Вонъ двое мужчинъ зеркало на головахъ по улицѣ несутъ—развѣ это не дѣло? Сейчасъ я въ банкирскую контору заходилъ; сидитъ мѣняло, и словно ученый скворецъ твердитъ: купить-продать, продать-купить — развѣ это не дѣло? Чиновники отношенія, рапорты,

предписанія пишутъ—надѣюсь, что это тоже дѣло! Объ чемъ же „они“ скулятъ? чего требуютъ? кого хотятъ подсидѣть?

— А вотъ этого самаго и требуютъ. Чтобы всѣ „своимъ“ дѣломъ заняты были.

— Но гдѣ же, наконецъ, тѣ люди, которые не были бы какимъ-нибудь дѣломъ заняты?

— Какимъ-нибудь... А надобно, чтобы „своимъ“... Не какимъ-нибудь, а именно своимъ собственнымъ.

— Да вѣдь всякое дѣло есть въ то же время и свое собственное...

— Ну, нѣтъ, этого не скажите! Вотъ вы, напримѣръ...

— А я—сига копченаго ѣмъ! неужто это мечтаніе? Копченый сигъ—и мечтаніе!.. пощадите! Но ежели и есть тутъ мечтаніе, то во всякомъ случаѣ не о такихъ „больныхъ фантазіяхъ“ идетъ рѣчь, когда посылаются проклятія фразамъ и золотымъ снамъ! Напротивъ того, ежели я вмѣсто одного двухъ сиговъ съѣмъ, то не только не назовутъ меня мечтателемъ, но даже въ заслугу мнѣ этотъ подвигъ вмѣнятъ.

— Но вотъ вы разговариваете...

— Разговариваю—потому что словесность имѣю. И пользуюсь ею, то-есть „дѣло“ дѣлаю.

— Да вдобавокъ еще критикуете...

— А критикую потому, что одаренъ способностью мыслить. Не самъ себя одарилъ, а природа. Я же только пользуюсь этимъ даромъ, то-есть опять-таки дѣло дѣлаю.

— То-то что...

— И это знаю. Чего же, стало быть, въ данномъ случаѣ домогаются? Очевидно, домогаются того, чтобы всѣ шили сапоги, всѣ носили на головѣ тяжести и всѣ твердили: купить-продать, продать-купить. Вотъ это — „дѣло“; а говорить, критиковать, мыслить — мечтаніе! Вѣдь этого домогаются? такъ?

— Но вѣдь это отчасти и правильно, потому что еслибъ всѣ занялись, напримѣръ, шитьемъ сапоговъ...

— Было бы прекрасно? — допустимъ. Но въ такомъ случаѣ сами-то начальники „дѣла“ зачѣмъ же не мычатъ, а разговариваютъ? зачѣмъ они мыслятъ? Потому что вѣдь даже къ тѣмъ паскуднымъ заключеніямъ, которыя они предъявляютъ, нельзя придти иначе, какъ при посредствѣ процесса мышленія!

— Крамольниковъ! я съ вами согласенъ... разумѣется, не вполнѣ... Но согласитесь, что такой разговоръ въ „Ершахъ“, когда кругомъ...

— Что̀ такое „кругомъ“? Вездѣ надо говорить, государь мой! вездѣ-съ! Вотъ отлично! всякій бездѣльникъ будетъ и на улицѣ, и въ любой газетинѣ во всеуслышаніе всеобщую каторгу проповѣдывать (себя-то онъ изъ каторги, конечно, исключитъ!), а мы, для которыхъ это блаженство уготовывается, мы будемъ молчать?.. А впрочемъ позвольте! могу я изъ вашего графинчика одну капельку для себя налить?—совершенно неожиданно прервалъ онъ начатую діатрибу.

— Ахъ, сдѣлайте одолженіе!

— Такъ вотъ я и говорю: всѣ эти вопли о вредѣ мечтаній и пользѣ „дѣла“—подвохъ, и кромѣ подвоха ничего въ нихъ нѣтъ. Встрѣтилъ я давеча Положилова; онъ тоже: „оставить надо мечтанія! за дѣло приняться пора“!.. Свинья! Слушалъ я, слушалъ, да и ляпнулъ: а знаете ли вы, говорю, что самый опасный мечтатель—вы-то и есть!

— Это почему?

— Да развѣ это не самое грубое, не самое противоестественное мечтаніе: человѣка, одареннаго даромъ слова—заставить молчать? человѣка, одареннаго способностью мыслить—заставить не мыслить?

— Не то чтобы совсѣмъ не мыслить, но мыслить здраво и благопотребно,—поправилъ я.

— А притомъ и благовременно. Вотъ это-то и есть мечтаніе. Можетъ ли Положиловъ указать мѣру здравости, благопотребности и благовременности? Въ состояніи ли онъ преподать къ руководству хотя краткій списокъ здравыхъ, благопотребныхъ и благовременныхъ мыслей? Можетъ ли онъ поручиться, что тутъ же, рядомъ съ нимъ, не объявится другой Положиловъ, который его благопотребность ему же въ непотребство вмѣнитъ, и взамѣнъ того преподастъ къ руководству своего собственнаго издѣлія чушь? Неужели эта регламентація благопотребности—не безумнѣйшее изъ всѣхъ мечтаній? И притомъ такое, на которомъ нельзя остановиться, чтобъ не пройти сквозь цѣлую серію такихъ же безумныхъ мечтаній? Безуміе настойчиво, государь мой! оно не просто заявляетъ о себѣ, но не задумывается и надъ насиліемъ въ видахъ своего подтвержденія. Сегодня оно безуміе, на вѣтеръ лающее, а завтра—безуміе, заставляющее выслушивать

свой лай и принимать его къ руководству... Могу я еще капельку изъ графинчика позаимствоваться? Я не то чтобы жаждалъ, а такъ...

— Ахъ, сдѣлайте милость!

— Продолжаю. Подвохъ въ этомъ случаѣ въ томъ состоитъ, что понятіямъ самымъ обыденнымъ и общепризнаннымъ, при помощи подтасовки, сообщается загадочный смыслъ. Никто никогда не отрицалъ, что и пахарь, и носильщикъ, и сапожникъ заняты не мечтаніемъ, а дѣломъ. Этого рода „дѣло" для всѣхъ видимое, осязательное и до такой степени присущее всѣмъ формамъ человѣческаго общежитія, что никогда еще міръ не оскудѣвалъ имъ и не оскудѣетъ никогда. Стало быть, указывать на него какъ на какой-то новоявленный идеалъ — по меньшей мѣрѣ безполезно. Да не объ немъ, очевидно, и рѣчь. Параллельно съ этимъ осязательнымъ дѣломъ, обезпечивающимъ матеріальное существованіе общества, идетъ другое дѣло, которое обезпечиваетъ его духовное существованіе. Вотъ на этомъ-то пунктѣ и разыгрывается тотъ изумительный турниръ, который, смотря по вѣяніямъ времени, иногда сохраняетъ характеръ состязанія, но чаще прямо принимаетъ формы приказательнаго чревовѣщанія. Въ періоды состязанія вопросъ ставится такъ: одни видятъ высшую задачу человѣческой дѣятельности въ содѣйствіи къ разрѣшенію вопросовъ всесторонняго человѣческаго развитія, и эту задачу называютъ „дѣломъ"; другіе, напротивъ, не признавая неизбѣжности человѣческаго развитія, ту же самую задачу называютъ мечтаніемъ, фразой. Въ періоды чревовѣщаній ряды защитниковъ высшихъ задачъ постепенно рѣдѣютъ и наконецъ совсѣмъ умолкаютъ; напротивъ того, чревовѣщатели смѣло выступаютъ впередъ и, не встрѣчая ни откуда препятствія, открываютъ односторонній бой, наполняя при этомъ вѣси и грады зловѣщимъ сквернословіемъ и проклятіями. „Прочь мечтанія! за дѣло пора! за дѣло!" — раздается по всей линіи. Но какое же это „дѣло", къ которому такъ страстно зовутъ всѣ сердца? А вотъ какое: упраздненіе человѣческой мысли, низведеніе человѣческой рѣчи до степени бормотанія — только и всего. То-есть, упраздненіе тѣхъ именно качествъ, которыя человѣка дѣлаютъ человѣкомъ. А засимъ разсудите ужъ сами, кому въ данномъ случаѣ болѣе приличествуетъ кличка „мечтателей". Тѣмъ ли, которые, несмотря на мракъ, окутывающій будущее, все-таки не теряютъ изъ вида конечныхъ человѣческаго совершенствованія, или тѣмъ, кото-

рые осуждаютъ людей на то, чтобъ сидѣть упершись лбомъ въ стѣну и въ безмолвіи ожидать, пока она на нихъ повалится?

. . . . . .

Очень возможно, что Крамольниковъ и дальше разглагольствовалъ бы на ту же тему, но въ эту минуту, очень кстати, въ комнату вошло новое лицо, въ которомъ я съ удовольствіемъ узналъ безшабашнаго совѣтника Дыбу. Оказалось, что Крамольниковъ — старый знакомый Дыбы, который былъ его начальникомъ въ ту пору, когда они оба служили въ департаментѣ преуспѣяній и перспективъ.

— А! господинъ фрондёръ!—привѣтствовалъ его Дыба:—все еще по части преуспѣяній состязаться изволите?

Вмѣсто отвѣта Крамольниковъ вновь разсказалъ исторію слышанныхъ имъ въ это утро сквернословій, и что̀ меня крайне изумило —не только не огорчилъ Дыбу своимъ разсказомъ, но даже удостоился отъ него поощренія.

— Дѣйствительно,—сказалъ Дыба:—смѣха достойно! Толкуютъ объ дѣлѣ, а какое оно и на какой предметъ—объяснить не могутъ. Вотъ мы...

Онъ слегка застыдился, крякнулъ и проглотилъ для бодрости рюмку водки.

— А впрочемъ, съ другой стороны,—продолжалъ онъ, уже не краснѣя:—и дѣло, и не дѣло—все это и возможно, и достижимо, и даже... легко преборимо... Только вотъ людей нѣтъ—это такъ!

Вечеръ шестой.

Фантастическое отрезвленіе.

Собрались однажды пошехонцы въ томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ во время оно, по свидѣтельству Костомарова, у нихъ „сѣверныя народоправства“ происходили, и гдѣ впослѣдствіи, по совѣту „московскихъ куратовъ“, выстроенъ былъ съѣзжій домъ съ соотвѣтствующей каланчой. Собрались и стояли въ великомъ недоумѣніи.

Невѣдомая какая-то сила согнала ихъ сюда — и не скопомъ, не по уговору, а каждаго лично за свой счетъ—какъ будто требуя,

чтобъ они совершили нѣкоторое „сѣверное народоправство“, въ которомъ якобы настояла безотлагательная нужда. Но такъ какъ „сѣверныя народоправства“ давно сданы въ архивъ, куда допускается только Костомаровъ, то и самый церемоніалъ, которымъ они нѣкогда сопровождались, оказался сгорѣвшимъ въ одинъ изъ бывшихъ пожаровъ, вмѣстѣ съ „скрижалями“ и прочею пошехонскою стариной. Слѣдовало ли при этомъ рѣчи держать и слѣдовало ли тѣ рѣчи слушать? или же всѣмъ разомъ говорить надлежало и никого никому не слушать?—Все это было когда-то установлено въ точности, но теперь, за давно прошедшимъ временемъ, никто ни объ чемъ не помнилъ. Да и говорить-то, признаться, разучились. Короче сказать, хотя и чувствовали пошехонцы, что имъ необходимо „приступить“, но какъ и къ чему приступить—не знали.

И еще они чувствовали, что ихъ что-то жжетъ, что гдѣ-то у нихъ чешется и что вообще въ ихъ жизнь вторглась какая-то обида. Но что̀ привело эту обиду и какъ отъ нея отвязаться—сказать не умѣли. Нужно кого-то къ отвѣту призвать, съ кѣмъ-то расправу учинить—вотъ что̀ было вполнѣ ясно; но въ какомъ направленіи учинить расправу и кого заставить отвѣтъ держать—этого зря опредѣлить было нельзя. А они именно только „зря“ могли дѣйствовать. Потому что обида—вещь тонкая, незримая и невѣсомая. Она и по землѣ ползетъ, и на облакахъ летаетъ, и вихремъ ее примчитъ, и лихими людьми занесетъ—какъ ты тутъ пальцемъ на нее укажешь? Одна ушла, а на ея мѣсто другая сѣла; другая ушла—третья... Поди угадывай, люди ли тутъ виноваты, или такъ, само собой приключилось? А не то, можетъ быть, и дѣдушки наворожили. Наворожили, да легли на погостъ, а внуки живи да растворяй бѣдѣ ворота! Одно только несомнѣнно: до тѣхъ поръ ихъ источила обида, до тѣхъ поръ вѣческая невзгода пристигла, что они, какъ полоумные, сами собой выбѣжали изъ домовъ и устремились къ каланчѣ. И прибѣжавши—не знали, зачѣмъ прибѣжали.

Должно сказать впрочемъ, что къ описанному выше недоумѣнію въ значительной мѣрѣ примѣшивались и опасенія. Никому не хотѣлось первому слово молвить, потому что каждый чувствовалъ что за нимъ ой-ой блохъ много! Разинешь, пожалуй, ротъ, анъ тутъ тебя со всѣхъ сторонъ и обступятъ: „да никакъ ты самый обидчикъ и есть!“ Куда ты тогда поспѣлъ?

Дѣло въ томъ, что хотя пошехонцы и отрезвились, но это произошло такъ недавно, что даже и посейчасъ они чувствовали себя съ ногъ до головы виноватыми. Много лѣтъ сряду они такъ козыряли, что, со стороны глядя, можно было подумать, что у нихъ и ни-вѣсть какіе запасы всякихъ „правовъ“ напасены. А въ дѣйствительности оказалось одно легкомысліе. Не успѣли они оглянуться, какъ у нихъ простыми фоссками всѣхъ до одного козырей выкозыряли и оставили одинъ-на-одинъ съ обидой. Чтобъ уйти отъ этой обиды, они и отрезвленіе-то приняли. Думали, что какъ предстанутъ они, безкозырные, бездумные, обнаженные отъ прошедшаго и будущаго, такъ сейчасъ же все какъ по маслу у нихъ и пойдетъ—анъ не пошло. Встала обида поперекъ горла и ничѣмъ ее проскочить не заставишь. Еслибъ въ другихъ муниципіяхъ отрезвленіе случилось, то обыватели сказали бы себѣ: нехорошо, конечно, мы сдѣлали, что безъ разсчета въ игру вступили, да и карты вдобавокъ всѣмъ показывали; но такъ какъ это ужъ дѣло прошлое и аханьемъ его не поправишь, то теперь надо объ томъ позаботиться, какъ бы и впредь пальцемъ въ небо не попадать. И сказавши это, рѣшили бы такъ: коли есть обида, то надо именно за нее и взяться, а не кругомъ да около шарить. Но въ Пошехонья дѣло совсѣмъ иначе стало. Не мысль о будущемъ интересовала пошехонскія безшабашныя головы, а мечтанія о томъ, какіе бы они и поднесь сладкіе куски ѣли, кабы въ ту пору сразу всѣхъ тузовъ не отдали. Кто ихъ этихъ кусковъ лишилъ? кто тотъ лукавый, который ихъ въ искушеніе ввелъ? Подать его! разыскать! вотъ мы ему, сатанину сосуду, глотку-то заткнемъ!

Ибо въ Пошехонья такъ ужъ изстари повелось, что дѣло не волкъ—въ лѣсъ не убѣжитъ, а главнѣе всего надо счеты свести, да рогами другъ изъ дружки кишки выпустить. Вотъ это и будетъ настоящее „дѣло“. И дѣдушки пошехонскіе, ѣдучи на погостъ, сказывали, что при всякой бѣдѣ нужно первымъ дѣломъ „лукаваго“ разыскать. Непремѣнно, дескать, полегчитъ отъ этого. Сначала бѣду какъ рукой сниметъ, а потомъ и пошло писать благополучіе...

Но тутъ именно и вышла заковычка, потому что всякій пошехонецъ болѣе или менѣе сознавалъ самого себя этимъ „лукавымъ“. Всякій въ свое время былъ ежели не защитникомъ, то пособникомъ или укрывателемъ. Дыбомъ волосы становятся при воспоминаніи о томъ, какія дѣла были, съ разрѣшенія начальства, пошехонцами со-

дѣяны! Стòило, бывало, только крикнуть: господа пошехонцы! на абордажъ!—всѣ, очертя головы, такъ и лѣзутъ. Стòило молвить: а вѣдь городничій-то много противъ прежняго форсу сбавилъ—всѣ такъ и прыснутъ со смѣху: ныньче, молъ, небось... не прежнее время.

Кто лѣзъ? кто хохоталъ? кто кричалъ?—*Всѣ* лѣзли, *всѣ* хохотали, *всѣ* кричали! Какъ тутъ сосѣда обвиноватишь, коли всякій самъ кругомъ виноватъ?

Это вѣдь только недавно онять сдѣлалось ясно, что всякій сверчокъ долженъ знать свой шестокъ; а было времечко, когда пошехонцы и отъ пословицъ совсѣмъ-было отвыкли. Живутъ безъ пословицъ—и баста. Скажутъ имъ: „эй, господа! уши выше лба не ростутъ!“—а они въ отвѣтъ: „такъ что-жъ что не ростутъ! ушамъ и не слѣдуетъ выше лба расти! мы объ ушахъ и не думаемъ!“ Да вотъ подъ конецъ и узнали, что во всѣ времена ни о чемъ другомъ и рѣчи не было, кромѣ какъ объ ушахъ. Козырей-то истратили на то, чтобъ свои же карты бить, а какъ стало послѣ того и тѣсно, и бѣдно, и неловко—тутъ и спохватились: „кто тотъ лукавый, который насъ на игру наускалъ?“

Итакъ, собрались пошехонцы у каланчи и недоумѣвали. Одна мысль угнетала всѣхъ: вотъ мы и отрезвились, а все-таки легче намъ нѣтъ—долженъ же кто-нибудь быть этому причиненъ! А дальше прямой выводъ: безпремѣнно надобно того человѣка разыскать и горло ему перервать. Тогда всѣмъ будетъ легче. Но кому перервать и за что̀—на эти вопросы никто съ знаніемъ дѣла отвѣтить не могъ: воображенія не хватало. Перервать—только и всего. Смотрѣли они на каланчу и ждали: не будетъ ли отъ нея какого-нибудь напутія? Но каланча, незыблемая и безучастная, глядѣла всѣмъ своимъ нескладнымъ столбомъ на пошехонское смятеніе и безмолвствовала. Ни звука оттуда не выходило, ни лица человѣческаго въ окнахъ не было видно. Только на самой вершинѣ ходилъ сторожъ дозоромъ, поигрывая отъ скуки пожарными сигналами, и думалъ: „ишь вѣдь, и отрезвиться-то порядкомъ не умѣютъ!“

День былъ осенній, студёный, смурый. Въ такіе дни добрый хозяинъ дома сидитъ, по домашности исправляется, но пошехонцамъ незачѣмъ дома сидѣть, потому что они давнымъ-давно всю домашность, до послѣдняго пера, спустили. Какимъ манеромъ спустили? куда?—никто въ ту пору не доглядѣлъ. Знаютъ только, что когда

хватились—анъ нѣтъ ничего. Только и остался у нихъ что инстинктъ. и этотъ инстинктъ влекъ ихъ туда, гдѣ въ оное время бунтовщиковъ съ раската сбрасывали. Задулъ вѣтеръ. полилъ дождикъ, а они все стояли и молчали. Думали: вотъ выйдетъ изъ каланчи городничій штабсъ-капитанъ Мазилка и начнетъ законъ разъяснять. А ежели закона нѣтъ, то хоть изъ пушки палить будетъ. Но Мазилка сидѣлъ въ каланчѣ и въ свою очередь думу думалъ.

Это былъ человѣкъ малаго роста и увѣчный, но храбрый. Коли кто передъ нимъ руки по швамъ стоитъ, онъ такъ на него и скачетъ. Даже ежели большого роста человѣкъ, такъ и того достанетъ. Однако и онъ про „сѣверныя народоправства“ вспомнилъ, какъ увидѣлъ, что пошехонецъ изо всѣхъ улицъ такъ валомъ и валитъ къ каланчѣ. И чѣмъ смиреѣе вели себя пошехонцы, чѣмъ глубже они отрезвлялись, стоя вокругъ каланчи, тѣмъ сильнѣе зрѣло въ немъ убѣжденіе, что въ этомъ-то именно „народоправства“ и состоятъ. А сверхъ того вспомнилъ онъ и о томъ, что еще недавно въ газетѣ „Уединенный Пошехонецъ“ удостовѣряли, что стоитъ только здравому смыслу пошехонцевъ воспрянуть—и все пойдетъ какъ по маслу. Вспомнилъ и испугался: а ну, какъ взаправду примутся пошехонцы здравый смыслъ предъявлять?

Размысливши какъ слѣдуетъ, онъ заперъ ворота съѣзжаго дома. выкатилъ пожарную трубу и на всякій случай велѣлъ держать кишку на-готовѣ. А самъ забрался въ дальній чуланъ и заперся на ключъ.

Часы проходили за часами, а пошехонцы все стояли, ждали. не разинетъ ли кто рта.

Двое изъ самыхъ горластыхъ—Иванъ Безродный да Безчастный Иванъ—даже совсѣмъ-было раскрыли уста, но взглянули другъ на друга—и опять сомкнули. Очевидно, что тревога еще не дошла до той точки, когда отъ избытка чувствъ уста глаголютъ. Да и отваги надлежащей еще не было. той отваги, которая на вопросъ: кто здѣсь отстунникъ?—помогаетъ съ легкимъ сердцемъ отвѣчать: вотъ онъ я!

Наконецъ истомились, назябли и начали ждать, скоро ли смеркнется. На этотъ разъ обстоятельства благопріятствовали пошехонцамъ. Осенній день, и безъ того короткій, подъ вліяніемъ хмураго неба, сталъ меркнуть раньше обыкновеннаго. Часовъ около четырехъ

во многихъ домахъ замелькали огни, а затѣмъ и Мазилка, оправившись отъ страха, высунулъ голову изъ окна.

— „Народоправствъ“ захотѣли?—гаркнулъ онъ во всю пасть: —здравый смыслъ проявлять задумали?! Вотъ я вамъ ужо...

При этихъ словахъ ворота съѣзжаго дома заскрипѣли, и обильная струя воды, пущенная изъ пожарной трубы, окатила и безъ того уже вымокшихъ вѣчевыхъ людей.

Законъ былъ объясненъ. Толпа испустила вздохъ облегченія и начала расходиться. Но и за всѣмъ тѣмъ у всѣхъ одна мысль въ умѣ застыла: что-то завтра будетъ? какъ бы и завтра не пришлось опять туда же бѣжать...

Въ сущности, пошехонское отрезвленіе было столь же неожиданно, какъ и недавнее пошехонское либеральное опьяненіе.

Я знаю, что многіе отличнѣйшіе умы вѣрятъ, что какъ ни малоустойчиво Пошехонье, но все-таки сокровенныя и задушевныя симпатіи его обывателей устремлены къ свѣту, а не къ тьмѣ. Я и самъ охотно этому вѣрю. Я вѣрю, что не только въ Пошехоньи, но и въ цѣломъ мірѣ благоволеніе преобладаетъ надъ злопыхательствомъ, и что, въ концѣ концовъ, послѣднее, всеконечно, измором изноетъ. Но покуда злопыхательство даже въ минуты своего пораженія умѣетъ такъ ловко устроиться, что присутствіе его всегда всѣми чувствуется, тогда какъ благоволеніе въ подобныя минуты стушевывается такъ, что объ немъ и слыхомъ не слыхать. Вотъ разница. Поэтому „конецъ концовъ“ представляется столь отдаленнымъ, что люди, для которыхъ живая жизнь не составляетъ праздной мечты, не считаютъ даже возможнымъ разсчитывать на него: придетъ „конецъ“, да не при насъ и не для насъ... Выводъ жестокій и отнюдь не героическій; но развѣ кто-нибудь вправѣ требовать, чтобъ пошехонскія матери рождали сплошь героевъ?

А сверхъ того меня еще больше смущаетъ та легкость, съ которою пошехонцы поддаются всякаго рода вѣяніямъ и которая мѣшаетъ имъ имѣть свою логически развивающуюся исторію. Еслибъ эти вѣянія были продуктомъ внутренняго процесса пошехонской жизни, то къ нему можно бы примѣнить принципъ вмѣняемости. Худы ли, хороши ли такія вѣянія, но они представляютъ подлинную дѣйствительность, а не воздушное мечтаніе. Критика поможетъ разобраться

въ самой худой дѣйствительности и въ ней самой отыскать необходимыя поправки. Но въ томъ-то и дѣло, что вѣянія, которымъ подчинялись пошехонцы, имѣли чисто внѣшній характеръ. Даже городничій Мазилка—и тотъ пріѣзжаетъ, держа на-готовѣ въ карманѣ какое-то вѣяніе, и пошехонцы безпрекословно подчиняются ему: даже газетчикъ Скомороховъ—и тотъ убѣжденъ, что всякаго пошехонца можно въ самое короткое время какъ угодно оболванить. И оболваниваетъ.

Увы! упованія Мазилокъ не напрасны. Пошехонецъ, который еще такъ недавно во всеуслышаніе выспренняго слова говорилъ, вдругъ, безъ всякаго колебанія, начинаетъ изрекать какіе-то отрезвленные афоризмы, самая фактура которыхъ удостовѣряетъ, что они не могли въ иномъ мѣстѣ начало воспріять, кромѣ какъ на съѣзжей. Нужды нѣтъ, что измѣнившаяся общественная рѣчь свидѣтельствуетъ объ измѣненіи общественной мысли и въ недалекомъ будущемъ предвѣщаетъ —шутка сказать!—измѣненіе всѣхъ общественныхъ отношеній— всѣ эти измѣненія совершаются такъ просто, принимаются такъ наивно, что Мазилкамъ приходится только радоваться. Ибо ежели и встрѣчаются среди пошехонцевъ люди, которыхъ подобныя измѣненія приводятъ въ недоумѣніе, то и они безъ труда уразумѣваютъ, что на свѣтѣ есть особаго рода компромиссъ, называемый лицемѣріемъ, который поможетъ имъ какъ-нибудь приладиться къ общему нравственному и умственному уровню. И уразумѣвши это, лицемѣрятъ и отступничествуютъ безъ зазрѣнія совѣсти.

Вотъ отчего такъ трудно имѣть дѣло съ пошехонцами. Нельзя надѣяться на ихъ поддержку, нельзя расчитывать, что обращенная къ нимъ рѣчь будетъ сегодня встрѣчена съ тѣмъ же чувствомъ, какъ и вчера. Вчера существовало вѣщее слово, къ которому цѣлыя массы жадно прислушивались; сегодня—это же самое слово служитъ не призывнымъ лозунгомъ, а сигналомъ къ общему бѣгству. Да хорошо еще, ежели только къ бѣгству, а не къ другой, болѣе жестокой развязкѣ.

И, право, преобидное это дѣло. Этой силой приводить къ нулю, сожигать до тла самыя горячія надежды, обладаетъ не что-либо устойчивое, крѣпкое, убѣжденное, а нѣчто мягкотѣлое, расплывчивое, подобно водѣ, отражающее все, что ни пройдетъ мимо. Но что еще обиднѣе: сами носители надеждъ не только подчиняются этому явле-

нію, но даже не видятъ въ немъ никакой неожиданности. Развѣ это тоже не мягкотѣлость своего рода?

На дняхъ именно пришлось встрѣтиться съ нѣкоторыми разновидностями этой пошехонской мягкотѣлости. Сперва простеца-пошехонца встрѣтилъ; спрашиваю: какъ дѣла?—и слышу въ отвѣтъ какія-то отрезвленныя рѣчи: все пословицы да все дурацкія. Изумляюсь.

— Какъ же это такъ, спрашиваю:—словно бы вы еще недавно совсѣмъ другія слова говорили?

— Другія! будто бы? А впрочемъ... Да надо же, наконецъ, и за умъ взяться! пора!—отвѣчаетъ онъ, и отвѣчаетъ такъ естественно, какъ будто и въ самомъ дѣлѣ у него ума палата.

— Отрезвились?

— Да, отрезвились... пора! Все слова, одни слова...

— Понимаю: надоѣло? Въ чемъ, однакожъ, безсловесное-то отрезвленіе ваше состоитъ?

— Да тамъ увидимъ. Не программы же въ самомъ дѣлѣ составлять? Видали мы эти программы, знаемъ! Достаточно и того, что „фразъ“ больше не будетъ... За умъ, батюшка, взялись! за умъ!

Только и всего; и больше ничего у него и нѣтъ. И эти-то слова не его, а Мазилкины. Произнося ихъ, онъ чмокнулъ мнѣ ручкой и заковылялъ во-свояси. И этому его Мазилка научилъ: не задерживайся, молъ, не калякай много! Да и произнесъ онъ ихъ какимъ-то раздвоеннымъ голосомъ: не то самъ надъ собой смѣялся, не то надо мной пропизировалъ. Тоже Мазилка научилъ: ты такъ калякай, чтобы во всякое время во всѣхъ смыслахъ понять было можно.

Словомъ сказать, какъ ни поверни отрезвленнаго пошехонца, отъ всякой части тѣла клоповникомъ пахнетъ.

Черезъ двѣ-три минуты встрѣчаю мягкотѣлаго интеллигента. Огорченъ, но предвидѣлъ.

— Что? какъ?

— Ни сѣсть, ни встать!

— Вотъ бѣда-то!

— Н-да... впрочемъ, это давно можно было предвидѣть!

На этотъ разъ я ужъ самъ чмокнулъ ручкой и пошелъ во-свояси. Но ему вѣроятно показалось, что я огорчился, и онъ догналъ меня.

— Ничего не подѣлаешь,—сказалъ онъ:—надо переждать Мазилка сказывалъ, что не надолго. Онъ вѣдь, Мазилка-то, и самъ...

Еще нѣсколько шаговъ—и еще пошехонецъ на встрѣчу. Этотъ какъ будто слегка ополоумѣлъ: озирается, нюхаетъ, ищетъ.

— Чего ищете?

— Да вотъ „человѣка“ разыскиваемъ. Допросить, вишь, надо.

— Какого такого „человѣка“?

— Виноватаго. Мазилка...

Я не слушалъ дальше. Опять и опять Мазилка! Ужасно! ужасно! ужасно!

Я охотно признаю, что пошехонецъ еще не дошелъ до предательства, но онъ уже съ головы до ногъ опутанъ нитями апатіи, индифферентизма и повадливости, которыя для предательства представляютъ знатное подспорье. Въ такъ-называемую фразу онъ извѣрился; книга ему опостылѣла; ни въ какомъ умственномъ возбужденіи онъ потребности не ощущаетъ. Есть у него Мазилка, которому „лучше видно“, и больше ему ничего не надо. Подъ его эгидой онъ и бредетъ въ сумеркахъ куда глаза глядятъ. И думаетъ, что живетъ.

Спрашивается: какая вѣра въ „конецъ концовъ“ устоитъ въ виду этого мягкотѣлаго организма, который только съ тѣхъ поръ и созналъ себя благополучнымъ, какъ утратилъ способность мыслить и словеса позабылъ?

Но возвращаюсь къ разсказу.

Воротились пошехонцы домой, вымокшіе, иззябшіе, сердитые. Нѣкоторые, впрочемъ, надѣялись, что во снѣ Богъ счастія пошлетъ; но такъ какъ легли спать на голодное брюхо, то сны видѣли лютые. То будто мохнатый звѣрь животы у нихъ выѣдаетъ, то будто кушъ въ лотерею выиграли, да лотерейный билетъ потеряли. Такъ ничего и не выспали. И на утро встали еще болѣе мрачные и обезкураженные.

Къ тому же и публицистъ Скомороховъ не молчалъ, а все пуще да пуще разжигалъ сердца пошехонцевъ. Именно въ это самое утро онъ разразился громовой передовицей:

„Говорятъ, что мы отрезвились,—писалъ онъ въ „Уединенномъ Пошехонцѣ“;—но есть два сорта отрезвленія: одно—страдательное,

заключающееся въ пассивномъ уклоненіи отъ безчестныхъ приманокъ шутовского либерализма; другое—дѣятельное, которое преслѣдуетъ либерализмъ въ самомъ корнѣ, или, точнѣе, въ самыхъ носителяхъ этого шутовства. Первое изъ этихъ отрезвленій есть отрезленіе неполное, робкое и въ практическомъ смыслѣ дающее лишь скудные результаты. Человѣкъ отрезвился, стряхнулъ съ себя иго отвратительной хмары, заслонявшей передъ его глазами здоровую дѣйствительность, сдѣлался преданнымъ и честнымъ членомъ своей муниципіи—конечно, это прекрасно и заслуживаетъ всяческаго поощренія. Но можно ли сказать по совѣсти, что на этомъ одномъ и долженъ завершиться процессъ отрезвленія? Нѣтъ, всякій, кому дороги интересы Пошехонья, не можетъ не сознаться, что личное отрезвленіе есть только первый этапъ на пути отрезвленія дѣйствительнаго и плодотворнаго. Недаромъ „Norddeutsche Zeitung“, говоря о нашей склонности къ чрезвычайнымъ полетамъ въ область преуспѣянія, побуждаетъ насъ и впредь дѣйствовать въ томъ же направленіи. Недаромъ онъ усматриваетъ въ этомъ залогъ нашей способности выходить сухими изъ воды. Органъ желѣзнаго канцлера, который зорко слѣдитъ за каждымъ нашимъ шагомъ, не можетъ въ данномъ случаѣ иначе и поступить. Онъ *долженъ* назвать силою то, что, въ сущности, составляетъ нашу слабость: это его прямая выгода. Въ его интересахъ обольщать и убаюкивать насъ. Но мы обязаны стоять на стражѣ противъ подобныхъ обольщеній; мы должны смотрѣть на нихъ какъ на засаду, устраиваемую ловкимъ врагомъ съ цѣлью застигнуть насъ врасплохъ. Поэтому, сдѣлавши первый шагъ въ смыслѣ отрезвленія, мы обязываемся не ограничиваться имъ, но идти къ намѣченной цѣли неуклонно, не обходя ни одного указанія, предъявляемаго строгой логикой. А логика говоритъ такъ: только то отрезвленіе цѣлесообразно, которое имѣетъ характеръ дѣятельный.

„Насъ часто укоряютъ въ томъ, что мы слишкомъ охотно довѣряемся „фразѣ“, и надо сознаться, что укоръ этотъ вполнѣ нами заслуженъ. Шутовская либеральная суматоха, которая и понынѣ еще не признаетъ себя побѣжденною, чуть-было навсегда не осудила насъ на безплодіе, въ смыслѣ саморазвитія. Да и навѣрное успѣла бы въ своемъ дерзкомъ предпріятіи, еслибъ случайность не выдвинула впередъ забытый и забитый пошехонскій здравый смыслъ и не дала ему возможности восторжествовать. Что торжество получилось полное и

безспорное (и при томъ въ самое короткое время)—въ этомъ нынѣче уже никто не сомнѣвается; но не слѣдуетъ забывать, что торжество, вооружая насъ значительными правами, налагаетъ на насъ и обязанности. Какія же это обязанности? въ чемъ должна заключаться главная задача осѣнившаго насъ отрезвленія?—На эти вопросы мы можемъ дать только одинъ отвѣтъ: задача, намъ предстоящая, заключается въ томъ, чтобы отъ фразы перейти къ дѣлу. Не къ тому широковѣщательному, полному безплодныхъ обольщеній дѣлу, благодаря которому мы двадцать-пять лѣтъ кряду висѣли на воздухѣ, а къ тому простому, вразумительному и для всѣхъ доступному дѣлу, которое приглашаетъ насъ не замыкаться въ личной благонамѣренности, но вывести эту послѣднюю на арену плодотворныхъ практическихъ примѣненій.

„И прежде всего намъ предстоитъ заявить безъ малѣйшихъ колебаній, что процессъ отрезвленія касается не только отдѣльныхъ индивидуумовъ, но *всѣхъ вообще обывателей, и притомъ въ равной степени. Всѣ* обязаны отрезвиться, даже тѣ, которые не чувствуютъ къ тому особенной склонности. Это необходимо для того, чтобы обезпечить задачи отрезвленія въ будущемъ. Задачъ этихъ никуда мы не называемъ, но имѣемъ полное основаніе сказать, что ихъ предвидится не мало, и притомъ совершенно неожиданныхъ. Надо своевременно и безъ остатка устранить все, что̀ можетъ послужить препятствіемъ для всесторонняго разрѣшенія этихъ задачъ. Ибо отъ такого исхода зависитъ *общее* благо; а ежели кто не желаетъ этого общаго блага, тотъ, очевидно, не можетъ желать и своего собственнаго, личнаго блага. Такой отщепенецъ какъ бы говоритъ намъ: извергните меня изъ среды своей, ибо я одичалый членъ вашего общежитія! Не щадите меня, ибо я и самъ каждымъ шагомъ своимъ доказываю, что не желаю вашей пощады! Спрашивается: справедливо ли мы поступимъ, ежели не выполнимъ требованія, предъявляемаго намъ самимъ отщепенцемъ?

„Будемъ же справедливы, будемъ дѣятельны. Выйдемъ изъ нашей замкнутости, ибо въ настоящемъ случаѣ она представляется не только неряшливою, но и преступною. Пусть каждый въ каждомъ прослѣдитъ успѣхи, сдѣланные отрезвленіемъ: пусть каждый каждому предъявитъ тотъ обязательный minimum, неподчиненіе которому должно угрожать очень серьезными (а не мнимыми, какъ было

до сихъ поръ) послѣдствіями для неподчиняющагося. Да исчезнетъ тьма, да восторжествуетъ свѣтъ! — вотъ девизъ, который долженъ отнынѣ руководить нами. Говорятъ о свободѣ совѣсти, о правѣ на свободу изслѣдованія—прекрасно! Мы первые готовы защищать всѣ эти свободы, но не тамъ, гдѣ идетъ рѣчь объ *общемъ благѣ*. Въ виду этой послѣдней цѣли всѣ свободы должны умолкнуть и потонуть въ общемъ и для всѣхъ одинаково обязательномъ единомысліи.

„Viribus unitis res parvae crescunt. Впередъ!“

Передовица была написана ловко, гладко, съ огонькомъ. Собственно говоря, это была диффамація, во время чтенія которой пошехонцы чувствовали, какъ во всемъ тѣлѣ разливается зудъ. Но какъ только чтеніе диффамаціи оканчивалось, такъ передъ ошеломленными читателями назойливо возставалъ вопросъ: что же симъ достигается? И они снова начинали перечитывать, и снова разливался у нихъ въ тѣлѣ зудъ. Во всякой строкѣ все было на-лицо: и подлежащее, и сказуемое, и связка; даже періоды, законченные и округленные, катились одинъ за другимъ какъ по маслу; одного только не было: что симъ достигается?

— Ахъ, волки тя ѣшь, зудень чесоточный!—бормотали озадаченные пошехонцы:—и безъ него тошно, а онъ... вишь какъ зудитъ!

Тѣмъ не менѣе требованія диффамаціи были настолько настоятельны, что медлить было небезопасно. Пришлось опять собраться къ каланчѣ, и притомъ съ мыслью, что на этотъ разъ, пожалуй, и не отмолчишься. Какъ примется ужо каждый каждаго исповѣдывать, да каждый каждому припоминать — такое ли пойдетъ самоѣдство, что только держись! Въ виду этого многіе думали: хоть бы Согожа (рѣка, на которой Пошехонье стоитъ) разлилась послѣ дождей, да проходы и проѣзды затопила, или бы мостъ провалился! Но Согожа продолжала скромно журчать по дну оврага, а мостъ хоть и не являлъ надлежащей для движенія прочности, но пошехонцы изстари ужъ съ этимъ помирились: таковскій!

А Мазилка въ это самое утро имѣлъ съ Скомороховымъ совѣщаніе. Мазилка смотрѣлъ на дѣло глубже и солидиѣе; Скоморохъ плавалъ мелко, но за то цѣпко хватался за подробности.

— Знаю я, что за вами блохъ много,—говорилъ Мазилка:—да не ваше, спроты, дѣло другъ надъ дружкой расправу чинить. Мое это дѣло. Я здѣсь начальникъ—я и помыкать вами буду. За-

хочу—сегодня расправлюсь; не захочу—до завтра отложу. А вы, сироты, должны ждать, и ни въ худую, ни въ хорошую сторону на власть мою не наступать. И ты это непригоже, зудень чесоточный, дѣлаешь, что другъ противъ дружки однообщественниковъ натравляешь!

— Ваше высокородіе! позвольте съ полною откровенностью доложить!—взывалъ Скомороховъ.

— Изволь, братецъ!

Разумѣется, Скомороховъ тутъ же сердце свое, какъ на ладони, выложилъ. Выходило такъ, что непремѣнно нужно общество пошехонское оживить. Не потому чтобъ этого требовалъ интересъ казны, а потому, что, по обстоятельствамъ, избѣжать этого невозможно.

— Коли мы общество не оживимъ, такъ оно само себя оживитъ. —развивалъ свою мысль проворный пошехонскій публицистъ:—потребность такая въ немъ народилась, и ничего ты съ ней не подѣлаешь. Прежде этого не бывало, а нынче спятъ-спятъ пошехонцы, да вдругъ и проспутся. Такъ ужъ пусть лучше мы сами оживимъ ихъ... въ предѣлахъ. Пускай другъ дружку ощупаютъ, вреда отъ этого не будетъ!

— Ты говоришь: „въ предѣлахъ“—а вдругъ оно за предѣлы поѣхало?

— На этотъ предметъ, ваше высокородіе, пожарную трубу въ готовности содержать надлежитъ.

— Я-то готовъ, да ты вотъ... Смотри ты у меня, сорванецъ! на языкѣ у тебя медъ, да на душѣ-то... Петля, а не человѣкъ — вотъ ты что! Сколько разъ листья вонъ эта береза перемѣнила, столько же разъ и ты мѣнялся! Ну, да ниъ быть по твоему!

На этомъ совѣщаніе кончилось. Но Мазилкѣ до такой степени были несимпатичны проекты объ оживленіи общества, что онъ не выдержалъ и въ догонку уходящему Скомороховy крикнулъ:

— Только помни, что согласія моего не было! Это ты меня, зудень, раззудилъ, а я... не согласенъ!

Черезъ часъ послѣ этого площадь передъ каланчою уже кишѣла народомъ. Пошехонцы чуяли, что придется другъ друга изслѣдовать, и примѣривались. Но такъ какъ у всѣхъ былъ еще въ памяти недавній „шутовской либерализмъ“, то приходилось дѣйствовать съ крайнею осторожностью. Заведетъ пошехонецъ одинъ глазъ на со-

сѣда—анъ и ему на встрѣчу сосѣдній глазъ глядитъ. Ну и спасуютъ оба, уставятся глазами въ пространство и глядятъ, словно на умѣ ничего канальскаго нѣтъ. Однако урывочками да ущипочками порядочно-таки высмотрѣли... Эхъ, кабы Мазилка разрѣшилъ „секрѣтъ“ ему объявлять! Приходите-молъ, други милые, хоть днемъ, хоть ночью, завсегда моя дверь потихоньку для васъ открыта! То-то бы народу повалило! Такъ нѣтъ вотъ: извольте расправляться всенародно... сами!

Для Скоморохова этотъ моментъ былъ рѣшительный. Каждый день онъ доказывалъ, что пошехонцы созрѣли, что торжество здраваго смысла вполнѣ обезпечено; стало быть, теперь приходилось подтвердить это на дѣлѣ. Поэтому онъ несказанно суетился, появляясь то въ одномъ, то въ другомъ концѣ толпы и ежемгновенно взывая: „Кто про кого что̀ знаетъ—сказывайте, православные, сказывайте!“

По настоящему слѣдовало бы его, какъ перваго, который „пасть разинулъ“, въ щепы расщепать; но пошехонцы не только не сдѣлали этого, но даже поощряли вызовы безшабашнаго писаки робкими улыбками. Скомороховъ былъ не свой между ними. Онъ явился откуда-то издалека, и покуда пошехонцы хлопали на него глазами—усѣлся и сразу взялъ засиліе. Всѣмъ онъ въ свое время былъ: и либераломъ, и анти-либераломъ, и реформенникомъ, и анти-реформенникомъ, и всегда съ успѣхомъ. Преднамѣренно смѣшивая развитіе съ измѣной, онъ утверждалъ, что только дураки не мѣняютъ убѣжденій, и, разъ заручившись этимъ афоризмомъ, безцеремонно самъ себя побивалъ всякій разъ, когда это по обстоятельствамъ требовалось. Опасность онъ представлялъ великую, ибо тайну каждаго пошехонца зналъ, съ каждымъ и реформенно, и анти-реформенно по душѣ бесѣдовалъ, и потому каждому прямо и безстыдно объявлялъ: ты меня не проведешь!

Однако пошехонцы не только не ободрились подъ вліяніемъ вызывающихъ Скомороховскихъ рѣчей, но еще пуще вчерашняго заробѣли. Они хотя и трепетали передъ Скомороховымъ, но въ то же время чувствовали къ нему непреодолимую гадливость. Они уже настолько отрезвились, чтобы понимать, что не спроста негодный писачка передъ ними гарцуетъ, но еще не настолько созрѣли, чтобы признать его личность достолюбезною. Поэтому если у кого и чесался языкъ, чтобы вымолвить: „а ну-те, господа атаманы, давайте ска-

зывать... Господи благослови!“—то Скомороховскія подстрекательства скорѣе унимали, нежели раздражали этотъ зудъ. И очень возможно, что дѣло взаимнаго изслѣдованія совсѣмъ бы не выгорѣло, еслибъ въ самую критическую минуту не показался вдали Иванъ Рыжій.

Рыжій опоздалъ на вѣче, да, признаться сказать, и теперь не спѣшилъ, а шелъ обыкновенной своей лѣнивой походкой, какъ будто наперед знал, что никакого народоправства не будетъ. Это былъ смирный и степенный обыватель, котораго политическія убѣжденія главнымъ образомъ въ томъ состояли, что ежели начальство, по упущенію, и неправильно чего-нибудь требуетъ, то и тогда слѣдуетъ требованіе его безпрекословно выполнить. Во времена оны эта теорія представлялась не только безопасною, но даже обезпечивающею безпедоимочный сборъ податей. Но уже и тогда находились пуристы, которые при словахъ: „ежели и неправильно начальство требуетъ“—сомнительно покачивали головами.

— То же бы ты, дуракъ, слово, да не такъ бы молвилъ!—участливо предостерегали его, и предлагали измѣнить редакцію такъ: „всякое начальственное требованіе отъ природы правильно, а потому и слѣдуетъ его выполнить“. Но онъ одно твердилъ: „по моему—лучше!“ и устоялъ на своемъ. Тѣмъ не менѣе до сихъ поръ ересь сходила ему съ рукъ, и даже Скомороховъ какимъ-то образомъ ее проглядѣлъ. Но теперь, какъ увидѣли православные, что онъ „идетъ не идетъ“, а ногами „вавилоны выдѣлываетъ“ да вдобавокъ еще руками машетъ, такъ и загорѣлись у всѣхъ сердца. Такъ и просіяло во всѣхъ умахъ: а вѣдь это онъ самый и есть!

— Иду!—откликнулся между тѣмъ Рыжій.

Часъ отъ часу не легче: первый пасть разинулъ (Скомороха не считали). Онъ! онъ самый и есть! Что, бишь, онъ въ ту пору говорилъ? Какими такими бунтовскими рѣчами народъ сомущалъ?

Въ одно мгновеніе толпа поглотила Рыжаго и начала его перекидывать. Нѣкоторое время онъ мелькалъ, но потомъ вдругъ скрылся. Какого рода тутъ народоправство совершилось—неизвѣстно, но, къ счастью, Мазилка не дремалъ. Вторично отворились ворота съѣзжаго дома, и струя воды, болѣе обильная, нежели наканунѣ, окатила вѣчевыхъ людей.

Совершивши такое дѣло, пошехонцы сочли свою миссію конченъ-

ною. Взаимно поощряя другъ друга веселыми подзатыльниками, они направились во-свояси, въ полной увѣренности, что теперь, когда они уже фактически доказали свое отрезвленіе, они найдутъ дома не тюрю съ водой, какъ наканунѣ, а щи съ убоиной.

Но ни щей, ни убоины не было; даже тюри какъ будто убавилось. Задача усложнялась самымъ безнадежнымъ образомъ.

Ибо пошехонская обида въ томъ главнымъ образомъ и состояла, что атаманы-молодцы ужъ давно ничего, кромѣ тюри съ водой, не ѣдали. Разумѣется, встрѣчались въ этомъ смыслѣ и исключенія—„особливо отмѣченные люди“, какъ называлъ ихъ Скомороховъ—но и тѣ прикидывались лазарями. По крайней мѣрѣ тюря была самымъ наглядным фактомъ изъ всего, что заставляло пошехонцевъ роптать на судьбу. Убоина до того поднялась въ цѣнѣ, что даже въ средѣ „правящихъ классовъ“ не всякій могъ свободно распоряжаться ею. А было время—и большинство его помнило—когда и средній пошехонецъ мякоть ѣлъ самъ, а кости бросалъ собакамъ. Во многихъ семьяхъ были живы дѣдушки, которые передавали отощавшимъ внукамъ (и сами отощавшими желудками къ своимъ розсказнямъ тоскливо прислушивались) почти баснословныя преданія о древнемъ пошехонскомъ изобиліи, когда свиньи, куры, утки и проч. свободно бродили по улицамъ, а домой возвращались только для превращенія въ снѣдь. И все это пошехонцы *сами* ѣли: убьютъ скотинину и ѣдятъ... *сами*. А ноньче ежели есть у кого яичко, такъ онъ на него только поглядитъ, да скорѣе на „элеваторъ“ несетъ, а оттуда ужъ оно само собой на машину идетъ. Свистнула машина—и помнинай какъ звали! Яичко твое нѣмецъ съѣстъ, а ты за него денежки получи, да другое яичко неси! Смотришь, анъ рубль-то въ цѣнѣ и поправился!

Тѣмъ не менѣе относительно причинъ, обусловившихъ исчезновеніе убоины, мнѣнія раздѣлились. Пошехонцы-горланы, тѣ, которые на вѣчахъ голосъ имѣли, утверждали, что бѣда въ томъ, что все Пошехонье поголовно, чуть не двадцать лѣтъ кряду, въ эмпиреяхъ витало, а что подъ носомъ у него дѣлается—не видѣло. И что, слѣдовательно, ежели отъ эмпиреевъ вполнѣ отрезвиться, то и опять свиньи съ утками всѣ улицы запрудятъ. Но бабы пошехонскія съ

этимъ не соглашались.—Что-то мы объ эмпиреяхъ не слыхивали,—возражали онѣ,—а вотъ что народъ пыньче слабъ сталъ, послѣднюю тряпку изъ дому въ кабакъ тащитъ, такъ это мы знаемъ. Курочка-то еще не снеслась, а ужъ „онъ“ надъ нею стоитъ; норовитъ, какъ бы яичко-то теплепькое къ кабатчику снести!

— Дуры вы, дуры! — кричали на нихъ мужики-горланы:—много вы смыслите! Кабы мы въ кабакъ не ходили, откуда бы казна-матушка деньгами разжилась?

— Казна-матушка сама знаетъ, гдѣ раки зимуютъ,—огрызались бабы:—и безъ васъ, пропойцевъ, довольно найдется! А вы побольше работайте, да бабъ, съ пьяныхъ глазъ, поменьше калѣчьте!

Но находились и такіе, которые говорили: отъ эмпиреевъ и отъ вина—отъ всего отрезвиться не штука; но вотъ штука, что̀ потомъ дѣлать? Трезвому-то на голодный желудокъ, пожалуй, и еще тошнѣе покажется—какъ тогда поступить?

Въ виду этихъ разногласій всякъ началъ предлагать свое. Одни говорили, что надо элеваторы устроить; другіе: устроимъ элеваторы—пойдетъ воровство. Одни говорили: транзитъ закрыть надо; другіе: закроется транзитъ—пойдетъ воровство. Одни говорили: всему причина Финляндія; другіе возражали: тронь Финляндію—пойдетъ воровство! Словомъ сказать, выходило такъ: что̀ ни придумай—вездѣ окажется воровство. Но ни толку, ни убоины не выходило. Наплу-наплу старики угомонили расходившихся горлановъ.

— Уймитесь, атаманы-молодцы! — усовѣщивали они: — того гляди, вы все Пошехонье вверхъ дномъ перевернете! Прежде чѣмъ объ элеваторахъ-то думать, спросите-ка себя: точно ли вы *всѣ* отрезвились? нѣтъ ли еще за кѣмъ блохъ?

Этого же мнѣнія былъ и Скомороховъ.

„Старики наши правы,—писалъ онъ на другой день послѣ приключенія съ Рыжимъ:—хотя отрезвленіе и провозглашается у насъ безспорно-совершившимся фактомъ (не онъ ли, безсовѣстный, нѣсколько дней тому назадъ и провозгласилъ это!), но дѣйствительно ли мы всѣ отрезвились — на это и нынѣ никто, по совѣсти, утвердительно отвѣтить не можетъ. Напротивъ, можно скорѣе ожидать отрицательнаго отвѣта, а вчерашній случай съ Иваномъ Рыжимъ какъ нельзя убѣдительнѣе доказалъ это. Мы не отрицаемъ, что здравый смыслъ пошехонцевъ и на сей разъ восторжествовалъ, но тотъ же

здравый смыслъ долженъ былъ подсказать имъ, что Рыжій не могъ злоумышлять одинъ, безъ пособниковъ и укрывателей, а между тѣмъ гдѣ эти пособники и укрыватели? Мы ихъ не видимъ по той простой причинѣ, что никто ихъ не искалъ. Нѣтъ, господа! одной жертвы недостаточно! Какъ ни прискорбно сознавать, что *общее благо* достигается только цѣною человѣческихъ жертвъ, но такъ какъ историческій опытъ возвелъ это правило на степень аксіомы, то не слѣдуетъ уже останавливаться ни передъ количествомъ, ни передъ качествомъ жертвъ. Многіе полагаютъ, что принадлежность къ „интеллигенціи“, какъ смѣхотворно называютъ у насъ всякаго неокончившаго курсъ недоумка, обезпечиваетъ отъ изслѣдованія, но это теорія несправедливая. Это теорія, отживающая свой вѣкъ и совершенно непримѣнимая въ такомъ глубоко-демократическомъ обществѣ, какъ пошехонское. У насъ исключеніе въ этомъ смыслѣ могутъ составлять лишь тѣ „особливо отмѣченные“, которыхъ имена слишкомъ неразрывно связаны съ историческими судьбами Пошехонья, или же тѣ, кои постояннымъ трудомъ и отличными способностями пріобрѣли выдающіяся по своимъ размѣрамъ матеріальныя средства. Но и эти исключенія допускаются единственно потому, что описанныя выше качества заключаютъ сами въ себѣ достаточный залогъ благонадежности. Затѣмъ *всѣ*. богатые и бѣдные, знатные и незнатные, интеллигентные и неинтеллигентные, *всѣ* должны подлежать изслѣдованію. И чѣмъ больше приведетъ за собой это изслѣдованіе искупительныхъ жертвъ, тѣмъ дѣйствительнѣе будутъ результаты“.

Почитавши эту передовицу, сильнѣйшіе изъ горлановъ сейчасъ же пристроились къ сонму „особливо отмѣченныхъ“ и затѣмъ устранили себя отъ дальнѣйшихъ хлопотъ по части отрезвленія. Истязывать же и истреблять другъ друга остались горланы средніе да та безъимянная „горечь“, которою кишѣли пошехонскіе пригороды и солдатскія слободки.

Поэтому третье пошехонское вѣче, состоявшееся у калапчи, было уже далеко не столь блестяще, какъ два предыдущія. Собралась по преимуществу рвань и дрань. Обманутые насчетъ плодотворныхъ послѣдствій вчерашней расправы съ Иваномъ Рыжимъ, оставленные Мазилкою и нездерживаемые „особливо отмѣченными“ людьми, пошехонцы всецѣло поддались злобнымъ внушеніямъ Скоморохова, который, какъ и наканунѣ, гоголемъ мелькалъ во всѣхъ мѣстахъ и съ

нѣной у рта взывалъ къ отмщенію. Онъ самъ не отдавалъ себѣ отчета, во имя чего онъ взываетъ, но чувствовалъ, что по мѣрѣ того, какъ съ его языка срываются проникнутыя ядомъ слова, сердце его все больше и больше лютѣетъ. И сердце у него было порожнее. и умъ подобный упраздненной храминѣ, такъ что лютость во всякое время отыскивала въ нихъ свободное убѣжище и оттуда управляла всѣми его дѣйствіями.

Прислушиваясь къ его рѣчамъ, пошехонцы и съ своей стороны постепенно лютѣли. О вчерашней боязни взаимнаго самообличенія не было уже и рѣчи; напротивъ того, какая-то беззавѣтная смѣлость овладѣла всѣми умами. Казалось, всѣ понимали, что конецъ неизбѣженъ, и что ежели послѣ этого „конца“ уцѣлѣютъ лишь немногіе, за то у этихъ немногихъ будутъ и элеваторы, и транзитъ, и щи съ убоиной.

Нѣкоторое время въ толпѣ раздавалось только глухое рокотаніе, но наконецъ атаманы-молодцы не выдержали и заговорили всѣ разомъ. Сначала раздались праздныя слова, потомъ пошли въ ходъ лжесвидѣтельства, а затѣмъ загремѣла и клевета. Клевета и по головамъ шла, и по землѣ ползла, и по-собачьи лаяла, и по-змѣиному шипѣла, настигая и уязвляя всякаго. кого по пути заставала врасплохъ. И по мѣрѣ того, какъ она разливала свой ядъ, толпа убывала и рѣдѣла. Но не въ бѣгствѣ обрѣтали пошехонцы спасеніе отъ нея, а на мѣстѣ таяли.

Явленіе это было такъ поразительно, что не могло не обратить на себя вниманія Мазилки. Замѣтивъ, что ревизскія души невѣдомо куда исчезаютъ, онъ совершенно основательно встревожился, встрѣтившись лицомъ къ лицу съ вопросомъ: ежели людишки другъ друга перебьютъ безъ остатка, кто же будетъ чинить исполненіе по окладнымъ листамъ?

— А вы бы не всяко лыко въ строку, атаманы-молодцы!— крикнулъ онъ съ вышки каланчи:—пошипятили другъ дружку—и будетъ! Прочее можно и простить!

Въ третій разъ ворота съѣзжаго дома заскрипѣли и въ третій разъ обильная струя воды окатила расходившихся вѣчевыхъ людей.

Хоронили Ивана Рыжаго. Четыре мужика, съ бѣлыми новинами черезъ плечо, черезъ весь городъ несли къ кладбищу сосновую де-

мовину, въ которой лежала жертва фантастическаго пошехонскаго отрезвленія. Сначала за гробомъ шла только молодая вдова Рыжаго съ сиротами, но по мѣрѣ того, какъ погребальное шествіе подвигалось къ центру города, толпа за гробомъ росла и густѣла. Рыжій женился всего пять лѣтъ тому назадъ, но имѣлъ уже четырехъ дѣтей и былъ въ семьѣ единственный добытчикъ. Вдова его, красивая и кроткая женщина, въ одночасье потеряла и мужа, и кормильца. Она усиливалась не плакать, но слезы сами собой лились изъ ея глазъ; она сдерживала рыданія, но тяжкіе, задушенные вопли сами собой вырывались у нея изъ груди. Она, очевидно, изнемогала отъ горя и боли, но такъ какъ ношàтые шли шибко, то и она спѣшила за ними, спотыкаясь и неся въ одной рукѣ полуторагодового ребенка, а другою рукой волоча за руку трехлѣтнюю дѣвочку, которая съ трудомъ поспѣвала за нею (грудной ребенокъ оставленъ былъ дома подъ надзоромъ старшей сестрёнки).

Зрѣлище было необыкновенно унылое и само по себѣ, и по обстановкѣ. Осеннее небо, отягченное сѣрыми облаками, такъ низко опустилось надъ городомъ, что, казалось, собиралось его задавить. Изъ облаковъ сѣялся мелкій, но спорый дождь; на встрѣчу шествію дулъ холодный вѣтеръ, который крутилъ и захлестывалъ старенькій покровъ, лежавшій на домовинѣ. Толпа шла за гробомъ угрюмая и сосредоточенно-безмолвная. Только „особливо отмѣченные“ люди не присоединялись къ кортежу, но и они выходили изъ домовъ и набожно крестились. Мазилка, съ своей стороны, почтилъ память умершаго тѣмъ, что вышелъ на площадь во главѣ пожарныхъ и сдѣлалъ шествію подъ козырекъ.

Сознавала ли толпа въ эти скорбныя минуты, что смерть Рыжаго — дѣло ея рукъ, анализировала ли она этотъ фактъ, мелкалъ ли передъ нею призракъ потрясенной совѣсти — для нея самой эти вопросы были загадкой. Скорѣе всего она чувствовала себя подъ гнетомъ безотчетной и безъисходной тоски, которая захватила ее всю, со всѣхъ сторонъ, которая истребила въ ней мысль, забила воображеніе. Вчера, подъ наитіемъ тоски, температура ея поднялась до истерическаго бѣшенства; сегодня то же самое наитіе разрѣшилось упадкомъ духа, уныніемъ, безсиліемъ. И чтó всего важнѣе — толпа даже не искала въ самой себѣ помощи противъ удручающаго ее чувства, а только

безпокойно озиралась, какъ будто желая засвидѣтельствовать, что ее насквозь пронизала какая-то безъимянная боль.

Когда шествіе достигло кладбища, церковная ограда едва могла вмѣстить толпу. День былъ будній, и потому обѣдни не пѣли; гробъ прямо поставили у края свѣже-вырытой могилы. Началось отпѣваніе, и когда клиръ запѣлъ: „Со святыми упокой“, — вся толпа, словно послушное эхо, повторяла за клиромъ щемящій душу напѣвъ. Во многихъ мѣстахъ раздались истерическія рыданія и крики, которые въ конецъ истерзали сердца. Что-то громадное вдругъ поднялось отъ земли вокругъ этого бѣднаго гроба, словно сама земля вопіяла о ниспосланіи невѣдомаго чуда...

И чудо совершилось: незамѣтное существованіе заурядnаго пошехонскаго обывателя нашло для себя апоѳеозъ—въ формѣ трупа.

Наконецъ замолкъ послѣдній звукъ, и толпа медленно сплыла съ кладбища...

III.

КРУГЛЫЙ ГОДЪ

[1879 г.]

Первое января.

Въ новый годъ, разумѣется, пришелъ ко мнѣ племянникъ. Молодой человѣкъ лѣтъ двадцати-четырехъ, по преспособный. У меня только въ новый годъ да на Пасху и бываетъ.

— Съ новымъ годомъ, дяденька.

— Съ новымъ счастьемъ тебя. Вареньица не прикажать ли подать?

— Помилуйте, дядя, я въ это время водку пью (былъ третій часъ въ исходѣ).

— Водку? а ежели маменька узнаетъ?

— Она уже пять лѣтъ это знаетъ.

— Ну, водки такъ водки. А ежели водку пьешь, такъ, стало быть, и куришь. Вотъ тебѣ сигара. Разсказывай, что хорошаго? съ визитами кончилъ?

— Съ нужными—да; еще два-три не особенно важныхъ осталось—тѣ передъ обѣдомъ додѣлать успѣю. А что-жъ вы, mon oncle, не поздравляете меня?

— Не знаю съ чѣмъ, оттого и не поздравляю.

— Conseiller de collége—сегодня и въ приказахъ ужъ есть.

— Вотъ какъ! Это прекрасно! Поздравляю, поздравляю, мой другъ! Маменьку-то увѣдомилъ ли?

— Сегодня въ девять часовъ утра въ Ниццу телеграфировалъ, и сейчасъ заѣзжалъ домой—ужъ отвѣтъ полученъ. Вотъ и телеграмма.

Онъ подалъ листокъ, на которомъ я прочиталъ:

„Pétersb. Znamenskaïa, 11.
„Néougodoff.

„Suis toute fière bénis conseiller collége Vendez Russie vendez vite argent envoyez Suis à sec

„*Nathalie*“.

— Однако какъ же это: „Vendez Russie, vendez vite“ и „argent envoyez“ — что̀ это значитъ? Неужто ужъ такъ деньги занадобились?—въ недоумѣніи остановился я.

— Очень просто: есть у насъ пустошь Рускина—вотъ ее и надлежитъ продать. А на телеграфѣ переврали: Russie.

— Гм... какая, однакожъ, можно сказать, провиденціальная ошибка! Такъ вы Рускину-то продаете?

— Мы, дяденька, ужъ третью пустошь продаемъ съ тѣхъ поръ какъ maman въ Ниццу уѣхала. Она пишетъ, что пустоши—лишнее, только фигуру имѣнія портятъ.

— То-есть, какъ тебѣ сказать?.. Конечно, пустоши—это въ родѣ бородавки... Бываютъ, однако, и бородавки... А впрочемъ и то сказать: много денегъ въ Ниццѣ надо, особливо ежели кто въ Монте Карло ѣздитъ. Только какъ бы послѣ Рускиной-то и до Монрепо Nathalie не добралась!

— Никогда не допущу! Тамъ прахъ моего отца! Вы забываете это, mon oncle!

— То-то, ужъ попридержитесь. Стало быть, Nathalie тобой довольна? „Suis toute fière“—вотъ они материнскія-то чувства! Цѣни ихъ, другъ мой! Vendez Russie, vendez vite... фу! Да впрочемъ какая бы мать и не загордилась на мѣстѣ Nathalie: въ твои лѣта—и ужъ почти фельдмаршалъ!

— Ну, до фельдмаршаловъ-то далеко!

— Нѣтъ, не очень. Посчитай-ка. Черезъ годъ, положимъ, статскій совѣтникъ...

— Черезъ годъ... impossible, mon oncle!

Ѳеденька скромничалъ; но я очень хорошо видѣлъ, что внутренно онъ вполнѣ одобряетъ мои предположенія, и потому продолжалъ:

— Черезъ два года—дѣйствительный, потомъ тайный, потомъ трещина вдоль черепа... фу! что̀ это, однакожъ, какой я вздоръ говорю! Нѣтъ, право, совсѣмъ не такъ далеко, какъ кажется съ перваго взгляда! Ну, да будущее въ рукѣ Божіей... Теперь-то ты какъ? доволенъ?

— Еще бы! самъ генералъ давеча, на общемъ представленіи, объявилъ. Подошелъ, поздравилъ и сказалъ: „если и на будущее время будете такъ продолжать, то“...

Ѳеденька остановился.

— Ну?

— И только — что̀-жъ больше! затѣмъ перешелъ къ слѣдующему—и ему тоже...

— Ну, вотъ видишь! Стало быть, статскій-то совѣтникъ ужъ и теперь подразумѣвается. Продолжай, душа моя, старайся! И маменькѣ утѣшеніе, да и я, дядя-старикъ, на тебя глядючи, порадуюсь!

И, какъ истинный старикъ, я не утерпѣлъ и воскликнулъ:

— Господи! давно ли! Давно ли, кажется, я отъ купели тебя воспринималъ!

— Ровно двацать-четыре года тому назадъ.

— Какъ время-то бѣжитъ! Словно вотъ сейчасъ слышу голосъ Nathalie изъ-за двери: „ради Бога, Michel, не урони его! ты такой неловкій!“

— Не уронили однако?

— Богъ спасъ! А знаешь ли впрочемъ что̀! вѣдь иногда вашего брата, изъ нынѣшнихъ, право, недурно было бы въ младенческихъ лѣтахъ съ умѣренной высоты уронить!

— Это за что̀?

— Да бойки вы очень. Мечетесь, скачете, куски ловите— сколько вы народу передавите! Ну, да что̀ говорить объ этомъ! Дай-ко лучше я полюбуюсь на тебя.

Я приподнялъ его съ кресла за руки, поставилъ передъ собой и повернулъ кругомъ.

— Безъ отмѣтинъ! Ноги крѣпкія, безъ подсѣдовъ, грудь широкая, крупъ какъ печь, и при этомъ — селезенка играетъ!.. молодецъ! Дамочки-то, я полагаю, видѣть равнодушно не могутъ! Особливо, какъ теперь узнаютъ, что такой милушка — и почти фельдмаршалъ! Вѣдь ты, разумѣется, и въ благотворительныхъ обществахъ служишь?

— Безъ этого, дядя, нельзя. Въ двухъ обществахъ секретаремъ, въ трехъ—членомъ-соревнователемъ.

— Знаешь, значитъ, гдѣ раки зимуютъ?

— Не безъ того. Да вѣдь и вы, дядя, я полагаю, въ свое время по части „дамочекъ“ спуску не давали?

— Гдѣ намъ, другъ мой! Въ наше время вѣдь и „дамочекъ“-то не было. Бывали, да все Юноны; сидитъ она, бывало, въ оперѣ, въ бель-этажѣ, словно царевна въ окладѣ, да пастильки жуетъ—ну, и

любуйся на нее снизу. А теперь пошли маленькія, юркопькія... интересны онѣ?

— Масло!

— Ну и слава Богу. Только вотъ говорятъ онѣ много... все говорятъ! все говорятъ! Этого тоже въ наше время не было. Вообще въ наше время для тѣхъ, кто не состоялъ по кавалеріи или не обладалъ громкимъ титуломъ, плохо по женской части было. Только два ресурса и существовало: Кессениxъ да Марцинкевичъ. Тамъ, дѣйствительно, встрѣчались „дамочки“, но тѣ не разговаривали. Опо, съ одной стороны, конечно, недостатокъ словесности, но съ другой стороны... Ну, дай тебѣ Богъ! дай Богъ!

Я обнялъ его и поцѣловалъ. Но потомъ опять не выдержалъ и удивился.

— Да вѣдь ты едва школьную скамью оставилъ! Ахъ!

— Пять лѣтъ ужъ, дяденька.

— Неужто ужъ пять лѣтъ?

— Даже немного больше. Нѣтъ, вы вотъ кому подивитесь— Самогитскому! Всего на одинъ курсъ старше меня, а на дняхъ ужъ въ Погорѣловъ посланъ!

— Вотъ, я думаю, чья маменька-то не нарадуется!

— У него, mon oncle, нѣтъ настоящей маменьки. То-есть, коли хотите, она есть, но... vous concevez? Онъ - сирота, но сирота, такъ сказать... государственный!

— Гм... понимаю! Эти сироты всегда... Это, дружокъ, и въ мое время случалось. Служишь, бывало, служишь, только-что мѣстечко для себя облюбуешь—и вдругъ тебѣ на голову... „сирота“!

— Такъ и вы, значитъ, знакомы съ этими разочарованіями?

— Я, голубчикъ, все знаю. Я и славы видѣлъ, и срамоты видѣлъ—все у меня на глазахъ прошло! Ты спроси, чего я только не видалъ!

— Да, говорятъ, интересныя у васъ воспоминанія есть.

— Есть-таки. Бывали интересныя вещи и въ наше время, но полагаю, что теперь ихъ вдвое больше, и еслибъ ты, напримѣръ, наблюдалъ, то навѣрное всякаго изъ насъ, стариковъ, за поясъ бы заткнулъ.

— Почему же вы такъ думаете?

— Да просто потому, что въ наше время жизнь какъ-то ровнѣе

шла, стало быть и интереснаго въ ней сравнительно меньше было. Подкладкой-то ей, положимъ, служили тѣ же самыя непредвидѣнность и неприкрытость, что̀ и теперь; но люди, которые пользовались этой подкладкой, были солиднѣе. Они понимали, что извѣстныя жизненныя условія для нихъ выгодны, и пользовались ими, какъ могли; но они не дразнились, не утверждали во всеуслышаніе, что это тѣ самыя условія, лучше которыхъ нѣтъ и не будетъ. Они знали, что такого тезиса нельзя приличнымъ образомъ поддержать и что болтливость и хвастовство могутъ только компрометтировать, но никакъ не защищать. Поэтому въ наше время была строгость, но не было ненависти; бывали дѣйствія суровыя, неумолимыя, но не было вывертовъ, презрѣнія и наглости. Мрачно было, мой другъ, въ наше время, но хоть тѣмъ хорошо, что „интересу“ подлаго не такъ много было. Живешь-живешь, бывало, „въ объятьяхъ сладкой тишины“ — и ничего-то бьющаго въ глаза! И только когда-когда что-то шевельнется. Герой вдругъ появится, который одинъ цѣлую армію полицейскихъ разобьетъ, или такой ужъ мерзавецъ, что даже прочіе мерзавцы — и тѣ удивляются, какъ его земля носитъ. Ну, разумѣется, интересно: возьмешь и запишешь.

— Такъ, значитъ, по вашему, нынѣче интересныхъ вещей больше?

— Больше, мой другъ.

— Представьте, я этого никогда не замѣчалъ!

— И не замѣтишь, потому что ты самъ среди этой суматохи живешь. А вотъ если, по обстоятельствамъ, придется тебѣ отъ фельдмаршальства-то отказаться да къ сторонкѣ отойти — вотъ тогда всѣ эти интересности сами собой и всплывутъ. Будетъ объ чемъ и дѣтямъ, и внукамъ поразсказать.

— Не знаю. Это для меня совсѣмъ ново. Во всякомъ случаѣ, я думалъ и продолжаю думать, что никогда мы не пользовались такой свободой, какъ теперь, и что въ этомъ отношеніи по крайней мѣрѣ шагъ впередъ, сдѣланный нами...

— Свободно-то даже очень свободно — помилуй, развѣ я не знаю! Но непредвидѣнность... ахъ, эта непредвидѣнность! Представь себѣ, вотъ я старъ-старъ, а все-таки меня ежечасно какая-то оторопь беретъ. Ходишь иногда одинъ и думаешь: вольно мнѣ теперь, на что̀ вольнѣе! Что̀ хочу, то̀ дѣлаю! И въ десятую долю никогда такъ

свободно не дышала моя грудь, какъ дышетъ нынче! И вдругъ—какая-то непріятная дрожь. А что, дескать, коли, по обстоятельствамъ, придется вверхъ ногами ходить?

— Но вѣдь это пустяки, mon oncle! вы очень хорошо понимаете, что пустяки!

— Понимать-то понимаю, а все-таки...

— Все-таки боитесь... пустяковъ!

— Клянусь, боюсь. Никогда этого со мной не бывало, даже при Биронѣ не было—вотъ, братъ, какъ я давно живу!—а нынче, какъ спать ложиться иду, непремѣнно объ двери и на парадную лѣстницу, и на черную осмотрю: крѣпко ли заперты? И почью не разъ встанешь—послушаешь.

— Что-жъ, привидѣній вы, что-ли, боитесь?

— Нѣтъ, не привидѣній, а вообще... „Интереснаго“ боюсь. Думаешь иногда: что ужъ во мнѣ! кажется, только и корысти, что заборы мной подпирать—а все-таки боишься!

— Ну, нѣтъ, не скромничайте! не говорите, что вами только заборы подпирать! Слыхали мы тоже про васъ, слыхали-таки!

Ѳеденька сказалъ это очевидно шутя, однакожъ я все-таки обезпокоился.

— Вотъ видишь, и ты слышалъ—а я ничего не знаю. Почти ни съ кѣмъ я не вижусь, а если и вижусь, то съ такими же калѣками, какъ я самъ; даже водку совсѣмъ пересталъ пить, а все-таки чувства опасенія не утратилъ!

— А я и вижусь со всѣми, и вино и водку пью—и ничего не боюсь.

— Во-первыхъ, ты кандидатъ въ фельдмаршалы—не тебѣ, а тебя бояться приличествуетъ. Во-вторыхъ, ты безстрашный. Вы всѣ, нынѣшніе, безстрашные. Въ васъ совсѣмъ нѣтъ чувства отвѣтственности, а мы, старики, были снабжены имъ въ излишествѣ.

— Но какое же тутъ чувство отвѣтственности, коли вы даже водки не пьете?

— Все-таки. Вспомни, что я вскормленъ непредвидѣнностью, и слѣдовательно ни на минуту не имѣю права позабыть объ ней. Придетъ она, спроситъ—я долженъ виниться! Въ чемъ виниться—я, положимъ, не знаю, но обстановку виноватости все-таки представить обязанъ.

— Однако напуганы-таки вы!

— Не напуганъ, а смолоду привыкъ понимать, что въ семъ мѣстѣ не пахнетъ розами. Вотъ эту-то самую остроту обонянія я и называю чувствомъ отвѣтственности. Безъ хвастовства и не въ укоръ тебѣ, но я все-таки долженъ сказать: мы, старики, умнѣе васъ держали себя.

— Ого!

— Да, умнѣе,—право, это такъ. Не всѣ срамоты наружу вываливали, а кое-что и для внутреннихъ аппартаментовъ приберегали. И не стыдъ руководилъ нами въ этомъ случаѣ, а именно чувство отвѣтственности, опасеніе компрометтировать и себя, и присныхъ своихъ. Ужъ это развѣ оглашенные какіе хвастались: я, молъ, такого-то объегорилъ, а такого-то и совсѣмъ по́ міру пустилъ; мудрый же, бывало, сядетъ потихоньку въ уголокъ, да и прикладываетъ рублику къ рублику. А на старости лѣтъ, глядишь, онъ либо въ масоны поступилъ, либо псалмы въ стихи перекладываетъ. Такъ-то, мой другъ. И гадость свою выполнилъ, да и окрестностей вонью не отравилъ — вотъ наша мудрость была какова!

— Къ счастью, что въ наше время ни „оглашенныхъ“, ни „мудрыхъ“—одинаково нѣтъ.

— „Мудрыхъ“ нѣтъ—это правда: но „оглашенныхъ“—хоть прудъ пруди. И, притомъ, живущихъ со дня на день, непредусмотрительныхъ, безъ надобности тщеславныхъ и безъ надобности же пресмыкающихся, не понимающихъ, что всякій поступокъ долженъ имѣть свою причину и свой результатъ...

— Дядя! вѣдь это наконецъ обидно!

— Да, это обидно. До такой степени обидно, что даже самая бесѣда объ этомъ раздражаетъ. Но представь себѣ: есть вещи, до такой степени неразрывныя съ человѣческимъ существованіемъ, что какъ ни отмахивайся отъ нихъ, онѣ такъ и наступаютъ, такъ и наступаютъ на тебя. Вотъ я совсѣмъ ужъ, кажется, отгородился отъ жизни, да, къ несчастью, къ газетамъ привычки не могу побороть. Получаю, братецъ, читаю. Иной разъ прямо тебя по затылку ударитъ, а другой разъ хоть и ничего нѣтъ въ газетѣ—опять обида: почему *ничего* нѣтъ? Не можетъ быть, чтобъ *ничего* не было! Обида, обида, обида! Можетъ быть, на дѣлѣ и нѣтъ этой обиды, да внутри у тебя непроглядная масса обидъ сидитъ. Тревожатъ, дразнятъ, досаждаютъ,

Перечти-ка ты эти обиды, посчитай-ка ихъ въ тиши уединенія— вотъ и поймешь, почему иногда скучно на свѣтѣ жить.

— Вольно же вамъ!

— Обиды-то глотать? Нѣтъ, иногда даже полезно пріучаться къ этому глотанью, потому что обида, рано или поздно, все-таки придетъ. И ежели ты къ этому не привыкъ, а умѣешь глотать только устрицы, то обида у тебя поперекъ горла встанетъ, задушитъ. А меня не задушитъ, потому что я привыкъ. Впрочемъ, будетъ объ этомъ, обратимся лучше къ тебѣ. Ну, фельдмаршалъ, сказывай: планы у тебя въ головкѣ, чай, такъ кишмя и кипятъ?

— Какіе же планы, mon oncle? и что можетъ мнѣ предстоять?

— Нѣтъ, тебѣ предстоитъ... я это чувствую, что тебѣ „предстоитъ“! Можетъ быть, одинъ „сирота“ мимо проскочитъ, а все-таки ты тамъ будешь, гдѣ тебѣ природой указано. Вотъ почему я тебѣ, какъ дядя и другъ, говорю: не зарывай въ землю своихъ талантовъ, но культивируй ихъ!

— Но вѣдь ежели вспомнить то, что вы сейчасъ говорили объ этихъ талантахъ, такъ, пожалуй, не культивировать, а именно зарыть ихъ скорѣе придется.

— Гм... пожалуй, что и такъ. Въ такомъ случаѣ, зарой эти таланты и очисти мѣсто для другихъ. Надо тебѣ сказать, что талантъ самъ по себѣ безцвѣтенъ и пріобрѣтаетъ окраску только въ примѣненіи. Какого рода положительныя примѣненія ты можешь дать своимъ талантамъ—это, къ сожалѣнію, объяснить трудно. Но отъ какого рода примѣненій полезно было бы тебѣ воздержаться—это я, пожалуй, могу сказать.

Ѳеденька съ чуть-замѣтной усмѣшкой взглянулъ на меня и процѣдилъ сквозь зубы:

— Напримѣръ?

— Вижу я, вижу, мой другъ, что болтливость моя забавляетъ тебя. И знаю, что тебѣ нужно только „провести время“ съ старымъ дядей, въ ожиданіи тѣхъ визитовъ, которыхъ ты еще не успѣлъ додѣлать...

— Что за мысль, mon oncle!

— Ничего: позабавься—мнѣ и самому пріятно, ежели тебѣ весело. Начну съ воспоминаній прошлаго. Былъ во времена оны у насъ государственный человѣкъ—не изъ остзейскихъ, а изъ настоящихъ

нѣмцевъ — человѣкъ замѣчательнаго ума и, сверхъ того, пользовавшійся репутаціей несомнѣннаго безкорыстія. Тѣмъ не менѣе даже въ то время нигдѣ такъ не было распространено взяточничество, какъ въ томъ обширномъ вѣдомствѣ, которымъ онъ управлялъ. Такъ вотъ онъ, когда случалось ему отправлять кого-нибудь на мѣсто въ губернію, всегда слѣдующимъ образомъ напутствовалъ отъѣзжающаго: „Удивляюсь,—говорилъ онъ,—какъ вы, русскіе, такъ мало любите свое отечество! какъ только получаете возможность, такъ сейчасъ же начинаете грабить! Воздержитесь, мой другъ! пожалѣйте свое отечество и не столь ужъ быстро обогащайтесь, какъ это дѣлаютъ нѣкоторые изъ вашихъ товарищей!“

— Надѣюсь, однако, mon oncle, что ваша притча до меня не относится?

— Конечно, душа моя, въ буквальномъ смыслѣ она ни до тебя и даже ни до кого изъ „нынѣшнихъ“ карьеристовъ относиться не можетъ. Но транспортировать ее все-таки можно. Напримѣръ, сказать такъ: удивляюсь я, какъ вы, нынѣшніе, такъ мало любите свое отечество! какъ только почувствуете силу, такъ тотчасъ же начинаете дразниться. Воздержитесь, друзья! пожалѣйте свое отечество и не столь уже беззавѣтно поддавайтесь внушеніямъ бойкости, кои вамъ пользы ни на грошъ не принесутъ, а на общій ходъ дѣлъ между тѣмъ могутъ оказать вліяніе несомнѣнно вредное!

Я остановился и взглянулъ на Ѳеденьку: онъ очень внимательно чистилъ ножичкомъ ногти.

— Гм... а какъ вы полагаете, дядя,—сказалъ онъ послѣ минутнаго молчанія:—вашъ ископаемый государственный человѣкъ... достигъ онъ своими наставленіями какихъ-нибудь результатовъ?

— О, разумѣется, нѣтъ! всеконечно, нѣтъ! всеконечно, всеконечно, нѣтъ!

— Ну, а вы... вашими... какъ вы полагаете? достигнете?

Онъ сказалъ это такъ мило и при этомъ смотрѣлъ такъ ясно, улыбался такъ ласково, что я невольно взялъ его двумя перстами за подбородокъ и минуты съ двѣ молча любовался имъ.

Затѣмъ мы поцѣловались, вновь пожелали другъ другу счастливаго года, и Ѳеденька отправился додѣлывать визиты.

Первое февраля.

Хотя бесѣда между мною и Ѳеденькой происходила въ шуточномъ тонѣ, но небрежность, съ которою онъ отнесся къ моимъ совѣтамъ, не могла не огорчить меня. Основательно или неосновательно, но я не изъятъ нѣкоторыхъ опасеній. Боюсь я этихъ бойкихъ молодыхъ людей, которые ради карьеры готовы отречься отъ отца и матери, которые, такъ сказать, едва вышедши изъ пеленокъ, уже потрясаютъ указательнымъ перстомъ, какъ бы угрожая невидимому врагу: вотъ я тебя! Что вызываетъ эти угрозы? какое чувство руководитъ этими юношами, этими неоперившимися птенцами въ то время, когда они направо и налѣво сверкаютъ зрачками глазъ? Ненавидятъ ли они свое отечество (вѣдь, собственно говоря, они ему-то и грозятъ), или просто-напросто не понимаютъ, что это за штука, которая называется отечествомъ?

Предположенія о ненависти я не допускаю. Во-первыхъ, это чувство слишкомъ тяжеловѣсное для этихъ легкихъ сердецъ; во-вторыхъ, можно ненавидѣть лишь то, что гнететъ, сковываетъ, отравляетъ существованіе; но какого же рода отравы можетъ испытывать, напримѣръ, Ѳеденька? Помилуйте! онъ, не размышляючи, живетъ себѣ на всемъ на готовомъ, въ прошлое заглянуть не любопытствуетъ, въ настоящее не вникаетъ, а въ будущемъ—видитъ только отрады...

Скорѣе всего, это люди неразвитые, выучившіе въ школѣ свои тощія тетрадки, не обращая вниманія на ихъ смыслъ, и потому даже не понимающіе, по чьему адресу они посылаютъ свои угрозы. Слово: „отечество“ не смущаетъ ихъ, потому что они не имѣютъ ни малѣйшаго представленія о той безконечно-разнообразной массѣ интересовъ и отношеній, которые оно собою захватываетъ. Они думаютъ, что это слово потому только небезполезное, что оно похвально звучитъ, въ парадныхъ случаяхъ, въ ушахъ начальства. Сверхъ того, они знаютъ изъ хрестоматій: „à tous les coeurs bien nés que la patrie est chère“... И только.

Наболѣе дальновидные изъ нихъ (тѣ, которые разсчитываютъ на солидныя карьеры, гдѣ упоминовеніе объ отечествѣ придаетъ человѣку извѣстную серьезность) позволяютъ себѣ иногда щегольнуть этимъ словомъ даже запросто, между своими; но щегольство это, съ

перваго же взгляда, поражаетъ своею внезапностью, искусственностью и скоротечностью. Сидитъ, напримѣръ, Ѳеденька за тонкимъ обѣдомъ у Бореля, сквернословитъ насчетъ предстоящихъ ему карьеръ, и дабы дать собравшимся собутыльникамъ понятіе о своей солидности (онъ на дняхъ ждетъ мѣста, гдѣ безъ солидности обойтись нельзя), вдругъ, ни съ того, ни съ сего, прерываетъ сквернословіе восклицаніемъ:

— Causons un peu de la patrie, messieurs! Ah! la patrie... c'est sacré!

Всѣ на мгновеніе умолкаютъ; многіе завидуютъ: гм... должно быть, ему и въ самомъ дѣлѣ обѣщано! Но именно только на мгновеніе, потому что среди этого минутнаго смятенія вдругъ раздается голосъ какого-нибудь приблуднаго Жоржиньки:

— Rien n'est sacrrrrré pour un sapeurrrrrre...

И всѣ опять повеселѣли, словно отъ кошмара освободились. Самъ Ѳеденька не въ силахъ дольше держаться на высотѣ своей серьезности и ласково цѣдитъ сквозь зубы: „шутъ!“ „Отечество“ исчезаетъ, словно сквозь землю проваливается, и веселое сквернословіе вновь вступаетъ въ свои права. Не ясно ли, что это слово, даже въ облагороженной формѣ: „la patrie“, слишкомъ громоздко для этихъ людей?

Да, это совсѣмъ не жестокій, а именно только легкій и до невмѣняемости неразвитый народъ?

Тѣмъ не менѣе, не понимая, что слѣдуетъ разумѣть подъ словомъ „отечество“ и какія обязанности послѣднее налагаетъ на дѣтей своихъ, молодые карьеристы въ то же время отлично понимаютъ, во-первыхъ, что доходы и оклады, съ помощью которыхъ они прожигаютъ жизнь, получаются ими въ отечествѣ, и, во-вторыхъ, что нигдѣ, кромѣ отечества, имъ не суждено удовлетворить той потребности молодечества, которая, за отсутствіемъ знаній и привычки размышлять, преслѣдуетъ ихъ на всякомъ мѣстѣ. Въ этомъ смыслѣ и имъ, разумѣется, не чужда идея „отечества“, но какого отечества?—того, которое все стерпитъ, да вдобавокъ еще и денегъ дастъ. Сильные этимъ соображеніемъ и зная, что практика не особенно-таки противорѣчитъ ему, эти люди видятъ въ отечествѣ нѣчто фаталистически имъ подчиненное, обязанное повиноваться и быть твердымъ въ бѣдствіяхъ. Поэтому они относятся къ нему безъ церемоній, а иногда и съ тѣмъ капризнымъ нетерпѣніемъ, съ которымъ, при крѣпостномъ правѣ, нѣкоторые не совсѣмъ умные помѣщики относились къ мужику,

Выжавши изъ него весь сокъ и замѣчая, что онъ ужъ не выдѣляетъ изъ себя новаго сока, они усматривали въ этомъ не произволеніе природы, положившей предѣлъ выдѣленію соковъ, даже мужицкихъ, но мужицкую интригу, фактъ злонамѣренной утайки принадлежащихъ имъ, помѣщикамъ, даней. И, разумѣется, сердились, сѣкли и ссылали въ Сибирь.

Отечество-пирогъ—вотъ идеалъ, дальше котораго не идутъ эти незрѣлые, но нахальные умы. Мальчики, безъ году недѣлю вылѣзшіе изъ курточекъ и объ томъ только думающіе, какъ бы урвать, укусить... ужели этого зрѣлища не достаточно, чтобы взволновать чувствительныя сердца?

Въ послѣднее время это одностороннее отношеніе къ задачамъ и формамъ предлежащей жизненной дѣятельности, къ сожалѣнію, еще болѣе обострилось. Въ массѣ людей „постороннихъ“, не „провиденціальныхъ“, уже начинаютъ выдѣляться личности, которыя слову „отечество“ придаютъ очень серьезный смыслъ, которыя прямо говорятъ, что отечеству надлежитъ служить, а не жрать его. Сверхъ того, тѣмъ же сознаніемъ серьезности проникается въ значительной степени и современная русская литература. По настоящему этотъ фактъ долженъ былъ бы пробуждать довѣріе, а онъ, напротивъ того, бѣситъ. Бѣситъ, потому что „провиденціальные“ мальчики никакъ не могутъ понять, какъ это *вдругъ* пришло. Откуда взялось мнѣніе, что отечество—не пирогъ, а культъ, дающій очень мало правъ и налагающій очень много обязанностей? Кто это говоритъ? подумайте... КТО это говоритъ? Это говорятъ люди „посторонніе“, которымъ, по настоящему, *до этого и дѣла-то нѣтъ*! И кому они говорятъ это? —тѣмъ, которые и днемъ, и ночью, и въ ресторанахъ, и въ кафе-шантанахъ, всегда готовы продекламировать: „à tous les coeurs bien nés que la patrie est chère!“ Очевидно, что это не спроста, а *нарочно*; что тутъ есть какая-то нертурбація, подрывъ, потрясеніе! И вотъ провиденціальные мальчики чувствуютъ себя оскорбленными и начинаютъ сердиться. Угрозы, имѣвшія дотолѣ оттѣнокъ простой (хотя и халдоватой) неряшливости, пріобрѣтаютъ съ каждымъ днемъ характеръ болѣе и болѣе острый. Глаза горятъ, ноздри раздуваются, изъ устъ бьетъ пѣна... Это у мальчиковъ-то!

Какъ хотите, а это страшно. Цѣлыя массы провиденціальныхъ мальчиковъ каждогодно выбрасываются изъ всевозможныхъ заведеній

на арену жизни... цѣлыя массы съ слюной на устахъ! И это— надежда, это — запасъ, изъ котораго будущему предстоитъ черпать! И каждый членъ этой массы безтрепетно грозитъ перстомъ: „вотъ я васъ!“ Каждый мнитъ, что все, что̀ ни охватитъ его жадный взглядъ —все это не что̀ иное, какъ арена, уготованная для подвиговъ его молодечества, арена, на которой онъ можетъ дразниться, подтягивать, „учить“, утверждать въ вѣрѣ и т. д. Размыслите, сколько путаницъ, смутъ и недоумѣній осуществляютъ въ своемъ лицѣ эти новаго рода сапёры, для которыхъ... rien n'est sacrrrré pour un sapeurrrrre!

И притомъ не простые сапёры, а осложненные предвидѣніемъ какихъ-то препятствій, сапёры, убѣдившіеся, что пирогъ, осуществляемый отечествомъ, нужно не просто ѣсть, а сколь можно ожесточеннѣе рвать зубами, потому что внутри его вмѣсто начинки засѣло скопище неблагонамѣренныхъ элементовъ, которые имѣютъ дерзость утверждать, что отечество есть культъ. Культъ!.. sapristi! à qui le dites-vous!

Забудемъ, однако, о „посторонникъ“ людяхъ; допустимъ, что Россія дѣйствительно—пирогъ, и только пирогъ. Ну, и ѣшьте его. Но ѣшьте же втихомолку, безъ гвалта, не надругаясь надъ божьимъ даромъ, не разбрасывая добра по сторонамъ; ѣшьте, какъ при крѣпостномъ правѣ ѣдали умные ѣдоки, которые отлично понимали, что мужика невыгодно обгладывать до костей. Поѣшьте и сдѣлайте роздыхъ, займитесь пищевареніемъ. Размыслите: чѣмъ спокойнѣе и расчетливѣе вы будете ѣсть, тѣмъ больше у васъ останется ѣды напредки, тѣмъ продолжительнѣе будетъ ваше пиршество. При помощи сноровки, благоразумія и скромности вы даже можете достигнуть совсѣмъ неожиданныхъ результатовъ: покончивши съ однимъ пирогомъ, вы получаете на смѣну другой, третій и т. д. Ужели эта перспектива недостаточно соблазнительна, чтобы ради нея не разстаться съ безплодными угрозами?

Зачѣмъ похваляться какими-то прерогативами? зачѣмъ говорить: „вотъ мы будемъ пирогъ ѣсть, а вы, любезные соотечественники, обязываетесь въ это время смотрѣть въ оба и не пикнуть“? зачѣмъ угрожать, пугать, дразниться? Какая выгода, какое удовольствіе вамъ отъ того, что покуда вы гремите тарелками, соотечественники ваши будутъ въ паническомъ молчаніи таращить на васъ глаза? Не пріятнѣе ли, не во сто разъ веселѣе ли было бы для васъ самихъ, еслибъ эти же самые соотечественники во время вашей трапезы по-

трясали воздухъ криками ликованія, предавались обычнымъ невиннымъ занятіямъ, суетились, ходили взадъ и впередъ, и даже... немножко шумѣли? Сообразите сами: вѣдь это ликованіе, этотъ шумъ—вѣдь это своего рода музыка; это движеніе, эта суета, этотъ вольный аллюръ—своего рода пріятнѣйшій tableau de genre. Недаромъ помѣщики добрые (они же и умные) въ числѣ прочихъ удовольствій, пріятныхъ барскому сердцу, допускали хороводы, игры и вообще всякое невинное, хотя бы и шумное изліяніе мужицкаго веселонравія. Даже скотина—и та въ стадѣ ѣстъ веселѣе, нежели въ одиночку. А притомъ же поймите еще и то, что безъ говору, безъ суеты ничего путнаго нельзя произвести. Вы съѣдите одинъ пирогъ, но вамъ же понадобится и другой—какимъ образомъ состряпаютъ его эти люди, которые до того вами напуганы, что ничего другого не могутъ, кромѣ какъ въ оцѣпенѣніи ожидать, съ которой стороны ихъ хлопнетъ: по затылку или въ лобъ?

Я знаю, вы убѣждены, что все это необходимо для того, чтобы утвердить въ „посторонпихъ людяхъ“ уваженіе къ авторитету. Но понимаете ли вы сами всю непосильность взятой вами на себя задачи? Во-первыхъ, вы очевидно смѣшиваете уваженіе къ авторитету съ испугомъ, потому что хотите утверждать первое механически, а механически утверждается только испугъ. Во-вторыхъ, какъ ни законно желаніе, чтобы авторитетъ былъ окруженъ уваженіемъ, но насколько же можетъ содѣйствовать этому дурная привычка дразниться? Ахъ, это именно дурная и вредная привычка! Дразнясь, вы искажаете собственныя лица, которыя вслѣдствіе этого дѣлаются не только не внушительными, но просто-напросто смѣшными. Дразнясь, вы обращаете вашу мысль преимущественно къ мелочамъ и упускаете изъ вида существенное. Дразнясь, вы больше оскорбляете, пробуждаете въ сердцахъ несравненно бо́льшую массу горечи, нежели даже допуская прямыя жестокости. Увы! вы слишкомъ еще юны, чтобы понимать, какъ безконечно подло положеніе человѣка, который понимаетъ, что его можно безтрепетно дразнить! И какъ въ милліонъ кратъ еще подлѣе положеніе того человѣка, который, пользуясь этою подлостью, все-таки продолжалъ дразниться. Размыслите объ этомъ, молодые люди, размыслите для вашей собственной пользы! Я знаю, что вы не любите думать (считаете „думанье“ источникомъ всякаго зла), но на этотъ разъ сдѣлайте надъ собою усиліе, подумайте! И я увѣренъ, что вы

безъ труда убѣдитесь, что вашими похвальбами, угрозами и подтягиваніями вы не только не утверждаете, но даже прямо компрометтируете, попираете ногами дорогой для васъ принципъ авторитета.

Не могу не разсказать по этому случаю одного происшествія, которому я самъ былъ когда-то свидѣтелемъ. Былъ у меня во времена крѣпостного права знакомый помѣщикъ, человѣкъ не жадный, не жестокій, но на свое горе идейный. Всякія идеи приходили ему въ голову въ часы досуга, и между прочимъ идея объ утвержденіи помѣщичьяго авторитета въ родномъ селѣ Загибаловѣ. Съ чего онъ вдругъ взялъ, что авторитетъ его недостаточно ироченъ — этого я, за давно-прошедшимъ временемъ, не упомню; помню только, что онъ безпрерывно твердилъ: „надо, mon cher, непремѣнно надо это устроить! распущены они! чортъ знаетъ, до чего распущены!“ И еще помню, что распущенность, какъ видно было изъ его словъ, преимущественно заключалась въ томъ, что мужики не особенно строжко относились къ нему, когда онъ проходилъ по селу. А онъ-таки любилъ пройтись гоголемъ по сельской улицѣ, а въ особенности любилъ, чтобы мужикъ издалека увидѣлъ его и, издалека же снявъ шапку, привѣтствовалъ его приближеніе поясным поклономъ.

— Понимаете!—говорилъ онъ мнѣ:—не поклонъ ихъ мнѣ нуженъ, а нужно убѣжденіе, что они сознаютъ свои обязанности относительно меня, что мой авторитетъ, en un mot... vous comprenez?

И вотъ онъ принялся утверждать свой авторитетъ между загибаловскими мужиками или, сказать проще, началъ дразнить мужиковъ. Замѣтитъ мужика, который дѣломъ занятъ, и начнетъ около него гоголемъ похаживать. Пройдетъ разъ мимо; почуетъ мужикъ боярскій духъ, отвѣситъ поясной поклонъ—хорошо; не спохватится—сейчасъ краткое нравоученіе съ иллюстраціями изъ избранныхъ сочиненій по части митрогнозіи. Черезъ минуту, только-что мужикъ углубился въ занятіе—хвать, анъ помѣщикъ опять тутъ какъ тутъ! Опять утвержденіе авторитета, опять раздающееся на все село: го-го-го! И до тѣхъ поръ такъ дѣйствовалъ, покуда облюбованный мужикъ не убѣждался, что нужно выкинуть изъ головы всякую заботу о дѣлѣ, и вмѣсто того стоять выпучивши глаза и выглядывать, не появится ли гдѣ-нибудь баринъ, чтобъ своевременно отвѣсить ему требуемый поклонъ.

Такимъ образомъ онъ перепробовалъ всѣхъ мужиковъ своего

имѣнія, и дѣйствительно добился-таки, что всѣ они выучили глаза. Много было тутъ и комическихъ сценъ, но, право, больше было трагедіи. Авторитетъ былъ насажденъ, но мужицкія хозяйства запустѣли, а вслѣдъ затѣмъ, естественно, послѣдовала задержка и въ барскихъ оброкахъ. Однакожъ, какъ человѣкъ идейный, мой знакомецъ и съ этимъ мирился, лишь бы цѣль его жизни была достигнута. Но вотъ пробилъ грозный часъ, часъ уплаты процентовъ опекунскому совѣту. Ни денегъ, ни цѣнностей не было — все обращено было въ авторитетъ. Разумѣется, село Загибалово было въ непродолжительномъ времени продано съ аукціоннаго торга.

Вы можете, о, молодые карьеристы, вывести изъ этой критики такое поученіе, какое сами заблагоразсудите; я же, съ своей стороны, обязываюсь прибавить одно: что сравненіе съ сейчасъ названнымъ помѣщикомъ не только не унизительно, но даже черезъ-чуръ лестно для васъ. Знакомецъ мой былъ человѣкъ хотя и не умный, но идейный, и въ пользу разъ облюбованной идеи жертвовалъ даже пирогомъ. Вы же, оставаясь неумными, хотите въ одно и то же время и дразниться, и пирогъ за собой сохранить!.. Развѣ это естественно?

И замѣтьте, что вы не платонически только дразнитесь, а прямо являетесь въ жизнь съ твердымъ намѣреніемъ „дѣлать нарочно“. Вы вполнѣ серьезно убѣждены, что воспрославиться можно только поступая наперекоръ, *дѣлая нарочно*. Откуда пришло къ вамъ это убѣжденіе, кто впѣдрилъ его въ васъ—этого я рѣшительно не понимаю. Не думаю, чтобъ это внушили вамъ почтеннѣйшіе ваши родители; не предполагаю также, чтобъ вы почерпали этотъ принципъ въ стѣнахъ „заведеній“, которыя охраняютъ вашу юность, и еще меньше могу допустить, чтобъ вы могли наслышаться объ немъ отъ татаръ Борелева ресторана, гдѣ вы по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ исподволь пріучаетесь прожигать жизнь. И родители, и воспитатели, и Борелевскіе татары виноваты развѣ въ одномъ: что они черезъ-чуръ ужъ любуются вами, черезъ-чуръ желаютъ вамъ успѣховъ, однихъ успѣховъ! Они убѣждены заранѣе, что вы явились въ міръ затѣмъ единственно, чтобы преуспѣвать и дѣлать карьеры. Вы — провиденціальные мальчики, и въ согласность этому и воспитаніе вамъ даютъ провиденціальное же, то-есть безъ участія наукъ, которыя впослѣдствіи могли бы заставить васъ остановиться, задуматься или вообще какъ-нибудь васъ огорчить. Отсюда общая увѣренность.

что вы „достигнете“ — непремѣнно. Но средствъ, къ которымъ вы прибѣгнете, чтобъ воспрославиться, угадать нельзя, потому что они мѣняются сообразно съ условіями времени. Эти средства вы создаете сами. Вы отгадываете, откуда и какимъ вѣтромъ дуетъ; вы видите примѣры вашихъ ближайшихъ сверстниковъ; вы чутко слѣдите за ихъ быстрыми шагами на пути карьеръ и молодечества и, согласно съ этими наблюденіями, совершенно точно опредѣляете, какая въ данномъ случаѣ потребуется доза проворства, бойкости, а пожалуй даже и нахальства. Такимъ образомъ уже въ стѣнахъ школы установляется въ вашихъ понятіяхъ цѣлая традиція, и на основаніи ея образуется извѣстный товарищескій „духъ“. Вотъ этотъ-то именно „духъ“ я и не могу назвать доброкачественнымъ.

„Дѣлать нарочно“, то-есть дѣйствовать наперекоръ общему мнѣнію и здравому смыслу — вещь далеко не новая. И тутъ можно найти очень поучительные прецеденты въ крѣпостной практикѣ. Помѣщики неумные всегда такъ поступали; они заставляли людей дѣлать именно такое дѣло, къ которому послѣдніе совсѣмъ неспособны, и, по какому-то совершенно безумному капризу, отрывали ихъ отъ работы въ такое время, когда работа всего больше необходима. Въ особенности же держались этой системы при распредѣленіи сельскихъ и хозяйственныхъ должностей, стараясь угадать, кто именно, въ качествѣ старосты или прикащика, можетъ быть всего непріятнѣе мужикамъ. Предполагалось... но что̀ именно тутъ предполагалось — этого даже приблизительно понять нельзя. Вѣроятно что-нибудь тоже въ родѣ „утвержденія авторитетовъ“. Но выходила нелыханная безсмыслица и нелыханное страданіе. Безумные люди какъ бы мстили хлѣбу за то, что онъ насыщаетъ ихъ. И мстили систематически, съ серьезнымъ тупоуміемъ, ни на минуту не задумываясь надъ тѣмъ, что могильная тишина, которой они достигали, переполнена проклятіями.

Но мало того, что это вещь не новая — она, сверхъ того, и положительно вредная. Продолжительное практикованіе подобной системы убиваетъ не только тѣхъ, на которыхъ она практикуется, но и тѣхъ, которые практикуютъ ее. Оно дѣлаетъ практикующаго злымъ. О, молодые люди! вы не знаете, какая это трудная задача быть злымъ! Это тягчайшая изъ всѣхъ казней, въ которой соединяется: и отказъ отъ человѣческаго образа, и отрѣшеніе отъ радостей и благъ жизни,

и добровольное самоустраненіе отъ общенія съ живыми людьми. Кто изъ васъ рѣшится этой цѣной купить себѣ славу человѣка, сгибающаго въ бараній рогъ? Взгляните на портреты наиболѣе прославившихся „сгибателей“ — что вы увидите на этихъ угрюмыхъ и озабоченныхъ лицахъ, кромѣ безразсвѣтнаго мрака тоски! Пронеслись они безплоднымъ, изсушающимъ вѣтромъ по лицу земли; разоряли, преслѣдовали по пятамъ, душили и наконецъ сами задохлись въ судорогахъ снѣдавшей ихъ угрюмости! И даже могилы ихъ стоятъ забытыми, потому что всякій спѣшитъ скорѣе пройти мимо, чтобы не вспомнить кошмара, который неразлученъ съ памятью объ нихъ...

Увы! все это еще при жизни было написано на ихъ лицахъ! все, даже предчувствіе забвенія, которое окружитъ ихъ могилы!

Тоска, отчаянье, одиночество, почти одичалость — вотъ старость, которую вы готовите себѣ. Конечно, эта метаморфоза можетъ на первый взглядъ показаться вамъ рискованною и даже смѣшною. Покуда вы еще такіе радостные, проворные, общежительные — трудно даже представить себѣ, чтобы для васъ когда-нибудь наступилъ періодъ тоски и одичалости. Къ сожалѣнію, это не только возможно, но и неизбѣжно. Прикосновеніе къ извѣстной жизненной практикѣ производитъ въ человѣкѣ измѣненія по истинѣ волшебныя. Оно сушитъ жизненные соки; оно разомъ порываетъ тѣ невидимыя нити, которыя связываютъ человѣка съ человѣкомъ; оно отчуждаетъ человѣка, кладетъ на него печать вымороченности. Стало быть, въ сущности васъ ждетъ не перспектива молодечества, а перспектива уныній и медленнаго одинокаго разложенія. Подумайте объ этомъ теперь, когда еще не ушло время, потому что *поздно*, когда въ васъ окончательно притупится способность воспринимать впечатлѣнія, когда вы *привыкнете* — будетъ ужъ поздно. Освоившись съ атмосферой, которая сама собой образуется вокругъ васъ, вы уже не найдете въ себѣ ни силы, ни даже потребности жить внѣ ея.

О, молодые люди! когда вы съ такимъ непзреченнымъ легкомыслiемъ начинаете грозить отечеству: „вотъ я тебя!“ — вы не повѣрите, какъ тяжело бываетъ смотрѣть на васъ! И жалость беретъ, и отвращеніе, и страхъ. Жалость — къ вамъ, отвращеніе — къ вашей неблаговоспитанности, страхъ — за все испуганное, валяющееся въ прахѣ, не имѣющее ни силы придти въ себя, ни смѣлости взглянуть вамъ въ глаза. Но что ужаснѣе всего: вы до такой степени презп-

рaете все, что̀ *не вы*, что ничего не хотите ни слышать, ни видѣть, ни понимать. Все кругомъ предостерегаетъ васъ, а вы все-таки идете напроломъ, грудью впередъ... куда?

Передъ вами лежитъ громадная загадочная масса, и вы полагаете, что ее можно сразу разгадать и опредѣлить одною фразой: „въ бараній рогъ согну!“ Право, такое опредѣленіе слишкомъ просто и коротко, чтобъ быть вѣрнымъ. Хотя это замѣчаніе и чисто внѣшняго свойства, но, повѣрьте, оно имѣетъ свою цѣну. Сложная масса и опредѣленій требуетъ сложныхъ — это аксіома, которую вамъ придется признать при первомъ нѣсколько серьезномъ столкновеніи съ жизнью. А вѣдь отъ этихъ столкновеній и вы не обезпечены, какъ ни беззавѣтно одушевляющее васъ легкомысліе...

. . . . . .

Я знаю, что въ числѣ моихъ читателей очень многіе упрекнутъ меня за выборъ предмета, которому я посвятилъ эти бѣглые очерки. — Что̀ такое эти провиденціальные младенцы? — скажутъ они: — это не больше, какъ безсильная каста сорванцовъ-недоумковъ, которая, конечно, вызываетъ досаду своимъ откровеннымъ безстыдствомъ, но которая, вслѣдствіе самой своей безсодержательности, никакъ ужъ не можетъ вліять на будущее; это кучка изолированныхъ, неномнящихъ родства призраковъ, которые несомнѣнно исчезнутъ при первомъ появленіи солнечнаго луча. Масса, у которой и своего дѣла по горло, у которой нѣтъ времени смотрѣть на представленія Богъ вѣсть откуда явившихся клоуновъ, не только не чувствуетъ ихъ присутствія, но даже не знаетъ объ ихъ существованіи. Еслибъ они во истину имѣли рѣшающій голосъ въ историческихъ судьбахъ, то мы давно бы видѣли повсемѣстное запустѣніе. Но вѣдь этого нѣтъ, но жизнь еще не сложила оружія — стало быть, нѣтъ основанія и для опасеній. Пускай безумцы посылаютъ въ пространство свои угрозы, пускай пробуютъ свои молодыя силы на подвигахъ безцѣльнаго молодечества — угрозы ихъ разнесетъ вѣтеръ, подвиги не перейдутъ за черту заколдованнаго круга, въ которомъ они зародились. Стоитъ ли обращать вниманіе на эти преходящія сновидѣнія, въ которыхъ нечего осязать и которыя, вдобавокъ, до того безсвязны, что невозможно прослѣдить въ нихъ ни начала, ни средины, ни конца. Призраки всегда были и всегда будутъ. Всегда существовалъ этотъ досадный фантастическій міръ, который надоѣдливо жужжалъ въ уши и присаживался

какъ можно ближе къ пирогу. И никогда онъ не измѣнялъ себѣ, хотя внѣшнія формы его въ разное время были различны. Всегда онъ хвастался, лгалъ и пустословилъ; но пустословіе это не оставляло слѣдовъ. И кто эти люди — какіе-то едва вышедшіе изъ курточекъ младенцы... Брысь!

Къ сожалѣнію, въ этомъ возраженіи я вижу только одну подробность, съ которой могу безусловно согласиться. А именно: что изслѣдуемый мною міръ есть во истину міръ призраковъ. Но я утверждаю, что эти призраки не только не безсильны, но самымъ рѣшительнымъ образомъ вліяютъ на жизнь. Это ужасно унизительно, но это такъ. Я понимаю очень хорошо, что съ появленіемъ солнечнаго луча призраки должны исчезнуть, но увы; я не знаю, когда этотъ солнечный лучъ появится. Вотъ это-то именно и гнететъ меня, это-то и заставляетъ ощущать страхъ за будущее. Мы ждемъ, что лучъ осѣнитъ нашу жизнь не дальше какъ завтра, но вѣдь и предшественники наши этого ждали, и ихъ предшественники — тоже. Отъ начала вѣковъ этого ждутъ, тысячи поколѣній сгорѣли въ этомъ ожиданіи, а міръ все еще кишитъ призраками. И наша дѣйствительность до того переполнена, заполонена ими, что мы изъ-за массы призраковъ не видимъ очертаній жизни. Мало того: мы сами отчасти дѣлаемся призраками, принимаемъ ихъ складку. Возможна ли обида горше этой? Увы! они сильнѣе силы, живучѣе жизни, эти призраки! И я, который пишу эти строки, я пишу ихъ подъ игомъ призраковъ; и вы, читающіе эти строки,—вы тоже читаете ихъ подъ игомъ призраковъ...

Правда, что призраки, о которыхъ я повелъ рѣчь, черезъ-чуръ мизерны и юны, и потому ихъ призрачность кажется какъ бы сугубою. Тѣмъ не менѣе я продолжаю утверждать: это тѣ самые призраки, которые стерегутъ наше ближайшее будущее! Что же касается до солнечнаго луча, то и я жду его вмѣстѣ съ прочими, но ожиданіе это нимало не разрѣжаетъ тяжелыхъ потемокъ, которыя царствуютъ окрестъ.

. . . . . .

Какъ бы то ни было, но изложенныя сейчасъ размышленія не на шутку встревожили меня. Я считаю себя добрымъ родственникомъ, люблю кузину Nathalie („она такая слабенькая, совсѣмъ куколка“) и охотно переношу эту любовь на ея сына. Мнѣ было бы очень больно, еслибъ Ѳеденька игралъ дѣятельную роль въ этой мальчишеской

комедіи потрясанія перстомъ. Я знаю, конечно, что начальство довольно снисходительно смотритъ на шалости молодыхъ людей, но вѣдь неровенъ часъ, вдругъ оно спроситъ: „а позвольте, господа, узнать, кто уполномочилъ васъ дразнить вашихъ согражданъ и глумиться надъ любезнымъ отечествомъ?“ Что отвѣтитъ на этотъ вопросъ Ѳеденька? Боюсь я, сильно боюсь, какъ бы мнѣ не пришлось сгорѣть за него со стыда!

Хоть онъ и не носитъ моей фамиліи, но все-таки онъ... Неугодовъ!! Неугодовъ... гдѣ, бишь, „сидѣлъ“ какой-то Неугодовъ? кому, бишь, другой такой же Неугодовъ цѣловалъ крестъ? Вотъ они... Неугодовы!! Ужъ ради одного этого можно было побезпокоиться, чтобы послѣдній отпрыскъ этихъ достославныхъ „сидѣльцевъ“ и „цѣловальниковъ“ не осрамился въ концѣ.

Подъ вліяніемъ этихъ тревогъ я рѣшился какъ можно скорѣе узнать, какъ полагаетъ Ѳеденька поступить съ Россіей въ томъ недалекомъ будущемъ, когда чинъ дѣйствительнаго статскаго совѣтника украситъ его формуляръ.

Первое марта.

На мое приглашеніе повидаться Ѳеденька отвѣтилъ кратко: „Не могу. Дѣла по горло. Утромъ—читаю и запасаюсь фактами; вечеромъ — предсѣдательствую въ коммиссіи. Когда-нибудь разскажу подробно“. Разумѣется, это извѣстіе еще больше взволновало меня. „Въ коммиссіи!“—„предсѣдательствуетъ!“—такъ и звенѣло у меня въ ушахъ.

Къ сожалѣнію, я — литераторъ. Было время, когда я не могъ себѣ представить ничего завиднѣе этого положенія. Теперь я это представленіе значительно видоизмѣнилъ, и выражаюсь ужъ такъ: хорошо быть литераторомъ, но не дѣйствующимъ, а *бывшимъ*. Да, именно такъ: не настоящимъ литераторомъ, не тѣмъ, который мучительно мечтаетъ, какъ бы объѣхать на кривой загадочнаго незнакомца, а тѣмъ, который, совершивъ все земное, ясными и примиренными глазами смотритъ на жизненную суету, твердо увѣренный, что

суета эта пройдетъ мимо, не коснувшись до него ни единымъ запросомъ, ни единымъ униженіемъ, ни единой тревогой...

Онъ послужилъ на свой най литературѣ, и послужилъ достаточно; онъ принесъ и ей, и обществу посильную дань пользы; онъ уврачевалъ множество скорбей и на безчисленныя раны пролилъ бальзамъ исцѣленія; онъ испыталъ въ свое время и тревоги борьбы. и сладости одолѣнія (разумѣется, относительнаго); онъ предалъ забвенію первыя и съ благодарнымъ сердцемъ вспоминаетъ о вторыхъ; онъ вынесъ изъ своего литературнаго прошлаго цѣлый запасъ анекдотовъ, которыми многіе годы можетъ продовольствовать массу своихъ почитателей; онъ добился общаго признанія своихъ заслугъ, и наконецъ—о, заслуга превыше всѣхъ заслугъ!—онъ умѣлъ во-время сознать, что изъ сего лимона болѣе ничего не выжмешь, а затѣмъ смириться и воскликнуть: довольно! Какое положеніе можетъ быть почтеннѣе этого?

Онъ ужъ не литераторъ, но не считать его литераторомъ нѣтъ никакой возможности. Во-первыхъ, это значило бы обидѣть человѣка ни въ чемъ неповиннаго, кромѣ маститости; во-вторыхъ, это было бы жестоко, ибо исключеніе изъ литературнаго сонмища лишило бы его утѣшенія разсказывать, какимъ путемъ онъ былъ приведенъ къ необходимости написать свой первый тріолетъ, и, въ-третьихъ, это было бы неправильно и потому, что, несмотря на „отставку“, отъ всей фигуры этого счастливаго человѣка все еще такъ и прыщетъ тріолетами и акростихами. Правда, что все это тріолеты прошлаго, но кто же поручится, что онъ вотъ-вотъ и сейчасъ не разразится какимъ-нибудь рондо?

Человѣку, котораго въ теченіе 30—40 лѣтъ насквозь пронизывала литературная „проходимость“ и сопряженныя съ нею учрежденія, перестать сознавать себя литераторомъ столь же немыслимо, какъ рыбиной ватагѣ, насквозь пропитанной тузлукомъ, перестать быть ватагою. Сверхъ того, правильно или неправильно, но съ званіемъ литератора въ общественномъ мнѣніи соединяется представленіе объ „умномъ человѣкѣ“. Княгиня Долгоухова, приглашая къ себѣ на чашку чая графиню Корноухову, говоритъ: „у меня будетъ литераторъ такой-то“, и это означаетъ, въ переводѣ на обыкновенный языкъ: будетъ человѣкъ интересный, умный, nous nous amuserons. Стало быть, отказъ отъ званія литератора былъ бы равносиленъ сопричисле-

нію себя къ лику неумныхъ людей, что̀ совершенно противоестественно. Вотъ почему никто изъ вкусившихъ отъ „литературной проходимости“ уже не отказывается отъ нея. Сгорбленный, съ палочкой въ рукахъ, бредетъ отставной литераторъ по солнечной сторонѣ Невскаго проспекта, и все-таки сознаетъ себя литераторомъ. Онъ уже утратилъ „словесность“ и даже въ крайнихъ случаяхъ только разѣваетъ ротъ, но въ тѣ немногія минуты, когда кашель, одышка, цензурныя сердцебіенія (особливая, свойственная только литератору болѣзнь) и прочіе недуги оставляютъ его свободнымъ, онъ пользуется этими сладкими мгновеніями, чтобы коснѣющимъ языкомъ провозгласить: „да, я—еще литераторъ!“

Итакъ, не считать его литераторомъ—невозможно. Но въ то же время нельзя и считать его литераторомъ, ибо онъ уже не ядоносецъ и торговлю „заблужденіями“ прикрылъ навсегда...

Положеніе нѣсколько двойственное, но вполнѣ завидное. Съ одной стороны публика не перестаетъ благоговѣть передъ маститымъ человѣкомъ и втайнѣ даже какъ бы вопрошаетъ его: ужели же ты не подаришь насъ новымъ тріолетомъ? Съ другой стороны начальство уже простило ему всѣ бывшія заблужденія. И такимъ образомъ всѣмъ онъ равно достолюбезенъ, всѣмъ равно милъ. Отъ однихъ—почтенъ, отъ другихъ—прощенъ. Вчера еще онъ былъ разбойникомъ печати, подрывателемъ основъ и краеугольныхъ камней; сегодня—онъ только пріятнѣйшій собесѣдникъ, увлекательнѣйшій разсказчикъ и несравненный дамскій кавалеръ. При видѣ его, сердца̀ дамъ мгновенно зажигаются восторгомъ (впрочемъ невиннымъ), блюстители же благоустройства и благочинія весело потираютъ руки, восклицая: „отъ этого человѣка, какъ отъ козла—ни шерсти, ни молока!“ Повторяю: какой удѣлъ можетъ быть слаще?

Совсѣмъ въ другомъ видѣ представляется удѣлъ, уготованный судьбою писателю дѣйствующему. Публика видитъ въ немъ человѣка подневольнаго, и потому обращается съ нимъ безъ малѣйшаго благоговѣнія. Она не вопрошаетъ его со страхомъ: „ужели тотъ тріолетъ, который мы недавно прочитали—твой послѣдній тріолетъ?“ но говоритъ прямо: „вотъ каторжный, который напишетъ намъ столько тріолетовъ, сколько мы сами того пожелаемъ!“ Иногда публика охотно читаетъ его, но никогда съ такимъ удовольствіемъ, съ какимъ *не* читаетъ писателя *бывшаго*. А что касается до женскаго пола, то

объ этомъ и говорить нечего. Въ глазахъ дамочекъ дѣйствующій литераторъ уже по тому одному неинтересенъ, что ему вѣчно некогда. Ни тонкаго разговора о женской правоспособности повести, ни пощекотать замысловатымъ женскимъ парадоксомъ, ни поисповѣдывать насчетъ какихъ-нибудь péchés mignons, ни растревожить воображеніе—ничего онъ не можетъ. Сидитъ этотъ „писачка“ запершись у себя въ кабинетѣ и все строчитъ. Тогда какъ бывшій литераторъ—все у него къ услугамъ дамъ. И душа покладистая, и тѣло досужее, и языкъ безъ костей.

Съ своей стороны и начальство смотритъ на дѣйствующаго литератора съ нѣкоторою осмотрительностью. Оно знаетъ, что литература, вслѣдствіе вѣкового недоразумѣнія, считается украшеніемъ, но въ то же время не игнорируетъ и того, что излишество украшеній производитъ непріятную для глазъ нестроту. Вотъ кабы всѣ дѣйствующіе литераторы какимъ-нибудь сладкимъ волшебствомъ вдругъ превратились въ литераторовъ *бывшихъ*—вотъ было бы хорошо! Напримѣръ, Державинъ... ода „Богъ“, „Фелица“... Или даже это:

Вечоръ красавицы-дѣвицы
Мѣшокъ пшеницы принесли:
Вѣдь расклюютъ же даромъ птицы—
Возьми, старинушка, смели!

Вотъ это хорошо! Или вотъ Пушкинъ... хотя все-таки лучше было бы, еслибъ онъ былъ Державинымъ, а не Пушкинымъ—ну, да ужъ Богъ ему, покойнику, проститъ! А эти дѣйствующіе литераторы... ахъ, эти литераторы!

Словомъ сказать, дѣйствующій литераторъ представляется чѣмъ-то закоренѣлымъ, нераскаяннымъ и до такой степени заблуждающимся, что онъ, подобно анекдотическому пошехонцу, способенъ „въ трехъ соснахъ заблудиться“.

Разница въ положеніяхъ, какъ видитъ читатель, громадная...

Къ глубокому моему огорченію, я до сихъ поръ принадлежу къ числу литераторовъ дѣйствующихъ. Я знаю и понимаю, что давно бы мнѣ слѣдовало оставить заблужденія, давно пора бы предать забвенію письменныя принадлежности и вообще „забыться и заснуть“, но—увы!—обстоятельства сильнѣе меня. Здѣсь не мѣсто объяснять, какого рода эти обстоятельства, но я долженъ сознаться, что „возвышенное“ и „прекрасное“ играютъ въ нихъ сравнительно довольно

второстепенную роль. Я—работникъ, труженикъ, и ежели „заблуждаюсь“, то преимущественно потому, что человѣку, однажды взявшему въ руки перо, невозможно не заблуждаться. Заблужденія какъ-то сами собой выростаютъ изъ-подъ пера, и чѣмъ быстрѣе бѣжитъ перо по бумагѣ, тѣмъ больше и больше оно плодитъ заблужденій. Разговариваю я въ большинствѣ случаевъ не только здраво, но и благонамѣренно; но едва прикасаюсь перомъ къ бумагѣ—сейчасъ же начинаю заблуждаться. Даже корреспонденты „Московскихъ Вѣдомостей“—и тѣ, мнѣ кажется, кружатъ въ трехъ соснахъ, именно благодаря тому, что помело, которое они употребляютъ, и помои, въ которыя макаютъ это помело, все-таки прообразуютъ собой перо и чернила.

Въ виду всѣхъ этихъ соображеній дѣлается понятнымъ, что я положительно теряюсь всякій разъ, какъ только прослышу, что гдѣ-нибудь затѣвается какая-нибудь коммиссія. О чемъ будетъ трактовать эта коммиссія, какія новыя выдумки начнетъ разработывать—это для меня безразлично. Я знаю впередъ, что рано или поздно, такъ или иначе, онъ все-таки кончитъ тѣмъ, что займется литературой. Сначала задѣнетъ ее косвенно, потомъ больше и больше, а наконецъ совсѣмъ забудетъ о предстоящихъ ей спеціальныхъ выдумкахъ и займется исключительно литературой и одушевляющимъ ее „вреднымъ направленіемъ“...

Очень возможно, что я и заблуждаюсь—на то я и литераторъ, чтобъ заблуждаться,—но почему-то мнѣ думается, что иначе оно не можетъ и быть. И даже не „почему-то“ такъ думается, а просто-напросто я имѣю твердыя и достовѣрныя основанія такъ думать. Скучно вѣдь сидѣть въ этихъ коммиссіяхъ, господа, адски скучно! Именно только адская скука и сопряженное съ ней прекраснѣйшее содержаніе могутъ заставить людей издать сто-одинъ томъ „Трудовъ“, имѣя при томъ въ перспективѣ издать и еще столько же, безъ всякой надежды на результатъ! Представьте себѣ, напримѣръ, положеніе такого шустраго и правоспособнаго малаго, какъ мой Ѳеденька. Приходитъ онъ въ помѣщеніе засѣданія коммиссіи и сразу чувствуетъ одно непреодолимое желаніе: какъ можно скорѣе удрать! Да и какъ не имѣть ему этого желанія! Въ комнатѣ царитъ казенная нагота; по срединѣ стоитъ форменный столъ, обставленный форменными же креслами; на столѣ въ изобиліи разставлены зажженныя свѣчи, но и

за всѣмъ тѣмъ и стѣны, и потолокъ кажутся погруженными въ сумерки. Темнò, голò, даже холодно, несмотря на то, что дрова отпускаются казенныя. Дамочекъ нѣтъ и въ поминѣ; вмѣсто нихъ тамъ и сямъ мелькаютъ испитыя лица какихъ-то крохоборцевъ, и у каждаго изъ нихъ въ рукѣ громадный картонный листъ съ наклеенными на немъ бумажками. Это „матеріалы“. Какъ тутъ поступить? неужто и въ самомъ дѣлѣ начать дебатировать? объ чемъ? Нѣтъ, проще всего, не вдаваясь въ разсмотрѣніе вопроса по существу, прямо предать „матеріалы“ тисненію. Рѣшили. А потомъ? Увы! времени впереди еще много, а удрать невозможно—какая же это будетъ коммиссія!—чѣмъ заняться, какъ провести время, чтобы отбыть урочные часы? Вотъ тутъ-то именно и является на выручку литература.

Во-первыхъ, литература, въ качествѣ „украшенія“, всякому сама по себѣ бросается въ глаза. Во-вторыхъ, она имѣетъ слабость интересоваться коммиссіями и слѣдить за ихъ трудами. Это послѣднее свойство въ особенности служитъ для нея источникомъ безчисленныхъ и мучительнѣйшихъ огорченій.

Чуть только пройдетъ по городу слухъ, что нарождается новая коммиссія, какъ литература уже начинаетъ ликовать: „ну, слава Богу! теперь скоро!“ Но проходитъ полгода, проходитъ годъ, десять лѣтъ, наконецъ сто лѣтъ, а объ коммиссіи ни слуху, ни духу—словно въ воду канула! Извѣстно только, что члены ея неупустительно собираются, неупустительно получаютъ присвоенное содержаніе и упорно наклеиваютъ бумажки на громадные картонные листы. Натурально, литература начинаетъ роптать. Сколько было возбуждено свѣтлыхъ надеждъ и какъ безпощадно онѣ тускнѣютъ одна за другой! Учтиво, но твердо напоминаетъ она, что такого-то числа исполнится столько-то лѣтъ со времени учрежденія коммиссіи, и что по этому случаю предполагается даже устроить коммеморативный семейный обѣдъ въ одной изъ залъ Hôtel Demonth. „Что сдѣлала коммиссія въ теченіе столь продолжительнаго періода времени?“ вопрошаетъ литература и тутъ же отвѣчаетъ: „объ этомъ мы поговоримъ въ слѣдующій разъ“...

Угроза не особенно страшная, но она вноситъ переполохъ въ сердца членовъ коммиссіи.“. Ожиданіе, что вотъ-вотъ объ нихъ „въ слѣдующій разъ“ что-то поговорятъ, приводитъ ихъ въ негодованіе. Не то чтобы они чувствовали страхъ, но—помилуйте!—вѣдь этакъ *всякій*... *Всякій* будетъ угрожать, всякій будетъ обсуждать, *всякій*

будетъ выкладывать, что̀ ему Богъ на сердце положитъ! *Всякій*! И вотъ картоны съ наклеенными бумажками откладываются въ сторону, и на сцену выступаетъ литература. Сначала произносится слово: „распущенность“, потомъ: „неуваженіе авторитетовъ“, потомъ: „вредное направленіе вообще“, и наконецъ... „потрясеніе основъ“!... И все это по поводу лишь того, что Ѳеденькѣ показалось обиднымъ, что объ немъ кто-то собирается поговорить „въ слѣдующій разъ“...

Меня всегда удивляло одно: зачѣмъ литература доводитъ себя до такихъ катастрофъ ради коммиссій, занимающихся изданіемъ стараго тома „Трудовъ“? Какое ей дѣло до коммиссій? какое дѣло коммиссіямъ до нея? Ужели нельзя существовать рядомъ безъ взаимныхъ раздраженій? Истинно, истинно говорю: можно существовать. И ежели объясняю себѣ это изумительное qui pro quo, то именно тѣмъ, что таково уже свойство всякаго дѣйствующаго (воинствующаго) литератора, что, разъ взявшись за перо, онъ уже не можетъ не заблуждаться. Независимо отъ его воли, это перо наплодитъ такую массу заблужденій, что для искупленія ея недостаточно будетъ всей совокупности каръ, поименованныхъ въ „Уложеніи о наказаніяхъ“.

Но ежели литературѣ свойственно заблуждаться, то коммиссіямъ еще свойственнѣе негодовать. Каждый въ этомъ конфликтѣ находится въ своей роли, каждый исполняетъ свое провиденціальное назначеніе. Поймите въ самомъ дѣлѣ, какъ же это такъ: *всякій* будетъ понуждать, *всякій* будетъ угрожать, *всякій* будетъ говорить: вѣдь коммиссія-то спитъ! Какимъ образомъ сохранить, при подобномъ порядкѣ вещей, душевное равновѣсіе, потребное для полученія присвоеннаго содержанія?

И эта способность приходить въ негодованіе по поводу „сованій носа“, по поводу „непрошенныхъ разглагольствій“ и „хожденій съ своимъ уставомъ въ чужой монастырь“ свойственна не только, такъ сказать, природнымъ членамъ коммиссій, но и всякому русскому культурному человѣку, которому судьба броситъ на разжеваніе хоть какой-нибудь, хоть даже просто-на-просто бросовый вопросъ. Лично каждый культурный человѣкъ готовъ во всякое время и купить, и продать; но разъ онъ очутился около какихъ-нибудь крохъ и имѣетъ возможность производить сортировку ихъ—онъ будетъ защищать и эти крохи, и эту сортировку до изступленія. И будетъ негодовать на всякаго, кто затѣетъ *сунуть свой носъ* въ его *домашнее* дѣло.

Пусть каждый изъ читающихъ эти строки обдумаетъ ихъ и пускай затѣмъ добросовѣстно отвѣтитъ: какъ бы онъ сталъ поступать, еслибы случай сдѣлалъ его членомъ, напримѣръ, коммиссіи объ отысканіи „корней и нитей“, и еслибы, по случаю столѣтняго ея юбилея, какой-нибудь *всякій* осмѣлился намекнуть, что учрежденіе это (безспорно полезное), издавъ триста-три тома „Трудовъ“, все-таки ни корней, ни нитей не отыскало? По крайней мѣрѣ, что касается до меня, то я публично каюсь: покуда я не нахожусь въ составѣ коммиссіи (какой бы то ни было—это безразлично)—я заблуждаюсь, то-есть изыскиваю средства *сунуть свой носъ*; но едва лишь меня *помѣстили* въ оную—я закусываю удила и дѣлаюсь способнымъ только „негодовать“, то-есть на всѣхъ перекресткахъ вопіять:—помилуйте! есть ли возможность спокойно работать, ежели *всякій* будетъ „совать свой носъ“!

И еще характеристичная особенность! Хотя мы, культурные люди, имѣемъ замѣчательную охоту къ разработкѣ „вопросовъ“, но предметомъ этой разработки почти всегда дѣлаемъ вопросы чисто-отрицательнаго свойства. Нѣтъ чтобы что-нибудь оплодотворить, или открыть на пять копѣекъ втунѣ лежащихъ богатствъ, а непремѣнно искоренить, истребить, послѣднія пять копѣекъ растратить. Какъ будто провиденціальная наша задача именно въ томъ и состоитъ, чтобы все безъ остатка въ три дня разрушить и во сто лѣтъ ничего не воздвигнуть.

Помню, нѣсколько лѣтъ тому назадъ, судьба заперла меня на цѣлыхъ полгода въ Ниццѣ. Русскихъ въ этомъ городѣ—масса (что въ значительной степени обусловливается близостью Монте-Карло съ его рулеткою), и въ этомъ множествѣ набралось человѣкъ съ десятокъ знакомыхъ, для которыхъ поѣздки въ Монте-Карло представлялись не съ руки. Въ томъ числѣ были: два земскихъ дѣятеля, одинъ предводитель дворянства, одинъ не помнящій родства экономистъ, одинъ задыхающійся прокуроръ, одинъ малокровный штабсъ-ротмистръ, одинъ „старый дипломатъ“ (съ совершенно голою, точно дѣтскою, головой), два государственныхъ младенца (послѣдніе шестеро съ сохраненіемъ содержанія) и я. Всѣ мы безъ отдыха кашляли, пили микстуры, ѣли пилюли и претерпѣвали адскую скуку. Кругомъ—блескъ и прозрачность; солнце такъ и горитъ; на темно-синемъ небѣ ни облачка; Средиземное море млѣетъ; померанцы благоухаютъ; пальмы, олеандры,

лавровыя деревья чаруютъ взоры...а мы сидимъ, кашляемъ и тоскуемъ. Нѣтъ у насъ ни собственнаго дѣла, ни собственной жизни. Министерство Бюффѐ-Брольи падаетъ, уступая министерству Бюффе́-Дюфора, а намъ все равно. Гамбетта произноситъ рѣчь за рѣчью, а у насъ скулы болятъ отъ зѣвоты. Префектъ, мосьё Декрѐ, балъ даетъ—насъ не приглашаетъ, и мы не печалимся этимъ, хотя понимаемъ, что въ качествѣ „знатныхъ иностранцевъ“ имѣемъ право предъявить къ мосьё Декрѐ претензію. Ни намъ ни до кого дѣла нѣтъ, ни до насъ никому дѣла нѣтъ. Живемъ, какъ жили бы у себя въ Замоскворѣчьи, и не понимаемъ, что̀ тутъ такого, въ этой „заграницѣ“, привлекательнаго. Развѣ вотъ услышимъ, что г. Фонъ-Дервизъ столько-то десятковъ тысячъ пожертвовалъ въ пользу бѣдныхъ города Ниццы и былъ по этому случаю почтенъ отъ мосьё Декрѐ визитомъ — ну, на минутку какъ будто оживимся, молвимъ: „вотъ истинно русскій патріотъ. который высоко держитъ знамя Россіи!“ И затѣмъ—опять ничего. Даже родная Русь—и та представляется воображенію словно окутанная туманомъ, и ничѣмъ не напоминаетъ о себѣ, кромѣ замоскворѣцкой скуки. Думали мы, думали, какъ тутъ поступить, и наконецъ одинъ изъ государственныхъ младенцевъ подалъ отличный совѣтъ.

— Придумалъ я, господа, прекраснѣйшее развлеченіе,— сказалъ онъ однажды,—именно: выберемте какой-нибудь вопросъ, образуемъ изъ себя коммиссію для разработки его и будемъ поступать такъ точно, какъ бы мы поступали, засѣдая въ заправской коммиссіи. Во-первыхъ, это напомнитъ намъ объ интересахъ родной земли, а во-вторыхъ поможетъ скоротать время вполнѣ на родной манеръ!

Мысль эта была всѣми встрѣчена съ увлеченіемъ. „Чудесно!—думалось всѣмъ:—и старая скука отъ насъ не уйдетъ, и новой скуки отвѣдаемъ—все же, между двухъ скукъ, скорѣе время пройдетъ!“ Оставалось, слѣдовательно, найти „вопросъ“, который могъ бы достойнымъ образомъ занять наши досуги. Стали отыскивать. Экономистъ, разумѣется, высказался, что всего приличнѣе было бы заняться обсужденіемъ вопроса о лежащихъ втунѣ богатствахъ, но предложеніе это было встрѣчено не только съ недовѣріемъ, но даже почти съ негодованіемъ.

— А ну ихъ!—единогласно отозвались всѣ.

Затѣмъ нѣкоторое время, для приличія, поцеремонились, но наконецъ сознали ясно, что въ средѣ русскихъ культурныхъ людей, да-

же подъ темно-синимъ небомъ Ниццы, даже ради „игры“, не можетъ быть никакой иной коммиссіи, кромѣ коммиссіи объ искорененіи.

— Объ искорененіи чего?—какъ будто изумился экономистъ.

Но этотъ вопросъ уже никого не засталъ врасплохъ.

— Тамъ увидимъ! начнемъ дебатировать—оно само собой опредѣлится!—отвѣчали одни.

— Какъ объ „искорененіи чего“? — просто-на-просто удивились другіе.

Вообще вопросъ экономиста всѣмъ показался настолько безпочвеннымъ, что даже самъ формулировавшій его сейчасъ же убѣдился въ его неумѣстности и поспѣшилъ взять назадъ свое предложеніе, яко нарушающее общее душевное равновѣсіе.

И вотъ, избравъ своимъ предсѣдателемъ „стараго дипломата“, помощникомъ его—предводителя дворянства, а секретарями—двухъ государственныхъ младенцевъ, мы начали ежедневно собираться и дебатировать. Что собственно мы дебатировали—этого я теперь опредѣлить не могу. Можетъ быть, позабылъ, но, можетъ быть, и никогда не помнилъ. Помню только, что изъ нашихъ дебатовъ что-то выходило, или по крайней мѣрѣ выходило настолько, что въ теченіе четырехъ мѣсяцевъ существованія нашей коммиссіи накопилось до десяти томовъ „Трудовъ“.

Помаленьку да понемножку мы все искоренили: и то, что служитъ начальству огорченіемъ, и то, что приноситъ ему утѣшеніе. Искоренять такъ искоренять, особливо въ Ниццѣ, гдѣ никто, даже мосьё Декрѐ, не шепнетъ, что вотъ, дескать, явились какіе-то одержимые, которые и то, что подрываетъ основы, истребляютъ, да и тому, что поддерживаетъ оныя, поблажки не даютъ. Но, обсудивъ внимательнѣе подлежащіе искорененію предметы, мы все-таки пришли къ заключенію, что ничто не будетъ надлежащимъ образомъ искоренено, покуда не будетъ искоренена... литература. Какимъ образомъ мы пришли къ этому заключенію — я опять-таки объяснить не могу, но полагаю, что идея объ искорененіи литературы есть идея врожденная, отъ природы свойственная русскому культурному человѣку. Какой вредъ наносила литература намъ, „плющимся“ людямъ, собравшимся вкупѣ для „игры въ коммиссіи“—это теперь для меня совсѣмъ непонятно. Но помню, что когда я находился въ самомъ сердцѣ „дѣла“, было и понятно, и убѣдительно.

Однакожъ въ началѣ „игры“, ощущая себя литераторомъ, я затесался „налѣво“ (лѣвѣе меня сидѣлъ только прокуроръ, но тотъ ужъ былъ чистѣйшей воды монтаньяръ) и довольно бодро и высоко держалъ знамя оппозиціи. Помню даже, что однажды, когда малокровный штабсъ-ротмистръ, сопровождаемый прокуроромъ, предложилъ одну часть произведеній литературы сжечь рукою палача, а другую потопить въ рѣкѣ, литераторовъ же водворить въ уѣздный городъ Мезень (прокуроръ, вмѣсто Мезени, допускалъ Варнавинъ— одною степенью меньше), то я не выдержалъ и произнесъ очень горячую и прочувствованную рѣчь.

— Господа!—сказалъ я:—я понимаю, что вопросъ объ искорененіи литературы не могъ избѣжать предназначенной ему участи, но рѣшительно не могу понять того ожесточенія, съ которымъ вы приступаете къ его обсужденію. Что сдѣлала наша литература столь преступнаго, что вы находите недостаточнымъ простое ея искорененіе, но предлагаете таковое съ употребленіемъ огня и меча? Чѣмъ заслужила она участіе палача въ имѣющемъ постигнуть ее искорененіи? Или оскудѣли городовые? Или стрѣлы небесныя и земныя утратили свою силу и мѣткость? Нѣтъ, все идетъ своимъ чередомъ, городовые стоятъ на своихъ мѣстахъ, а небо, какъ и древле, сыплетъ на насъ своими молніями!.. А мы, простые гуляющіе русскіе люди, въ платоническомъ изступленіи раздираемъ на себѣ ризы! Почему?

— Я знаю, васъ возмутило то, что въ полученномъ нами вчера нумерѣ газеты „Чего изволите?“, вмѣстѣ съ сообщеніемъ о засѣданіяхъ нашей комиссіи, намъ дается благожелательный совѣтъ не проводить время въ безплодномъ наклеиваніи бумажекъ на картонные листы, но дѣйствительно искоренить все, что искорененію подлежитъ („А что же не подлежитъ?“ съ грустью спрашиваетъ себя газета)... Я охотно допускаю вмѣстѣ съ вами: лучше бы, еслибъ совѣта этого не было. Но, относясь къ дѣлу безпристрастно, все-таки нахожу, что тутъ еще нѣтъ большого худа. Во-первыхъ, благодаря этому сообщенію, на насъ обращены взоры цѣлой Россіи, что даже весьма лестно; во-вторыхъ, предметовъ, подлежащихъ искорененію, накопилось такое множество, что поторопиться съ этимъ дѣломъ—дѣйствительно не лишнее; въ-третьихъ, ежели допустить, что непріятно видѣть, какъ какая-нибудь газета „суетъ свой носъ“, такъ вѣдь это непріятность не особенно важная и притомъ скоропреходящая. Разъ

„суетъ носъ“, въ другой „суетъ носъ“, а въ третій... яко исчезаетъ дымъ... Да, именно такъ. Развѣ, кромѣ насъ, не найдется благожелательныхъ лицъ, которыя съ послѣднею ясностью докажутъ газетѣ, что „совать носъ“ не полагается? Развѣ сама газета, съ врожденною ей готовностью, не поспѣшитъ усвоить себѣ эту точку зрѣнія? Я самъ литераторъ, господа...

При этомъ напоминаніи прокуроръ быстро взвился съ своего кресла и, обращаясь къ предсѣдателю, задыхающимся голосомъ прошипѣлъ:

— Прошу г. предсѣдателя напомнить *защитнику*, что здѣсь онъ долженъ забыть о своей прикосновенности къ литературѣ...

Произнеся это, онъ закашлялся и проглотилъ пару дегтярныхъ пилюль; предсѣдатель же съ дѣтскимъ любопытствомъ взглянулъ на меня, какъ бы выжидая, не извинюсь ли я. Разумѣется, я поспѣшилъ исполнить его желаніе.

— Я ужъ давно забылъ,—продолжалъ я:—и если это горькое воспоминаніе сорвалось съ моего языка, то совсѣмъ не для того, чтобы оскорбить почтенныхъ моихъ товарищей по коммиссіи, а для того единственно, чтобы собственнымъ примѣромъ подкрѣпить сейчасъ высказанную мною мысль. Я по опыту знаю, господа съ какою готовностью наша литература усвоиваетъ точки зрѣнія, указываемыя ей благожелательными лицами. Я не всегда кашлялъ, не всегда страдалъ одышкой, милостивые государи! не всегда былъ калѣкой! Было время, когда и я былъ тѣмъ... ну, тѣмъ, объ чемъ теперь позабылъ! И какъ сейчасъ помню—я даже любилъ, когда мнѣ сообщали „точки зрѣнія“. „Такъ я, стало-быть, заблуждался?“ — обыкновенно говорилъ я въ этихъ случаяхъ: „извольте, я это заблужденіе въ слѣдующемъ же нумерѣ искуплю!“ И искупалъ. Вотъ какъ легко и пріятно это дѣлается, а совсѣмъ не такъ, какъ представляютъ это дѣло люди радикальной партіи, которые желаютъ внушить, будто въ это время въ груди у литераторовъ...

На этомъ мѣстѣ рѣчь моя была снова прервана, потому что прокуроръ потребовалъ, чтобъ меня призвали къ порядку. Предсѣдатель нѣсколько мгновеній растерянно осматривался по сторонамъ, но наконецъ рѣшился:

— Призываю васъ къ порядку, cher collégue!—сказалъ онъ:—я дѣлаю это съ стѣсненнымъ сердцемъ, но вы понимаете, что ежели

господинъ прокуроръ сдѣлаетъ обо мнѣ недостаточную аттестацію, то я...

— Понимаю, — отвѣчалъ я, — и съ покорностью принимаю вашъ призывъ. Но позволю себѣ сказать нѣсколько словъ въ свое оправданіе. Упоминая о людяхъ радикальной партіи, я отнюдь не хотѣлъ этимъ названіемъ оскорбить кого бы то ни было. Еслибъ я употребилъ это выраженіе въ смыслѣ, напримѣръ, Ледрю-Роллена — я понимаю, что этимъ мною была бы нанесена серьезная обида. Но я—русскій человѣкъ, господа, и очень хорошо знаю, объ чемъ говорю. У насъ радикалы своеобразные; у насъ радикалами называются преимущественно тѣ, которые особливую пользу приносятъ по части пресѣченія и предупрежденія. Я лично зналъ одного подчаска, который говорилъ мнѣ: „ахъ, еслибъ эти долгогривые знали, какъ я имъ втайнѣ сочувствую!“ И дѣйствительно, онъ „сочувствовалъ“, хотя это не мѣшало ему блюсти за своевременною сколкой льда въ ввѣренномъ ему районѣ! Такъ вотъ объ какихъ радикалахъ я упоминалъ. Затѣмъ возвращаюсь къ предмету моей рѣчи. Вы говорите, господа, что литературу слѣдуетъ предать огню и мечу, но прежде, нежели вы рѣшитесь сдѣлать зависящее по сему предмету распоряженіе, позвольте вамъ напомнить, что литература, по общему сознанію, есть „украшеніе“. Это не я говорю — это говорятъ всѣ; это скажетъ даже каждый изъ васъ, какъ только оставитъ стѣны этого помѣщенія и очутится на Promenade des Anglais.

— Тамъ, встрѣтившись съ мосьё Карромъ *) или съ мосьё Нервò **), вы непремѣнно заведете рѣчь о литературѣ, удивитесь богатству французской литературы и, вздохнувъ, присовокупите: „счастлива та страна, въ, коей процвѣтаетъ литература“. Почему вы скажете все это? — а потому, что каждый изъ васъ съ малыхъ лѣтъ слышалъ и привыкъ вѣрить, что литература есть „украшеніе“! Какимъ же образомъ вы приступите къ этому „украшенію“ съ огнемъ и мечомъ! Не обольются ли кровью ваши сердца? не помутится ли въ васъ разсудокъ?

---

*) Альфонсъ Карръ, извѣстный французскій писатель, живущій въ Ниццѣ.

**) Мѣстный ницкій фельетонистъ, которому ницкія интернаціональныя дамы предварительно показываютъ свои костюмы, предназначенные для выѣзда на балъ, дабы не произошло ошибки при описаніи ихъ въ предстоящемъ газетномъ фельетонѣ.

— Я знаю, вы скажете мнѣ, что это недоразумѣніе, которое коммиссія не имѣетъ ни малѣйшей обязанности принимать въ разсчетъ. Соглашаюсь и съ этимъ. Но недоразумѣніе это создано вѣками, господа, и слѣдовательно если нынѣ и ощущается потребность разрушить его, то пускай же это разрушеніе произойдетъ постепенно. при помощи мѣръ рѣшительныхъ. но не бросающихся въ глаза, — однимъ словомъ, пускай процессъ искорененія совершится самъ собою. такъ сказать, естественнымъ путемъ. Забудьте объ огнѣ и шпигуйте потихоньку—и вы увидите, что газета „Чего изволите?“, на которую вы такъ негодуете, сама пойметъ, что ей ничего другого не остается. какъ умереть...

— Но этого мало. Я не могу скрыть отъ васъ, что въ томъ вѣковомъ недоразумѣніи, которое утвердило за литературой названіе „украшенія“, очень сильное участіе принимаетъ и общій просвѣтительный уровень страны. Чѣмъ просвѣщеннѣе страна, тѣмъ упорнѣе держится въ ней мнѣніе о томъ, что̀ составляетъ истинное ея „украшеніе“. Поэтому, даже при усвоеніи рекомендуемаго мною метода постепенности, вамъ придется прибѣгнуть не къ одному непосредственному шпигованію, но и заглянуть нѣсколько вглубь. Я знаю, что вы очень высокаго мнѣнія о просвѣщеніи, и, конечно. не захотите искоренить его (хотя, сколько мнѣ помнится, потребные для сего матеріалы уже собраны и составляютъ пятый томъ „Трудовъ“), но урегулировать его все-таки не откажетесь. Подумайте однако, какая это гигантская работа! и сколько пройдетъ времени, покуда вы не урегулируете просвѣщеніе до той степени, что даже самое представленіе о литературѣ изгладится изъ народнаго сознанія!

— Затѣмъ мнѣ остается сказать лишь немного словъ въ заключеніе. Но слова эти очень вѣски, и я чувствую всю тяжесть отвѣтственности, которая падетъ на меня за нихъ. Милостивые государи! вамъ, конечно, небезъизвѣстно выраженіе: scripta manent. Я же, подъ личною за сіе отвѣтственностью, присовокупляю: semper manent, in secula secolorum! Да, господа. литература не умретъ! не умретъ во вѣки вѣковъ! А посему. какъ бы намъ съ нашей коммиссіей не осрамиться! Все, что̀ мы видимъ вокругъ насъ, все въ свое время обратится частью въ развалины, частью въ навозъ—одна литература вѣчно останется цѣлою и непоколебленною. Одна литература изъята отъ законовъ тлѣнія, она одна не признаетъ смерти. Несмотря ни на

что, она вѣчно будетъ жить и въ памятникахъ прошлаго, и въ памятникахъ настоящаго, и въ памятникахъ будущаго. Не найдется такого момента въ исторіи человѣчества, про который можно было бы съ увѣренностью сказать: вотъ моментъ, когда литература была упразднена. Не было такихъ моментовъ, нѣтъ и не будетъ. Ибо ничто такъ не соприкасается съ идеей о вѣчности, ничто такъ не поясняетъ ее, какъ представленіе о литературѣ. Мы испытуемъ вѣчность, мы стараемся понять ее—и большею частью изнемогаемъ въ нашихъ попыткахъ; но вспомнимъ о литературѣ—и мы хотя отчасти откроемъ тайну вѣчности! Ахъ, господа, господа! Я очень хорошо понимаю, какъ все это прискорбно для насъ, членовъ коммиссіи „объ искорененіи“, и сердце мое сжимается болью, когда я произношу эти слова; но скрыть отъ васъ эти соображенія—выше силъ моихъ! Будемте же мудры, милостивые государи! оставимъ мысль о мечѣ и огнѣ и удовольствуемся примѣненіемъ къ литературѣ тѣхъ мѣръ простого искорененія, которыя вы находите достаточными въ видахъ устраненія кражи земскихъ и иныхъ общественныхъ суммъ. Dixi et animam levavi.

Я кончилъ, но ни одно рукоплесканіе не поощрило меня. Напротивъ, члены смотрѣли мрачно, и какъ только умолкъ мой голосъ, всѣ единогласно немедленно потребовали голосованія безъ преній. Моего мнѣнія, какъ ни на чемъ не основаннаго, даже не голосовали, а прямо занялись мнѣніемъ штабсъ-ротмистра и прокурора. Мнѣніе это было принято *единогласно*. Всѣ десять шаровъ были положены направо, а стало быть въ томъ числѣ и мой. И я помню, что я не только не удивился этому, но даже нашелъ весьма естественнымъ.

Только спустя часъ, гуляя по Promenade des Anglais, я опомнился. Встрѣтилъ легкомысленнаго фельетониста Нервò и разсказалъ ему, какое у насъ убійство произошло и какъ я геройски при этомъ себя велъ.

— Чѣмъ же рѣшили?—спросилъ онъ меня.

— Ну, разумѣется, предать огню и мечу!

— Saperlotte! а вы?

— Ну, разумѣется, и я вмѣстѣ съ другими...

— Est-ce possible!

— Mais que voulez-vous que je fasse!

. . . . . .

Послѣ этого я, разумѣется, никогда не игралъ въ коммиссіи, но достаточно было одного сейчасъ описаннаго случая, чтобъ оставить во мнѣ неизгладимое впечатлѣніе. Зная по опыту, какъ естественно русскій человѣкъ приходитъ къ мысли о необходимости искорененія литературы, и зная въ то же время, что ничто такъ близко не соприкасается съ идеей о вѣчности, какъ представленіе о литературѣ, я не только самъ лично стараюсь держаться въ сторонѣ отъ всякихъ коммиссій, но и за родственниковъ своихъ боюсь, если вижу, что они начинаютъ задумываться о томъ, какъ бы подойти поближе къ пирогу. Непремѣнно онъ что-нибудь насчетъ литературы выдумываетъ! думается мнѣ:—и выдумаетъ! непремѣнно выдумаетъ!

Сознаюсь откровенно, что въ эти описанія входитъ въ значительной долѣ и личное чувство. Повторяю: я—литераторъ дѣйствующій, я—труженикъ, обязанный держать въ рукѣ перо ежеминутно, и обремизить меня очень легко.

Поэтому тревога моя, по полученіи извѣстія объ участіи Ѳеденьки въ трудахъ какой-то коммиссіи, очень понятна.—*Ужели онъ, ради фельдмаршальскаго жезла, и дядю родного не пощадитъ?*—съ тоскою твердилъ я себѣ, предпославъ этому восклицанію цѣлое разсужденіе объ ослабленіи родственныхъ узъ въ наше непостоянное время.

Наконецъ я не вытерпѣлъ и самолично отправился къ Ѳеденькѣ. Но тутъ меня ждалъ новый ударъ: меня просто-на́-просто не допустили до него. Лакей безъ церемоніи загородилъ мнѣ входъ въ эдемъ, и на всѣ мои домогательства съ твердостью отвѣчалъ, что его превосходительство (должно быть, по классу занимаемой должности) занятъ съ Иваномъ Михайлычемъ...

Кто этотъ Иванъ Михайлычъ? можетъ быть, это какой-нибудь новый Бертрамъ...

Да, это Бертрамъ! Не будь Ивана Михайлыча, очень возможно, что дѣло и обошлось бы; но Иванъ Михайлычъ...

Я возвращался отъ Ѳеденьки домой и грустно напѣвалъ дуэтъ Бертрама и Рембо...

А что̀ если бы подыскать Алису?... Фуй!

Во всякомъ случаѣ я утратилъ надежду видѣться съ Ѳеденькой... до 1-го апрѣля. Перваго апрѣля, въ праздникъ Пасхи, онъ навѣрное заѣдетъ похристосоваться съ своимъ старымъ дядей...

Первое апрѣля.

Предчувствіе не обмануло меня: въ день Пасхи Ѳеденька явился-таки ко мнѣ. Онъ уже покончилъ съ визитами и пріѣхалъ отдохнуть, но былъ, какъ и слѣдуетъ въ такой великій праздникъ, во фракѣ. Разумѣется, мы похристосовались.

— Хочешь, яйцо велю подать?

— Спасибо, дядя; вы вотъ на что̀ лучше посмотрите, — отвѣтилъ онъ, указывая на аннинскій крестъ, висѣвшій у него на шеѣ. Крестъ былъ новый, большой и удивительно какъ изящно покоился (именно покоился!) на богатырской груди юноши.

Я пріятно изумился. Отступилъ два шага назадъ, прищурился и развелъ руками въ знакъ родственнаго умиленія.

— Помимо св. Станислава!—продолжалъ между тѣмъ Ѳеденька и прибавилъ:—joli?

Часъ отъ часу не легче. Отъ изумленія пришлось перейти къ гордости и вновь похристосоваться.

— Послушай, Théodore, — сказалъ я: — до сихъ поръ я понималъ, что можно утѣшаться родственниками, но теперь начинаю понимать, что можно и гордиться ими. Да!

— Спасибо, mon oncle!

— Да, я увѣренъ, что ты пойдешь... далеко пойдешь, мой другъ. Разумѣется, однакожъ, ежели Богъ спасетъ тебя отъ похищенія казенныхъ или общественныхъ денегъ...

Но Ѳеденька съ такимъ неподдѣльнымъ негодованіемъ протестовалъ противъ самой мысли о возможности подобнаго случая, что я вынужденъ былъ объясниться.

— Другъ мой!—сказалъ я:—ежели я позволилъ себѣ формулировать опасеніе насчетъ растраты денегъ, то совсѣмъ не потому, чтобы надѣялся, что ты непремѣнно его выполнишь, а для того, чтобы предостереженіемъ моимъ еще болѣе утвердить тебя на стезѣ добродѣтели. Мужайся, голубчикъ! ибо, по нынѣшнему слабому времени, надо обладать несомнѣннымъ геройствомъ, чтобы не стянуть плохо лежащаго куша, особливо ежели онъ большой. Но ежели ты, будучи аннинскимъ кавалеромъ, сверхъ того сознаешь себя и героемъ, то, разумѣется, тѣмъ лучше для тебя! Поздравляю... герой!

Повидимому это объясненіе его тронуло, такъ что и онъ, въ свою очередь, возгордился мной.

— Mon oncle!—сказалъ онъ, крѣпко сжимая мои руки:—я тоже... да, я горжусь вами... горжусь тѣмъ, что вы—мой дядя! Ахъ, еслибы вы...

Онъ остановился, не досказавъ своей мысли, и молча потупилъ голову. Однакожъ я понялъ его.

— Еслибъ я не былъ литераторомъ, хотѣлъ ты сказать?—спросилъ я его.

— Да... нѣтъ... нѣтъ, не то! — оправдывался онъ. — И Державинъ былъ литераторомъ, и Дмитріевъ... Ода „Богъ“—c'est sublime, il n'y a rien à dire! Ахъ, еслибы вы...

— Оду „Богъ“ написалъ?.. Ну, ну... хорошо... успокойся! постараюсь!

Словомъ сказать, мы обнялись и опять похристосовались.

— А маменька знаетъ объ *этомъ*? — спросилъ я, указывая на крестъ.

— Знаетъ. Сейчасъ получилъ отъ нея телеграмму изъ Парижа. Вотъ.

„Pétersbourg. Znamenskaïa, 11.

„Néougodoff.

„Félicite chevalier. O Pâques! o sainte journée! Envoyez 4.000 francs, demain échéance; sinon—Clichy. Nathalie“.

Сердце у меня такъ и ёкнуло. „Вотъ сейчасъ попроситъ денегъ!“ думалось мнѣ. И вдругъ:

— Дядя! нѣтъ ли у васъ?—обратился онъ ко мнѣ.

Вопросъ этотъ ужасно меня смутилъ. Деньги у меня на ту пору были, но почему-то мнѣ казалось, что онѣ мнѣ самому нужны. Нынче всѣмъ вообще деньги надобны, и вотъ почему столь многіе крадутъ. Но и краденыя деньги не бросаютъ зря всякому просящему, а тоже говорятъ: „самимъ нужны“. Что же сказать о деньгахъ собственныхъ, кровныхъ? А сверхъ того и еще: въ кои-то вѣки сколотишь изрядный кушъ и думаешь: вотъ теперь-то я распоряжусь... И только-что начнешь подносить ко рту кусокъ, какъ приходитъ нѣкто и выхватываетъ его. Ужасно непріятно.

— Дядя! вѣдь Clichy!—какъ-то тоскливо пискнулъ Ѳеденька, видя мое раздумье.

— Да вѣдь за долги, кажется, ужъ не сажаютъ!

— Тамъ—сажаютъ, mon oncle.

— Ахъ, Боже, какое варварство! Про русскихъ говорятъ, что они—варвары, а между тѣмъ у насъ... Да, мой другъ, мы должны гордиться, что живемъ въ странѣ благоустроенной, а не въ какой-нибудь Макмагоніи, которая не нынче—завтра превратится въ Гамбеттію! Конечно, у насъ нѣтъ многаго, что̀ у нихъ есть, но за то и у нихъ нѣтъ многаго, что̀ есть у насъ. Христосъ воскресъ! поцѣлуемся!

— Такъ вы дадите, дядя?

— А у тебя развѣ нѣтъ?

— Ни драхмы!

Непріятно въ высшей степени. Я только-что разсчитывалъ побаловаться лѣтомъ. Вотъ, говорятъ, Егаревъ француженокъ какихъ-то необыкновенныхъ законтрактовалъ... И еще говорятъ: въ Зоологическомъ саду женщину-великана показывать будутъ, которая у себя на груди цѣлое блюдо съ 20-ти-фунтовымъ ростбифомъ ставитъ, да такъ, шельма, и ѣстъ! Хорошо бы со всѣмъ этимъ подробнѣе ознакомиться, не въ качествѣ зрителя, а, такъ сказать, не въ примѣръ другимъ... Но, съ другой стороны, какъ же оставить и Nathalie? Что̀ такое Nathalie? Nathalie—это сорокапятилѣтняя сахарная куколка, которая... И даже не „которая“, а просто куколка—и все тутъ. Можетъ ли „куколка“ не тратить денегъ?—Нѣтъ, не можетъ. Она тратитъ ихъ ненарочно, тратитъ, потому что это въ ея природѣ, какъ въ природѣ у птицы—пѣть. Она тратитъ все время, покуда находится въ бодрственномъ состояніи, то-есть начиная съ той минуты, когда она совершила свой утренній туалетъ, и до той, когда облачится въ свой ночной туалетъ. И все, что̀ она ни видитъ передъ собой—все считаетъ подлежащимъ завладѣнію. Ежели глиняную свистульку увидитъ, и той овладѣетъ: не попадайся на глаза! И ежели у нея нѣтъ денегъ, чтобы купить, она возьметъ въ долгъ. И нѣтъ той хитрости, которую бы она не пустила въ ходъ, чтобъ пріобрѣсти деньги или кредитъ. То назоветъ себя княгинею, то солжетъ, что у нея золотые пріиски или рыбная ловля—*là bas*, dans les steppes. Даже наклевещетъ на себя, не постыдится намекнуть, что у нея есть богатый любовникъ. А ежели и за всѣмъ тѣмъ не добудетъ ни наличныхъ, ни кредита, то будетъ проводить время въ *желаніи* тра-

тить деньги, въ *желаніи* дѣлать долги. Хорошо, что природа устроила такъ, что и „куколкамъ“ нуженъ сонъ, отдыхъ, пища, а мода, въ свою очередь, возложила на нихъ обязанность одѣваться и causer avec les messieurs. Еслибы этого не было, онѣ и то время, которое нужно для сна и одѣванья, тоже употребляли бы на то, чтобы тратить. И еще хорошо, что природа лишь до извѣстной степени одарила ихъ глаза способностью разбѣгаться, потому что въ противномъ случаѣ онѣ навѣрное потребовали бы разомъ весь magasin du Louvre. И еслибъ имъ сказали, что это нельзя, такихъ, дескать, денегъ нѣтъ, то онѣ съ четверть часа были бы неутѣшны и затѣмъ отправились бы въ магазинъ „Au bon marché“.

И такую-то „куколку“—въ Клиши! за что? за то ли, что она выполняетъ свое провиденціальное назначеніе? За то ли, что у нея и maman была куколка, и воспитательницы—куколки, и подруги юности—куколки? За то ли, что и у покойнаго ея мужа, штабсъ-ротмистра Неугодова, селезенка играла при одной мысли, что у него въ домѣ будетъ... „куколка“?

Конечно, серьезно быть спутникомъ жизни такой „куколки“ должно быть нѣсколько глуповато; но смотрѣть и млѣть со стороны, или быть штабсъ-ротмистромъ и видѣть, какъ она порхаетъ, какъ все ее радуетъ и все огорчаетъ, и какъ она при этомъ сквозь слезки лепечетъ: „ахъ, я вѣдь совсѣмъ-совсѣмъ глупенькая!“—воля ваша, это высокое эстетическое наслажденіе! Нѣтъ, надо непремѣнно послать Nathalie деньги, и даже какъ можно скорѣе, потому что она, пожалуй, неначочно и фальшивыхъ документовъ надѣлаетъ. Развѣ она знаетъ? развѣ она можетъ что-нибудь взвѣсить, предвидѣть, различить? Nathalie... un coeur d'or!

— Деньги у меня готовы,—произнесъ я твердо.

— Mon oncle! vous êtes un coeur d'or!

— Но съ двумя условіями,—продолжалъ я:—во-первыхъ, мы сегодня обѣдаемъ вмѣстѣ...

— Ахъ, mon oncle—не только обѣдаемъ, но и весь вечеръ, весь день... сколько угодно!

— Во-вторыхъ, мы сейчасъ же редактируемъ вмѣстѣ телеграмму Наташѣ,—разумѣется, отъ твоего имени. Это необходимо выполнить какъ можно скорѣе. Nathalie—милая; но именно поэтому-то она и способна надѣлать глупостей.

Мы присѣли къ столу и соединенными силами редактировали слѣдующее:

„Paris. Grand hôtel

„Nathalie Néougodoff.

„Pâques deux jours banques fermées Aprés demain aurez somme voulue Venez Pétersbourg prison pour dettes abolie Pouvez tout acheter sans payer.

„*Néougodoff*“.

— Ты понимаешь,—сказалъ я, когда депеша была готова:—если ей не пообѣщать, что она можетъ здѣсь покупать безъ денегъ, то она скажетъ себѣ: зачѣмъ же я туда поѣду? Тогда какъ на этихъ условіяхъ ей будетъ навѣрное лестно воротиться на родину.

Но Ѳеденьку вся эта процедура повидимому повергла въ печальное настроеніе.

— Ахъ, maman, maman! — произнесъ онъ, грустно вздыхая.

— Что такое: maman? Maman какъ maman! Не у одного тебя, и у другихъ. Вотъ у твоего школьнаго товарища Самогитскаго, котораго быстрой карьерѣ ты, помнишь, какъ-то разъ позавидовалъ, такъ у него maman прямо на содержаніи живетъ, а онъ не только не груститъ, но даже пользуется этимъ!

— Ахъ, дядя-голубчикъ! вѣдь вы не знаете... Монрепо-то наше ужъ продано!

— Какъ! Монрепо!

— Да, Монрепо... le sabre... то-бишь, les cendres de mon père! Продано, дядя, продано!

— Однако... вы шибко!

— Все продано, больше и продавать нечего, а *она* — то въ Ниццѣ, то въ Парижѣ!.. Повѣрите ли, однажды даже вдругъ въ Систовѣ очутилась... зачѣмъ? И отовсюду шлетъ телеграммы: argent envoyez! А гдѣ я возьму!! Вотъ и теперь: еслибъ не ваша помощь—гдѣ бы мнѣ эти четыре тысячи франковъ добыть!

Сердце мое вновь ёкнуло: плакали, стало быть, мои денежки! Однакожъ, я кое-какъ скрѣпился и произнесъ:

— Ничего, Богъ милостивъ! какъ-нибудь устроитесь!

— Нѣтъ, не устроимся... никогда мы не устроимся, mon oncle! Пробовалъ я ее урезонить и однажды даже совершенно искренно изло-

жилъ всю неприглядность нашего матеріальнаго положенія—и вотъ какой отвѣтъ получилъ. Прочтите.

Ѳеденька вынулъ изъ кармана бумажникъ, порылся въ немъ и подалъ мнѣ вчетверо сложенную бумажку, развернувъ которую, я прочиталъ:

„Неблагодарный сынъ Ѳедоръ!

„Оскорбительное твое письмо получила и заключающимся въ ономъ неумѣстными наставленіями была глубоко возмущена. Но я—мать, и знаю, что есть законъ, который меня защититъ. Законъ сей велитъ дѣтямъ почитать родителей и покоить оныхъ; послѣднимъ же даетъ право непочтительныхъ дѣтей заключать въ смирительныя и иныя заведенія. До сихъ поръ я симъ предоставленнымъ правомъ не пользовалась, но ежели обстоятельства къ оному меня вынудятъ, то повѣрь, что я съумѣю доказать, что и у меня нѣтъ недостатка въ твердости души...

„A toi de coeur

„*Nathalie*“.

„P. S. Au nom du Ciel envoyez au plus vite l'argent que je vous ai demandé“.

Письмо было писано посторонней рукой, но подпись и postscriptum несомнѣнно принадлежали Наташѣ. И что̀ всего замѣчательнѣе: подлѣ ея имени видѣлось размазанное пятно: очевидно, сюда капнула слезка. Стало быть, Nathalie въ одно и то же время и скорбѣла, и понимала, что исполнятъ долгъ. Сердце ея сжималось, слезки капали, но она все-таки подписалась подъ письмомъ... потому что это былъ ея долгъ!

— Слушай!—воскликнулъ я въ изумленіи: — да откуда же она узнала о существованіи смирительнаго дома?

— Стало быть, узнала.

— А что̀ ты думаешь? вѣдь это у нихъ, должно быть, врожденное, то-есть у русскихъ культурныхъ маменекъ вообще. Я помню, покойница матушка—ужъ на что, кажется, любила меня—а разсердится, бывало, сейчасъ: „я тебя въ Суздаль-монастырь упеку!“ Тогда, другъ мой, Суздаль-монастырь родителей утѣшалъ, а теперь,

съ смягченіемъ нравовъ, смирительный домъ явился. Какъ ты думаешь, что̀ лучше?

— Ахъ, mon oncle!

— Я, съ своей стороны, полагаю, что Суздаль-монастырь лучше, потому что, въ сущности, это было нѣчто миѳическое, скорѣе анекдотъ, нежели быль. Смирительный же домъ, особливо при существованіи суда милостиваго и скораго, есть нѣчто конкретное, отъ чего ужъ не отвертишься, коли на то дѣло пошло! Гм... да... Но съ которыхъ же поръ она *симъ* и *онымъ* выучилась?—такъ и сыплетъ!

— Не знаю... Вѣроятно это письмо для нея Дроздовъ написалъ... Помните, у меня воспитатель былъ?

Оеденька сказалъ это и вдругъ весь заалѣлся.

— Длинный такой, точно пожарная кишка?.. Помню, помню! Сколько разъ онъ, бывало, пугалъ меня... Взойдешь невзначай въ комнату, а онъ вдругъ въ углу взовьется, въ знакъ привѣтствія, и сейчасъ же, совсѣмъ неожиданно, пополамъ переломится... Неужели же онъ?

— Онъ, mon oncle. Она его гдѣ-то подъ Телишемъ встрѣтила—онъ туда съ корпіей отъ дамскаго кружка командированъ былъ—и съ тѣхъ поръ по Европѣ возитъ. И всѣмъ рекомендуетъ: „l'ami de feu mon mari“... это Дроздовъ-то! Помните, какъ разъ его покойный папенька нагайками отодралъ... Онъ, mon oncle, онъ! Онъ вѣроятно и деньги у нея выманиваетъ. Voici la vérité... triste vérité, mon oncle!

Оеденька замолчалъ и отвернулся къ окну.

— Ахъ, бѣдный мой! бѣдный!—невольно воскликнулъ я.

— Сколько вреда эти исторіи мнѣ дѣлаютъ, еслибъ вы знали! —продолжалъ онъ, не оборачиваясь ко мнѣ:—наше милое, бѣдное Монрепо...

— Ну, какъ-нибудь... что̀ тутъ! У тебя родныхъ бездѣтныхъ много—не тотъ, такъ другой: я, напримѣръ, первый...

— Благодарю васъ. Но *теперь*... Во-первыхъ, *теперь* я ничего не имѣю... les cendres de mon père!! А во-вторыхъ, развѣ вы думаете, что въ нашихъ „сферахъ“ не знаютъ обо всѣхъ этихъ скандалахъ?

— Ну, этого-то, положимъ, ты опасаешься напрасно. Вѣдь ты велъ себя во всѣхъ отношеніяхъ безукоризненно: ты и Рускину, и

Ковалиху, и Большую Ель, и даже Монрепо—все продалъ полностью и даже всѣ деньги къ maman отослалъ. Что же касается до Дроздова, то это, мой другъ, своего рода крестъ. И ты несешь свой крестъ, и не только не протестуешь, но даже деньги занимаешь. Въ сферахъ, о которыхъ ты говоришь, это называется: piété filiale.

— Но она? вѣдь и объ ней говорятъ!

— Она... что-жъ такое она! Она—куколка, а ты—примѣрный сынъ! Вотъ и все. Куколка—это даже мило!

Наконецъ мнѣ кое-какъ удалось-таки утѣшить его, особливо когда я ему растолковалъ, что земли у Бога много, и что ежели онъ будетъ и впредь оправдывать довѣріе начальства, то несомнѣнно современемъ ухватитъ что-нибудь впустѣ лежащее, но совершенно достаточное для основанія новаго Монрепо.

— А что вы думаете, дядя!—воскликнулъ онъ весело:—вотъ Ворожбецкій-Пѣтухъ, одного выпуска со мной, а ужъ успѣлъ ухватить полторы тысячки черноземцу!

— Ну, вотъ видишь ли! даже примѣръ есть!

Обѣдъ прошелъ очень пріятно. Не было ни ветчины, ни телятины, ничего такого, что̀ напоминало бы о разогрѣтости, о томъ, что обитатели дома сего, благодаря Пасхѣ, осуждены цѣлую недѣлю питаться ветчиной и телятиной. Я замѣтилъ, что Ѳеденьку это пріятно поразило и самымъ благотворнымъ образомъ повліяло на его душевное расположеніе. Благодаря этому, я узналъ отъ него два-три чрезвычайныхъ анекдота, мѣстомъ дѣйствія которыхъ былъ салонъ нѣкоторой дѣвицы Домны Фелистовны Отбойниковой, которая годъ тому назадъ вышла замужъ и нынѣ писалась на визитныхъ карточкахъ такъ: „графиня Поликсена Кириловна Dos Amigos, маркиза Flor di tabacco, Pour la Noblesse“.

— А ты бываешь-таки въ этомъ салонѣ?

— Разумѣется, бываю.

— Ахъ, ахъ, мой другъ!

— Mon oncle! что-нибудь одно: или достигать и, стало быть, ѣздить къ маркизѣ Pour la Noblesse, или не ѣздить къ ней и оставаться всю жизнь столоначальникомъ.

— Что̀ правильно, то̀ правильно. Это такъ.

— У нея—салонъ, въ которомъ всѣ бываютъ, tout Pétersbourg. Она нынче все о событіяхъ послѣдней войны разсуждаетъ.

Говоритъ, напримѣръ, что берлинскій трактатъ ее не удовлетворилъ.

— Ахъ, пакостница!

— Генералами тоже не всѣми довольна: зачѣмъ не взяли Константинополя? И по вопросу о проливахъ, говоритъ, настоящаго рѣшенія не добились.

— И ты все это выслушиваешь?

— Ея нельзя не слушать, mon oncle. Черезъ нее мой товарищъ Крушинцевъ чуть мѣста не потерялъ.

— Какъ такъ?

— Да вотъ какъ. Какъ начались эти толки о проливахъ, слушаетъ она: все Дарданеллъ да Дарданеллъ. Вотъ она отозвала Крушинцева въ сторонку и спрашиваетъ: „скажите, кто этотъ Дарданеллъ?“ А онъ и пошути: „преступникъ, говоритъ, государственный; Россія выдачи его требуетъ, а Турція, по наущенію Англіи, не выдаетъ“. На слѣдующемъ же раутѣ она, разумѣется, и щегольнула: „да скоро ли же, говоритъ, намъ этого господина Дарданелла выдадутъ?“ Ну, картина... Такъ Крушинцевъ послѣ того двѣ недѣли сряду у нея ручки цѣловалъ!

— Простила?

— Простила, потому что въ это время онъ съ ней всю географію прошелъ.

— Ахъ, пакостница!

— Не говорите такъ, mon oncle; она теперь какъ есть „дама“. Одно только: вмѣсто „поколада“, по старой привычкѣ, „щпкалатъ“ говоритъ. И всѣ находятъ, что это очень оригинально.

— Помнишь у Лермонтова:

Ѣмъ мармаладъ,
Пью щикалатъ...

— Вотъ именно. И около нея чуть не цѣлый штабъ. И архистратигъ отставной есть, и „старый дипломатъ“, и даже публицистъ. Этотъ едва-ли даже не главный. Бельомъ, во всю щеку румянецъ, штаны по послѣдней модѣ сшиты, а самъ отчасти тѣломъ, отчасти консервативными убѣжденіями промышляетъ. А она сидитъ между ними и вдохновляетъ.

— Ну, а самого графа Dos Amigos ты когда-нибудь на этихъ раутахъ видалъ?

— Нѣтъ, онъ въ командировкѣ постоянно. Во время войны, въ Плоештахъ ресторанъ содержалъ (она тутъ съ какимъ-то жидомъ-подрядчикомъ пріѣхала, тамъ его и обрѣла), а теперь, слышно, въ Египетъ, къ хедиву отправился. Одни говорятъ, въ качествѣ chef de cuisine, другіе—министромъ финансовъ. И даже будто бы при поддержкѣ Англіи.

— Однако, братъ, это въ родѣ фееріи что-то.

— Нынче и все феерія, mon oncle. У насъ въ курсѣ нѣкто Харченковъ былъ, никакъ не могъ именованныхъ чиселъ понять, а теперь гдѣ плохо лежитъ — онъ ужъ и тутъ. Такъ раскидываетъ умомъ, что чудо!

— Неужто тебя эти иллюстраціи не тревожатъ?

— А что-жъ мнѣ? Я и съ нимъ... Пообѣдаю, выпью—ничего! Онъ вино прямо отъ Шато-Лафита выписываетъ; такъ и говоритъ: „у меня, братъ, съ самимъ Шато-Лафитомъ условіе“... Онъ какъ прослышитъ, что у Егарева въ Демидрошкѣ примѣры появились — сейчасъ туда: „мадамъ, вуле-ву сто рублей?.. ну, двѣсти?.. айда!“ А кромѣ того, у него и кругъ знакомства обширный, всѣхъ тамъ встрѣтишь. Ѣшь, пьешь, а между прочимъ и связи завязываешь.

— Слушай! да ты не врешь ли?

— Не вѣрите? не хотите ли, я васъ свезу къ нему? Не съ визитомъ, а прямо обѣдать. Онъ будетъ радъ, скажетъ: „аншанте“. А когда вы будете уходить, онъ и напредки пригласитъ: „вене, когда вздумается: запросто, ань сюрту“. Право, хотите—свезу!

— Нѣтъ, что ужъ! старъ я, да и скучно вѣдь шататься по постоялымъ дворамъ.

— Право, не скучно. А впрочемъ, мнѣ вообще нигдѣ не скучно; даже въ засѣданіяхъ благотворительныхъ обществъ, и тамъ я интересное нахожу.

— Это гдѣ дамочки-то?

— Разумѣется: кто же бы меня безъ дамочекъ туда заманилъ!

— А не бываетъ тамъ Дарданелловъ?

— Буквально—нѣтъ, но въ родѣ того. Впрочемъ, откровенно вамъ скажу, я въ этомъ отношеніи реалистъ: на Дарданеллы не обращаю вниманія, а больше принимаю въ расчетъ тѣлеса. Руководствуясь этимъ, я дамочекъ раздѣляю на два разряда: на хорошенькихъ и нехорошенькихъ. Съ „хорошенькими“, если даже онѣ и не вполнѣ чи-

сто географію знаютъ, мнѣ весело, а съ „*не*-хорошенькими“—скучно, хотя бы онѣ самого Ксенофонта въ подлинникѣ прочитали. И нынѣче всѣ мы таковы, вся порядочная молодежь. Конечно, и между нами найдутся такіе, которые будутъ утверждать, что имъ умные разговоры нужны, да это больше для шику. У дамочекъ личико, грудка, ножки, ручки—вотъ главное! Безъ разговоровъ!

— Погоди! женишься, такъ и разговора запросишь!

— Я, дядя, не женюсь. Я знаю, что вмѣстѣ жить безъ разговора нельзя, но знаю также, что разговоръ выйдетъ непремѣнно неудачный. Стало быть, не для чего и пробовать. Притомъ же я умные-то разговоры эти знаю.

— Случалось?

— Знаю. Однажды меня m-me Голумбецкая (вотъ, дядя, дамочка-то—пальчики оближете!) пригласила: „пріѣзжайте, говоритъ, въ четвергъ вечеромъ: у насъ одинъ знаменитый сербъ объ турецкихъ непстовствахъ разсказывать будетъ“. Пріѣхалъ. Въ гостиной—серьезно, тихо, чинно, сидитъ братушка на диванѣ и разсказываетъ; слышится: на колъ, на колъ, на колъ; les messieurs слушаютъ и зѣваютъ въ руку; дамочки стараются смотрѣть на чтеца и думаютъ: да когда же, наконецъ, „кувыркомъ“ будетъ? И вотъ, въ эти-то торжественныя, но унылыя минуты я и покорилъ сердце m-me... ну, все равно, чье бы тамъ ни было.

— Браво, Ѳедя! Но возвратимся къ вопросу о женитьбѣ. Еслибъ, напримѣръ, съ капитальцемъ барышня нашлась... ну полмилліона, милліонъ?..

— Какъ вамъ сказать? кажется, что и на такой не женюсь. Потому что вѣдь съ этими капиталистками одно что-нибудь: либо черезъ нѣсколько мѣсяцевъ отъ милліона ни пера не останется; либо къ милліону начнутъ другой прикапливать, и тогда пойдутъ дрязги, учеты, подозрѣнія, утаиваніе денегъ у самихъ себя... фуй! Мнѣ, mon oncle, нужно карьеру сдѣлать, и развѣ ужъ тогда, когда все какъ слѣдуетъ обозначится... ну, тогда—быть можетъ...

— Ѳедя! знаешь ли ты, что чѣмъ больше я тебя слушаю, тѣмъ больше удивляюсь: откуда у тебя такая ума палата?

— Да, mon oncle, несмотря на мои двадцать-четыре года, я знаю женщинъ, и могу сказать это съ увѣренностью. Женщина—это изумительное созданіе! Она неоцѣненна—какъ пирожное, но какъ

pièce de résistance—совѣмъ не годится. Чувствовать себя навсегда связаннымъ съ женщиной—это одно изъ величайшихъ жизненныхъ неудобствъ. Ежели она зла—то злостью убьетъ, ежели добра—добротой убьетъ. Ежели она невѣжественна—отравитъ жизнь наивностями: ежели начитанна и нѣчто знаетъ—доймѣтъ умными разговорами. Поэтому жениться слѣдуетъ только въ такія лѣта, когда ни злость, ни доброта, ни невѣжественность, ни начитанность—ничто ужъ не дѣйствуетъ.

— Ѳеденька! другъ мой! сейчасъ я сказалъ, что ты уменъ, а теперь прибавлю, что ты даже больше нежели уменъ: ты, такъ сказать, вредоносно уменъ! Вдомёкъ ли тебѣ, что ты просто-на-просто всякое общежитіе упраздняешь? Да. Вѣдь, по твоему, счастливо можно прожить только такъ: съ однимъ пообѣдать, съ другимъ выпить, съ третьимъ объ имѣющемся въ виду мѣстечкѣ побесѣдовать, а съ дамочками—сквернословить и срывать цвѣты наслажденія. И нигдѣ нѣтъ пріюта, и вездѣ пріютъ есть—вотъ, по твоему, какъ! Удобнѣе этого, право, никакая интернаціоналка не выдумаетъ! Исполать тебѣ, другъ мой! Это именно самая современная, самая подходящая жизненная программа, и съ нею ты навѣрное преуспѣешь. Нынче ищутъ такихъ опричниковъ, которые освободили себя отъ всѣхъ обязательствъ общежитія; ими дорожатъ, имъ однимъ вѣру даютъ. И ежели ты примѣнишь свою программу къ болѣе обширнымъ сферамъ дѣятельности, то успѣху твоему конца краю не будетъ. Дерзай, голубчикъ, дерзай!

Ѳеденька взглянулъ на меня и повидимому изумился.

— Кажется, я васъ огорчилъ, mon oncle?—спросилъ онъ не то сконфуженно, не то иронически.

— Нимало, голубчикъ! Конечно, твоя программа не симпатична мнѣ. Я не понимаю трактирной жизни и не люблю случайныхъ знакомствъ, но вѣдь это во мнѣ застарѣлое, непригодное, такъ сказать—дворянско-ипохондрическое. Я знаю, что я человѣкъ отсталый и что мои симпатіи или антипатіи для тебя не могутъ быть обязательными. Ты—homo novus, и кодексъ у тебя новый. А такъ какъ это кодексъ дѣйствующій и безъ него можно только прятаться отъ жизни—вотъ какъ я—а не преуспѣвать въ ней, то ты, разумѣется, поступаешь вполнѣ цѣлесообразно, посѣщая рауты маркизы Pour la Noblesse и пользуясь гостепріимствомъ господина Харченкова. Кстати: ты давеча

объ хедивѣ египетскомъ говорилъ — тебѣ никогда не приходило на мысль предложить ему свои услуги?

— Какой странный вопросъ, mon oncle?

— Вопросъ самый интернаціональный и, слѣдовательно, самый подходящій. Переходя изъ трактира въ трактиръ, почему же не зайти и къ хедиву перехватить? Впрочемъ, я очень радъ, что ты нашелъ мой вопросъ страннымъ. Не ѣзди туда, Ѳедя! У насъ свой пирогъ обширный — всѣмъ мѣсто найдется. La patrie — avant tout. И еще: à tous les coeurs bien nés que la patrie est chère!.. помнишь? Оружуй дома, не ѣзди ни къ хедиву, ни къ Донъ-Карлосу, ни къ Наполеоновой вдовѣ. Христосъ воскресъ! поцѣлуемся!

Обѣдъ кончился, мы поцѣловались и, обнявшись, направились въ кабинетъ.

Я помнилъ однакожъ, что желалъ видѣть у себя Ѳеденьку совсѣмъ не для того, чтобъ пожертвовать въ пользу господина Дроздова четырьмя тысячами франковъ и чтобы выслушать два-три сомнительнаго свойства анекдота. Во-первыхъ, я хотѣлъ знать, какъ Ѳеденька полагаетъ поступить съ Россіей въ случаѣ производства его въ генеральскій чинъ, и буде намѣренія его окажутся слишкомъ жестокими, то по родственному предостеречь; во-вторыхъ, меня ужасно интриговало: что̀ такое за коммиссія, въ которой онъ до того зарылся съ какимъ-то загадочнымъ Иваномъ Михайлычемъ, что даже для меня, своего дяди, дверь заперъ?

Повторяю: я — литераторъ, и потому боюсь. Мысль, что всякая коммиссія имѣетъ въ предметѣ непремѣнно литературу, и что все остальное, значащееся въ заголовкѣ, служитъ лишь для украшенія этого заголовка, но, въ сущности, представляетъ лишь поводъ для литературной критики — эта мысль совсѣмъ не произвольная, но именно каждому литератору свойственная. Мнѣ скажутъ, что каждая коммиссія производитъ свой плодъ, осуществляемый въ „Трудахъ“ — вотъ-молъ и переплетенные томы „Трудовъ“ на-лицо! полюбуйтесь! — но и это не разувѣритъ меня. Мнѣ кажется, что эти „Труды“ суть не болѣе какъ результатъ усерднаго наклеиванія газетныхъ и другихъ вырѣзокъ на картоны, а что настоящую, живую работу коммиссіи слѣдуетъ искать совсѣмъ не тутъ, а въ тѣхъ дружескихъ и повидимому побочныхъ собесѣдованіяхъ, которыя одни и приносятъ практическій плодъ. Это — собесѣдованія случайныя, безсистемныя, но литература

наша такъ болѣзненно чутка, что какъ только запахнетъ въ воздухѣ подобными собесѣдованіями, она какъ-то сама собой сожмется и вдругъ изъ просто-эзоповскаго тона переходитъ въ сугубо-эзоповскій. И ежели вы при этомъ замѣчаете, что московскія кликуши начинаютъ выкликать всѣмъ голосомъ, а петербургскіе трудолюбцы выступаютъ на сцену съ иносказаніями и оправданіями, то это навѣрное означаетъ, что гдѣ-нибудь кто-нибудь какъ-нибудь выразился...

— Въ какой это ты коммиссіи цѣлыхъ три мѣсяца такъ усердно работалъ, что и доступу къ тебѣ не было?—спросилъ я.

— Я занимался въ послѣднее время въ трехъ коммиссіяхъ,—отвѣтилъ Ѳедя:—но одна изъ нихъ бездѣйствуетъ, за невозможностью изъяснить, въ чемъ заключается предметъ, подлежащій ея разработкѣ; другая тоже бездѣйствуетъ, за недоставленіемъ отъ одного изъ корреспондентовъ свѣдѣній, что̀ разумѣлъ онъ, говоря, что „со времени крестьянской эмансипаціи отечественное земледѣліе вступило въ знакъ Рака“, и наконецъ въ третьей — идетъ теперь усиленная работа.

— А въ чемъ же задача этой третьей коммиссіи?

— По первоначальному плану она должна была разрѣшить вопросъ о мѣрахъ, которыя необходимо принять на случай могущаго быть свѣтопреставленія; но, съ развитіемъ работъ коммиссіи, послѣдовали такія неожиданныя осложненія, что въ настоящее время трудно даже опредѣлить, къ какимъ развѣтвленіямъ мы можемъ придти и которое изъ нихъ окажется болѣе существеннымъ, чтобы сообщить нашимъ трудамъ окончательное направленіе.

— Но вѣдь въ такомъ случаѣ возможно, что и эту коммиссію постигнетъ та же участь, какъ и первую?

— Нѣтъ, mon oncle, этого не будетъ. Мы слишкомъ проникнуты важностью предстоящихъ намъ задачъ, чтобы допустить малѣйшую остановку въ нашихъ изысканіяхъ.

— А ну-ка, признавайся: навѣрное и объ литературѣ идетъ рѣчь?

— Въ настоящую минуту могу сказать вамъ только одно: рѣшено предложить г. Майкову написать на случай свѣтопреставленія гимнъ.

— Нѣтъ, я не объ этомъ. Я объ литературѣ... какъ съ ней предполагается поступить?

Однакожъ Ѳеденька очевидно почувствовалъ себя неловко при этомъ вопросѣ. Онъ слегка заалѣлся, замялся и, наконецъ, отвѣтилъ:

— Извините меня, дядя, но при настоящемъ положеніи работъ коммиссіи я не могу отвѣтить на вашъ вопросъ.

— Стало быть, что-нибудь да есть?

— И на это ничего не могу вамъ сообщить.

— Знаешь ли, однако, что твоя таинственность просто непристойна. Стряпаешь ты тамъ втихомолку что-то съ какимъ-то Иваномъ Михайлычемъ... Меня-то помилуешь-ли?

— Mon oncle!

— Да ты хоть обинякомъ намекни, что̀ такое ты стряпаешь! Ну, лишить-молъ... Я и пойму!

— Вотъ видите ли, дѣйствительно... Но нѣтъ, клянусь вамъ. голубчикъ-дядя, не могу!

— Слѣдовательно я такъ и не узнаю?

— Вотъ что̀, mon oncle. Черезъ двѣ недѣли будетъ докладъ, и тогда наши члены навѣрное разболтаютъ... Въ то время я явлюсь къ вамъ и охотно сообщу все, что̀ вы пожелаете.

На этомъ разговоръ прекѣкся. Я въ нѣсколько пріемовъ пытался изложить мои мысли насчетъ значенія литературы въ жизненномъ процессѣ страны, а равно и о томъ, какія вредныя послѣдствія можетъ оказать жестокое обращеніе съ нею, но Ѳеденька каждый разъ останавливалъ меня восклицаніемъ:—Послѣ, mon oncle, послѣ. Двѣ-три недѣли — право, это недолго! — Очевидно, онъ опасался. чтобъ я не развратилъ его.

. . . . . .

И такимъ образомъ день кончился для меня неудачею.

Первое мая.

Апрѣль былъ ужасенъ. Это былъ мѣсяцъ какой-то неизобразимой шашки. Все вдругъ замутилось, заметалось, не вѣрило ни ушамъ. ни глазамъ. И сквозь всю эту смуту явственно проходила одна струя: homo homini lupus. Говорилось, выкрикивалось и даже печаталось нѣчто невѣроятное, неслыханное. Мало было оцѣпенѣнія, въ которое

погрузилось общество; нашлись охочіе люди, которые припомнили свои личные счеты и спѣшили дисконтировать ихъ въ формѣ извѣщеній и угрозъ. Почва колебалась подъ ногами; завтрашній день представлялся загадкою; исчезало всякое мѣрило для оцѣнки поступковъ другихъ лицъ; становилось невозможнымъ или, по крайней мѣрѣ, рискованнымъ презирать завѣдомо зазорныхъ людей. Казалось, нѣтъ уголка, въ которомъ назойливо, не переставая, на всѣ тоны, не звучала одна—вездѣ одна и та же — мысль: что̀ будетъ дальше? Эта безплодная, безъ содержанія мысль задерживала всякую дѣятельность, забивала умъ, чувство, волю и вызывала наружу худшіе инстинкты человѣка, отъ малодушія до вѣроломства включительно. Люди слабодушные отыскивали на днѣ совѣсти что-нибудь постыдное и держались за это постыдное, какъ за якорь спасенія. И въ довершеніе всего — московскія кликуши, отъ внутренняго ликованія, словно сбѣсились.

Въ послѣднія двадцать, двадцать-пять лѣтъ чувство человѣчности сдѣлало несомнѣнные успѣхи въ обществѣ—это фактъ, который оспорить нельзя. Можетъ быть, оно не имѣетъ крупныхъ и высоко-талантливыхъ выразителей, какъ въ сороковыхъ годахъ, но оно разлилось въ массѣ общества, обмірщилось, сдѣлалось какъ бы естественной подкладкой общественныхъ порываній и отношеній. Забылось или почти забылось крѣпостное право (внѣшнія его формы даже возстановить дѣлается съ каждымъ годомъ труднѣе и труднѣе), стали забываться келейный судъ и патріархально-кулачная полицейская расправа; начали проявляться попытки самодѣятельности; однимъ словомъ, періодъ одичанія казался близкимъ къ концу. И вдругъ это самое чувство человѣчности, о которомъ думалось, что оно сдѣлалось уже лозунгомъ жизни, является преступленіемъ. „Не человѣчность нужна, а ненависть!“ оскаливая зубы, печатно вопіютъ доктринеры бараньяго рога и ежовыхъ рукавицъ... Какое время!

Само собой разумѣется, что среди этой суматохи я всего менѣе могъ разсчитывать на свиданіе съ Ѳеденькой. Правда, что я не разъ видѣлъ, какъ онъ мелькалъ въ наемной коляскѣ по Невскому, но лицо его смотрѣло такъ озабоченно, что, конечно, я и претендовать не могъ, чтобъ онъ замѣтилъ меня. Однакожъ однажды какъ-то слу-

чайно онъ остановилъ на мнѣ свой взоръ, и въ то же время, какъ я посылалъ ему на встрѣчу воздушный поцѣлуй, онъ поднялъ правую руку и показалъ мнѣ всѣ пять перстовъ. Тогда я не выдержалъ и махнулъ ему, чтобъ остановился.

— Кромѣ прежнихъ трехъ, еще въ пяти! — воскликнулъ онъ съ торжествомъ, когда я подошелъ къ экипажу.

Конечно, я недоумѣвалъ.

— Въ пяти... коммиссіяхъ! — пояснилъ онъ, и при этомъ указалъ рукой на горло: вотъ, дескать, гдѣ оно у меня сидитъ!

— А когда же ко мнѣ?

— Не могу и даже не предвижу. И дома почти не бываю. Однимъ словомъ—вотъ!

Онъ опять указалъ на горло, и вдругъ совсѣмъ неожиданно выпалилъ:

— А литература-то ваша... какова! а?

И съ этими словами исчезъ, словно провалился сквозь землю.

Цѣлыхъ двѣ недѣли послѣ этой встрѣчи я мучился. Самъ по себѣ Ѳеденька, конечно, не Богъ знаетъ какая птица, но онъ—эхо, онъ—pique assiette внутренней политики; это несомнѣнно. Что такое онъ сказалъ? кажется, про литературу упомянулъ... да! Что такое случилось! отъ кого, отъ кого онъ слышалъ? Ужели приспособляется какая-нибудь связь, что-нибудь солидарное, общее?

Я вспомнилъ „разбойниковъ печати“ и „мошенниковъ пера“, вспомнилъ не потому, чтобы эти выраженія, въ минуту ихъ появленія, произвели на меня впечатлѣніе, а потому, что все кругомъ располагало къ подобнымъ воспоминаніямъ. Въ свое время эти потуги заклеймить живыя силы русской литературы какимъ-нибудь, хоть завѣдомо клеветническимъ, но хлёсткимъ словомъ, казались мнѣ просто безсильными и ничтожными, но теперь, въ эти тяжелыя минуты, выросли и онѣ.

Я понимаю, впрочемъ, что успѣхъ, полученный нѣкогда изобрѣтеніемъ „нигилизма“ (римскій папа—и тотъ прельстился этимъ словомъ, и въ одной изъ энцикликъ, въ числѣ прочихъ отщепенцевъ римской церкви, поименовалъ и нигилистовъ“), не даетъ спать нашимъ этимологамъ-блюстителямъ литературной невинности. Хочется и имъ нѣчто свое придумать. Что-нибудь усугубляющее, такое, что умерщвляло бы мгновенно, безъ объясненій, что всюду распространяло

бы ненависть и подозрѣніе, и только ихъ однихъ, злонхательныхъ этимологовъ, утѣшало и угобжало. Хочется... и ничего не выходитъ. Почему не выходитъ? А потому, милостивые государи, что у насъ въ запасѣ есть только безконечная злоба, а нѣтъ ни пониманія требованій публики, къ которой вы обращаетесь, ни талантливости въ дѣлѣ изобрѣтенія выдумокъ.

„Нигилизмъ“ былъ своего рода откровеніемъ. Во-первыхъ, эта кличка привлекла всѣ сердца своею краткостью, а во-вторыхъ она дала возможность людямъ толпы сваливать въ одну кучу все лично для нихъ непріятное, тревожащее, не соотвѣтствующее ихъ личному темпераменту и т. д. Видя попытки критически отнестись къ дѣйствительности, эти люди пугались, сомнительно покачивали головами и не знали, примкнуть ли имъ, или попробовать отразить. И вотъ, въ эти минуты сомнѣнія, когда ужъ чуть-было они не рѣшились „примкнуть“. явился на выручку „нигилизмъ“. И коротко, и даже почти ясно. „Nihil“—вѣдь это. кажется, „ничто“?—ну, такъ и есть! Возьми „ничто“, посѣй на немъ „ничто“—конечно, выйдетъ „ничто“. Прекрасно... вотъ это прекрасно! Съ тѣхъ поръ эти господа успокоились и на всякій болѣе или менѣе тревожнаго свойства запросъ отвѣчали заранѣе намѣченнымъ рѣшеніемъ: „э, батюшка, это все нигилизмъ!“

Словомъ сказать, „нигилизмъ“—это то же самое, что нѣкогда и столь же удачно клеймилось кличками: „фармазонъ“ и „волтерьянецъ“. Мы, потомки, конечно, смѣемся надъ этими кличками, но очень можетъ статься, что современники чувствовали себя не особенно ловко, когда обращались ad hominem: а нутка, имярекъ, фармазонъ! отвѣтствуй!

Сравните съ этими не вполнѣ осмысленными, но все-таки хлесткими (талантливость впрочемъ ничего другого и дать не можетъ) кличками какихъ-нибудь „разбойниковъ пера“ или „мошенниковъ печати“ — какая неизмѣримая разница! И длинно, и неуклюже, и вяло, и что̀ важнѣе всего — не отвѣчаетъ никакой потребности. Никому не надобны эти выраженія, никто не понимаетъ, для чего они явились, и стало быть никто не будетъ ихъ и употреблять. Ни римскій папа не украситъ ими будущихъ энцикликъ, ни иностранная печать не упомянетъ о возникновеніи въ Россіи новой вредной секты подъ названіемъ „les razboïniki pétchati“. Ни консерваторы, ни профес-

сора, ни предводители дворянства, ни столоначальники — никто. Развѣ что вотъ особливый случай какой-нибудь выйдетъ...

„Случай“ — вотъ это такъ. Обильна, ахъ, какъ обильна сдѣлалась за послѣднее время русская жизнь этими „случаями“! И все какъ-то литературу они задѣваютъ. Идетъ себѣ литература обычнымъ скромнымъ ходомъ, убѣжденная, что для всякаго ясно, что процессъ литературнаго мышленія представляетъ нѣкоторыя особенности, отличныя отъ процесса мышленія канцелярскаго служителя, а изъ-за угла ее стережетъ „случай“. Она наивно думаетъ, что ничто человѣческое ей не чуждо, что всѣ явленія вещественнаго и духовнаго міра обязательно подлежатъ ея изслѣдованію — и вдругъ врывается нѣчто непредвидѣнное и съ злобною пронією шипитъ: я именно и есть тотъ самый „случай“... Наконецъ, она позволяетъ себѣ мечтать, что даже ошибки и заблужденія не могутъ быть, безъ явной несправедливости, вмѣняемы ей въ вину, потомъ что онѣ представляютъ собой составную часть ея изысканій — какъ бы не такъ! приходитъ „случай“ и изрекаетъ: блуждать и заблуждаться не разрѣшается...

Такъ вотъ въ такія-то минуты, когда человѣкъ стоитъ лицомъ къ лицу съ „случаемъ“, и припоминаются всѣ эти „разбойники печати“ и „мошенники пера“. И при воспоминаніяхъ этихъ становится жутко, потому что приходится убѣдиться, что дѣйствительно въ печати существуютъ и разбойники, и мошенники, и клеветники, и что, стало быть, литература — не совсѣмъ тотъ храмъ, при видѣ котораго бьются чистыя и честныя сердца и безъ котораго міръ былъ бы постылъ и безславенъ...

. . . . . .

Ѳеденька явился ко мнѣ совсѣмъ неожиданно — 1 мая. Онъ воспользовался тѣмъ, что въ этотъ день коммиссіи отправились гулять въ Екатерингофъ, и вспомнилъ обо мнѣ.

— Вотъ и я! — весело сказалъ онъ, входя ко мнѣ въ кабинетъ: — но предупреждаю васъ, дядя, что теперь, больше чѣмъ когда-нибудь, скромность для меня обязательна.

— Гм... стало быть...

— Да! но я думаю, что найдется однакожъ почва, на которой мы оба будемъ чувствовать себя одинаково удобно. Это почва общихъ вопросовъ — не такъ ли, mon oncle?

— Изволь, мой другъ. Мы будемъ ставить вопросы, станемъ обсуждать ихъ независимо отъ условій времени и мѣста, и затѣмъ...

— Затѣмъ, если вы найдете нужнымъ вывести интересующія васъ критическія заключенія, то, въ виду высказанныхъ общихъ соображеній, это не представитъ для васъ особеннаго труда, и не прибѣгая къ моему содѣйствію.

Въ эту минуту Ѳеденька былъ очень хорошъ. Придумавши эту комбинацію, онъ, я увѣренъ, мнилъ себя Талейраномъ, которому ничего не будетъ стоить и вопросъ о проливахъ разрѣшить, а ежели потребуется, то и туркину жизнь навсегда прекратить.

— Итакъ, прежде всего поставимъ вопросъ о литературѣ,— началъ я:—какъ, по твоему мнѣнію, украшаетъ она, или не украшаетъ?

— Гм... это смотря по тому...

— Стало быть ты сомнѣваешься. Или, собственно говоря, тебѣ очень хотѣлось бы отвѣтить: „нѣтъ, не украшаетъ", но совѣстно. Не потому совѣстно, что ты припоминаешь басню: „Сочинитель и Разбойникъ", которая самымъ существованіемъ своимъ доказываетъ, что заслугъ литературы оспорить нельзя, а просто потому, что, отрицая литературу, тебѣ носу никуда показать будетъ нельзя. Даже дамочки отвернутся отъ тебя, ибо и онѣ понимаютъ, что неприлично и скучно по цѣлымъ часамъ только жестикулировать, но надо по временамъ и поговорить. И поговорить не объ лишеніи правъ состоянія, а объ Дюма-фисѣ, о Беллѝ, о Монтепенѣ, то-есть все-таки объ литературѣ. Вотъ почему ты запинаешься и говоришь: „смотря по тому"... Я же говорю не запинаясь и безъ оговорокъ: да, литература украшаетъ. Она украшаетъ, потому что служитъ воплощеніемъ всѣхъ духовныхъ силъ страны, и ежели ея нѣтъ, то это значитъ, что духовныя силы находятся въ отсутствіи или лежатъ глубоко подъ спудомъ. Общество, не имѣющее литературы, не сознаетъ себя обществомъ, а только безпорядочнымъ сбродомъ индивидуумовъ: страна, лишенная литературы, стоитъ внѣ общей міровой связи и привлекаетъ любопытство лишь въ качествѣ диковины; объ государствѣ и говорить нечего: оно немыслимо безъ литературы уже по тому одному, что самымъ происхожденіемъ своимъ обязано литературѣ. Вотъ у готтентотовъ нѣтъ ни письменъ, ни сказаній, ни даже пѣсень; есть только преданіе, что была когда-то какая-то книга, да ее корова съѣла: по этому го-

тому-то въ этомъ племени такъ мало устойчивости, что недалеко время, когда оно и само, быть можетъ, сдѣлается преданіемъ. Какимъ же образомъ общество, страна, государство могутъ призывать къ своему суду литературу, когда они всѣмъ ей обязаны, кругомъ ею облагодѣтельствованы?

— Но вѣдь никто и не отрицаетъ, mon oncle, что литература —одна изъ необходимыхъ функцій общественнаго и государственнаго организма...

— Не „одна изъ функцій“, а главная и единая, заключающая въ себѣ неоскудѣвающій источникъ жизни. Все, что ты ни видишь кругомъ, все, чѣмъ ты пользуешься—все это дала тебѣ литература. Квартира, въ которой ты живешь, пиджакъ, который надѣтъ на твоихъ плечахъ, чай, который ты сію минуту пьешь, булка, которую ты ѣшь—все, все идетъ оттуда. Еслибъ не было литературы, этого единственнаго сборнаго пункта, въ которомъ мысль человѣческая можетъ оставить прочный слѣдъ, ты ходилъ бы теперь на четверенькахъ, обросшій шерстью, лакалъ бы болотную воду, питался бы сырыми злаками и акридами. Но предположимъ, что это исторія давнишняя, прослѣдить которую трудно; но даже и помимо будничныхъ удобствъ, принимаемыхъ безсознательно, просто какъ совершившійся фактъ—даже помимо ихъ, всѣ удобства, наслажденія и утѣшенія высшаго разряда, все, чего требуетъ пытливость ума, развитость вкуса, чуткость чувства—все это, опять-таки, идетъ оттуда, а не изъ циркуляровъ и предписаній, какъ бы послѣдніе ни были въ своей сферѣ полезны. Всѣ знанія, которыми ты обладаешь, даны тебѣ литературой; всѣ понятія, сужденія, правила, все, чѣмъ ты руководишься въ жизни, все выработано ею. Даже понятіе о неблагонамѣренности литературы—и то ты почерпалъ изъ нея, а никакъ не додумался бы до него непосредственно, потому что, повторяю, безъ литературы ты ходилъ бы на четверенькахъ и лакалъ бы болотную воду. Какъ это ни странно покажется для тебя, но безъ литературы не существовало бы ни живописи, ни музыки, ни искусствъ вообще, потому что она все разложила—и свѣтъ, и звукъ—и она же все сочетала. Не будь того свѣточа, который она всюду приноситъ съ собой, и звуки, и краски, и линіи—все было бы смѣшеніе, хаосъ. Даже техника искусствъ—и та обязана тою или другою степенью своего совершенства посредничеству литературы, потому что

искусство само по себѣ нѣмо и разъединено; одна литература имѣетъ привилегію „гласить во всѣ концы“, она одна имѣетъ даръ всѣхъ соединять подъ сѣнію своею, всѣмъ давать возможность вкусить отъ сладостей общенія.

Я остановился, потому что Ѳеденька смотрѣлъ на меня во всѣ глаза и какъ-то блаженно улыбался.

— Ah, mon oncle!—воскликнулъ онъ:—vous avez un style... клянусь, я заслушался!

Замѣчаніе это слегка смутило меня — въ самомъ дѣлѣ, я, кажется, черезъ-чуръ что-то расшѣлся!—но такъ какъ рѣчь была ужъ заведена, то прерывать ее я уже не счелъ полезнымъ.

— Ну, какой есть, не взыщи!—сказалъ я:—и будемъ продолжать. Стало быть, опера, которою ты наслаждаешься, картина, которую ты съ восхищеніемъ созерцаешь — все это дала тебѣ литература. Мало того: она дала тебѣ возможность различать добро отъ зла; она выработала для тебя условія общежитія, научила тебя распознавать, что у тебя есть отечество. Кто повѣдалъ тебѣ:

И дымъ отечества намъ сладокъ и пріятенъ?..

Откуда ты узналъ:

О Россъ! о родъ непобѣдимый!
О твердокаменная грудь!?

Все оттуда же, изъ этой постылой литературы, которая всякую потребность предусмотрѣла и на всякую отвѣтъ дала. Все тамъ сказано, все запечатлѣно навсегда, дабы снять покровы съ твоей умственной дремоты и дать тебѣ возможность умилиться духомъ и обратиться къ своей совѣсти! О, Ѳедя! ужели всего этого мало, чтобы заслужить вѣчную признательность, вѣчное удивленіе и устранить всякую мысль о жестокомъ обращеніи?

— Но развѣ кто-нибудь споритъ...

— Позволь. Но и этого всего мало. Снисходя къ твоей слабости, литература допустила для тебя возможность находить удовольствіе въ обществѣ „дамочки“, кокотки“, и т. д. Эту кокотку—кто тебѣ приподнесъ? эту „дамочку“—кто тебѣ сформировалъ? Кто воззвалъ отъ ничтожества Дюма-фиса, Белло, Монтепена? Кто сказалъ имъ, указывая на тебя: вотъ малый, который безъ „дамочки“ не будетъ знать, какъ съ собой поступить—имѣйте это въ виду на пред-

метъ зависящаго съ вашей стороны распоряженія!? Предположимъ, что это услуга не особенно цѣнная; но не будь ея—ты бѣгалъ бы за какой-нибудь хавроньей, и тѣ пакости, которыя ты теперь объясняешь такимъ изящнымъ французскимъ языкомъ, ты выражалъ бы простымъ хрюканьемъ. Ужели и это не заслуживаетъ твоей признательности?

— Mon oncle! вы очень удачно соединили въ одинъ фокусъ тѣ услуги (послѣднюю, я, конечно, принимаю какъ шутку), которыя оказывала и продолжаетъ оказывать литература обществу. Но вы упустили изъ вида одно обстоятельство, которое, съ точки зрѣнія государственности имѣетъ однакожъ несомнѣнно важное значеніе. Вы не упомянули о заблужденіяхъ. Найдете ли вы возможность утверждать, что литература—не всегда, конечно, но очень нерѣдко—не служитъ проводникомъ заблужденій въ обществѣ?

— На это прежде всего повторяю тебѣ, что литература имѣетъ право допускать заблужденія, потому что она же сама и поправляетъ ихъ. Но кромѣ того она и потому не можетъ относиться къ заблужденіямъ съ желаемою щепетильностью, что они, такъ сказать, составляютъ подготовительный процессъ той работы, въ результатѣ которой оказывается истина. Истина—не кладъ, случайно находимый въ полѣ, и не болидъ, падающій съ неба совсѣмъ готовымъ; она дается ищущему цѣною величайшихъ жертвъ и усилій, *иныхъ заблужденій*. Кто не искалъ истины, тотъ, конечно, не заблуждался. Исторія всѣхъ величайшихъ открытій и изобрѣтеній засвидѣтельствуетъ это. Ты скажешь, быть можетъ, что никто и не протестуетъ противъ заблужденій, въ результатѣ которыхъ явились: типографскій станокъ, желѣзная дорога, сила пара и т. д., а протестуютъ, дескать, противъ заблужденій изъ міра мечтательнаго, идеальнаго, безплодно волнующихъ общество и не приносящихъ никакихъ осязательныхъ улучшеній. Но первая половина этого возраженія положительно несправедлива: ни одно великое открытіе не явилось въ міръ безъ протеста, безъ насмѣшекъ, безъ злорадства. Что же касается до заблужденій второго рода, то ты имѣлъ бы основаніе тогда только указывать на нихъ, еслибъ была какая-нибудь возможность дверь въ область идеальныхъ интересовъ представить себѣ запертою. Но природа сама держитъ ее открытою, сама внушаетъ человѣку одинаковую склонность какъ къ матеріальнымъ, такъ и къ духовнымъ инте-

ресамъ—слѣдовательно можетъ ли литература, безъ насилія, безъ бунта, разгородить эти двѣ области? Да вѣдь и тутъ, въ этомъ идеальномъ мірѣ, не все же безплодіе, не все же броженіе и смута: бываютъ и такіе осязательные результаты, которые на цѣлые вѣка даютъ исторіи человѣчества другой характеръ. Вотъ, напримѣръ, ты охотно признаешь современныя формы общежитія, стоишь за нихъ горой и вообще не нахвалишься ими; но развѣ онѣ не считались въ свое время заблужденіями? развѣ ты былъ бы коллежскимъ совѣтникомъ на зарѣ твоей жизни, еслибы не существовало до тебя людей, которые цѣною горчайшихъ испытаній очистили путь для табели о рангахъ? Ахъ, другъ мой! другъ мой! трудно вѣдь жить безъ интересовъ идеальнаго міра, такъ трудно, что, за недостаткомъ настоящаго свѣта, человѣкъ хоть сальную свѣчку засвѣтитъ и поставитъ передъ собой!

— Ахъ, дядя, вы не поняли меня! я совсѣмъ не о томъ! Еслибъ заблужденія, о которыхъ вы говорите, оставались въ нѣдрахъ литературы—à la bonne heure! Но вѣдь они изъ литературы переходятъ въ общество, волнуютъ его, порождаютъ несвоевременныя и неумѣстныя требованія—вотъ въ чемъ опасность! Никто, конечно, не думаетъ о насильственномъ прекращеніи вопросовъ идеальнаго міра; настаиваютъ только на постепенной и своевременной постановкѣ ихъ.

— Ну и пускай настаиваютъ; но не на литературу же, во всякомъ случаѣ, слѣдуетъ возлагать полицейскій надзоръ за тѣми послѣдствіями, которыя могутъ имѣть добываемые ею выводы. Литература преслѣдуетъ задачи, которыя она считаетъ себя вправѣ признавать своими, и затѣмъ она совершенно игнорируетъ, что̀ изъ достигнутыхъ ею результатовъ будетъ взято обществомъ и что̀—отвергнуто. И ежели общество прегрѣшаетъ противъ своевременности, то это дѣло установленныхъ властей, а не литературы, которая тутъ ни-при-чемъ. Да и вообще, на мой взглядъ, эта пресловутая „своевременность“—даже совсѣмъ не литературный терминъ, а канцелярскій, потому что если литературѣ поставить въ обязанность опредѣлять его согласно съ жизненными условіями, то, при разнообразіи и измѣнчивости этихъ условій, весь ея трудъ, пожалуй, уйдетъ на одни эти опредѣленія. И ты останешься безъ новаго покроя брюкъ, безъ кулинарныхъ усовершенствованій и безъ новаго фасона кокотокъ.

Я замолчалъ. Все до сихъ поръ высказанное мною о правѣ литературы на неприкосновенность казалось мнѣ до такой степени яснымъ, что, признаюсь, мнѣ даже непріятно было бы въ эту минуту услышать какое-нибудь возраженіе изъ сферы пресѣченія и предупрежденія. Я страстно и исключительно преданъ литературѣ; нѣтъ для меня образа достолюбезнѣе, достохвальнѣе, дороже—образа, представляемаго литературой; я признаю литературу всецѣло, со всѣми уклоненіями и осложненіями, даже съ московскими кликушами. Порою эти осложненія бываютъ мучительны, но вѣдь они пройдутъ, исчезнутъ, растаютъ, и навѣрное одни только усилія честной мысли останутся незыблемыми—таково мое глубокое убѣжденіе. Не будь у меня этого убѣжденія, этой вѣры въ литературу, въ ея животворящую мощь—мнѣ было бы больно жить. Я такъ сжился съ представленіемъ, что литература есть то единственное, заповѣдное убѣжище, гдѣ мысль человѣческая имѣетъ всю возможность остаться честною и незапятнанною, что всякое вторженіе въ эту сферу, всякая тѣнь подозрѣнія, накидываемая на нее, кажутся мнѣ жестокими и ничѣмъ неоправдываемыми. Лично я обязанъ литературѣ лучшими минутами моей жизни, всѣми сладкими волненіями ея, всѣми утѣшеніями; но я увѣренъ, что не я одинъ, лично обязанный, а и всякій, кто сознаетъ себя человѣкомъ, не можетъ не понимать, что внѣ литературы нѣтъ ни блага, ни наслажденія, ни даже самой жизни. Ѳеденька хоть и не признаетъ этого, но внутренно очень хорошо понимаетъ, что настоящія радости ему доставляетъ Дюма-фисъ, а совсѣмъ не доклады о лишеніи правъ состоянія. Даже коммиссія на случай могущаго быть свѣтопреставленія—и та сознала эту истину, такъ какъ прежде всего сочла нужнымъ открыть это торжество гимномъ. Почему она такъ поступила? А потому просто, что, благодаря гимну, смягчатся черезъ-чуръ суровые тоны торжества, и затѣмъ—кто же знаетъ?—быть можетъ, и самое свѣтопреставленіе будетъ отмѣнено...

Повидимому Ѳеденька замѣтилъ охватившее меня волненіе. и тоже молчалъ. Это было съ его стороны очень деликатно. Да и вообще онъ—малый не страшный. Покуда онъ засѣдаетъ въ коммиссіяхъ. дѣйствительно онъ какъ будто непстовъ, но въ частныхъ сношеніяхъ даже пріятенъ.

— Я понимаю, что вы не можете иначе говорить, дядя.—наконецъ произнесъ онъ:—и потому не берусь даже возражать. Но

позвольте мнѣ указать на одно неудобство въ нашей бесѣдѣ: вы слишкомъ абстрактно разсматриваете вопросъ—каюсь, я самъ предложилъ вамъ этотъ методъ—тогда какъ въ дѣйствительности онъ стоитъ гораздо проще. Тѣ отзывы о литературѣ, которые васъ интересуютъ, совсѣмъ не имѣютъ въ виду Галилеевъ, Байроновъ, Шиллеровъ и проч., а нашу обиходную, будничную литературу, занимающуюся не міровыми вопросами, а самою обыкновенною злобою дня.

— Но вѣдь тутъ разница только въ размѣрахъ. Положимъ, что современная русская литература не особенно высоко стоитъ; но, во-первыхъ, это еще вопросъ, отчего уровень ея такъ невысокъ, а во-вторыхъ, какъ бы ни была наша литература мало-плодотворна, все-таки она на цѣлую голову выше всего остального.

— Это ваше мнѣніе, mon oncle,—мнѣніе очень понятное, потому что вы всецѣло принадлежите литературѣ. Но существуютъ люди, и притомъ компетентные, которые смотрятъ на подобныя мнѣнія какъ на преувеличеніе. Литература наша еще не достигла возмужалости: она недостаточно оригинальна, не серьезна и не самостоятельна: даже существованіемъ своимъ она обязана воздѣйствію: Pierre le Grand, вмѣстѣ съ суконными фабриками, насадилъ и ее. Конечно, онъ поступилъ мудро, но это не мѣшаетъ нашей литературѣ быть молодою и увлекаться не дѣйствительными потребностями времени и мѣста, но просто эффектностью заимствованныхъ положеній и воспріимчивостью своего молодого темперамента. Вотъ эта-то склонность къ увлеченіямъ — не преднамѣренная, это я вамъ охотно уступаю—и наводитъ на мысль о необходимости руководительныхъ началъ.

— Руководительныхъ началъ... въ какомъ смыслѣ? Въ томъ ли, чтобы помочь литературѣ сдѣлаться оригинальною, серьезною и самостоятельною... или наоборотъ?

— Ахъ, mon oncle! Конечно... Разумѣется, современемъ все это придетъ... Но, съ другой стороны, все это можетъ быть прочнымъ лишь тогда, когда придетъ вооруженное опытомъ, очищенное отъ увлеченій и преувеличеній... И тогда...

— И тогда, и всегда, и нынѣ, и во вѣки вѣковъ. Всегда будутъ предостерегать отъ преувеличеній и указывать на вотяцкую мудрость, какъ на идеалъ. Я ужъ говорилъ тебѣ, что у вотяковъ даже пѣсенъ нѣтъ. Пѣсенъ нѣтъ, а пѣть между тѣмъ хочется. Вотъ идетъ

вотякъ, видитъ заборъ—поетъ: „заборъ! заборъ!“ пока не увидитъ поля; тогда начинаетъ пѣть: „поле! поле!“ и такъ безъ конца, смотря по тому, что̀ встрѣтится. Вотъ это-то и есть свободная отъ преувеличеній, настоящая, желательная мудрость. Не гляди ни впередъ, ни назадъ, ни по сторонамъ, а воспѣвай тѣ предметы, которые встрѣчаются на пути. Что-жъ! это отлично!

— И это, mon oncle, опять-таки преувеличеніе. Напротивъ, всѣ охотно допускаютъ, что литература должна играть очень серьезную роль, что она можетъ даже помощь оказывать, но именно помощь, а не противодѣйствіе. Вотъ что̀ необходимо различать.

— То-есть, дифирамбы писать?

— Ахъ, mon oncle!

Очевидно, это былъ порочный кругъ. И нужна самостоятельность, и ненужна, то-есть нужна „извѣстная“ самостоятельности. И нужна критика, и ненужна, то-есть опять-таки нужна „извѣстная“ критика! Словомъ сказать: подай то̀, невѣдомо что̀, иди туда, невѣдомо куда. И при этомъ еще говорятъ: вѣдь вы отлично знаете и куда идти, и что̀ подать, да только притворяетесь, что не знаете. Положимъ, что Ѳеденька—не особенно искусный діалектикъ, но онъ вездѣ бываетъ, слышитъ всякіе разговоры—что-нибудь да и прилипаетъ къ нему. Ежели онъ выражается обрывками, то это значитъ, что и разговоры, которые онъ слушаетъ, тоже ведутся обрывками. Есть люди, которые способны гудѣть по цѣлымъ часамъ, и все-таки въ ихъ гудѣніи ничего не уловишь, кромѣ обрывковъ. Вотъ къ этимъ-то гудѣньямъ и прислушивается Ѳеденька, и подражаетъ имъ. Передъ нимъ не церемонятся, выкладываютъ все впустѣ лежащее, потому что онъ—„адептъ“. И онъ усердно подбираетъ это впустѣ лежащее, ибо знаетъ, что и ему современемъ надо будетъ гудѣть. Всѣ будутъ гудѣть: и онъ, и его сверстники и соратники въ дѣлѣ составленія карьеръ, и кто кого перегудитъ, тотъ и воспрославится.

Въ виду всего этого я понялъ, что на почвѣ слишкомъ широкихъ обобщеній намъ оставаться нельзя. Ѳеденька слишкомъ конкретенъ, слишкомъ канцелярски-мудръ, чтобъ идти дальше непосредственныхъ результатовъ и чувствовать какую-либо иную потребность, кромѣ потребности мѣропріятій. Поэтому хотя онъ и предупредилъ меня въ началѣ бесѣды, что не будетъ касаться злобы дня, но я

все-таки рѣшился попытаться хоть въ этомъ направленіи получить какія-нибудь разъясненія.

— Прекрасно, пусть будетъ по твоему,—сказалъ я.—Стало быть, литература виновата? въ чемъ? говори! обвиняй!

При этомъ слишкомъ прямомъ обращеніи мой собесѣдникъ чуть-чуть покраснѣлъ, такъ что я, предвидя, что онъ непремѣнно воспользуется случаемъ, чтобъ поломаться передо мной, поспѣшилъ поправиться.

— То-есть, не обвиняй отъ себя лично, — я знаю. что ты не способенъ на это,—но формулируй тѣ обвиненія, которыя, по твоему наблюденію, наиболѣе въ ходу,—объяснилъ я.

Оеденька съ минуту помолчалъ и затѣмъ, совершенно для меня неожиданно, какимъ-то шипящимъ, задавленнымъ голосомъ произнесъ:

— Дядя! позвольте узнать, зачѣмъ ваша литература съ такимъ упорствомъ ищетъ осмѣять и подорвать священнѣйшія основы нашего общества?

Я изумился. Не вопросу, который ничего особенно неожиданнаго не представлялъ, но тому феномену, который въ какую-нибудь минуту совершился въ моихъ глазахъ. Лицо этого юноши, за минуту передъ тѣмъ благодушное и даже простоватое. внезапно позеленѣло и приняло суровые тоны; глаза получили сердитое. чуть не злое выраженіе; губы побѣлѣли и вздрагивали. Такъ велика была въ этомъ способномъ молодомъ человѣкѣ готовность восторгаться чужими восторгами и озлобляться чужими озлобленіями.

— Христосъ съ тобой! что ты!—воскликнулъ я, нѣсколько озадаченный.

— Нѣтъ, если ужъ вы хотите. чтобъ я говорилъ, то я буду говорить. Серьезно спрашиваю васъ: съ какого права ваша литература нападаетъ на коренныя основы нашей жизни? кто далъ ей это полномочіе? Кто разрѣшилъ ей въ такомъ видѣ представлять семью. собственность... государство?

— Да въ какомъ же, мой другъ, въ какомъ?

— Въ гнусномъ-съ. Повторяю. кто далъ ей полномочіе судить и рядить?

— Послушай! я только-что сейчасъ доказывалъ тебѣ, что литература отъ самого Господа Бога снабжена всѣми возможными пол-

номочіями... Однакожъ, такъ какъ ты настойчиво возвращаешься къ этой темѣ, и при этомъ, очевидно, имѣешь въ виду *современную* русскую литературу, то изволь, будемъ бесѣдовать. Ты ставишь вопросъ прямо: современная русская литература подрываетъ основы, на которыхъ держится общество... Подумай однакожъ, нѣтъ ли тутъ смѣшенія? Не приписываешь ли ты литературѣ то, что принадлежитъ самому обществу, или по крайней мѣрѣ той его части, которой спеціально присвоивается это названіе? Я, съ своей стороны, убѣжденъ, что литература наша не только ничего не выдумываетъ въ этомъ случаѣ, но, довольствуясь однимъ констатированіемъ фактовъ, стоитъ далеко ниже дѣйствительности. Ужели литература разожгла аппетиты Юханцевыхъ, Ландсберговъ, Ковальчуковыхъ? ужели она породила эти легіоны сорванцовъ, у которыхъ на языкѣ—„государство“, а въ мысляхъ—пирогъ съ казенной начинкой? Увѣряю тебя, не литература произвела эти явленія. Аппетиты разожглись сами собой, вслѣдствіе наплыва цѣлой массы праздныхъ людей, оставшихся за бортомъ съ упраздненіемъ крѣпостного права. Конечно, литература не пропустила этого факта: но развѣ была какая-нибудь возможность игнорировать его? Подумай! вѣдь требовать отъ литературы подобнаго нелѣпаго воздержанія—значило бы навсегда осудить ее оставаться при анекдотахъ о пошехонцахъ. Ты думаешь, очевидно, что литература наша нарочно цѣпляется за извѣстные факты, что она *предвидитъ* тѣ волненія, которыя она должна произвести въ обществѣ, что эти волненія ей нравятся, однимъ словомъ, что не будь вмѣшательства литературы—не существовало бы ни вопросовъ, ни волненій. Другъ мой! не ты одинъ высказываешь подобныя убѣжденія: они сплошь и рядомъ высказываются и въ самой литературѣ тѣми литературными золотарями, которыхъ цѣлыя массы въ послѣднее время загромоздили ее. Но все это — ложь и наглая клевета, и литература, выставляя на позоръ факты, которые такъ тебя поражаютъ, не только не подрываетъ подрытаго, но, напротивъ, пробуждаетъ общественную совѣсть. Правда, что общество наше — лицемѣрно, и посмѣивается надъ основами „потихоньку“; но развѣ лицемѣріе когда-либо и гдѣ бы то ни было представляло силу, достаточную для существованія общества? Развѣ лицемѣріе—не гной, не язва, не гангрена? Вотъ этого-то „права лицемѣрить“ литература и не признаетъ за обществомъ. Она говоритъ ему: или держись крѣпко

унаслѣдованныхъ принциповъ, или кайся! По моему, такія обличенія имѣютъ скорѣе характеръ охранительный, нежели разрушительный. и ежели я и самъ по временамъ сѣтую на современную русскую литературу, то отнюдь не за смѣлость и настойчивость ея обличеній, а, напротивъ, за то, что она робка, неустойчива и совсѣмъ-совсѣмъ невліятельна. Помилуй! одинъ эзоповскій языкъ чего стоитъ! Подумай, какъ это трудно, изнурительно, почти погано! Въ состояніи ли ты оцѣнить это?

— Могу, но, признаюсь, не печалюсь объ этомъ. Въ наше время только и утѣшаешься, когда видишь, какъ наша милая литература извивается, словно вьюнъ на сковородѣ. Однакожъ я готовъ бы былъ сдѣлать вамъ извѣстныя уступки, еслибъ дѣло шло только о логикѣ идей. Но есть логика фактовъ, mon oncle, и она-то заставляетъ меня быть осмотрительнымъ. Передъ фактами я нѣмѣю, прихожу въ ужасъ и забываю объ идеяхъ. Я понимаю вашу защиту и логически не всегда вижу себя въ состояніи опровергнуть ее; но въ то же время я *чувствую*, что въ ней чего-то недостаетъ, что она не вполнѣ искренна и нѣчто скрываетъ. Вѣдь скрываетъ—не такъ ли, mon oncle?

Онъ такъ добродушно заглянулъ мнѣ при этомъ въ лицо и такъ мило похлопалъ меня по колѣнкѣ, что мнѣ и самому невольно подумалось: а что, вѣдь, можетъ быть, и скрываетъ?

— Можетъ быть, можетъ быть, другъ мой,—отвѣтилъ я:—вѣдь всего не сообразишь. Во всякомъ случаѣ для меня ясно, что, несмотря на продолжительную бесѣду, мы оба останемся при своихъ показаніяхъ. Что бы я ни говорилъ—ты охотно будешь признавать справедливость моихъ доводовъ, но будешь „чувствовать“, что въ нихъ чего-то недостаетъ... Отлично. Стало быть, обвиненіе первое—колебаніе основъ—остается неопровергнутымъ, но и недоказаннымъ. Дальше?

— Дальше, mon oncle, направленіе и подборъ статей. Разверните любую книжку журнала, любой газетный листокъ—и вы убѣдитесь, что все, отъ первой строки до послѣдней, твердитъ объ одномъ. смотритъ въ одну точку.

— А тебѣ бы хотѣлось литературнаго косоглазія?

— Mon oncle! не будемъ увлекаться въ сторону и воротимся къ „направленію“. Я сказалъ уже вамъ, что разумѣю подъ этимъ подборъ статей. Зачѣмъ эта унылость? Почему бы не разнообразить предлагаемаго публикѣ чтенія? Почему бы рядомъ со статьей, трак-

тующей объ явленіяхъ неутѣшительныхъ (я самъ соглашаюсь, что въ жизни нашей не все утѣшительно), не помѣстить другой, которая предвѣщала бы скорый и вожделѣнный конецъ этой неутѣшительности? Зачѣмъ забивать мысль читателя все будничными да будничными представленіями, а не освѣжать ее бесѣдою о предметахъ возвышенныхъ, вызывающихъ пареніе? зачѣмъ пригибать человѣка все къ землѣ да къ землѣ—вѣдь у него есть небо, mon oncle!

— Зачѣмъ? да просто затѣмъ, что у всякаго времени есть своя задача и свои способы для выраженія этой задачи. Это не въ одной литературѣ выражается, а и въ распоряженіяхъ администраціи. И въ нихъ ты замѣтишь „подборъ“ и замѣчательное однообразіе „направленія“.

— Да, но со стороны администраціи это печальная необходимость, а со стороны литературы—это система, это предвзятый образъ дѣйствія. Литература не имѣетъ права такъ поступать. Ея обязанность—умиротворять, а не раздражать. Повторяю: у человѣка есть небо, mon oncle! и это небо—литература ваша закрыла его отъ него!

— И небо, и соловьи, и розы... Только соловьи, по нынѣшнему строгому времени, поютъ не на боскетахъ, а въ трактирахъ, да и розы пахнутъ совсѣмъ не тѣмъ, чѣмъ пахли прежде...

— Это — не отвѣтъ, mon oncle. И розы, и соловьи, и небо—все это есть, и все мы видимъ, и слышимъ, и обоняемъ, и всѣмъ наслаждаемся. Только вотъ литературѣ нашей угодно игнорировать эти возвышающія духъ картины и замѣнять ихъ холоднымъ перечисленіемъ язвъ. Какъ хотите, а это—заговоръ!

— Да заговоръ же и есть. Только не тотъ, которому въ законѣ присвоивается названіе преступленія, а тотъ, который испоконъ вѣка разлитъ въ воздухѣ и едва-ли когда-нибудь прекращался. Это—заговоръ, въ которомъ принимаетъ участіе не одна литература, а все и вся. Значитъ, язвы настолько обострились, что никому не даютъ ни отдыха, ни срока; значитъ, не только писать, но и думать ни объ чемъ иномъ нельзя; значитъ, доколѣ будутъ существовать язвы, дотолѣ будетъ идти и рѣчь объ нихъ. Ты думаешь, что у Бореля, у Дюссо, у Донона нѣтъ заговорщиковъ? что ты и твои сверстники, люди несомнѣнно надежные, укрывшись въ одномъ изъ этихъ пріютовъ, только ѣдите и пьете, а не конспирируете? Ошибаешься, другъ мой! Ручаюсь, что не проходитъ и десяти минутъ твоей жизни безъ

того, чтобы ты не почувствовалъ себя неловко, и совсѣмъ не потому, чтобы ты вспомнилъ о соловьяхъ и розахъ, а именно потому, что даже тамъ, среди расторопныхъ оффиціантовъ-татаръ, въ виду улыбающагося соммельé, тебя все-таки настигаютъ язвы. Стало быть, и вы участвуете въ заговорѣ, участвуете тѣмъ, что помышляете и бесѣдуете о предметѣ его. Вамъ непріятенъ этотъ предметъ, вы желаете отогнать его отъ себя, а онъ — тутъ при васъ, онъ неотступно идетъ слѣдомъ за каждымъ шагомъ вашимъ. Но если онъ не оставляетъ въ покоѣ никого—какъ же ты хочешь, чтобы отъ него отвернулась литература, для которой изслѣдованіе явленій жизни составляетъ conditio sine qua non существованія? Ты скажешь, конечно, что бывали же и въ русской литературѣ и розы, и соловьи... Бывали, мой ангелъ, все въ свое время было! Но теперь ты не найдешь двухъ литераторовъ, которые рѣшились бы бесѣдовать о розахъ и соловьяхъ, и даже тѣ, которые когда-то считались мастерами въ этомъ родѣ—и тѣ нынѣ пускаютъ шипъ по змѣиному. Ужели это дѣлается нарочно, съ единственной цѣлью досадить тебѣ или тѣмъ, чьихъ мнѣній ты служишь эхомъ? Послушай! Вѣдь со стороны журналовъ и газетъ было бы не только неполитично, но даже непростительно не поступиться нѣсколькими печатными листами въ годъ въ пользу розъ, соловьевъ и вожделѣющихъ номѣщицъ, чтобъ водворить миръ и благоволеніе въ взволнованныхъ сердцахъ. Почему-нибудь однакожъ они не пускаютъ въ ходъ этого фортеля. И знаешь ли, именно почему? Во-первыхъ, потому что нынче писателей такихъ нѣтъ, а во-вторыхъ потому, что и читатель для соловьевъ и розъ едва-ли отыщется.

— Такъ что нашей литературѣ суждено на вѣки пропахнуть мужикомъ?

— Вотъ-вотъ-вотъ, оно самое и есть. Обвиненіе третье, но, въ сущности, главное и единственное. Ибо всѣ эти подрыванія основъ и авторитетовъ, эти направленія и подборы—все это мы охотно перенесли бы, еслибъ не замѣшался тутъ, въ видѣ занозы, мужикъ. Мужикъ—это главное: какъ онъ смѣетъ! Скажу тебѣ по секрету, мнѣ и самому, по временамъ, литература наша кажется въ этомъ отношеніи нѣсколько однообразною и черезъ край переполненною мужикомъ. Вѣдь и я... да, братъ, я тоже не чуждъ соловьевъ и розъ... que diable! Но, присмотрѣвшись къ дѣлу пристальнѣе, приходится согласиться, что иначе оно не можетъ быть. Мужикъ—герой современ-

ности, это вѣрно. И не со вчерашняго дня такъ повелось, а давненько-таки, съ конца сороковыхъ годовъ. Ты, разумѣется, не былъ очевидцемъ „началъ“, но я не только помню, но даже лично присутствовалъ при нихъ. Я помню „Деревню“, помню „Антона-Горемыку“, помню такъ живо, какъ будто все это совершилось вчера. Это былъ первый благотворный весенній дождь, первыя хорошія, человѣчныя слезы, и съ легкой руки Григоровича мысль о томъ, что существуетъ мужикъ-человѣкъ, прочно залегла и въ русской литературѣ, и въ русскомъ обществѣ. А съ половины пятидесятыхъ годовъ эта мысль сдѣлалась уже господствующею въ русской жизни. Все, что̀ ни есть въ Россіи мыслящаго и интеллигентнаго, отлично понято, что куда бы ни обратились взоры, вездѣ они встрѣтятся съ проблемой о мужикѣ. Но ежели эта проблема такъ настойчиво мечется въ глаза, то надо же попытаться рѣшить ее. И вотъ мы видимъ, что лучшіе государственные люди нынѣшняго царствованія отдаютъ ей всѣ свои силы, и что рядомъ съ ними ей же посвящаютъ себя и наиболѣе независимые (въ смыслѣ обезпеченности матеріальныхъ средствъ) представители нашей интеллигенціи. Припомни годы „освобожденія“ и сознайся, что никогда этому слову не придавалось болѣе широкаго значенія, никогда интересъ, возбужденный имъ въ обществѣ, не граничилъ такъ близко съ энтузіазмомъ. Въ теченіе слишкомъ трехъ лѣтъ никакой другой рѣчи нельзя было слышать, кромѣ рѣчи о мужикѣ. Оказалось, что онъ рѣшительно необходимъ, и что даже самое слово: „мужикъ“. выражаетъ нѣчто очень сложное, почти всепроникающее. Всѣмъ онъ нуженъ, у всѣхъ какъ бѣльмо на глазу. Тупа философія, косноязычна реторика... безъ мужика. Помѣщикъ, заводчикъ, фабрикантъ, подрядчикъ, однимъ словомъ, всякій человѣкъ-практикъ, всякъ понялъ, что въ его „дѣлахъ“ на первомъ планѣ стоитъ мужикъ. Должна была понять это и литература, и не по тому одному, что она обязана *все* понимать, но и потому, что въ этомъ дѣлѣ ей предстояло оказать существенную услугу. Ежели мужикъ такъ всѣмъ необходимъ, то надо же знать, что̀ онъ такое, что̀ представляетъ онъ собой какъ въ дѣйствительности, такъ и in potentia, каковы его нравы, привычки и обычаи, съ которой стороны и какъ къ нему подойти. И къ удивленію оказывается, что узнать это совсѣмъ не такъ просто и что міръ мужицкихъ отношеній значительно сложнѣе и запутаннѣе, нежели тотъ, въ которомъ обыкновенно вращаемся мы, люди интелли-

генціи. Работа изслѣдованія началась, работы произведено пропасть, а конца все-таки не видать. Хорошо бы и пріостановиться, но дѣло въ томъ, что, разъ отворивши дверь въ область загадокъ, затворить ее ужъ не такъ-то легко. Во-первыхъ, этому воспрепятствуетъ свойственная всякому интеллигентному человѣку любознательность, а во-вторыхъ, сама дверь просто-на-просто оказывается неудобозатворимою. Вотъ почему современная атмосфера такъ насыщена мужикомъ: очень ужъ много лѣзетъ оттуда, изъ этой незатворимой двери. Вѣроятно мы черезъ-чуръ ужъ долго занимались соловьями и розами, такъ что теперь...

На этомъ самомъ мѣстѣ рѣчь моя была прервана сильнымъ звонкомъ. Оказалось, что пріѣхалъ курьеръ, возвѣстившій Ѳеденькѣ, что Иванъ Михайлычъ изволилъ благополучно возвратиться изъ Екатерингофа!

Признаюсь, я былъ даже доволенъ, что бесѣда наша такъ внезапно оборвалась. Надоѣло.

Первое іюня.

— Такъ ты думаешь, что нужно подтянуть?—спросилъ я Ѳедю.

— Непремѣнно, mon oncle,—отвѣчалъ онъ увѣренно:—это не только личное мое мнѣніе, но и всѣ компетентные люди такъ думаютъ.

Мы сидѣли въ ресторанѣ Лѣтняго сада и ѣли. Петербургъ опустѣлъ; не только столоначальники, но и помощники ихъ разъѣхались по дачамъ и слетались въ городъ лишь на короткое время по утрамъ, чтобъ не совсѣмъ безъ вреда день прошелъ. Войска ушли въ лагерь; установленія бездѣйствовали; знакомые куда-то исчезли; во всемъ домѣ, гдѣ я нанимаю квартиру, изъ „хорошихъ жильцовъ“ остался только я одинъ, испуганный тѣмъ, что дождь съ утра до вечера лилъ какъ изъ ведра. Скука была пожирающая; одно развлеченіе имѣлось въ виду: наблюдать изъ оконъ, весело ли бодрствуютъ дворники. Оказалось, однако, что и Ѳеденька засѣлъ въ Петербургѣ и день-деньской надъ чѣмъ-то корпитъ, а потомъ цѣлую ночь напролетъ докладываетъ. Очевидно онъ не на шутку занялся своею карьерой и

рѣшился воспользоваться лѣтнимъ запустѣніемъ и отсутствіемъ чиновнической конкурренціи, чтобъ всѣ свои способности лицомъ показать. Не знаю почему, но при встрѣчѣ съ нимъ мнѣ вдругъ вспомнился Ландсбергъ, котораго имя въ эту минуту занимало всѣ умы и который тоже тщательно холилъ свою карьеру.

— Ты Ландсберга не зналъ?—обратился я къ Оеденькѣ.

— Къ сожалѣнію, зналъ. Прошлой зимой даже vis-à-vis въ кадрили не разъ приходилось танцовать.

— Да, вотъ и онъ... Все думалъ, какъ бы карьеру сдѣлать,—и вдругъ...

Клянусь, я сказалъ это почти безсознательно, нимало не разсчитывая проводить какія-нибудь параллели. Однакожъ Оеденька обидѣлся и покраснѣлъ.

— Неужели же вы находите какіе-нибудь поводы для сравненія?—протестовалъ онъ.

— Упаси Богъ, мой другъ! Такъ... вспомнилось... Все слышишь что-то такое страшное: подтянуть да въ баранiй рогъ согнуть—ну и вспомнилось; а вѣдь, можетъ быть, и Ландсбергъ въ мечтаніяхъ своихъ разсчитывалъ: „только бы мнѣ съ Власовымъ благополучно сквитаться, а тамъ ужъ я знаю что дѣлать—буду подтягивать да подтягивать“...

— Къ счастью, я не имѣю надобности въ Власовыхъ...

— Ахъ, нѣтъ! ты, пожалуйста, не думай! Я знаю, что ты человѣкъ аккуратный... Но Ландсбергъ—вѣдь это все-таки не мнѣ. Скажи, пожалуйста, когда ты съ нимъ прошлой зимой vis-à-vis танцовалъ, развѣ приходило тебѣ на мысль, что черезъ два-три мѣсяца этотъ человѣкъ будетъ судиться, какъ убiйца? Вѣдь не приходило? а?

— Конечно, не приходило.

— И навѣрное ты вмѣстѣ съ другими находилъ, что это прекрасный и способный молодой человѣкъ, который „пойдетъ далеко“. Признайся, случалось тебѣ съ нимъ по душѣ разговаривать? планы насчетъ величія Россіи строить?

— Признаюсь откровенно: случалось.

— И что же?

— Дѣйствительно, я находилъ, что это человѣкъ сильной воли, способный, и что...

— И что онъ „подтянетъ“?

— Да, думалъ и это.

— Ба! да ты вѣдь и Юханцева, конечно, зналъ?

— Зналъ и его.

— И тоже считалъ, что это малый способный?

— Признаюсь... считалъ.

— И вы втроемъ: ты, Ландсбергъ и Юханцевъ, собирались гдѣ-нибудь за бутылкой добраго вина (платилъ Юханцевъ) и совершенно серьезно разсуждали, что „такъ нельзя“, что „все распущено ни на что непохоже“, что „суды оправдываютъ“, „власти бездѣйствуютъ“, что „надо положить этому предѣлъ“... И Ландсбергъ при этомъ первый—да, именно онъ, онъ первый—припомнилъ и произнесъ слово: „подтянуть“, а вы съ Юханцевымъ, услыхавъ это, въ восторгѣ воскликнули: oui, Landsberg—c'est l'homme du moment!.. Вѣдь случалось это? да?

— Случалось.

— Посмотри, однакожъ, какой, съ Божьею помощью, оборотъ! Судъ-то словно подслушалъ ваши упреки, взялъ да ни Юханцева, ни Ландсберга не оправдалъ!

Все время, покуда я такимъ образомъ объяснялъ свою мысль, Ѳеденька улыбался то иронически, то съ явнымъ нетерпѣніемъ, но наконецъ не выдержалъ и сказалъ:

— Прекрасно, прекрасно все это, mon oncle... Но желалъ бы я знать, съ какого повода вы начали этотъ разговоръ?

— Да говорю тебѣ, что просто такъ: свѣтская болтовня—и больше ничего. Теперь всѣ умы Ландсбергомъ переполнены—ну, и я... Скажи, пожалуйста, онъ ни въ какомъ комитетѣ не участвовалъ? По части поданія пособій неимущимъ и сиротамъ... по части улучшенія нравственности... распространенія здравыхъ идей... спасенія общества отъ крушенія... ну, вообще, какіе у васъ тамъ комитеты съ дамочками заведены!

— Нѣтъ, я не встрѣчалъ его.

— Ну, стало быть, не успѣлъ. А помѣшкай онъ немного съ Власовымъ или обдѣлай это дѣльце поаккуратнѣе... Впрочемъ ты, пожалуй, опять подумаешь, что я какія-нибудь параллели провожу... Увѣряю тебя, это свѣтскій разговоръ—и больше ничего.

Мы оба на минуту замолчали. Къ счастью, въ эту минуту по-

дали boeuf braisé, который былъ какой-то такой необыкновенный, что даже я, человѣкъ отъ природы неприхотливый, вознегодовалъ и забылъ о „подтягиваніяхъ“. Но, къ удивленію, Ѳеденька, котораго я считалъ изнѣженнымъ и гурмé (я даже удивлялся, что встрѣтился съ нимъ... въ Лѣтнемъ саду!), не только не возмутился, но преисправно рубилъ ножемъ эту обугленную доску и проглатывалъ одинъ за другимъ отрубленные куски.

— Дѣйствительно, я люблю тонко поѣсть, — объяснилъ онъ мнѣ;—но ежели бы, по обстоятельствамъ, мнѣ пришлось бы даже въ греческой кухмистерской обѣдать—я и передъ этимъ не отступлю. Все въ свое время, mon oncle. Бываютъ моменты въ исторіи, когда всего нужнѣе поспѣшность.

— Послушай! а вѣдь я, представь себѣ, думалъ, что поспѣшность потребна только блохъ ловить!—не удержался, прервалъ я.

— Вы неисправимы, mon oncle. Но будемъ продолжать. Теперь мнѣ совсѣмъ не до того, чтобы задумываться надъ menu. Я такъ занятъ, что бѣгу въ первый попавшійся кабачокъ и имѣю въ виду одну цѣль: утолить голодъ. Коль скоро эта цѣль достигнута—я доволенъ. И я увѣренъ, что обѣдъ въ греческой кухмистерской нимало меня не скомпрометтируетъ, что я и тамъ съумѣю остаться самимъ собою. Въ этомъ вся сила, mon oncle. Нужно такъ держать себя, чтобъ *всегда* быть внѣ подозрѣній, чтобы всякій, кто бы ни увидѣлъ меня—даже въ „Аѳинахъ“—сказалъ себѣ: ежели этотъ человѣкъ пошелъ обѣдать въ „Аѳины“, то это означаетъ, что такъ нужно, а совсѣмъ не то, чтобы онъ хотѣлъ съэкономить двугривенный.

Это было высказано съ такою твердостью, съ такимъ почти Регуловскимъ геройствомъ, что я не могъ воздержаться, чтобъ не воскликнуть:

— Ѳеденька! я тебя уважаю!

— Enfin! Но въ такомъ случаѣ я могу вамъ сказать, что ежели вы откинете предвзятыя мысли и взглянете на современность трезвыми глазами, то между нынѣшнею молодежью—нашего общества, разумѣется—встрѣтите ужъ много людей вполнѣ дѣловыхъ и готовыхъ на жертвы. Да вѣдь и пора за умъ взяться—это ясно для всѣхъ.

— Ясно?

— Да, всѣмъ сдѣлалось ясно, что мы не на розахъ покоимся. Еще годъ тому назадъ мы, можетъ быть, продолжали бы малодуше-

ствовать и либеральничать, и развѣ наиболѣе мужественный изъ насъ позволилъ бы себѣ вопросъ: да куда же мы, наконецъ, идемъ? Нынче —всѣ уже поняли и почувствовали. Не только либеральничать, но даже восклицать и дѣлать вопросы представляется уже возмутительнымъ. Не время жаловаться, надо прямо къ дѣлу идти: respice finem, Надо разрѣшать предстоящую задачу безъ околичностей.

— Гм... проявлять гражданское мужество?

— Нѣтъ, и это не такъ. И мужества не надо. Мужество—это что-то искусственное, напускное; это скорѣе терминъ, нежели дѣло. Мужество есть проявленіе единичное, предполагающее царствующую кругомъ трусость. Не надо словъ, не надо ни мужества, ни трусости; нужно самое простое, самое обыкновенное, безъ всякихъ героическихъ вывертовъ, безъ всякихъ украшеній поэзіи, исполненіе обязанностей —вотъ и все.

— Въ родѣ того, напримѣръ, какъ городовые исполняютъ: „не могимъ знать, начальство приказываетъ“?

— Ну, да, въ этомъ родѣ!.. Я не брезгливъ, и ежели нужно, то отвѣчу прямо: отчего и не такъ?

— Гм... такъ вотъ ты какъ... браво!

— Я, mon oncle, не претендую жить въ потомствѣ, окруженный поэтическимъ ореоломъ. Мои идеалы болѣе полезны. Я не герой, а простой труженикъ современности. Коли хотите, и тутъ есть мужество, но я предпочитаю обходить это выраженіе, потому что нахожу его сбивающимъ съ толку, опаснымъ.

— Даже опаснымъ?

— Да, и опаснымъ. Потому что, повторяю, съ представленіемъ о мужествѣ всегда какъ-то соединяется представленіе объ ореолахъ, а эти ореолы...

— Не согласуются съ „не могимъ знать“? Да, пожалуй, что ты и правъ. Человѣка, у котораго въ глазахъ мелькаютъ „ореолы“, никакъ нельзя назвать вполнѣ надежнымъ. Нѣтъ-нѣтъ, да и свернетъ въ сторону: а нутка, посмотримъ-молъ, что-то объ этомъ предметѣ въ „ореолахъ“ написано? Мнѣ и самому иногда это приходило въ голову: поступать такъ поступать... чтобъ безъ „ореоловъ“!

— Вы шутите, а я...

— Нимало, мой другъ, не шучу, и даже, коли хочешь, приведу примѣръ въ подтвержденіе твоей же собственной мысли. Въ наше

время мы видимъ, напримѣръ, ужасно много измѣнниковъ. Одни сдѣлались таковыми по легкомыслію, другіе — ради двугривеннаго, третьи наконецъ—просто потому, что смалодушничали. И что-жъ! несмотря на то, что это фактъ обыденный, а иногда даже выгодный, всякій разъ какъ я гляжу на измѣнника, мнѣ невольно приходитъ на мысль: вотъ субъектъ, который долженъ сознавать себя въ положеніи человѣка, изгнаннаго изъ рая! Да, именно этого сорта чувство должны они испытывать, по крайней мѣрѣ на первое время. Разумѣется, современемъ они остервенятся, начнутъ и взаправду поступать независимо отъ „ореоловъ“, но покуда... Вотъ, кажется, самый настоящій, самый достовѣрный „измѣнникъ“, а смотришь—онъ нѣтъ-нѣтъ да и проврался. И воспоминанія старыя выплываютъ, и рай старинный представляется. Путаетъ, да и все тутъ. Вотъ почему я и полагалъ бы: измѣнниковъ принимать, но до интимности ихъ не допускать. Припоминается мнѣ по этому поводу слѣдующій случай: когда я служилъ, то пришлось мнѣ однажды въ разговорѣ съ начальствомъ, по поводу одного кочующаго по разнымъ дѣламъ чиновника, выразиться:—помилуйте, ваше превосходительство, вѣдь это свинья, а вы его по губерніямъ посылаете!—„А вы развѣ свиньи не ѣдите?“ спросилъ меня его превосходительство. — Ѣмъ-съ. — „Ну, и мы свиней употребляемъ, когда надобность предстоитъ“... Вотъ это, мнѣ кажется, самая настоящая точка зрѣнія на свиней; ѣсть ихъ можно, не нужно только, чтобъ эта пища сдѣлалась господствующею или исключительною. Подобно сему—и измѣнники. Напримѣръ, ежели кто въ былое время англійскими порядками восторгался и на этомъ фортуну себѣ составилъ, то ежели бы онъ и сталъ таковые внезапно порицать, слѣдуетъ вѣрить ему только въ половину. И не по чувству недовѣрія къ искренности его измѣны, а просто потому, что онъ не въ силахъ сразу совсѣмъ измѣнить. Фразеологія у него такая ужъ искони образовалась, что даже среди самыхъ искреннихъ ругательствъ на англійскіе порядки непремѣнно что-нибудь выпырнетъ сочувственное имъ. Либо словечко не то, какое нужно, человѣкъ молвитъ, либо не тамъ, гдѣ слѣдуетъ, курсивъ пуститъ, либо ковычками некстати оттѣнитъ — вообще, хоть и неумышленно, но накость сдѣлаетъ. И такъ, повторяю: принимать измѣнниковъ можно, но до интимности допускать ихъ—нельзя. Пускай прежде остервенятся. Такъ ли, мой другъ?

— Разумѣется, ежели смягчить форму, въ которой вы изложили ваше замѣчаніе—признаюсь, я этой формы не понимаю,—то въ немъ окажется извѣстная доля правды.

— Ну, вотъ видишь. Я и всегда правду говорю, а обо мнѣ—не знаю почему—говорятъ, что я преувеличиваю. Стало быть, рѣшено: измѣнниковъ держать въ черномъ тѣлѣ, покуда не сбѣсятся... браво!

— Дядя! помнится, мы начали говорить о мужествѣ, а вы свели разговоръ...

— На измѣнниковъ? да вѣдь это-то самое и есть разговоръ о мужествѣ, потому что всѣ измѣнники именно такъ и начинаютъ: надо, дескать, когда-нибудь имѣть мужество... Но мужества-то, какъ ты прекрасно выразился, и не надо. Мужество! ахъ, чортъ ихъ возьми! они думаютъ, что ихъ сейчасъ за это мужество въ передній уголъ посадятъ и начнутъ настоящимъ малороссійскимъ саломъ кормить—и вдругъ сюрпризъ! Извольте-ка сначала на помолхъ посидѣть, да объ мужествѣ-то позабыть, да заслугъ-то не выставлять, а просто безъ затѣй лбомъ въ стѣну стучать, какъ по правиламъ о чистосердечныхъ раскаяніяхъ полагается—а потомъ-дескать увидимъ, какъ съ вами поступать!

— Съ вами, mon oncle, рѣшительно правильную бесѣду вести нельзя. Вы все какія-то картины рисуете.

— Одну минутку. Скажи откровенно: у тебя нѣтъ такой идеи, чтобы коммиссію устроить для начертанія правилъ на случай чистосердечныхъ раскаяній?

— Покуда еще Богъ миловалъ.

— А по моему, такъ это съ твоей стороны упущеніе. И ежели ты хочешь, то я тебѣ въ этомъ случаѣ помогу. Въ слѣдующій разъ, какъ мы свидимся...

— Нѣтъ, ужъ отъ „правилъ“ увольте.

— Что такъ? А еще самъ, мѣсяцъ тому назадъ, говорилъ, что отъ содѣйствія литературы не прочь.

— Отъ содѣйствія, но не...

— Ну-ну, Богъ съ тобой! не будемъ пестрить нашу бесѣду эпизодами и возвратимся къ первоначальному ея предмету. А впрочемъ, позволь еще одинъ, послѣдній эпизодъ. Ты вотъ не любишь ихъ, а въ сущности что же такое вся наша жизнь, какъ не эпизодъ? Сейчасъ мы здѣсь сидимъ, чортъ знаетъ что ѣдимъ, а „завтра—гдѣ ты

человѣкъ?“ Такъ-то, мой другъ! все въ сей юдоли плача—эпизодъ. Иногда веселый, иногда мрачный, какъ придется, а настоящаго, на что бы можно сослаться, объ чемъ бы можно было съ увѣренностью сказать: вотъ каковъ у меня сюжетъ! — этого нѣтъ. Я давно это понялъ, и потому очень естественно, что въ мою бесѣду такъ легко прорываются эпизоды. Бесѣда моя есть зеркало души моей, а душа моя... Однакожъ довольно, а то пожалуй ты и въ самомъ дѣлѣ разсердишься. Душа моя! что такое душа моя? и кому какое дѣло до души моей? „Не могимъ знать“ — тутъ и душа, и совѣсть, и убѣжденіе—все! Баста! довольно объ этомъ... Итакъ, ты утверждаешь, что мужество слѣдуетъ по боку?

— Не „по боку“, а... какъ вы странно однакожъ выражаетесь, mon oncle!—окончательно разсердился Ѳеденька.

— Ну-ну, будь же и ты снисходителенъ къ слабостямъ старика. Сказывай, сказывай свою мысль!

— Да ничего особеннаго я не хотѣлъ сказать. Я утверждаю только, что въ нашемъ прошломъ, въ тѣ историческія минуты, которыя мы привыкли считать серьезными, никому и на мысль не приходило это пресловутое мужество, безъ котораго нынче ни одинъ коллежскій регистраторъ шагу ступить не можетъ. Еще не далѣе, какъ тридцать лѣтъ тому назадъ, кто позволилъ бы себѣ назвать мужествомъ простое исполненіе долга?

— Такъ, стало быть, по твоему, нынѣшняя историческая эпоха —не серьезная?

Признаюсь откровенно: формулируя этотъ вопросъ, я поступилъ не совсѣмъ добросовѣстно, но очень ловко. Какъ истинно русскій либералъ, я ухитрился подловить моего противника на вполнѣ непрекаемой почвѣ. Ты, молъ, хотѣлъ доказать, что достигъ геркулесовскихъ столповъ, а я взялъ да въ одну минуту тебя превзошелъ! Ура! И дѣйствительно, Ѳеденька сдѣлалъ видъ, что не слыхалъ моего вопроса. Къ счастью, въ это время намъ сервировали жареную птицу, но такую птицу, такую птицу! Даже Ѳеденька нѣсколько минутъ, какъ очарованный, смотрѣлъ на нее и только наконецъ очнулся.

— Это еще что за мерзость?—обратился онъ къ половому.

— У насъ, господинъ, мерзостей не подаютъ,—возразилъ половой, которому, повидимому, была дорога репутація заведенія. — У насъ не то чтобы что, а даже самъ хозяинъ...

— Цыцъ! — прикрикнулъ на него Ѳеденька, а затѣмъ, обращаясь ко мнѣ, присовокупилъ: — Вы слышали этотъ отвѣтъ, mon oncle? Скажите, откуда онъ пришелъ?

— Да все оттуда же, голубчикъ.

— Опять... эпизоды?

— Нѣтъ, не „эпизоды“, а оттуда же, откуда идетъ и твое „цыцъ“.

Но онъ даже отвѣтомъ меня не удостоилъ и, къ удивленію, разгрызъ птицыну кость и въ одно мгновеніе ока обглодалъ ее. Потомъ взглянулъ на часы и сказалъ:

— Еще съ полчаса я могу пробыть съ вами, а потомъ—за работу. Будемте курить.

Мы расплатились, прошли нѣсколько шаговъ по аллеѣ, сѣли на скамью и закурили сигары. Онъ самъ предложилъ мнѣ какую-то чудную сигару, обернутую въ свинецъ.

— Рекомендую—сказалъ онъ:—эту сигару мнѣ вчера Иванъ Михайловичъ подарилъ.

— А онъ любитель?

— Еще бы! Однажды онъ съ Фейкомъ въ Парголовскомъ озерѣ купался, и Фейкъ сталъ погибать. Разумѣется, Иванъ Михайлычъ его спасъ, и вотъ съ тѣхъ поръ... Нѣтъ, вы понимаете, mon oncle? запахъ-то, запахъ каковъ?

— Ну, вотъ и ты „эпизодъ“ разсказалъ. Прекрасный запахъ, лучше нельзя. Такъ возвратимся къ нашему разговору. Ты, помнится, говорилъ, что необходимо „подтянуть?“

— Сказалъ, mon oncle.

— Прекрасно. Но иногда мнѣ сдается, что, говоря о „подтягиваньяхъ“, не всѣ и не всегда сознаютъ значеніе этого выраженія. Кого, напримѣръ, предполагалъ бы ты подтянуть?

— О! вы сами отлично знаете, объ комъ идетъ рѣчь?

— Нѣтъ, не знаю. Кажется мнѣ, что ты имѣешь въ виду любезное отечество, но такъ ли это—утверждать опасаюсь.

— Почему же опасаетесь?

— Да потому что... ну, просто потому, что повѣрить этому трудно. Помилуй, мой другъ! такое обширное государство, „отъ хладныхъ финскихъ скалъ до пламенной Колхиды“—и вдругъ ты

собрался его „подтянуть“! Неужели ты самъ не чувствуешь, что это безсмыслица!

— Почему же, mon oncle? почему?

— Потому прежде всего, что Богъ возжей такихъ не создалъ. Пойми меня: можно пройти по странѣ съ огнемъ и мечомъ, можно разорить ее, испепелить, изсушить... Это будетъ нелѣпо, жестоко, по-татарски, но ежели изъ сего должно произойти возрожденіе—дѣлать нечего, пусть такъ. Но... „подтянуть“! Подтянуть, согнуть въ бараній рогъ—право, тутъ даже идеи никакой нѣтъ! Это только уродливые образы, которыхъ въ натурѣ невозможно даже воспроизвести. Ну, представь себѣ Россію взнузданною или въ видѣ бараньяго рога... вѣдь нельзя себѣ это представить? не правда ли? нельзя?

— Да, но вѣдь вы понимаете, что я говорю au figuré.

— Понимаю. Но есть предметы, о которыхъ au figuré просто непозволительно говорить. Бываютъ случаи, когда инословіе становится поперекъ горла, когда отъ него гноемъ пахнетъ. Вспомни, голубчикъ! вѣдь Россія—твое отечество!

— Я помню, mon oncle, и преклоняюсь. Но потому-то именно, что люблю Россію, и настаиваю на своемъ. Вы ловите меня на словахъ. „Подтянуть“—это дѣйствительно не совсѣмъ точное выраженіе—уступаю его вамъ. Но нельзя же наконецъ терпѣть!

— Чего нельзя терпѣть?

— Помилуйте! ужели мало примѣровъ своеволія, неподчиненія, дерзости? ужели то, что мы видимъ вокругъ, можетъ назваться другимъ именемъ, кромѣ анархіи, безначалія?

— Я знаю, объ чемъ ты говоришь, но въ то же время искренно убѣжденъ, что ты ужъ черезъ-чуръ охотно дѣлаешь обобщенія. Тебя поражаютъ отдѣльные случаи, и ты до такой степени весь погружаешься въ нихъ, что повсюду, въ самыхъ невиннѣйшихъ проявленіяхъ человѣческой подвижности, видишь нѣчто однородное, выходящее изъ одного и того же источника. Неужели ты не понимаешь, что ты не только несправедливъ, но просто надуваешь самого себя, сознавая напрасныя обобщенія и подавляя себя бременемъ непосильной работы?

— Нѣтъ, это не напрасныя обобщенія! Это дѣйствительность, наша современная горькая дѣйствительность. И ежели даже подобные случаи кажутся намъ нестоющими вниманія, то...

— Остановись, мой другъ. Зная твое усердіе, я боюсь, что ты сдѣлаешь новую несправедливость и обвинишь меня въ измѣнѣ. Измѣны съ моей стороны нѣтъ. Я просто говорю, что ты черезъ-чуръ охотно обобщаешь и вслѣдствіе этого распространяешь единичные случаи чуть не на всю страну; а ты извращаешь мои слова и съ помощью этой фальсификаціи инсинуируешь, что чуть-ли я не слагаю хвалы...

— Ахъ, mon oncle, неужели вы могли подумать!

— Ничего я не думаю, кромѣ одного: что эта манера очень непріятная. Говорю тебѣ это откровенно, потому что ты все-таки... Неугодовъ! Вѣдь ты—Неугодовъ? такъ? ты понимаешь, какъ это будетъ дурно, если кто-нибудь скажетъ: а знаете ли, что Неугодовъ...

— Mon oncle!

— То-то, надо быть осмотрительнымъ, голубчикъ! Блюсти—блюди, но не до безчувствія—нѣтъ! Избѣгай дурныхъ или неопрятныхъ словъ, ибо они могутъ привести къ скандалу и въ самомъ лучшемъ случаѣ пропзвести изумленіе.

— Но, право, я не понимаю, что же вы видите въ моихъ словахъ дурного?

— Дурно, во-первыхъ, то, что ты не сознаешься, что дурно выразился. Во-вторыхъ, хоть ты и увѣряешь, что выразился au figuré, но какъ я уже сказалъ тебѣ, бываютъ предметы, относительно которыхъ figuré не допускается. А въ-третьихъ, тоже повторяю: невыносимо, несправедливо и даже совсѣмъ безумно такъ легко и безцеремонно обобщать. Скажи, есть ли въ этомъ смыслъ: ты берешь два-три факта, положимъ десять, сотню, и мстишь за нихъ—кому?—Россіи!

— Я... мщу? никогда, mon oncle, никогда!

— То-есть, конечно, не въ настоящемъ времени: теперь у тебя еще руки коротки! но ты намѣчиваешься, ты создаешь себѣ идеалы. Ты ужъ серьезно подумываешь: вотъ, погоди, ужо, какъ я подрасту, я покажу, гдѣ раки зимуютъ! На что похоже!

— Дядя! я, конечно, неправильно употребилъ выраженіе: „подтягивать“, но вѣдь и вы... Вы прямо приписываете мнѣ то, чего у меня и въ мысляхъ никогда не бывало. Я просто говорю: надо принять рѣшительныя мѣры.

— И принимай. Смакуй эту мысль, и ежели имѣешь возможность, то разглагольствуй на эту тему, предлагай, докладывай. Но оставь въ покоѣ Россію. Что тебѣ она сдѣлала, за что ты ее въ звѣриный образъ пожаловалъ? за что ты съ такимъ злорадствомъ выискиваешь мѣстечко, куда бы ее почувствительнѣе кольнуть?

— Совсѣмъ я не ищу этого; напротивъ, искренно желая спасти, оберечь...

— Исцѣлись лучше самъ, а не спасай то, что въ спасеніяхъ твоихъ не нуждается. Самъ же ты на каждомъ шагу утверждаешь, что эти „превратныя толкованія“, которыя такъ тебя безпокоятъ, не имѣютъ корня въ массахъ, что массы имъ не сочувствуютъ и что это еще больше выдаетъ ихъ головой; такъ зачѣмъ же ты, пользуясь симъ случаемъ, массы-то эти собираешься „подтянуть“?

— Ничего я относительно массъ не имѣю. Массы у насъ добрыя—я знаю это.

— Знаешь, а въ то же время изнемогаешь подъ бременемъ фантастическихъ мѣропріятій. И именно общихъ мѣропріятій, захватывающихъ возможно обширнѣйшую область. Развѣ я не читаю на твоемъ лицѣ: непремѣнно надобно, чтобъ каждый зналъ, что Кузьку Кузькой зовутъ!... за что?

— И это—только предположеніе съ вашей стороны, и ничего больше. Ни объ какомъ „Кузькѣ“ я никогда не думаю—даже этого термина совсѣмъ не знаю—а думаю и утверждаю, что рѣшительныя мѣры все-таки необходимо принять.

— Но въ этомъ-то и опасность, что ты утверждаешь, нимало не подозрѣвая, что твои рѣшительныя мѣры совсѣмъ не туда попадутъ, куда ты мѣтишь или предполагаешь мѣтить, а все мимо и мимо. Но и не на-пусто попадутъ—нѣтъ, а произведутъ безпокойство и тревогу именно въ той самой средѣ, которую ты собрался спасти. Впрочемъ, въ строгомъ смыслѣ, я не могу даже поставить тебѣ это въ вину, потому что ты мыслишь вполнѣ согласно съ традиціями. Мы, русскіе, всегда оказывались безсильными, когда нужно было указать на дѣйствительно больное мѣсто. Но за то никто свободнѣе насъ не плавалъ въ океанѣ такъ-называемыхъ общихъ мѣропріятій. Оно и легко, и лестно. Во-первыхъ, плыви куда хочешь—нигдѣ пути не заказаны; во-вторыхъ, бей направо, бей налѣво—авось и подвернется виноватый; а въ-третьихъ, какъ же не лестно:

мозговъ не утруждаешь, а между тѣмъ во-очію видишь, какъ въ сердцахъ водворяется спасительный страхъ.

— Ну, лестнаго-то не много, положимъ.

— Нѣтъ, лестно, даже очень лестно. Помилуй! ты — гарцуешь, а Кузьки — безъ шапокъ въ спасительномъ страхѣ обрѣтаются... какой картины еще лучше желать!

— Ахъ, дядя, дядя! что жъ дѣлать, коли другихъ средствъ нѣтъ!

— Оттого и средствъ нѣтъ, что мы искони думаемъ, какъ бы полегче да попроще преуспѣть. А ты, коли хочешь новую эру въ сферѣ мѣропріятій намѣтить, то разсуждай такъ: я желаю достигнуть того-то и того-то (такъ и начинай съ подробнаго опредѣленія твоихъ желаній, а не съ того, что у меня, дескать, руки чешутся), слѣдовательно обязываюсь въ этомъ смыслѣ потрудиться, а не бѣжать куда глаза глядятъ.

— Зачѣмъ же дѣло стало! потрудитесь вы, mon oncle!

Замѣчаніе это было не лишено язвительности и застало меня нѣсколько врасплохъ. Но, разумѣется, въ концѣ концовъ, я-таки нашелся.

— Ты опять къ инсинуаціямъ прибѣгаешь, любезный другъ.— сказалъ я:—сейчасъ только я объяснилъ тебѣ, какъ это неприлично въ частной бесѣдѣ, а ты ужъ и позабылъ. Нехорошо это, даже коварно. Я къ тебѣ обращаю мою рѣчь, къ тебѣ, къ человѣку, до краевъ переполненному проектовъ объ упроченіи твоей карьеры, тебѣ говорю: потрудись!—а ты предательски перевертываешь мою рѣчь и говоришь: потрудись самъ! И говоришь, зная, что моя пѣсня спѣта, что мнѣ и жить-то противно, что я ни о чемъ такъ охотно не думаю, какъ о томъ, чтобъ уйти, стушеваться, исчезнуть... Ахъ, молодой человѣкъ, молодой человѣкъ! изъ молодыхъ да ранній!

— Да вѣдь я, дядя, по родственному. Вижу, что вы критикуете—вотъ я и заключилъ: можетъ быть, mon oncle и потрудиться не прочь?

— Я ничего не критикую, а лично тебѣ говорю: стыдись! Извини, любезный другъ, я тоже по родственному!

Ѳеденька ни слова не отвѣтилъ на мою рѣзкость (повидимому онъ даже не обидѣлся ею), а только съ безпечнымъ видомъ помахалъ въ воздухѣ тросточкой и потихоньку, сквозь зубы, пропѣлъ:

A Provins
Trou-la-la-la...
On récolte des roses
Et du jasmin
Trou-la-la-la...
Et beaucoup d'autres choses.

— Понимаю,—сказалъ я:—ты хочешь дать мнѣ понять, что мои іереміады такъ же стары, какъ эта пѣсенка. Что нынче въ Демидронѣ ужъ совсѣмъ другія пѣсни поютъ... Но увѣряю тебя, что критики мои вовсе не такъ устарѣли, какъ это кажется.

Но Ѳеденька и на этотъ разъ вмѣсто отвѣта пропѣлъ:

Et j'frotte, et j'frotte, et allez donc!
Il vient trop de monde dans la maison!

— И эту пѣсенку я знаю,—сказалъ я:—и знаю цѣлое поколѣніе такихъ, какъ ты, которое воспитывалось на подобныхъ пѣсенкахъ. Когда одинъ гривуазныя пѣсни на умѣ, тогда, конечно, кажется, что на свѣтѣ все распутывается легко.

— Послушайте, mon oncle! ужели вся эта матерія стоитъ того, чтобъ изъ-за нея огорчаться и говорить обидныя слова?

— Разумѣется, стоитъ. Вѣдь ты карьеристъ, пойми меня, Христа ради! Еслибъ ты не былъ увѣренъ въ успѣхѣ, я бы не тратился на слова. Но ты увѣренъ въ себѣ и въ то же время совершенно серьезно лелѣешь подтягивательные идеалы, забывая, что они гораздо старѣе даже тѣхъ пѣсенокъ, которыя ты сейчасъ пропѣлъ. Надо же поколебать въ тебѣ это убѣжденіе! надо же высказать тебѣ, что подобные идеалы ни процвѣтанія, ни преуспѣянія никогда не производили. Надо, чтобъ ты понялъ, что на свѣтѣ существуютъ не двѣ только разновидности: человѣкъ-начальникъ и человѣкъ-бунтовщикъ, но есть еще средній человѣкъ, трудящійся и скромный,—человѣкъ, который предпочитаетъ спокойствіе безпокойству, свободу стѣсненію, потому что видитъ въ спокойствіи и свободѣ единственную ограду своей личности и своего труда. Вотъ этого-то средняго человѣка и не слѣдуетъ тревожить.

— Даже если онъ принадлежитъ къ числу сочувствователей?

— Умоляю тебя, не говори неопрятныхъ словъ! „Сочувствователь“—это одна изъ самыхъ пакостныхъ кличекъ, какихъ може-

ство сочинено въ послѣднее время и начертано на стѣнахъ ретирадныхъ мѣстъ. Она придумана съ тѣмъ, чтобы клеймить людей, не совсѣмъ утратившихъ чувство человѣчности, и это придаетъ ей еще болѣе отвратительный смыслъ. Къ счастью для человѣчества, на свѣтѣ больше добрыхъ людей, нежели злыхъ, больше чистыхъ сердцемъ, нежели змѣеподобныхъ ретирадниковъ. Но какъ ты думаешь, однакожъ, весело ли этимъ людямъ видѣть, какъ на нихъ перстами указываютъ?

— C'est la fatalité, mon oncle, вотъ все, что̀ могу вамъ на это сказать.

— Подумай однакожъ! какое можетъ быть преуспѣянье, когда ты объ томъ только мечтаешь, какъ бы хорошенько испугать? какая можетъ быть производительность, когда „средній человѣкъ“ (онъ же и несомнѣнно-производительный) будетъ ежемгновенно видѣть передъ собою тебя, мелькающаго, сверкающаго, помахивающаго, потрясающаго...

— И оглашающаго стогны непечатными словами... Я знаю это, mon oncle! знаю наизусть, но и за всѣмъ тѣмъ остаюсь при своихъ убѣжденіяхъ...

— Выражающихся въ одномъ словѣ: „подтянуть“—помилуй! развѣ это убѣжденіе?

— Ну, тамъ какъ хотите, а я знаю, что у меня есть убѣжденія, и знаю, въ чемъ они состоятъ. И повѣрьте, не ошибусь.

— Эй, Ѳедя, не ошибись! Не вѣчно вѣдь будутъ проповѣдывать, что крестьянская реформа есть источникъ всѣхъ золъ, что судъ присяжныхъ — злонамѣренная комедія, что свободная печать — вертепъ мошенниковъ пера, что человѣчность равна сочувствію... Нынче это, конечно, въ модѣ, но завтра, быть можетъ, и выйдетъ изъ моды.

— А ежели ошибусь, такъ и отвѣчу. Нынче мы всѣ такъ настроены. Согласитесь, что иначе не было бы конца ерундѣ. А ерунда всего опаснѣе, и надо во что бы то ни стало выбраться изъ нея. Согласны?

— Согласенъ, что въ ерундѣ мало хорошаго; но знаешь ли, по совѣсти говоря, у меня сердце все-таки больше лежитъ къ ерундѣ, нежели къ неуклонному шествію.

— У всякаго свой вкусъ. Однакожъ, я съ вами заболтался,

mon oncle. Семь часовъ, пора и за работу. До свиданія: надѣюсь, что вы на меня не въ претензіи?

— Помилуй, дружокъ, за что! Вотъ ты на меня... ахъ, да скажи же пожалуйста, какъ maman? давно ты не получалъ отъ нея писемъ?

— Вчера получилъ. Пишетъ, что здорова и собирается сюда.

— Вотъ какъ!

— Да; но, признаюсь, я все еще сомнѣваюсь. Боюсь, какъ бы она, вмѣсто Петербурга, не очутилась въ странѣ зулусовъ, въ качествѣ сестры милосердія при принцѣ Наполеонѣ *). Во всякомъ случаѣ, ежели она пріѣдетъ— мы ваши гости, mon oncle. A bientôt et sans rancune.

Съ этими словами онъ пожалъ мнѣ руку и побрелъ вдоль по аллеѣ къ выходу.

Первое іюля.

Почти весь іюнь я посвятилъ семейнымъ радостямъ.

Это было утромъ; часовъ около двухъ раздался звонокъ.

Выхожу; вижу—въ гостиной расположилась дамочка. Маленькая, но уже слегка отяжелѣвшая, рыхлая, съ мягкими, начинающими расплываться чертами лица, съ смѣющимися глазками, съ пышновзбитымъ бѣлокурымъ ореоломъ вокругъ головки. Но сколько было намотано на ней всякихъ дорогихъ ветошекъ — это ни въ сказкѣ сказать, ни перомъ описать. Вѣроятно она не меньше трехъ часовъ сряду охорашивалась передъ цѣлымъ сочетаніемъ зеркалъ, прежде, нежели явиться во всеоружіи. При моемъ появленіи дамочка устремилась ко мнѣ, но, видя, что я ее не узнаю, остановилась въ горестномъ недоумѣніи.

— Cousin! Стало быть, я очень подурнѣла, если ты меня не узнаешь!—вылетѣло горестное восклицаніе изъ ея крѣпко схваченной корсетомъ груди.

И въ одинъ мигъ двѣ крошечныя слезки затуманили крошечные глазки.

*) Тогда принцъ Наполеонъ былъ еще живъ и воевалъ.

Да, это была Nathalie. Все та же маленькая, съ тѣмъ же вопрошающимъ и какъ бы изумленнымъ личикомъ, съ тѣми же порывистыми, почти необъяснимыми тѣлодвиженіями. Та же, да не та. Что же, однако, случилось съ нею? Точно кто-нибудь, проходя мимо этой, еще не такъ давно тому назадъ свѣже-нарисованной картинки, неосторожно задѣлъ рукавомъ и слегка затушевалъ мягкія очертанія.

— Nathalie! голубушка моя! Ну, разумѣется... разумѣется, это ты! — воскликнулъ я въ умиленіи: — но какъ ты могла подумать, что подурнѣла! Подурнѣла... ты!

Двѣ новыя слезки блеснули въ крошечныхъ глазкахъ, но эт были ужъ слезки радости.

— Не только не подурнѣла, — продолжалъ я: — но даже удивительно какъ похорошѣла! Пополнѣла, выраженіе какое-то пріобрѣла... Ахъ, милая, милая! наконецъ!

Она жадно вслушивалась въ мои похвалы и, вся переполненная счастіемъ, крѣпко сжимала мою руку.

— А помнишь, cousin, какъ мы однажды заблудились въ саду, въ куртинѣ? Какой ты былъ тогда... дурной! — вдругъ совсѣмъ неожиданно вспомнила она, и — о, неисповѣдимыя глубины женскаго сердца! — кажется, даже застыдилась.

Это произошло ровно тридцать-два года тому назадъ. Ей было съ небольшимъ пятнадцать лѣтъ (почти невѣста), мнѣ — двадцать-три года. Въ то время я былъ ужаснѣйшій сорви-голова — просто, какъ говорится, ничего святого. Увижу хорошенькую дамочку или дѣвочку — и сейчасъ же чувствую, какъ все внутри у меня поетъ: rien n'est sacré pour un sapeurrrrre! Я помню, я гостилъ у tante Babette (такъ звали Наташину maman, тоже куколку); однажды, гуляя съ Наташей по дорожкамъ сада, мы бѣгали, перегоняли другъ друга и, бѣгая и перегоняясь, все забирали влѣво да влѣво. И вдругъ очутились Богъ знаетъ гдѣ, въ совсѣмъ дикомъ мѣстѣ, среди четырехъ кустовъ.

— Гдѣ мы? — спросила Наташа взволнованная.

Я помню: я обнялъ ее, поцѣловалъ, погладилъ по головкѣ и... вывелъ на правый путь!! Однако весь остальной день послѣ этого Наташа ходила нѣсколько томная и удивительно-удивительно нѣжная...

Я думалъ, что она давно объ этомъ забыла, какъ забылъ и я самъ, а оказывается, что она помнила, всегда помнила. И не только помнила, но хранила секретъ, не говорила ни maman, ни мужу, штабсъ-ротмистру Неугодову. О, благодарное женское сердце! Только ты можешь съ такимъ благоговѣйнымъ упорствомъ хранить память о заблужденіи среди четырехъ кустовъ!

И теперь, какъ тогда, я обнялъ ее, поцѣловалъ и погладилъ по головкѣ — все какъ тогда. И, обнимая, чувствовалъ, какъ на моей груди чуть слышно поскрипываетъ ея корсетъ...

— Милая, милая!—повторялъ я въ восхищеніи:—о, еслибы!..

Я хотѣлъ сказать: о, еслибы мнѣ не было пятидесяти-пяти лѣтъ! но вспомнилъ, что ежели изъ пятидесяти-пяти вычесть восемь, то это все-таки составитъ ровно сорокъ-семь лѣтъ—возрастъ очень и очень не маленькій—и замолчалъ.

— У кого ты заказываешь корсеты?—спросилъ я ее.

— У Lavertujon, Paris, rue... N...—засмѣшила она:—а что?

— Изумительный!

— Ахъ, ты не можешь себѣ представить, какіе это корсеты! Я совсѣмъ-совсѣмъ не чувствую, есть ли на мнѣ корсетъ, или нѣтъ!

— Изумительно! но все-таки скажу: охота вамъ, такимъ „душкамъ“, кирасирскіе доспѣхи на себя надѣвать!

— А ты все такой же дурной, какъ тогда... помнишь?

Она опять застыдилась и погрозила мнѣ пальчикомъ. Я не выдержалъ, поймалъ этотъ пальчикъ и поцѣловалъ... Душка-пальчикъ! плутишка-пальчикъ!

Я вспомнилъ окончательно... все какъ было. Вспомнилъ и смотрѣлъ на нее съ восхищеніемъ. Да, это она, это моя „куколка“, несмотря на то, что пополнѣла и налилась больше чѣмъ нужно, чтобы быть à point. Она никогда и не переставала быть куколкой, а только постепенно зрѣла и наконецъ совсѣмъ созрѣла, сдѣлалась куколкой вполнѣ сформировавшеюся, способной переносить воляи и даже нѣкоторыя—конечно, небольшія—огорченія. Въ послѣдній разъ, какъ мы видѣлись, въ ней все еще замѣчались признаки чего-то несовершеннаго, сдѣланнаго на живую нитку. Но теперь ничего подобнаго уже не было: нитки отъ времени запылли, все уставилось на своемъ мѣстѣ, улеглось. Вышла куколка на диво, съ отвѣтомъ безъ починки на сколько угодно лѣтъ.

И что всего пріятнѣе—у этихъ куколокъ всегда всѣ принадлежности въ уменьшительномъ. Нѣтъ ни руки, ни ноги, ни носа, ни рта, а ручка, ножка, носикъ, ротикъ. Это дѣлаетъ рѣчь чрезвычайно учтивою. И притомъ: ручка-душка, ножка-плутишка, носикъ-цынка, ротикъ-розанчикъ. А грудка—такъ это даже сказать нельзя, что это такое! Точь-въ-точь малюсенькое гнѣздышко, въ которомъ сидятъ два бѣленькихъ голубочка и тихонько подъ корсетомъ трепещутся! Ахъ!

— А помнишь, Наташа,—воскликнулъ я:—какъ, бывало, твой Simon возьметъ тебя въ охапку и унесетъ невѣдомо куда?.. Знаешь ли, вѣдь это было отчасти даже скандально!

— Ахъ, не вспоминай... Я такъ была тогда счастлива!

И опять двѣ слезки.

— А ты какъ?—спохватилась она:—все такой же... дурной?

Очевидно, что лексиконъ ея былъ неразнообразенъ. Но и это опять-таки мило. Она знаетъ, что она—куколка, и что les messieurs любятъ куколокъ совсѣмъ не за лексикопъ. Они любятъ, потому что они... дурные. Это слово запало въ ея голову, и она повторяетъ его, какъ повторяла и ея куколка-maman. Они дурные, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, они и милые, хотя объ этомъ не принято говорить, а можно только по секрету думать. И maman ея по секрету такъ думала, и въ доказательство, что les messieurs бываютъ и милые, большая куколка произвела на свѣтъ маленькую куколку. Дурные и милые,—весь кругъ ея мыслей тутъ, а въ то же время и весь лексиконъ. Ужели это не трогательно?

— Ну, что обо мнѣ говорить!—отвѣтилъ я:—нѣтъ, ты лучше вотъ что скажи: гдѣ ты это платьице шила?

— У Worth... я всегда у него весь туалетъ дѣлаю. Ахъ, онъ такой милый! Et gentleman—jusqu'au bout des ongles! Когда онъ снимаетъ мѣрку, я всегда хохочу. А тебѣ нравится это платье?

Она инстинктивно встала, подошла къ зеркалу, посмотрѣлась спереди, отошла, потомъ повернулась, опять отошла, оглянулась и поправила сзади складочку.

— Не правда ли, хорошо?

— Восхитительно!

— И что ужасно пріятно: я почти совсѣмъ не чувствую, что я одѣта. А впрочемъ, это достается не легко, потому что онъ (Worth) ужасно какъ строгъ! Когда онъ снимаетъ мѣрку или примѣриваетъ

— это цѣлый урокъ... Онъ командуетъ, à la lettre командуетъ. Представь себѣ, не позволяетъ дышать: „tâchez de ne plus respirer... parfaitement! oui, c'est ça!“ Приказываетъ принимать всевозможныя позы: mélancolique, suppliante, impérieuse... заставляетъ поднимать руки... И это иногда безъ рукавовъ!

— Ахъ!

— Да, и мнѣ ужасно было въ первый разъ страшно. Но потомъ привыкла—и ничего!

— Ну, а перчатки гдѣ берешь?

— Перчатки—у Boivin, шляпки—у Coralie. Ну, посмотри: развѣ можно сказать, что это—шляпка?

Она опять подошла къ зеркалу и повернулась передъ нимъ.

— Какая это шляпка! Это — воздушное безé! Это „испанскіе вѣтры“... Помнишь, у насъ былъ поваръ Кузьма—какъ онъ отлично „испанскіе вѣтры“ приготовлялъ!

— Ахъ, Simon такъ любилъ это пирожное!

— И это пирожное, и тебя...

— Нѣтъ, онъ любилъ еще Милэди! помнишь, у насъ рыженькая лошадка была, еще я верхомъ на ней всегда ѣздила? Еще однажды я такъ неловко свалилась?

— Помню, помню! Стало быть, три вещи Simon любилъ: „испанскіе вѣтры“, кобылку и тебя. Все вмѣстѣ это составляетъ ваши семейные les pieux souvenirs! Но ножки твои, Наташа? Я непремѣнно хочу твою ножку видѣть!

Она слегка сжалась, молвила: —Ахъ, ты все такой же... дурной! —но ножку все-таки показала... Ахъ, это была ножка!!

— Прелесть! —воскликнулъ я отъ глубины души: — и какъ обута—восхищенье!

— Да, но это ужъ не въ Парижѣ,—замѣтила она очень серьезно: —туфли и ботинки мнѣ Теодоръ отсюда присылалъ, отъ Auclair.

— Вотъ какъ! Что-жъ, впрочемъ, это и резонно. Я и самъ: вино отъ Рауля беру, но галоши... о, галоши непремѣнно надо въ Москвѣ на Монетномъ дворѣ покупать... янтарь!

Упоминовеніе о галошѣ повидимому подѣйствовало на нее возбудительно, потому что она инстинктивно потерла ручкой корсетъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ даже у куколокъ предполагается желудочекъ. Куколка куколкой, а покушать тоже хочется.

— Покушать захотѣлось?—спросилъ я:—пожалуйста, не церемонься! приказывай!

— Да... крылышко... если можно!—прошептала она стыдливо.

— Зачѣмъ крылышко? котлеточку? бифштекцу?

Я поспѣшно распорядился, и черезъ полчаса мы уже сидѣли за столомъ.

— Наташа! какъ тебѣ угодно, а я сяду поближе, рядышкомъ. Помнишь, какъ въ тотъ день? Утромъ мы заблудились, а за обѣдомъ, какъ ни въ чемъ не бывало, сидѣли рядышкомъ.

— И ты... ахъ, какой ты тогда былъ!

— Сорви-голова? Гм... я и теперь... А прочемъ нѣтъ — что ужъ теперь! Самая малость во мнѣ теперь осталась, да и то больше въ родѣ какъ напоминаніе...

— Ахъ, бѣдненькій!

— Да, но тогда... тогда я дѣйствительно... Большихъ усилій мнѣ стоило, чтобъ вывести тебя... на правый путь. Ахъ, какія это были минуты!

Наташа глубоко-глубоко вздохнула, потомъ вдругъ приподнялась и поцѣловала меня въ лобъ.

— Это тебѣ за то, что ты помнишь... дурной!

— Не только это помню, но даже и еще многое вспомнилъ. Помнишь, въ тотъ день у васъ за обѣдомъ подавали супъ-разсольникъ изъ цыплятъ, а maman положила тебѣ въ тарелку пупочекъ?

— Ахъ, я обожала пупочки!

— Да, ты любила ихъ, но, несмотря на это, зная, что я тоже люблю пупочки, и повинуясь влеченію сердца, ты взяла и переложила пупочекъ въ мою тарелку... Я никогда, никогда этого не забуду!

— Но знаешь ли ты, что maman замѣтила это, и послѣ обѣда ужасно меня забранила?

— Ужели? и ты скрыла отъ меня это!

— Зачѣмъ говорить! Я знала, что это тебя огорчитъ.

— Изъ-за меня пострадала? Нѣтъ, воля твоя, а я не могу. Я еще разъ поцѣлую тебя за это!

И поцѣловалъ.

Такимъ образомъ пролетѣло полчаса; но къ концу этого срока les pieux souvenirs начали истощаться. Истощались, истощались и

вдругъ совѣмъ изякли. Былъ даже такой страшный моментъ, когда мнѣ показалось, что я зѣвнулъ. Къ счастію, Наташа не замѣтила моей невѣжливости, потому что она въ это время отвернулась... тоже чтобы зѣвнуть. Но вдругъ она оживилась.

— А вѣдь я объ чемъ-то собиралась тебя попросить... ахъ, какая я глупенькая! объ главномъ-то чуть-чуть не позабыла! Ты Филофея Иваныча помнишь?.. ахъ, ну да того самаго Филофея Иваныча, который при Теодорѣ былъ воспитателемъ?

— Длинный такой?

— Совсѣмъ онъ ужъ не такой длинный... Ты всегда, cousin, преувеличиваешь! Конечно, у него ростъ...

— Ну, словомъ сказать, того, съ которымъ покойный Simon однажды распорядился...

— И это ты преувеличиваешь: совсѣмъ это не такъ было. Конечно, Филофей Иванычъ былъ тогда дурной, а я ничего не понимала и пожаловалась... Впрочемъ Simon былъ всегда къ нему несправедливъ... Ah! les hommes sont si méchants!

Она остановилась, и на этотъ разъ ужъ не двѣ, а ровно четыре слезинки выкатились изъ ея глазокъ.

— Ну, не огорчайся, душа моя, вѣдь я пошутилъ! — постарался я утѣшить ее:—говори же, что̀ нужно тебѣ для Филофея Иваныча?

— Ты знаешь, какъ много наше семейство ему обязано. Даже Simon—и тотъ отдавалъ ему справедливость. Такъ что ежели Теодоръ имѣетъ христіанскія правила, то это именно только благодаря ему.

— Ну-съ, такъ чѣмъ же я могу быть ему полезнымъ?

— Нельзя ли, голубчикъ, какъ-нибудь устроить его при вашей литературѣ!

— Какъ это—при литературѣ?

— Ну, да, мѣсто какое-нибудь... ты это можешь, cousin! онъ говорилъ мнѣ, что ты все, все можешь!

— Развѣ онъ пишетъ?

— Ахъ, онъ ужасно пишетъ! онъ цѣлый день, цѣлый день пишетъ! и даже одинъ самъ съ собою декламируетъ! Нѣкоторое онъ и мнѣ читалъ... Право, нисколько не хуже „Бѣдной Лизы“... Голубчикъ! прочти!

При этой просьбѣ, les pieux souvenirs окончательно исчезли. Мнѣ вдругъ показалось, что я очутился въ какомъ-то темномъ складѣ, гдѣ грудами навалены куколки, куколки, куколки безъ конца. Отличныя куколки, лучшія въ своемъ родѣ. Одѣты—прелесть; ручки, ножки, личики, грудки—восторгъ; даже звуки какіе-то издаютъ, дѣлаютъ нѣкоторыя несложныя движенія головкой, глазками. Словомъ сказать, любую изъ нихъ посадилъ бы въ гостиную и любовался бы, какъ она глазки заводитъ. И вдругъ одна изъ куколокъ встаетъ и говоритъ:—Покажите, пожалуйста, какъ мнѣ пройти въ литературу! это я не для себя прошу... фи! а для Филофея Иваныча! — И при этомъ начинаетъ лепетать: — „Бѣдная Лиза“, „Марьина Роща“, „Сарепта“, „Вадимъ“...—Куколка, куколка! да вѣдь ты картонная! какъ это язычокъ твой выговорилъ: ли-те-ра-ту-ра?—Ахъ, это не я, это Филофей Иванычъ...—Какъ тутъ быть? Начать объяснять, что литература есть нѣчто серьезное и совсѣмъ не кукольное — не повѣритъ; доказывать, что „Бѣдная Лиза“ давно ужъ не представляетъ достаточнаго мѣрила для сравненія—не поймётъ...

Но тѣмъ-то именно и сильны куколки, что онѣ ничего не понимаютъ. И ежели, при этой силѣ непониманія, найдется мудрецъ, который овладѣетъ ею и добьется, что куколка что-нибудь затвердитъ, то она въ пользу этого затвержденаго способна будетъ на всякіе доступные куколкѣ подвиги. Будетъ съ утра до вечера повторять одно и то же слово, будетъ сердиться, ронять слезки, жаловаться на судьбу. И непремѣнно, въ концѣ концовъ, чего-нибудь добьется: если не прямо несообразность какую-нибудь вынудитъ сдѣлать, то заставитъ наобѣщать съ три короба, налгать.

— Послушай, Наташа! неужели ты не знаешь, что литература —это своего рода республика, въ которой такихъ мѣстъ, куда бы можно было „пристроить“, не полагается?—спросилъ я вмѣсто отвѣта.

Я нарочно употребилъ такой оборотъ рѣчи, чтобъ она не сразу могла понять. Я думалъ: надо ее поразить чѣмъ-нибудь помудренѣе, заставить ее сначала прислушаться, постараться заучить. Она заучитъ, перескажетъ Филофею и, разумѣется, переврет. Выйдетъ сначала одно недоразумѣніе, потомъ еще недоразумѣніе, потомъ десятки, сотни недоразумѣній — смотришь, анъ время-то и прошло. Однакожъ она даже и этой перспективы меня лишила.

— Значитъ, вакансій въ эту минуту нѣтъ?—воскликнула она съ неподдѣльною горестью.

— Не только въ эту минуту... ахъ, пойми меня, ради Христа! ни въ другую минуту, никогда вакансій не полагается! Отъ природы ихъ нѣтъ.

— Ахъ, ты меня обманываешь!

— Да нѣтъ же! если мнѣ не вѣришь, кого хочешь спроси. Ну, Теодора.

— Теодоръ, напротивъ, говоритъ, что у васъ безпрестанно мѣста открываются. Да это такъ и должно быть, потому что какъ же иначе, безъ подчиненныхъ, вы книжки бы издавали!

— Да очень просто: напишетъ кто-нибудь съ воли хорошую вещь—ее и печатаютъ!

— Ахъ, такъ вѣдь у него—много! Онъ цѣлый большой сундукъ съ собою привезъ!

— Ну, вотъ ты ему и скажи: пускай принесетъ. Конечно, не сразу весь сундукъ, а понемножку.

— И ты сейчасъ ему жалованье положишь?

Мнѣ вдругъ надоѣло. Мнѣ даже показалось, что совсѣмъ это не куколка, а просто замосквор'ѣцкая тетёха, которая дремлетъ и во снѣ веревки вьетъ.

— Ну, да! назначу! назначу!—крикнулъ я, чтобъ какъ-нибудь покончить.

Однакожъ мой тонъ огорчилъ ее.

— Вотъ ты и разсердился!—пролепетала она сквозь слезки:— сейчасъ былъ милый, а теперь... дурной! А я все-таки тебѣ благодарна. Хоть разсердился, а доброе дѣло сдѣлалъ. И я доброе дѣло сдѣлала... хоть и разсердила тебя...

Съ этими словами она встала и начала прощаться.

— Ну, до свиданія, мой родной. Благодарю, что побаловалъ. За все, за все благодарю вообще... И за себя, и за Теодора, и за Филоѳея Иваныча.

— Что-жъ ты засѣшпила! скажи по крайней мѣрѣ, что̀ предполагаешь дѣлать лѣтомъ? вѣдь Монрепо̀-то ужъ нѣтъ?

— Да, ужъ нѣтъ! И какъ мнѣ было грустно, еслибы ты зналъ, когда Теодоръ написалъ, что наше милое Монрепо̀ продано... Вѣдь тамъ мой добрый, милый Simon...

Опять les pieux souvenirs. И слезки—счетомъ двѣ.

— Теперь тѣснимся какъ-нибудь у Теодора, а тамъ... Скучно у васъ, cousin! Нѣтъ, что ни дѣлайте, а все-таки не Парижъ! Нѣтъ, ты представь себѣ: Парижъ, да если при этомъ Henri-Cinq—вѣдь это что-то волшебное!

— Ну, этого-то, пожалуй, не дождешься!

— Нѣтъ, это непремѣнно будетъ. Вообрази себѣ, какой однажды со мной случай былъ. Стою я въ la Chapelle и молюсь. И вдругъ—сама не знаю какъ—запѣла: Vive Henri Quatre! vive ce roi vert-galant! И съ тѣхъ поръ я вѣрю, что французы когда-нибудь одумаются и обратятся къ Henri Cinq.

— А покуда тебя за пѣнье, конечно, au violon?

— Нѣтъ, тамъ на это сквозь пальцы смотрятъ. Не знаютъ, что будетъ впереди—ну, и пропускаютъ. А не правда ли, какая прелестная пѣсенка? Впрочемъ и Marseillaise... quel chant grandiose!

— Ты, конечно, и марсельезу пѣла!

— Я, cousin, все пѣла. Однажды я даже парижьену пѣла въ честь герцога Омальскаго.

— Прекрасно; такъ и надо. Любезность—прежде всего. Впрочемъ что-жъ мы о пустякахъ болтаемъ; скажи-ка лучше, довольна ли ты Теодоромъ?

— Я—счастливѣйшая изъ матерей. Теодоръ — сокровище! Представь себѣ, отдалъ мнѣ свою комнату, а самъ съ Филоѳеемъ Иванычемъ расположился на бивакахъ въ кабинетѣ. Но знаешь ли что? мнѣ кажется, онъ черезъ-чуръ ужъ усерденъ. Все докладываетъ. Безпрестанно, съ утра до глубокой ночи все докладываетъ. Утромъ, часовъ въ десять, придетъ ко мнѣ, пока я еще въ постели, я его благословлю—и исчезнетъ на цѣлый день.

— За то и превознесенъ будетъ.

— Да, онъ пойдетъ; кажется, это одно его и поддерживаетъ. Филоѳей Иванычъ такъ объ немъ выразился: „хотя нынѣ для Ѳедора Семеныча и не безъ труда, но за то сколь сладко будетъ впослѣдствіи держать въ своихъ рукахъ судьбы возлюбленнаго отечества!“ Вотъ какъ Филоѳей Иванычъ говоритъ! и точно такъ пишетъ.

— Прекрасно.

— Очень рада, что тебѣ понравилось, потому что отъ тебя теперь все зависитъ. А какъ онъ читаетъ! Особливо описанія какія-

нибудь: вѣтеръ, бурю—все такъ и слышишь! Ахъ, только бы ты ему жалованье поскорѣе назначилъ!

— Постараюсь, мой другъ. Да что ты все объ Филоѳеѣ Иванычѣ! тебѣ-то у насъ скучно—вотъ что меня безпокоитъ!

— Нѣтъ, я не скучаю. Отъ тебя къ Auclair поѣду, отъ Auclair къ Andrieux, потомъ еще куда-нибудь. А вечеромъ Теодоръ обѣщалъ насъ въ Зоологическій садъ свозить, ежели успѣетъ отдѣлаться.

— А вчера что дѣлали?

— Вчера отдыхали. Утромъ я все спала, а вечеромъ купили картъ и съ Филоѳеемъ Иванычемъ въ вистъ съ двумя болванами играли. Только считать ужасно трудно!

— Еще бы! Но ты не церемонься! ежели скучно, то пріѣзжай ко мнѣ, а не то такъ и просто пришли за мной. Я и въ Демидовъ садъ, и въ Ливадію, и на Крестовскій... Только вотъ Филоѳей Иванычъ... неужто и онъ будетъ участникомъ нашихъ экскурсій? ну, зачѣмъ онъ намъ?

— Cousin! ты ужасно, ужасно, ужасно... дурной!

— То-есть, милый, хотѣла ты сказать?

— И дурной, и милый... Помнишь, тогда? А какъ меня maman забранила! Я цѣлыхъ три дня думала, что я... погибшая! Ну, такъ до свиданія: сиѣшу къ Auclair! непремѣнно, непремѣнно за тобой пришлю! милый!

Она три раза поцѣловала меня, и вдругъ—не могу даже представить себѣ, что ей вообразилось—перекрестила меня и сказала:—Вотъ такъ!—потомъ въ припрыжку побѣжала по направленію къ передней и, не добѣжавъ, опять остановилась.

— Ахъ, да! и забыла... cousin, не можешь ли ты...

Сердце у меня такъ и похолодѣло: сейчасъ, думаю, денегъ попроситъ. Однако на этотъ разъ обошлось благополучно. Какъ истинная куколка, она постояла немного и, не досказавши начатаго, продолжала:

— Нѣтъ, впрочемъ, это когда-нибудь послѣ. Такъ до свиданія, голубчикъ!

И черезъ минуту она дѣйствительно спускалась по лѣстницѣ.

Цѣлыхъ двѣ недѣли послѣ этого я провелъ въ чаду безумныхъ удовольствій. По нѣскольку разъ перебывалъ и въ Демидровѣ, и въ Ливадіи, и на Крестовскомъ, и даже въ Баваріи. Но Ѳеденьку не

видалъ ни разу. Повидимому онъ былъ очень доволенъ, что свалилъ на меня обузу развлекать и увеселять Наташу и своего бывшаго воспитателя, и являлся домой только ночевать. Но мнѣ эти удовольствія стоили массу денегъ, издерживать которыя я, по родственному, обязывался безъ ропота.

Въ это же время я долженъ былъ возиться и съ Филоѳеемъ Дроздовымъ и выслушивать кроткія напоминанія Наташи относительно скорѣйшаго пріисканія ему мѣста въ литературѣ. Очень скоро весь чемоданъ произведеній Филоѳея Иваныча очутился у меня на квартирѣ. Тутъ были: и „Мысли у подножія памятника Минину и Пожарскому“, и „Ночь съ милой въ лѣсу“, романъ въ двухъ главахъ, и „Не стая воронов слеталась, или Ай да нигилисты!“, водевиль въ двухъ дѣйствіяхъ. Разумѣется, ничего этого я не читалъ и не намѣренъ былъ читать, но Дроздовъ все таскалъ, все таскалъ и наконецъ совсѣмъ обратилъ мою квартиру въ свиной хлѣвъ.

Однимъ словомъ, никогда я такъ несносно, глупо-хлопотливо не проводилъ времени.

И вотъ, однажды вечеромъ, когда мы втроемъ наслаждались въ Демидровѣ. Nathalie отвела меня въ сторону и сдѣлала странное признаніе:

— Cousin,—сказала она:—у меня есть секретъ, который я должна тебѣ сообщить.

— Ахъ, голубушка ты моя! куколка, да еще съ секретомъ—вѣдь это прелесть!

— Нѣтъ, не шути этимъ! это секретъ... ахъ, это очень, очень важный секретъ!

— Въ чемъ же дѣло? скажи! не мучь!

— Я хочу...

Она остановилась и крѣпко сжала мою руку, на которую опиралась, словно требуя, чтобы я, сильный человѣкъ, защитилъ ее, слабенькую куколку, противъ нея самой.

— ... выйти замужъ,—прошептала она наконецъ, потупляя глазки.

Я думалъ, что я сплю. Не знаю почему, но среди цѣлой массы предположеній о путяхъ, коими Провидѣніе ведетъ куколокъ, именно одно это не приходило мнѣ въ голову.

— За кого?—спросилъ я однакожъ.

Она вздрогнула и показала глазами на Дроздова, который въ эту самую минуту всѣмъ своимъ рыломъ такъ и впился въ дѣвицу Филиппо.

— Оеденька знаетъ объ этомъ?

— Нѣтъ, покуда... Впрочемъ, я и не спѣшу ему объявить. Знаешь ли, мнѣ кажется, что онъ противъ этого брака?

— И мнѣ тоже кажется.

— Но вѣдь я—мать! Я знаю, что дѣти должны почитать своихъ родителей. Наконецъ, я не обязана сыну отчетомъ. И ежели понадобится, то знаю, какъ поступить.

— Неужели ты захочешь скандала?

— Ахъ, нѣтъ! какой ты! Я просто попрошу, чтобъ его посадили въ смирительный домъ, покуда онъ не раскается.

Я взглянулъ на нее, думая, не прочту ли что-нибудь на ея лицѣ. И что-жъ!—ничего! куколка, ну просто куколка—и ничего больше.

— Чѣмъ же вы будете жить?

— Мы разсчитываемъ на тебя, cousin. Когда ты все прочитаешь, что Филосей Иванычъ тебѣ передалъ, и положишь ему жалованье, мы наймемъ маленькую квартирку и совьемъ тамъ себѣ гнѣздышко.

Во второй разъ я подумалъ, что сплю. Со страхомъ, почти съ ужасомъ смотрѣлъ я на нее, а она между тѣмъ продолжала:

— Я знаю, что ты очень большого жалованья на первый разъ дать не можешь—мы и не ждемъ этого. Но тысячи двѣ-три... пожалуйста, три! Подумай, какъ мнѣ будетъ трудно! Ахъ, я ничего, ничего не умѣю! Никогда я не занималась этимъ, а теперь надо будетъ вездѣ самой. И заказать обѣдъ, et les provisions, et la viande. et la blanchisseuse, et les frotteurs... enfin, tout, tout, tout! Конечно, Филосей Ивановичъ будетъ меня руководить, но все-таки представь: вездѣ сама!

Я молчалъ въ нѣмомъ изумленіи, а она все ворковала, перескакивая отъ одной хозяйственной статьи къ другой. И наконецъ заключила:

— Теперь ты понимаешь, почему я такъ тороплю тебя насчетъ жалованья. Ахъ, это такъ насъ устроитъ!

Такимъ образомъ къ прежней массѣ пустяковъ прибавились еще новые. Но пустяки имѣютъ ужасную силу, особливо родственные. Возвратившись домой, я чуть не растопталъ „Ночь съ милой въ лѣсу“ и

положительно до бѣлаго дня проворочался съ боку на бокъ, передумывая, предупредить ли Ѳеденьку, или не предупреждать.

Наконецъ я рѣшилъ предупредить. Можетъ быть, думалось мнѣ, какъ-нибудь и обойдется. Онъ объяснится, убѣдитъ, найдетъ средство устранить Филоѳея... Всплакнетъ куколка, выронитъ двѣ слезки, ну, четыре, ну, шесть—и все пройдетъ.

Руководясь этими мыслями, я отправился въ одиннадцать часовъ утра въ то мѣсто, гдѣ онъ обыкновенно докладываетъ. Онъ былъ уже тамъ и сейчасъ же вышелъ ко мнѣ, нѣсколько изнуренный непосильнымъ трудомъ, но не побѣжденный и нимало не унывающій. Въ короткихъ словахъ я объяснилъ ему суть вчерашняго разговора съ Наташей.

— Я давно это угадывалъ,—сказалъ этотъ получившій христіанскія правила молодой человѣкъ, нимало не смутившись моимъ разсказомъ.

— Но что же ты предполагаешь дѣлать?

— Ровно ничего. Если это устраиваетъ maman... съ Богомъ!..

— Однако, чѣмъ же они будутъ жить?

— Они все разсчитываютъ на какое-то жалованье, которое будто бы вы имъ обѣщали...

— Да вѣдь это наконецъ сказки! вѣдь это волшебное представленіе какое-то!

— Я ничего не знаю и ни во что вмѣшиваться не желаю. J'en ai jusqu'ici (онъ рѣзнулъ себя ладонью по горлу)! Я даже не понимаю, какъ я могу дѣлами заниматься среди этого хаоса.

— Вполнѣ раздѣляю твои затрудненія, но все-таки не понимаю, почему ты не хочешь вмѣшаться въ это дѣло. Согласись, что оно слишкомъ близко касается тебя и что ежели Наташа въ самомъ дѣлѣ выполнитъ свой нелѣпый проектъ...

— Ну, нѣтъ-съ, это не такъ-съ. Покуда maman носитъ имя моего отца, я, конечно, обязанъ... Вы, впрочемъ, сами знаете, сколько жертвъ я принесъ и даже теперь, въ настоящее время, приношу... Но разъ, что она сдѣлала une mésalliance—это ужъ особая статья! Какъ ей угодно, но я тутъ ни-при-чемъ!

— Но отчего бы тебѣ не устроить этого дѣла тихимъ манеромъ? Ты очень хорошо понимаешь, что всѣ эти надежды на жалованье, которое будто бы я могу назначить Дроздову—все это миражъ... Но

ты—вѣдь ты можешь! Отчего бы тебѣ не пристроить Филоѳея? Ежели тебѣ кажется не совсѣмъ ловкимъ выпросить для него что-нибудь въ Петербургѣ, то можно бы сплавить въ провинцію...

— Человѣка, который сочиняетъ „Ночь съ милой въ лѣсу“—благодарю покорно!

— Можно будетъ его уговорить, чтобъ онъ пересталъ. Право, мой другъ, въ провинцію? а?

— Представьте себѣ, не могу!

— Да почему же?

— Во-первыхъ, потому, что я далъ себѣ слово никогда ни за кого не просить (мнѣ самому объ себѣ въ пору хлопотать,—прибавилъ онъ въ скобкахъ), а во-вторыхъ, знаете ли вы, какія у него претензіи? двѣ-три тысячи! и притомъ скорѣе три, нежели двѣ! Вѣдь такіе оклады въ провинціи получаетъ ужъ, такъ сказать, начальство! Это Дроздовъ-то—начальникъ!

Однимъ словомъ, какъ я ни убѣждалъ, Ѳедепька пребылъ непреклоненъ. Затѣмъ мнѣ ничего другого не оставалось, какъ пустить это дѣло на волю судебъ.

И дѣйствительно, развязка не заставила себя долго ждать.

Дни проходили за днями, и Nathalie начала уже показывать признаки нѣкоторой раздражительности по случаю моей медленности. Мало-по-малу сталъ похаживать ко мнѣ и Филоѳей Дроздовъ, сначала просто „посидѣть“, а потомъ и „за справочками“. Во время этихъ собесѣдованій мнѣ удалось, наконецъ, понять, что его не столько соблазняетъ авторская слава съ ея скудными матеріальными прерогативами, сколько карьера редактора.

— Наслышанъ я,—говорилъ онъ:—будто бы нынѣ многіе издатели нуждаются въ редакторахъ, и будто бы таковымъ мѣстамъ присвоивается приличествующее содержаніе. Такъ вотъ еслибъ вы походатайствовали...

Онъ мгновенно взвивался во весь ростъ и мгновенно же преломлялся пополамъ, касаясь рукой до земли.

— Помилуйте, Филоѳей Ивапычъ! передъ кѣмъ же я буду ходатайствовать?—пробовалъ я возражать.

— Передъ подлежащими лицами, вѣконечно. Нынѣ благонадежныя лица рѣдки, потребность же въ таковыхъ ощущается... А я бы, въ случаѣ надобности, и прикрыть кой-что могъ. Въ журналѣ или

газетѣ, напримѣръ. Иное что-нибудь и вольненько написано, но коль скоро высшему начальству извѣстно, что редакторъ—здраваго ума человѣкъ, то оно и на вольныя прегрѣшенія, яко на невольныя, благомилостивымъ окомъ взглянетъ.

— Конечно, это хорошо. Но все-таки надо, чтобъ гдѣ-нибудь требовался вольнонаемный редакторъ, а я такихъ случаевъ не предвижу.

— Стало быть, не предвидите-съ?

— Да, не предвижу.

— Ну, а относительно произведеній моихъ—какъ вы думаете, какую цѣну за нихъ можно получить?

Я долго уклонялся отъ положительнаго отвѣта, но наконецъ убѣдился, что надежда какъ-нибудь отмолчаться и ускользнуть есть миѳъ. И вотъ въ одно прекрасное утро я вынужденъ былъ открыть печальную истину.

Въ тотъ же день сундукъ съ произведеніями Дроздова исчезъ изъ моей квартиры, и затѣмъ дня три или четыре сряду ни онъ, ни Nathalie не заглянули ко мнѣ.

Я началъ уже понемножку успокоиваться, какъ вдругъ, въ самый Петровъ день—звонокъ. Сердце мое тревожно забилось: это она, это Nathalie! Она—съ упрекомъ на устахъ,—она съ глазками, полными слезъ, она, не знающая, куда ей дѣвать этого длиннаго, длиннаго Филоѳея, который увязался за ея шлейфомъ и никакъ отцѣпиться не хочетъ!

Дѣйствительно, это была она, но—о, чудо!—не только не негодующая и не тоскующая, но опять та же милая, несравненная куколка, какою я видѣлъ ее при первомъ нашемъ свиданіи послѣ ея пріѣзда изъ-за границы. Только платьице другое надѣла, но, кажется, еще лучше, шикарнѣе прежняго.

Опять мы поцѣловались и опять выступили на сцену les pieux souvenirs. Какъ мы заблудились, какъ она украдкой бросила мнѣ въ тарелку пупочекъ. Объ Филоѳеѣ ни полслова, какъ будто его на свѣтѣ не было. Даже желудочекъ опять ручкой потерла (плутовка замѣтила, что движеніе это понравилось мнѣ) и попросила покушать.

И вдругъ...

— Cousin, не можешь ли ты... ахъ, я вѣчно все перепутаю... не можешь ли ты на короткое время меня ссудить...

— Сколько тебѣ нужно?

— Вотъ видишь ли, нашъ курсъ началъ поправляться... и даже очень-очень поправился... Такъ мнѣ совѣтовали воспользоваться этимъ... тысячки двѣ—можно?

Скажите по совѣсти: можно ли было устоять противъ просьбы, выраженной въ такой прелестной формѣ? Но кромѣ того и еще: Nathalie хочетъ воспользоваться поправкой курса, и только поэтому занимаетъ; но что̀ если она сообразитъ, что курсъ еще больше можетъ поправиться, да на этотъ случай еще тысячки двѣ накинетъ? Нѣтъ, лучше отдать прямо, по первому слову. Такъ я и поступилъ. Вспомнилъ, что у меня въ бюро лежатъ совсѣмъ ненужныя двѣ тысячи рублей, открылъ ящикъ и отсчиталъ деньги Наташѣ.

Но когда я все это выполнилъ — вообразите мой испугъ! Не успѣлъ я замкнуть бюро и повернуть лицо свое, чтобъ принять благодарно-родственный поцѣлуй, какъ въ комнатѣ уже не было никого. Въ одинъ мигъ Nathalie исчезла, словно растаяла въ воздухѣ...

На другой день утромъ я получилъ отъ Ѳеденьки письмо:

„Maman, возвратясь отъ васъ, сейчасъ же собралась и уѣхала за границу вмѣстѣ съ извѣстнымъ лицомъ. Не знаю, что̀ изъ этого выйдетъ, но теперь я, по крайней мѣрѣ, заниматься свободно могу“.

А вечеромъ—телеграмма.

„Остановилась на сутки въ Псковѣ. Счастлива. Великодушный другъ! благодарю. Nathalie Drozdoff“.

Я не удержался, побѣжалъ къ Ѳеденькѣ и передалъ ему телеграмму, въ особенности указавъ на то, что Наташа подписалась на ней уже Дроздовою.

— Ну и прекрасно! — воскликнулъ онъ: — по крайней мѣрѣ теперь...

И какъ молодой человѣкъ, обладающій христіанскими правилами, набожно перекрестился.

На другой день, 1-го іюля, я проснулся утромъ въ самомъ радостномъ настроеніи духа. Я всему былъ радъ: и тому, что мнѣ уже не придется ѣхать „гулять“ съ родственниками, и тому, что мои двѣ тысячи косвеннымъ образомъ послужили для поддержанія основъ... Но больше всего тому, что въ теченіе цѣлаго іюня не случилось со мной никакой „внутренней политики“.

Первое августа.

Послѣ родственной суматохи, которая преслѣдовала меня въ теченіе цѣлаго іюня, іюль прошелъ вяло, въ какомъ-то томительномъ отчужденіи. Тотъ, кто, подобно мнѣ, провелъ этотъ мѣсяцъ въ Петербургѣ, среди неусыпающихъ дождей и бодрствующихъ дворниковъ, тотъ пойметъ снѣдавшую меня тоску. Но я ужъ и тому былъ радъ, что и въ іюлѣ никакой внутренней политики не случилось... Слава Богу! слава Богу.

Говоря по совѣсти, я лично не имѣю никакихъ причинъ опасаться внутренней политики. Живу я просто, до того просто, что и прислуга, и швейцаръ, и дворники, не токмо за страхъ, но и за совѣсть, могутъ свидѣтельствовать о моей невинности: ремесломъ своимъ занимаюсь открыто; за хорошія дѣла — жду помилованія, за среднія — прошу не взыскать, за худыя — благодарю и пріемлю и нимало вопреки глаголю. Травы не мну, рыбы не ловлю, птицъ не пугаю. Все это, вмѣстѣ взятое, составляетъ такого рода „поведеніе“, которое не только въ Уложеніи о наказаніяхъ, но даже въ брошюрахъ одесскаго профессора Цитовича не предусматривается. Стало быть, ходи вольнымъ аллюромъ—и шабашъ.

Однакожъ, какъ я ни стараюсь приспособить свою поступь къ вольному аллюру, но успѣха достичь не могу. Существуютъ причины, которыя положительно всѣ мои усилія въ этомъ смыслѣ обращаютъ въ ничто, и, къ стыду моему я долженъ сознаться, причины эти лежатъ не столько во внѣшней обстановкѣ, среди которой я живу, сколько во мнѣ самомъ.

Во-первыхъ, я слишкомъ ужъ давно живу, и это вводитъ и меня самого, и другихъ въ заблужденіе. Когда долго живешь на свѣтѣ, то непремѣнно думаешь, что нивѣсть сколько натрѣшилъ. И утопіи, и филантропіи, и фаланстеры, и даже военныя поселенія—все тутъ было! Одинѣхъ „книжекъ“ сколько—это ни въ сказкахъ сказать, ни перомъ описать! Какъ съ этимъ быть? Раскаяться — лѣнь; сдѣлать бывшее небывшимъ—невозможно: стало быть, приходится существовать, сознавая себя въ положеніи стараго волка, которому когда-нибудь отольются-таки овечьи слезки. Ужасно это тяжело! Конечно, когда кругомъ царствуетъ тишина, когда дворники бездѣйствуютъ, а

городовые дѣлаютъ подъ козырекъ—тогда даже мечты о военныхъ поселеніяхъ кажутся пустяками. Вздоръ, да и все тутъ! Но когда...

Да, тишина—великое дѣло. Человѣкъ отъ природы такъ созданъ, что предпочитаетъ спокойствіе безпокойству, а потому онъ инстинктивно олицетворяетъ въ тишинѣ тотъ прекрасный удѣлъ, который на обыкновенномъ языкѣ называется счастіемъ. Ежели человѣка не безпокоятъ—онъ счастливъ; а ежели, сверхъ того, онъ знаетъ, что и завтра его безпокоить не будутъ—у него ужъ выростаютъ крылья. Гордо и самоувѣренно идетъ онъ по стезѣ, загроможденной всевозможными преступными пустяками, и ни минуты не сомнѣвается, что всѣ эти пустяки суть дѣйствительно пустяки, и въ качествѣ таковыхъ непремѣнно сойдутъ ему съ рукъ. И сходятъ. Какъ хотите это назовите: недоразумѣніемъ, послабленіемъ, унущеніемъ или просто волшебствомъ, но сходятъ, сходятъ и сходятъ. Есть у счастливыхъ людей звѣзда, которая путеводитъ ихъ и ограждаетъ отъ взысканій. Не даромъ еще въ прошломъ столѣтіи Сумароковъ возглашалъ:

Ты, фортуна, украшаешь
Злодѣянія людей,
И мечтанія мѣшаешь
Разсмотрѣти жизни сей...

Сидишь себѣ, счастливый и довольный, и въ мечтахъ опутываешь Россію цѣлою сѣтью военныхъ поселеній. И даже въ голову не приходитъ, что когда-нибудь это невинное опутываніе откликнется для тебя „разсмотрѣніемъ жизни сей“.

Но какъ только повѣетъ со стороны холодкомъ и зашевелятся дворники—конецъ счастью. Человѣкъ начинаетъ озираться, прислушиваться, и въ сердце его заползаетъ тупая, тревожная боль. Коль скоро эти признаки на-лицо, знайте, что немедленно вслѣдъ за ними явится и потребность „разсмотрѣнья жизни сей“. Потребность, нерѣдко ничѣмъ не мотивированная, но въ то же время до того естественная, что отдѣлаться отъ нея нѣтъ никакой возможности. Сиди и разсматривай, доколѣ не усмотришь. А ежели, несмотря на самыя искреннія усилія, все-таки ничего не усмотришь, то пожалуй и еще того хуже: непремѣнно хоть что-нибудь да наклеплешь на себя. И наклеплавши, тѣмъ самымъ признаешь себя достойнымъ внутренней политики.

Итакъ, первая причина, убивающая во мнѣ вольный аллюръ,

есть причина чисто личная, заключающаяся въ томъ, что я слишкомъ давно живу.

Вторая причина—болѣе общая. Мы, русскіе, какъ-то черезъчуръ ужъ охотно боимся, и притомъ боимся всегда съ увлеченіемъ. Начинаемъ мы бояться почти съ пеленокъ; сначала боимся родителей, потомъ—начальства. Иногда даже Бога боимся, но рѣдко: больше изъ учтивости, при собесѣдованіяхъ съ лицами духовнаго вѣдомства. Я помню, что еще въ школѣ начальство старалось искоренить во мнѣ начальственную боязнь. „Чего вы боитесь?—говорило оно мнѣ: —намъ не страхъ вашъ нуженъ, а любовь и довѣріе". Все равно какъ въ пѣснѣ поется: *мнѣ не дорогъ твой подарокъ, дорога твоя любовь*... А я и за всѣмъ тѣмъ продолжалъ бояться. И нельзя сказать, чтобъ я не понималъ, что быть откровеннымъ и любящимъ ребенкомъ выгоднѣе — его никогда безъ послѣдняго кушанья не оставляютъ—понималъ я и это, и многое другое, и все-таки пересилить себя не могъ. Идешь и думаешь: а вотъ сейчасъ выскочитъ изъ-за угла гувернеръ—и помнинай какъ звали!

Разумѣется, я не думаю, чтобы такова была характеристическая черта нашей національности. Я знаю, что это дурная привычка—и ничего болѣе. Но она до такой степени крѣпко засѣла въ насъ, что побѣдить ее ужасно трудно. Ужъ сколько столѣтій русское государство живетъ славною и вполнѣ самостоятельною жизнью, а мы, граждане этого государства, все еще продолжаемъ себя вести, какъ будто надъ нами тяготѣетъ монгольское иго или австріякъ насъ въ плѣну держитъ. Робѣемъ, корчимся, прислушиваемся ко всякимъ шорохамъ, смущаемся при выходѣ ретирадныхъ брошюръ, раскаиваемся, клеплемъ на себя и на другихъ; однимъ словомъ, мнимъ себя до такой степени послѣдними изъ послѣднихъ, что изъ всего Державина содержимъ въ памяти только одинъ стихъ:

А завтра—гдѣ ты, человѣкъ?

И кого боимся? Того самаго начальства, которое еще съ школьной скамьи твердитъ намъ: „не страхъ вашъ нуженъ, а довѣріе и любовь"!

Нигдѣ такъ много не говорятъ по секрету, какъ у насъ; нигдѣ (даже въ самомъ обыкновенномъ разговорѣ) такъ часто не прорывается фраза: „ахъ, какъ это вы не боитесь!"; нигдѣ такъ скоро не теряютъ присутствія духа, такъ легко не отрекаются. Словомъ сказать, нигдѣ не боятся такъ натурально, свободно, почти художественно.

Но что̀ всего хуже: свойственный намъ, русскимъ, страхъ вовсе не принадлежитъ къ числу такъ-называемыхъ спасительныхъ. Еслибъ еще это было такъ, то, конечно, лучшаго бы и желать не надо. Спасительный страхъ научаетъ терпѣнію — вотъ неоцѣненная польза, имъ приносимая. Если видишь, напримѣръ, себя на краю пропасти, то остановись и ожидай, пока вѣдомство путей сообщенія не устроитъ здѣсь безопаснаго спуска. Если нужно тебѣ переправиться черезъ рѣку, то не дерзай искать брода, но увѣдомь о своей нуждѣ подлежащую земскую управу и ожидай, пока она устроитъ мостъ или паромъ. Ежели встрѣтишь человѣка, который будетъ приглашать тебя, въ качествѣ попутчика, въ страну утопій, то жди, покуда не будетъ выдана подорожная. Таковъ „спасительный“ страхъ въ томъ видѣ, въ какомъ оный предписывается во всѣхъ предначертаніяхъ. Къ сожалѣнію, совсѣмъ не таковъ нашъ общеупотребительный, русскій страхъ. Увы! подъ гнетомъ его мы нимало не научаемся терпѣнію, а просто-на̀-просто поремъ горячку и мечемся. И вслѣдствіе этого не только не останавливаемся на краю пропасти, но чаще всего стремглавъ летимъ на дно оной.

Виноватъ ли я лично въ томъ, что эта хроническая боязнь обуреваетъ меня? Конечно, виноватъ, если взять въ соображеніе, что моя боязнь есть вмѣстѣ съ тѣмъ и ослушаніе. Съ отроческихъ лѣтъ твердитъ мнѣ начальство, что бояться не дозволяется, а я не слушаюсь, боюсь, то-есть выказываю отвагу именно въ такомъ пунктѣ, гдѣ ея совсѣмъ не требуется—ясно, что я виноватъ. Но съ другой стороны, какъ посмотрю я кругомъ—развѣ я одинъ боюсь? Нѣтъ, всѣ боятся, всѣ до единаго. Столько у насъ въ послѣднее время развелось угрозъ, что боязнь сдѣлалась даже чѣмъ-то въ родѣ развлеченія, почти занятіемъ. Еслибы я не боялся, то навѣрное въ скоромъ времени совсѣмъ сгибъ бы отъ праздности. А теперь я все-таки чѣмъ-нибудь занятъ. Во-первыхъ, стараюсь угадать угрозу; во-вторыхъ, придумываю способы оборониться отъ нея, устроить такъ, чтобъ она ударила по сосѣду, а не по мнѣ. Для ума пытливаго тутъ пищи безъ конца. Обдумываешь, ходатайствуешь, оправдываешься, раскаиваешься и наконецъ возвращаешься домой усталый, почти измученный. Смотришь—анъ въ результатѣ не только время прошло, но и самое представленіе объ угрозѣ куда-то испарилось, словно его совсѣмъ не было...

И такъ вотъ, въ этой-то смутной боязни прошелъ для меня весь іюль мѣсяцъ.

Я былъ одинъ, а одиночество дѣйствуетъ въ этомъ отношеніи особенно деморализирующимъ образомъ. Въ одиночествѣ каждая филантронія принимаетъ размѣры пособничества, каждое военное поселеніе—размѣры потрясанія основъ. Конечно, и это бы ничего (повторяю: и въ кварталѣ извѣстно, что пустяки все это!), но что дѣйствительно ужасно—это воспитываемая одиночествомъ склонность къ примѣненію соотвѣтствующихъ статей Уложенія о наказаніяхъ ко всѣмъ этимъ пустякамъ. Сидишь одинъ-одинёшенекъ, прислушиваешься къ окреснымъ шорохамъ—и примѣняешь. Такъ что ежели при этомъ въ комнатѣ еще темно, то положительно дѣлается жутко. Въ ушахъ раздается незаслуженное: „фюить!“ и непремѣнно всѣ самые глупые романсы, всѣ безшабашнѣйшія метафоры, какими когда-либо украшались страницы русскихъ хрестоматій — все такъ и ползетъ изъ всѣхъ захолустьевъ памяти. Тутъ и „ямщикъ лихой, онъ всталъ съ полночи“, и „сабля моя стучала по верстовымъ столбамъ, какъ по частоколу“—все тутъ. И въ заключеніе—„разсмотрѣнье жизни сей“, какъ неизбѣжный продуктъ этихъ романсовъ. Глупо, неестественно, несбыточно до очевидности, но въ то же время какъ-то мрачно-правдоподобно.

Разумѣется, я принималъ всѣ мѣры, чтобы избѣжать одиночества. Съ утра уходилъ къ Палкину, слушалъ машину, любовался на стерлядей, плавающихъ въ бассейнѣ, и разспрашивалъ, сколько вонъ та стоитъ и сколько вотъ эта. Потомъ отправлялся въ Зоологическій садъ и вмѣстѣ съ кадетами смотрѣлъ на кормленіе звѣрей; потомъ устремлялся къ „Медвѣдю“, гдѣ съ истинно дикимъ наслажденіемъ глоталъ протухлый воздухъ; а вечеромъ—въ „Демидровъ“, гдѣ дѣлалъ умственныя выкладки, сколько противъ прошлаго года прибавилось килограммовъ въ дѣвицѣ Филиппо. Затѣмъ, возвращаясь поздно вечеромъ домой, я съ любопытствомъ всматривался въ физіономію швейцара, усиливаясь прочесть, не написано ли на ней чего-нибудь внезапнаго, и ежели прочитывалъ только заспанность, то ложился въ постель и старался заснуть съ такимъ разсчетомъ, чтобы Уложеніе о наказаніяхъ ни подъ какимъ видомъ не отравило моихъ сновидѣній.

Къ сожалѣнію, какъ ни дѣйствительными представлялись эти мѣры, но досуга для „разсмотрѣнья жизни сей“ все-таки оказывалось

болѣе нежели достаточно. Къ тому же въ послѣднее время возникъ для меня еще новый мотивъ для разсмотрѣній.

Дѣло въ томъ, что по поводу моей литературной дѣятельности возникаютъ нѣкоторые обвинительные слухи, которые съ теченіемъ времени пріобрѣтаютъ все болѣе и болѣе острый характеръ. Обвиняютъ меня въ беллетристическомъ двоедушіи, требуютъ, чтобы я повелъ дѣло на чистоту и показалъ свое знамя. Признаюсь откровенно, слухи эти дѣйствуютъ на меня болѣзненно. Во-первыхъ, я вообще избѣгаю разговоровъ о своей личности, и тѣмъ болѣе разговоровъ печатныхъ, которые имѣютъ свойство привлекать, въ качествѣ невольнаго посредствующаго лица, публику; во-вторыхъ, что-жъ это, въ самомъ дѣлѣ, за требованіе такое: покажи свое знамя? Какое это знамя? развѣ у обывателей полагаются знамена?..

Тѣмъ не менѣе я не желаю прикидываться ни равнодушнымъ, ни презирающимъ. Говорю прямо: окрики эти трогаютъ меня. Я слишкомъ давно и слишкомъ дѣятельно принимаю участіе въ русской литературѣ, чтобы имѣть возможность разыгрывать роль посторонняго зрителя относительно жизненныхъ явленій вообще, а стало быть и относительно дѣлаемыхъ по моему поводу оцѣнокъ. Но этого мало: писанія мои до такой степени проникнуты современностью, такъ плотно прилаживаются къ ней, что ежели и можно думать, что они будутъ имѣть какую-нибудь цѣнность въ будущемъ, то именно и единственно какъ иллюстрація этой современности. Поэтому всѣ характерные признаки ея необходимо должны оказывать на меня извѣстное дѣйствіе. Тщетно усплпвался бы я замкнуться въ самомъ себѣ, тщетно старался бы не видѣть и не слышать: лая самой ледащей собачонки, ежели онъ повторяется регулярно, вполнѣ достаточно, чтобы нарушить эту замкнутость и обратить въ ничто мое насильственное равнодушіе. Это до такой степени вѣрно, что даже люди, желающіе познакомиться съ моимъ знаменемъ — и тѣ ни на что другое не бьютъ: ни на логику, ни на софизмъ, а именно только на раздражающее дѣйствіе, которое долженъ оказывать періодически возобновляемый лай на человѣка, связаннаго крѣпкими узами съ современностью, и потому вынуждаемаго время отъ времени являться съ публичными отчетами объ ней.

Начну съ обвиненія въ двусмысленности или, иначе, въ двоедушіи, а еще проще—въ обманѣ. Говорятъ, будто я (и, конечно, съ

умысломъ) такую особенную манеру писать изобрѣлъ, которая постоянно вводитъ въ заблужденіе. Кого же, однако, я хочу обмануть?

Ежели предполагается, что я желаю обмануть ту читающую публику, къ которой обыкновенно обращаюсь, то предположеніе это не имѣетъ и тѣни правдоподобія. Я дѣйствую въ русской литературѣ больше тридцати лѣтъ, и изъ нихъ около двадцати-пяти лѣтъ, быть можетъ, даже слишкомъ часто напоминаю о себѣ читателямъ. Мнѣ кажется, этого совершенно достаточно, чтобы публика поняла, съ кѣмъ она имѣетъ дѣло, и чтобы я не имѣлъ надобности въ дополнительныхъ объясненіяхъ и подчеркиваніяхъ. И дѣйствительно, она до такой степени ознакомилась со мной, а въ особенности съ тѣми намѣреніями, которыя стоятъ у меня на первомъ планѣ, что я, просто-на-просто, ни спрятаться за псевдонимомъ, ни притвориться не самимъ собой не могу. И я думаю, что ежели читатель такъ легко узнаётъ меня, то причина этого заключается не столько въ манерѣ моихъ писаній, сколько въ ихъ содержаніи. Такъ что еслибы я, напримѣръ, позволилъ себѣ порицать добродѣтель и возвеличивать порокъ, то я убѣжденъ, что, несмотря ни на какія „манеры“, публика поняла бы, что я сдѣлалъ дурной поступокъ, и отвернулась бы отъ меня.

Не надо забывать, что русскій писатель вообще (а въ томъ числѣ, конечно, и я) имѣетъ дѣло съ очень ограниченнымъ кругомъ читателей, который, право, не такъ-то легко объегорить „манерами“. Въ средѣ этой есть люди, симпатизирующіе мнѣ; но найдется достаточно и такихъ, которыхъ одно напоминаніе обо мнѣ приводитъ въ раздраженіе. Ужели и эти симпатіи, и эти ненависти имѣютъ источникомъ одно недоразумѣніе? По моему, это уже слишкомъ явная безсмыслица, чтобы нужно было ее опровергать.

Ежели же предположить, что я желаю своими „манерами“ обмануть начальство — упаси Богъ! Кромѣ того, что я совершенно правильно сознаю свои обязанности въ отношеніи къ начальству, я положительно убѣжденъ, что начальство понимаетъ мои желанія столь же ясно, какъ и публика. Оно видитъ мое усердіе и сознаетъ, что если я по временамъ заблуждаюсь, то не по обдуманному заранѣе умыслу, а по простотѣ душевной и изъ желанія пользы ближнему. Сверхъ того, оно знаетъ, что хотя существованіе такого писателя, какъ я, и не приноситъ большой славы отечеству, но оно и не безчеститъ его, а стало быть во всякомъ случаѣ законами не возбраняется. Если же

и можно заподозрить меня въ томъ, что я не всегда выкладываю все, что̀ у меня на душѣ, то и въ этомъ начальство усматриваетъ не двоедушіе и обманъ, но лишь полезную сдержанность, которую я приношу въ жертву на алтарь отечеству. И по соображеніи всѣхъ этихъ усмотрѣній, не находя достаточныхъ поводовъ для принятія мѣръ строгости, оно предоставляетъ мнѣ спокойно заниматься моимъ ремесломъ.

Я не отрицаю, что въ писаніяхъ моихъ нерѣдко встрѣчаются вещи довольно неожиданныя, но это зависитъ отъ того, что въ любомъ курсѣ реторики существуютъ указанія на троны и фигуры, и я, какъ человѣкъ, получившій образованіе въ казенномъ заведеніи, не имѣю даже права оставаться чуждымъ этимъ указаніямъ. Есть метафора, есть метонимія, синекдоха... Наконецъ существуютъ особыя рубрики литературнаго труда, носящія названія „сатиры“, „эпиграмы“ и проч., которыя тоже съ разрѣшенія реторики допускаются къ обнародованію, съ тѣмъ, чтобы, по отпечатаніи, надлежащее количество экземпляровъ было представлено въ цензурный комитетъ. Теперь сообразите: вѣдь начальство само предписало преподаваніе реторики въ казенныхъ заведеніяхъ — какимъ же образомъ оно можетъ, безъ явнаго противорѣчія съ самимъ собою и даже безъ явной несправедливости, преслѣдовать то̀, что̀ разрѣшено имъ самимъ разрѣшенною реторикой?

Съ вещественными доказательствами въ рукахъ я могу утверждать, что все, написанное мною въ теченіе тридцати лѣтъ, совсѣмъ не „обманъ“ (на такую литературную рубрику даже въ реторикѣ Георгіевскаго указаній нѣтъ), но вполнѣ согласно съ предписаніями реторики. Если же я — еще разъ повторяю — отличаюсь въ писаніяхъ своихъ сдержанностью, то-есть даже дозволеніями реторики не рѣшаюсь вполнѣ пользоваться, то въ глазахъ начальства это не порокъ, а достоинство. Сколько лѣтъ человѣкъ пишетъ, и все сдерживаетъ себя — стало быть, это именно и есть испытанный и вполнѣ достойный гражданинъ! Совсѣмъ не то, что шавки, которыя, выбѣжавъ изъ ретироднаго мѣста, въ одну минуту вылаютъ ту соринку, которая завелась у нихъ за душой, не понимая, вредна она или безопасна, содѣйствуетъ или компрометтируетъ... Вотъ какъ разсуждаетъ начальство, и, по моему мнѣнію, разсуждаетъ сознательно, а не вслѣдствіе какого-то умономраченія, которое будто бы источаютъ изъ себя мои литературныя работы.

Какъ бы то ни было, но обвиненія въ двоедушіи и обманѣ, какъ относительно публики, такъ и относительно начальства, оказываются вполнѣ несостоятельными. Сами обвинители мои только притворяются недоумѣвающими. Очень хорошо они знаютъ, объ чемъ я говорю, и ежели имъ что̀ во мнѣ не нравится, то это именно моя сдержанность. Они не безъ основанія полагаютъ, что будь я менѣе сдержанъ—изъ этого непремѣнно произойдетъ для меня молчаніе. Вотъ чего имъ хочется; а мнѣ этого не хочется. И какъ ни сильны бываютъ порой сомнѣнія, меня обуревающія, но мнѣ кажется, что въ этомъ случаѣ я все-таки поборю.

Но обвиненіе не довольствуется одними голословными заявленіями и приводитъ въ подтвержденіе очень вѣскій и доказательный, по мнѣнію его, фактъ. Оказывается, что я такъ обстроилъ свои дѣлишки, что съумѣлъ поправиться даже тѣмъ, на кого я обыкновенно нападаю. Ну, какъ же, молъ, это не обманъ?

Рискуя быть заподозрѣннымъ въ самохвальствѣ, я думаю, однакожъ, что дѣло объясняется гораздо проще. Несомнѣнно, что существуетъ почва, на которой читатель охотно примиряется съ обличеніями. Эта почва—добродушіе, смѣхъ и человѣчное отношеніе къ дѣйствующимъ лицамъ живописуемой комедіи. Вѣдь на свѣтѣ живутъ не одни прожжёные шалопаи, которые въ смѣхѣ готовы заподозрить продерзость, а въ человѣчности—пособничество и укрывательство. Большинство смертныхъ не только видитъ въ этихъ качествахъ смягчающее обстоятельство, но и признаетъ, что человѣкъ, обладающій ими, не имѣетъ основанія сидѣть сложа руки. Я никого не бью по щекамъ, хотя нѣкоторые „критики“ и увѣряютъ, что я только этимъ и занимаюсь. Моя рѣзкость имѣетъ въ виду не личности, а извѣстную совокупность явленій, въ которой и заключается источникъ всѣхъ золъ, угнетающихъ человѣчество. Читатель, очевидно, понимаетъ, что такова именно моя мысль, и вслѣдствіе этого мирится со мною даже тогда, когда я, повидимому, обличаю его самого. Онъ инстинктивно чувствуетъ, что я совсѣмъ не обличитель, а адвокатъ. Что я вижу въ немъ жертву общественнаго темперамента, необходимую мнѣ совсѣмъ не для потасовки, а только въ качествѣ иллюстраціи этого послѣдняго.

Я очень хорошо помню пословицу: было бы болото, а черти будутъ, и признаю ее настолько правильною, что никакихъ варіан-

товъ въ обратномъ смыслѣ не допускаю. Во истину болото родитъ чертей, а не черти созидаютъ болото. Жалкіе черти! какъ имъ очиститься, просвѣтлѣть, перестать быть чертями, коль скоро ихъ насквозь пропизываютъ испаренія болота! Жалкіе и смѣшные черти! какъ не смѣяться надъ ними, коль скоро они сами принимаютъ свое болото въ сурьёзъ и устраиваютъ тамъ цѣлый нелѣпый міръ отношеній, въ которомъ безцѣльно кружатся и мятутся, совершенно искренно вѣря, что дѣлаютъ какое-то прочное дѣло! Да, смѣшны и жалки эти кинутые въ болото черти; но само болото—не жалко и не смѣшно...

Есть и еще обвиненіе, касающееся того же двоедушія. Говорятъ, что я изображаю въ смѣшномъ видѣ русскихъ консерваторовъ—стало быть, я не консерваторъ; но тутъ же рядомъ и въ столь же неудовлетворительномъ видѣ я изображаю и русскихъ либераловъ—стало быть, я и не либералъ. Если первое можно было объяснить предполагаемымъ во мнѣ либерализмомъ, то чѣмъ объяснить второе? Не желаніемъ ли понравиться начальству и тѣмъ хотя отчасти искупить продерзостныя нападки на консерваторовъ?.. Ну, вотъ, и слава Богу!

Итакъ, ежели въ писаніяхъ моихъ и обрѣтается что-либо неясное, то никакъ ужъ не мысль, а развѣ только манера. Но и на это я могу сказать въ свое оправданіе слѣдующее: моя манера писать есть манера рабья. Она состоитъ въ томъ, что писатель, берясь за перо, не столько озабоченъ предметомъ предстоящей работы, сколько обдумываніемъ способовъ проведенія его въ среду читателей. Еще древній Эзопъ занимался такимъ обдумываніемъ, а за нимъ и множество другихъ шло по его слѣдамъ. Эта манера изложенія, конечно, не весьма казиста, но она составляетъ оригинальную черту очень значительной части произведеній русскаго искусства, и я лично тутъ ровно ни-при-чемъ. Иногда, впрочемъ, она и не безвыгодна, потому что, благодаря ея обязательности, писатель отыскиваетъ такія поясницельныя черты и краски, въ которыхъ, при прямомъ изложеніи предмета, не было бы надобности, но которыя все-таки не безъ пользы врѣзываются въ памяти читателя. А сверхъ того, благодаря той же манерѣ, писатель пріобрѣтаетъ возможность показывать нѣкоторыя перспективы, куда запросто и съ развязностью военнаго человѣка войти не всегда бываетъ удобно. Повторяю: это манера несомнѣнно рабья, но при со-

отвѣтственномъ положеніи общества вполнѣ естественная, и изобрѣлъ ее все-таки не я. А еще повторяю: она нимало не затемняетъ моихъ намѣреній, а, напротивъ, дѣлаетъ ихъ только общедоступными.

Затѣмъ, покончивъ съ двоедушіемъ, будемъ, пожалуй, говорить и о знамени.

Я помню, лѣтъ семь тому назадъ, одинъ изъ публицистовъ „Русскаго Вѣстника“ (въ статьѣ: „Наши охранители и наши прогрессисты“) уже заводилъ разговоръ на эту тему. И тоже отчасти по моему поводу. Надергавъ изъ разныхъ моихъ статей „мѣстечекъ“ и лишивъ ихъ, ради аттической соли, связи съ предыдущимъ, онъ огуломъ призналъ мою литературную дѣятельность вредною, подрывающею величественное шествіе Россіи на пути развитія, и въ заключеніе, въ какомъ-то непонятномъ восхищеніи, подстрекалъ самого себя на борьбу со мною.—Будемъ высоко держать знамя Россіи!—и да послужитъ оно оплотомъ противъ наплыва неблагонадежныхъ элементовъ!

Я помню, этотъ призывъ къ ополченію противъ моего наплыва довольно-таки меня огорчилъ. Не потому, чтобы я былъ сраженъ страхомъ по поводу причисленія меня лицомъ постороннято вѣдомства къ лику неблагонадежныхъ (тьфу!—вотъ я какъ на это смотрю!), но потому, что мнѣ не было при этомъ преподано никакихъ средствъ для исправленія. —Нужно высоко держать знамя Россіи!—твердилъ я самому себѣ:—но вѣдь надо же объяснить, о какомъ знамени Россіи идетъ рѣчь? Вѣдь не о государственномъ же знамени вы бесѣдуете—это знамя я всегда отлично понималъ, равно какъ понималъ и то, что держать его простымъ смертнымъ не предоставляется—а очевидно о какомъ-то другомъ, а именно о знамени, такъ сказать, интимно обывательскомъ. Но, воля ваша, заводя рѣчь о подобныхъ знамёнахъ, надо какъ можно точнѣе ихъ характеризовать, потому что обыватели не всегда въ редактированіи девизовъ искусны. Иной такую чепуху на своемъ знамени напишетъ, что попробуй, соблазнись—и въ острогъ, пожалуй, угодишь! Вотъ почему я тогда же обратился къ встревоженному моимъ наплывомъ публицисту съ просьбою указать подробно, въ чемъ я долженъ исправиться и какими девизами обязываюсь украшать свое знамя, чтобъ быть вычеркнутымъ изъ списка неблагонадежныхъ?

Конечно, отвѣта на мой запросъ не послѣдовало. Охотно сочиняя

обвинительные акты, публицисты извѣстнаго пошиба съ истинно жестокою безсердечностью оставляютъ обличаемыхъ ими грѣшниковъ въ жертву ожидающему ихъ возмездію. Но такъ какъ и возмездія, которое хотя косвенно могло бы пролить свѣтъ на мои сомнѣнія, не послѣдовало, то я вынужденъ былъ уже собственными средствами доискиваться раскрытія кинутой въ мой огородъ загадки. И что́ же! ища и допытываясь, я убѣдился, что самое употребительное, популярное и искреннее обывательское знамя есть то, на которомъ написано: „распивочно и на-вынось!“

Очевидно, конечно, что почтенный публицистъ настаивалъ не на этомъ знамени, но имѣлъ въ виду иныя знамёна, на которыхъ начертаны другіе, болѣе солидные и совмѣстные съ достоинствомъ благонамѣренной русской публицистики девизы. И хотя онъ не называлъ ихъ прямо, но догадываюсь, что девизы эти таковы: семейство, собственность, государственный союзъ и проч. И такъ какъ, по мнѣнію обвинителя, я недостаточно усвоилъ себѣ эти девизы, то за сіе и признанъ имъ подлежащимъ помѣщенію въ списокъ неблагопадежныхъ.

Оказывается однакожъ, что знамёна съ упомянутыми выше девизами не безъизвѣстны и мнѣ. Я довольно часто возвращаюсь къ нимъ и по мѣрѣ силъ даже разрабатываю ихъ; но, разумѣется, моя разработка имѣетъ нѣсколько своеобразный характеръ. Она не столь отвлеченна, какъ изслѣдованіе какого-нибудь ученаго юриста или экономиста, и не столь практически-наглядна, какъ напримѣръ разработка Юханцева, Ландсберга и проч. Но позволяю себѣ думать, что и моя разработка не вовсе безполезна.

Какъ литераторъ, занимающійся книгопечатаніемъ съ вѣдома реторики, я разрабатываю всякаго рода знамёна въ предѣлахъ той литературной рубрики, которая извѣстна подъ именемъ „сатиры“. Затѣмъ, справляясь съ любымъ курсомъ реторики, я убѣждаюсь, что основной характеръ „сатиры“ заключается въ томъ, что она „осмѣиваетъ пороки“. Прошу читателя не сѣтовать на меня за эти нѣсколько дѣтскія подробности: я останавливаюсь на нихъ потому, что мнѣ необходимо объясниться (вѣдь находятся люди, которымъ и это нужно объяснить), почему я пишу не въ дифирамбическомъ, а въ сатирическомъ родѣ. Дифирамбъ — говорю я — есть совершенно сепаратная литературная рубрика, столь же мало противозаконная, какъ и сатира, но и не пользующаяся, сравнительно съ послѣднею, никакими

особенными привилегіями (развѣ что существуютъ какія-либо отдѣльныя по сему предмету распоряженія, о которыхъ я не знаю). Сверхъ того, дифирамбъ требуетъ иныхъ способностей и совершенно иного отношенія къ изображаемымъ предметамъ, нежели сатира. Такъ что, напримѣръ, если я способенъ написать сносную сатиру, то въ области дифирамба могу оказаться самымъ плохимъ нанизывателемъ напыщенныхъ и пустопорожнихъ фразъ. А по моему мнѣнію, заниматься составленіемъ ходульно-лицемѣрныхъ и вымученныхъ дифирамбовъ гораздо противозаконнѣе, нежели упражняться въ сносной сатирѣ.

Но — спрашивается — что̀ такое порокъ, какъ объектъ сатиры?

Прежде всего, признаюсь, я не совсѣмъ довѣряю тѣмъ отверженнымъ спискамъ пороковъ, которые время отъ времени публикуются во всеобщую извѣстность моралистами. Мнѣ кажется, что моралисты слишкомъ съуживаютъ границы порока, черезъ-чуръ ужъ тщательно опредѣляютъ внѣшніе его признаки. Вслѣдствіе этого порокъ представляется чѣмъ-то окаменѣлымъ, не только не имѣющимъ никакой притягательной силы, но даже прямо отталкивающимъ. Нужно быть отъ природы несомнѣнно предрасположеннымъ къ злодѣйству и нераскаянности, и притомъ очень храбрымъ (или по малой мѣрѣ очень глупымъ), чтобы съ насиліемъ и взломомъ проникнуть въ наглухо запертое капище порока, на дверяхъ котораго прежде всего бросаются въ глаза самыя опредѣленныя указанія на соотвѣтствующія статьи Уложенія.

Такихъ отважныхъ рыцарей, которые со взломомъ проникаютъ въ капище порока, сравнительно очень мало, и они почти всегда попадаются. И когда они попадутся, то въ средѣ прокурорскаго надзора бываетъ радованіе. Ибо составъ совершившагося факта ясенъ, и стало быть остается только предъявить въ судъ счетъ (addition) порочнаго человѣка, и уплата по оному воспослѣдуетъ немедленно и сполна.

Мнѣ кажется, что простая человѣческая совѣсть оказывается въ этомъ случаѣ гораздо болѣе проницательною. Во-первыхъ, она отвергаетъ замкнутость, которую приписываютъ пороку моралисты, и признаетъ за нимъ значительную долю въѣдчивости; во-вторыхъ, она не допускаетъ, чтобъ порокъ такъ легко поддавался опредѣленіямъ, ибо въ этомъ случаѣ стоило бы только увеличить составъ прокурор-

скаго надзора, чтобы очистить авгіевы конюшни; въ-третьихъ, она признаетъ, что порокъ прогрессируетъ, какъ относительно внѣшнихъ формъ, такъ и по существу, и вслѣдствіе этого одни пороки упраздняются, и взамѣнъ ихъ появляются новые, которые человѣческая совѣсть уже угадываетъ, между тѣмъ какъ прокурорскій надзоръ и во снѣ ничего подходящаго еще не видитъ.

Нужно ли говорить, что въ виду этихъ двухъ взглядовъ на порокъ литература должна склоняться на сторону совѣсти? Прежде всего она не меньше милосердна, какъ и человѣческая совѣсть, и стало быть предположеніе о въѣдчивости порока, какъ смягчающее личную отвѣтственность, не можетъ не привлекать ее. Такъ что ежели человѣкъ, укравшій грошъ, въ глазахъ моралиста ни въ какомъ случаѣ не заслуживаетъ пощады, то во мнѣніи человѣческой совѣсти и литературы онъ можетъ оказаться человѣкомъ, у котораго даже отнять похищенный имъ грошъ не совсѣмъ ловко. А посему надлежитъ: списавъ тотъ грошъ безвозвратнымъ расходомъ, стараться объ немъ позабыть. Затѣмъ литературѣ не меньше претитъ и канцелярская точность въ опредѣленіи признаковъ порока, потому что слишкомъ ясные пороки вѣдаются полиціею и судомъ, и этого вполнѣ для успокоенія общества достаточно. Литература же вѣдаетъ такія человѣческія дѣйствія, которыя заключаютъ въ себѣ извѣстную степень загадочности и относительно которыхъ публика находится еще въ недоумѣніи, порочны они или добродѣтельны. Философы пишутъ, съ цѣлью разъясненія подобныхъ дѣйствій, цѣлые трактаты; романисты кладутъ ихъ въ основаніе многотомныхъ произведеній; сатирики дѣлаютъ то же дѣло, призывая на помощь оружіе смѣха. Это оружіе очень сильное, ибо ничто такъ не обезкураживаетъ порока, какъ сознаніе, что онъ угаданъ, и что по поводу его уже раздался смѣхъ. Наконецъ и мысль объ измѣняемости формъ порока не можетъ не быть симпатичной для литературы, такъ какъ еслибъ не существовало измѣняемости, еслибъ злоба дня не снабжала жизни все новыми и новыми формами порока, то матерія эта давно была бы исчерпана, и литературѣ пришлось бы уступить мѣсто полиціи и суду. Но этого нѣтъ. И въ то время какъ судъ караетъ одного Ландсберга, литература прозрѣваетъ міріады Ландсберговъ, тѣмъ болѣе опасныхъ, что къ нимъ невозможно примѣнить ни одного изъ общепризнанныхъ ярлыковъ, выработанныхъ отвержденною моралью.

Ничего этого, конечно, не признаютъ люди, занимающіеся вытребованіемъ литературныхъ знамёнъ. Они считаютъ обязательною одну мораль—отвержденную, и все, что̀ прямо не возбраняется ею, признаютъ законнымъ. И вслѣдствіе этого во всякой попыткѣ расширить предѣлы отвержденной морали усматриваютъ неблагонадежность, потрясаніе, бунтъ. Словомъ сказать, они требуютъ, чтобъ сатирикъ велъ нѣчто въ родѣ дневника происшествій: „такого-то, дескать, числа утромъ (допускается описаніе утра) коллежскій регистраторъ Псевдонимовъ (допускается описаніе отвратительной его наружности) укралъ съ лотка булку“. И только. Но при этомъ, конечно, не возбраняется прибавлять, что бдительное начальство накрыло его съ поличнымъ и не оставило безъ взысканія.

Я понимаю, изъ какого источника идутъ эти требованія. Выше я сказалъ, что преступить противъ указаній отвержденной морали очень трудно, и что виноватыми въ этомъ случаѣ оказываются или глупцы, или оборванцы, или такіе отважные люди, которымъ хочется сразу карьеру сдѣлать. Затѣмъ громадное большинство удобно ужилось съ этою моралью и подъ сѣнію ея бездѣльничаетъ на всей своей волѣ. Вотъ эту-то безнаказанность бездѣльничества и лестно отстоять. Мы никого не убили, а насъ называютъ убійцами; мы ничего не украли, а насъ называютъ ворами; мы живемъ въ семьяхъ, обѣдаемъ, окруженные дѣтьми, пьемъ чай за семейнымъ самоваромъ, а насъ называютъ прелюбодѣями! Что̀ жъ это такое, какъ не потрясаніе?!

. . . . . .

Но довольно. Возвращаюсь лично къ себѣ.

Сказаннаго выше, по мнѣнію моему, вполнѣ достаточно, чтобъ убѣдить читателя, что и мнѣ не чужда мысль о знамёнахъ. Какого же рода эти знамёна и что̀ на нихъ написано, о томъ слѣдуютъ пункты:

1) Вѣдомо всѣмъ, что въ настоящее время существуютъ три общественныя основы, за непотрясаніемъ которыхъ имѣется особое наблюденіе: семейство, собственность и государство. Вотъ эти-то самыя основы значатся и на моихъ знамёнахъ. Знамя первое: семейство. Пріемлю и нимало вопреки глаголю. Но не пріемлю, чтобы кузина Nathalie могла быть признаваема столпомъ семейственности, хотя она столь твердо понимаетъ материнскія права, что готова посадить

своего Теодора въ смирительный домъ за непочтительность. Второе знамя: собственность. Пріемлю и нимало вопреки глаголю. Но не пріемлю, чтобъ комерсантъ Деруновъ именовалъ себя апостоломъ собственности, хотя онъ до того простеръ свое усердіе въ этомъ направленіи, что всякую попытку крестьянъ получить за пудъ хлѣба 60 копѣекъ, вмѣсто предлагаемой имъ, Деруновымъ, полтины, считаетъ за бунтъ и потрясаніе. Третье знамя: государство. Пріемлю и нимало вопреки глаголю. Но не пріемлю, чтобъ Ѳеденька Неугодовъ слылъ за поборника государственнаго союза за то только, что онъ видитъ въ государствѣ пирогъ, къ которому ловкіе люди могутъ во всякое время подходить и закусывать.

2) Таковы знамёна, которыя характеризуютъ мое внутреннее поведеніе. Что же касается до поведенія внѣшняго, то знамя, до этого относящееся, гласитъ тако: не дѣлать того, что̀ закономъ возбраняется.

3) О прочихъ знамёнахъ умалчиваю, но думаю, что и сказаннаго выше достаточно, чтобы жить въ мирѣ съ самимъ собой и не опасаться любопытствующихъ.

Первое сентября.

И въ августѣ отдѣлъ внутренней политики остался незамѣщеннымъ... Слава Богу! слава Богу!

Въ первой половинѣ августа прибылъ ко мнѣ другой племянникъ, Саша Ненарочный, молодой человѣкъ лѣтъ восемнадцати. Пріѣхалъ, шаркнулъ ножкой и бросился отыскивать „дяденькину ручку“. Но такъ какъ я рѣшился скорѣе вступить въ рукопашную, нежели довести родственныя изліянія до такой восторженности, то Саша кончилъ тѣмъ, что влѣпилъ мнѣ безé въ самыя уста. Затѣмъ сейчасъ же принесъ двѣ банки варенья и извинился, что не принесъ отварныхъ рыжиковъ: „маменька послѣ пришлетъ“.

Саша устранилъ угнетавшее меня одиночество—ужъ это одно было заслугой съ его стороны. Я вообще бываю доволенъ, когда въ минуты унынія меня посѣщаютъ родственники. Въ счастіи я ими не

особенно дорожу, но въ несчастіи — не парадуюсь. Даже если кадетъ-племянникъ изъ провинціи „погостить“ пріѣдетъ — и тотъ словно рублемъ подаритъ. Съ пріѣздомъ его и въ квартирѣ дѣлается какъ-то людиѣе, и шороховъ таинственныхъ слышится меньше, и свойственный одиночеству заговорщическій характеръ несомнѣнно смягчается. Словомъ сказать, вся квартира, въ полномъ своемъ составѣ, внушаетъ болѣе довѣрія...

Но прежде нежели продолжать, разскажу вкратцѣ, какимъ образомъ я пріобрѣлъ племянника въ лицѣ Сашеньки Непарочнаго.

У tante Babette были двѣ дочери: одна — кузина Nathalie, съ которой читатель уже знакомъ, младшая и любимочка; другая — кузина Маша, старшая и нелюбимая. Въ сущности, выраженіе: „нелюбимая“, въ примѣненіи къ tante Babette, слишкомъ жестоко. Babette никого „не любить“ не могла, но у кузины Маши былъ такой большой носъ, что maman ея не могла его видѣть, чтобы не воскликнуть: „ахъ, несчастная!“ Поэтому Nathalie съ малыхъ лѣтъ предназначалась для блестящей партіи (читатель знаетъ, что она и дѣйствительно обрѣла таковую въ лицѣ штабсъ-ротмистра Неугодова), а Маша ровно ни для чего не предназначалась. Такъ что когда статскій совѣтникъ Непарочный присватался къ ней, то tante Babette совсѣмъ растерялась и даже воскликнула: „bonté du Ciel! но посмотрите же, какой у нея... носъ!“ Однако Непарочный оставилъ это предостереженіе втунѣ и, пребывъ твердымъ въ своихъ матримоніальныхъ намѣреніяхъ, взялъ Машу, какъ ее создалъ Богъ. И, какъ увидимъ ниже, не ошибся въ разсчетѣ.

Непарочный былъ первымъ родоначальникомъ своей фамиліи, и слѣдовательно не могъ похвалиться знатностью. Носился слухъ, что нѣкогда Аракчеевъ во время объѣзда новгородскихъ поселеній, остановившись на почтовой станціи, имѣлъ разговоръ съ смотрительскою дочерью, и что послѣдствіемъ этого разговора былъ маленькій рабъ божій Иванъ. Разумѣется, прослѣдовавши на ближайшую станцію, суровый временщикъ утратилъ всякое воспоминаніе о недавнемъ грѣхопаденіи, но, должно быть, рабъ божій Иванъ въ рубашкѣ родился, потому что даже волнамъ временщичьяго забвенія не удалось поглотить его. Когда молодая мать, годъ спустя, явилась въ Петербургъ съ младенцемъ въ рукахъ, то Аракчеевъ не только не разсвирѣпѣлъ, какъ этого слѣдовало бы ожидать, судя по его чину, но явилъ без-

примѣрное милосердіе: мать опредѣлилъ на кухню судомойкой, а сына взялъ въ комнаты и выхлоталъ ему гербъ. Въ гербѣ этомъ на золотомъ полѣ была изображена почтовая станція съ верстовымъ столбомъ; сбоку столба—треугольная шляпа съ плюмажемъ, изъ котораго выходитъ протягивающій ручки младенецъ, а внизу—алая, извивающаяся лента, на которой начертанъ девизъ:

Хоть созданъ ненарочно,
За то довольно прочно.

Въ согласность съ этимъ девизомъ Ваня—по крестному отцу Алексѣичъ—и фамилію получилъ: Ненарочный.

Прошло нѣсколько лѣтъ. Аракчеевъ палъ. Но Ваня и изъ этого крушенія вышелъ невредимъ. Его призрѣлъ коллежскій совѣтникъ Стрекоза, бывшій наперсникъ Аракчеева, который явно хотя и отрекся отъ него при паденіи, но втайнѣ остался ему преданнымъ. Онъ выкормилъ и обучилъ Ненарочнаго, и когда послѣдній окончилъ университетскій курсъ, то опредѣлилъ его въ департаментъ разныхъ податей и сборовъ. Тамъ Иванъ Алексѣевичъ въ скоромъ времени предъявилъ такіе таланты по части сборовъ, что лѣтъ черезъ десять былъ опредѣленъ совѣтникомъ питейнаго отдѣленія въ пензенскую казенную палату.

Въ то время совѣтники питейныхъ отдѣленій были люди солидные и уважаемые. Мѣста эти не считались особенно блестящими въ смыслѣ борьбы съ внутренними врагами; но такъ какъ съ ними сопрягалось представленіе о сокровищѣ, то всякая открывающаяся вакансія привлекала цѣлыя толпы соискателей. Питейный совѣтникъ игралъ въ губернскомъ обществѣ роль: онъ былъ непремѣннымъ старшиной мѣстнаго клуба; на его обязанности лежало составленіе для губернатора партіи въ вистъ; онъ бесѣдовалъ съ архіереемъ о безсмертіи души и, въ довершеніе всего, пользовался секретнымъ довѣріемъ мѣстнаго штабъ-офицера, который по секрету сообщалъ ему, что главная его секретная обязанность заключается въ томъ, чтобъ секретно утирать слезы. Сверхъ того, онъ любилъ творить тайную милостыню, то-есть правою рукой подавалъ нищему грошъ, а лѣвую оставлялъ въ заблужденіи, якобы данъ рубль. И въ концѣ года, подведя итогъ накопленному сокровищу, клалъ оное въ опекунскій совѣтъ для приращенія изъ процентовъ.

Въ такомъ видѣ сложился типъ совѣтника питейнаго отдѣленія въ моментъ учрежденія этой должности, и въ томъ же видѣ сохранился онъ и въ моментъ упраздненія оной.

Таковъ же былъ и Иванъ Алексѣичъ Непарочный.

Онъ взялъ Машу даже безъ прилагательнаго, ибо провидѣлъ, что въ этой дѣвицѣ будетъ толкъ. Ему не красота была нужна—онъ видѣлъ въ женщинѣ лишь посланное судьбою орудіе на случай тѣлеснаго озлобленія—а домовитая хозяйка, которая взяла бы въ руки бразды домашняго управленія, а ему дала бы возможность всецѣло и безъ помѣхи отдаться присовокупленіямъ и созиданіямъ. И отъ времени до времени рожала бы дѣтей. Маша все такъ точно и выполнила. Хозяйничала отлично и, сверхъ того, въ теченіе двадцати лѣтъ супружества принесла мужу семь человѣкъ сыновъ. Такъ что когда откупа были упразднены, то Иванъ Алексѣичъ могъ съ легкимъ сердцемъ произнести: „нынѣ отпускаеши“—и подать въ отставку.

Непарочные и Неугодовы, какъ и слѣдуетъ добрымъ родственникамъ, находились въ постоянной враждѣ. Неугодовы гордились своимъ аристократизмомъ и совершенно справедливо полагали, что если бы при такой блестящей фамиліи да сокровище Непарочныхъ, то это было бы имъ какъ разъ въ самую пору. Непарочные не гордились, но искательства не выражали, а держали себя осторожно, какъ бы съ минуты на минуту ожидая, что при малѣйшей оплошности —Nathalie непремѣнно попроситъ у нихъ денегъ. Въ послѣднее время однакожъ со стороны Непарочныхъ сдѣланы были серьезныя попытки къ сближенію, такъ какъ проницательный взоръ Ивана Алексѣича отлично усмотрѣлъ, что въ лицѣ Ѳеденьки на Неугодовскомъ горизонтѣ восходитъ блестящая звѣзда.

Итакъ, ко мнѣ явился Саша Непарочный. Уже по прежнимъ письмамъ кузины Маши я зналъ этого молодого человѣка съ отличной стороны. „Саша,—писала она мнѣ не разъ (очевидно, впрочемъ, что письма сочинялъ Иванъ Алексѣичъ, а она только переписывала), —отмѣнно радуетъ мое родительское сердце. Онъ почтителенъ, прилеженъ, аккуратенъ и нимало не сердится на младшихъ братцевъ, когда сіи послѣдніе просятъ его что-нибудь объяснить имъ изъ ариѳметики. За всякую ласку благодаренъ, тетрадки содержитъ въ порядкѣ и, что̀ всего пріятнѣе, никому не довѣряетъ своего форменнаго мундирчика, но самъ оный чиститъ“. И дѣйствительно, онъ предсталъ

предо мной именно такимъ, какимъ его описывала Маша. Тѣлосложеніе обстоятельное, румянецъ во всю щеку, ротъ сердечкомъ, глаза веселые, но не столько вслѣдствіе свойственной юношескому возрасту шаловливости, сколько вслѣдствіе выработаннаго убѣжденія, что унылое выраженіе можетъ огорчить старшихъ и благодѣтелей.

Вообще при взглядѣ на него рождалась увѣренность, что этотъ юноша никому своего мундирчика не повѣритъ, но самъ его вычиститъ, а въ то же время вытвердитъ и урокъ. Мнѣ кажется, что именно таковъ былъ Аракчеевъ въ молодости, аккуратный, равно готовый принять и орденъ, и затрещину, и постоянно рѣшающій въ мысляхъ не очень сложную ариометическую задачу. Даже лобъ у Сашеньки былъ Аракчеевскій: узкій, слегка какъ бы угнетенный.

Какъ я уже сказалъ, онъ тотчасъ же явилъ безпримѣрную ловкость. Не успѣвъ поймать мою „ручку“, облобызалъ меня въ уста и потомъ отъ времени до времени сталъ украдкой поцѣловывать въ плечико. Сначала это меня безпокоило, но потомъ думаю: а можетъ быть онъ этимъ способомъ прицѣпливается, что стоитъ суконце на моемъ сюртукѣ?

Однимъ словомъ, Сашенька сдѣлалъ на меня такое пріятное впечатлѣніе, что будь я не старикъ, а старушка со средствами, то, кажется, и цѣны бы ему не нашелъ.

— Кончилъ гимназію?—спросилъ я его.

— Кончилъ, дяденька, и удостоенъ первымъ-съ.

— Отлично! Это тебѣ дѣлаетъ честь, что родителей радуешь!

Я обнялъ его, и вдругъ, какъ бы проникшись дидактическою сферой, которую принесъ съ собой Сашенька, присовокупилъ:

— А вотъ тѣмъ дѣтямъ, кои вмѣсто радостей приносятъ родителямъ лишь огорченія, это чести не дѣлаетъ.

Не успѣлъ я раскрыть ротъ отъ удивленія, слыша таковую змѣиную мудрость, изъ устъ моихъ исходящую, какъ Саша уже воспользовался ею, чтобъ поддержать разговоръ на философской высотѣ.

— Именно таково и мое, любезный дядюшка, убѣжденіе.— скромно отвѣтилъ онъ:—и ежели вы дозволите мнѣ высказать его вполнѣ...

— Говори, любезный другъ! не стѣсняйся!

— Я полагаю, милый дяденька, что прежде всего мы, дѣти, обязаны любить Бога, создавшаго насъ всѣхъ, а непосредственно за-

тѣмъ—родителей, начальниковъ и добрыхъ родственниковъ. Таковы правила, въ которыхъ воспитывался я и всѣ мои братцы.

— Прекрасныя правила! продолжай!

— Потому что ежели мы не будемъ любить Бога, то сдѣлаемся черезъ это безбожниками, и тогда нѣ къ кому намъ будетъ, въ случаѣ несчастія, обращаться съ молитвой о помощи. Если же не будемъ любить и почитать родителей, то послѣдніе могутъ за это лишить насъ своихъ милостей. Что же касается до начальниковъ, то вы сами, любезный дядюшка, знаете, можно ли ихъ не любить?

— Еще бы!

— Обладая столь твердыми правилами, я стараюсь по возможности не отступать отъ нихъ. А ежели и затѣмъ мнѣ, какъ человѣку, не свободному отъ слабостей, случается возбудить противъ себя справедливый родительскій гнѣвъ, то я стараюсь чистосердечнымъ раскаяніемъ загладить свою вину и тѣмъ предотвратить угрожающія мнѣ въ будущемъ бѣдствія!

— Ахъ, голубчикъ!

— Я и васъ, дяденька, люблю,—прибавилъ онъ, слегка застыдившись.

— Меня-то за что?

— Во-первыхъ, потому, что я вообще всѣхъ родственниковъ обязанъ любить, а во-вторыхъ...

— Отлично! поцѣлуемся—и шабашъ!

Я поцѣловалъ его и, цѣлуя, думалъ: а еще говорятъ, что нынѣшніе молодые люди дерзкіе—анъ вонъ онъ какой! какъ огурчикъ!

— Ну, а въ Петербургъ зачѣмъ пріѣхалъ? Въ здѣшній университетъ, что-ли, поступить хочешь?

— Нѣтъ, я буду оканчивать образованіе въ московскомъ университетѣ: поближе къ родителямъ. Въ Петербургъ же я пріѣхалъ, во-первыхъ, для того, чтобъ представиться вамъ, добрый дяденька, а во-вторыхъ потому, что папенька полагаетъ, что для меня поѣздка эта будетъ не безполезна. Когда я выдержалъ послѣдній экзаменъ, то папенька подарилъ мнѣ вотъ эти часы (Саша вынулъ изъ кармана хорошенькіе часики и показалъ ихъ мнѣ) и сказалъ: „теперь ты уже юноша и необходимо тебѣ самому регулировать свое время—не все подъ родительскимъ крыломъ жить“... Признаюсь вамъ, любезный дяденька, мнѣ было ужасно больно слышать послѣднія слова...

Говоря это, онъ былъ слегка взволнованъ и на глазахъ его блеснули слезы.

— Ну, что! не плачь! Богъ милостивъ... какъ-нибудь!

— Нѣтъ, дяденька, это очень... никогда я этой минуты не забуду. Зачѣмъ папенька сказалъ такія жестокія слова? Они такъ меня тронули, что я въ первый разъ въ жизни осмѣлился попенять ему: „Зачѣмъ,—сказалъ я,—вы изволили упомянуть о разлукѣ, милый папенька? Если вамъ угодно было признать, что временная разлука наша необходима, то воля ваша будетъ выполнена, но зачѣмъ же огорчать мое сердце предположеніями о какомъ-то самовольномъ съ моей стороны регулированіи времени!“ Къ счастью, однакожъ, все объяснилось, и папенька не только не забранилъ меня, но очень милостиво продолжалъ свои наставленія. „А теперь,—сказалъ онъ,—поѣзжай въ Петербургъ! Во-первыхъ, тебѣ необходимо отрекомендоваться добрымъ родпымъ; во-вторыхъ, ты оказался вполнѣ достойнымъ вкусить нѣкоторыхъ столичныхъ удовольствій; а въ-третьихъ, да послужитъ тебѣ эта поѣздка испытаніемъ, и ежели ты и изъ столичныхъ искушеній выйдешь невредимымъ, то это будетъ означать, что ты уже вполнѣ заслужилъ аттестатъ зрѣлости. Объ одномъ прошу: какъ можно остерегайся ужасной болѣзни, которая, при дурномъ леченіи, можетъ навѣкъ лишить человѣка свойственнаго ему благообразія. А впрочемъ дядя тебѣ все это лучше меня объяснитъ!“

— Гм... Стало быть, на меня возлагается обязанность водить тебя по мытарствамъ?

— Ахъ, дяденька! Представьте себѣ, папенька точно угадалъ, что вы сдѣлаете это предположеніе! „Однако опасаюсь, — сказалъ онъ маменькѣ,—какъ бы братецъ не подумалъ, что мы предназначаемъ ему роль искусителя?“ Но маменька, зная вашу душу, положительно вооружилась противъ этой мысли.

— И превосходно сдѣлала. Дай, я еще разъ тебя поцѣлую.

Выполнивши это, я, однакожъ, спохватился: все поцѣлуи да поцѣлуи — не слишкомъ ли это ужъ однообразно? Поэтому я вынулъ красную ассигнацію и, подавая ему ее, присовокупилъ:

— А чтобы доказать тебѣ, что я люблю не ложно—вотъ десятирублевенькая. Это тебѣ на столичныя искушенія.

— Благодарю васъ, дяденька. Хотя, по милости папеньки, у меня есть и деньги, но вашъ подарокъ мнѣ дорогъ, какъ знакъ мило-

стиваго ко мнѣ расположенія. Теперь я, кажется, вполнѣ обезпеченъ. Папенька мнѣ двѣсти рублей на дорогу и на удовольствія пожаловалъ, да маменька двадцать рублей—это ужъ когда я въ вагонъ садился, въ видѣ сюрприза. А вотъ тетерь и вы, милый дяденька. Надѣюсь, что до переѣзда въ Москву этого будетъ достаточно.

— Еще бы! здѣсь тебѣ ничего не нужно, а что касается до поѣздки въ Москву, то за твой умъ тебя любой кондукторъ задаромъ въ вагонѣ постоять пуститъ! Съ чего же однакожъ мы искушенія наши начнемъ?

— Я думаю, дяденька, въ кондитерскую съ вашего позволенія сходить.

— Въ кондитерскую—это ты всегда успѣешь. А мы вотъ какъ сдѣлаемъ: отобѣдаемъ, отдохнемъ по-христіански, а потомъ и закатимся на всю ночь въ Демидронъ. Тамъ ты сразу увидишь, въ какомъ смыслѣ тебѣ понимать себя надлежитъ.

— Демидронъ... это что же такое, дяденька!

— Это, мой другъ, jardin des familles russes такъ называется, то-есть садъ, въ которомъ русскій семейный союзъ преимущественное осуществленіе для себя находитъ. „Штучку“ я тебѣ тамъ одну покажу —пальчики оближешь!

— „Штучка“—это не то ли самое, что папенька „спренами“ называетъ? Впрочемъ даже и въ этомъ смыслѣ я не отказываюсь слѣдовать вашему указанію, любезный дяденька, ибо надѣюсь съ честью выйти изъ предстоящаго испытанія. Одно только позволю себѣ доложить вамъ: ловко ли будетъ мнѣ появиться въ Демидронѣ, прежде нежели я представлюсь братцу Ѳедору Семенычу?

— Неугодова едва-ли ты скоро увидишь: онъ нынче въ десяти коммиссіяхъ засѣдаетъ.

— Но въ такомъ случаѣ отъ кого же мнѣ о здоровьи тетеньки Натальи Петровны узнать?

— И это мудрено. Nathalie была здѣсь недавно и опять уѣхала въ Парижъ. Да она ужъ не Неугодова теперь, а Дроздова. Во второй разъ замужъ вышла.

— Я, дяденька, съ вашего позволенія, ей въ Парижъ напишу; неловко же не поздравить тетеньку съ вступленіемъ въ новую жизнь. Вѣдь для письма въ Парижъ семикопѣечной марки достаточно?

Повторяю: чѣмъ больше я знакомился съ этимъ юношей, тѣмъ

больше опъ меня очаровывалъ. Но такъ какъ и очарованію полагается извѣстный предѣлъ, то я былъ очень доволенъ, когда Саша спросилъ позволенія на время оставить меня, чтобы написать письма къ родителямъ, а также къ тетенькѣ Натальѣ Петровнѣ. Разумѣется, я снабдилъ его всѣми письменными принадлежностями, и былъ очень утѣшенъ, прочитавъ въ его глазахъ рѣшимость, не отказывая себѣ въ изліяніи чувствъ, предаваться оному однакожъ лишь настолько, чтобы письмо вѣсило не болѣе одного лота.

За обѣдомъ мы опять сошлись, и бесѣда возобновилась.

— Надѣюсь, что ты не вмѣшиваешься во внутреннюю политику? — спросилъ я.

— Я, дяденька, всегда старался стоять въ сторонѣ отъ обольщеній, и до сихъ поръ Богъ помогалъ мнѣ въ этомъ. Тѣмъ не менѣе, не смѣю не сознаться передъ вами, что однажды и я чуть-чуть на каторгу не попалъ.

Я даже подскочилъ при этомъ извѣстіи.

— Что ты!!

— Мнѣ было тогда тринадцать лѣтъ, и вдругъ одинъ изъ товарищей, Спико, говоритъ: „пойдемъ, Саша, Селиксу волновать!“ — это село такъ называется, недалеко отъ Пензы. Конечно, я по неопытности согласился. Купили мужицкіе порты, бороды фальшивыя подвязали — и отправились волновать. И только-что, знаете, приступили, какъ намъ сейчасъ же руки назадъ — и маршъ къ становому! Ну, разумѣется, становой зналъ папеньку и отправилъ меня домой.

— Ахъ, бѣдный ты, бѣдный! Хорошо, что Богъ спасъ!

— Я, дяденька, въ то время такъ испугался, что человѣкъ съ пятьсотъ оговорилъ. Даже маменьку назвалъ-съ...

— Ахъ!

— Разумѣется, маменька легко оправдалась, но нѣкоторые, какъ я потомъ освѣдомился, получили достойное возмездіе.

— Правильно!

— Я, дяденька, объ этомъ такъ разсуждаю: кто что посѣетъ, то и пожнетъ. Никто не вправѣ претендовать на судьбу, ибо люди, будучи одарены отъ Бога свободной волей, суть сами единственные виновники тѣхъ злоключеній, которыя ожидаютъ ихъ въ сей жизни и въ будущей.

— Однако вотъ ты ходилъ волновать Селиксу, а вывернулся-таки?

— Я, дяденька, потому вывернулся, что чистосердечно все разсказалъ-съ. А сверхъ того всякій очень хорошо понималъ, что и папенька не оставитъ меня безъ взысканія.

— А больно папенька высѣкъ?

— Это случилось тому назадъ пять лѣтъ, и папенька такъ милостивъ, что никогда не напоминаетъ мнѣ объ этомъ. Я же, съ своей стороны, могу сказать одно: съ тѣхъ поръ я никогда въ политику не вмѣшиваюсь.

Прекрасный, прекрасный, прекрасный юноша! Правда, онъ повидимому не очень изобрѣтателенъ и рѣчь его положительно отзывается какою-то прѣлью, но, по моему мнѣнію, для родительскаго сердца это даже лучше. Далеко ли пойдетъ Сашенька въ будущемъ, или застрянетъ въ самомъ началѣ жизненнаго пути въ должности регистратора—это вопросъ, на который я не берусь отвѣтить. Но сдается, что ежели начальство безпристрастнымъ окомъ взглянетъ на его усилія, то оно навѣрное дастъ ему возможность добраться до чего-нибудь тепленькаго. Тѣмъ больше, что папенька однажды ужъ высѣкъ его, и стало быть совсѣмъ невѣроятно, чтобъ онъ вновь рѣшился волновать Селику. Высѣчь во благовременіи—вотъ послѣднее слово педагогики, и благо тѣмъ, которые испытаютъ на себѣ спасительную силу его! Скорѣе можно ожидать продерзостныхъ поступковъ отъ такого превысренняго юноши, какъ Ѳеденька Неугодовъ — и кто знаетъ?—можетъ быть, именно благодаря тому и можно ожидать, что Nathalie никогда не сѣкла его, а только грозилась посадить въ смирительный домъ. Благодаря своей превысренности, Ѳеденька сдѣлался честолюбивъ и какъ-то болѣзненно чувствителенъ ко всѣмъ вопросамъ, до прохожденія службы относящимся; такъ что ежели, напримѣръ, обойти его къ празднику наградой, то онъ, пожалуй, будетъ способенъ и на потрясаніе основъ пойти. Развѣ мало такихъ случаевъ бывало? Я лично зналъ одного статскаго совѣтника, который ждалъ къ Пасхѣ Владиміра 3-ей, а получилъ корону на св. Анны —такъ онъ прямо съ того и началъ: „Что такое государство?—говоритъ:—покажите мнѣ его! Еслибъ оно было не мнои, то я бы видѣлъ его, или по малой мѣрѣ ощущалъ бы на себѣ его дѣйствіе! А то—помилуйте!—корона на Аннушку! Обрадовали!“

Вотъ такихъ-то превысренностей и нельзя отъ Сашеньки ожидать. Прекрасный, прекрасный, прекраснѣйшій молодой человѣкъ!

— И отлично дѣлаешь, что не вмѣшиваешься,—похвалилъ я его:—потому что политика—это что̀ такое? Одинъ разъ пошалилъ —сошло съ рукъ, а въ другой разъ—и поминай какъ звали! Вотъ какова, мой другъ, наша политика!

— Я это знаю, дяденька, хотя собственно въ примѣненіи ко мнѣ заблужденіе мое принесло мнѣ гораздо больше удовольствія, нежели непріятностей. Мнѣ надавали тогда столько лакомствъ, что даже когда я подѣлился съ братцами—и тутъ оказался избытокъ. А сверхъ того въ нашемъ „Справочномъ Листкѣ“ была напечатана статья: „Спасительные плоды отеческаго непопустительства“, въ которой авторъ, отдавая справедливость папенькиной строгости, отозвался въ самыхъ лестныхъ выраженіяхъ и обо мнѣ.

— Вотъ какъ!

— Да, дяденька, это были минуты какого-то общаго энтузіазма, такъ что нашъ родной городъ прислалъ папенькѣ адресъ, въ которомъ, благодаря за искусное обращеніе на путь истинный заблуждающихся, поднесъ ему званіе почетнаго гражданина... Но что̀ всего отраднѣе: недавно, уже за предѣлами родной губерніи, я вполнѣ убѣдился, что похвальный поступокъ никогда не останется безъ награды!

— Какъ! даже за предѣлы Пензенской губерніи проникла твоя слава?

— Представьте себѣ, по пріѣздѣ въ Рязань, я хотѣлъ взять билетъ для дальнѣйшаго слѣдованія, какъ вдругъ подходитъ ко мнѣ начальникъ станціи и спрашиваетъ: „Не вы ли тотъ благородный молодой человѣкъ, который, по словамъ „Справочнаго Листка“, будучи высѣченъ папенькой, откровенно разсказалъ, какъ было дѣло?“ И когда я отвѣтилъ утвердительно, то онъ продолжалъ: „Въ такомъ случаѣ не трудитесь брать билетъ! Мы за особенную честь сочтемъ доставить васъ въ Москву безплатно!“ Согласитесь, дяденька, что я имѣлъ полное право прослезиться, услыхавъ такую лестную для меня резолюцію.

— Помилуй, мой другъ, да еслибы ты не прослезился, то просто поступилъ бы какъ свинья!

— Но это еще не все-съ. Не успѣлъ я, по пріѣздѣ въ Москву, отъявиться на Страстной бульваръ, какъ мнѣ подарили „Полный греческо-русскій словарь“, а вслѣдъ затѣмъ общество ревнителей

россійскаго благонравія задаромъ свозило меня въ одно изъ увеселительныхъ заведеній, гдѣ я слышалъ нѣніе г-жи Зориной.

— Надѣюсь, что ты и по этому случаю прослезился?

— Дяденька! могъ ли я иначе поступить?

Я слушалъ эти дѣтскія признанія, и сердце во мнѣ таяло. Признаюсь откровенно, въ мою голову даже заползала дерзкая и честолюбивая мысль. Ежели папа́ Непарочный былъ удостоенъ отъ роднаго города званія почетнаго гражданина за то, что высѣкъ Сашеньку, то отчего же бы и мнѣ... Но, къ счастію, пріятное послѣобѣденное отяжелѣніе заставило меня отказаться отъ соотвѣтствующаго по сему предмету распоряженія.

Отдохнувши и напившись чаю, мы часовъ въ десять отправились въ Демидронъ.

Но тутъ послѣдовалъ цѣлый рядъ происшествій, до такой степени фантастичныхъ, что я ничѣмъ другимъ объяснить ихъ себѣ не могу, какъ развѣ тѣмъ, что отъ московскаго общества ревнителей россійскаго благонравія была разослана во всѣ петербургскія увеселительныя заведенія особая циркулярная телеграмма, извѣщающая о предстоящемъ пріѣздѣ въ Петербургъ благороднаго юноши, который, будучи высѣченъ папенькою, навсегда отказался отъ внутренней политики.

Уже при самомъ входѣ въ садъ меня поразила какая-то загадочная опрятность, вовсе несвойственная этому мѣсту. Затѣмъ начался рядъ сюрпризовъ. Прежде всего, когда мы подошли къ кассѣ, чтобъ взять билеты, намъ объявили, что насъ обоихъ велѣно пропустить даромъ, а товарищу моему, сверхъ того, предоставляется даровой билетъ въ кресла и жетонъ на безвозмездное полученіе порціи чая. Когда же мы вошли въ садъ, то взорамъ нашимъ представилась слѣдующая картина: офиціанты въ бѣлыхъ галстухахъ, взявшись за руки, стояли шпалерой и сдерживали напоръ публики, жадно караулившей наше появленіе; оркестръ, усиленный нѣсколькими посторонними хорами, гремѣлъ маршъ на мотивъ изъ „Чижика“; нѣсколько поодаль виднѣлась, освѣщенная бенгальскимъ огнемъ, живая картина, изображающая аллегорическія фигуры Родительскаго Сѣченія, Раскаянія и Откровенности, у ногъ которыхъ корчилось и вздыхало на смерть пораженное Обольщеніе, а наверху парилъ геній Благонравія.

Не успѣли мы сдѣлать нѣсколько шаговъ, какъ на встрѣчу намъ, въ предшествіи околоточнаго надзирателя, вышелъ содержатель сада, сопровождаемый дѣвицами Филиппо и Салинасъ (обѣ были „на сей только разъ“ одѣты въ трико, на подобіе древнихъ статуй), и прочиталъ Сашенькѣ адресъ. Въ этомъ адресѣ, разсказавъ подробно исторію сѣченія и его благотворныя послѣдствія, г. Егаревъ объявилъ, что Демидровъ считаетъ себя счастливымъ, поднося Сашенькѣ дипломъ на званіе почетнаго гражданина этого заведенія. Причемъ, объяснивъ, что званіе это влечетъ за собой право на безплатный входъ въ садъ и на безплатную же порцію чая—навѣчно!—и вручая соотвѣтствующіе документы, присовокупилъ:

— Почтеннѣйшему же родителю вашему передайте, что, не имѣя возможности чествовать его лично, мы сдѣлали распоряженіе, дабы одна изъ шансонетокъ сегодняшняго репертуара была посвящена прославленію родительской спасительной строгости (дѣйствительно, шансонетка эта была въ свое время выполнена, и когда рѣчь шла о спасительной строгости, то исполнительница, дѣвица Филиппо, такъ выразительно хлопала себя по ляжкѣ, что публика просто-на-просто выла).

Кончивши привѣтствіе, г. Егаревъ прослезился, а въ отвѣтъ ему прослезился и Сашенька. Но что было всего неожиданнѣе—это роль, которая выпала въ этотъ вечеръ на долю дѣвицы Филиппо. Въ началѣ церемоніи поднесенія адреса Сашенька былъ такъ отуманенъ, что все свое вниманіе исключительно сосредоточилъ на г. Егаревѣ. Но когда адресъ былъ уже врученъ, то виновникъ торжества, облобызавшись съ г. Егаревымъ, долженъ былъ, по правиламъ церемоніала, облобызать и его ассистентокъ. Но едва онъ приступилъ къ этому обряду, какъ изъ груди его вдругъ вырвался пронзительный крикъ...

Что же оказалось! Что дѣвица Филиппо нѣкогда жила въ семействѣ Ненарочныхъ въ качествѣ наставницы и первая посѣяла въ сердцѣ Сашеньки сѣмена благонравія! Вотъ какими загадочными и даже, можно сказать, непозволительными путями ведутъ насъ судьбы для выполненія своихъ благихъ замысловъ.

— Eh bien, morveux, es-tu content?—спросила очаровательница послѣ первыхъ горячихъ привѣтствій признательности, и тутъ же, вынувъ изъ-за пазухи дипломъ на безпрепятственный входъ за кулисы театра, вручила его виновнику торжества.

Я цѣлый вечеръ ходилъ какъ въ туманѣ. Я гордился моимъ юнымъ другомъ и чувствовалъ, что его торжество отчасти простирается и на меня. Хотя мнѣ не дали ни дарового билета въ кресла, ни права на полученіе порціи чая, но все-таки пустили въ садъ даромъ, а часомъ, въ порывѣ великодушія, угостилъ меня Сашенька—тоже даромъ. Сверхъ того я понималъ, что своимъ присутствіемъ въ моей квартирѣ онъ, такъ сказать, обезпечивалъ мою жизненную несмѣняемость; а такъ какъ для меня это очень важно, то я и началъ даже опасаться, чтобъ какъ-нибудь его отъ меня не сманили. Поэтому я съ живѣйшимъ безпокойствомъ слѣдилъ, какъ нѣкоторые вышедшіе изъ лѣтъ отставные дѣйствительные статскіе совѣтники, окруживъ его, наперерывъ другъ передъ другомъ потчивали сластями. Но безпокойство мое превратилось въ настоящій испугъ, когда, по окончаніи представленія, къ намъ подошла дѣвица Филиппо и стала уговаривать Сашеньку, чтобъ онъ поступилъ въ труппу Демидрона. И очень возможно, что она успѣла бы въ своемъ сатанинскомъ намѣреніи, еслибъ преждевременно не оскорбила сыновнихъ чувствъ Сашеньки, выразившись объ кузинѣ Машѣ: „ta vielle carcasse de mère“. Такой черезъ-чуръ откровенный отзывъ оскорбилъ юношу, и вслѣдствіе этого онъ не далъ положительнаго отвѣта, а только обѣщалъ подумать.

Словомъ сказать, я успокоился только тогда, когда мы уже поздно почью возвращались на извозчикѣ домой. Вплоть до самаго Невскаго мы молчали: онъ—потому что трепеталъ подъ напливомъ новыхъ ощущеній, я — потому что не хотѣлъ нескромнымъ словомъ потревожить сладостное чувство, охватившее все его существо. Но на углу Большой Морской и Невскаго онъ не выдержалъ и съ какою-то стыдливой нѣжностью обнялъ меня.

— Ахъ, дяденька! какъ я счастливъ! какъ я счастливъ!—произнесъ онъ.

Я хотѣлъ ему многое возразить, но сдержался. И только когда мы поровнялись съ Милютиными лавками, я сказалъ:

— Другъ мой! не увлекайся! Популярность, конечно, соблазнительна, но имѣй въ виду, что всякая популярность, хоть бы она свила себѣ гнѣздо въ Демидронѣ, непремѣнно источаетъ изъ себя ядъ. И этотъ ядъ, ежели не принять противъ него мѣръ...

Но онъ не далъ мнѣ докончить и, поцѣловавъ меня въ плечико, произнесъ:

— Благодарю васъ, добрый дяденька! Ваши слова... отрезвили меня! Я... не боюсь больше!

И дѣйствительно, послѣ этого мы благополучно воротились домой и разошлись каждый по своимъ комнатамъ.

Тѣмъ не менѣе я провелъ безпокойную ночь. Какъ ни благоправенъ Сашенька, думалось мнѣ, но подобныя торжества могутъ хоть кого сбить съ толку. Слава и популярность—вотъ двѣ вещи, наиболѣе соблазнительныя и въ то же время наиболѣе ядовитыя. И обѣихъ ихъ Сашенька достигъ разомъ, въ одинъ вечеръ, достигъ легко, безъ всякихъ усилій, благодаря только тому, что папенька благовременно его высѣкъ! Какъ бы онъ не изнемогъ, если то же явленіе повторится два дня сряду (мы предполагали на другой день посѣтить Крестовскій островъ). Поэтому я рѣшился нѣсколько измѣнить программу нашихъ увеселеній и сначала повести моего юнаго друга въ Зоологическій садъ, чтобы познакомить его съ болѣе отрезвляющимъ зрѣлищемъ кормленія звѣрей и съ зулусами. А чтобы придать этому столичному искушенію больше разнообразія, предположилъ. сверхъ того, сводить Сашеньку въ кондитерскую братьевъ Назаровыхъ и угостить мороженымъ. Въ этихъ размышленіяхъ застала меня утренняя заря, и только тогда я забылся тревожнымъ сномъ.

На утро я сообщилъ о моихъ рѣшеніяхъ Сашенькѣ, и онъ вполнѣ ихъ одобрилъ. И вдругъ онъ ошеломилъ меня вопросомъ:

— А до Зоологическаго сада не позволите ли вы мнѣ, дяденька, сходить къ Лизѣ Селиверстовнѣ?

По пылающимъ его щекамъ я догадался, что рѣчь идетъ о дѣвицѣ Филиппо, и сердце мое невольно сжалось.

— Послушай, мой другъ!—сказалъ я:—выполнимъ прежде первоначальную программу искушеній, а посѣщеніе хранительницы твоей юности отложимъ до конца твоего пребыванія въ здѣшней столицѣ! Ибо я знаю, что разъ ты попадешь къ Лизѣ Селиверстовнѣ —она ужъ не выпуститъ тебя! И тогда можетъ случиться, что родители, встревоженные твоимъ исчезновеніемъ, вынуждены будутъ вытребовать тебя въ Пензу по этапу. Сообрази самъ, не придется ли папенькѣ твоему вновь прибѣгнуть къ тѣмъ мѣрамъ, которыя хоть и доставили тебѣ популярность, но повтореніе коихъ можетъ однакожъ поселить недоумѣніе въ сердцахъ твоихъ согражданъ!

Эта разсудительная рѣчь не очень-то пришлась по вкусу Сашѣ.

потому что въ теченіе ея онъ нѣсколько разъ то краснѣлъ, то блѣднѣлъ. И будь я нѣсколько менѣе энергиченъ въ моихъ выводахъ, очень возможно, что воспоминаніе о Луизѣ Селиверстовнѣ, облеченной въ трико, пересилило бы мою правоучительную прозу. Но когда я упомянулъ о возможности путешествія по этапу, онъ не могъ не признать моей правоты...

Увы! въ Зоологическомъ саду насъ ожидало торжество еще болѣе умилительное, нежели въ Демидронѣ. Едва подъѣхали мы къ рѣшеткѣ сада, какъ единодушный и радостный ревъ животныхъ и птицъ возвѣстилъ насъ, что мы—давно-желанные здѣсь гости. И дѣйствительно, совершилось нѣчто волшебное. Прежде всего выступилъ впередъ громадный жирафъ и отъ лица всѣхъ своихъ товарищей, привѣтствовалъ Сашеньку краткою, но прочувствованною рѣчью. Затѣмъ послѣдовало общее представленіе. Мы поочередно переходили отъ тигра къ слону, отъ слона къ пернатымъ, и вездѣ слышали самыя лестныя привѣтствія. Даже гіена вильнула хвостомъ въ знакъ сочувствія, а попугаи такъ просто-на-просто одурѣли и начали лопотать что-то совсѣмъ нескладное. Когда же звѣри умолкли, то вышелъ впередъ начальникъ зулусовъ (впослѣдствіи разъяснилось, что онъ въ то же время состоитъ арапомъ въ клубѣ художниковъ) и объяснилъ собравшимся гимназистамъ и кадетамъ значеніе настоящаго торжества. Онъ очень толково разсказалъ, въ какихъ обстоятельствахъ Сашенька былъ высѣченъ, какъ онъ самъ сознался, что иначе поступить было невозможно, и вотъ за это теперь превознесенъ; потомъ похвалилъ Ивана Алексѣича и въ заключеніе, обратившись ко мнѣ, присовокупилъ: „а ты, дядя, веселись!“ Рѣчь эта возбудила такой энтузіазмъ, что когда вслѣдъ затѣмъ начался „большой танецъ зулусовъ“, то вся присутствовавшая въ саду молодежь вмѣшалась въ ихъ игры, и такимъ образомъ самъ собою, безъ всякихъ мѣръ строгости, образовался истинно-семейный праздникъ.

Нѣтъ надобности упоминать, что ни съ меня, ни съ Сашеньки не было взято за входъ ни копѣйки, а Сашенькѣ, кажется, даже была вручена какая-то мелочь, когда мы садились на извозчика.

Справедливость требуетъ однакожъ сознаться, что нынѣшнее торжество подѣйствовало на Сашу нѣсколько иначе, нежели вчерашнее. Вчера онъ былъ взволнованъ и стыдливъ; сегодня—самонадѣянъ и даже нѣсколько наглъ. Такъ что когда я напомнилъ ему:—Ну, вотъ,

еслѝбъ ты давеча не послушался меня и ушелъ къ Луизѣ Селиверстовнѣ, то ничего бы этого не было! — то, къ величайшему моему изумленію, онъ совершенно развязно отвѣтилъ:

— Ахъ, дядя, я позабылъ и думать объ этихъ пустякахъ! Знаете ли, какая у меня теперь мысль: давайте-ка вмѣстѣ издавать газету!

И такъ какъ я, онѣмѣвъ отъ неожиданности, безмолвствовалъ, то онъ продолжалъ:

— Теперь самое время. Я популяренъ, и газета моя будетъ покупаться нарасхватъ. А за мною и вы незамѣтно пройдете!

„Ужели и я буду вынужденъ высѣчь его?“ мелькнуло у меня въ головѣ, но, по счастію, мы въ эту минуту поровнялись съ кондитерской братьевъ Назаровыхъ, и это лишило меня возможности сообщить моей мысли надлежащее развитіе.

Оказалось, что и Назаровымъ все было уже извѣстно, такъ что и тутъ съ насъ ничего не взяли за угощеніе. Этого мало: когда мы возвращались домой пѣшкомъ, то отъ самой Каравашной за нами шла толпа, провожавшая насъ кликами: „вотъ благонравный юноша, который, бывъ высѣченъ напенькой, навсегда отказался отъ внутренней политики!“

Я не буду описывать дальнѣйшихъ тріумфовъ Сашѝньки. Въ „Баваріи“, въ „Ливадіи“, на Крестовскомъ, въ „Эльдорадо“, въ „Шато-де-Флёръ“ — вездѣ онъ былъ дорогимъ и желаннымъ гостемъ, а изъ Озерковъ тамошнія дамочки даже прислали на имя кузины Маши телеграмму, въ которой благодарили ее за вступленіе въ бракъ, плодомъ котораго былъ столь благонравный сынъ.

Когда же исчерпался репертуаръ торжествъ въ увеселительныхъ заведеніяхъ, то на сцену выступили учрежденія и установленія.

Городская дума прислала Сашѝнькѝ патентъ на званіе почетнаго члена трактирной депутаціи.

Государственный банкъ далъ знать, что ежели у Сашѝньки имѣются ветхія ассигнаціи, то онъ во всякое время можетъ перемѣнить ихъ на новенькія, причемъ присовокупилъ, что по предъявленіи таковыхъ выдается изъ размѣнной кассы банка соотвѣтствующее количество рублей серебряною или золотою монетою.

Общество взаимнаго кредита увѣдомило, что Сашѝнькѝны деньги могутъ быть безъ опасенія помѣщены въ ономъ на текущій счетъ, такъ какъ отнынѣ растраты перестали быть для общества обязательными.

Изъ участка пришелъ запросъ: не приметъ ли Сашенька мѣсто паспортиста?

И проч., и проч.

Словомъ сказать, депутаціи смѣнялн одна другую, и всякая выражала Сашенькѣ свое удивленіе и благодарность за то, что онъ, бывъ высѣченъ папенькой, навсегда отказался отъ внутренней политики...

Къ сожалѣнію, по мѣрѣ того, какъ росла Сашенькина слава, самъ онъ становился все болѣе и болѣе самонадѣяннымъ. Нервы его уже притупились, а развязность дошла до того, что онъ началъ требовать отъ депутатовъ какихъ-то статистическихъ свѣдѣній, и когда они, натурально, не умѣли удовлетворить этому требованію, то онъ откровенно называлъ ихъ фофанами. И къ довершенію всего, мысль объ изданіи газеты не только не оставила его, но даже вполнѣ въ немъ созрѣла, такъ что однажды онъ совсѣмъ уже грубо спросилъ меня:

— Что же, дядя? Надумались ли вы насчетъ газеты? Предупреждаю васъ, что если вы будете мямлить, то я рѣшусь издавать одинъ!

Тогда я понялъ, что времена созрѣли, и, призвавъ на помощь всю силу родственной любви, на которую способно мое сердце, воскликнулъ:

— Ну, Саша! воля твоя, а въ видахъ твоего же собственнаго спасенія я долженъ высѣчь тебя!

Первое октября.

Для писателя нѣтъ большей награды, какъ имѣть публику, которая настолько ему вѣритъ, что даже отъ времени до времени удостоиваетъ его непосредственнымъ съ собою общеніемъ. Я могу считать себя однимъ изъ такихъ счастливцевъ. Говорю объ этомъ не ради хвастовства, но именно потому, что горжусь. Увѣренность, что есть существо, которое откликается на вашу мысль и волнуется вашими волненіями, которое въ вашей работѣ видитъ не балагурство, а убѣжденность, которое понимаетъ, что служеніе литературѣ есть путь трудный и до извѣстной степени даже сопряженный съ калѣчествомъ

—это увѣренность, говорю я, не только пріятная, но почти равняющаяся наслажденію. Наглотавшись отъ представителей современнаго русскаго критиканства разныхъ эпитетовъ, въ родѣ „непочтительнаго хама“, „балагура“, „безсознательнаго шута“, „ругателя“ и т. д., пріятно убѣдиться, что эпитеты эти не пользуются симпатіями въ средѣ читающей публики. И я во истину имѣлъ возможность убѣдиться въ этомъ, потому что за время моей литературной дѣятельности отношенія ко мнѣ читателей имѣли характеръ почти исключительно благожелательный и симпатичный. Только раза два (одинъ разъ по поводу „Дворянской хандры“, въ другой разъ не помню, по какому поводу) неизвѣстные корреспонденты писали мнѣ: „замолчи... безполезный старикъ!“ И, помнится, я даже серьезно задумался надъ этимъ предостереженіемъ. Въ самомъ дѣлѣ, думалось мнѣ, не пора ли это занятіе прекратить? Вѣдь настоящаго-то слова, какъ ни бейся, все-таки не выговоришь, такъ не лучше ли попросту, безъ затѣй замолчать! Но, сообразивъ всѣ доводы pro и contra, я рѣшилъ иначе. Очень возможно, сказалъ я себѣ, что „старикамъ“ дѣйствительно приличнѣе думать о смертномъ часѣ, нежели о собесѣдованіяхъ съ живыми людьми, но вѣдь для дѣла тогда только бываетъ полезно, что вышедшій изъ лѣтъ рабочій снимаетъ съ себя тягло, когда на мѣсто его уже явился новый рабочій, а пожалуй и цѣлыхъ два. Но въ современной русской литературѣ мы видимъ явленіе совершенно противоположное: новыя рабочія силы появляются туго, а старыя сходятъ съ арены сами собой, естественнымъ путемъ. Стало быть, ежели, сверхъ того, старые тягольники будутъ еще добровольно обрекать себя на молчаніе, то, пожалуй, литература совсѣмъ теченіе свое прекратитъ, и останется одно цензурное вѣдомство. А сверхъ того и то еще сдается, что старики не все же одни праздныя слова говорятъ. Иногда выдастся что-нибудь и не безполезное: воспоминаніе, справка, забытый, но не лишній по обстоятельствамъ образъ и т. д. Ужели все это уже такой ненужный соръ, который заслуживаетъ только укора? Словомъ сказать, взвѣсилъ, разсудилъ и рѣшилъ дѣло въ свою пользу, то-есть сталъ продолжать писать.

Но какъ ни пріятно, что читатели удостоиваютъ меня довѣріемъ, а нѣкоторые даже приносятъ жалобы и требуютъ распоряженія по оным, нужно сознаться однакожъ, что я не всегда и не все властенъ сдѣлать. Для меня это тѣмъ необходимѣе объяснить, что, не имѣя

въ своемъ распоряженіи канцеляріи, я не могу быть вполнѣ исправнымъ корреспондентомъ, и вслѣдствіе этого рискую подвергнуться упрекамъ въ нерадивости и бездѣйствіи власти, совершенно мною незаслуженнымъ, что со мною однажды уже и случилось.

Я помню, въ періодъ такъ-называемаго обличительнаго направленія моей литературной дѣятельности, я былъ буквально завалент всякаго рода жалобами на несправедливыя и несогласныя съ интересомъ казны дѣйствія различныхъ вѣдомствъ. И жалобы эти были не голословныя, но поддерживались фактами, о которыхъ и сообщалось, на предметъ „отдѣлки“ въ ближайшемъ „обличеніи“. Къ сожалѣнію, однакожъ, я никакихъ существенныхъ распоряженій къ удовлетворенію этихъ жалобъ сдѣлать не могъ. Съ одной стороны, факты, изолированные отъ жизненной обстановки, которая ихъ породила, представляютъ настолько скудный матеріалъ для воспроизведенія, что я совершенно не могъ воспользоваться ими для моихъ литературныхъ работъ, а съ другой — я не имѣлъ въ своемъ распоряженіи подчиненныхъ, при посредствѣ которыхъ могъ бы, по произволенію, возстановить нарушенное право. Поэтому мнѣ оставалось только указывать, что съ подобными жалобами надлежитъ обращаться не ко мнѣ, а въ правительствующій сенатъ.

Понятно, однакожъ, что такого рода указаніе не могло не подѣйствовать на моихъ довѣрителей разочаровывающимъ образомъ. Вѣроятно многіе изъ нихъ сказали себѣ: эге! ты, видно, прытокъ, а не силенъ! а другіе прямо заподозрили, что я не то чтобы не могу, а не хочу, или, лучше сказать, берегу свою шкуру. Пошла худая молва, и хотя публика продолжала благосклонно относиться къ моимъ трудамъ, но вѣра въ могущество обличительнаго дѣла уже прекратилась. А вмѣстѣ съ тѣмъ временно перемежилось и непосредственное общеніе между мною и моими довѣрителями.

Наступилъ періодъ затишья, въ продолженіе котораго я очень страдалъ. Довѣрители уже не обращались ко мнѣ съ жалобами, но по прежнему начали кому слѣдуетъ барашка въ бумажкѣ предлагать, приговаривая: „этакъ-то будетъ прочнѣе“. Выходило, что я какъ будто только спуталъ ихъ: научилъ фордыбачить и кобениться, а какъ это фордыбаченье отстоять — средствъ не преподалъ. Ходили даже такіе слухи, что многіе, увлеченные моими обличеніями, до такой степени оплошали, что впослѣдствіи вынуждены были цѣлыми

стадами отчуждать барановъ. лишь бы возстановить потрясенную фордыбаченьемъ репутацію. Все это, повторяю, серьезно огорчило меня, и хотя совѣсть моя оставалась спокойной, но я все-таки не счелъ себя вправѣ не воспользоваться урокомъ.

Я сказалъ себѣ: донынѣ я обличалъ мздоимцевъ и казнокрадовъ, но, въ противоположность всѣмъ моимъ намѣреніямъ, произошло нѣчто совсѣмъ неожиданное: обличенія не только не прекратили мзду, но даже удесятерили размѣры ея. Правда, что одновременно и экономическія условія чиновническаго быта значительно осложнились, но главную причину увеличенія мзды все-таки составляло обличеніе. Опредѣляя размѣры предстоящаго приношенія, мздоимецъ говорилъ: „вотъ эта часть — по бывшимъ примѣрамъ, вотъ эта—по случаю увеличенія цѣнъ на съѣстные припасы, а вотъ эта—на случай обличенія". При чемъ послѣдняя доля навѣрное равнялась семи десятымъ общей суммы приношенія. Все это прямо указывало, что мздоимцевъ слѣдуетъ оставить въ покоѣ, по крайней мѣрѣ до тѣхъ поръ, пока между ними и обывателями не состоится полюбовное соглашеніе, которое на прочныхъ основаніяхъ установитъ ихъ взаимныя отношенія.

Сказано — сдѣлано. Но вопросъ: о чемъ же писать? Однажды мысль потревожена, надо дать ей пищу—какую? Вотъ тогда-то именно я и принялъ рѣшеніе, при которомъ остаюсь и до сихъ поръ: писать такъ, чтобы всѣмъ было одинаково пріятно, и мздоимцамъ, и партикулярнымъ людямъ.

Наша изба не одними мздоимцами красна: и между обывателями достаточно выжить найдется, которыхъ ежели начать перебирать, то навѣрное читатель останется доволенъ. Деруновъ, Неугодовъ, Разуваевъ, Балалайкинъ—какихъ еще героевъ надо! Отечество продаютъ, присныхъ обездоливаютъ, женъ и дѣвъ въ соблазнъ вводятъ—ужели такъ имъ это и простить?

А сверхъ того и еще: очень ужъ жить тяжело становится: почти противно. И не оттого одного, что харчи съ каждымъ днемъ дорожаютъ, а и оттого, что вообще какъ-то не по себѣ. Все думается: когда же нибудь однако она начнется, эта самая жизнь, а она вмѣсто того только пуще да пуще вглубь уходитъ. Пожалуй, такъ наконецъ схоронится, что и отыскать нельзя будетъ. Какъ хотите, а это тоже сюжетъ, о которомъ хоть и безъ пользы, но все-таки можно поговорить...

Я знаю: критиканы, называющіе меня балагуромъ, сейчасъ же изловятъ меня.—Зачѣмъ, скажутъ, ты вклеилъ фразу: „хоть и безъ пользы“? вѣдь это ты сбалагурилъ?—Нѣтъ, я не сбалагурилъ: напротивъ, я совершенно искренно и серьезно убѣжденъ, что по нынѣшнему времени говорить можно именно только безъ пользы, то-есть безъ всякаго разсчета на какія-нибудь практическія послѣдствія. Но для чего жъ тогда говорить? А для того, милостивые государи, чтобы отъ времени до времени напоминать самому себѣ, что даръ слова не есть —

Даръ напрасный, даръ случайный,

но дѣйствительное отличіе человѣка отъ безсловесныхъ. Только для этого.

И вотъ, настроивши лиру, я началъ бряцать. И чѣмъ больше бряцалъ, тѣмъ шире растворялись сердца и прочнѣе возстановлялось интимное общеніе, которое временно пошатнулось подъ вліяніемъ тщеты обличеній. Должно быть, въ сердцахъ читателей порядочно-таки наболѣло; должно быть, и имъ по горло надоѣли всѣ эти неуклонные осуществители самоновѣйшихъ принциповъ современности, эти проворные хищники, отъ которыхъ ни въ какую нору нельзя уйти, чтобъ они не заползли слѣдомъ и не присосались. Да надоѣлъ и самый жизненный процессъ. Не живешь, а въ оцѣпенѣніи движешься, словно выморочное имущество, которымъ всякій встрѣчный помыкаетъ, покуда наконецъ не выйдетъ рѣшеніе: „имущество сіе, яко выморочное, отписать въ казну“.

Нѣтъ спора, что перспективы, на которыя я указываю, не весьма заманчивы; но коль скоро онѣ не отталкиваютъ, а привлекаютъ партикулярнаго человѣка, то это значитъ, что послѣдній самъ видитъ ихъ неизбѣжность, самъ болѣетъ тѣми же болями, какими болѣю и я. Нашъ недугъ общій, только онъ не для всѣхъ и не всегда ясенъ, и въ большинствѣ случаевъ онъ выражается лишь въ смутномъ сознаніи, что человѣка какъ будто не прибываетъ, а убываетъ. Но когда причины, обусловливающія тревогу, выясняются, то это не только не раздражаетъ, но даже въ извѣстной степени смягчаетъ причиняемое недугомъ страданіе. Ибо уже въ самомъ указаніи признаковъ недуга партикулярный человѣкъ почерпаетъ для себя косвенное облегченіе. Помилуйте! донынѣ онъ изнывалъ, какъ слѣпецъ, а отчасти даже суевѣрно трепеталъ передъ обстановкой своего недуга,

считая ее неизбывною, отъ вѣковъ опредѣленною—и вдругъ, благодаря объясненіямъ, смѣшенія эти устраняются! Явленія утрачиваютъ громадныя пропорціи, которыя такъ давили воображеніе, и размѣщаются въ томъ порядкѣ, въ какомъ имъ естественно быть надлежитъ... Ужели это не утѣшеніе? ужели не утѣшеніе сказать себѣ: сначала—ясность, а потомъ—что̀ Богъ дастъ!

. . . . . .

Въ сентябрѣ я получилъ цѣлую массу писемъ, которыя доказали мнѣ, что публика именно съ этой точки зрѣнія относится къ моимъ посильнымъ литературнымъ трудамъ. Моя хроника: „Первое августа“, повидимому, произвела свое дѣйствіе, то-есть заставила даже такихъ упорныхъ противниковъ, какъ Тарасъ Скотининъ и Деруновъ, признать за моими писаніями нѣкоторую пользу. Изъ числа этихъ писемъ я позволяю себѣ привести здѣсь только нѣсколько наиболѣе характерныхъ.

„Руку, землякъ! Собственность признаёшь, семейство пріемлешь, государство чтишь—на что̀ лучше! Разумѣйте языцы—и разговору конецъ!

„Такъ, сударь, и надо. Ахъ, очень нынѣче нужно объ собственности почаще напоминать, ибо весьма на сей счетъ въ нашей мѣстности слабо стало. Даже племянникъ мой, Митрофанъ, и тотъ оными идеями заразился, и вотъ ужъ который годъ мы оба изъ камеры мирового судьи не выходимъ, все судимся. По сей причинѣ даже въ Петербургъ сколько разъ надумывалъ ѣхать: хочется отъ хорошихъ адвокатовъ узнать, не могу ли я, какъ старшій въ родѣ, Митрофана въ смирительный домъ посадить? Сказываютъ, у васъ такіе адвокаты есть, которые могутъ доказать, что старшіе даже сѣчь младшихъ право имѣютъ, но я сего ужъ не добиваюсь, а хотя бы въ смирительный домъ. Наши же, пензенскіе адвокаты на сей счетъ трояко говорятъ: ежели я больше дамъ, то якобы можно; если Митрофанъ больше дастъ, то якобы нельзя; а ежели я еще больше дамъ, то и опять выходитъ, что можно. Такъ что и семейный союзъ будто бы отъ того зависитъ, кто линіей полтинникъ дастъ!

„Да, слабо нынѣче вообще—это вы вѣрно, мой другъ, угадали. Съ тѣхъ поръ, какъ объявили ядовитую оную волю, и собственность, и семейство—все врозь пошло, а объ государствѣ даже и не знаемъ, что̀ сей

сонъ означаетъ. Еще въ Пензѣ мы, по мѣрѣ силъ, крѣпимся, а что въ сосѣдней Саратовской губерніи и въ войскѣ Донскомъ по сему случаю творится—даже я, Тарасъ Скотининъ, безъ слезъ взирать не могу! Ужъ на что сестрица моя, госпожа Простакова — и та съ тѣхъ поръ, какъ въ балашовское свое имѣніе переѣхала, сейчасъ же противъ священныхъ сихъ основъ вооружилась! Начала съ того, что Митрофана прокляла, а нынѣ и на меня, стараго брата своего, войною пошла! Имѣлъ я съ нею процессъ о землѣ, и благодареніе Богу, успѣлъ ту землю въ первой инстанціи законнымъ образомъ у нея оттягать. И что жъ бы вы думали! вмѣсто того, чтобъ покориться волѣ Божьей и безпрекословно мнѣ землю изъ рукъ въ руки передать, а я бы ей, всеконечно, до смерти ея въ домѣ моемъ пріютъ далъ, она подала на апелляцію, а Митрофанъ, сверхъ того, научилъ еще и прокурору заявленіе подать, будто бы съ моей стороны подлогъ въ дѣлѣ семъ совершонъ. И нынѣ, по апелляціи, вновь это дѣло разсматривается, а обо мнѣ слѣдствіе производится! Такъ вотъ въ какомъ положеніи находится въ Саратовской губерніи семейный союзъ!

„И такъ, по сему случаю, а равно и по другимъ подобнымъ предвижу необходимость быть въ Питерѣ. Можетъ быть, у васъ насчетъ сего покрѣпче. И непремѣнно у тебя, землякъ, остановлюсь: авось либо въ литераторскихъ палатахъ для стараго друга уголъ найдется. Вѣдь по правдѣ-то сказать, мы не только земляки, но и родные: всѣ отъ одного древняго Прогорѣловскаго рода линію-то ведемъ, и всѣ одинаково съ 61-го года въ подсудимыхъ значимся!

„Тарасъ Скотининъ“.

— — —

„По приказанію его превосходительства, г. дѣйствительнаго статскаго совѣтника Рудина, имѣю честь Васъ, Милостивый Государь, увѣдомить, что выраженныя Вами въ статьѣ-хроникѣ: „Первое Августа“ чувства, относительно собственности, семейственности и государственности, признаются его превосходительствомъ вполнѣ съ обстоятельствами дѣла сходственными и одобренія достойными.

„Дѣлопроизводитель Лаврецкій“.

Сбоку приписано рукою г. Лаврецкаго: „Считаю пріятнымъ

долгомъ съ своей стороны присовокупить, что объясненія Ваши произвели столь благопріятное впечатлѣніе, что его превосходительство вызвалъ къ себѣ автора огорчившей Васъ статьи: „Наши охранители и наши прогрессисты“, и просилъ его, въ личное для себя одолженіе, изъ списка неблагонадежныхъ элементовъ Васъ исключить. На что и получено благосклонное увѣреніе, что надлежащее по сему предмету распоряженіе будетъ немедленно сдѣлано“.

„Душка Щедринъ!

„Вотъ въ чемъ дѣло, разскажу поскорѣе. Когда умеръ папаша, ничего послѣ него не осталось: даже домъ нашъ въ Миргородѣ — и тотъ оттягалъ ненасытный Довгочхунъ. И вотъ, я переѣхала на житье къ тетенькѣ Ѳеодуліи Ивановнѣ Собакевичевой, которая послѣ смерти дяденьки осталась совсѣмъ одна, потому что во время воли всѣ дворовые, а въ томъ числѣ и вѣрный Неуважай-Корыто, разбѣжались. И вотъ, пріѣзжаетъ къ намъ прошлою осенью Павелъ Ивановичъ Чичиковъ и говоритъ, что теперь онъ ужъ адвокатъ и ѣздитъ по помѣщикамъ, разузнаетъ, нѣтъ ли у кого процессовъ. И вотъ, тетенька ужасно ему обрадовалась и говоритъ: „можете ли вы похлопотать, чтобъ крѣпостное право хотя на тѣхъ вновь распространить, которые для прислуги и полевыхъ работъ необходимы, а прочіе чтобъ оброкъ платили?“ И онъ охотно на это согласился, и довѣренность тутъ же написали, а марки онъ съ собой гербовыя возитъ—стоитъ только послюнить, и дѣлу конецъ. И вотъ, тетенька сорокъ рублей задатку дала, а ночевать ему отвели ту самую комнату, въ которой онъ въ 1841 году ночевалъ. И адресъ, уѣзжая, онъ намъ оставилъ: „С.-Петербургъ-Москва, на станціи, спросить буфетчика Петра, а васъ, милостивый государь, прошу передать кому знаете“. И какъ у насъ нѣтъ прислуги, то мы повѣрили. И вотъ, мы ждемъ. И вотъ черезъ девять мѣсяцевъ у меня рождается сынъ. А такъ какъ онъ взялъ впередъ сорокъ рублей денегъ, то я и повѣрила, что будетъ твердо, онъ же хоть бы строчку написалъ, а между прочимъ и насчетъ сына— развѣ это не подлость? И вотъ, теперь за меня хорошій человѣкъ сватается, Мижуевъ-Ѳетюкъ, и съ сыномъ вмѣстѣ беретъ, а я боюсь, и тетенька боится: вдругъ, ежели Павелъ Иванычъ пріѣдетъ! А теперь намъ говоритъ, что Павелъ Иванычъ все это на смѣхъ сдѣлалъ и адресъ

будто бы фальшивый оставилъ — вѣдь это такая ужъ подлость, что мы съ тетенькой думаемъ: неужто и этому вѣрить! И вотъ, мы не знаемъ, какъ въ этомъ случаѣ быть, потому что мы женщины, а для женскаго пола, говорятъ, законъ не писанъ. Даже Неуважай-Корыто — и тотъ насъ оглашенными называетъ, и мы не возражаемъ, боимся, какъ бы не вышло хуже. И вдругъ тетенькѣ мысль пришла: „напишемъ, говоритъ, къ г. Щедрину! Онъ такъ собственность и семейство уважаетъ, что непремѣнно за насъ заступится! А объ государствѣ, говоритъ, покуда не проси! и такъ какъ-нибудь, по женской своей должности, проживемъ!“

„И вотъ, я беру перо.

„Душка! чудесный! голубчикъ! Нельзя ли все это въ смѣшномъ видѣ представить, но такъ, чтобы Павелъ Иванычъ непремѣнно прочиталъ! Я увѣрена, что если вы захотите, то онъ раскается и опять къ намъ пріѣдетъ. А комната у насъ для него готова. И ежели онъ по тетенькиной довѣрчивости ничего не выхлопоталъ, все-таки пусть пріѣзжаетъ, или, по крайней мѣрѣ, пусть хоть письмо пришлетъ. могу ли я за господина Мижуева выйти? А я какъ вамъ буду за это, голубчикъ, благодарна... вотъ увидите!

„Ваша по гробъ

„*Гапочка Перепенкова*“.

„Милостивый Государь.

„Прочитавъ Вашу статью: „Первое августа“, я съ удовольствіемъ извѣстился, что Вы собственность признаете, семейство пріемлете, государство чтите. Посему, ежели при извѣстномъ свиданіи *), въ разговорѣ насчетъ арміи и флотовъ, что-нибудь ненарочно сказалось, въ томъ прошу великодушно меня извинить, отнеся оное насчетъ моей простоты.

„При семъ неминимъ, однакожъ, почитаю представить на благоусмотрѣніе Ваше нижеслѣдующія мои соображенія:

„Пишете Вы, Милостивый Государь, что негоціантъ, ежели доподлинно собственность чтитъ, обязанъ дѣла свои въ такомъ видѣ

*) См. „Благонамѣренныя рѣчи“.

имѣть, чтобы ежечасно быть готовымъ во всякомъ рублѣ передъ публикою чистосердечный отчетъ дать. Откуда тотъ рубль пришелъ и какъ составился? сколько въ немъ копѣекъ законнаго прибытка и сколько—грабежа? Съ одной стороны, не отрицая пользы, которая отъ такого чистосердечія произойти можетъ, позволяю себѣ возразить лишь то, что, по званію нашему, одно что-нибудь: или дѣла дѣлать, или отчеты отдавать. Ибо званіе наше на этотъ счетъ довольно-таки строго, такъ что если нужное для операцій время мы станемъ употреблять для чистосердечіевъ, то операціи запустимъ, а чистосердечіями никому удовольствія не предоставимъ.

„Второе, пишете Вы, ежели который человѣкъ свою собственность блюдетъ, тотъ долженъ и чужую наблюдать—то и сіе весьма пріятно. Но позвольте вамъ доложить: ежели я буду о собственности публики скорбѣть, то не послѣдуетъ ли отъ сего для меня изнуренія? а равнымъ образомъ не дастъ ли оно партикулярнымъ людямъ такой повадки, что мы, дескать, будемъ праздно время проводить, а Дерунову за всѣхъ насъ стараться станетъ? А награда—на небеси-съ?

„И еще замѣчаете Вы, что негоціанты, по роду своихъ занятіевъ, больше въ Кунавинѣ, нежели въ семействахъ своихъ время проводятъ, то и сіе справедливо. Думается, однакожъ, что ежели мы оный родъ занятій покинемъ, то какъ бы намъ, въ ожиданіи другихъ занятіевъ, и вовсе при одномъ Кунавинѣ не остаться.

„Что же касается наставленія Вашего, что необходимо первѣе всего отечество свое любить и въ пользу онаго жертвовать, то сіе безусловно вѣрно. И мы любить оное готовы, только не знаемъ какъ. Посему, ежелибы начальство насъ въ семъ смыслѣ руководило и прямо указывало, на какое полезное устройство жертвовать надлежитъ, то, мнится, великая бы отъ сего польза произошла.

„Съ истиннымъ почтеніемъ и таковою же преданностью имѣю честь быть и проч.

„*Іосифъ Дерунов*ъ".

„Милый cousin! Что такое ты написалъ, будто бы нынѣче мужчины больше въ Кунавинѣ, нежели въ семействахъ, время проводятъ? Что такое Кунавино? Я просила Филосѳя Ивановича мнѣ объяснить, но онъ говоритъ, что дамъ такихъ вещей знать не слѣдуетъ. Но отчего же? Объясни мнѣ, пожалуйста, потому что ежели я не буду

знать, то все стану бояться, что Филоѳей Иванычъ уйдетъ отъ меня въ Кунавино. И я останусь безъ него.

„Что касается до меня, то я очень счастлива. Одно только тревожитъ: денегъ мало. Сколько разъ хотѣла обратиться къ тебѣ, но Филоѳей Иванычъ, прочитавъ твою статью, говоритъ: „коль скоро братецъ объ собственности сталъ поговаривать, то врядъ-ли онъ склонность къ одолженіямъ сохранилъ“. А я такъ думаю, что совсѣмъ напротивъ... Cousin! милый! только тысячу франковъ... можно?

„Но какъ ты это хорошо сказалъ: „чужую собственность блюди, а свою—соблюдай!—именно, именно такъ! И откуда ты такія тонкія замѣчанія почерпаешь! Филоѳей Иванычъ прямо говоритъ: „еслибы все такъ было, какъ братецъ предположилъ, то ни мы, ни другіе ни въ чемъ бы не нуждались и у всѣхъ было бы всего довольно!“ Не правда ли... милый?

„A toi de coeur

„*Nathalie*“.

„Прекрасно. Собственность признаешь, семейство—пріемлешь, государство—чтишь! А о Святой Церкви и служителяхъ ея... позабылъ?

„*Іерей*“.

Я полагаю, этихъ образцовъ достаточно. Имѣя въ свою пользу столь безспорныя свидѣтельства симпатіи, я смѣло могу смотрѣть въ глаза будущему, не опасаясь даже загадочнаго присовокупленія насчетъ церкви и ея служителей, которымъ меня почтило лицо, скрывшее себя подъ псевдонимомъ „Іерей“.

Первое ноября.

Какъ ни страстно привязанъ я къ литературѣ, однако долженъ сознаться, что по временамъ эта привязанность подвергается очень рѣшительнымъ испытаніямъ.

Когда прекращается вѣра въ чудеса—тогда и самыя чудеса какъ бы умолкаютъ. Когда утрачивается вѣра въ животворящія свойства слова, то можно почти съ увѣренностью сказать, что и значеніе этого слова умалено до металла звенящаго.

И кажется, что именно до этого мы и дошли.

По старой, закоренѣлой привычкѣ я какъ-то невольно обращаюсь къ сороковымъ годамъ и тамъ отыскиваю примѣровъ для сравненій. Не потому, чтобы я былъ пристрастенъ къ этой эпохѣ, видѣвшей мою молодость (я слишкомъ часто говорилъ о слабыхъ ея сторонахъ, чтобы быть заподозрѣннымъ въ пристрастіи), а потому, что тогда, сдается мнѣ, во истину существовала вѣра въ чудеса. Правда, что она дѣйствовала въ сферѣ довольно ограниченной и не выходила изъ предѣловъ очень тѣснаго кружка, но мы, юноши того времени, мы, члены этого кружка, несомнѣнно ощущали на себѣ дѣйствіе этой вѣры. Мы пламенѣли, сгарали и чувствовали себя обновленными.

Я заранѣе готовъ согласиться, что воспитательное вліяніе литературы сороковыхъ годовъ было не особенно прочно, что оно почти не проникло въ жизнь, не создало въ послѣдней школы, богатой образцами. Я знаю, что бывшіе слушатели лекцій Грановскаго слишкомъ легко освобождались отъ университетскихъ преданій и почти незамѣтно превращались въ самыхъ заурядныхъ помѣщиковъ, въ чиновниковъ-формалистовъ и даже въ писцовъ-служителей крѣпостныхъ дѣлъ. Все это, съ практической точки зрѣнія, конечно, представляло результатъ довольно обидный: но если даже предположить, что вѣра, о которой я говорю, составляла исключительное достояніе одной литературы, то и это ужъ былъ хорошій залогъ.

И чиновники, и помѣщики, и крѣпостныя дѣла—все это преходитъ; таетъ яко воскъ и исчезаетъ яко дымъ. Одна литература—не преходитъ и не исчезаетъ, и это свойство непреходимости сообщаетъ ея свидѣтельству особенную неотразимость и непререкаемость.

Вѣра въ чудеса помогла литературѣ сороковыхъ годовъ отыскать извѣстные идеалы добра и истины, благодаря которымъ она не задохлась; она же создала тѣ человѣчныя преданія, ту честную брезгливость, которыя выдѣлили ее изъ общаго строя жизни и дали возможность выйти незапятнанною изъ-подъ ига всевозможныхъ давленій. Все это было настолько характеристично и плодотворно, что, по мнѣнію моему, въ этомъ одномъ можно безъ особой натяжки видѣть своего рода практическій результатъ (а именно въ практической безрезультатности преимущественно и обвиняютъ литературу сороковыхъ годовъ). Идеалы и преданія, о которыхъ идетъ рѣчь, не изгибли и теперь. Всѣ книги сороковыхъ годовъ полны ими, и желающіе возобновить ихъ въ своей памяти могутъ удовлетворить этому желанію очень легко, обратившись къ этимъ книгамъ. Конечно, идеалы эти для настоящаго времени нѣсколько устарѣли и представляются уже недостаточными; но ежели содержаніе идеаловъ и подлежитъ критикѣ, то отношеніе къ нимъ литературы и донынѣ остается въ высшей степени поучительнымъ. Это то страстно-убѣжденное отношеніе, которое даже въ мертвыя тѣла вливаетъ духъ живъ, который даже пустыню призываетъ къ жизни. Такъ что еслибы современные литературные дѣятели нѣсколько чаще справлялись съ кладбищемъ сороковыхъ годовъ, то нынѣшняя литература не только не проиграла бы отъ того, а, напротивъ, очень многое выиграла бы. По крайней мѣрѣ я совершенно искренно убѣжденъ, что холодная остервенѣлость, которая нынѣ является единственнымъ средствомъ для оживленія страницъ и столбцовъ и для возбужденія въ читателѣ вожделѣнія, исчезла бы сама собой и дала бы мѣсто стыду.

Но, кромѣ этого практическаго результата, былъ и другой, не столь рѣшительный, но за то болѣе непосредственный. Несмотря на свою изолированность, несмотря на полное отсутствіе воинствующихъ элементовъ, литература сороковыхъ годовъ, въ сущности, не оставалась безъ вліянія и на большинство тогдашней интеллигенціи. Какъ ни испорчены и ни себялюбивы были представители этой интеллигенціи, но въ молодыхъ ея отпрыскахъ уже можно было подмѣтить нѣкоторыя несомнѣнныя пробужденія, замѣчательныя по своей мучительной искренности. Создался особенный типъ „лишнихъ“ людей, не только скептически относившихся къ своей внутренней цѣльности, но и положительно изнемогавшихъ подъ игомъ двоегласія, источни-

комъ котораго была съ одной стороны литература, а съ другой—жизнь. Этотъ типъ былъ въ свое время очень усердно разрабатываемъ литературой, но онъ не былъ *выдуманъ* ею, а прямо выхваченъ изъ жизни. Правда, что отъ этихъ изнеможеній и самобичеваній практически не было никому ни тепло, ни холодно, и что, въ большинствѣ случаевъ, они были скоропреходящими, но сами по себѣ люди, страдавшіе двоегласіемъ, все-таки представляли извѣстную долю симпатичности. Сравните эти страданія внутренняго двоегласія съ несомнѣвающеюся цѣлостностью современныхъ проворныхъ людей, которые, съ хладной нѣной у рта, даже любовь къ отечеству готовы эксплуатировать въ пользу продажи расиивочно и на-вынось—и вы почувствуете, что ежели не особенно лестно было жить въ обществѣ людей, прямо называвшихъ себя „лишними“, то все-таки не такъ несомнѣнно мерзко, какъ жить въ обществѣ людей, для которыхъ все уже до того наскудно-ясно, что представленіе о рублѣ, въ смыслѣ привлекательности, уступаетъ лишь представленію о таковыхъ же двухъ, а если больше, то, разумѣется, и того лучше.

А наконецъ былъ и еще практическій результатъ, который и до сихъ поръ говоритъ самъ за себя: идеалы сороковыхъ годовъ несомнѣнно послужили подспорьемъ при разрѣшеніи крестьянскаго вопроса и осуществленіи прочихъ реформъ шестидесятыхъ годовъ.

Словомъ сказать, литература сороковыхъ годовъ уже тѣмъ однимъ оставила по себѣ неизгладимую память, что она была литературой серьезно убѣжденной. Не зная никакихъ свободъ, ежечасно изнемогая на прокустовомъ ложѣ всевозможныхъ укорачиваній, она не отказывалась отъ своихъ идеаловъ, не предавала ихъ и не говорила себѣ въ утѣшеніе: живъ курилка, не умеръ! Ибо „курилка“, собственно говоря, даже живъ не былъ, а только едва-едва тлѣлся.

Какимъ образомъ случилось, что убѣжденность исчезла, что влеченіе къ идеаламъ сгинуло, что традиція литературной брезгливости оборвалась и осталось только одно радованіе о томъ, что курилка не умеръ—это объяснить нелегко. Почему-то мы проглядѣли этотъ переходъ, проглядѣли сами не знаемъ какъ: не то за дѣйствительнымъ расширеніемъ задачъ, не то за напливомъ безчисленныхъ пустяковъ. Достовѣрно одно: что литература во истину получила доступъ къ практической жизни, и что это дѣйствительно и въ значительной мѣрѣ осво-

бодило ее отъ той тяжелой изолированности, которая искони несноснымъ кошмаромъ тяготѣла надъ ней.

Это было явленіе совершенно новое, и такъ какъ литература устремилась къ нему съ пылкостью, то многіе думаютъ, что именно это общеніе съ низменностями жизни и повліяло на нее развращающимъ образомъ. Что касается до меня, то я не только не согласенъ съ этимъ толкованіемъ, но даже положительно утверждаю, что оно свидѣтельствуетъ о совершенномъ незнаніи истинныхъ задачъ литературы. Изолированность, конечно, имѣетъ свою красивую, а отчасти и полезную сторону, потому что она ставитъ литературу въ положеніе жены цезаря, которой не должно касаться даже подозрѣніе въ податливости, но было бы въ высшей степени неестественно и даже оскорбительно, еслибъ эта же самая изолированность сдѣлалась безсрочною и составила бы окончательную цѣль существованія литературы. Изолированность есть все-таки не болѣе какъ безмолвный отвѣтъ плѣннаго заложника, не могущаго ничѣмъ инымъ протестовать противъ глумленій торжествующей современности; понятно, что литература не могла считать этотъ удѣлъ для себя ни завиднымъ, ни желательнымъ. Отчуждая себя отъ жизни, она только обрекла себя, такъ сказать, на зимнюю спячку, но при этомъ отнюдь не теряла изъ виду, что при первыхъ лучахъ весенняго солнца она несомнѣнно пробудится для бодрствованія. И вотъ эти лучи показались, а вмѣстѣ съ ними пришло и общеніе съ жизнью. Это общеніе всегда было и всегда будетъ цѣлью всѣхъ стремленій литературы; оно одно можетъ вывести ее изъ оцѣпенѣлости; оно одно дастъ ей возможность перейти изъ области страдательной брезгливости въ область воздѣйствія и осуществленія тѣхъ воспитательныхъ цѣлей, которыя составляютъ основной смыслъ ея существованія. Общеніе не могло ни умалить ея идеалы, ни тѣмъ менѣе упразднить ихъ. Совсѣмъ напротивъ. Какъ бы ни были низменны интересы современности, литературные идеалы уже по тому одному не могутъ пострадать отъ прикосновенія къ нимъ, что интересы эти все-таки принадлежатъ тому униженному и оскорбленному человѣчеству, нравственное оздоровленіе котораго составляетъ благороднѣйшую мечту благороднѣйшихъ умовъ. Однимъ словомъ, въ этихъ низменностяхъ идеалы литературы (хотя бы даже и отрицательнымъ путемъ) могутъ найти для себя лишь поправку, опору и развитіе, но никакъ не смерть.

А между тѣмъ мнѣніе, что идеалы попатнулись и вѣра въ чудеса упразднилась, все-таки остается истиною. Но причину этого явленія слѣдуетъ искать совсѣмъ не въ общеніи литературы съ жизнью, а скорѣе въ тѣхъ черезъ-чуръ своеобразныхъ формахъ, въ которыхъ осуществилось это общеніе.

На дѣлѣ какъ-то совершенно неожиданно вышло, что жизнь поступилась литературѣ не существенными своими интересами, не тѣмъ внутреннимъ содержаніемъ, которое составляетъ источникъ ея радостей и горестей, а только безчисленной массой пустяковъ. И въ то же время сдѣлалось яснымъ, что старинный афоризмъ: „не твое дѣло“, настолько заматерѣлъ и въѣлся во всѣ закоулки жизни, что слабымъ рукамъ оказалось совершенно не подъ силу бороться съ нимъ. И такимъ образомъ, въ концѣ концовъ, оказалось, что литература искала общенія съ жизнью, а обрѣла общеніе съ пустяками—какая неожиданность можетъ быть горчѣе и чувствительнѣе этой?

Нашлись, разумѣется, личности, которыхъ такой оборотъ повергъ въ уныніе, но большинство литературы примирилось съ нимъ. Съ пустяками живется вольнѣе и безопаснѣе, да и разсуждать о пустякахъ легче: не нужно ни задумываться надъ работой, ни подготовляться къ ней. Пустяки быстро навертываются и столь же быстро отскакиваютъ, не оставляя по себѣ никакихъ „сердца горестныхъ замѣтъ“. Сверхъ того, пишущему о пустякахъ всегда кажется, что онъ находится въ центрѣ если не настоящаго дѣла, то по крайней мѣрѣ той неусыпающей дѣловой сутолоки, которую очень легко искусственно взбодрить и подъ флагомъ благонамѣренности выдать, пожалуй, и за настоящее дѣло. Словомъ сказать, литературный трудъ настолько же облегчился, насколько упростились и самыя задачи литературы, и благодаря этому число желающихъ окунуться въ море пустяковъ съ каждымъ часомъ умножается и ростетъ. Удивительно ли поэтому, что, имѣя такихъ проворныхъ дѣятелей, литература и сама до того всецѣло проникласъ пустяками, что въ случаѣ оскудѣнія пустяковъ реальныхъ она ни мало не стѣсняется этимъ, но творитъ свои собственные, самостоятельные пустяки.

Какъ бы то ни было, но пришлось убѣдиться, что спастись отъ пустяковъ уже по тому одному невозможно, что литература сама сдѣлала для себя немыслимымъ возвратъ къ прежней брезгливой изолированности. Съ одной стороны изолированность пріобрѣла какой-то

неблагонамѣренно-подозрительный характеръ, съ другой—школа юрскихъ практикантовъ какъ-то чрезвычайно быстро создала совѣмъ новую публику, которая, въ свою очередь, ничего не хочетъ знать, кромѣ пустяковъ. Однимъ словомъ, и литература, и публика такъ удачно сиѣлись, что обѣ въ самый короткій срокъ уподобились той низменной адвокатурѣ, которая подстерегаетъ пропущенные сроки и несоблюденныя формальности, подстерегаетъ противныя стороны внезапными закорючками и въ этомъ усматриваетъ осуществленіе правды и справедливости.

Итакъ, убѣжденность оказывается подозрительною, вѣра въ чудеса — ненужною и смѣшною, а между тѣмъ литературное ремесло все еще продолжаетъ быть обязательнымъ. Это тоже своего рода двоегласіе, и на этотъ разъ пепмѣющее ни тѣни барской привередливости, а прямо безнадежное, мрачное.

Я назвалъ литературное ремесло обязательнымъ, не потому единственно, что оно представляетъ наилучшее орудіе для служенія общественнымъ интересамъ, но также и потому, что оно, сверхъ того, даетъ извѣстное матеріальное обезпеченіе.

Какимъ образомъ человѣкъ становится литераторомъ, въ какой мѣрѣ въ этой метаморфозѣ играетъ роль призваніе и дѣйствительная талантливость и въ какой простая случайность?—это вопросъ, который я разрѣшить не берусь. Да и не въ немъ дѣло, а въ томъ, что разъ человѣкъ занялъ мѣсто въ литературныхъ кадрахъ, онъ силою вещей останется навсегда прикованнымъ къ этому мѣсту.

Во-первыхъ, никакой трудъ такъ не привлекателенъ, какъ трудъ умственный. Конечно, бываютъ историческіе моменты, когда умственный трудъ не въ особенномъ авантажѣ обрѣтается, но вѣдь въ такіе моменты и весь вообще жизненный уровень сводится къ нулю. Стало быть, называться литераторомъ все-таки лестнѣе, нежели слыть партикулярнымъ шлющимся человѣкомъ. Во-вторыхъ, занятіе литературой создаетъ извѣстныя привычки, предполагаетъ излюбленныя связи и даже спеціальную обстановку, которую нарушить не только трудно, но и мучительно. Въ-третьихъ, даже разработка пустяковъ представляетъ довольно сложный процессъ, въ которомъ имѣются свои отправные пункты, а слѣдовательно предполагаются и выводы. И человѣкъ, предпринявшій этотъ процессъ, непремѣнно увлечется имъ настолько, что будетъ дробить и множить свои пустяки до безкопеч-

ности, и все-таки ему будетъ казаться, что онъ не все еще вычерналъ, а вотъ ужо такую глыбу выкатитъ, которая всѣ доселѣ извѣстные пустяки въ ничто обратитъ. А въ-четвертыхъ, повторяю: не послѣднее значеніе имѣетъ въ этомъ случаѣ и матеріальный вопросъ...

Такимъ образомъ дни проходятъ за днями, а литераторъ все остается прикованнымъ къ своему посту.

Онъ остается тутъ, хотя убѣжденность представляется подозрительной и вѣра въ чудеса—смѣшною. Но въ такомъ случаѣ во имя чего же и зачѣмъ онъ, вѣрующій въ чудеса, продолжаетъ держаться и дѣйствовать въ этомъ странномъ помѣщеніи, гдѣ нѣтъ ни убѣжденности, ни чудесъ?

Пустяки—противны; общіе принципы—недоступны. Или, виноватъ: послѣдніе, пожалуй, по временамъ и прорываются, но окутанные такою непроницаемою сѣтью безчисленныхъ околичностей, которыя самое ремесло проведенія принциповъ дѣлаютъ почти безнравственнымъ.

Во имя чего же? Зачѣмъ?

Ужели только во имя того и затѣмъ, чтобы ѣсть хлѣбъ и въ то же время защитить свою шкуру? и чтобы имѣть легкомысленное удовольствіе сказать: живъ курилка, не умеръ?

Но вѣдь это-то именно и омерзительно.

Годъ приходитъ къ концу, страшный годъ, который неизгладимыми чертами врѣзался въ сердце каждаго русскаго. Даже въ худшія эпохи ничего подобнаго этому злосчастному году лѣтописи русской жизни едва-ли представляли.

Вмѣстѣ съ тѣмъ кончаются и мои періодическія бесѣды съ читателями. Въ первоначальномъ намѣреніи бесѣды эти должны были отражать въ себѣ злобу дня и въ то же время служить поводомъ для воспроизведенія нѣкоторыхъ типовъ, которые казались мнѣ небезынтересными. Я долженъ, однакожъ, сознаться, что ни того, ни другого я не выполнилъ.

Въ моихъ литературныхъ работахъ юмористическій элементъ является преобладающимъ; но послѣ такихъ дней, какъ 2-е апрѣля и 19-е ноября, право, не до юмора. Поэтому многое въ моихъ бесѣдахъ оказалось невыясненнымъ, прерваннымъ и даже прямо недоконченнымъ. Мнѣ казалось, напримѣръ, что не только любопытно, но даже

и необходимо поставить читателя лицомъ къ лицу съ такими типами, какъ Ѳеденька Неугодовъ или Сашенька Непарочный, которые, каждый съ своей точки зрѣнія, претендуютъ на осѣдланіе отечества; сверхъ того мнѣ сдавалось, что и самое изображеніе процесса „осѣдланія“ можетъ быть небезполезно; но какая же возможность выполнить подобныя задачи, въ виду такого угнетеннаго настроенія, въ которомъ находится общество? Литературное занятіе, какъ бы скромно ни было его значеніе, прежде всего требуетъ спокойствія и нѣкоторой увѣренности въ томъ, что оно не стоитъ въ разрѣзъ съ вѣяніями минуты; но ни этого спокойствія, ни этой увѣренности я не имѣлъ. А потому и для меня самого въ значительной мѣрѣ утратилась ясность тѣхъ типовъ и представленій, которые первоначально казались совершенно опредѣленными. Тамъ, гдѣ надо было говорить безъ умолчаній, я ограничивался намеками; тамъ, гдѣ надо было прибѣгнуть къ дѣйствительному изслѣдованію, я просто-на-просто обходилъ.

Я не скажу даже, что въ этомъ случаѣ главную роль играло внѣшнее давленіе. Конечно, не было недостатка и въ немъ, но главнымъ образомъ все-таки дѣйствовала общая внутренняя пригнетенность, которая пришла какъ-то сама собой. Не я одинъ признавалъ себя пригнетеннымъ, но всякій, въ комъ злоба дня не до конца притупила способность мыслить. И, разумѣется, въ томъ числѣ сознавала себя пригнетенною и литература.

Я знаю, что въ этомъ общемъ хорѣ унынія, почти граничащаго съ безнадежностью, раздавались и другого рода голоса, звонкіе, увѣренные, даже какъ бы почти торжествующіе, но, признаюсь откровенно, эта звонкость не только не прибодряла меня, но даже почему-то казалась зазорною. Есть явленія, которыя до такой степени захватываютъ общество въ его настоящемъ и будущемъ, что передъ ними должно умолкнуть самое звонкое пустословіе. Если же оно не только не умолкаетъ, но тутъ-то именно и выпускаетъ цѣлыя массы безсодержательнѣйшей канители, то изъ этого вовсе не слѣдуетъ, чтобы это былъ примѣръ, достойный подражанія. Напротивъ того, я совершенно искренно убѣжденъ, что это канитель не только безсодержательная, но и прямо зловредная.

Люди наивные, искренніе, выражающіе свои чувства въ мѣрѣ своего пониманія и развитія, несомнѣнно всегда заслуживаютъ уваженія. Въ этомъ случаѣ формы не играютъ никакой роли, и критика не

имѣетъ права не только оцѣнивать ихъ, но даже просто прикасаться къ нимъ. Они наивно-правдивы — вотъ все, что̀ можно объ нихъ сказать. Но ужасно, когда овечій образъ принимаютъ на себя сущіе волки, и когда эти волки, подъ формами звонкаго пустословія, желаютъ прикрыть не только личное безсиліе и безсердечіе, но и всевозможныя корыстныя и низменныя цѣли, которыя заграждаютъ передъ ихъ глазами свѣтъ божій. Вотъ этихъ-то волковъ въ овечьей шкурѣ развелось въ послѣднее время такъ много, что начинаетъ уже рождаться сомнѣніе, не заполонятъ ли они литературную ниву въ конецъ.

Я не буду здѣсь приводить примѣровъ—Богъ съ ними! не до примѣровъ теперь!—но скажу прямо, что иногда дѣлается ужасно неловко. Читаешь и думаешь: ужели это тѣ самыя буквы, тѣ самыя слова, употребленіе которыхъ до сихъ поръ казалось вполнѣ естественнымъ?

Поэтому, когда я на дняхъ прочиталъ въ одномъ журналѣ, что унылый тонъ, господствующій въ современной русской литературѣ. доказываетъ, что литература эта не стоитъ на высотѣ своего призванія, ибо ей надлежитъ ободрять общество, а не вливать въ него ядъ меланхоліи, то, признаюсь, крайне былъ удивленъ. Неужто уныніе такъ легко превращается въ бодрость и наоборотъ, что стоитъ только пожелать—и все пойдетъ какъ по маслу? Неужто не существуетъ болѣе глубокихъ причинъ, которыя въ извѣстныхъ случаяхъ уныніе—а въ другихъ надежду и бодрость—дѣлаютъ явленіемъ не только понятнымъ, но почти обязательнымъ?

Я по крайней мѣрѣ думаю, что такія причины существуютъ, и что покуда онѣ состоятъ на-лицо, никакія простодушныя подбадриванія не произведутъ желаемаго дѣйствія. Помилуйте, если ужъ инсинуаціи и устрашенія не помогаютъ, то какую же силу можетъ имѣть простой дружескій совѣтъ! Правда, что въ провинціальныхъ театрахъ (особливо въ тѣхъ, которые побѣднѣе персоналомъ) и донынѣ существуетъ обычай, въ силу котораго одинъ и тотъ же актеръ сначала является въ роли перваго трагика, а потомъ, вслѣдъ за симъ, въ роли перваго комика. И совершается эта метаморфоза очень просто: трагикъ надѣваетъ бланжевый парикъ и голубые штаны—этого совершенно достаточно, чтобъ невзыскательная публика прыснула со смѣху. Но въ литературѣ подобныя метаморфозы едва-ли мыслимы.

Первое декабря.

(«Вечерокъ».)

...По временамъ мы, однакожъ, собираемся, а иногда даже и бесѣдуемъ. Впрочемъ безъ ясной программы и безъ одушевленія, а такъ... словно привычный обрядъ соблюдаемъ.

Прежде, бывало, мы потому собирались, что потребность въ разрѣшеніи „вопросовъ“ чувствовали. Много было тогда вопросовъ, хотя должно сознаться, что бо́льшая часть ихъ обязана была своимъ происхожденіемъ не столько дѣйствительности, сколько самостоятельному нашему творчеству. Какъ бы то ни было, но вопросы эти занимали насъ, и ни мы, ни люди, читавшіе въ сердцахъ нашихъ, не находили ничего въ томъ предосудительнаго. Предполагалось, что таково ужъ свойство человѣческой природы вообще: интересоваться болѣе или менѣе широкими обобщеніями—вотъ и все. И мы слѣдовали этому указанію человѣческаго естества, то-есть обобщали, спорили, обсуждали и даже горячились.

Возьмемъ, напримѣръ, вопросъ о „подоплёкѣ“—по нынѣшнему времени это чѣмъ пахнетъ? А прежде мы не справлялись, чѣмъ пахнетъ, а прямо приступали. Плѣшивцевъ доказывалъ, что только тотъ народъ можетъ благополучнымъ себя почитать, который подоплёку свою въ чистотѣ сохранилъ; напротивъ того, Тебеньковъ утверждалъ, что подоплёка только путаетъ. Отсюда споръ, пререканія и даже вражда. Вмѣшается въ эту распрю Положиловъ и спроситъ: „а въ самомъ дѣлѣ, господа, что̀ такое подоплёка?“—на что Глумовъ немедленно отвѣтитъ: „распивочно и на-вынось“. И всѣ разсмѣются, ибо знаютъ, что никакого взысканія за это не будетъ.

Или вопросъ о томъ: кто больше заслужилъ, Москва или Петербургъ? Или еще: на какой предметъ родится человѣкъ—для того ли, чтобы быть счастливымъ, или для того, чтобы лить слезы? А? чѣмъ это, по нынѣшнему времени, пахнетъ?

А мы обо всемъ разговаривали безбоязненно и даже фаланстеровъ не чуждались. Знали, что фаланстеровъ намъ, конечно, не дадутъ, но въ то же время вѣрили, что и телятъ Макаровыхъ пасти не предоставятъ... За что? Вѣдь все это „человѣческое“, а „человѣческимъ“, какъ извѣстно, грады и веси цвѣтутъ...

И Поликсена Ивановна (жена Положилова), бывало, тутъ же сидитъ, слушаетъ и не нарадуется на насъ. И тоже, навѣрное, знаетъ, что фаланстеровъ намъ не дадутъ.

Нынче, повторяю, мы собираемся единственно какъ бы выполняя заведенный обрядъ. О „вопросахъ“—не поминаемъ, а „разрѣшеніи“—даже опасаемся. Боимся, чтобы въ газетахъ какъ-нибудь не прослышали, что вотъ-дескать такъ и такъ, отечество въ печали находится, а на такой-то улицѣ, нумеръ дома такой-то—„подоплёку“ опредѣляютъ... Поэтому бесѣды наши имѣютъ характеръ угнетенный, отрывочный, какъ это всегда бываетъ съ людьми, которые совсѣмъ о другомъ думаютъ и только ради приличія языкомъ шевелятъ. Одна мысль явственно давитъ всѣхъ: ужели дѣйствительность, средп которой мы живемъ, есть дѣйствительность конкретная, а не кошмаръ? Но развѣ это мысль?—Нѣтъ, это не мысль, а только удлиненное, въ согласность съ требованіями времени, междометіе. А Поликсена Ивановна слушаетъ это тысячекратно-повторяемое междометіе, и не радуется, а безпокоится, какъ бы изъ-за этого чего не вышло.

Итакъ, мы собираемся. „Мы“, то-есть старики, видавшіе виды. Всякіе виды мы видѣли, а такихъ, какъ нынче, не видали. Поэтому весьма натурально, что въ недоумѣніи мы спрашиваемъ себя: неужто-жъ и еще виды будутъ? И въ ожиданіи отвѣта чувствуемъ, какъ мало-по-малу въ насъ упраздняется способность къ построенію силлогизмовъ. Еще чуточку—пожалуй, упраздпится и самый даръ слова.

Да, была уже рѣчь и объ этомъ. На дняхъ собрались мы, по обычаю, вечеромъ у Положилова (Положиловъ—солидный чиновникъ, но все еще крѣпится, не чуждается насъ, бывшихъ школьныхъ товарищей, а нынѣ вольнаго поведенія людей), и вдругъ кому-то вздумалось:

— А что, господа, даръ слова, напримѣръ... Дѣйствительно ли это драгоцѣннѣйшій даръ природы, какъ въ старинныхъ сказкахъ сказывали, или такъ только, каверза, допущенная въ видахъ удобнѣйшаго подслуживанія человѣковъ?

И никто не удивился, что подобный вопросъ могъ быть предложенъ. Напротивъ, всѣ какъ будто оживились, и сейчасъ же рѣшили, что, по нынѣшнему времени, гораздо удобнѣе мычать, нежели вмѣстѣ съ вѣщимъ Баяномъ „низымъ орломъ шпрять подъ облаки“.

— Вчера я новокупленнаго быка въ деревню отправлялъ,—ска-

залъ Положиловъ:—такъ это нельзя себѣ представить, какъ онъ пріятно мычалъ. Со всего околотка дворники сбѣжались, слушали и хвалили!

— А мы вотъ не можемъ мычать!—грустно отозвался Тебеньковъ.—Говорить должны.

— Оттого никто насъ и не хвалитъ,—еще безнадежнѣе молвилъ Глумовъ.

Поликсена Ивановна слушала этотъ разговоръ и нѣкоторое время, кажется, даже радовалась, что мысли наши принимаютъ благопотребное, по обстоятельствамъ, направленіе; но, немного погодя, спохватилась и даже тутъ усмотрѣла какую-то „политическую подкладку“. Пошла на цыпочкахъ за дверь, глянула, нѣтъ ли кого въ сосѣдней комнатѣ, и, разумѣется, сейчасъ же ей показалось, что тамъ вдругъ кто-то „шмыгнулъ“ (должно быть, репортеръ изъ „Красы Демидрона“). Однимъ словомъ, возвратилась къ намъ разстроенная и немедленно же дала мужу головомойку.

— Ужъ когда-нибудь ты дошутишься, Павелъ Ермолаичъ!—сказала она:—нельзя такъ, мой другъ! Нельзя утромъ въ департаментъ ходить, а вечеромъ языкомъ чесать!

— Помилуй, голубушка!—оправдывался Положиловъ:—при чемъ тутъ „языкъ“? Я отъ всего сердца, а ты...

— Шути, мой другъ, шути! А вотъ когда-нибудь Филиппъ (служитель у Положиловыхъ)... Самъ говоришь, что онъ „репортеромъ“ при „Красѣ Демидрона“ состоитъ, а между тѣмъ... Ну, я готова голову на отсѣченіе отдать, ежели это не онъ сейчасъ въ гостиной шмыгнулъ!

И вдругъ всѣ мы, словно сговорившись, воскликнули:

— Господи! да неужто-жъ это не кошмаръ!

Минутъ съ пять послѣ этого мы молчали, а можетъ быть и совсѣмъ, съ Божьею помощью, лишились бы дара слова, еслибъ Глумовъ не напомнилъ, что какова пора ни мѣра, а даръ сей, пожалуй, еще службу сослужить можетъ. Не скоро, конечно, а послѣ дождичка въ четвергъ...

— Нужно сказать правду,—вывелъ онъ насъ изъ оцѣпенѣнія:—что жизнь животныхъ вообще...Я говорю безъ примѣненій, господа! Поликсена Ивановна! прошу васъ, не тревожьтесь!.. Ну-съ, такъ. говоря вообще, жизнь животныхъ представляетъ нѣкоторыя несомнѣни-

ныя преимущества, которымъ человѣкъ непремѣнно долженъ былъ бы завидовать, еслибъ продерзостно не мнилъ себя царемъ природы. Не говоря уже о безпечности, о блаженной непредусмотрительности, о постоянно ровномъ расположеніи духа—какія драгоцѣнныя гарантіи представляетъ одна такъ-называемая политическая благопадежность! Возьмемъ, напримѣръ, хоть новокупленнаго Положиловскаго быка. Я совершенно убѣжденъ, что въ настоящую минуту онъ мычитъ себѣ полегоньку, и даже „Вѣстникъ Общественныхъ Язвъ“ ни въ чемъ его не подозрѣваетъ. И горюшка ему мало, шмыгнулъ или не шмыгнулъ „репортеръ“ въ сосѣднемъ стойлѣ. Стоитъ онъ и жвачку жуетъ, а надоѣстъ стоять—ляжетъ: такъ въ собственный навозъ и ляжетъ, какъ редакторъ какой-нибудь „Красы Демидрона“—въ собственную газету. Не нужно ему ни полемику вести, ни приносить оправданія, ни раскаиваться, ни даже въ одиночку трепетать! Весь онъ, всѣмъ существомъ своимъ, такъ сказать, свидѣтельствуетъ...

— Глумовъ! да перестаньте вы, ради Христа! — взмолилась Поликсена Ивановна.

Глумовъ умолкъ; мы же вновь, словно сговорившись, возопили:

— Господи! да неужто-жъ это не кошмаръ!

Но, немного погодя, даръ слова обуялъ Тебенькова.

— Позвольте, господа!—сказалъ онъ:—я нахожу, что Глумовъ только отчасти правъ. Нѣтъ спора, что участь быковъ блаженна, однакожъ и они, какъ о томъ свидѣтельствуется во всѣхъ курсахъ зоологіи, въ виду извѣстныхъ пертурбацій природы, имѣютъ свойство выражать безпокойство и даже страхъ. А именно, въ Лиссабонѣ...

— Ахъ, господа, господа!—и т. д.

Словомъ сказать, вопросу о быкѣ и его свойствахъ такъ и не суждено было пройти сквозь горнило всесторонняго обсужденія. Наступило настоящее, серьезное молчаніе, такое молчаніе, о которомъ принято говорить: „дуракъ родился!“ такъ что нѣкоторое время только и слышно было, какъ Плѣшивцевъ дуетъ блюдечко съ чаемъ, а Глумовъ грызетъ баранки. Какъ вдругъ въ комнату, словно буря, влетѣлъ десятилѣтній первенецъ Положиловыхъ, Ваня, и крикнулъ:

— Господи! да неужто-жъ...

Это было такъ неожиданно и въ то же время до того совпало съ настроеніемъ минуты, что мы не выдержали и расхохотались. Мальчикъ остановился и изумленными глазами оглянулъ насъ.

— Что тебѣ? объ чемъ ты, голубчикъ? — обратилась къ нему Поликсена Ивановна.

Но мальчикъ ужъ заупрямился, и только послѣ долгихъ разспросовъ и удостовѣреній, что „дяденьки“ смѣются совсѣмъ не надъ нимъ, а сами надъ собой, открылся, что вопросъ его заключался въ томъ: неужто-жъ и завтра, и послѣ-завтра, и послѣ-послѣ-завтра— каждый день все греческія склоненія будутъ?

— По обстоятельствамъ нынѣшняго времени...—началъ-было объяснять Тебеньковъ, но Поликсена Ивановна такъ строго взглянула на него, что я невольно уподобилъ ее рокочущей львицѣ, у которой замыслили отнять ея дѣтеныша.

— Другъ мой!—сказала она Ванѣ:—никогда не позволяй себѣ роптать! Добрый мальчикъ долженъ безпрекословно выполнять то, чего требуютъ наставники, а не жаловаться на судьбу. Теперь, быть можетъ, тебѣ и трудненько кажется, но за то въ будущемъ какъ отрадно...

Она не докончила, утерла Ванѣ носикъ и, подавая ему бубликъ, присовокупила:

— На, кушай, Христосъ съ тобой! А такъ какъ ты у меня маймальчикъ и навѣрное ужъ приготовилъ къ завтрему уроки, то скажи Аринушкѣ, что бай-бай пора.

Эпизодъ съ Ваней на этомъ и кончился, но однажды потревоженная „каверза“ (даръ слова) уже не унималась. И я первый ощутилъ на себѣ живучесть ея.

— Получилъ я на дняхъ письмо отъ одного пріятеля.—сказалъ я.—Пишетъ: прочиталъ я твое „Монрепо“, и, воля твоя, куда какъ не понравился мнѣ тонъ этой книги! Уныніе, говоритъ, какое-то разлито; а, говоря по совѣсти, что же такое уныніе, какъ не рабская покорность судьбѣ, осложненная рабскимъ же казаніемъ кукиша въ карманѣ? И въ газетахъ, говоритъ, тебя за это упрекаютъ, и, по мнѣнію моему, правильно. Потому что, по нынѣшнему времени, больше нежели когда-либо требуется не уныніе, а дерзновеніе. „Молодцомъ надо быть, мой другъ, молодцомъ!“

— Такъ онъ бы за собственный свой счетъ и молодечествовалъ! —подсказалъ мнѣ Плѣшивцевъ.

— Такъ-было и хотѣлъ я ему сгоряча отвѣтить; но потомъ разсудилъ, и стыдно сдѣлалось. Какъ это, думаю, съ больной головы на

здоровую сваливать? Вѣдь онъ, пожалуй, отвѣтитъ: я, другъ сердечный, дерзать не обязывался, а ты не токмо обязывался, но даже жить, такъ сказать, съ этого началъ. Все, скажетъ, дерзалъ да дерзалъ, и вдругъ, въ самую нужную минуту: не хочетъ ли кто за меня подерзать?

— Жестоко, но справедливо,—похвалилъ Глумовъ.—Какъ же ты думаешь поступить? Полагаешь ли продерзостно объявить походъ, или за безопаснѣйшее сочтешь и впредь въ уныніи пребывать?

— То-то и есть, что самъ не знаю. Понимать-то и я хорошо понимаю, что большой заслуги въ уныніи нѣтъ, да что жъ будешь дѣлать, коль скоро уныніе, одно уныніе такъ на тебя и плыветъ, такъ и давитъ тебя!

— А коли давитъ, такъ совсѣмъ, значитъ, замолчи!

— Думалъ я и такъ, да, во-первыхъ, привычка... А во-вторыхъ, ежели замолчать—что же изъ этого выйдетъ? однимъ молчаніемъ больше—только и всего.

— И это... жестоко, но справедливо!

— Да и въ-третьихъ,—откликнулся Положиловъ:—какъ еще на молчаніе-то посмотрѣть! все говорилъ да говорилъ, и вдругъ—молчокъ! съ какою цѣлью? почему?

— Гм... да! и это, братъ... тоже—статья въ своемъ родѣ!—согласился Плѣшивцевъ.

— Ну, такъ, стало быть, дерзай!—посовѣтовалъ Глумовъ:—перекрестись и дерзай!

— Да вѣдь и дерзать... какъ тутъ дерзнешь?—оправдывался я.—Вопросы-то ныньче какъ-то ребромъ встали... ужасно непріятные, назойливые вопросы! А кромѣ того и еще: около каждаго вопроса пристроились газетные церберы. Такъ и лаютъ-надрываются, такъ и скачутъ на цѣпи! Положимъ, что укуситъ онъ и не больно, а ну какъ онъ—бѣшеный!

— И даже почти навѣрное,—подтвердилъ Тебеньковъ.

— Не почти, а просто навѣрное,—усугубилъ Глумовъ.

— Такимъ-то родомъ я и раздумываю... Съ одной стороны несомнѣнно, что вопросы ребромъ встали, а съ другой стороны какъ будто и совсѣмъ ихъ нѣтъ. Встали ребромъ, да куда-то и пропали за предѣлы компетентности. Или, яснѣе сказать, есть вопросы, да мы-то не компетентны оказались, чтобы судить объ нихъ.

— Да, да. Вотъ какъ теперь: собрались мы здѣсь. а говорить намъ не́ объ чемъ. Унывать приходится.

— Ну, братъ, о подоплёкѣ-то и теперь...—возразилъ-было Тебеньковъ.

— Нѣтъ, и о подоплёкѣ... Смотря по тому, какая подоплёка и въ какое время.

— Вы, господа, съ подоплёкой не шутите! По нынѣшнему— вѣдь это красный фантомъ!

— Жестоко, но... справедливо!

— Да нѣтъ, что̀ подоплёка! до подоплёки ли ужъ!—продолжалъ я.—Возьмемъ самый несложный и, по обстоятельствамъ, даже самый естественный вопросъ... напримѣръ, хоть о пользѣ содержанія козла въ огородѣ... Сколько въ былое время передовиковъ на этомъ вопросѣ репутацію себѣ сдѣлали! А нынче попробуй-ка его со всѣхъ сторонъ разсмотрѣть—анъ вдругъ изъ всѣхъ литературно-ретроградныхъ мѣстъ полемическій залпъ! Козелъ! что̀ такое „козелъ“? Огородъ! что̀ такое „огородъ“? съ какой стати вдругъ объ „огородѣ“ рѣчь заведена? что̀ симъ достигается? и въ скольких смыслахъ надлежитъ „оное“ понимать?

Сознаюсь, это было нѣсколько преувеличено, и Тебеньковъ не преминулъ мнѣ это высказать; однако Положиловъ вступился за меня и, въ подтвержденіе моей правоты, даже привелъ фактъ.

— Я одного ученаго знаю,—сказалъ онъ:—тридцать лѣтъ сряду пишетъ онъ изслѣдованіе о „Бабѣ-Ягѣ“, и наконецъ на дняхъ кончилъ. И чтожъ! Спрашиваю я его: скоро ли. молъ, къ печатанію приступите? „Помилуйте! говоритъ, развѣ, по нынѣшнему времени. можно?“

— Ахъ! это... ужасно!

И мы даже съ мѣстъ повскакали, простирая руки къ небу и вопія:

— Господи! да неужто-жъ это не кошмаръ!

— А мнѣ такъ кажется, что вы именно преувеличиваете. господа!—рѣшила послѣ короткой паузы Поликсена Ивановна:—какая же это спеціальность—унывать! По моему, такъ и теперь можно прожить, и даже очень прекрасно прожить. Кто захочетъ, тотъ всегда для себя подходящее дѣло отыщетъ.

Но какъ-то никто не откликнулся на это замѣчаніе, а Глумовъ

даже явно отнесся къ нему съ пренебреженіемъ, то-есть махнулъ рукой и сказалъ:

— Да, взяли-таки волю наши ретрадники...

Но тутъ разыгрался у насъ „эпизодъ“. Поликсена Ивановна не то чтобы прямо огорчилась невниманіемъ Глумова, но пригорюнилась, и Положиловъ, какъ преданный супругъ, счелъ долгомъ вступиться за нее.

— Однакожъ, Глумовъ,—сказалъ онъ:—вѣдь жена-то у меня —дама; и ты могъ бы...

— Поликсена Ивановна! голубушка! да неужто вы... дама?— изумился Глумовъ.

Это дало новое направленіе бесѣдѣ. Сначала возникъ вопросъ: что̀ такое „дама“ и чѣмъ она отличается отъ „женщины“? А потомъ и другой: отчего Поликсенѣ Ивановнѣ, напримѣръ, неловко дѣлается, когда ее въ упоръ называютъ „дамой“, и отчего, тѣмъ не менѣе, у той же Поликсены Ивановны въ экстренныхъ случаяхъ огоньки въ глазахъ бѣгаютъ: не забывайте-дескать, однако, что я... дама!?

— Давайте, господа, о женскомъ вопросѣ поговоримъ!—предложилъ Тебеньковъ.

Со стороны Тебенькова подобное предложеніе никого не удивило. Мы знали, что Тебеньковъ считаетъ себя спеціалистомъ по женскому вопросу, но въ то же время знали и то, что онъ любитъ обсуждать его по преимуществу съ точки зрѣнія „атуровъ“. Поликсена Ивановна не разъ говаривала ему: „вы не можете себѣ представить, какъ это скверно, Тебеньковъ!“—а иногда даже и обижалась.

Par respect pour les moeurs, и мы не одобряли Тебеньковскіе взгляды на женскій вопросъ, но, говоря по совѣсти, немаловажная доля его вины ложилась и на насъ всѣхъ. Въ самомъ дѣлѣ, въ обычной манерѣ мужчинъ относиться къ женскому вопросу и обсуждать его существуетъ какое-то роковое легкомысліе. Я никогда не слыхалъ, какъ разсуждаютъ женщины о „мужскомъ вопросѣ“, и потому не могу свидѣтельствовать, бываетъ ли тутъ рѣчь объ „атурахъ“, но что касается до мужчинъ, то они только цѣною величайшихъ усилій могутъ воздерживаться отъ экскурсій игриваго свойства.

Мнѣ кажется, что это происходитъ оттого, что мы ставимъ женскій вопросъ совсѣмъ не на ту почву, на которую его ставить надлежитъ, т.-е. разсматриваемъ его по преимуществу въ культурной средѣ,

той самой, которая всѣми своими помыслами и силами почти исключительно направлена къ воспитанію „атуровъ“. Тогда какъ еслибы мы перенесли его въ среду трудолюбивыхъ поселянъ, то представленіе объ „атурахъ“ упразднилось бы само собой, и женскій вопросъ предсталъ бы предъ нами въ своемъ чистомъ, безатурномъ видѣ.

Да, только тамъ можно представить себѣ „женщину“ вполнѣ независимо отъ „атуровъ“; только тамъ половымъ различіямъ дается ихъ естественное, не дразнящее значеніе. Въ этой средѣ и молодость быстрѣе проходитъ, и дѣловая, рабочая пора пристигаетъ плотнѣе. Когда женщина идетъ шагъ въ шагъ рядомъ съ мужчиной, когда она представляетъ собой необходимое дополненіе рабочаго тягла, то она является уже не утѣхой, не „украшеніемъ“ и даже не помощницей и подругой, а просто-на-просто равноправнымъ человѣкомъ. И ежели за всѣмъ тѣмъ и при такой обстановкѣ мужчина хлещетъ женщину возжами и таскаетъ за косы, то вотъ тутъ ужъ дѣйствительно выступаетъ на сцену женскій вопросъ, жгучій, потрясающій, вопіющій. И что же! именно тутъ-то никто его и не видитъ, никто объ немъ и не думаетъ!

Но какъ только женскій вопросъ выходитъ изъ предѣловъ простонародной среды, такъ онъ сейчасъ же превращается въ „дамскій“ и пріобрѣтаетъ атурный характеръ. Вліяніе культурныхъ вѣяній таково, что даже женщина, вышедшая изъ народа, коль скоро отвѣдаетъ пуховика, самовара и убоины, такъ сейчасъ же первымъ дѣломъ начинаетъ нагуливать себѣ „атуры“. И груди чтобъ сахарныя были, и бедра такія, чтобы уколупнуть было нельзя, и спина широкая, чтобы всей пятерней огрѣть можно было. И нагулявши все это, начинаетъ мнить себя „дамой“ и мечтать о „кавалерахъ“.

Я знаю, что слово: „дама“, многимъ нынѣ ненавистно; но что „дамство“ пустило корни глубоко и надолго заполонило женскую ниву—это несомнѣнно. Повторяю: я все-таки имѣю въ виду исключительно культурную среду и объ ней одной говорю, потому что можно ли назвать „дамой“ существо, которое днемъ зауряд съ мужчиной пашетъ, боронитъ и коситъ, а на сонъ грядущій получаетъ столько ударовъ возжами, сколько влѣзетъ? Итакъ, возьмемъ въ этой культурной средѣ одинъ изъ лучшихъ экземпляровъ, въ родѣ Поликсены Ивановны. Безспорно, это женщина разумная и даже самостоятельная, а посмотрите, какъ она гордится, что за такимъ „добытчикомъ“,

какъ Павелъ Ермолаичъ, она живетъ какъ за каменной стѣной! какъ она глубоко убѣждена, что онъ доставитъ ей обезпеченіе и покровительство, и какъ смиренно-счастлива, если ей удастся отблагодарить мужа за это покровительство, устроивъ ему домашній комфортъ! Не очевидно ли, что она и сама считаетъ свою роль второстепенною, зависимою? что она и сама сознаетъ, что безъ Павла Ермолаича ей — мать? Но этого мало: она называетъ мужа не иначе какъ Павломъ Ермолаичемъ (я увѣренъ, что даже одинъ-на-одинъ она не отступаетъ отъ этого правила), а онъ нѣтъ-нѣтъ, да и обласкаетъ ее „Поликсеичикомъ“. И когда она слышитъ это обращенное къ ней умилительное, то не только радуется, но и гордится этимъ: стало быть, дескать, я еще заслуживаю! Я не утверждаю, чтобы въ соображеніяхъ ея по этому предмету непремѣнно играли роль „атуры“, но помимо воли, сами собой (въ формѣ скромнаго инстинктивнаго охорашиванья), вѣроятно сказываются и они. Во всякомъ случаѣ она несомнѣнно сознаетъ, что извѣстная пословица: курица не птица и т. д.—не просто пословица, но и фактъ, по поводу котораго до поры до времени спорить и пререкословить безполезно. А ежели она все это сознаетъ и пріемлетъ, то должна неминуемо сознавать и то, что она... дама! И—о, ужасъ!—что только именно это „дамство“ спасаетъ ее отъ тѣхъ практическихъ послѣдствій, которыми чревата сейчасъ упомянутая пословица...

Павелъ Ермолаичъ знаетъ эту двойственность своей подруги и относится къ недоумѣніямъ ея нѣсколько иронически. По моему мнѣнію, онъ поступаетъ въ этомъ случаѣ несправедливо, ибо недоумѣнія эти отнюдь не отъ Поликсены Ивановны зависятъ! Культурная женщина съ младыхъ лѣтъ такъ воспитывается, чтобъ быть „дамой“, то-есть чтобы жеманиться и сидѣть у мужчины на колѣняхъ. Гонъ, гонъ, поѣхали!—скажите, гдѣ та культурная дама, которой сердце не замерло бы въ восторгѣ при этомъ восклицаніи!

Поэтому, когда Тебеньковъ предложилъ приступить къ разработкѣ женскаго вопроса, то Поликсена Ивановна рѣшительно этому воспротивилась, и Положиловъ принялъ ея сторону.

— Я знаю, къ чему ты стремишься, Тебеньковъ,—сказалъ онъ:—хочется тебѣ насчетъ „лямуру“ пройтись, да и вообще слабый оный полъ подробному во всѣхъ частяхъ разсмотрѣнію подвергнуть. И знаю также, что, по нынѣшнему времени, это занятіе самое благонотребное.

по поводу котораго не потребуется даже заглядывать въ гостиную, не „шмыгаетъ“ ли тамъ кто. Но подумай, однакожъ, не презорно ли будетъ, ежели мы, подобно ретирадникамъ, погрязнемъ въ однѣхъ игривостяхъ, а о прочихъ сторонахъ вопроса, унылыхъ обстоятельствъ ради, умолчимъ? Не правда ли, господа?

Мы поспѣшили согласиться, а Плѣшивцевъ, въ качествѣ всегдашняго антагониста Тебенькова, даже присовокупилъ:

— Говорилъ я тебѣ, что ты, Тебеньковъ, паскудникъ и засушпна. Вотъ и попался. Теперь ты соборнѣ въ этомъ званіи навсегда утвержденъ.

— Нѣтъ, не будемъ черезъ-чуръ строги къ нашему общему другу, —продолжалъ Положиловъ: — я самъ знаю, что Тебеньковъ немножко паскудникъ; но это оттого, что его чрезмѣрно ужъ угнетаетъ чувство изящнаго... А сверхъ того у него откровенный характеръ... Вотъ это и выдаетъ его. Но вѣдь и всѣ мы, воспитанные въ преданіяхъ эстетики, относимся къ женщинѣ по преимуществу съ точки зрѣнія „атуровъ“ и „игривостей“. Только мы не столь часто и не столь открыто говоримъ объ этомъ, и, разумѣется, хорошо дѣлаемъ. Ибо какъ ни привлекательны атуры, но умнаго въ разговорахъ объ нихъ немного. Несмотря на эти разговоры, женскій вопросъ все-таки существуетъ, и ежели онъ представляется безвременнымъ и мелкимъ, то, во-первыхъ, потому, что сами женщины покуда еще не умѣютъ разобраться въ немъ, а во-вторыхъ и главнымъ образомъ потому, что на ближайшей очереди стоитъ великій мужской вопросъ. Но во всякомъ случаѣ подражать ретирадникамъ не подобаетъ. Поэтому я предпочелъ бы женскій вопросъ обойти; но ежели бы вы желали бесѣдовать на эту тему съ должной серьезностью...

Положиловъ не досказалъ и тихонько-тихонько на цыпочкахъ направился къ двери и заглянулъ въ гостиную. Онъ сдѣлалъ это повидимому совершенно инстинктивно, но вышло такъ наивно, что всѣ мы, не исключая и Поликсены Ивановны, захохотали.

— Оставимъ! оставимъ!— произнесъ Глумовъ, какъ только улеглись первые порывы веселости: —вѣдь это все-таки „вопросъ“, а вопросы теперь не ко времени. Все стоитъ твердо, вѣрно, несомнѣнно —такъ гласитъ мудрость вѣка сего— зачѣмъ же прать противъ рѣшеній ея? Да и какая польза вдаваться въ изслѣдованія, коль скоро тебя каждоминутно подмываетъ заглянуть въ другую комнату, не

нмыгнулъ ли тамъ кто? По моему, это предосудительно и даже... некрасиво! А къ тому же и Поликсена Ивановна...

— Что-жъ я!—вступилась за себя Поликсена Ивановна:—говорите, я ничего! Только ежели вы серьезно будете, такъ, конечно... не вышло бы чего...

И она, въ свою очередь (и тоже повидимому инстинктивно), встала и на цыпочкахъ заглянула въ гостиную.

Мы поглядѣли-поглядѣли, но на сей разъ не разсмѣялись, а, помолчавъ немного, едиными устами возопили:

— Господи! да неужто-жъ это не кошмаръ!

Но здѣсь я долженъ сдѣлать тяжкое для самолюбія признаніе: главную причину Положиловскаго и нашего смущенія составлялъ лакей Филишъ. Это было какое-то сказочное существо, о которомъ носились самые загадочные слухи. Говорили, будто бы онъ репортеромъ при какой-то секретной газеткѣ состоитъ. Явится, будто бы, въ редакцію раннимъ утромъ, вычистивъ господамъ сапоги, выложитъ дневной запасъ, а тамъ ужъ и начнутъ „публицисты“ сыскивать. Сколько разъ мы убѣждали Положилова разсчитать Филиппа, но всегда встрѣчали какое-то необъяснимое упорство.

— Прогонишь этого—другого репортера наймешь! —отвѣчалъ онъ:—а этотъ по крайней мѣрѣ сапоги ловко снимаетъ.

И при этомъ, въ видахъ самоободренія, прибавлялъ:

— Впрочемъ, съ меня, братъ, взятки гладки! Хоть до завтрева слушай—не боюсь.

Такимъ образомъ и остается Филишъ властителемъ нашихъ думъ и регуляторомъ нашей благонамѣренности въ глазахъ „Красы Цемидрона“. И я даже подозрѣваю, что Поликсена Ивановна отчасти довольна этимъ: все-таки есть въ домѣ узда, которая сдерживаетъ этихъ сорванцовъ-подполѣчниковъ.

Между тѣмъ изъ столовой мы перешли въ гостиную, и покуда Филишъ убиралъ чай, разумѣется, молчали. Но когда стукъ стакановъ и ложекъ наконецъ утихъ, то „каверза“ снова возымѣла дѣйствіе.

— Вотъ вы, голубушка, сейчасъ сказали,—обратился Глумовъ къ Поликсенѣ Ивановнѣ:—что и въ нынѣшнее время прожить очень прекрасно можно, а я, невѣжа, въ ту пору даже и не выслушалъ васъ. Такъ ужъ простите вы мое невѣжество, научите, какъ это, по вашему мнѣнію, „прекрасно прожить можно“?

— Очень просто: разсчитать себя нужно.

— То-есть, какъ это... разсчитать?

— Да примѣняясь къ обстоятельствамъ. О большихъ размѣрахъ позабыть, лишнія претензіи тоже въ сторону отложить, да вотъ въ эдакомъ родѣ и подыскать себѣ дѣло.

— Или, какъ вотъ онъ выражается — Глумовъ указалъ на меня — на маленькомъ мѣстѣ небольшую пользу приносить?

— Такъ что-жъ... ахъ, господа! Сами же вы говорите, что нынче всего больше нужно одно: позабыть! А какъ же вы „забудете“, ежели у васъ не будетъ дѣла, которое васъ отъ думы отведетъ? Вѣдь безъ дѣла-то вы только больше да больше будете себя бередить!

— Гм... такъ по вашему, значитъ, дѣло... и при семъ небольшое... Ежели, напримѣръ, моціономъ заняться... одобрите?

Сказавъ это, Глумовъ чуть-было опять не махнулъ рукой, но воздержался, и въ заключеніе воскликнулъ:

— Голубушка вы наша!

Однакожъ Поликсена Ивановна, по неизреченному своему милосердію, на этотъ разъ не обидѣлась.

— Ну, какъ хотите!—сказала она:—можетъ быть, я и пустое предлагаю, но, по моему, вѣдь и въ томъ, какъ вы проводите время, ничего особенно выспренняго нѣтъ.

— А какъ мы проводимъ время?

— Да соберетесь, хмуритесь, никакого разговора послѣдовательно до конца не можете довести. Посмотришь на васъ—точно вы и нивѣсть какіе преступники!

— Боимся, значитъ?

— А что-жъ... полагаю, что не безъ того...

— Поликсена Ивановна! да не вы ли сами панику на всѣхъ наводите? Не вы ли въ сосѣднюю комнату каждоминутно заглядываете? Не вы ли мужа на французскомъ діалектѣ предостерегаете: „Pavel Ermolaïtch... Philippe ici!“

— Что-жъ я! Я, какъ говоритъ Павелъ Ермолаичъ, дама... А вѣдь съ дамы и спросить много нельзя.

Увы! несмотря на Глумовскія оговорки, я долженъ сознаться, что Поликсена Ивановна ежели и не прямо вложила персты въ язвы, то во всякомъ случаѣ довольно близко нащупала больное мѣсто. Мнѣ и самому неоднократно приходило въ голову: боимся мы, или не боимся?

—и всякій разъ я не то чтобы уклонялся отъ отвѣта, но, по совѣсти, не могъ отвѣчать ни въ положительномъ, ни въ отрицательномъ смыслѣ. Очевидно, что въ душевномъ недомоганіи, которое угнетало насъ, сама по себѣ заключалась значительная доля неясности, мѣшавшей назвать его по имени. Прямой, острой боязни не было, но было безпокойство, была тупая боль. Одна изъ тѣхъ болей, при которыхъ, какъ говорится, не знаешь, гдѣ мѣста найти, которыя зудятъ и сверлятъ весь организмъ, не давая свободной минуты, чтобъ оглядѣться и обдумать выходъ. Непріятіе этой боли представить себѣ ничего нельзя, тѣмъ больше, что подобное тупое недомогательство, однажды овладѣвъ человѣкомъ, дѣлается какъ бы нормальнымъ удѣломъ его на все время, пока существуютъ причины, обусловившія его.

Во всякомъ случаѣ мнѣ очень интересно было узнать, что отвѣтитъ Глумовъ на замѣчаніе Поликсены Ивановны.

— Такъ, значитъ, боимся?—повторилъ онъ свой прежній вопросъ.

Поликсена Ивановна молчала.

Тогда Глумовъ принялся объяснять. Но, къ сожалѣнію, объясненія эти были столь же сбивчивы и уклончивы, какъ и тѣ, которыя я уже давалъ себѣ и о которыхъ только-что упомянулъ выше. И тутъ оказывалось, что боязни собственно нѣтъ, а есть будто бы лишь горькое сознаніе безсилія, которое на все существованіе, на всю дѣятельность кладетъ унылый, почти постыдный отпечатокъ. Глумовъ съ особенною настойчивостью налегалъ на этомъ различіи, и для того, чтобы установить его въ умѣ слушателей, на одно объясненіе нагромождалъ другое, третье и т. д., и вслѣдствіе этого впадалъ въ многословіе, въ перифразу. Но разница была повидимому настолько деликатнаго свойства, что, несмотря на всѣ усилія, различительные признаки вырисовывались слабо, и со стороны очень нетрудно было ихъ проглядѣть. Вообще выходило, что дѣло идетъ только о словахъ и что Глумову хотѣлось собственно одного: во что бы ни стало устранить паскудное слово: „боязнь“, которое Поликсена Ивановна, пользуясь своею женскою безотвѣтственностью, такъ простодушно пустила въ обращеніе. Такъ что когда Тебеньковъ, въ шутливомъ русскомъ тонѣ, желая поддразнить Глумова, взялъ его подъ мышки и сказалъ:—Ну, что ужъ! признавайся! Ну, стыдишься... унываешь—все это такъ!

но вѣдь мало-мало есть и тово... Побаиваешься-таки! Ну, грѣхъ пополамъ!—то сдѣлалось какъ-то тяжело и непріятно, а Глумовъ, не возражая, досадливо отвелъ отъ себя шутника рукой и проворчалъ:

— Оставь!

Затѣмъ всѣ смолкли, и разумѣется, черезъ минуту, по установившемуся обычаю, возопили:

— Господи! да неужто-жъ это не кошмаръ!

. . . . . .

— А впрочемъ, господа.—первый прервалъ молчаніе Положиловъ:—и я съ своей стороны не раздѣляю щепетильности Глумова. Вѣдь рѣчь идетъ совсѣмъ не о герояхъ, а о массѣ ординарныхъ, но добропорядочныхъ и мягкосердечныхъ людей, которые любятъ добро, но не чувствуютъ призванія „класть свои головы“. И вотъ относительно ихъ-то я и не вижу, почему бы для нихъ представилось обиднымъ или предосудительнымъ сознаться въ гнетущемъ ихъ безпокойствѣ. По моему мнѣнію, боязнь играетъ настолько рѣшительную роль въ существованіи современнаго человѣка, что самое уныніе едва-ли могло бы такъ прочно вцѣдриться въ обществѣ, еслибъ его постоянно не питало ожиданіе чего-то непредвидѣннаго. А коль скоро страхъ существуетъ, то отрицаться отъ него—значитъ только добровольно обрекать себя на сугубое малодушіе, значитъ отнимать у себя возможность, при помощи анализа этого явленія, примириться съ своею совѣстью. Вѣдь ежели даже этой возможности не будетъ, то какъ же существовать? Поэтому-то я совершенно искренно думаю, что ежели у человѣка—повторяю, не у героя, а у ординарнаго, но добропорядочнаго человѣка—есть безспорныя и осязательныя причины ощущать страхъ, то онъ имѣетъ полное право безъ околичностей сказать: да, я боюсь. И совѣсть самая щепетильная не найдетъ основательнаго повода укорить его за это. Не такъ ли, господа?

— „Право“!... отлично! превосходно! „Право“!—проворчалъ Глумовъ.

— А по моему, право какъ право, не хуже и не лучше прочихъ таковыхъ же. Скажу даже больше: по нынѣшнему времени, и этимъ правомъ въ полномъ его объемѣ едва-ли всякому удастся воспользоваться. „Правомъ бояться“... да! Бояться—вѣдь это значитъ „кукситься“, а кукситься—значитъ показывать кукишъ въ карманъ. Все

это виды и формы темнаго русскаго фрондерства; а что гласятъ объ этомъ въ „Вѣстникѣ Общественныхъ Язвъ“? Да-съ, современный общественный камертонъ совсѣмъ не къ фрондерству наклоненъ. Камертонъ этотъ гласитъ такъ: всякій да взираетъ бодро. Вотъ это право (право взирать весело) — безспорное, и всякій можетъ пользоваться имъ на всей волѣ. И что всего несомнѣннѣе — этимъ правомъ наградила насъ не въ такой мѣрѣ жизнь, какъ литература.

Произнеся послѣднее слово, Положиловъ на минуту остановился, какъ бы выжидая, какой эффектъ оно произведетъ на слушателей. Но никакого эффекта не было; скорѣе, напротивъ того, можно было предположить, что давно ужъ это слово у всѣхъ на языкѣ, и, рано или поздно, неминуемо придется его произнести.

— Если до извѣстной степени можно согласиться съ Глумовымъ, — продолжалъ Положиловъ: — что съ общей точки зрѣнія страхъ есть чувство некрасивое и что сознаваться въ немъ не особенно лестно, то до современной русской литературы это ужъ ни въ какомъ случаѣ относиться не можетъ. Ея нельзя не бояться; ее должно бояться. Возьмите одинъ фирмы: „Бодрствующая Упредительница“, „Неусыпающій Шалыганъ“, „Изъяснитель Язвъ“... развѣ не страшно? Разумѣется, прежде всѣхъ должны бояться своя же братія, неостервенившіеся литераторы. Имъ, должно быть, особенно трудно; ибо въ литературѣ обойтись безъ человѣческихъ чувствъ, безъ человѣческихъ мыслей, безъ обобщеній, безъ идеаловъ, съ одною канцелярскою насущностью... что-жъ это за литература будетъ! Но не освобождаются отъ обязанности трепетать и всѣ вообще партикулярные люди, которые почему-либо не съумѣли уподобить себя звѣрямъ. Къ числу послѣднихъ я причисляю и себя. И хотя, говоря вообще, я *не вполнѣ* боюсь, но признаюсь, когда утромъ начинаю, по привычкѣ, прочитывать печатныя строчки, то ощущаю невольную дрожь. Помилуйте! каждый день кого-нибудь предаютъ суду! Ни талантъ, ни извѣстность, ни годы тщательнѣйшаго самонаблюденія, ничто не ограждаетъ отъ внушеній самаго ехиднаго свойства! И отъ кого исходятъ эти внушенія?!

— И отъ кого исходятъ эти внушенія?! — словно эхо повторили мы всѣ.

Но тутъ со мною случилось что-то загадочное. Несмотря на

торжественность минуты, въ ушахъ моихъ вдругъ какъ-то совершенно явственно прозвучало:

Люди добрые, внемлите
Страданью сердца моего...

Разумѣется, я ни съ кѣмъ не подѣлился этой пилюлей; однакожъ Положиловъ повидимому угадалъ, что во мнѣ происходитъ нѣчто неладное.

— Нѣтъ, ты не шути!—обратился онъ ко мнѣ:—а обрати вниманіе! Столько нынѣче гаду въ вашу литературу наползло, столько наползло, что даже вчужѣ страшно становится! Кружатся, хохочутъ, лижутъ, брызжутъ слюнями... Иной всю жизнь въ ретирадѣ сидѣлъ, заплеснѣлъ, отсырѣлъ; думалъ: до гробовой доски мнѣ въ семь мѣстѣ на стѣнахъ писать суждено — и вдругъ почувствовалъ, что моментъ его наступилъ! Вы представьте себѣ эту картину! Выходитъ оттуда, весь пахучій, и голосомъ, напоминающимъ мѣстное урчаніе, вопіетъ: „а позвольте васъ, милостивые государи, допросить, по какому случаю вы упывать изволите?“... Каково вопросы-то эти слушать?

— А развѣ нельзя ему отвѣтить: „угадай“?—какъ-то неожиданно сорвалось съ языка у Поликсены Ивановны.

Совѣтъ этотъ былъ ужасно простъ, до того простъ, что Положиловъ на нѣкоторое время даже какъ бы оторопѣлъ.

— Ты, Поликсенчикъ, всегда... — сказалъ онъ съ оттѣнкомъ истернѣнія, но вслѣдъ затѣмъ спохватился и присовокупилъ:—а что ежели и въ самомъ дѣлѣ... Онъ — съ допросцемъ, а ему въ отвѣтъ... угадай?! Вѣдь это въ своемъ родѣ...

— Нельзя!—рѣзко прервалъ Глумовъ, который повидимому успѣлъ уже убѣдиться (а кто же знаетъ — можетъ быть, и прежде онъ только упражненія ради противное утверждалъ), что „бояться“ не стыдно.

— Почему?

— Чудакъ! самъ же сейчасъ говорилъ, что засиліе гадъ взялъ — и спрашиваешь! Надо еще удивляться, что хоть по существеннымъ-то пунктамъ гады рѣшительныхъ побѣдъ не одерживаютъ. Вѣдь ежели ихъ послушать, то все, что въ теченіе послѣднихъ лѣтъ пріобрѣтено, все это нужно нарушить и упразднить: земство отмѣнить,

судъ присяжныхъ уничтожить, цензуру возстановить, крѣпостное право возродить!.. Ну, этого однакожъ имъ не дождаться!

— Вотъ видишь! стало быть, есть же и противовѣсъ!

— По такимъ-то пунктамъ... еще бы! Ну, а подробности тамъ разныя, напримѣръ: ты, я, мы, вы, они — это ужъ въ счетъ не идетъ! этого нельзя и не устроить. Нельзя-съ. Потому засилье гады взяли! подоплёку угадали! Ахъ, много еще кровожадности въ этой подоплёкѣ таится, куда какъ много! Вотъ они ее и эксплуатируютъ.

— А я такъ думаю,—возразилъ я:—что не столько кровожадность играетъ тутъ роль, сколько жалкая и скудоумная страсть къ начертыванію паскудныхъ словесъ на стѣнахъ нежилыхъ строеній, на заборахъ, скамьяхъ и т. д. Вотъ она, настоящая-то подоплёка, на чемъ стоитъ.

— Есть и это. Но во всякомъ случаѣ гадъ знаетъ, что ему нынче масляница. Попробуй-ка ему сказать: „угадай!“ — онъ огорчится и сейчасъ тебѣ въ отвѣтъ: „измѣна!“ А вслѣдъ за нимъ и подоплёка завопитъ: „ха, ха, измѣна!“

— Ахъ, мерзость какая!

— И вѣдь самъ, шельмецъ, знаетъ, что лжетъ! знаетъ, что лжетъ, и все-таки лжетъ!

Говоря это, Глумовъ простиралъ руки и сверкалъ глазами. Въ первый разъ я въ немъ эту восторженность видѣлъ. Обыкновенно онъ относился ко всѣмъ этимъ „измѣнамъ“ скорѣе иронически, и вотъ теперь... Это было такъ страшно, что на этотъ разъ я уже не выдержалъ и явно запѣлъ:

Люди добрые, внемлите
Страданью сердца моего...

И всѣ хоромъ подхватили:

Онъ меня разлюбилъ!
Онъ ее полюбилъ!

— „Ее“, т.-е. розничную продажу, во имя которой всѣ современныя литературныя злодѣянія совершаются!—пошутилъ Тебеньковъ.

А Поликсена Ивановна, совершенно успокоившаяся, съ любовью оглянула насъ и, вздохнувъ, приговорила:

— Ахъ, бѣдненькіе вы мои! беззащитненькіе!

Одним словомъ, благодаря моей диверсіи, чуть-чуть не водворилось въ нашемъ кружкѣ общее благодушіе, какъ вдругъ нелѣпая дернула Плѣшивцева сказать:

— Ну, вотъ, теперь все отлично. А то я слушалъ-слушалъ, и, признаться, все-то мнѣ думалось: а вѣдь это они передъ Филиппомъ хотятъ себя съ хорошей стороны зарекомендовать!

Это напомнило о Филиппѣ и разомъ всѣхъ расхолодило. Къ тому же въ эту самую минуту въ столовой упалъ со стола стаканъ и съ шумомъ разбился. Подъ вліяніемъ совпаденія этихъ нечаянностей, и Положиловъ, и Поликсена Ивановна, оба единовременно на цыпочкахъ устремились къ двери, и хотя оказалось, что виновникомъ кутерьмы былъ котъ Васька, но благодушіе къ намъ уже не возвратилось.

— Прежде насчетъ гаду было лучше!—возобновилъ разговоръ Тебеньковъ.

— Вотъ какъ!—удивился Плѣшивцевъ.

— Да такъ. И прежде гадъ допускался, не строже его держали. Жить—живи, но изъ указанныхъ природой помѣщеній не выходи.

— Пожалуй, что это и такъ,—согласился Положиловъ.—А главное что было дорого: поученій дѣлать не моги! Никто не моги дѣлать поученія, а въ томъ числѣ не моги и гадъ!

— А нынче гады подоплёку собой изображать претендуютъ—оттого и не сладишь съ ними!—присовокупилъ Глумовъ:—выйдетъ онъ изъ своего мѣста и начнетъ тебя обыскивать. Тамъ рванетъ, въ другомъ мѣстѣ куснетъ... ахъ! Волкъ—тотъ прямо за горло рѣжетъ, а гадъ—во всѣ мѣста расползется... Можете вообразить себѣ чувство человѣка, который, по обстоятельствамъ, вынужденъ вступать съ нимъ въ разговоръ!

— Господи! да неужто-жъ это не кошмаръ!

. . . . . .

Однакожъ оказалось, что это не кошмаръ. Тебеньковъ сообщилъ:

— Былъ я давеча у одного товарища по школѣ: сидитъ и всѣмъ естествомъ радуется. „Слава Богу, говоритъ, и у насъ публицистъ нашелся!“—Хорошъ? спрашиваю. „Да такой, говоритъ, что ежели ему узы разрѣшить, такъ онъ всю вашу либеральную суматоху на бобахъ разведетъ!“ И представь себѣ, гдѣ нашли—въ уединенномъ мѣстѣ! Сидитъ, улыбается и на стѣнахъ пишетъ!

— Любопытно, какіе онъ, этотъ новоявленный публицистъ, вопросы разрѣшать будетъ?

— Помилуй! Вопросъ первый: дозволительно ли мыслить? Отвѣтъ: нѣтъ, не дозволительно. Вопросъ второй: предосудительно ли человѣческія чувства выражать? Отвѣтъ: да, предосудительно. Этими двумя вопросами вся современная суть исчерпывается.

— Да вѣдь надо же будетъ и дальше говорить!

— А дальше онъ будетъ расшивочнымъ слогомъ разсказывать анекдоты о стриженыхъ дѣвкахъ, будетъ на стѣнахъ излюбленныя словеса писать, акростихи добраго помѣщичьяго времени, въ родѣ: „хвалы достойныя дѣвицы". вспомнитъ... Да и мало ли подходящаго матеріала найдется!

— Знаешь ли что, — предложилъ мнѣ Тебеньковъ:—я бы совѣтовалъ тебѣ въ отдѣлѣ беллетристики всѣ водевили Каратыгина постепенно перепечатать, этакъ въ мѣсяцъ по одному. Это помогло бы тебѣ время провести, а читателя-то какъ освѣжило бы!

— А вѣдь это на дѣло похоже!—поддержалъ Положиловъ:— что вы тамъ „сквозь невидимыя міру слезы" ехидничаете! грянь-те-ка прямо, на чистоту... Господа! кто изъ васъ помнитъ: *Задѣть мою амбицію*... за мной!

И всѣ мы хоромъ подхватили:

Задѣть мою амбицію
Я не позволю вамъ!
Я жалобу въ полицію
На васъ, сударь, подамъ!

— Господи! да неужто-жъ это не кошмаръ!

Наступилъ довольно длинный періодъ молчанія. Въ столовую съ шумомъ ворвался Филиппъ и началъ накрывать ужинъ; изъ кухни доносился острый запахъ солонины и пріятно щекоталъ обоняніе. Это значительно всѣхъ прибодрило.

— А мнѣ что пришло на мысль, господа!—предложилъ Положиловъ:—давно мы не пѣвали „Gaudeamus". Возьмемтесь-ка дружно за руки и помянемъ нашу молодость!

Взялись за руки и съ увлеченіемъ грянули первую строфу всѣмъ дорогого канта. Но когда дошла очередь до „Vivat academia". то усомнились. Какая академія? Что сіе означаетъ? въ какомъ смыслѣ „оное" понимать надлежитъ? и что симъ достигается?

— Не забудьте, господа, что Филиппъ по-латыни не знаетъ,— напомнилъ Положиловъ:—и слѣдовательно можетъ истолковать нашу пѣсню въ самомъ превратномъ смыслѣ. Кто, напримѣръ, поручится, что онъ не скажетъ себѣ: а! понимаю! медико-хирургическая... превосходно!

Словомъ сказать, пришлось бросить. Къ счастію, скоро доложили, что подано ужинать. Это опять всѣхъ ободрило. Но и тутъ Положиловъ отчасти отравилъ общее удовольствіе, предупредивъ насъ шепотком:

— Господа! за ужиномъ чтобы никакихъ этихъ экскурсій въ области вымысловъ... ни-ни! Принимая пищу, мудрый о пищѣ же и бесѣдуетъ—такъ-то!

На что мы, разумѣется, отвѣтили:

— Конечно! конечно! неужто-жъ мы этого-то не знаемъ!

За ужиномъ все обошлось благополучно. Хвалили солонину, а въ особенности не находили словъ для выраженія восторговъ по поводу громаднаго индюка, присланнаго Положиловымъ изъ деревни.

— Индюка совсѣмъ не такъ легко довести до такой степени мягкости, нѣжности и благонадежности, какъ это кажется съ перваго взгляда,—объяснялъ при этомъ Павелъ Ермолаичъ:—нѣтъ, тутъ не мало-таки труда нужно положить! Не въ томъ штука, чтобы до отвалу накормить голодную птицу, а въ томъ, чтобы существо, уже до отвращенія пресыщенное, цѣлесообразными мѣрами побудить сугубо себя утучнить, ad majorem hominis gloriam! Эта цѣлая система, которую впрочемъ я не буду здѣсь излагать, дабы Поликсена Ивановна не вывела изъ моего изложенія какихъ-либо неблагопріятныхъ намековъ и примѣненій. Но скажу одно: индюкъ, воспитанный на точномъ основаніи изданныхъ на сей предметъ руководствъ, дѣлается ни къ чему иному негоднымъ, кромѣ какъ къ подачѣ на столъ въ видѣ жаркого.

Поликсена Ивановна слушала эти объясненія и потихоньку радовалась. Мы тоже не безъ пользы внимали Положилову, потому что объясненія его, такъ сказать, осмысливали удовольствіе, доставляемое намъ индюкомъ. Что касается до Филиппа, то онъ не безъ лукавства улыбался, какъ бы говоря: а вѣдь это они передо мною себя зарекомендовываютъ?

Повторяю: все произошло отлично, такъ что Поликсена Ивановна не выдержала и, обращаясь къ Глумову, сказала:

— Вотъ вы давеча не повѣрили, когда я говорила, что и по настоящему времени прожить прекрасно можно — анъ вотъ вамъ и доказательство на-лицо!

Она обвела всѣхъ насъ счастливымъ взоромъ и проговорила:

— Прекрасно, тихо, благородно!

Это было такъ мило сказано и притомъ съ такимъ теплымъ участіемъ къ намъ, измученнымъ невозможностью довести какой-либо разговоръ до конца, что Глумовъ пожалъ крѣпко ея руку и сказалъ:

— Правда ваша, голубушка! Именно: прекрасно, тихо, благородно! Лучше нельзя опредѣлить.

— И повѣрьте мнѣ,—продолжала Поликсена Ивановна:—что вся эта суматоха, которая такъ мучительно на васъ дѣйствуетъ, чувствуется только въ тѣхъ сферахъ, которыя черезъ-чуръ ужъ близко къ ней стоятъ. А тамъ, въ глубинахъ, даже и не подозрѣваютъ объ ея существованіи. Павелъ Ермолаичъ не дальше какъ вчера получилъ изъ деревни письмо...

— Да, есть изъ деревни письмо, есть!—отозвался Положиловъ:—и ежели угодно, то я могу его прочитать.

И, не дожидаясь согласія нашего, онъ прочиталъ:

„А у насъ, слава Богу, благополучно. Только по случаю лютыхъ онныхъ морозовъ и безснѣжія опасаемся, какъ бы озимый хлѣбъ въ поляхъ не вымерзъ, да травы на низкихъ мѣстахъ весной не вымокли, да древа и кусты въ садахъ не погибли. При чемъ однакожъ остаемся не безъ упованія, что ежели весна будетъ дружная и Богъ пошлетъ дождичковъ“...

Типографія М. М. Стасюлевича, Спб., Вас. Остр., 5 л., 28.

Гос. Публичная

ПРОГРАММА ИЗДАНІЯ.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

М. Е. САЛТЫКОВА (Н. ЩЕДРИНА)

ИЗДАНІЕ ТРЕТЬЕ

— въ двѣнадцати томахъ обыкновеннаго формата:

Томъ I.—Губернскіе очерки.—Матеріалы для біографіи М. Е. Салтыкова, съ портретомъ автора, его факсимиле и могильнымъ памятникомъ.
— II.—Господа Головлевы.—Сатиры въ прозѣ.
— III.—Помпадуры и помпадурши.—Невинные разсказы.
— IV.—Благонамѣренныя рѣчи.—Культурные люди.
— V.—Мелочи жизни.—Сборникъ.
— VI.—Сказки.—Пестрыя письма.—Недоконченныя бесѣды.
— VII.—Исторія одного города.—Убѣжище Монрепо.—Признаки времени
— VIII.—Дневникъ провинціала.—За рубежемъ.
— IX.—Господа Ташкентцы. — Пошехонскіе разсказы. — Круглый годъ.
— X.—Въ средѣ умѣренности и аккуратности.—Письма о провинціи.—Итоги.
— XI.—Современная идиллія.—Письма къ тетенькѣ.
— XII.—Пошехонская старина.—Брусинъ, разсказъ.

Каждый томъ—1 руб. 75 коп., съ перес. 2 руб.

По подпискѣ на 12 томовъ—**18** р., съ перес.—**21** р.

Складъ изданія:

въ книжномъ магазинѣ типографіи М. М. Стасюлевича,

Спб., Вас. Остр., 5 л., 28.

8284

ГПБ Русский фонд
18.268.5.1/9